

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ





G. Argy

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ**



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

ТОМ ПЕРВЫЙ
❧
ПОВЕСТИ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1982

84Кн7
А 36

Оформление
Ю. БАЖАНОВА

А $\frac{4702010200-195}{078(02)-82}$ Подписное

© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г. Предисловие, состав,
комментарии.

СВЕТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Одинаковые по календарной протяженности периоды истории далеко не равновелики по драматической насыщенности событий, заряду социально-психологической повизны. Отсюда и различия в степени резкости, стремительности, с которой та или иная эпоха накладывает свою печать на облик порожденных ею художников, на характер их творческих интересов и устремлений.

Слова Гёте о том, что, родился он на десять лет раньше или позже, он был бы совсем другой, мог бы с полным правом повторить и Чингиз Айтматов, родившийся 12 декабря 1928 года. Мир, открывавшийся взору будущего писателя, был лишен стабильности и идилличности. В пору своего раннего детства он еще мог наблюдать в горных районах Киргизии — близ родного аила Шекер — народные кочевья: «Я застал эти яркие зрелища на самом исходе, потом они исчезли, с переходом на оседлость». Менялся древний уклад жизни, менялись людские судьбы. Еще до того, как война начнет собирать по нашим городам и селам свою кровавую дань, в дом Айтматовых постучится беда. Уйдет из жизни отец писателя, человек, которого он горячо любил и которым гордился. Жизнь Торекула Айтматова — одного из первых большевиков-киргизов, секретаря Киргизского обкома партии, дважды учившегося в Москве, оборвется на взлете лет. Не отсюда ли та ранимая читательские сердца тоска по отцовской ласке, которую так часто несут во всем своем существе юные герои писателя? Когда не стало главы семьи, Айтматовы — мать и четверо ма-

лолетних детей — переехали из города в Шекер. «Вот тогда, — вспоминает писатель, — и началась для меня подлинная школа жизни, со всеми ее сложностями». С десяти лет — труд на колхозных полях, в четырнадцать — уже шла война! — должность секретаря сельсовета. Потом — работа налоговым агентом райфо, учетчиком тракторной бригады на уборке хлеба... Такова она, айтматовская «школа жизни».

«Нет ничего труднее, чем книга о себе», — говорит Айтматов. Такой книги он пока не написал. Но есть как бы литературные заготовки к ней — «Заметки о себе», «Ответственность перед будущим», «Снега на Манас-Ата» и другие. Эти автобиографические материалы, публиковавшиеся в последнее десятилетие, войдут в заключительный том данного Собрания сочинений — первого в жизни Айтматова и вбирающего в себя все главное из написанного им. Знакомясь с этими материалами, видишь, как много из того, через что прошел сам писатель, чему он был непосредственным свидетелем, выплеснулось на страницы его широко известных книг. И когда Айтматов говорит, что «художник начинается с впечатлений детства и юности», за этим стоят не только обширные наблюдения историко-литературной науки, но и его личный творческий опыт. Разве не сказалось, к примеру, в его художественной работе то обстоятельство, что спутником его детства стала бабушка по отцу, женщина умная и обаятельная, которая, будучи «кладом сказок, старинных песен, былей и небылиц», привила внуку любовь к родному языку, к народнопоэтическому эпосу.

В недавно вышедшей на всесоюзный экран полнометражной документальной картине «Чингиз Айтматов» (студия «Киргизфильм») есть кадры из хроники тридцатилетней давности — студент-отличник Айтматов в одной из лабораторий Киргизского сельхозинститута, куда он поступил по окончании Джамбулского зооветтехникума. Именно в эту пору в республиканской печати начинают появляться короткие заметки, очерки, корреспонденции, подписанные именем

Айтматова; ведет он в студенческие годы и филологические изыскания, о чем свидетельствуют статьи «Переводы, далекие от оригинала», «О терминологии киргизского языка». В этой работе юноше помогает одинаково свободное владение как родным, так и русским языком.

Но прежде чем стать журналистом, а затем и профессиональным литератором — а это произойдет вскоре после окончания в Москве двухгодичных Высших литературных курсов, — Айтматов три года отдаст работе по специальности в опытном животноводческом хозяйстве. И наверное, не только интуиция и фантазия художника, чье детство и отрочество прошли в краю чабанов и табунщиков, но и опыт, знания дипломированного зоотехника сказались в той уверенной силе, с которой Айтматов живописует великодушную статью, повадки, состояние «души» молодого иноходца Гульсары, неистовый норов верблюда Каранара; без них, этих полноправных «героев», нам уже не представить себе ни радостей, ни горестей Танабая Бакасова и Едигея Буранного, чьи яркие образы пополнили собой литературную галерею подлинно народных советских характеров.

Из упомянутого выше фильма мы узнаем о том, что две вершины Тянь-Шаня были еще при жизни Твардовского и Шостаковича названы именами этих крупнейших мастеров нашей культуры. Дни дружеского общения с ними писатель считает своим счастьем.

Сегодня мы имеем, пожалуй, право сказать, что одна из вершин могучего кряжа искусства социалистического реализма связана с именем самого Айтматова — художника, впитавшего в себя фольклорные и литературные традиции родного народа, опыт многонациональной советской литературы, русской и мировой классики. И — не в последнюю очередь — именно взлету его таланта маленькая Киргизия обязана тем, что стала хорошо видимой из всех уголков планеты. Наверное, предощущение этой завидной творческой судьбы Айтматова, еще до тридцати пяти лет ставшего лауреатом Ленинской премии, водило пером выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова, когда он сразу же по выходе в свет «Джамили» написал для «Литературной газеты» горячий отклик на нее. А примерно через год станет широко известно выска-

звание другого признанного мастера: «Для меня это самая прекрасная на свете повесть о любви». Мы видим на экране говорящего эти слова Луи Арагона, в переводе которого «Джамиля» печаталась в газете французских коммунистов «Юманите» осенью 1961 года.

Их немало теперь, знаков международного признания литературных заслуг Айтматова. В фильме мы видим его на улицах Фрунзе рядом со знаменитым кинорежиссером Микельанджело Антониони. На родине итальянского гостя айтматовские повести «Ранние журавли» и «Пегий пес, бегущий краем моря» удостоены почетной премии «за глубокий гуманизм и раскрытие величия человеческого духа».

Тут уместно отметить, что литература — главная, но не единственная сфера приложения творческих сил Айтматова. Многие в его жизни связано с экранным искусством. «Если современный кинематограф — это корабль, у которого есть свои мачты, свой руль, оснастка, то литература — это двигатель корабля» — так метафорически выразил писатель свое понимание сосуществования двух видов искусств. Не будет преувеличением сказать, что и в команде «корабля» Айтматов-прозаик играет далеко не последнюю роль. Он — автор сценариев, по которым экранизирована большая часть его повестей и рассказов. Он — многолетний руководитель Союза кинематографистов Киргизии. К его суждениям об эстетической природе, тенденциях и перспективах развития кино внимательно прислушиваются как практики, так и теоретики молодого искусства. Писатель любит подчеркивать мысль о том, что кино предстоит не просто идти бок о бок, тесно соприкасаться с большой литературой, но и «переплетаться корнями, срастаться с ней». Исследователи айтматовской прозы, ее стиливых особенностей, пожалуй, недалеки от истины, когда в тех или иных конкретных случаях с одобрением констатируют проявление «кинематографического способа» видения, пластического воссоздания писателем движения жизни, картин природы, действий героев. Но это предмет особого разговора, и для нас достаточно было коснуться его в самой общей форме.

Первые шаги на писательском поприще Айтматов делал в пятидесятые годы, когда в стране шел благотворный процесс преодоления последствий культа личности, восстановления ленинских норм жизни. Высокий общественный подъем внес большое оживление в литературу и искусство. Как в центре, так и на местах начали издаваться новые журналы и альманахи. Ширилось знакомство с художественными богатствами других народов мира. В советском искусстве усилилось внимание к реальным конфликтам действительности, к сложным проблемам народной жизни, к личности современника, его нравственному облику. «Нас, вступающих в литературу писателей, — свидетельствует Айтматов, — заставили серьезно поразмыслить и над жизнью, и над своим призванием очерки В. Овечкина, «Судьба человека» М. Шолохова, «За далью — даль» А. Твардовского, повести В. Тендрякова».

Не раз говорилось о том, что талант Айтматова набирал высоту с «космической» скоростью. Его выход на орбиту зрелого мастерства и впрямь был стремительным, однако отнюдь не «вертикальным». Киргизский прозаик знал и пору — пусть относительно краткую — литературного ученичества. Об этом он пишет сам:

«Мои первые рассказы и очерки появились в печати в самом начале 50-х годов. Это были подражательные и весьма далекие от реальной жизни сочинения. Действие первого рассказа происходило... в Японии; во втором речь шла о Волго-Донском канале и особенно много внимания уделялось земснарядам — о них тогда часто писали в газетах. Из газетных корреспонденций я и черпал необходимые реалии...»

В той части ранних рассказов, которые Айтматов включал потом в свои сборники, уже чувствовался вкус автора к пейзажной и портретной живописи. Речь в них шла о новом в быту киргизского аила; о рождении атмосферы трудового соревнования на колхозных полях; об успехах и срывах молодых героев на пути своего жизненного самоутверждения («Сыпайчи», «Соперники»).

Уже в первых пробах айтматовского пера возникает образ современной киргизской женщины, с ее воз-

росшим чувством собственного достоинства, со стремлением к равноправному участию в общественных и производственных делах («Белый вождь»). Тут пока еще дают о себе знать «репортажная» облегченность ситуаций, приблизительность в характеристике душевных состояний персонажей. В рассказе «На реке Байдамтал» начинающий прозаик явно форсирует голос, сбивается с верного тона, когда пишет о чувствах и мыслях молодого самолюбивого механика Нурбека; какой-то бесплотной «голубизной» отмечен здесь образ девушки-гидролога Азии.

Хотя всесоюзную, а вслед за тем и европейскую известность принесла Айтматову «Джамиля», опубликованная «Новым миром» в 1958 году, подлинным началом его приобщения к большой литературе следует считать появившуюся несколько ранее повесть «Лицом к лицу».

Война предстала в этих произведениях не в ее прямом, батальном выражении, а в опосредствованном воздействии на жизнь киргизского села, общественные и личные взаимоотношения его людей, их чувства и судьбы. Уже в самом выборе жизненных коллизий, характере их эстетического освещения чувствовалась решимость молодого автора идти наперекор бытовавшим в литературе — отнюдь не только киргизской — схемам и канонам, понуждавшим «не замечать» иные из негативных фактов и явлений реальной действительности, однозначно, в плоскоморализаторском духе оценивать сложные вопросы внутрисемейных отношений, сокровенные движения человеческого сердца.

Поставить в одном случае в центр повествования «нетипичную» историю дезертировавшего с фронта Исмаила и его жены Сейде, показать, как измена воинской присяге и патриотическому долгу ведет человека в пропасть, к озверению и убийству; в другом случае — опоэтизировать, а не предать строгому нравственному суду «незаконную» любовь, соединившую одинокого, искалеченного войной Данияра и Джамилю, муж которой со дня на день должен вернуться домой после госпиталя, — во всем этом уже в начале творческого пути выражал себя художник, не страшщийся встретиться лицом к лицу с трудным,

драматичным в жизни, с ее уродливыми гримасами, с тем, что калечит, иссушает души, как это произошло с той же Сейде, нашедшей все же в себе силы восстать против мужа; художник, видящий свое призвание в утверждении права женщины нового общества на самостоятельное определение жизненного пути, на личное счастье, озаренное светом любви, свободой от гнета обветшалых бытовых традиций и условностей.

Хотел бы подчеркнуть, что главное в «Джамиле» все же не сама по себе драма разрыва с прошлым, не противостояние молодой женщины окружающей среде, а процесс зарождения и торжества ее любви к Данияру, открытия этими людьми друг друга. Реакция домашних, жителей айла на уход Джамили скорее запоздалое эхо, чем прямое противодействие. С самого начала Джамиля предстает перед нами смелой, независимой, дерзкой. Это женщина, выросшая в условиях социалистического строя. И для нее важнее чувство обретения нового духовного богатства, чем внутренняя борьба с велениями семейного долга, заповедями адата. Конечно, повесть «намекает» и на это — автор обходится тут, как, впрочем, и в других случаях, скупыми деталями внешнего выражения чувств, обуревавших Джамилю. То, что происходит между нею и Данияром, мы видим и оцениваем глазами юного Сеита. Пробуждающийся талант художника рождает в нем радость сопереживания красоте и щедрости чувств людей, которые способны «петь душой — не только голосом», заставляет подростка возвыситься над своей собственной влюбленностью в Джамилю.

Автор одной из монографий о киргизском прозаике — а их ему посвящено уже немало — Вл. Воронов верно отмечает, что своеобразие восприятия и преломления писателем традиции заключается в том, что он «сплавил тему любви и тему искусства, подчеркивая тем самым созидательную, творческую природу любви. Поэтому для понимания целостной айтматовской концепции любви как творчества одинаково важен анализ духовного преображения и Джамили и Сеита. В этом смысле образ рассказчика, Сеита, несет, может быть, основную идейно-художественную нагрузку в процессе воплощения писательского замысла».

К слову сказать, в реальной жизни иным сверстникам Джамили, отстаивавшим свои человеческие права, выпадала куда более горькая участь. Стоит вспомнить передовую колхозную доярку Асылгуль, в защиту которой Айтматов выступил со страниц газеты «Советская Киргизия» в 1972 году. «Это ваша вина, земляки» — так назвал он свое открытое письмо жителям родного Шекера, где не один год вершился «дикий, средневековый произвол» над выданной насильно замуж пятнадцатилетней дочерью погибшего фронтовика, потом матерью двух сыновей. Асылгуль предпринимала, несмотря на сопротивление родного деда и дяди, не одну отчаянную попытку вырваться из дома пьяницы мужа, чинившего физическую расправу над непокорной женщиной. Как характерно это обращение к землякам — нелюбезное и гневное — для автора «Повестей гор и степей» с его органическим неприятием всего, что духовно сковывает, унижает достоинство женщины — жены, матери, труженицы.

Повести, одна за другой выходившие в конце 50-х — первой половине 60-х годов, обнаруживали свежие, незаемные краски в уже знакомом читателю, уверенно набиравшем силу и крепость голосе автора «Джамили» — этой, по оценке критики, «жемчужины советской многонациональной литературы». В поле зрения писателя оказывался более сложный комплекс человеческих взаимоотношений. Шире становится тематический диапазон его творчества, чутко отзывающегося на изменения в идейно-нравственном климате советского общества, новое в сфере созидательной деятельности народа. Тут, надо полагать, сказались и журналистские впечатления Айтматова, поработавшего после учебы в Москве в республиканской печати, а затем — в течение пяти лет — собственным корреспондентом «Правды» в Киргизии.

По повестям и рассказам этой поры хорошо видно, как упорно обогащает писатель арсенал изобразительных средств, интонационно-стилевую палитру своей прозы, чуждой самоцельной описательности, оттачивает искусство психологического анализа, всегда со-

седствующее с проникновенным лиризмом; как наряду с привычной для него формой рассказа от первого лица прибегает к более сложным композиционным структурам. Например, события повести «Тополек мой в красной косышке» открываются нам в изложении трех лиц: журналиста, шофера Ильяса и дорожного мастера Байтемира, чьи пути по воле случая скрестились. А в «Материнском поле» воспоминания Толгонай о прожитой жизни перемежаются ее же, женщины-матери, диалогами с матерью-землей. И это возвышает локальное по «географии» сюжетного действия произведение до трагедийного сказа о судьбе человеческой и судьбе народной, сообщает небольшой повести символическую обобщенность, мощное эпическое дыхание.

Волнующая автора этическая проблематика, мир человеческой души существуют в этих произведениях — и это характерно вообще для всего творчества Айтматова — отнюдь не в отвлечении от земных дел, повседневных профессиональных забот героев. Жизненные ситуации, столь круто изменившие судьбу Ильяса, непростые отношения, складывающиеся у этого молодого парня с разными людьми, самым прямым образом связаны с его работой шофера, с ее спецификой в горных условиях. Сущность характеров центральных персонажей «Верблюжьего глаза» — тридцатилетнего Абакира и юного Кемеля, нравственно-психологическая подоплека их непримиримого столкновения, доходящего до прямой драки, с предельной отчетливостью выявляются в ходе их совместной работы в поле.

В импульсивном, скором на решения шофере Ильясе писатель подмечает элементы тщеславия, стремление утвердиться в своей мнимой правоте ценой опасного риска, добиться личного успеха в обособлении от коллектива. Позором обернулась попытка одолеть трудный горный перевал с груженым прицепом — так мстит за себя небрежение мнением товарищей по работе, стремление решать серьезные задачи с кондачка, без надлежащей технической подготовки.

И вот у молодого человека, еще недавно упоенного счастьем их взаимной с Асель любви, исполненно-го веры в себя, в свою удачу, словно бы наступает

паралич воли, сдают нравственные тормоза — он начинает катиться по наклонной: алкогольный дурман, супружеская измена, трусливое бегство от правды в отношениях с женой. И печальный итог: распалась семья, ушла навсегда с малолетним сыном Асель; в ней, такой нежной и доверчивой, вышедшей замуж за Ильяса вопреки воле родителей, выказали себя гордый, как у Джамили, нрав, обостренное чувство собственного достоинства. Нельзя не почувствовать, что Ильяс, который, по его собственному признанию, «не удержался в седле, не так повернул коня жизни», дорог автору. Дорог своей открытостью добру, своим душевным смятением, острым осознанием того, что вместе с Асель он безвозвратно утратил истинное счастье — счастье единственной на всю жизнь большой любви.

Писатель утверждает в молодых современниках высокую меру духовности, новую культуру чувств, формируемую советским образом жизни, его коллективистской моралью. В оценке действий и устремлений героев он выступает как нравственный максималист, взывающий к лучшему в человеке, непримиримый к любым проявлениям духовной заскорузлости.

Тракторист Абакир из «Верблюжьего глаза» способен, что называется, выложиться на пахоте целины, дорожит каждой рабочей минутой. Но что движет им? Сугубо меркантильные, рваческие вожделения. Это агрессивный, хулиганствующий обыватель с примитивными житейскими запросами. И уже самый факт существования рядом Кемеля, живо интересующегося историческим прошлым родного края, мечтающего о сказочном преображении полынных степей Анархая, лишает Абакира душевного комфорта, чувства правоты своего утробного эгоизма, воспринимается им как прямой вызов себе. И всей своей грубой животной силой он готов раздавить, втоптать в грязь этого мечтателя. Но в Кемеле уже крепнет, выкристаллизовывается характер. И он, этот физически не бог весть какой сильный паренек, в конце концов одерживает моральную победу над обладателем «чугунных кулаков» Абакиром, «обалдевшим от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью».

Если Ильяс и Асель, Абакир и Кемель молоды и непосредственно принадлежат времени, в которое родились книги о них, то в центре «Материнского поля» — образ старой киргизской женщины Толгонай, на чью долю выпало в годы военной страды «по-мужски, крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня» и в хлопотах о делах и людях колхоза хлебнуть всяческого лиха. Многое вместила в себе эта небольшая повесть — остроту впервые обретенного бесправным человеком чувства хозяина земли и вдохновение свободного труда на ней; яркие праздники молодой любви и ровный свет семейного счастья; слепую смертоносную жестокость войны и неизбежную боль утрат, боль, кровью запекшуюся в израненных душах тех, кто остался жить.

Перед нами рассказ-воспоминание, горькая исповедь, излившаяся из глубин щедрого на добро женского сердца, из сердца седовласой солдатской вдовы, женщины-матери, namного пережившей трех своих сыновей-воинов, а ведь «матери рожают детей для жизни, для простого, земного счастья». Воспоминания Толгонай о прожитых ею годах, ее скорбно-величавые диалоги с полем, с матерью-землей — это жизнь души «наедине со всеми», человеческой души, такой маленькой и беззащитной перед громадой свалившихся на нее ударов судьбы и такой безмерной в своей способности вместиť чужое горе, разделить с народом его тяжкие заботы, его страдания и беды. За долгую жизнь беззаветной сельской труженицы Толгонай поняла, что «материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы».

Конкретная в живописании быта киргизского села, человеческих судеб и характеров, повесть тяготеет к поэтике символов, опирается на условные приемы реалистического повествования. Ее лиризм обретает черты публицистичности и философичности. Философия «Материнского поля» — философия исторического оптимизма. Она иной здесь и не может быть, ибо в ней отразился подлинно народный взгляд на мир, на жизнь и смерть, сущность бытия, взгляд, исполненный мудрости и мужества.

При общем одобрителном отношении читающей публики к «Материнскому полю» дело не обошлось и

без открытой полемики вокруг этой вещи в центральной литературной прессе. Поводом для нее послужило заключение одного из критиков о том, что в образе Толгонай есть мотивы трагической надломленности, что протест против войны в повести — чем дальше, тем больше — приобретает абстрактно-гуманистический характер, что горечь потерь чуть ли не заслонила здесь героиню, патриотический подвиг народа. И были правы те, кто, отводя эти упреки, отмечал, что против подобной трактовки восстает весь образный строй повести, где общечеловеческое (не абстрактное!) вырастает из исторически, социально конкретного. Устами Толгонай, судьбами всех героев повести писатель страстно утверждает такие непреходящие ценности бытия, как возможность для человека мирно трудиться на родной земле, изведать счастье материнства и отцовства, счастье истинной любви. И не о душевной надломленности, а о силе духа и выношенном мужестве старой Толгонай, о неодолимости жизни думаешь по прочтении этой повести.

Новая грань темы войны открывается читателю в «Ранних журавлях», ставших вдохновенной поэмой во славу поколения мальчишек военной поры, к которому принадлежит и сам писатель.

В сюжетных мотивах этой повести многое, естественно, из его детских и отроческих впечатлений, из летописи трудной жизни киргизского села в годы гитлеровского нашествия. Автором руководило стремление рельефно оттенить гражданственные, нравственные уроки народной трагедии, героическое начало в характерах людей, сформированных новым общественным строем, его коллективистской моралью.

Присутствие войны сказывается не только в тех изменениях, которые она внесла в привычный уклад жизни аяла, во внутрисемейные и трудовые отношения людей, но и в самом характере авторской образности, в подборе художественных деталей. Разве не естественно для вчерашнего фронтовика-парашютиста Тыналиева, возглавившего колхоз, назвать «десантом» группу самых надежных старшеклассников, которые по его заданию должны подготовить к весенне-полевым работам лошадей и сельхозинвентарь, чтобы в лучшие сроки вспахать и засеять земли в далеком

Аксайском урочище? Педагогическая жилка чувствуется в этом суровом человеке, знающем, как задеть романтические струны в душах юных плугарей, жаждущих вершить взрослые дела. В повесть врываются былинные интонации. То, что предстоит исполнить мальчишкам, вынужденным на время оставить занятия в школе, сравнивается с деяниями могучих богатырей Манасова войска. Не могу разделить высказанного в одной из рецензий мнения, что это сравнение страдает риторичностью, придает авторскому стилю искусственное напряжение. Тут не искусственное напряжение, а добрая улыбчивость писателя, как бы смотрящего на безусых батыров их же собственными глазами, глазами юных граждан, принявших на свои детские, неокрепшие плечи мужские заботы, заботы не только о младших братьях и сестрах, но и о делах колхозных. Они ведь из того ребячьего племени, что еще вчера в разных концах страны играло в Чапаева, а сегодня, как и их отцы на фронтах, еще острее чувствует себя под сенью имен легендарных героев, как порожденных народной фантазией, так и исторически реальных.

Ответственность — вот чувство, которое равно владеет в повести зрелыми, убежденными сединами мужами и их юными помощниками. Напутствуя «десантников» перед началом работ, колхозный председатель Тыпалнев скажет: «Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми». И каждый из мальчишек остро ощутит свою причастность к общенародному делу, свой сыновний долг «добывать хлеб отцу», а тем самым растить, приближать Победу. И когда четырнадцатилетний предводитель школьников-плугарей Султанмурат увидел, как безутешно и горько плачет самый старший и самый сильный среди них, его «соперник» Анатай, в дом которого пришла похоронка на отца, он не смог не вспомнить слова бригадира старика Чекиша: «Когда у одного несчастье, другой ему опорой должен служить». Он ощутил боль Анатая как свою собственную, он «почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило», и понял, что «надо действовать, как-то помогать людям». Не сами по себе тяготы испытаний, выпавших на долю юных героев, — главное для автора «Ранних журавлей», а те «защитные» духовные силы, которые обнаруживаются в них в кризисные моменты, те прекрасные и естественные для

человеческой природы качества души, которые способны расцвести вопреки разрушительному вихрю войны. Еще полудетская, только начинающая осознавать самое себя любовь Султанмурата и Мырзагуль воссоздана Айтматовым с такой поэтической пронзительностью, что, по выражению одного из критиков, от нее «ткань повествования буквально светится».

И мера человеческого достоинства, и глубина падения, обезчеловечивания личности поверяются в творениях киргизского прозаика главным: вместе с народом или в самоизоляции от него оказывается человек в годину лихолетья, вместе со всеми своими соотечественниками ест горький хлеб войны или заботится только о своей шкуре, стремится жить и благоденствовать за счет других. Вот и в повести «Ранние журавли» Айтматов не забывает, как он это делал и в «Материнском поле», вновь напомнить, что беда для людей айла исходила не только из чуждедальних пределов, но что были у них и «свои» враги, ничем не лучше фашистской нечисти. Те, кто был вскормлен и вспоен отчей землей, но платил ей черной неблагодарностью, подлым ударом из-за угла. Разве могли предполагать Султанмурат и его друзья, бросившиеся бежать по вспаханной ими аксайской целине навстречу снижающейся стае журавлей, суливших своим ранним прилетом добрый урожай, — разве могли они предполагать, что в этот момент «немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела». И это не был взгляд сосредоточенно-холодного безразличия — за ним зоологическая ненависть выроdkов, оскал хищников, которые ждут своего часа, чтобы схватить за горло тех, кто живет не по их звериным законам, а по человеческим законам — законам добра и справедливости, трудового братства и патриотизма. И недаром, словно сородич конокрада, возникает в ночи перед Султанмуратом крупный волк с жесткой кабаньей холкой, прибежавший на запах крови только что убитого под мальчишкой отцовского копя Чабдара. Султанмурат, не дрогнувший перед вооруженными бандитами, и сейчас «стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь...». На этих словах прерывается повествование о поколении «ранних журавлей», которое, созрев для подвига, свою готовность к нему, увековеченную пером художника, как эстафету, передает тем, кто идет и будет идти ему вослед.

В марте 1963 года Айтматов выступил в «Правде» со статьей «Создадим яркий образ коммуниста». А спустя два месяца читатели имели возможность убедиться, что призыв к коллегам по искусству, заключенный уже в самом названии этой статьи, писатель подкрепляет делом — в «Новом мире» публикуется повесть «Первый учитель». Так вошел в нашу духовную жизнь Дюйшен, коммунист ленинского призыва, которому выпало на долю в молодые годы, едва выучившись в Красной Армии читать по слогам, стать первым учителем детей айла Куркуреу, чьи деды и прадеды до седьмого колена были безграмотными. Повесть о нем родилась, по словам автора, как «стихийный ответ» тем, кто в пору борьбы партии и народа за восстановление ленинских норм общественной жизни поддался нигилистическим настроениям, пытался принизить значение свершений предшествующих поколений, «освободить себя от партийных и классовых позиций в искусстве». Впервые в творчестве Айтматова текущая современность предстала в преемственной связи с эпохой двадцатых годов, когда закладывались основы нового социального строя, когда власть Советов взялась за осуществление культурной революции.

И бледнолицый парень в черной солдатской шинели, приспособивший бывшую байскую конюшню под школу, ходивший каждое утро по дворам, чтобы собрать бедняцких детей на занятия; в зимнюю пору переносивший их на своих руках через студеную горную речку под глумливые насмешки богатеев в красных лисьих малахаях; бившийся до последнего дыхания, чтобы вырвать свою старшую ученицу Алтынай из рук насильников, — он стал, этот киргизский парень, для бедняцкого населения айла олицетворением преобразующей воли народной власти, ее гуманизма, ее устремленности в будущее.

Для оценки творчества Айтматова в целом крайне важно то, что победы — причем крупные — он одерживает как раз там, где, если верить иным скептикам, художника поджидает опасность ходульности, художественного худосочия, — в создании образа «положительного героя».

Героико-романтическая баллада о первом учителе построена как монолог в монологе — художник-повествователь делает достоянием читателей адресованное ему письмо-исповедь академика Алтынай Сулаймановой, которой Дюйшен дал путевку в большую жизнь. Этот композиционный прием помогает скреплению духовного опыта тех, кто вступил в жизнь на разных этапах созидания нового общества. Таким людям, как Дюйшен, не всегда находится место на пиршестве жизни, но они всегда оказываются там, где требуется мужество и самоотвержение, где требуется подвиг. Ибо тут выбор целиком зависит от них самих. Новая школа в аиле Куркуреу, на торжества по случаю открытия которой забыли пригласить первого учителя, ныне сельского почтальона, судьба Алтынай, ставшей известным на всю страну ученым, — все это оправдание жизни и борьбы Дюйшена, безраздельно отдающего себя людям. Автору важно, чтобы мы, как и академик Алтынай Сулайманова, почувствовали стыд от самодовольной насмешки, прозвучавшей на школьном празднике в адрес Дюйшена, который когда-то взялся за учительское дело, сам будучи малограмотным. Повесть напоминает читателю о необходимости не утрачивать «способности по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин». Вращивать в людях эту способность, находить противоядие историческому беспамятству обывателя, заражать юные души жаждой наследовать героический опыт прошлого — задача современных педагогических кадров. Степень духовно-нравственного обеспечения тех, кто идет вослед отцам — романтикам и бесребреникам, — проблема, все более тревожно звучащая в творчестве Айтматова, среди персонажей которого немало школьных наставников. В учителе он видит ту основную фигуру общества, чей труд связует поколения и формирует облик юных граждан. Отсюда и его озабоченность тем, чтобы поднять на должный уровень профессиональный и социальный престиж учительства в современных условиях, вооружить его для борьбы с натиском потребительства и многоликого мещанства. Об этом Айтматов размышлял с трибуны недавнего VII съезда писателей СССР: «Учитель первым припимает на себя этот удар бездуховности, атака мещанства идет здесь изо дня в день, и ему не сдержать ее, если не поднимется на помощь

вся культурная общественность». Творчество киргизского прозаика выполняет здесь свою социально-педагогическую роль, учит чистоте и благородству помыслов, бескорыстному служению интересам общества.

Четыре года спустя после публикации «Первого учителя» увидит свет новое произведение Айтматова, где в центре внимания окажется уже не просто образ одного из рядовых коммунистов, но и вопросы партийной работы как таковой, где через судьбу главного героя нам откроется жизнь колхозного села на значительном отрезке исторического времени, и прежде всего в трудные послевоенные годы. Речь идет о повести «Прощай, Гульсары!», остро, с большим драматизмом ставящей тему партийности подлинной и мнимой, тему ответственности каждого коммуниста, на каком бы посту он ни находился, за общее дело. Писатель сумел нарисовать яркий образ Танабая Бакасова, раскрыть внутренний мир простого чабана как мир, исполненный глубоких страстей, мир сложный и противоречивый. В характере Танабая при всем его индивидуальном своеобразии отчетливо выражены черты целого поколения, приметы исторического времени, героического и сурового, принесшего нашему народу не только радость побед, но и немало лишений и испытаний.

Когда-то бесправный батрак, он сердцем и умом принял правду ленинской партии, поднявшей массы на революционную ломку векового уклада жизни, принесшей с собой дух социального творчества, новую общественную мораль. Мысль Танабая всегда в напряженной работе, в поисках ответов на острые вопросы, выдвигаемые ходом событий в колхозе, стране, мире. По энергии и сложности духовной жизни айтматовский герой ничуть не уступит иным литературным «интеллектуалам». «Образ Танабая, — писал Сергей Крутилин, — с его тонким, поэтическим внутренним миром, несомненно, удача Айтматова и всей нашей советской литературы. Давно у нас не было мужика, чабана со столь богатым внутренним миром, мужика-философа». В натуре, в драматической судьбе Танабая есть что-то от шолоховского Нагульнова, с его революционным максимализмом, с его петерпе-

ливой жаждой скорее увидеть мир очищенным от скверны прошлого, с его бескомпромиссной честностью, готовностью всего себя отдать делу революции.

«Заводила безбожников в аиле», человек прямой и горячий, Танабай самым решительным образом включился в проведение коллективизации. Считая недопустимым проявление мягкотелости в классовой борьбе, он подвел под раскулачивание даже своего сводного брата Кулубая, который был «просто справным хозяином, середняком». Пройдут годы, и Танабай усомнится в правомерности этого своего поступка. После того как Кулубай был выслан в Сибирь, многие в аиле отшатнулись от Танабая. Его перестали выдвигать в состав руководящих органов колхоза. И постепенно «выбыл он из актива». Но это отнюдь не сделало его равнодушным свидетелем происходящего вокруг. Он считал колхоз детищем и своих рук, и по-прежнему не мог мириться с разного рода неполадками, с упущениями в деятельности тех или иных его руководителей.

Для Танабая, как и для Нагульнова, партия нечто святое, кровно близкое. То, без чего его жизнь теряет свой высокий смысл. И вот дело повернулось так, что пришлось передовому колхозному чабану оставить в райкоме партии свой партийный билет. Это случилось после рассмотрения на бюро его «персонального дела» — «покушения на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей». Речь шла о стычке Танабая, вконец измученного борьбой за спасение овец, с районным прокурором Сегизбаевым, тяжко оскорбившим его достоинство человека и коммуниста. Оказаться вдруг вне партии — такое с трудом укладывалось в сознании чабана: «Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг». Но Танабай нашел в себе силы, чтобы побороть отчаяние, вновь целиком отдаться делу. Он никогда и в мыслях не имел извлечь какую-то выгоду лично для себя из принадлежности к партии. И ему оскорбительно было слышать слова невестки: «Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да табунщиках проходил». Лишенный партийного билета, он не перестает ощущать себя коммунистом.

Мы расстаемся с Танабаем, когда он, уже глубокий старик, мысленно обращается к Самансуру, сыну своего друга Чоро: «Должен ты мне помочь, сын мой

Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был».

Окрашенная дымкой элегической, порой пронзительной грусти, повесть Ч. Айтматова внутренне оптимистична. Нет больше рядом с Танабаем его любимца — «великого коня» Гульсары, ушел из жизни преданный друг, прекрасный человек и коммунист Чоро... И все-таки итог трудной, в чем-то, может, незадавшейся жизни Танабая не бесплоден. Пришло новое поколение коммунистов, таких, как Самансур, возглавивший после смерти своего отца колхозную парторганизацию, как молодой секретарь райкома партии Керимбеков, смело вставший когда-то на защиту Танабая. И в их делах частица его горения. Они грамотнее, дальше видят, лучше понимают происходящее. За их плечами преимущества нового времени, богатый опыт предшествующего поколения. Впереди у них новые, великие задачи.

Горячо принятая читателями и критикой, повесть, казалось бы, давала автору право быть на этот раз вполне довольным собой. И он, конечно, сознавал, что работа эта — его серьезный писательский успех, более того, начало некоего нового этапа его творческой биографии. И тем не менее оставался в душе привкус неудовлетворенности. «В этой повести, — говорил Айтматов, — мне удалось выразить какие-то заветные желания и мысли более полно, чем в прежних вещах. Но менее полно, чем хочется. Поэтому и чувства у меня к ней двойственны: моральное удовлетворение и — злость. Злость на себя. Добрая злость. В новой книге, которую сейчас пишу, надеюсь, мне удастся развить дух, идейное содержание «Прощай, Гульсары!». Так мог говорить только художник, для которого за одной далью неизменно открывается другая, и это движение к новым творческим горизонтам, к новым глубинным пластам действительности — закон его жизни в искусстве.

* * *

Еще на рубеже 70-х Л. Якименко справедливо отмечал: «Чем глубже шел Ч. Айтматов к постижению современности, чем пристальнее он вглядывался в нравственный мир современного человека, тем закономернее в его творчестве выглядело обращение к ми-

фу, к поэтическому преданию». Случилось так, что именно в связи с появлением айтматовского «Белого парохода» наша критика впервые заговорила о «литературном мифотворчестве» как некоей тенденции современного творческого процесса, а в иных случаях даже о наличии целого «мифологического направления». С той поры немало воды утекло, а интерес и внимание к этой теме отнюдь не идут на убыль. Напротив, мы — свидетели нового обострения страстей вокруг нее. И конечно же, в спорах этих не обходится без апелляции к творчеству Айтматова, его прежним и новым работам. Тема эта большая и вполне заслуживает углубленного изучения, ибо за ней одна из характернейших примет художественных исканий XX века. Мы коснемся лишь некоторых ее аспектов, хотя бы уже потому, что «мифологизм» повести «Белый пароход» оказался не неким случайным эпизодом в творческой практике художника-реалиста, а существеннейшим элементом его новейшей прозы, выступающим как в своей эстетической, так и этической функции. Это легко понять, если не забывать о том, что киргизский эпос — один из богатейших в мире, а именно его герои, герои «океаноподобного» «Манаса» и других древнейших изустных творений родного народа, с детства сопровождали Айтматова, оживая в рассказах бабушки, в песнях знаменитых акынов. У писателя можно найти не одно высказывание о современном значении народнопоэтических традиций, о конкретных путях и формах усвоения и использования им фольклорного наследия, в котором он видит память народа, сгусток его жизненного опыта, его философию и историю, видит заветы предков будущим поколениям.

Лишенная концептуального начала аранжировка легендарного сюжета, плоская литературно-мифологическая стилизация — это не для Айтматова, чей подход к использованию фольклора диктуется критериями мировоззренческими, а не формально-художественными, не орнаментальными заботами. Он считает, что если старинное предание не в состоянии активно обращаться к задачам наших дней, не надо тревожить его тень.

Враг банальной, заземленной беллетристики, выстраивающей свой мир по ориентирам обыденной логики и целесообразности, Айтматов отстаивает досто-

инство высокого реализма: «Я лично, — говорит он, — против так называемого утилитарного, бытового «реализма», замыкающего человека в скорлупе обыденного, что выражается будто бы в правдоподобии, многословии, в сутолоке и хаосе ненужных деталей, фактографии, подавляющей творческую фантазию, воображение».

«Белый пароход» — счастливый случай органичного прорастания древнего предания (поэтической версии истории киргизского народа, его вынужденного исхода с берегов Енисея и укоренения у Иссык-Куля) во все поры художественной ткани произведения, во все звенья его сложного механизма. И это при том, что перед нами реалистически суровое, полнокровное живописание быта, нравов, характеров людей, составляющих население маленького кордона, заботам которого вверен заповедный горный лес. В повести все искусно «выстроено» и вместе с тем изливается как бы самопроизвольно — в согласии с логикой характеров героев и жизненных обстоятельств.

Легенда о Рогатой матери-оленихе, прародительнице киргизского рода бугинцев, получив в недрах повести самостоятельную жизнь как произведение высокого искусства (она «рассказана» семилетним мальчиком со слов деда Момуна своему любимому портфелю), становится вместе с тем концептуальной основой «Белого парохода» — этого образного выражения нашей «родственной» связи с матерью-природой, напоминания об ответственности ныне живущих и будущих поколений за ее сбережение.

Живое взаимодействие в сознании мальчика, центрального героя, чьими глазами мы многое воспринимаем и оцениваем в окружающем его мире людей и природы, двух сказок (фольклорной, связанной с Рогатой матерью-оленихой, и созданной его детским воображением — о возникающем на вечерней глади Иссык-Куля Белом пароходе, который внук Расторопного Момуна привык наблюдать в бинокль с Караульной горы) так намагничивает художественную плоть повести, что она вбирает в локальные рамки своего внешнего действия проблематику общечеловеческого звучания. Для того чтобы столкновение поэтической энергии мифа и жизненной прозы обрело взрывчатую

силу, высекло искру трагического, автору потребовалось предельно сблизить два возрастных человеческих космоса — детство и старость, начало и закат жизни. Духовно-нравственное богатство, которое вошло вместе с Момуновыми сказками в доверчиво-восприимчивую душу ребенка, стало и ее «ахиллесовой пятой». Пуля, сразившая самку марала, отождествленную в детском сознании с легендарной Рогатой матерью-оленихой, отринула от жизни и сирого внука Момуна, а для самого старика его выстрел — акт отступничества от своей веры — обернулся, по сути дела, духовным самоубийством. Тут и вина и беда Момуна, причем последняя для писателя, может быть, даже важнее первой, ибо она — итог переплетения многих субъективных и объективных факторов. «Я хотел, — подчеркивал Айтматов, — показать зависимость Момуна. Я хотел сказать, что обществу надо еще много поработать, чтобы сделать его независимым, счастливым, свободным».

Вечный трудяга, чьи руки знакомы со многими ремеслами, Момун убежден, что только добро способно порождать добро, что люди учатся ему друг у друга. В нем дает о себе знать та «генетическая» человечность, которой по словам Айтматова, наделен другой его герой — Буранный Едигей, неспособный, несмотря ни на какие превратности судьбы, «мстить» жизни, как это делает объездчик Орозкул. И гражданское сознание в Момуне (как-никак он прошел в войну трудовую школу Магнитки) выражено куда более отчетливо, чем в других обитателях кордона. Ему не надо объяснять, что такое Орозкул как общественное явление: «И почему только люди становятся такими? — сокрушался Момун. — Ты ему добро — он тебе зло. И не застыдится, и не одумается... Все вокруг должны угождать ему. А не захочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него пароду — раз-два и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше? Не приведи боже... И нет им переводу, таким».

За глубинной сутью того, что происходит на жизненном «пяточке» повести, за образами Орозкула и его заезжих собутыльников, за физической ленью и общественным равнодушием подсобного рабочего Сейдахмата, встают явления весьма широкого и актуального значения. Это и психология временщиков (а сре-

ди них люди самого разного социального положения и образовательного ценза), для которых природа только источник удовлетворения их сиюминутных прихотей и своекорыстных вождедений; мораль «государственного частника», действующего по пресловутому принципу «ты — мне, я — тебе»; оголтелый карьеризм тех, кто пьянеет от одного «запаха» власти, атмосферы вседозволенности; общественная инертность и безвольное приспособленчество тех, кто становится подножием для возвышения «сильных» личностей.

Жизненные представления и эмоции Орозула вполне, так сказать, «социальны», несут отпечаток печального для народа исторического опыта. Вот он, полыхая гневом против взбунтовавшегося было Момуна, думает про себя: «Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог. Не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уже порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалеют: председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством как ровня. Дураки, власти недостойные! Разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко, головы летели, и никто ни звука. Вот это было — да! А что теперь? Самый никудышный из никудышных и тот вопи вдумал вдруг перечь». И даже тоска по неродившемуся сыну окрашена у него в тона социальной престижности. Бездетность он оцепивает как ущербность особого порядка («А чем он, Орозул, хуже других?.. Или по должности не вышел?»). Приходилось в критике читать о «растлевающем влиянии патриархальных пережитков, активным носителем которых в этой повести является маленький «начальник» лесного кордона, объездчик Орозул». Трактовать этот персонаж лишь в русле патриархальных традиций и нравов — значит обеднять содержание повести. Если Орозул и оглядывается в прошлое, то отнюдь не в патриархальное. Его «идеалы» совсем иного свойства. На заповеди предков, живущие в легендах и преданиях, древних обычаях, которыми дорожит Момун, ему в общем-то наплевать. Для него и родной-то язык, как явствует из «внутреннего монолога», немногого стоит. Он мается тоскою по большому городу, ему грезится «изячная» жизнь со вполне «светским» времяпровождением. Там, по его понятиям, и уважение к «начальству» больше:

«Раз начальник — значит обязаны уважать. Большая должность — больше уважения, культурные люди». Весьма характерно для интеллектуального уровня Орозкула это отождествление культурности с чиновничьим, раболепством. А вот как ему видится семейная «городская» педагогика: «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это...» Разве же своему чаду что пожалеешь...» Мечтания этого персонажа вполне в духе современной потребительской психологии, общественную опасность которой не приходится преуменьшать.

Развитие сюжета повести, ее конфликта заостряет до предела мысль о том, что браконьерство в мире природы смыкается с браконьерством в сфере человеческой. Детская душа — это ведь тоже заповедник. Заповедник ростков добра и справедливости. И охрана ее — это забота общества о своем духовном здоровье и достойном будущем. Герой одного из давних айтматовских рассказов «Красное яблоко», вузовский преподаватель Исабеков, оказавшийся в семейных делах на распутье, приходит в смятение от возможности «исковеркать психику» малолетней дочери: «Так уж устроена душа человеческая: заморозить ее легко, отогреть трудно, а порой невозможно». Мальчик из «Белого парохода», едва появившись на свет, уже оказался под житейскими сквозняками — он брошен родителями, и только забота и любовь деда Момуна мешали судьбе «заморозить» его доверчивую душу.

Тема ответственности перед детством, необходимости снабжать его в жизненный путь надежным запасом доброты и человечности столь глубоко занимает ныне писателя, что она стала одним из ведущих мотивов романа «Буранный полустанок».

В стихии высокого реализма, на фундаменте которого воздвигнут сурово драматичный и вместе с тем поэтически хрупкий мир «Белого парохода», большоголовый ушастый мальчик выступает как бы в двух ипостасях. С одной стороны, он вполне обычный ребенок, со своими возрастными забавами и мечтами, печалью и радостями. Но в концептуальном послые повести он еще и поэтическая метафора, метафора извечных «зерен совести», о которых автор говорит в финальных строках. Не парадокс ли: сломлен росток будущего — мальчик «уплыл рыбой по реке», «уплыл» в небытие, а мы толкуем о жизнеутверждающем пафосе пове-

сти, о торжестве над злом в лице Орозкула? Парадокс, если руководствоваться обыденной логикой, а не законами эстетического восприятия и правосудия. «Смертию смерть поправ» — это ведь можно сказать и об айтматовском мальчишке, отвергнувшем то, с чем не мирилась его детская душа. О мальчишке — внуке Расторопного Момуна, — что в лучах сказки о Рогатой матери-оленихе, которой его так безжалостно лишили, и сказки о «Белом пароходе», которую он унес с собой в «плавание», укрупняется до символа максималистской непримиримости ко злу. Не отсюда ли «космическая» образность, патетическая интонация финальных строк, способных, пожалуй, озадачить даже и иного искушенного читателя: «Ты прожил как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение».

Судьба-молния... Судьба-предостережение. Наверное, только тогда художник решается на подобное «жертвоприношение», когда ищет самый верный путь, чтобы крик его души набатом коснулся слуха каждого. В ответ на упреки некоторых критиков в том, что в повести проявлено «жестокосердие, отсутствие жалости», Айтматов резонно заметил: «Так ли важно жалеть мальчишка? По-моему, его надо понимать прежде всего, а там и жалеть, если душа к тому расположена...»

* * *

Даже для читателей, привыкших ждать от Айтматова художественной и тематической новизны в каждой последующей его работе, повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» оказалась неожиданностью. И впрямь, кто бы мог предположить, что писатель позовет нас в северные широты, где трое уже повидавших виды нивхов отправились в плавание, взяв на этот раз с собой в лодку одиннадцатилетнего Кири-ска, ибо ему пришла пора, как это надлежит настоящему мужчине, побрататься с морем, познать трудное и опасное ремесло охотника — добычника и кормильца сородичей. Первая в жизни Кири-ска морская охота стала последней для старейшины рода Органа, отца мальчишка Эмрайина и его двоюродного дяди Мылгана. Недолгой была для Кири-ска морская наука

старших, но разве изгладится из его памяти урок мужества, человеческой солидарности в беде, который они ему преподали?

Есть необходимость обратить внимание читателя на факт авторского посвящения этой повести зачитателю нивхской литературы Владимиру Санги. Здесь не просто открытое проявление добрых чувств и уважения к собрату по перу. За этим посвящением открывается примечательный штрих творческой биографии художника, истоки замысла его книги. Не является секретом, что намерение написать эту повесть возникло после знакомства Айтматова с легендой о дикой утке Лувр и эпизодом первого выхода мальчишки (это был Санги) на охоту в море, услышанными им из уст нивхского друга. Об этой памятной встрече у себя дома и о своем отношении к айтматовской повести Санги поведал в публикации под симптоматичным названием «Легенда, созданная заново». Тут много любопытного с точки зрения психологии творчества, писательской лаборатории Айтматова. Отметив, что в «Пегом псе...» есть некоторые неточности в изображении складывавшегося веками быта нивхов, спорные, с точки зрения их фольклорной традиции, штрихи в поведении героев, В. Санги оценил в целом повесть как оригинальное и незаурядное явление советской литературы, как «поэму о самопожертвовании», «ставшую духовным достоянием нивхов».

Притчевая природа, смысловая сгущенность повествовательного сюжета неотделимы в «Пегом псе...» от реалистической вещности, осязаемости мира, окружающего героев, от психологической мотивированности и житейской пацеленности их действий, действий людей с «нерасчлененным» сознанием. И в этом мы вновь узнаем Айтматова, чье творчество чурается бесплотной-обнаженной условности, отвлеченного умствования, узнаем художника, который прочно держится земной тверди даже тогда, когда его дух воспаряет в горные выси. В искусстве, как и в жизни, линза случайного способна укрупнить и высветлить для нашего глаза корневое, глубинное в человеке. В архаическом, мифологизированном мировосприятии охотников-нив-

хов, плененных в море непроглядным туманом, нам открываются непреходящие альтруистические ценности.

Иссякает запас пресной воды — залог жизни, но не иссякает запас духовной прочности, человеческого достоинства у рыбаков. На всех четверых одна лодка, одна неизбежная доля. Но за этой роковой общностью обнаруживается общность более высокого духовного порядка: готовность каждого «поторопить» свою судьбу. Старшие один за другим канули в морскую пучину: у юного Кириска должен оставаться хоть крохотный шанс вновь увидеть чистое небо над головой, вернуться в бухту Пегего пса, чтобы продлить собой род, давший ему жизнь. Так возникает дорогая для Айтматова тема — тема героического поведения человека в «пограничной» ситуации. Не стремление выжить за счет другого, а решимость ценой собственной смерти продлить, пусть хотя бы на короткий миг, жизнь своего соплеменника, брата по крови и духу, — вот что движет пивхскими охотниками.

Что же до автора, то его «сверхзадача» в этой повести — напомнить о долге каждого из нас в отдельности и всех вместе заботиться о том, чтобы никогда не оборвалась во вселенной нить человеческого бытия, оберегать детей земли от смертельной мглы, в которую способна погрузить извечную колыбель человечества термоядерная война.

* * *

Любопытный штрих: критика привычно ссыалась на произведение Айтматова даже и в тех случаях, когда речь шла о состоянии жанра романа. Одно из авторов даже уличили в том, что «он объявил романистом Ч. Айтматова, не создавшего ни одного произведения в этом жанре». Подобную аберрацию критического зрения можно объяснить тем, что айтматовские повести были насыщены «романным содержанием», несли в себе «дыхание эпоса». И поэтому приход автора рассказов и скромных по размерам, но емких, заключавших в себе большие обобщения повестей к первому своему и единственному пока роману «Буранный полустанок» («И дольше века длится день...») — закономерный результат его творческой эволюции.

Никогда еще перо Айтматова не очерчивало контуры человеческого бытия и миропорядка с таким вольным разбегом, как в этом произведении, протягивая связующую нить от потаенных глубин духа простого железнодорожного рабочего с глухого степного разъезда до звездных бездн вселенной.

Роман «Буранный полустанок» тоже относительно невелик размерами. Но художественная плоть его вместила на редкость богатое содержание, органично — в новаторском ключе — синтезировала в себе ведущие мотивы творчества автора, многие стилевые обретения и нравственные искания современной прозы.

Поразительно многозначна образная система этого произведения, где мощно прорастают друг в друга разнородные жанрово-стилевые пласты, где одно перетекает в другое, набухая новым смыслом, и где, однако же, четко различимы поэтические берега — тема связи времен, памяти прошлого, преемственности духовно-нравственного и эстетического опыта поколений, без «ферментов» которого человеческая личность обречена на ущербность.

Айтматову всегда был свойствен демократизм в выборе главных героев, и сводил он нас с ними, как правило, вдали от «большаков» истории. Вот и теперь «прописаны» они в крохотном — в несколько домов — поселке Боранлы — Буранном, что притулился в бескрайней сарозекской степи к железнодорожной магистрали. Только перестук колес поездов, идущих из края в край державы, каждодневно напоминает жителям разъезда о напряженном пульсе народной жизни. Боранлинцы — это затерянный в степи островок человеческого братства, где спешат на помощь по первому сигналу чьей-то беды, где радость соседа становится твоей радостью, где о чужих детях заботятся как о своих. Не случайно здесь чувствует себя по-родственному, отдыхает душой крупный ученый-геолог, знаток истории сарозеков Афанасий Иванович Елизаров, дружбой с которым так дорожит и гордится Буранный Едигей — главный герой романа. Взаимная приязнь связывает Елизарова и с Казанганом, старожилом здешних мест, хранителем их древних преданий. Смерть Казангана дала первотолчок действию романа, в недрах которого прославляются прошлое и настоящее, события сиюминутные и воскре-

шенные памятью Едигея, решившего во что бы то ни стало выполнить последнюю волю усопшего — похоронить его на родовом кладбище Ана-Бейит.

В поле зрения читателя попадают разные люди, но, как любые расстояния в необозримых сарозеках измеряются применительно к великой железнодорожной магистрали, так и круговращение событий в романе имеет своей осью характер и судьбу Едигея. Все происходящее здесь как бы пропущено сквозь сознание бывшего аральского рыбака и фронтовика, окрашено его эмоциями, оценивается по камертону его совестливой и отзывчивой души. Иным залетным искателям нехлопотной жизни Едигей и его старший товарищ Казангап казались странными чудаками, достойными прописи и пасмешек. Что может десятилетиями удерживать человека на этом безводном клочке земли? Что заставляет его по доброй воле сносить физические муки, трудиться часто на пределе человеческих сил и возможностей? «Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь». Ощущение в себе этого «духа» питало самоуважение Казангапа и Едигея, а способность исполнить то, что дано не всякому, но без чего не может нормально функционировать крупнейшая железнодорожная магистраль, рождало ощущение своей нужности в мире. Есть такая порода людей, духовно прочных и надежных — а наши герои из их числа, — которые впитывают в себя чувство долга словно бы с материнским молоком: на них, умеющих думать об общем как о своем, о других как о себе, стояла и стоять будет наша советская земля.

Едигей дорог писателю как «человек трудолюбивой души», задающийся сложными вопросами бытия, напряженно ищущий на них ответы. Эмоционально открытый для поэзии и красоты жизни, внутренне глубоко сродненный с миром природы, он способен не только сострадать всему живому, но и бороться за поправную справедливость. Все это дает возможность писателю поставить Едигея, простого рабочего, в самые разнообразные отношения и связи с большим миром жизни, восходя от частного, личностного ко всеобщему, позволяет заглянуть вместе с нами в «колодец истории».

Как и в прежних своих работах, Айтматов не только не отвращает взора от «болевых точек» минув-

шего, но воспринимает их, пожалуй, еще обостренное, рассматривая в близком соседстве друг с другом, пытаясь обнаружить общность их социально-психологических корней. Он заставляет своих героев — Едигея, Елизарова — упорно размышлять об истоках человеческой несправедливости, о природе подлости и жестокости, труднодостижимых в иных конкретных проявлениях своей агрессивности. Ответов, которые бы удовлетворяли до конца, исчерпывали суть дела, они не находят. Но на то они и «вечные», эти вопросы.

Роман, хотя и вскользь, напоминает нам о «перегибах» в раскулачивании, жертвой которых стал не только Казангапов отец, умерший по дороге из ссылки, но и сам он, подвергшийся «злоглумлениям» и оттого навсегда оставивший родной аул, где продолжали хозяйничать «перегибщики». Откроются нам и размашисто-неразборчивые действия «пружины послевоенного сознания», что укоротили жизнь бывшего учителя Абуталина Куттыбаева, который стал среди своих соотечественников, как сказано в романе, «изгоем». Прошлое Абуталина — а там был и фронт, и побег из фашистского плена, и сражения в составе подразделений югославских партизан, и боевые награды от их командования, и ранения, — это прошлое стало словно бы магнитом для человеческого жестокосердия и ненависти, своей безжалостной рукой напаривших учителя даже в «забытом богом» поселке Боранлы.

«За все на земле есть и должен быть спрос» — в этих словах Казангапа видится мне важный авторский посыл, объясняющий, почему страницы романа — это не только мужественная песнь во славу беззаветных тружеников, их духовной силы, но и некий «суммарный счет» тому, что калечило и принижало личность, покушалось на ее сокровенную суть. Начало этого «счета» — блистательно изложенная легенда о древних кочевниках — жуаньжуанях, духовно оскопивших своих пленников, превращая их в рабов-«манкуртов», которые забывали не только свою родословную, но и самое имя свое.

В своих выступлениях Айтматов не раз ссылаясь на полюбившуюся ему мысль Леопида Леонова о том, что выход в космос дал человечеству возможность увидеть себя со стороны. Есть у писателя и высказы-

вания о том, что в нравственном отношении род людской не поспевает за свершениями своего разума и своих рук, бессилен перед разгулом социальной стихии, ведущей нередко к абсурду в межгосударственных и политических отношениях. «Иногда, — констатирует писатель, — человечество с достоинством выходит из положения, но часто оно терпит поражение».

Пожалуй, именно последнее происходит в той фантастической ситуации, которая «смоделирована» в романе «Буранный полустанок». Раздираемое противоречиями человечество спасовало, взглянув на себя «со стороны», признав свою нравственную неготовность к контактам с неизмеримо более совершенной, не знающей войн и насилия цивилизацией, обнаруженной космонавтами-землянами в другой галактике — на планете «Лесная грудь». Правда, если быть точным, то говорить в данном случае надо не о человечестве как таковом, а о действующих на пачалах «паритетности» двух великих государствах, которые представляют противоположные социально-политические системы. И тут в русле фантастического сюжета-метафоры, включающего в себя пунктирный набросок социальной утопии, возникают «подводные камни», на которые невольно натывается наш классовый инстинкт, к коему в условиях нынешнего переменчивого общественно-политического климата на планете надлежит особенно внимательно прислушиваться.

Но прежде несколько слов о том, как торжествующая в фантастической фэбуле логика «паритетности» вступает в самую неожиданную перекличку с легендой о «манкурте». Ракетный «Обруч» вокруг чела Земли — это ведь некий аналог того «шири» из сыромятной кожи, который по мере усыхания на голове человека-раба сдавливал ее с такой силой, что начисто лишал памяти. Ракеты-роботы вышли на перекрестные околоземные орбиты, чтобы исключить всякую возможность для инопланетян приблизиться к древней колыбели человечества и каким-либо неблагоприятным образом повлиять на здешнее жизнеустройство, сложившееся равновесие противоборствующих сил, сам характер человеческого мышления. Ракетный «Обруч» призван лишить землян «воспоминаний о будущем», открывшемся космонавтам, в которых жажда познания и мечта о благоденствии человечества оказались сильнее уважения к предписан-

ному им регламенту. Беспамятный «манкурт» бестрепетно убивает свою родную мать. Космонавты отторгнуты от родной планеты «как лица нежелательные для земной цивилизации».

Грех этот, хочешь не хочешь, и мы, читатели, как представители рода человеческого должны принять на свой счет. «Все касается всех», — говорит писатель. Ведь по законам художественного восприятия для нас являются сегодняшней реальностью не только Владивосток и Сан-Франциско, подключенные к фантастическому происшествию, но и Едигей — свидетель стартов ракет, образующих «Обруч», и все прочие персонажи романа. И значит, нравственный суд распространяется на все происходящее в нем.

«Паритетность» — как знак равновеликого вклада в предпринимаемую космическую акцию — отвлекается от качеств двух мировых сил, степени их исторической жизнеспособности, приближения к идеалу всечеловеческого жизнеустройства.

«Мы все сегодня в одной лодке, а за бортом — космическая бесконечность», — говорил Айтматов с трибуны софийского международного писательского форума. Сидящим в «лодке» — а это и каждый из нас, читателей романа, — важно, разумеется, не только глубоко проникнуться (а именно к этому страстно призывает писатель) сознанием своей личной ответственности за надежность и прочность нашего общего земного обиталища, но и ясно видеть, кто же в первую очередь безрассудно играет сегодня его судьбами, ставя на карту будущее человечества. Ответ на этот далекий от праздности вопрос «не вписался» в ткань повествования. Тут сказалась некая его «герметичность» — производное от жесткости концепции фантастической истории, в которой «паритет» не уживается с чьим-либо нравственно-гуманистическим «приоритетом». И потому в комментарии «От автора» как нельзя кстати пришли и слова о «политических, идеологических, расовых барьерах, порожденных империализмом».

К финалу романа в тугой узел сплетаются земная реальность, фантастика и легенда о птице Доненбай, возникшей из белого платка матери «манкурта».

...Одна за другой стартуют ракеты-роботы, обвальным грохотом и гигантскими огненными сполохами полнится небо над сарозеками. И этот момент (автору

тут потребовалось слово «светопреставление») как бы уравнивает Едигея, Каранара и Жолбарса: «Человек, верблюд, собака — эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг с другом...» Если бы этой почти апокалиптической картины завершался роман, то можно было бы, пожалуй, поставить под сомнение оптимизм его исторической концепции. Если бы... Если бы нас еще не ждала маленькая заключительная главка, из которой явствует, что Едигей и не думал капитулировать в вопросе о судьбе Апа-Бейит, что он готов до конца отстаивать свою правду.

Дорогу осилит идущий. Как бы крута она ни была. Едигей идет по дороге жизни, не боясь ее крутизны, потому что вера его друга Елизарова в то, что «справедливость неистребима на земле», — это и его, Едигея, вера.

Из всего сказанного выше никак, конечно, не вытекает, что я разделяю точку зрения тех критиков, которые считают, что в эстетическом плане космическая линия недостаточно органично вписана в ткань романа, нуждается в большей пластичности, художественной полноценности. Тут стоит внимательнее прислушаться к словам самого автора о том, что «фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения», что космическая история понадобилась ему для того, чтобы в парадоксальной, гиперболизированной форме напомнить о той опасности для человечества, которой чревато современное состояние мира. На уровне «метафоры» в «Буранном полустанке», на мой взгляд, все на месте — сказано столько, сколько надо, и с той мерой художественной детализации, которая нужна для решения стоявшей перед автором задачи. И прав был Е. Сидоров, подчеркнувший, что «без космической одиссеи романа не было бы. Был бы еще один, пусть и блестящий, вариант «Прощай, Гульсары!».

* * *

«Каждая эпоха посылает на скачки своего всадника» — этот афоризм родился в Киргизии, и о нем невольно вспоминаешь, думая о судьбе Айтматова — художника и общественного деятеля. Эпоха небыва-

лого расцвета культуры киргизского народа избрала его своим «всадником», и он в стремительном творческом порыве уверенно берет один рубеж за другим. Герой Социалистического Труда Чингиз Айтматов достойно представляет сегодня литературу социалистического реализма перед всем читающим миром.

Знакомство с публицистическими, литературно-критическими статьями, интервью, которые войдут в третий том настоящего Собрания сочинений, даст возможность почувствовать, как напряженно размышляет писатель над вопросом об общественной миссии современного искусства, как упорно ищет универсальную формулу высшей цели творческой деятельности, которая могла бы объединить художников самых разных идейно-философских устремлений и эстетических платформ перед лицом нависшей над человечеством угрозы термоядерной катастрофы. «В своем понимании смысла жизни, — говорит писатель, — я исхожу из того, что разум венчает все, что он неотделим от добра и неизбежно противостоит злу. Поэтому я считаю, что высшее предназначение литературы — пробуждая разум людей, культивировать гуманизм. И это то, что нас, ныне живущих писателей, должно объединить в мировую литературу». Быть гуманистом сегодня — значит думать о судьбах как отдельной личности, так и всего человечества, страстно защищать его право на жизнь, на будущее. Следуя логике рассуждений писателя, можно, пожалуй, сказать, что современная литература в силу своей глобальной ответственности должна быть не только человековедением, но и человечествоведением. И творчество Айтматова все шире распахивает перед нами дверь в сферу проблем, от которых зависит социальный и духовный прогресс всех народов земли, завтрашний день планеты. «Не надо бояться высоких слов, — говорит писатель. — Не надо, конечно, и произносить их излишне громко. Можно оглушить и самих себя. Но высокое слово необходимо. Особенно оно необходимо литературе и искусству». Книги писателя-коммуниста Айтматова, пронизанные любовью к человеку, верой в его силы, духовную красоту, и есть высокое слово в искусстве, слово, которому внимают сегодня миллионы.

И. ПОТАПОВ

Лицом к лицу

Мимо единственного на полустанке фонаря косяками проносились охапки сырых тополиных листьев. В эту ночь тополя роняли листву. Прямые и стройные, как шомпола, упруго раскачивались они на ветру, и шум их высоких вершин напоминал отдаленный рокот моря.

Темна ночь в ущелье Черной горы. Но еще непроглядней она на маленьком полустанке под горой. Время от времени темнота словно колыхнется от света и грохота поездов; поезда проносятся дальше, и снова на полустанке темно и безлюдно.

Эшелоны идут на запад. Вот и сейчас подошел длинный состав с пропыленными вагонами. В приоткрытой топке паровоза сверкнуло огне-красное пламя; лягнув буферами, вагоны остановились. Никто не сошел на полустанке, никто не крикнул: «Какая это станция?» Люди, истомленные дальней дорогой, спали в вагонах. Только неостывшие оси колес продолжали еще тонко поскрипывать.

Когда дежурный по станции, размахивая фонарем и тяжело топая сапогами, пробежал в голову состава, из предпоследнего вагона высунулся дневальный. За плечом у него смутно блеснул штык винтовки. Дневальный, вытянув шею, стоял у двери, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь. В ущелье, как всегда, дул резкий ветер, за приземистой станционной улочкой, где-то под обрывом, натруженно, подспудно гудела река. По лицу дневального скользнул холодный тополиный лист — словно коснулась щеки дрожащая ладонь человека. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона. Потом снова выглянул: безлюдье, ветер, ночь...

Спустя минуту вороватой тенью отделился от вагона человек в шинели, отошел к кустам у арыка и скрылся в них. Раздался пронзительный свист. Человек в кустах рванулся бежать, но тут же притих, прижался к земле. Он понял: это дежурный давал свисток к отправлению. Вагоны тяжело заскрипели, и поезд тронулся в свой дальний путь.

Отгудели над рекой пролеты моста. Дальше — туннель. Паровоз, прощаясь, заревел во всю мощь своей глотки.

Когда стихло эхо в скалах, когда наконец успокоились растревоженные галки на станционных деревьях, человек приподнялся в кустах и начал дышать шумно и жадно, словно перед этим долго сидел под водой.

Все глуше и реже постукивали рельсы, откликаясь на бег удаляющихся колес.

Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов.

Темна ночь в ущелье Черной горы...

С тех пор как Сейде родила, сон у нее чуток, как у птицы. Перепеленав ребенка в сухое, она сидела при свете фитиля, приткнувшись боком к бешику*. Ее смуглая гладкая грудь, выпростанная наружу, мягко нависла над детской головкой.

В углу, накрывшись поверх одеяла чапанами, спала свекровь. Старая она, слабая, кашляет со стоном, как больная овца. Сил хватает лишь на то, чтобы молиться богу. Даже во сне бормочет: «О создатель, вручаю тебе судьбы наши...» Когда Сейде уходит на работу, старуха нянчит внука. Все-таки помощь! Она и в поле носит ребенка, чтобы мать покормила его грудью, а сама дышит с хрипом, и руки мелко трясутся. Старухе очень трудно, но она никогда не жалуется: кому же, как не ей, нянчить первенца своей единственной снохи?

Давно уже за полночь, а все не спится. Да и можно ли спокойно уснуть? Кто бы мог подумать, кто мог ждать, что настанут такие времена? Появились слова, ранее не слышанные: «герман», «фашист», «повестка»... В аиле что ни день, то проводы. С курджунами, с мешками за спинами собираются мужчины на большой дороге, набиваются в брички и кричат на прощанье: «Э, полно вам слезы

* Б е ш и к — детская кочевая люлька.

лить!» Брички трогаются, мужчины машут тебетями: «Кош! Кайыр, кош!..» * Заплаканные женщины и дети, сбившись в кучу, стоят на бугре, пока брички не скрываются из глаз, потом молча расходятся. Что-то будет дальше, что ждет их впереди? Вернутся ли с войны аскеры? **

Прошлым летом, когда Сейде, чабанская дочь, вошла в семью мужа, их дом еще не был достроен: стены не засаманены и не оштукатурены, крыша не залита глиной. Если бы снова вернуть те дни! Урывками достраивали они свой дом, и, может быть, так же урывками Сейде грелась в лучах своего короткого счастья. Помнится, из арыка бежала теплая струйка воды, а они с мужем, высоко взмахивая кетменями, перемешивали полову с землей и, заголив ноги до бедер, месили звучно чмокавшую глину. Это была тяжелая работа; новое сатиновое платье Сейде полиняло за несколько дней, но они совсем не замечали усталости. Муж тогда казался очень довольным, он то и дело хватал жену за полные смуглые руки, обнимал и, балуясь, наступал ей в глине на ногу. Сейде вырывалась, со смехом бегала вокруг ямы. Когда муж догонял ее, она сердилась для виду:

— Ну, оставь, оставь же! Ведь мать увидит — и не стыдно? — А сама тут же пряталась за плечи мужа, на мгновение прижимаясь к его спине сильными, упругими грудями. — Ну, довольно, говорю, ой, ты посмотри только на себя, на кого ты похож, все лицо в глине!

— А ты сама-то? Сперва на себя посмотри!

И Сейде доставала из карманчика бешмета, брошенного в тени под деревом, маленькое круглое зеркальце. Это она не ленилась делать и всякий раз, застенчиво отворачиваясь от мужа, с радостью смотрела в зеркальце на свое раскрасневшееся лицо, заляпанное глиной. Но ведь глина не испортит красоты — стоит только смыть ее. Сейде смеялась перед зеркальцем, смеялась от счастья. Пусть себе брызжется глина!

Вечером, искупавшись в арыке, она ложилась под урючиной в постель, тело ее долго сохраняло запах и прохладу проточной воды. А в темной синеве ночи над головой матовым перламутром светились иззубренные вершины снежного хребта, на люцернике, за арыком, цвела свежая, душистая мята, где-то совсем рядом в траве пел перешел. Ее охватывало отрадное ощущение светлой спокойной

* Кош, кайыр кош — до свидания, прощайте.

** Аскер — солдат, воин.

красоты в себе самой и во всей окружающей ее жизни, и она еще ближе поддвигалась к мужу, мягко закидывала руку за его шею. А сколько они мечтали в ту пору! О том, как достроят дом, как обзаведутся хозяйством, как пригласят к себе ее родителей и какие приготовят для них подарки... Все это было счастьем. Время тогда летело стремглав — не заметишь, как день сменяется ночью.

Когда засаманили стены, началась война. Кое-как, наспех, отштукатурили стены внутри дома, и тут начали брать джигитов в армию.

Никогда не забыть того дня, не остыло еще горе разлуки. Словно вчера все это было. Мобилизованных проводжали всем аилом за околицей. Сейде постыдилась людей и не посмела проститься с мужем так, как ей хотелось: ведь она была здесь совсем новенькой келин *. Она неловко сунула мужу руку, потупилась, боясь показать слезы; так они и расстались. Но когда джигиты скрылись в степи, Сейде вдруг поняла до боли, что надо было послушаться сердца, отбросить стыдливость перед старшими и, может быть, в последний раз крепко обнять, крепко поцеловать мужа. Как горько упрекала она себя! Не успела даже шепнуть ему на ухо о своей смутной догадке: кажется, она забеременела. Но было уже поздно. Потерянного не воротишь. Там, далеко в степи, пыль застилала дорогу. С той поры потянулись гнетущие дни, и все, чего она не сумела выполнить, теперь спеклось кровью в груди; она всегда ощущала в своей груди этот жгучий, мучительный комок.

Фитиль догорал. Жалко было отнять грудь у маленького: он так хорошо уснул с соском во рту; иногда вдруг шевельнется и опять нежно зачмокает. Далеко отсюда кочевали мысли Сейде.

Со двора кто-то осторожно постучал в окно. Сейде вскинула голову, насторожилась. Снова повторился негромкий, прерывистый стук. Сейде быстро отняла грудь, сбросила с плеч чапан и легкими шагами подошла к окну, бессознательно застегивая на груди пуговицы платья. Через низкое окно во дворе ничего не видать — мрак.

Сейде забько передернула плечами, чуть слышно звякнули подвески на косах.

— Кто там? — подозрительно спросила она.

— Я... Открой... Сейде! — приглушенно и нетерпеливо ответил хриплый голос.

* К е л и н — молодка, невестка.

— Да кто ты? — неуверенно переспросила она, отпрянула в сторону и метнула испуганный взгляд на детский бешик.

— Я... Это я, Сейде, открой!

Сейде наклонилась к окну, тихо вскрикнула и, схватившись за голову, опрометью кинулась к двери.

Дрожащей рукой нащупала она в темноте крючок, рванула дверь и беззвучно припала к груди стоящего перед ней человека.

— Сын свекрови! Сын моей свекрови! — сдавленным шепотом выговорила она по привычке и, уже больше не в силах сдерживаться, назвала его по имени: «Исмаил!» Сейде заплакала. Какое счастье, какое нежданное счастье — ее муж вернулся живой и невредимый! Вот он стоит, Исмаил, и от него пахнет крепкой махоркой. Ворот шинели грубым ворсом царапает ей лицо, словно волосистой аркан.

Что же он молчит? Или это от радости? Дышит тяжело и, как слепец, торопливо шарит, гладит руками ее плечи и голову.

— Зайдем-ка в дом! — быстро прошептал Исмаил, сгреб ее в охапку, шагнул через порог. Только теперь опомнилась Сейде:

— Ой, да что ж это я, глупая? Мать, суюнчу*: сын вернулся!

— Чш! — Исмаил схватил ее за руку. — Стой, кто дома?

— Мы одни, сын твой в бешике!

— Постой, дай отдышаться!

— Мать обидится...

— Подожди, Сейде!

Все еще не веря в то, что муж вернулся, Сейде порывисто обняла его, истово прижалась. В темноте они не видели друг друга, да надо ли видеть? Она слышала, как под сукном шинели отрывистыми, неровными толчками билось его сердце. Не во сне, а наяву она целовала его обветренные жесткие губы.

— Истосковалась я! Когда вернулся-то? Насовсем? — спрашивала она.

Исмаил снял с плеч руки Сейде и сказал глухо:

— Прямо со станции... Подожди, я сейчас...

Он вышел во двор и, оглядываясь по сторонам, прокрался к сараю. Через минуту вернулся. В руках у него

* Суюнчу — радостная весть.

была винтовка. Нащупав ногой кучу курая* в углу, засунул винтовку под самый низ.

— Что делаешь? — удивилась Сейде. — Поставь в комнате!

— Тихе, Сейде, тихе!

— Почему?

Не ответив на вопрос, Исмаил взял ее за руку:

— Идем, показывай сына.

Почти каждый день, в сумерках, с дальних лугов, густо поросших чийняком и кураем, Сейде таскает вязанки хвороста. Долго бредет она по не приметным овечьим тропам с увала на увал и, когда аил уже близко, присаживается на бугре отдохнуть в последний раз. Ослабив петлю веревки, переброшенную через грудь, она вздыхает с облегчением и прислоняется спиной к вязанке. Хорошо сидеть так, на минуту забыв обо всем, и спокойно смотреть в небо. Внизу, в аиле, тархтят брички, слышны голоса верховых, разъезжающих по улице. Ветер доносит знакомый запах кизячного дыма, прелой соломы и пережаренной кукурузы.

Но сегодня Сейде не удалось отдохнуть. Издалека доносилось эхо паровозного гудка. Сейде встрепенулась, натянула веревку, с раскачкой стронула с земли вязанку и, взвалив ее на себя, быстро пошла, сгибаясь под тяжестью. Гудок паровоза напомнил ей о побеге Исмаила. Беспокойно заняло сердце.

Сейде шла по улице, опасаясь, как бы не встретился кто-нибудь, не остановил бы ее. «Скорей бы кончались лунные ночи», — думала она. Тогда бы ей не приходилось каждый день ходить за хворостом, готовить Исмаилу еду и потом носить ее к нему в убежище. «Не дай бог, а вдруг заподозрят! Женщины уже не раз приставали, чтобы она показала им курайное место. Но брать их с собой нельзя: там Исмаил. Днем он отлеживается в пещере, а в темные ночи пробирается домой. Когда он приходит, они завешивают окна, запирают двери. На всякий случай под конулом** Сейде вырыла яму и прикрыла ее циновкой из чия и кошмой.

Так и живут. Старуха мать никак не может привыкнуть к такой жизни — туговатая на ухо, она напряженно

* Курай — растение, сорняк.

** Конул — пространство под нарами, на которые складывают тюки, одеяла и кошмы.

прислушивается к каждому шороху, поминутно вздрагивает, с жалостью и страхом поглядывает на Исмаила слезящимися красновекими глазами. Кажется, она думает, украдкой вздыхая: «Эх, сынок ты мой, бедный сынок!»

Исмаил начинает иногда расспрашивать, как идут дела в аиле. Но это ни к чему. Ему не по себе, чаще всего он сидит молча, угрюмый, устало опустив плечи, и с нетерпением поглядывает на кипящий казан. Надо побыстрей накормить его, чтобы до рассвета он успел вернуться в свою пещеру. Сейде суетливо возится у очага и думает свои думы. Ей и жалко Исмаила, и она боится потерять его, боится остаться одна с больной старухой и сыном на руках. Исмаил очень изменился. В пещере он не видит солнца, не дышит ветром, лицо его приняло землистый оттенок, на опухших щеках торчит взъерошенная борода. Иной раз он смотрит жалостно, беспомощно, как загнанная лошадь, а иной раз глаза его твердеют, черные точки зрачков поблескивают в щелях век со скрытой жестокостью и яростью, бледнеет прикушенная губа. Глянешь на него — жуть берет! В такие минуты Исмаил даже забывает о сыне, которого держит на руках.

Таким ли был Исмаил в прошлое лето? Черный от загара, жилистый, как журавль, он работал не покладая рук, не зная усталости. Тогда они строили дом. Тогда все было ясно и просто в их жизни, ничто не смущало и не тревожило их. Надо было только жить и трудиться. «Вот построимся, обнесу усадьбу дувалом — от чужого глаза», — частенько говорил Исмаил, по-хозяйски оглядывая двор. А теперь он дезертир. Теперь он приходит в собственный дом украдкой, по ночам. И как только придет, уже торопится уйти.

Сейде старается не замечать этого. В те редкие ночи, когда муж приходит и сидит перед нею с сыном на руках, ей смертельно хочется забыть обо всем, забыть, забыть и хоть на один короткий час по-настоящему быть счастливой.

«Мужчина знает, как ему поступать, — утешает она себя, раскатывая на доске тесто. — Ведь Исмаил говорит: «Каждому своя жизнь дорога, а в эту войну только тот и уцелеет, кто сам позаботится о своей голове». Не мне его учить, значит, так надо, ему виднее, разве стану я собственными руками отрывать его от себя? Да ни за что! Он и сам говорит: «Будь что будет, но под пулю не пойду. Хоть день, да мой — у себя, дома. Что мне делать там, на фронте, где-то на краю света? Отцы-деды и во сне

не видали тех краев... Кому как, а мне никакой нужды в этом нет, я не желаю... А если бы пошел, что изменится? Один я врага не одолею, и без меня обойдутся...»

Оно и правда, может, обойдутся. Одним Исмаилом казна не обеднеет. Ну, сбежал, и что ж из этого? Никому никакого вреда, пусть себе бережется, подумашь, разве ему охота погибать? Бог даст, зиму перезимуем, а с началом лета перевал откроется — уйдет в Чаткал *, к его родичам. Там, говорит Исмаил, никому нет дела до другого, никто никогда не проверяет... Да пусть хоть дальше Чаткала идти, куда угодно пойду с ним, только бы он был рядом, всегда на глазах... Лишь бы зиму перебиться — в доме кукурузы мало, дотянуть бы до весны... Да у других в айле не лучше, народ теперь живет не так, как прежде, — хлеба у всех в обрез. До весны то ли хватит, то ли нет... Тяжко придется...»

По утрам полынь над арыками покрывалась бородками инея и густо посыпала землю примороженными шариками семян. Временами выпадал снег. Овцы ходили с мокрой шерстью, дымящейся буроватым навозным паром. За ними неотступно летали сороки, нагло высматривая облезлые бока овец. Зима приближалась, туманная, хмурая... А войне не видать ни конца ни края, все больше народу уходило на фронт.

На этот раз отправляли самых молодых, которым только что вышел срок, совсем еще безусых ребят.

— Ботом **, еще вчера они бегали босоногими сорванцами, а гляди, как быстро вошли в возраст. Теперь вот едут на войну, не вкусив радостей жизни. О пропащій герман, смерти на тебя нет! — горестно приговаривали старики и старухи, постукивая клюками возле брочек, остановившихся у двора, где пили бузу. Здесь в последний раз собрались призывники с девушками и молодками. Бесперывно хлопали двери бозокерской кибитки, слышны были пьяные голоса поющих. Их пение хватало за сердце: слышались в нем и печаль, и решимость, и пьяная удаль, и раздумье.

Старухи утирали слезы:

— Эх, родненькие, пусть скорей придет день, когда мы снова услышим ваши песни!..

* Чаткал — высокогорный район, доступный только в летние месяцы.

** Ботом — выражение удивления, изумления.

Сейде тоже была здесь, среди молодых. Еще утром ее любимый кайни * Джумабай пришел навеселе.

— Собирайся, джене **, мы заказали бузу, повеселимся напоследок. Идем!..

Не хотелось Сейде обидеть парня, но все же она попыталась отказаться: молоча в это время на джаргылчаке *** талкан **** для Исмаила.

— Неудобно мне идти туда, ты не обижайся. Я провожу вас на улице...

— Как это неудобно? Ты же меня провожаешь, своего кайни... Нет, пойдем, ради Исмаила-аке пойдем... Может быть, он сейчас в самом пекле войны... Если приведетесь встретиться на фронте, скажу: сама меня провожала, привет передам... Чем я хуже других? Всех провожают родные, а я что?..

Сейде не нашлась, что ответить, смутилась — даже Джумабай это заметил:

— А, что, стыдно стало? Ну, то-то! Идем...

И вот она сидит в доме бозокера ***** , не смея поднять глаз, словно провинилась перед всеми. Забившись подалее в угол, она прикрыла рот платком и молчит.

Насколько дорог тебе человек, это со всей остротой чувствуешь только при расставании. Вот эти парни, которые завтра глянут в глаза смерти, сейчас гомонят, перекидываются шутками, поют и, может быть, именно поэтому близки как никогда. В эти минуты они думали не столько о себе, о своей судьбе, сколько о людях, остающихся в аиле, и желали им на прощание здоровья и счастья; и только за это одно хотелось сделать для них что-то большое и хорошее, всю душу свою отдать.

Вот Джумабай, пунцовый, забавно хмельной от бузы, поднялся с кошмы. Поглядеть на него — все еще нескладный, угловатый подросток. Он взял в руку чашу с бузой — пришел его черед спеть на прощание.

Брат Джумабая, Мырзакул-ырчи ***** , недавно вернулся с фронта без руки. Сейчас он председателем сельсовета. Даже ребятишки распевают его песни, послушаешь — за душу берет.

* К а й н и — младший брат в роду по мужу.

** Д ж е н е — жена старшего брата.

*** Д ж а р г ы л ч а к — каменная ручная мельница.

**** Т а л к а н — молотое жареное зерно.

***** Б о з о к е р — человек, продающий бузу.

~*** Ы р ч и — аильный певец.

Джумабай запел одну из самых любимых песен брата с протяжной, задумчивой мелодией:

Эй-и-и!
Шестьдесят вагонов на прицепе
Подхватил крылатый паровоз,
Я покидаю свой аил —
Прощайте, мои родные...

Семьдесят вагонов на прицепе
Вскачь уносит резвый паровоз.
Я покидаю свой аил,
Прощайте, мои дженелер...

— Бау, джигит! — послышались дружные одобрительные возгласы. — Возвращайся с победой!..

Джумабай преобразился на глазах — словно посуровел и возмужал. Горделиво расправив плечи, смотрел он в окно на любимые горы; казалось, только теперь понял, что не пройдет и часа, как родной аил останется далеко позади. Он продолжал петь:

...Мы уезжаем в сторону Арыси,
Не отрывая взора от тебя, Ала-Тоо,
Долго, долго нас провожали
Твои сине-белые снега...

— Бау, джигит! — кричали ему. — Где еще есть такие горы, как наш Ала-Тоо!..

Теперь пели все: и юноши, и молодки, и девушки.

А Сейде, уйдя в свои думы, забыла в эту минуту обо всем на свете. Ей казалось, она видит: далеко за туннельной горой по бескрайней казахской степи мчится на всех парах воинский эшелон, и джигиты, столпившись у дверей вагонов, поют и прощально машут в сторону сине-белых снеговых вершин Ала-Тоо, караванной цепью растянувшихся на горизонте. И горы удаляются, покрываясь дымкой. Ей казалось, что она тоже бежит, догоняя поезд, а потом, оставшись в степи одна, устало прислоняется к телеграфному столбу. Ее ухо слышит его гудение: словно темир-комуз выводит тоскливый «Плач верблюдицы»*.

Растроганная этим прощальным пением, Сейде осторожно подняла голову. Джигиты уже собирались в путь. Иные плакали, иные смеялись спяну, но все, как один, были исполнены решимости. Они громко желали друг другу вернуться с победой. Они были как родные братья.

* «Плач верблюдицы» — народная киргизская песня о верблюдице, потерявшей верблюжонка.

И в душе женщины родилась и засияла материнская любовь к ним, сострадание, боль и гордость. Если бы она могла помочь!.. Мысленно она представила себе, как сейчас встанет и скажет во всеуслышание: «Остановитесь, джигиты! В самом расцвете сил вы собираетесь уйти, покинуть родной аил. А вам только жить да жить! Пустите меня, я пойду и умру за вас!..»

И тут Сейде вспомнила: сегодня нужно отнести Исмаилу талкан. Исмаил ее ждет. И снова Сейде уронила голову; мысли ее перенеслись к дому: «Талкан недомолот, да и ребенок некормлен... Засиделась...»

Джигиты вышли на улицу. Народ, ожидавший у бричек, колыхнулся, повалил навстречу.

— Благословим их! — срывающимся голосом крикнул с седла табунщик Барпы, скуластый седой старик. Придержав лошадь, он первым раскрыл свои натруженные дрожащие ладони:

— Оомин! Да поможет вам дух предков, возвращайтесь с победой!

Вслед за тем он взмахнул камчой и, согнув могучую шею, подрагивая плечами, зарысил прочь: мужчина не должен показывать своих слез.

Среди сутолоки и шума брички покатили под гору и вскоре скрылись в тумане. Некоторое время было слышно, как стучат колеса по мерзлой дороге и поют джигиты:

— Я покидаю свой аил.
Прощайте, мои дженелер...

Женщины плакали навзрыд, безутешно. Кто из этих цветущих юношей вернется, а кто ляжет в могилу на чужедальной земле? В горестном молчании стоял на бугре народ. И, глядя на скорбные лица айльчан, Сейде сказала себе: «Не буду гневить бога, не буду мучиться тем, что муж мой — беглец. Лишь бы он был жив, лишь бы уберечь себя!..»

Когда в аиле стихли голоса, Сейде засунула под чапан мешочек с талканом и несколько лепешек, взяла веревку и серп и задами, крадучись, отправилась за кураем.

Туман лежал на пустынных увалах и в логах. Стояла гнетущая тишина — ворон не каркнет. И только кусты чия, намертво вцепившись дернистыми кочками в землю, ловили слабый ветерок, и каждый стебель посвистывал осторожно и тонко, по-змеиному. Боязливо озираясь в тумане, женщина спешила к самому дорогому своему, самому близкому человеку.

Еще с осени почтальон Курман стал объезжать стороной два крайних на улице двора. Он делал вид, что спешит с какой-то срочной доставкой, и пускал лошадь вскачь. Но Тотой почти всякий раз замечала почтальона. Она уже не надеялась, что получит письмо, и все-таки, бросив ступу, в которой обмолачивала собранные на поле колосья, выбегала на улицу и махала вслед почтальону жилистой худой рукой.

— Ай, почточу-аке, нет ли нам письма? — кричала она робким, неуверенным голосом.

Заслышав голос матери, трое мальчишек вырывались из-за дувала — они играли там весь день на солнцепеке — и, обгоняя друг друга, кидались что есть духу к почтальону:

— Письмо, письмо от отца!

Пока старый Курман соображал, что ему ответить, ребятишки уже окружали лошадь и хватались за стремяна:

— Где письмо?

— Дай мне!

— Нет, мне, мне, Курмаке! Я возьму письмо!

— О-ой, чтобы враг вас сразил, письма-то ведь нет! О-о, кокуй-ой *, что это за дети! — возмущался растерявшийся Курман. — Сперва узнать надо, что и как, а потом уж кричать на весь аил!..

Дети усиленно сопели носами, недоверчиво поглядывая на его толстую сумку, и не уходили: все еще ждали чего-то. Курману было жалко их, босоногих глупышей, и обидно за себя. Ну что ты им скажешь?

— Или вы думаете, родненькие мои, что я спрятал ваше письмо? — бормотал он и в доказательство лез к себе за пазуху и потом показывал пустую руку. — Не верите, что ли? Да если б моя власть, я заставил бы его писать каждый день по три раза — все лучше, чем смотреть сейчас в ваши глаза... Сегодня нет, зато в другой раз обязательно будет. Бог даст, привезу в базарный день... Сон такой видел... А теперь бегите.... Да передайте Сейде: для нее тоже нет письма, в базарный день привезу...

Старик, сдвинув на морщинистый бурый лоб заносенный тебетей и недовольно покачивая головой, едет дальше.

Тем временем лошадь его по привычке заворачивает на какой-нибудь двор, где почтальону появляться уже ни к чему. Он впопыхах резко дергает повод, лошадь споты-

* Кокуй — возглас удивления, досады.

кается, и обозленный почталъон бьет ее камчой по шее.

— Ах ты, чертова кляча! Чтоб копытам твоим не ступать по земле! Поганый конь — дурные вести возит... Да будь у меня письмо, я и сам пустил бы тебя вскачь...

Каждый раз, когда Сейде возвращалась с хворостом, ее встречал Асантай, средний сын соседки Тотой, мальчишка лет семи, одетый в старую отцовскую телогрейку с обтрепанными рукавами. У него удивительно чистые, выразительные глаза, взгляд немного наивный, мечтательный. Он всегда улыбается, обнажая передние зубы, среди которых уцелели не все; Асантай больше нравится женщинам, а вот старший брат его — мужчинам. Старший брат на Асантая непохож — упрямый и своенравный.

— Сейде-джене, от Исмаке опять нет писем, и нам тоже нет, — сообщал Асантай со своей неизменной, чуть виноватой улыбкой и потуже запахивал телогрейку, мешком висящую на его щуплых плечах. — Курмаке сказал, что привезет письмо в базарный день. Он сон такой видел!..

Из-под нахлобученной заячьей шапки смотрели на Сейде доверчивые детские глаза. Взгляд их обещал многое, даже то, что невозможно. Если бы мальчик знал, как тяжело Сейде выслушивать его бесхитростные слова! Огромная вязанка, которую она тащила так долго не щадя себя, в эту минуту начинала неимоверно гнуть ее спину, словно она взвалила на себя камни. До двора оставалось каких-нибудь пять-шесть шагов; чтобы не упасть, Сейде шла, опираясь о дувал. Потом с размаху она бросала вязанку на землю и, прислонившись к дувалу, стояла с опущенными руками, не в силах поправить волосы, прилипшие к потному лицу. «О боже, хоть бы какая-нибудь весточка от отца этих детей!» — думала она. Ей казалось почему-то, что если соседка Тотой получит письмо от мужа, то это и ей принесет какое-то облегчение. Иной раз ночью она вспоминала слова Асантая, и страх напал на нее — давно уже не спрашивала она у Курмана, нет ли письма от Исмаила. А Исмаил все время внушал ей, чтобы она спрашивала. «Спрошу в следующий раз», — обещала она себе, по каждый раз передумывала: «Нет, уж лучше не спрашивать!»

Тотой жила рядом.

Несколько дней назад, ближе к ночи, когда жизнь в айле замерла, Сейде принялась за стирку белья для Исмаила. Стирка затянулась до рассвета, белье пришлось сушить над огнем. Ранним утром Сейде собралась по

воду. Вышла на порог и сразу же зажмурилась: за ночь выпал снег. Унылая, однотонная белизна снега была ей неприятна. Она почувствовала тошноту и головокружение. «Неужели забеременела? — Сейде покачнулась, выронила ведро. — Что скажут люди?» Но тут же она успокоила себя. «Нет, не может быть. Это от бессонной ночи». Она старалась больше не думать об этом, она думала об Исмаиле. «Как он там сегодня? — спрашивала она себя, и у нее тоскливо сжималось сердце. — Легла зима, скоро ударят морозы, каково-то ему будет в пещере?»

Да, зима легла по-настоящему. Еще только вчера земля была черна, а сегодня даже горы от гребней до подошвы покрыты свежим снегом. Сизые иззябшие вербы согнулись над арыками. Вяло волокутся в небе тяжелые, сумрачные тучи. Небо, казалось, опустилось ниже, мир как бы сузился, уменьшился. Снег все еще падал, ветер, набегая порывами, взметал поземку. Люди еще не вставали: никому не хотелось выходить на холод в такую рань.

Сейде шла опустив голову и размышляла, как бы переправить Исмаилу большую кошму ала-кииз: «Без нее не выдержать ему таких холодов...» Мысли ее внезапно оборвались, она увидела следы на снегу. Следы вели к реке. «Это, наверно, Тотой», — догадалась она и тут же увидела ее. Тотой шла навстречу с ведрами. На ее ногах — большие тяжелые сапоги, а сама она тонкая, со впалыми щеками, по углам рта морщины, чапан подвязан веревкой по-мужски, тугим узлом. Увидев Сейде, Тотой поставила ведро на землю и стала поджидать ее, растирая посиневшие от холода руки.

— Или ты всю ночь не спала? Вон как глаза ввалились и лицо пожелтело, — сказала соседка.

— Да нет, что-то голова болит, — ответила Сейде, потом поспешно добавила: — А что мне делать ночью, если не спать? — И сама испугалась своих слов, чувствуя, как у нее холодеет под ложечкой. «Может, Тотой вышла ночью на улицу и догадалась, что я стирала? Сейчас спросит...»

— Правда, сегодня ночью мне не спалось, сын плакал, — попыталась она как-то сгладить свои необдуманные слова.

Тотой понимающе покачала головой.

— И-и, — протяжно проговорила она, — ты такая же одинокая, как и я! Старуха твоя — тень в доме, только и

знает, что сидеть у очага. Хорошо еще, если вынынчит внука. Совсем одряхлела... И родители твои не близко чабаният... Вот ведь как складывается в жизни, все одно к одному! — Тотой замолчала, с искренним сочувствием поглядывая на притихшую Сейде. Ей по-настоящему было жаль ее. Опущенные густыми ресницами глаза Тотой, всегда строгие, пронзительные, сейчас смотрели мягко, спокойно, с каким-то щемящим, милым бабьим раздумьем. Давно Сейде не видела ее такой. «В девичестве она, наверно, была красивая. И у Асантая тоже красивые глаза, материнские», — подумала Сейде.

Тотой глубоко вздохнула и сказала:

— Все убиваешься, писем нет... Что ж, судьба наша такая! Я осталась с тремя малыми детьми, а ты и полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, а тут война... Сына родила — отец не видел... Обидно, конечно... Эх, все бы ничего, все переживется и перемелется. Да вот писем нет!.. Как подумаю, руки виснут... Вот и зима пришла, а у меня ребятишки голые... Кукурузы осталось всего два мешка... А что это для нас? — Она в сердцах махнула рукой, стряхнула слезы и подхватила ведра.

Испуганная и в то же время обрадованная тем, что Тотой ни о чем не догадывается, Сейде растерянно смотрела ей вслед. Она ничего не сумела сказать Тотой. Отзывчивость этой маленькой женщины, ее бабья жалостливость, ее мужество и слабость растрогали Сейде, и в то же время она чувствовала себя так, словно Тотой, сама того не зная, обвинила ее в чем-то, упрекнула. Она сказала, что их судьбы одинаковы, и, значит, Сейде не имеет права роптать. Сейде не могла разобраться в своих противоречивых, неясных чувствах и, оправдывая себя, думала: «А что ж мне делать? У каждого своя судьба. Что написано на роду, тому и быть. Если детям Тотой уготовано счастье, отец их вернется...»

Байдалы, муж соседки Тотой, всю жизнь был поливальщиком. По вечерам, возвращаясь с работы, можно было видеть его на поливе. Размашисто, уверенно вышагивал он по полю, направляя воду в арыки.

Темно-густым багрянцем полыхало зарево по верхам клевера, и при каждом взмахе ослепительно ярко блестел в руках Байдалы отполированный землей кетмень.

«Умеет беречь воду, рука у него золотая!» — говорили о нем в аиле. Он раскатисто хохотал, когда женщины, подоткнув платья и держась за руки, переходили через бурлящий полноводный арык:

— Э-эй, что вы там? Боитесь, вода утащит? Все равно в мои руки попадете. Не упушу!

— Чтоб твои арыки размыло, черт ненасытный! Чтоб тебе водой захлебнуться! — крикливо отвечали ему женщины-сверстницы.

А он, очень довольный, продолжал хохотать все так же раскатисто.

Потом оглянешься и видишь: в надвигающихся сумерках идет Байдалы по полю, рослый, с покатыми сильными плечами, идет как странствующий добрый богатырь. Он идет через все поле, примечая огрехи, и удаляется все дальше и дальше...

Иной раз, забежав к соседям, Сейде заставала такую сцену. Тотой, недовольная чем-то, поджав губы, ожесточенно гремела скребнем по дну казана, а Байдалы мастерил ребятам игрушки и говорил спокойно:

— Зря ты ругаешься, байбиче. Живем не хуже других... Ну-ка, глянь, в каждой ли семье по три сына? Ты мне их родила, а другого богатства мне не надо... Вот они, мои богоданные молодцы!

С фронта Байдалы часто писал домой, а с осени писем не стало... Не было писем и от Исмаила. Как мы видели, почтальон Курман, проезжая мимо, ударял гнедка каблуками и норовил проскочить незаметно. Не мог он явиться с пустыми руками! Он испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато Мырзакул, председатель сельсовета, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сейде до смерти. Может быть, Мырзакул подозревает и хочет выследить Исмаила? Однако по его виду ничего пока не заметно. Откуда Мырзакулу знать? До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа в айле. Исмаил очень осторожен.

— Сейде, времена смутные, народ ненадежный, смотри, чтоб никому ни слова! — предупреждает он каждый раз. — Если даже отец мой подымется из могилы, и ему не доверяй! Слышишь?

Проезжая по айлу, Мырзакул мимоходом заглядывает к ним как бы по делу. До ухода в армию он был молодой джигит. Черный каракулевый тебетей носил лихо, набекрень. Любил скачки и никогда не расставался с комузом*. В айле его считали лучшим певцом; сам слагал песни. Вернулся с фронта без одной руки — и не узнать его теперь, совсем не тот. И характером не тот: вспыль-

* К о м у з — киргизский музыкальный инструмент.

чивый, крутой. Похож на дерево, искалеченное бурей: левое плечо опустилось вниз, шея вытянулась, на ней задубели шрамы, резче обозначились крупные неправильные черты лица, взгляд хмурый, цепкий. Теперь Мырзакул поет больше о том, что видел на фронте: то приглушенно, сурово, то с гневной страстью звенит его голос, а когда Мырзакул забывается, то глаза его сверкают, как у сказочных батыров, и он встряхивает единственной рукой, будто бьет по струнам комуза. Но теперь уж ему никогда не играть на комузе...

Обычно Мырзакул въезжает во двор к Тотой.

— Э-эй, Тотой, где вы там? Живы? — Потом, заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сейде: — Здоров ли твой малыш, Сейде?.. Сверни мне сигарку из табака, что у тебя припрятан дома. Да иди сюда, к соседке... Дело есть... Потом управисься...

Мырзакул никогда не спрашивал, получают ли они письма от мужей. Не хотел лишний раз расстраивать женщин, да к тому же он всегда сам просматривал айльную почту и знал все дела айла. И все же всякий раз, встречаясь с ним, Сейде волновалась. Ей казалось подозрительным, почему он не спрашивает, есть ли письма от Исмаила. Значит, что-то знает. Значит, это неспроста...

Свернув сигарку из табака, который она припасла еще летом на плантации, Сейде раскуривает ее и идет к соседке, изо всех сил стараясь подавить в себе нарастающий страх. Мырзакул, завидя ее, слезает с лошади и, с наслаждением затягиваясь дымом, заводит безразличную речь о том да о сем...

— Хороший табак припасла, Сейде! — похвалил он ее однажды. — Пошли Исмаилу в посылке, пусть покурит. Вспомнится ему наш Талас. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет.

— Пошлю, — с трудом выговорила Сейде. Надо бы еще что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что Мырзакул угадал по лицу, как мечутся ее мысли, и от этого еще больше покраснела. Она притворно закашлялась: — Фу, какой горький дым, горло дерет... И что в нем хорошего?..

Сказала как будто к месту, но всю ночь терзалась: не выдала ли себя? «Пронеси бог и на этот раз. Нельзя, нельзя мне краснеть и голос надо сдерживать! Неужели он заметил? Сама виновата, смелости мне недостает, — ругала она себя. — А для чего это он сказал о посылке? Попросту или с умыслом?..»

В другой раз Мырзакул осмотрел деревья, высаженные на огороде Тотой вдоль арыка, и упрекнул ее:

— Байдаке каждую осень обрубал сучья и ветки, а в этом году вы этого не сделали... Старший-то твой уже работник... Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти. Да и лишние дрова пригодятся...

Тотой с досадой глянула на Мырзакула, тяжело вздохнула:

— А если и перестанут расти, плакать не стану: кому они нужны! Разве дерево — опора человеку?.. Если самого нет дома, ничего не мило... Поди-ка попробуй: и в колхозе работай, и колосья собирай, и детей корми... Вот живем две соседки — ни слуха, ни весточки от наших, живы или мертвы, бог их знает! — Она отвернулась, прикусив губы. — А ты еще тут про деревья толкуешь...

Сейде оробела, сжалась, боясь, что Мырзакул сейчас выложит всю правду. «А ты не равняй себя с ней, — скажет Мырзакул, — ее Исмаил давно уже прячется. Здесь он, беглец!..» Да, это казалось неотвратимым в ту минуту. Но Мырзакул сказал другое.

— А ты знаешь, Тотой, может, не только деревья, но и тень их пригодится, — спокойно произнес он и вдруг вспыхнул, закричал, будто давно собирался высказать им все это в глаза: — Вы бросьте эти свои бабьи хныканья! Как чуть задержка с письмами, так они уж голосить готовы. Лучше вы переберите бодылья на крыше — навалили кучей не знай как, сгниет корм до весны! Хочешь, чтобы дети без молока остались? Да я вам за это головы поотрываю! Если одной не под силу, кликни соседку, здесь двое вас, соседок... Вдвоем-то вы одного мужика стоите... Русские женщины в окопах с винтовками сидят, не хуже мужчин, сам видел... А вы у себя дома — и ноете, что писем нет!..

Тотой промолчала, не возразила ни слова. А Сейде ответила неожиданно для себя:

— Мы сделаем, сегодня же ветки обрубим и бодылья перекладем!

Может быть, она сказала это слишком поспешно? Но сейчас у нее не было никакой задней мысли, она говорила искренне, ей хотелось отвести разговор от писем и в то же время было стыдно за себя и Тотой. Мырзакул больше ничего не сказал. Все еще возбужденный и злой, он как-то странно, внимательно посмотрел на нее — кажется, с одобрением. Потом сел на лошадь и уехал.

В этот день, помогая Тотой по хозяйству, Сейде испы-

тивала безотчетную, тихую радость, она успокоилась, будто искупила свою вину. Давно уже не было у нее такого ясного света в душе, такого подъема, когда все хочется сделать непременно сегодня же, когда работа спорится в руках. Она задорно покрикивала на ребятишек Тотой: они не столько помогали, сколько мешали. Но это не сердило ее. Хотелось петь, хотелось смеяться. Но всякий раз, вспоминая поразивший ее непонятный взгляд Мырзакула, она вдруг обмирала вся, и руки у нее опускались.

«Почему он так поглядел на меня? Значит, что-то подзревает? А может быть, мне просто показалось?»

И так повелось: каждый раз, когда навещался Мырзакул, смутнение и страх охватывали Сейде. Все ждала, когда он спросит: «Где твой Исмаил? Куда ты его прячешь?..» И сердце билось так гулко, что она боялась, не услышал бы он.

Когда Мырзакул уезжал, Сейде бежала домой, хватала трясущимися руками ковш с ледяной водой, пила, захлебываясь, обливала себе грудь и только позже, утолив нестерпимую жажду, могла собраться с мыслями. «Нет, он не знает! — уверяла она себя. — Если бы он приезжал подсмотреть или испытать меня, разве бы я этого не заметила? Ведь он просто спросил, как мы живем, и уехал. А если бы и подозревал... Все равно от меня он ничего не узнает. Пусть хоть тысячу раз выпытывает. Исмаила я не выдам — никогда! Другие вон слезно молят бога: только бы муж вернулся, только бы живой! А разве мне не дорог мой муж, разве я не просила об этом бога ради нашего сына! Бог вернул мне Исмаила, чтобы я сама оберегала его...»

С буранами и трескучими морозами подошла самая холодная пора зимы — чильде. Всю неделю не утихал ветер, сгонял снег в крутые, плотные сугробы. Тропинки, прокаленные морозом, звенели под ногами, как железо.

Опустел аил, приткнулся в затишке, дымя глиняными трубами, а над ним в мутной блеклой выси безмолвно стыли на ветру величавые вершины гор.

Жить изо дня в день становилось труднее.

В наружной, холодной комнате, нахохлившись, сбились в угол куры. Не выходят они во двор, жмутся друг к дружке. Наполовину прикрыв глаза белыми пленками век, сощурившись, печально смотрят они на человека. Покорить бы их зерном, да что поделаешь! В простенке за печкой в большом домотканом мешке хранится кукуруза,

что ни день, то ниже оседает мешок — казалось, кукуруза убывает от одного взгляда. Сберегая зерно, Сейде еще с осени перестала ходить на мельницу. Там за помол берут зерном, так уже лучше молоть дома, вручную. Другой раз ночами не спит: днем на работе, а с вечера садится за джаргылчак. Горячей окалиной дышал тяжелый каменный жернов, огнем горели растертые ладони. В глазах темнело от щемящей боли в пояснице, но Сейде не бросала джаргылчак. Исмаил не должен сидеть завтра голодным! Просеяв помол, она откладывала горсточку на кашу для ребенка, а из остальной муки пекла Исмаилу лепешки. Сейде и старуха довольствовались дертью, что оставалось в сите. Из нее варили похлебку. Откуда же взять зерна для кур? Только бы самим дотянуть до весны.

Сейде держала кур, чтобы весной были яички для малыша, но, видать, плохо рассчитала. Мяса нет. Когда приходит Исмаил, Сейде варит ему курицу. Была бы живность покрупнее, Сейде накормила бы мужа вдоволь настоящим мясом! Вот бы хорошо! Все, что есть в доме, что удавалось добыть, Сейде приберегала для мужа. «Сами-то мы у себя дома, хоть на воде, да перебьемся», — говорила она старухе, которая и без ее слов готова всем пожертвовать ради сына. И все же, когда Исмаил приходил домой, сердце Сейде сжималось в горячий комок от стыда и жалости.

Прикрыв лицо грязным платком, в засаленной пролежалой шубе поверх шинели, прокоптившийся, как бродяга, появлялся он у порога в буранные ночи. Немножко отойдет с мороза, тяжелым духом так и пахнет от него. Стряхивая над огнем вшей с его рубахи, Сейде незаметно бросала на него жалостливые взгляды и думала в отчаянии: «Ох, что станется с тобой в такие холода? Был бы ты дома, пылинке бы не позволила сесть на тебя!..» А он сидел у огня сычом, мутно и зло поблескивали его одичалые глаза. Лицо как кошма, загрубело от холодов.

Сейде понимала: тяжело ему; она старалась обласкать мужа, развлечь его разговорами. «Муж и жена всегда вместе: в беде и горе, — убеждала она себя. — Что бы ни свалилось мне на голову, все должна я вынести. Только бы Исмаил уцелел... Переживется, перемелется, стерплю... Вот Тойой одна с тремя детьми, по горсточке делит между ними талкан, и то держится, вида не подает...»

Позавчера, когда Сейде возвращалась с работы в табачном сарае, у моста ее догнал Мырзакул.

— Пстой, Сейде! — окликнул он ее.

Казалось бы, ничего подозрительного не было в его голосе, но Сейде в один миг насторожилась, ожидая самого страшного, и быстро прикрыла платком задрожавшие губы. Мырзакул подъехал к ней на рыси, нагнулся с седла и пристально всмотрелся в лицо. «Узнал! — ужаснулась Сейде. — Так и есть? Чего тянешь? Да говори же!» — чуть было не крикнула она. Так мучительно долго, так каменно-спокойно смотрел на нее Мырзакул.

— Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде, — проговорил он.

— О чем? — спросила Сейде, но не услышала звука своего голоса. Вслух она произнесла это или только подумала?

— Да ты что! Что с тобой? — встревожился Мырзакул и смутился от своей неловкости: ведь напугал женщину, от мужа писем нет, всякое может подумать, вон как побелела. — Да ты не бойся, ничего плохого не случилось... Просто хотел сказать тебе: завтра будем выдавать понемногу зерна семьям фронтовиков... Так вот, не все попали в список. Тебя тоже нет, Сейде... Ты же понятливая, не обидишься... Кое-как разделили по пять, по десять кило на многолетних, таких, как Тотой... Только не шуми завтра, всем бы нужно дать, да не из чего.

У Сейде отлегло от сердца...

— Ну что же, нет так нет, — ответила она, приходя в себя. «Мне не надо, это верно: лучше помочь таким, как Тотой, а я перебьюсь», — хотела она сказать, но не посмела, не хватило духу.

Мырзакул понял это по-своему.

— Но ты, Сейде, смотри, не думай плохое, — как бы оправдываясь, заговорил он. — В другой раз и тебе дадим... Обязательно... это я обещаю... Ты и старухе так скажи, а то будет ворчать: «Мырзакул нашего рода, а что от него толку, хоть он и сельсовет...» Я рад бы сделать для своих, да сама видишь... — Мырзакул задумался, оглядел заснеженные айльные кибитки, тронул лошадь, но тут же придержал. Что-то еще собирался он сказать, но, видно, не решался. Он снова посмотрел ей в глаза странным, непонятным взглядом, как тогда, во дворе Тотой, только на этот раз более откровенно. Да, теперь было ясно: с нежностью и восхищением смотрел он на Сейде, и глаза его говорили: «Я знал, что ты поймешь меня... Я всегда верил тебе... Ты самая лучшая на свете, я люблю тебя... Давно уже люблю...»

Пугливо прикрываясь платком, бледная от страха и

волнения, Сейде невольно отпрянула назад. В ее широко раскрытых глазах застыло удивление, она была сейчас очень хороша.

— Я пойду! — тихо, но твердо сказала она.

— Пстой! — Мырзакул колебался. Он взялся за поводья, потом опять опустил их.

— Пстой, Сейде! — повторил он. — Если тебе туго придется, ты от меня не скрывай... Для сынишки твоего на кашу... шинель с себя продам, но достану...

Сейде, слушая, молча кивала головой, не знала, что и подумать. Она испытывала благодарность к нему. Но глаза ее были холодны и отталкивали: «Не тронь меня! Не смотри так, я тебя боюсь! Отпусти, я уйду!»

Мырзакул медленно опустил веки, а когда, распрявившись в седле, снова взглянул на Сейде, глаза у него были такие же, как всегда. Он сказал ровным голосом:

— Ну иди, сын-то, наверно, плачет...

Сейде круто повернулась и пошла, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Отойдя немного, она оглянулась через плечо, остановилась. Понуриив голову, не оглядываясь, Мырзакул ехал по-над берегом. Лошадь шла тихим шагом, он не попускал ее. Может быть, потому, что Мырзакул поднял ворот шинели, сейчас особенно бросалось в глаза, как он похудел, ссутулился, как низко опущено его искалеченное безрукое плечо. «Говорит, шинель с себя продам... А ему же холодно!..» — подумала Сейде, и вдруг что-то небывалое колыхнулось в ее душе. Горячая нежность, жалость неожиданно переполнили сердце. Хотелось побежать, остановить его, согреть ласковым словом, попросить прощения... «Что же ты нашел во мне, замужней? Разве мало в айле хороших девушек? А ты и не знаешь, что муж мой при мне...»

Все перепуталось в ее голове, сухой звон снега под ногами резко отдавался в висках. Вплоть до самого дома Сейде испуганно оглядывалась и прикрывала платком дрожащие губы.

Вчера аил облетела черная весть. Женщины в табачном сарае перешептывались между собой, а когда мимо проходила Тотой с тюком табака на спине, они скорбно замолкали. Одна из них, в черной шали, с еще не зажившими на лице следами глубоких царапин, не удержалась и шумно всхлинула:

— Несчастные сироты! Пусть ваше горе падет на голову германа!..

В сельсовет пришло извещение о том, что Байдалы погиб под Сталинградом.

В последнее время то на одном, то на другом краю айла часто слышатся траурные крики мужчин. «Боорумой! Боорумой! Боорумой!..» * — кричат они, раскачиваясь в седлах из стороны в сторону. А в ответ им из кибитки, окруженной толпой народа, доносятся надсадные вопли женщин. Они садятся спиной к двери, ногтями раздирают лица в кровь и голосят:

Уздечка твоя из серебра,
А сам ты был храбрый, как лев,
Уздечка пустая висит на стене, —
Черный платок на моей голове, —
Сын твой отомстит врагам!.. —
О-о-о-ха, э-э-эй-и!

До самой полуночи, до изнеможения и хрипоты причитают женщины, оплакивая погибших на фронте. И каждый раз, когда всем айлом люди собирались голосить в доме погибшего, Сейде становилось страшно, она боялась показаться на глаза айльчанам и, сама того не замечая, пряталась за спиной других. В такие скорбные дни ей хотелось убежать куда-нибудь в горы, в безлюдное место и причитать там в одиночестве, чтобы никто ее не видел и не слышал.

Вот теперь дошла очередь и до Тотой. Возле ее дома тоже будет толпиться народ, она тоже будет голосить и раздирать лицо ногтями, а ее малыши обязаны, как настоящие мужчины, крепко повязаться кушаками, выйти во двор и, опираясь на палки, встречать мужчин громким плачем: «Атамой **», эзиль кайран Атамой!..» Бедная Тотой, она еще не знает, какое горе свалилось на ее плечи! Извещение о смерти Байдалы хранилось пока у Мырзакула. У киргизов не принято говорить о таких вещах сразу. Время, когда сказать, должны определить старики. Вместе с похоронной бумагой в адрес правления колхоза пришло письмо от командира полка.

Он писал, что подразделение пошло в атаку и оказалось зажатым в узкой полосе между берегом Волги и заминированным проволочным заграждением. Положение создалось безвыходное, люди гибли под пулеметным огнем, никто не осмеливался первым приблизиться к минному полю. И вот тогда Байдалы по своему почину

* Боорумой — брат мой родной.

** Атамой — от слова «ата» — отец.

бросился на проволоку. Мины взорвались, образовав проход. Враг был выбит с позиций.

Выслушав это письмо, аксакалы, собравшиеся в доме Мырзакула, почтили память земляка молчанием. Долго длилось это молчание. Молча читали молитву.

— Ииэх! — наконец вздохнул почтальон Курман и на-сунул тебетей на глаза. — Умел он беречь воду, руки были золотые... Где Байдалы проведет воду, там всегда хлеб родит... Да, вот! А детишки его проходу мне не давали: «Курмаке, когда привезешь письмо от отца?» Я все обещал в базарный день, и они верили. А оно вон как обернулось... Ну что ж, судьба народа — судьба батыра!

Мырзакул спросил у аксакалов совета, как поступить с извещением о смерти Байдалы. «Раз уж пришла бумага начальника, что погиб, тут ничего не поделаешь, — ответили старики. — Но ты, Мырзакул, послушайся нас. В такую тяжелую годину, когда Тотой носит детишек в зубах, как щенят, спасая их от голода, не смеем мы сказать ей о смерти мужа. Если у Тотой опустятся руки, что будет с ее детьми? Нет, не можем мы лишить ее последней надежды. Лучше отложим это дело до осени: соберем урожай, пусть народ немного насытится. Вот тогда известим округу о гибели нашего батыра и всем аилом справим поминки с подобающими почестями...»

Весь аил нашел это решение стариков разумным. До осени никто не имел права заговорить о смерти Байдалы. Но женщины в табачном сарае не утерпели, всплакнули украдкой: ведь Тотой ничего не знает.

Ночью пришел Исмаил, и Сейде рассказала ему о судьбе их соседа Байдалы. Исмаил на это ничего не сказал, только непонятно пожал плечами. Бог знает, о чем он думал. Может быть, в душе пожалел Байдалы, а может быть, и нет. Даром он, что ли, в бегах, даром, что ли, бережет свою жизнь? А Байдалы очертя голову бросился на мину. Ну и погиб. Так оно и должно было случиться. Нет, лицо Исмаила непроницаемо, он не скажет ничего.

Молча выхлебав большими, гулкими глотками полную чашу похлебки, Исмаил недовольно буркнул:

— Еще есть?

«Куда уж ему тут горевать по другим? Сам день и ночь на холоду, глаз не смеет показать, да к тому же день сыт, день голоден...» — думала Сейде, оправдывая Исмаила.

Проводив его, она долго не могла уснуть. Ветер свирепо швырял в окно снежную крупу, продрогшая собака

где-то на окраине плаксиво твякнула раза два и загнусавила: «Су-у-у-ук! Су-у-у-ук» *. Сейде бросило в дрожь. Ей жутко было представить, как сейчас в морозном поле, по зарослям чия кружится с посвистом злой ветер, а Исмаил, один среди ночи, пробирается к себе в убежище. А тут еще сын расплакался. Плохо спалось в эту ночь.

Утром прискакал почтальон Курман. Одновременно он исполнял обязанности рассыльного при сельсовете. Полы его шубы разметались в стороны, он был чем-то сильно встревожен.

— Сейде! — застучал Курман в дверь. — Из района прибыл инкуу **, срочно требует тебя! Собирайся живей!

Сейде выбежала на стук и все сразу поняла. Даже не спросила, зачем ее требуют. Молча стиснула зубы. «Исмаил, родимый, как же быть теперь?» — пронеслось в ее голове. Тут прибежал Асантай. Кажется, он думал, что Курман привез письмо от Исмаила.

— Суюнчу, Сейде-джене, письмо от Исмаке! — радостно крикнул он, но, увидев побледневшую Сейде, смолк на полуслове. Виногато поглядывая на нее, мальчик отошел в сторону, поеживаясь то ли от холода, то ли от стыда.

— Вот еще несчастье-то! — с досадой проговорил Курман. Неизвестно, к кому относились эти слова: к Сейде или к мальчику. Не сказав больше ни слова, он стегнул лошадь и ускакал.

Сейде не помнила, как она добралась до сельсовета. Дрожащей рукой отворила дверь. За столом сидел человек в шинели, с кобурой на боку. Разглядеть его Сейде не могла, голова ее кружилась, земля уходила из-под ног. Пока шла, в мозгу лихорадочно колотилась безысходная мысль: «Поймают Исмаила, увезут!» Но сейчас, когда Сейде вошла в сельсовет, в ней вдруг проснулась отчаянная решимость, в которой потонули все ее колебания: «Не отдам Исмаила! Не отдам!» Для Сейде уже не существовало страха, она стояла перед столом и мысленно твердила себе эти слова, как клятву: «Не отдам Исмаила! Не отдам!»

— Садитесь, — сказал оперуполномоченный НКВД. Сейде не слышала.

— Садитесь, — повторил он.

Сейде, как во сне, нащупала табуретку и села.

* Суук — холодно.

** Инкуу — от слова «НКВД».

Закончив расспросы, уполномоченный долго писал, испытующе поглядывая на нее и о чем-то раздумывая. Потом сообщил, что ее муж дезертировал из эшелона, прихватив с собой винтовку с патронами.

— Где он сейчас? — спросил уполномоченный.

— Не знаю, я ничего не знаю, — ответила Сейде.

— Вы не скрывайте, мы его все равно найдем. Если желаете ему добра, пусть объявится по своей воле. Вы должны нам помочь...

— Не знаю, я ничего не знаю. Его взяли в армию, а больше мне ничего не известно. Сбежал он или не сбежал, я этого не знаю...

Что бы уполномоченный ни спрашивал, как бы ни убеждал, Сейде на все отвечала коротко: «Не знаю». А сама думала: «Не враг я себе! Делайте, что хотите, хоть убейте, ничего не скажу!»

— Ничего я не знаю! — твердила она.

Когда допрос кончился, Сейде пошла к дверям, напрыгая все силы, чтобы не упасть, чтобы идти прямо. У выхода на улицу ей встретился Мырзакул. Он порывисто шагал от коновязи, на ходу докуривая сигарку. Напряженный и какой-то нездоровый был он сегодня. Лицо осунулось, на скулах расплылся неяркий, тусклый румянец, под вытертым сукном шинели, угловато выпирая, подергивалось безрукое плечо, тебетей был плотно надвинут на брови.

Увидев Сейде, Мырзакул остановился. Окинул ее цепким взглядом исподлобья.

— Была там? — кивнул он на дверь. — Сказала?..

— А что мне говорить? Я ничего не знаю, — ответила Сейде.

— Во-он как! — Мырзакул помолчал, горько усмехнулся, потом бросил окурок, растоптал его сапогом и резко вскинул брови.

— Ты думаешь, доброе дело делаешь для него? — спросил он в упор. — А совесть перед народом? Куда ты ее денешь? Мы все мужчины из потомков Давлета, все, кто носит тебетей на голове, — мы все пошли, ни один не остался. В добрые, в лихие ли дни — упаси бог отойти от народа! Позор всем нам! Ты понимаешь это? Отвечай мне: ты понимаешь?.. Пока не поздно, приведи Исмаила, пусть он воюет там, где все.

Сейде стиснула запрокинутые на шею руки, каждое слово Мырзакула вырывало из этих обессиленных рук то, чем они никогда не могли поступиться. Еще одно его

слово, и все будет кончено: она не выдержит, упадет на землю и признается во всем...

— Ты... ты меня совестью не бей! — истушленно крикнула она.

И это было все, что она могла сделать. Слепленная отчаянием и яростью, она рванулась к Мырзакулу:

— Может, он и сбежал! Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога, каждый себя бережет. А тебе-то что? Или он перебежал тебе дорожку? Или тебе мало места в аиле? Или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же калеками, как ты?

Мырзакул оцепенел, культя его судорожно взметнулась, выдернув порожний рукав из кармана шинели, лицо исказилось болью и гневом. Он долго хватал ртом воздух.

— З-значит, я в-вернулся калекой потому, что я д-дурней твоего Исмаила? — Мырзакул кинулся в сторону, нагнулся, словно ища что-то на земле, потом подбежал к Сейде, занес над головой камчу и начал хлестать Сейде по плечам. Она не вскрикнула, не отшатнулась. Над головой свистела камча, а Сейде как замороженная смотрела на куцый обрубок его руки, который тоже вздрагивал и дергался в мотающемся рукаве. На какую-то долю секунды мелькнули перед ней до крови прикушенные губы Мырзакула, его страшные, горящие ненавистью глаза. Потом она увидела, как он тщетно пытается сломать камчу о свое колено. И опять обрубок его руки беспомощно дергался взад и вперед.

Широко размахнувшись, Мырзакул закинул камчу на крышу и побежал прочь, прижимая к груди, как к кровоточащей ране, скомканный в кулаке рукав шинели. Он бежал не оглядываясь по огородам, через сугробы и арыки. Потрепанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедру.

Все еще не понимая, что произошло, Сейде с ужасом смотрела ему вслед. Только теперь она почувствовала, как горят ее избитые плечи. Обида душила ее, хотелось закричать, громко заплакать.

Потом она шла по улице, ничего не видя перед собой; режущий ветер слепил ее сухие, немигающие глаза, ноги путались в поземке. Мысли были так же жгучи, как и рубцы на шее. «Он избил меня, опозорил! Я скажу Исмаилу, он отомстит! — твердила она. Но тут же изменяла решение: — Нет, не скажу: Исмаил кинется в аил, и его могут поймать. Лучше промолчу, стерплю, но в душе никогда не прощу, до самой смерти... Недаром говорят:

«Брат брату враг»*. Мырзакул ненавидит Исмаила за то, что он живой и невредимый... Только бы перебиться нам эту зиму, а там откроется перевал — уйдем в Чаткал. Там мы будем жить, как и все люди, ни от кого не таясь... Будь проклят ты, Мырзакул! Я никогда больше не погляжу тебе в глаза...»

Вернувшись домой, Сейде ткнулась лицом в худые колени свекрови и, обнимая безответную, безропотную старушку, зарыдала:

— Бил меня Мырзакул, мама, бил...

Она плакала долго и безутешно. Сквозь слезы смутно слышала прерывающийся голос свекрови:

— Родимая ты моя, дитя мое, кормилица... Вся надежда на тебя, ты наша опора... Все вижу, все знаю. Век мне молиться за тебя... Стерпи уж эту обиду, смолчи... А нас с Мырзакулом пусть бог рассудит, забыл Мырзакул родовой долг...

Ночью Сейде встретила Исмаила у оврага. Он вернулся в пещеру, не заходя в апл.

К весне у многих айльчан хлеб подошел к концу — остатки выскребали. Только и речи было — поскорее бы уже отелились коровы да дожждаться бы молодого ячменя, а там и пшеница подойдет. Но сказать легко, а попробуй дождись.

«Весной скот тощает, кость гнется». Человеку тоже не легче...

Сейде переживала самые тяжелые дни. После ее столкновения с Мырзакулом Исмаил перестал ходить домой; ни днем ни ночью он не покидал пещеры. Отправляясь за хворостом, Сейде сама приносила ему пропитание, а если не удавалось днем, шла ночью. Все бы ничего, но одно ее очень тревожило: Исмаил стал ненасытный. Сколько ни принеси, все подберет до крошки: может, и наелся уже, а глаза по-прежнему голодные, жадные.

— Дома-то осталось еще или придется подыхать с голоду? Ты не скрывай, говори всю правду? — допрашивал он.

— Зачем так говоришь! — упрекала Сейде. — Лишь бы ты жив был, а для живого человека всегда найдется кусок хлеба...

Теперь Сейде вставала с рассветом и отправлялась на прошлогодние гумна. Там она расстилала на снегу мешко-

* Брат — у киргизов все мужчины одного рода считаются братьями.

винный полог и до самого вечера перевевивала полову, перекидывала солому. То, что осенью ушло в охвостья, сейчас она вывевивала, собирая по зернышку. За день набирался кулек сморщенных, щуплых зерен. По ночам Сейде молчала их на джаргылчаке, пекла Исмаилу хлеб. Но до каких же пор можно так перебиваться? Была у Сейде заветная мечта — о телке. Пошли корове бог благополучно отелиться, тогда и молоко будет у Исмаила и масло. Замкнулся Исмаил в себе, озверел, будто весь мир ненавистен ему, всегда тупо молчит, ни одного хорошего слова от него не услышишь... Что у него на уме? О чем он неотступно думает? А если откроет рот, только об одном речь: сколько еще осталось до открытия перевала да по каким тропам безопасней идти... Больше всего он говорит о еде, и думает, вероятно, только об этом. Когда речь заходит о мясе, во рту у него собирается слюна, и он сплевывает со злостью. Иногда ни с того ни с сего мрачно заявит:

— Кровь у меня стала холодная: воды в ней много... Очень много...

Что-то недоброе всколыхнется в глубине его глаз, и опять молчит, упорно молчит. О чем он думает в такие минуты? Как бы не потерял рассудка...

«Может, он тоскует по сыну?» — подумала однажды Сейде. На другой же день, выкупав ребенка, она надела на него чистую одежку, укутала и вышла с ним на улицу.

— В гости к своим схожу, в Малое ущелье, — отвечала она на вопросы соседей.

А сама пошла к Исмаилу. В этот день Сейде была счастлива. В аил вернулась через сутки...

Весна обещала быть ранней. Сегодня с самого утра теплынь. Снег, точно квелая кошма, сразу расплылся равными прогалинами, земля дышала паром. Над долиной стелился оттепельный ветерок, талая вода журчала в арыках, подтачивая осевшие, набрякшие влагой сугробы.

На гумне на краю поля Сейде ворошит солому. Набив мешок половой, она тащит его на бугорок и посвистом вызывает покровителя ветров. Как крупы золота в песке, выискивает она хлебные зерна. Утомительная, нудная работа. Но для Сейде это не тягость: что бы там ни случилось, а она должна прокормить Исмаила до конца весны. А там, бог даст, откроется перевал...

Вон за тем неприступным хребтом, за нетронутыми сине-белыми снегами лежит Чаткал.

Чаткал представляется ей сказочной землей. Там круглый год зеленеют луга, пасется скот. По обоим берегам реки вереницей расставлены среди берез белые, как яйца, юрты. Возле них горят костры, в казанах полно мяса... Люди ходят в гости из юрты в юрту... Откроется перевал, и они с Исмаилом уйдут в этот чудесный мир за высокими горами. Исмаил бывал там когда-то у своих родственников... Там никто не будет знать, что Исмаил — беглец, никто не будет преследовать и травить его. Там нет таких злобных, скверных людей, как этот Мырзакул!.. Там они будут работать: Исмаил — чабаном в колхозе, а она его помощником...

«Совсем недолго осталось, вот и весна пришла. Больше терпела, а теперь-то и вовсе стерплю! — думает замечтавшаяся Сейде, пересыпая горстку зерен с ладони на ладонь. — Только бы Исмаила уберечь. Ладно еще, в аиле поговаривают, будто Исмаил не здесь прячется, а на казахской стороне, у свояков... Вот и хорошо, пусть говорят... Продадим телку, припасем муки на дорогу, старуху посадим на ишака, и ночью выберемся из аила, уйдем... Да, уйдем отсюда...»

Пьянит теплый весенний воздух... А хорошо мечтать: забываешь, что сосет под ложечкой.

Вечером, когда Сейде молола талкан, зашел Асантай. Мальчик заметно отощал за последнее время: под глазами густая синева, из засученных рукавов отцовской фуфайки высовываются тоненькие ручонки.

— Мама послала меня за огнем, — сказал он, застенчиво переступая с ноги на ногу и то и дело поглядывая на кучку талкана у жернова.

Дети есть дети! Кого не тронет невинный взгляд мальчика, говорящий с мольбою, что он хочет есть! Сейде положила ему в ладошки горсть талкана. Мальчик запрокинул голову, насыпал талкана полный рот и, очень довольный, шмыгнул носом. Ему хотелось отблагодарить Сейде, сказать ей что-нибудь хорошее. Он доверчиво улыбнулся губами, измазанными талканом:

— Сейде-джене, когда отелится наша корова, мама нам сварит молозива. И я принесу кусочек вашему Амантуру. Ведь он уже умеет кушать, да? Молозиво вкусное, как творог!

— Сердечный ты мой, да сбудутся твои желания! — Растроганная Сейде привлекла его к себе, поцеловала в глаза. — Бог даст, будет и молозиво, будет и каймак,

пусть только отелится корова! Вот тогда и принесешь нашему малышу, у него уже зубки есть!

Она вспомнила, что и Тотой, и ее дети все еще ничего не знают о гибели отца, все еще ждут писем. Ей показалось, что мальчик догадывается, о чем она думает. Спросила как бы между делом:

— Матери-то лучше стало? Вчера, кажется, ходила по воду.

— Сегодня опять лежит, голова болит. Я хотел остаться дома, чтобы помогать ей, а она не позволила, говорит: если не пойдешь во второй класс, отец, когда вернется, ругать будет.

— А то как же? Конечно, будет ругать! Вот вернется и...

Мальчик часто замигал, захлопал длинными ресницами и как-то не по-детски безысходно и тяжело вздохнул.

— Ты что это, разве можно так вздыхать! — прикрикнула на него Сейде. — Ваш отец вернется, только не вздыхай так, это нехорошо!

После того как мальчик, взяв тлеющую кизячину, ушел, Сейде долго сидела подле джаргылчака, обессиленно опустив руки. Этот вздох мальчика, почти ребенка, потряс ее. Сам с ноготок, а все понимает сердцем. «Сирота! — думала она подавленно. — Да и Тотой, конечно, догадывается, только молчит... И что ж ей делать, бедняжке? Ну-ка, попробуй прокорми трех сирот. Колхоз помогает понемногу, только этим и живы. Недавно принесла со склада овса полмешка — все лучше, чем ничего... Только одна надежда у них теперь — на корову. Должна бы скоро отелиться, да что-то затягивает, должно быть, перегуливала в прошлое лето. Тотой по утрам ругается на дворе. «Чтоб ты, — кричит, — околела! Сколько еще ждать, да когда же ты отелишься? Ребятинки извелись без молока, а тебе и дела нет, ходишь себе, даром корм жрешь!» Оно и верно, дожждаться бы им молока, тогда уже не так страшно. Да-а, как-то сложится теперь у них жизнь? Тотой часто стала прибалывать. Жалко Байдалы, ведь сам бросился на мины, знал, что погибнет, и бросился... Это он по доброте своей... Судьба... Ничего... как-нибудь будут жить, дети подрастут. Трудно, конечно... У каждого горе-горькое. У них свое, у нас свое. Вот уйдем в Чаткал, может, легче будет... Тотой как-то спросила словно невзначай: «Правду говорят, что Исмаил сбежал?» А что я ей отвечу? «Не знаю, может, и сбежал, да только у нас он не показывался». Кто верит, кто нет... Только

Мырзакулу не попался бы на глаза, Мырзакул не пожалеет: он враг! Боже, охрани нас от Мырзакула!..» Долго еще сидела Сейде, погруженная в свои раздумья, и чем дальше бежали минуты, тем сильнее охватывала ее смутная тревога, из головы не выходил мальчишка, его недетский вздох, его голодные, просящие глаза. Сейде мучило предчувствие беды.

Она вышла во двор. Погода к ночи испортилась. Сырой, промозглый ветер гнал тучи с запада. Мрачно наплывали они на небо. Гор уже не видать. Луна катилась против ветра, увязая в тучах. Иногда она совсем исчезала и где-то мельтешилась там, во тьме, ее зыбкий свет едва пробивался сквозь слой туч. «Скоро снег пойдет... Как-то там Исмаил?»

Утром Сейде пошла по воду. Тучи уже плотно затянули небо, большими хлопьями валил мокрый весенний снег. Только вышла за огород, как во дворе Тотой послышались крики, плачущие голоса. Разбрызгивая слякоть, галопом проскакали по улице верховые. «Что там у них стряслось?» — встревожилась Сейде. Бросив ведра, она побежала ко двору Тотой. «Решили, что Байдалы будут оплакивать осенью, неужели кто-нибудь проговорился?» — строила она догадки.

Обогнув дувал, Сейде сунулась во двор и сразу оставилась ошеломленная. Из гомонящей толпы вырвалась Тотой: волосы ее были растрепаны; чапан, надетый на один рукав, волочился по земле. Она подбежала к дверям сарая и закричала истошно, колотя себя в грудь:

— Да вот же, милые мои, вот, родимые, посмотрите: сорвали замок и увели! О-о, горе мое, о-о, покарал меня аллах! О-о, горе мое!

Кто-то крикнул, пересиливая голоса:

— А вечером ты сама ее привязывала? Сама запирала дверь?

— А то как же, родимые, сама! Сама! И даже вымечко щупала, наливала она вымечко... Ребята совсем извелись, только и ждали молочка! Как же мне не приглядеть за коровкой, хоть и больная я была! Да чтоб руки у меня отсохли!

Когда Сейде поняла, что случилось, ее охватил ужас. Вспомнила она, как вчера прибежал Асантай и как он говорил о молозиве, ждал молока, словно необыкновенного сказочного чуда. Он встал сейчас перед ее глазами: худенький, с тоненькой шеей, в отцовской телогрейке с

засученными обтрепанными рукавами: стоял и доверчиво улыбался измазанными в талкане губами.

«Кто же мог решиться на это, какая подлая, черная душа?» — негодуя, думала Сейде. В лицо били мокрые хлопья снега и струйками стекали за шею, а она все стояла и не могла сдвинуться с места, смотрела, как ребятишки Тотой с ревом цепляются за полы ее чапана. Самый меньшой вскочил, видно, прямо с постели. Он бегал за матерью босиком по снежной жиже и в страхе кричал: «Мама, мама!» Но Тотой будто не замечала его, металась по двору, выкрикивая осипшим, надорванным голосом:

— Если бы Байдалы был дома, какой вор посмел бы зайти во двор! Будь проклят дом без мужчины!

«Дитя застудится совсем, посинел весь!» — прошептала Сейде. Она хотела подбежать к ребенку, взять его на руки, но тут из толпы вышел почтальон Курман. Остановив малыша, он молча посмотрел на его покрасневшие ноги в снегу и грязи, потом быстро развязал кушак, сгреб мальчика в охапку и, прикрыв чапаном, понес к себе. Кто-то поднял с земли брошенный Курманом кушак, поднял его, бережно обтер рукавом. Когда Курман проходил мимо Сейде, она видела, как он, прижимая ребенка к груди, согревал его своим дыханием.

— Всех вас разберем по домам, прокормим, вырастим, не бросим, не оставим вас! — говорил он сам с собой. Его мокрая борода подрагивала, в глазах стояли слезы.

Почти весь аил сбежался во двор к Тотой. Неслыханное дело! Правда, случалось и раньше — уводили со двора коров или овец. Бывало это. Но сейчас народ сбежался не только потому, что украли скотину, а потому, что вор поднял руку на самое святое для всех людей в аиле: «Кто посмел тронуть сиротскую семью Байдалы?» Люди угрюмо молчали, но в душе у каждого звучали проклятия. Мырзакул уже несколько раз пронесся мимо двора на коне, кружил где-то по улицам и наконец прискакал вместе с табунщиком Барпы. Как вихрь, ворвался он во двор — в шинели с мотающимся из стороны в сторону рукавом, жестко осадил коня.

— Давай собирайся, народ! — закричал Мырзакул. — Кто может, на лошади, а кто пеший, рассыпайтесь по всем логам и оврагам, ищите! Корова — полдела, а вот эту подлую собаку мы должны найти.

— Верно говоришь! — зашумел народ. — Вор не мог далеко уйти. Если зарезал корову, мясо найдется, а нет,

значит, спрятал корову где-нибудь в старом кургане...*

— Так оно и должно быть! Пошли по курганам!..

На улице Мырзакул подозвал к себе фронтовиков:

— Вы, ребята, солдаты... Вам задание: садитесь на коней и просмотрите дорогу в город!

— Мы-то готовы, да лошадей нет.

— Берите на конюшне! — приказал Мырзакул.

— Председатель скорее повесится, чем даст лошадей с конюшни в такую даль скакать. Кони к пахоте готовятся!

— А, чтоб его... председателя! — взревел разъяренный Мырзакул, и культа его вскинулась, мотнув рукавом шинели: — Сейчас же седлайте коней, я отвечать буду!..

Вместе с другими Сейде кинулась на поиски. За аилом люди разбрелись в разные стороны. Коршуном пригибаясь к шее коня, промчался за бугор Мырзакул, а в другую сторону, надвинув малахай на грозное скуластое лицо, поскакал табунщик Барпы. И Сейде вдруг ошеломила страшная догадка. Как она не подумала об этом раньше? «Что, если они найдут Исмаила?» Обезумев, она бросилась в сторону дальних лугов, поросших чиём.

Туман, словно больной, белесым жидким дымом волочился по лощинам, бессильный оторваться от них и подняться ввысь. Земля расплзалась под ногами, мокрый снег пропитал одежду, и она тяжело давила на плечи.

Как птица, оберегающая свое гнездо, кружила Сейде по холмам, боясь навести кого-нибудь на убежище Исмаила. Растерянная и жалкая, металась она во все стороны, пугливо осматриваясь вокруг: не видно ли кого, не идет ли кто-нибудь по ее следу?

«О боже, отведи беду и на этот раз, пронеси стороной! — молила она небо и прижимала руки к груди. — Как быть, что делать, научи! Если бы корова нашлась, на счастье этих детишек, то люди вернулись бы в аил! О создатель, верни сиротам корову, молю тебя, я тоже мать, у меня тоже сын, молю тебя ради сына!»

С бугра на бугор, по оврагам, бежала Сейде, и страстные заклинания срывались с ее губ. Вскоре ею целиком завладела мысль: если сейчас найдут корову, то народ вернется в аил. В этом ее единственное спасение, единственный для нее выход. Значит, надо найти корову, и как можно скорее, дорога каждая минута.

Собрав силы, она побежала дальше. Заглядывая под

* Курган — заброшенное глинобитное строение.

каждый куст чия, за каждый уступ, лазила по колючкам, изодрала платье. Но нигде не было видно следов коровы. Во-он, в тумане, зачернели развалины старого кургана. Может, корова спрятана там? Подожди, что это виднеется? Похоже на скотину. Да, да, в самом деле похоже! Ты же видишь: это небольшая черно-пестрая коровка! Ну да, боже мой, так оно и есть!

От внезапно нахлынувшей радости Сейде задохнулась. Она остановилась: отянулись ноги. И сразу же пришло решение: «Сейчас взбегу на большой бугор и буду сзывать народ, пусть все возвращаются в аил. Приведу корову во двор к Тотой и привяжу в сарае. Только бы это в самом деле была корова... или мне только мерещится?»

В один дух добежала Сейде до кургана и... помертвела. Это не корова, это глыба дувала, обвалившаяся внутрь двора.

Туман все так же вяло стелился по земле. В развалинах дувала весенний снег густо облепил шишковатые макушки прошлогоднего ренейника, мелкими белыми наростами покрыл стебельки молоденькой зелени, только что пробившейся на свет.

Вечером, когда Сейде, едва передвигая ноги, дотаскилась до аила, кособокие двери коровника во дворе Тотой были по-прежнему распахнуты настежь. В коровнике зияла унылая пустота.

Дома, надрываясь, кричал ребенок. Должно быть, он плакал весь день: глаза закатывались, были видны одни белки, дыхание перебивалось резкой икотой. И, как назло, переполненные, отвердевшие груди Сейде долго не пропускали молока, как ни старалась она выжимать. Она чувствовала себя такой же перенапряженной, скованной, челюсти сводила судорога, словно у лошади, которую расседлали и в поту оставили на ночь под ветром.

Сидели молча: Сейде с сыном в одном углу, старуха — в другом. Не было никакого желания затопить печь, на душе холодно и неудобно, как и в доме. Сейде томила сонливость. Кое-как она уложила сына в бешик и, не раздеваясь, тут же свалилась на пол.

Ночью Сейде проснулась от стука в окно. Спросонок она чуть было не крикнула: «Кто там?», но спохватилась, поняв, что это пришел Исмаил. Она еще больше испугалась: «В аиле переполох, принесла же тебя сегодня нелегкая, боже мой!»

Сейде вскочила с места, открыла дверь, торопливо прошептала:

— Скорей, в аиле плохо!

Быстро накинув крючок, она впотьмах повела Исмаила в комнату. Завесила окна и уже собиралась засветить фитиль, как что-то увесистое, шмякнув, выпало из рук Исмаила. Сейде похолодела: ей показалось, что это сердце се оборвалось и упало на пол. Дрожая, она присела, пошарила вокруг себя рукой и нащупала что-то мягкое: это была торба с мясом.

— Так это ты! — сдавленно вскрикнула Сейде. Спазма перехватила ей горло.

— Тише! — Глаза Исмаила блеснули в темноте. Он придвинулся ближе и тяжело задышал ей в лицо. — Молчи, не твое дело!

Сейде молчала. В голове помутилось, будто кто-то грубо толкнул ее в грудь. Она сидела на полу и, чтобы не свалиться ничком, опиралась на руки. Было одно желание: выскочить из дома и с воплем бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть, лишь бы не знать, что есть на свете такие люди. Но подняться не хватило сил. И даже на то, чтобы закричать, не хватило сил. Она очнулась, когда Исмаил глухо прикрикнул:

— Что сидишь, зажигай свет!

Сейде не шевельнулась.

— Зажигай, говорю, свет!

Исмаил наклонился и увидел, что Сейде ползет к нему на коленях...

— Ты... ты лучше бы зарезал нашу телку!..

— Дура! — Исмаил схватил ее за плечо, рванул к себе. — Ты что болтаешь, не тебе меня учить! Если жизнь волчья, то и сам будь волком! Всяк для себя!.. Лишь бы самому нажраться... Какое твое дело до других? Хоть подыхай с голоду, никто тебе и ложки ко рту не поднесет. Всяк для себя! Кто рвет, тот и ест!

Сейде ничего не отвечала. Рука Исмаила сползла с ее плеча, нащупала ворот платья, туго сжала. Он с силой затряс жену, захрипел, изо рта его пахло полусырым недожаренным мясом.

— Ты что ж молчишь, а? Я тебя спрашиваю: ты что молчишь? Если бы я зарезал свою телку, откуда бы ты взяла молока для ребенка? Или чужие дети тебе дороже своего? А как бы мы добрались до Чаткала? Ты думаешь об этом или нет, а? Считанные дни остались, а ты хочешь, чтобы я сдох с голоду в этой пещере? Или другие тебе ближе, чем я? Ну нет, всю зиму я дрожал от холода, теперь хватит... Буду воровать, буду грабить; не для того я

сбежал из армии, чтобы здесь околевать как собака! Я не дурак и подыхать не собираюсь!

Во дворе прокричал петух. Пора было уходить. Исмаил подошел к окну, прислушался, спрятав сигарку в кулаке, и проговорил:

— Ну что онемела? Припрячь мясо, варите его по ночам, а кости закапывайте в сарае, да поглубже, чтобы собаки не разрыли! — Он еще раз затянулся сигаркой, нижняя часть его лица озарилась красноватым, зловещим отсветом, из мрака выступили мокрые губы, хищные ноздри. Потом он бросил окурок на пол, придавил ногой и вышел.

Чем светлее становилось за окном, тем пристальней вглядывалась во двор молодая седоволосая женщина. Казалось, она выслеживает, куда прячется ночной мрак от света занявшегося дня. Обняв детский бешик, Сейде все смотрела, смотрела в окно, не отводя глаз. Там, за этим маленьким оконцем, целый мир, аил, народ. Там живут Курман, Тотой со своими тремя детьми, однорукий Мырзакул и Исмаил тоже... Да-а, Исмаил тоже... «Нет, ты непохож на них... Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом! Не сумела я убедить тебя от этого, да и не смогла бы уберечь!..»

Кто-то вздохнул с тяжким стоном. Только теперь Сейде заметила старуху. Она сидела в углу, уткнув подбородок в худые, острые колени, и тоже смотрела в окно измученным, страшным взглядом. Конечно, она слышала все, что происходило ночью.

Сейде собиралась. Уложила в узелок пеленки, надела чапан, туго подвязалась веревкой, как делала это соседка Тотой.

— Ты уходишь к своим? — тихо спросила старуха.

— Ухожу, — ответила Сейде. Свекровь молча кивнула головой.

Возле дверей Сейде остановилась и задумалась, держа в руках сына. Он спал, ничего не ведая, только поморщился и повертел головкой, когда на лицо его капнула слеза матери. Потом Сейде подняла с земли торбу с мясом, взвалила ее на плечо и решительно шагнула за порог.

Старуха и на этот раз промолчала, она не просила Сейде вернуться, не кинулась ей в ноги.

Спустя некоторое время старуха тоже вышла из дома

и, не прикрыв двери, побрела куда-то без всякой цели далеко в сторону от айла.

Сейде шла по едва приметной в зарослях чия овечьей тропинке. За ней следовал Мырзакул — он ехал верхом на лошади — и двое солдат с винтовками.

Часа два назад командир воинской охраны туннеля приказал солдатам отправиться в соседний кишлак в распоряжение председателя сельсовета. Сейде шла в Малое ущелье, к чабанам. Больше она никогда не вернется в этот айл.

Солдаты тихо переговаривались между собой.

— Слушай, это та самая, у которой свели корову?

— Да, по всему видать, она.

— Выходит, выследила его. Молодец баба! Только на кой черт она тащит с собой дите на руках?

— А кто ее знает! Чудная какая-то, ей-богу? Давеча председатель ей говорит: садись, мол, на лошадь, ты же с ребенком. А она ни слова в ответ, повернулась и пошла... Гордая, видать...

Когда они добрались до обрывистой балки, поросшей камышом и тальником, Сейде спустилась вниз и приостановилась на повороте.

— Вон там, за камышами! — показала она рукой, и кровь отхлынула от ее лица. Не сознавая, что делает, развязала узел платка на шее, присела и сунула ребенку грудь.

Солдаты осторожно двинулись вслед за Мырзакулом. Приближаясь к камышам, Мырзакул занес ногу, собираясь соскочить с лошади. И в эту минуту впереди раздался окрик:

— Эй, Мырзакул! Назад! Мне один конец, но и тебе недобровать! Уложу! Убирайся!

— Руки вверх! Сдавайся! — крикнул Мырзакул и пустил лошадь вперед.

В балке грохнул выстрел. Сейде вскочила на ноги. Она увидела, как Мырзакул привалился к шее коня, как он судорожно цеплялся одной рукой за гриву и как обрубок другой руки беспомощно дергался в рукаве шинели. Потом тело Мырзакула обмякло, и он кулем свалился на землю.

Тем временем солдаты открыли стрельбу. Исмаил отвечал частыми выстрелами. В горах загремело эхо.

И вдруг один солдат вскрикнул не своим голосом:

— Эй, маржа! * Куда ты? Назад, говорю! Назад! Убьет!

* Маржа — от слова «Мария», обращение к женщине.

С сыном на руках, в платке, упавшем ей на плечи, Сейде шла к камышам, в которых засел Исмаил. Она шла спокойно и твердо, шла так, будто ей ничто не угрожало.

Губы ее были тесно сомкнуты, глаза широко открыты, и взгляд их тверд. В ней чувствовалась огромная внутренняя сила. Это была женщина, которая верит в справедливость и в свою правоту. Шаг за шагом приближалась она к камышам. Солдаты растерялись. Не зная, что делать, они кричали ей вслед:

— Назад! Повертывай назад!

Но Сейде даже не оглянулась на крики, будто не слышала их.

На какую-то минуту звенящая, бездонная тишина сковала горы. Солдаты, укрывшиеся за камнями, Мырзакул, распростертый на земле с судорожно сведенными пальцами единственной руки, нависшие скалы и далекие вершины гор — все оцепенело в напряженном ожидании. Вот-вот раздастся выстрел, и женщина с ребенком на руках рухнет на землю.

Страшную эту тишину нарушил ветер. Волной прокатился он по верхам камышей, ударил Сейде в лицо и сорвал платок с ее плеч. Но и теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Гнев и решимость вели ее вперед. Высоко подняв голову, прижимая сына к груди, она шла, не страшась смерти, во имя высокого долга.

— Стой! Стой! — с отчаянием кричали солдаты.

Сжимая винтовки, они кинулись за Сейде. И в эту минуту из камышей выскочил Исмаил. Был он в рваной серой шинели. С перекошенного, измученного лица, заросшего бородой, катился грязный пот. Задыхаясь от ярости, он поднял винтовку для удара и грозно двинулся к жене.

Все больше сокращалось расстояние между ними. Вот они сблизилась вплотную, лицом к лицу. И он не узнал прежней Сейде. Это была другая, незнакомая ему женщина: седоволосая, с непокрытой головой, она бесстрашно стояла перед ним, держа в руках сына, и ему вдруг показалось, что она стоит высоко, очень высоко, недоступная в своем скорбном величии, а он бессилен и жалок перед нею.

Исмаил пошатнулся, с силой швырнул винтовку на встречу подбежавшим солдатам и поднял руки.

ДЖАМИЛЯ

Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.

Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней.

В глубине картины — край осеннего, поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане — красно-бурая полярная степь. И дорога, черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг — и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегаю немного вперед.

Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда еще подростки лет по пятнадцать, работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни уборки. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в поле, на току или в пути на станцию, куда свозили зерно.

В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.

Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам из Большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.

Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером.

Дома оставались мать и сестренка.

В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще с времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в междуречье, — наши одноплеменники, все мы из одного рода.

Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя отпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков: ведь он доводился покойному самым близким родственником.

Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили вместе.

Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда, с большими перерывами.

В Малом доме остались мать, которую я называл «кичи-апа» — младшей матерью, и ее невестка — жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье

арыков или полив, — словом, прочно держала в руках кетмень. Судьба словно в награду послала ей работающую невестку. Джамия была под стать матери — неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная.

Я горячо любил Джамию. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамия. Но я называл ее «джене», как жену старшего брата, а она меня — «кичине бала» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уже заведено в айле: невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо. Это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.

Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молодой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтит их память, управляя семьями по всей справедливости. В айле с ней считались, как с самой почтенной, совестью и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители айла не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э-э, да ты лучше не иди к устаке, — так почтительно у нас называют мастеровых людей, — он только и знает, что свой топор. У них старшая мать всему голова — вот к ней и иди, так оно вернее будет...»

Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не

таким, как отец, который день-деньской молча строгаёт и пилит.

Так вот, я остановил бричку возле дома, в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подходя ближе, я услышал голос матери.

— Не быть этому! Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, милый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала. И так света белого не вижу, ну-ка, попробуй управься в двух дворах! Ладно еще дочка подросла... Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится — воды ждёт! — запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась.

— Ну что вы за человек! — проговорил в отчаянии Орозмат, покачнувшись в седле. — Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где их взять, мужчин-то?.. Вот и решили солдаток упротить. Вы своей невестке запрещаете, а нас пачальство последними словами кроет... Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так, куда это гонится?

Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и, когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался, — видно, его осенила какая-то мысль.

— Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни, — с радостью указал он на меня, — никому не позволит близки к ней подойти. Уж можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки — кормильцы наши, только они выручают.

Мать не дала бригадиру договорить.

— Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты мой?! — запричитала она. — А голова-то, зарос весь... Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну никак не найдет времени...

— Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, — ловко подхватил Орозмат в тон матери. — Сеит, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе работать.

Смотри у меня, отвечать будешь за нее! Да вы не тревожьтесь, байбиче. Сеит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы же его знаете: безобидный такой малый... ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто же посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты как думаешь, — вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее.

Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуетя со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:

— Ничего ей не сделается, что ее, волки съедят, что ли?

И, как завязтый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.

— Ишь ты! — изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула: — Я вот тебе покажу волков! Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся!

— А кому же знать, как не ему, он у вас джигит двух семейств, гордиться можете! — вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать: как бы она опять не заупрямилась.

Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув:

— Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе... Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище...

Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить в нее хлеб.

Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а вели спокойный, негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и

дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей.

Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадей камчой и выехал со двора быстрой иноходью.

Ни мать, ни я не подозревали тогда, конечно, чем все это кончится.

Я несколько не сомневался, что Джамия управится с пароконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамия — дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамию. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.

Не знаю, чем объяснить, может, оттого, что Джамия с детства гоняла с отцом табуны — она у него была одна, и за дочь и за сына, — но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамия напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но, если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.

Соседи не раз приходили жаловаться:

— Что это у вас за невестка такая? Без году неделя как переступила порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!

— Вот и хорошо, что она такая! — отвечала на это мать. — Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони — что протухшие яйца; снаружи чисто да гладко, а внутри — нос заткни.

Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамией с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного: чтобы она была верна богу и мужу.

Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей,

они находили утешение в Джамиле, единственной невестке двух дворов, и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения.

А вот Джамия с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.

Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага.

— Благодарю аллаха, дочь моя, — поучала мать Джамилу, — ты пришла в крепкий и благословенный дом. Это твое счастье. Женское счастье — детей рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все, что нажили мы, старики, в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье — оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя!..

Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивала через арык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.

А еще любила Джамия петь, она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в айле представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали

себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамиля никого не было на свете. Нам было вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору.

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые айльные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск.

Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшись домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле Джамиля молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступить за нее».

В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту, встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел.

Парни прыскали со смеху:

— Ой, ты только погляди на него! Да никак она его джене! Вот потеха-то, а мы и не знали!

Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши, и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.

— А вы думали, что джене на дороге валяются? — приосанившись, говорила она джигитам. — Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни мой, ну вас! — И, красясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову, вызывающе поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.

И досаду и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите — не уследите!» Я в таких случаях виновато

молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга.

В те дни в аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно: чего, мол, с ними канителишься, только помани пальцем — любая побежит!

Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамили неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени.

— Отстань! — проговорила она с болью и отвернулась. — Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные!

Осмон, развалившись под стогом, презрительно скрипил мокрые губы.

— Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит... Чего ломаешься, небось самой до смерти хочется, а тоже — нос воротить.

Джамили резко обернулась.

— Может, и хочется! Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу: противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать!

— Вот я и говорю! Война — ты и бесишься без мужниной камчи! — Осмон ухмыльнулся. — Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела.

Джамили кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала: поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь.

Я стоял на можаре за скирдой. Увидев меня, Джамили круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее:

— Зачем ты связываешься с такими, зачем ты с ними разговариваешь?

До самого вечера Джамили ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась,

как прежде. Когда я подгонял к ней можару, Джамия, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Можара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу.

Когда мы загрузили последнюю можару, Джамия, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра * пламенело разомлевшее вечернее солнце косолицы. Оно медленно уплывало за горизонт, облагрив заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просинью ранних сумерек. Джамия смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамия, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор:

— А ты не думай о нем, кичине бала, ну его! Разве это человек?.. — Джамия умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала: — Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает. Может, и нет таких мужчин на свете...

Пока я разворачивал лошадей, Джамия уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло, — может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат, может, просто развеялась оттого, что хорошо поработала. Я сидел на можаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамию. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по затененному скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть: «Стоит ли думать о болтовне Осмона!»

* Т а н д ы р — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в которой пекут лепешки.

— Но-о, пошли! — заспешил я, подхлестывая лошадей.

В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дожидаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца, айльский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «послание о здравии» и затем неизменно сообщал: «Посылая это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю...» Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали неперменные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал: «А также шлю привет моей жене Джамиле...»

Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в айле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в айле, и это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие.

Мать заставляла меня по несколько раз перечитывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнушными пальцами, она складывала наконец письмо в треугольник.

— А-а, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма! — приговаривала она дрожащим от слез голосом. — Вот ведь справляется, как там отец, мать, родичи... Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в айле. А каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все — нам большего не надо...

Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.

Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и

ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда Джамия брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг.

Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее.

— Ты что это? — говорила она, запирая сундук. — Вместо того чтобы радоваться, поникла вся! Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде — горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим... Тоскуй, но виду не показывай, в себе тай!

Джамия молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, ма-тушка!»

Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что, бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.

Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пастись скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить, но в этот раз, когда выпряг лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.

Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.

— Данике, это твои лошади в низине? — спросил я.

Данияр медленно повернул голову:

— Две мои.

— А другая пара?

— Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится, джене твоя?

— Да, джене.

— Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть...

Как хорошо, что я не отогнал лошадей!

Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На току тоже утихло. Данияр расположился возле меня, под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливее нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. «Опять он задумал почевать у реки, вот чудак!» — усмехнулся я.

Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до едина, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.

Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь — родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекасти-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на Чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в

пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом на Ангренских шахтах, под Ташкентом, а оттуда ушел в армию.

Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. «Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся — значит суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а так говорит чисто!»

«Тулпар* за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны, и духи твоих предков. Вот, бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взвывается свой дымок над очагом!» — говорили старые аксакалы.

Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем аиле «новый родич» — Данияр.

И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос выскокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой кобыленки Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись.

Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными глазами.

— Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! — говорили про него.

Но что интересно — при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно, и так.

* Ту л п а р — сказочный скакуп.

Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он насто­раживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку* и просиживал там дотемна.

— Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? — смеялись мы.

Однажды и я ради любопытства полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине.

Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не доходящие до моего слуха звуки. Порой он насто­раживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу, только не передо мной — меня он не замечал, — а перед чем-то огромным, необъятным, неизвестным мне. А потом я глянул и не узнал его, понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.

Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угольям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным, бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и

* Караульная сопка — возвышенность, откуда обозре­вается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со вре­мен кочевых набегов.

не у самого берега, ночью вода была так близко ощути-
ма, что невольно напал страх: а вдруг снесет, вдруг
смоет шалаш? Товарищи мои спали непробудным сном
косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу.

Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и
здесь темнеют на дугу стреноженные лошади. Они на-
паслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка по-
фыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибая исхлестанный
мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает
камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет
ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно.

В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обыч-
но ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не
страшно? Как только он не гложет от шума реки? Спит
он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он нахо-
дит в этом? Станный человек, не от мира сего. Где же
он сейчас? Смотрю по сторонам — никого не видать. По-
логими холмами уходят вдаль берега, в темноте просту-
пают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно.

Казалось бы, пора было уже Данияру завести в айле
друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким, словно
ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатий
или зависти. А ведь в айле тот джигит на виду, который
может постоять за тебя и за других, кто способен сделать
добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая аксака-
лам, распоряжается на пиршествах и поминках, — такие
и у женщин на примете.

А если человек, подобно Данияру, держится в сторо-
не, не вмешиваясь в повседневные дела айла, то одни
его просто не замечают, а другие снисходительно говорят:
«Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга,
перебивается кое-как, ну и ладно...»

Такой человек, как правило, является предметом на-
смешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда
хочется казаться старше своего возраста, чтобы быть на
равной ноге с истинными джигитами, конечно, не прямо
в лицо, а между собой постоянно смеялись над Дания-
ром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою
гимнастерку в реке. Выстирает — и еще не просохшую
наденет: она у него была одна.

Но странное дело, казалось бы, тихий и безобидный
был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним
запанибрата. И не потому, что он был старше нас, —
подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы
не церемонились и называли их на «ты», — и не потому,

что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения, нет, что-то недоступное таилось в его молчаливой угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно.

Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика.

Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали.

— Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли, — попросил я.

Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас.

— О войне, говоришь? — спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил: — Нет, лучше вам не знать о войне!

Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.

Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так, просто, говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне.

Однако тот вечер быстро забылся, так же как и пропал в аиле интерес к самому Данияру.

На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени Джамия пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:

— Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты? — И, будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя ногой, хорошо ли подогнаны колесные втулки.

Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широчеными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками.

— Ну и пара! — Джамия весело вскинула голову. И не мешкая начала командовать нами: — Поживей да-
вайте, чтоб до жары степь проехать!

Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягла, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом.

Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамии, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамия накинулась на него.

— Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет, а ну, давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на бричку, укладывая мешки!

Джамия сама схватила руку Данияра, и когда они вместе — на сомкнутых руках — подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамии. А Джамия хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы взяли вожжи в руки, Джамия, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:

— Эй ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь!

Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый!» — подумал я.

Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье, к станции. Одно было хорошо: как выедешь и до самого места дорога все время идет под гору, лошадям не в тягость.

Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки на склоне Великих гор. Пока не выедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду.

За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня.

Солнце немилосердно палило, а на станции толчея, не пробьешься: брички, жокары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волаы из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдаты, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни бо-сыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пы-ли губами.

На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос хлеба — фронту!» Во дворе — сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, манев-рирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы горячего па-ра, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ре-вом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобо-но и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли.

На приемном пункте под железной накаленной кры-шей горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, шль-спирает дыхание.

— Эй ты, парень, смотри у меня! — орет внизу при-смщик с красными от бессонницы глазами. — Наверх тащи, на самый верх! — Он грозит кулаком и раздражает-ся бранью.

Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда та-щить, и дотащим. Ведь несем мы этот хлеб на своих плечах с самого поля, где по зернышку выращивали и со-бирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в го-рячую страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины жен-щин вечно согнуты над раскаленными серпами, где ма-ленькие ребячьи руки бережно собирают каждый обро-ненный колос.

Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, ко-торые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скри-пучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не вы-пустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколь-ко раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или солдатки, у которых такие дети, как я. Если бы не вой-на, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет,

я не имел права отступать, когда такую же работу выполняли женщины.

Вон Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом.

— Крепись, кичине бала, немного осталось!

А у самой голос незвонкий, придушенный.

Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, на встречу нам попадался Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным мерным шагом, как всегда одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю мрачным, жгучим взглядом, она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а Джамиля продолжала не замечать его.

Да, так уж повелось: Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, и она крикнет мне: «Айда, пошли!» И, гикая и наворачивая над головой кнут, погонит лошадей вскачь. И за ней. Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.

Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили сразу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву — сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил Джамиле:

— Ну зачем ты смеешься над ним, джсене, ведь он такой безобидный!

— А ну его, — смеялась Джамиля и махала рукой. — Я ведь так просто, в шутку, ничего с этим бирюком не случится!

А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и

право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.

И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр, как бы между делом, приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои чувства: ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили.

«Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!» — возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.

Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов, сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись; Джамиля кидалась яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем, у железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию, и как-то получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась смешком, густо покраснел: он понял, в чем дело.

— Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! — крикнула Джамиля.

Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие и подавно ничего не заметили: идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамия догнала его:

— Брось мешок, я же пошутила!

— Уйди! — раздельно сказал он и пошел по трапу.

— Смотри, тацит! — вроде бы оправдываясь, проговорила Джамия.

Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться.

Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. Как же мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!

— Вернись! — вскрикнула Джамия сквозь невеселый смех.

Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.

Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног.

Я очнулся из оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до ломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамию. Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уже не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже, сбегались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок —

и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками.

— Бросай! Бросай мешок! — крикнула она.

Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.

— Да бросай же ты, собачий сын! — заорал приемщик.

— Бросай! — закричали люди.

Данияр и на этот раз выстоял.

— Нет, он не бросит! — убежденно прошептал кто-то.

И кажется, все — и те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, — поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.

А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром, и еще шаг. С каким состраданием и мольбой, стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем.

Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он того гляди сорвется, если не выпустит мешок.

— Беги! Поддержи сзади! — крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.

Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его взду-

лись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок.

— Уйди! — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.

Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели как плети. Все молча расступилось, перед ним, а приемщик не выдержал и закричал:

— Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек, разве я не разрешил бы тебе высыпать зерно внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?

— Это мое дело, — негромко ответил Данияр.

Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. А мы не смели поднять глаза. Стыдно было, и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку.

Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила.

Утром, когда мы грузились на току, Джамия взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском.

— На свою дерюгу! — Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы. — И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!

— Да ты что? Что с тобой?

— А ничего.

Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. Вот если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче — на том и забылась бы наша размолвка.

Джамия тоже делала вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.

Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь выдалась великолепная. Кто не знает азгустовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндевшая по краям,

вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысили к дому, под колесами поскрипывала щебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.

С одной стороны над дорогой нависли поросшие пшеницей затененные скалы, а с другой, далеко внизу, в зарослях тальника и диких топольков, бурунилась неутомная Куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук колес.

Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи! Джамиля ехала впереди. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал: ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в такую ночь хочется петь!

И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и пела она обыкновенно айльные песенки, вроде «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задумчиво, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру:

— Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?

— Пой, Джамиля, пой! — смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей. — Я слушаю тебя, оба уха наострил!

— А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет? Подумаешь, не хочешь — не надо! — И Джамиля снова запела.

Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор? Скорее всего ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула:

— А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? — и засмеялась.

Данияр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла.

«Нашла кого просить петь!» — усмехнулся я.

У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом:

Горы мои, сине-белые горы,
Земля моих дедов, моих отцов!

Он вдруг зашнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть с хрипотцой:

Горы мои, сине-белые горы,
Колыбель моя...

Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал.

Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.

— Ты смотри! — не удержался я.

А Джамиля даже воскликнула:

— Где же ты был раньше? А ну, пой, пой как следует!

Впереди обозначился просвет — выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах.

Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить: только ли это голос, или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы.

Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после — никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-

своему сплела их в единую, неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская.

Я слушал и диву давался. «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто бы мог подумать?»

Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа!

И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение и насмешки, его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда вдруг загорались у него глаза, взлетали обычно настороженные брови. Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь — к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом.

Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебежали по полю. Могучая толпа старых верб на мельнице шелестела листвой, за речкой догорали костры полевых станов, и кто-то, как тень, бесшумно скакал по-над берегом в сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух подсыхающих кыяков.

Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо.

И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь.

Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, скло-

нив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе неостывшим звукам. Данияр уехал, а мы до самого аила не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить? Ведь словами не всегда и не все выскажешь...

С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току, прибывали на станцию, и нам уже не терпелось побыстрее выехать, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый, росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал этот голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками веяльщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, — во всем, что видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра.

А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переносюсь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени; то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чия солнце, и одинокий далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним — ему рукой подать до солнца — и тоже тонул в зарослях и сумерках.

Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши горы и лежит суровая, безлюдная...

Но в это памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все стороны. И помню, как с того берега кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом:

— Садитесь, киргизы, в седла: враг пришел! — и мчался дальше в вихрях пыли и волнах знойного марева.

Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена, позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жен и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!»

Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы...

И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился, от кого он все это слышал? Я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны?

Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи, обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.

Я люблю рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается «точь-в-точь». Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.

А как изменилась вдруг Джамия! Словно и не было той бойкой, языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах, она тихо радовалась чему-

то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью, точно перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза.

Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной вымученной досадой:

— Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!

И потом, выстирав на реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама села подле и долго, старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце потертые плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно.

Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась, и у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты — бывшие фронтовики.

— Эй, бай, не вам одним пшеничный хлеб есть, угощайте, а не то в реку покидаем! — И джигиты шутя выставляли вилы.

— Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду чем угостить, а вы сами промышляйте! — звонко отозвалась Джамиля.

— Раз так, всех вас в воду!

И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду.

— Хватай их, тащи! — громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих.

Но, странное дело, джигиты точно и видели только одну Джамилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и занесли над берегом.

— Целуй, а нет — бросим!

— Давай раскачивай!

Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех звала на помощь подруг. Но те суматошно бегали по берегу, вылавливая свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в реку. Она вышла из воды с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра, девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачи-

ваясь, и по ее разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.

— Целуй! — приставали джигиты.

Джамилия целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые, тяжелые пряди волос.

Над затеей молодых все на току смеялись. Старики веяльщики, побросав лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на мгн молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джамиллю от джигитов.

Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне казалось, что он сорвется, побежит и выхватит Джамиллю из рук джигитов. Он смотрел на нее не отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозили и радость, и боль. Да, и счастье, и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.

Между тем и Джамилия заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась.

— Побаловались, и хватит! — неожиданно осадил ее она разошедшихся джигитов.

Кто-то еще попытался обнять ее.

— Отстань! — Джамилия отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.

Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамилия становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в аил и слушали пение Данияра.

По ущелью Джамилия ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше: идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз. Неужели это он поет, нелюдимый, угрюмый Данияр!

И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку, но он не видел этого, он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги, понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла.

Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах, а теперь пришел его день?

В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задерживались на току, она не находила себе места. Она слонялась возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь, к скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества, звала меня:

— Иди сюда, кичине бала, посидим!

Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена, так же как и я желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата!

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть ее по-детски приоткрытые, чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопро-

шая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.

Но что случилось в этот раз с Данияром? В его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывались от сочувствия и сострадания к нему.

Джамилия шла, склонив голову и крепко держась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамилия вскинула голову, прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамили. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос — и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!

Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они и не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песни. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамилия, прильнувшая к нему, но такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю эту вдохновенную музыку Данияр целиком отдавал ей, он пел для нее, он пел о ней.

Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их.

Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но смогу ли я? Дух захватило от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытии. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое

желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда: «А где же я возьму краски? В школе не дадут: им самим нужны!» Будто все дело только и заключалось в этом.

Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамия порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамия стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову, гляннула на него вполборота и, едва сдерживая слезы, проговорила:

— Ну что ты смотришь? — И, помолчав, сурово добавила: — Не смотри на меня, езжай! — И пошла к своей бричке. — А ты чего уставился? — накинулась она на меня. — Садись, бери свои вожжи? Эх, горе мне с вами!

«Что это она вдруг?» — недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило: нелегко ей было, ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы Джамию, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос.

Смертельная усталость ломала тело, хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Кольхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка, вожжи выскальзывали из рук.

На току я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись.

Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамию и Данияра! Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамию такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй.

Я побежал к реке; умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая, холодная люцерна сочно стегала по босым ногам, щипало потрескавшиеся, в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся подсолнух, что случайно вырос над арыком. Жадно обстухили его белоголовые горчаки, но он не сдавался:

ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через арык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок вымахавшей по пояс пахучей мяты. Я бегу по родимой земле, над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух-дичок, что вырос у арыка!

Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверно, не спала в эту ночь: темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала:

— Забирайте свою бричку! Посылайте куда угодно, а на станцию ездить не буду!

— Ты чего это, Джамиля, овод тебя укусил, что ли? — добродушно удивился Орозмат:

— Овод у телят под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала, не хочу, и все тут!

Улыбка исчезла с лица Орозмата.

— Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! — Он стукнул костылем о землю. — Если обидел кто, скажи — костыль на его шее обломаю! А нет — не дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! — И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.

Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.

В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял себе во всех дегалях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и поло-

жил его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веяльщиков.

— Благослови, аллах! — прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые, неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи, брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды.

Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос:

— Ты что, оглох, что ли?

Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.

— Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут делаешь?.. А это что? — спросила она и взяла рисунок. — Гм! — Джамиля сердито вздернула плечи.

Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала:

— Отдай мне это, кичине бала... Я спрячу на память... — И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху.

Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость, и мечты — одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее — кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась, трогательно и виновато. И я улыбался, значит, она уже не сердится на нас с Данияром и если попросит, то Данияр споет сегодня...

На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда,

он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.

— Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, — позвала она Данияра.

Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза:

— Ты что, или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..

Данияр молча отвел глаза.

— Думаешь, мне легко? — вздохнула Джамиля.

Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джамили? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом: «Думаешь, мне легко?..»

Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул:

— Кто тут из аила Куркуреу?

— Я из Куркуреу! — ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.

— А ты чей будешь, браток? — Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.

— Керим, это ты?! — воскликнула Джамиля.

— Ой, Джамиля, сестрица! — Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь.

Оказывается, это был земляк Джамили.

— Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда! — возбужденно говорил он. — Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене, свезу... Вот оно, получай, в целости и сохранности. — И Керим протянул Джамиле треугольник.

Джамиля схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю.

Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые, и родные, посыпались расспросы. А Джамия не успела даже поблагодарить его за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.

— Очумел он, что ли? — закричали ему вслед.

Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамией все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.

— Поедем, джене, — сказал я.

— Езжай, оставь меня одну! — с горечью ответила она.

Так, первый раз за все время, мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся, выжженная земля, раскаленная за день добела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое, бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседая на конских мордах, и, тяжело откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни.

«К дождю, что ли?» — думал я.

Каким бесприютным почувствовал я себя, какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие сухопарые дрофы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов — таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души. Только истомившаяся за день степь.

Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра.

— Он ушел к реке, — ответил сторож. — Духотища-то какая, все разошлись по домам. Без ветра на току и делать нечего!

Я отогнал лошадей пастись и решил вернуться к реке, — я знал излюбленное место Данияра под обрывом.

Он сидел ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревущую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-нибудь хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на

темнеющее в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?»

Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в глубине туч.

Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и дело поглядывал на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле меня. «Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле! А куда ему идти? Одинокий, бездомный, кому он нужен?» И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля...

Не помню, сколько я проспал, только вдруг у самого уха зашуршали по соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном отжатом платье. Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Данияра.

— Данияр, я пришла, сама пришла, — тихо сказала она.

Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния.

— Ты обиделся? Очень обиделся, да?

И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли.

— Разве я виновата? И ты не виноват...

Над горами вдали прогремел гром. Профиль Джамили осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.

Запаленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И слова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало — надвигалась гроза, последняя летняя гроза.

— Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? — горячо шептала Джамиля. — Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон, и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно любила тебя. И когда не знала — любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя жду!

Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонза-

лись под обрыв в реку. Зашуршали по соломе косые студеные капли дождя.

— Джамиям, Джамалтай! — шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. — Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!

Гроза разразилась.

Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Паискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер.

Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь, и свет молний доставали меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияр и Джамия, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь.

Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже становался по-осеннему влажный запах полыни и намочшей соломы. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал.

В ту осень после двухлетнего перерыва я снова пошел в школу. После уроков я частенько ходил к реке на кручи и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям, мне не все удавалось.

«Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!» — говорил я себе, хотя и не представлял, какими же они должны быть.

Лишь значительно позднее мне повелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тубиках.

Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, «джигита и кормильца двух семей!» Об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.

Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник, но топольки еще сберегли желтые плотные листья.

Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы — разбрехались матки, и теперь уже до самой весны нелегко их будет удерживать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойную степь вдоль и поперек пересекали ископченные тропы.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди — предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке — уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике. Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли реку вброд. Это были Данияр и Джамия. Я не мог оторвать глаз от их суровых тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его стоптанных сапог. Джамия повязалась белым платком, сбитым сейчас на затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила щеголять по базару, а поверх него — вельветовый стеганный жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.

Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к небу.

Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамия, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях чия, а потом скрылись.

— Джамия-а-а! — закричал я что было силы.

«А-а-а-а!» — бесприютно откликнулось эхо.

— Джамия-а-а! — крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать за ними через реку, прямо по воде.

Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намочка, а я бежал дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаха упал на землю, обо что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне ли-

цо. Тьма будто навалилась мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.

— Джамия! Джамия! — всхлипывал я, захлебываясь слезами.

Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамию. Да, это была моя первая, еще детская любовь.

Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамией и Данияром, я расставался со своим детством.

Когда я прибрел впотьмах домой, во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, гарцуя на коне, орал во всю глотку:

— Давно надо было гнать из айла эту приبلудную собаку-полукровку! Срам, позор всему роду! Попадись он мне, убью на месте, пусть судят — не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб! Айда, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции!

Я похолодел: куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез.

Сколько разговоров и пересудов было в айле! Женщины наперебой осуждали Джамию.

— Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое!

— На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!

— Уж конечно, не полон двор скота! Безродный скиталец, бродяга — что на нем, то и его. Ничего, опомнится красотка, да поздно будет.

— Вот то-то и оно! А чем Садык не муж, чем не хозяин? Первый джигит в айле!

— А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает! Пойди сыщи еще такую байбиче! Погубила она себя, дура, ни за что ни про что!

Может быть, только я один не осуждал Джамию, свою бывшую жене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамия будет несчастна с ним. Только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамией ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто

ломают старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не прошила вдеть ей нитку в иголку: гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу: дрожат руки у матери, не видит она ушка иголки и плачет.

— На, вдень нитку! — попросила она и тяжело вздохнула. — Пропадет Джамия... Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла!.. Отреклась... А зачем ушла! Или худо ей было у нас?

Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр, но я не посмел, я бы на всю жизнь оскорбил ее.

И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной...

Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону:

— Ушла — туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни на есть никудышного парня.

— Это-то верно! — отвечал Осмон. — Только жаль, не попался он мне тогда: убил бы, и все тут! А ее за волосы да к конскому хвосту! Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли, ему-то не впервой бродяжничать! Только вот в толк не возьму, как все получилось, и знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все, подлая, сама устроила! Я бы ее!..

Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону: «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на сенокосе. Подлая ты душонка!»

И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался Садык. Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.

— Это ты рисовал?

Я оторопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамия глянули в тот миг на меня.

— Я.

— Это кто? — ткнул он пальцем в бумагу.

— Данияр.

— Изменник! — крикнул мне в лицо Садык.

Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверью.

После долгого гнетущего молчания мать спросила:

— Ты знал?

— Да, знал.

С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи. И когда я сказал: «Я еще раз их нарисую!» — она горестно и бессильно покачала головой.

А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей! Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня.

В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую пел он в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из айла, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно в трудный путь за счастьем.

— Я поеду учиться... Скажи отцу. Я хочу быть художником! — твердо сказал я матери.

Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала. Только грустно и тихо сказала:

— Поезжай... Оперились вы и по-своему крыльями машете... Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда. Поезжай... А может, там одумаешься. Не ремесло это — рисовать да малевать... Поучись — узнаешь... Да не забывай дом свой...

С того дня Малый дом отделился от нас. А я вскоре уехал учиться.

Вот и вся история.

В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу — это была картина, о которой я давно мечтал.

Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамиля. Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая, светлая даль.

И пусть несовершенна моя картина — мастерство не сразу приходит, — но она мне бесконечно дорога, она мое первое, осознанное творческое беспокойство.

И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор.

Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи новых дорог — по всему Казахстану до Алтая и Сибири! Много смелых людей трудится там. Может, и вы поехали в те края? Ты ушла, моя Джамиля, по широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни! Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь! Пусть вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамиля, не раскаивайся, ты нашла свое трудное счастье!

Я смотрю на них и слышу голос Данияра. Он зовет и меня в путь-дорогу — значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски.

Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамили!

**ТОПОЛЕК МОЙ
В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ**

ВМЕСТО ПРОЛОГА

По роду своей журналистской работы мне часто приходилось бывать на Тянь-Шане. Однажды весной, когда я находился в областном центре Нарыне, меня срочно вызвали в редакцию. Случилось так, что автобус ушел за несколько минут до того, как я прибыл на автостанцию. Следующего автобуса надо было ждать часов пять. Ничего не оставалось делать, как попытаться сесть на попутную машину. Я отправился к шоссе на окраине городка.

На повороте дороги у колонки стоял грузовик. Шофер только что заправился, завинчивал пробку бензобака. Я обрадовался. На стекле кабины был знак Рыбачинской автобазы. А оттуда всегда можно добраться до Фрунзе.

— Вы сейчас отправляетесь? Подвезите, пожалуйста, в Рыбачье! — попросил я шофера.

Он повернул голову, искоса посмотрел через плечо и, выпрямившись, спокойно сказал:

— Нет, агай*, не могу.

— Очень вас прошу! У меня срочное дело, вызывают во Фрунзе.

Шофер снова хмуро взглянул на меня:

— Понимаю, но не обижайтесь, агай. Никого не беру.

Я был удивлен. Кабина свободна, что стоило ему взять человека?

— Я журналист. Очень спешу. Заплачу сколько угодно...

* Агай (буквально — старший брат) — почтительное обращение к старшему.

— Дело не в деньгах, агай! — резко оборвал меня шофер и сердито толкнул ногой колесо. — В другой раз бесплатно довезу. А сейчас... Не могу. Не обижайтесь. Скоро еще будут наши машины, уедете на любой, а я не могу...

Наверно, он должен по дороге взять кого-нибудь, решил я.

— Ну а в кузове?

— Все равно... Я очень извиняюсь, агай.

Шофер посмотрел на часы и заторопился.

Крайне озадаченный, я пожал плечами и недоуменно взглянул на заправщицу, пожилую русскую женщину, которая все это время молча наблюдала за нами из окошечка. Она покачала головой: не надо, мол, оставьте его в покое. Странно.

Шофер полез в кабину, сунул в рот незажженную папиросу и завел мотор. Он был еще молод, лет тридцати, сутуловатый, высокий. Запомнились мне его цепкие, крупные руки на баранке и глаза с устало опущенными веками. Прежде чем тронуть машину с места, он провел ладонью по лицу и как-то странно, с тяжелым вздохом, встревоженно посмотрел вперед, на дорогу в горах.

Машина уехала.

Заправщица вышла из будки. Она, видимо, хотела успокоить меня:

— Не расстраивайтесь, сейчас и вы уедете.

Я молчал.

— Переживает парень... История длинная... Когда-то он жил здесь у нас, на перевалочной базе...

Дослушать заправщицу мне не удалось. Подошла попутная «Победа».

Грузовик догнали мы не скоро — почти у самого Долонского перевала. Он шел с огромной скоростью, пожалуй, непослушательной даже для выдавших виды тяньшаньских шоферов. Не сбавляя скорости на поворотах, с гудящим ревом неслась машина под нависшими скалами, стремительно вылетала на подъемы и сразу точно бы проваливалась, ныряя в перепады дороги, затем снова появлялась впереди, с развевающимися, хлопающими по бортам концами брезента.

«Победа» все-таки брала свое. Мы стали обгонять. Я обернулся: что за отчаянный человек, куда он так несется сломя голову? В это время хлынул дождь с градом, как это нередко бывает на перевале. В косых, секущих струях дождя и града промелькнуло за стеклом

бледное, напряженное лицо со стиснутой в зубах папирсой. Круто поворачивая руль, его руки широко и быстро скользили по баранке. Ни в кабине, ни в кузове никого не было.

Вскоре после возвращения из Нарына меня командировали на юг Киргизии, в Ошскую область. Как всегда, времени у нашего брата журналиста в обрез. Я примчался на вокзал перед самым отходом поезда и, влетев в купе, не сразу обратил внимание на пассажира, который сидел, повернувшись лицом к окну. Он не обернулся и тогда, когда поезд уже набрал скорость.

По радио передавали музыку: исполнялась на комузе знакомая мелодия. Это был киргизский напев, который всегда представлялся мне песней одинокого всадника, едущего по предвечерней степи. Путь далек, степь широка, можно думать и петь негромко. Петь о том, что на душе. Разве мало будет дум у человека, когда он останется наедине с собой, когда тихо кругом и слышен лишь цокот копыт. Струны звенели вполголоса, как вода на укатанных, светлых камнях в арыке. Комуз пел о том, что скоро солнце скроется за холмами, синяя прохлада бесшумно побежит по земле, тихо закачаются, осыпая пылью, сизая полынь и желтый ковыль у бурой дороги. Степь будет слушать всадника и думать и напевать вместе с ним...

Может быть, когда-то всадник ехал здесь, по этим местам... Вот так же, наверно, догорал закат на далеком краю степи, становясь постепенно палевым, а снег на горах, так же, наверно, как сейчас, принимая последние отсветы солнца, розовел и быстро меркнул...

За окном проносились сады, виноградники, темно-зеленые закустившиеся кукурузные поля. Пароконная бричка со свеженакошенной люцерной бежала к переезду. Она остановилась у шлагбаума. Загорелый мальчишка в драной вылинявшей майке и закатанных выше коленей штанах привстал в бричке, глядя на поезд, заулыбался, помахал кому-то рукой.

Мелодия удивительно мягко вливалась в ритм идущего поезда. Вместо цокота копыт стучали на стыках рельсов колеса. Мой сосед сидел у столика, заслонившись рукой. Мне казалось, что он тоже безмолвно напевал песню одинокого всадника. Грустил он или мечтал, только было в его облике что-то печальное, какое-то неутихшее горе. Он настолько ушел в себя, что не заме-

чал моего присутствия. Я старался разглядеть его лицо. Где же я встречал этого человека? Даже руки знакомые, смуглые, с длинными твердыми пальцами.

И тут я вспомнил: это был тот самый шофер, который не взял меня в машину. На том я и успокоился. Достал книгу. Стоило ли напоминать о себе? Он, наверно, давно уже забыл меня. Мало ли случайных встреч у шоферов на дорогах?

Так мы ехали еще некоторое время, каждый сам по себе. За окном начало темнеть. Попутчик мой решил закурить. Он достал папиросы, шумно вздохнул перед тем, как чиркнуть спичкой. Затем поднял голову, с удивлением глянул на меня и сразу покраснел. Узнал.

— Здравствуйте, агай! — сказал он, виновато улыбаясь.

Я подал ему руку:

— Далеко едете?

— Да... далеко! — Он медленно выдохнул дым и, помолчав, добавил: — На Памир.

— На Памир! Значит, по пути. Я в Ош... В отпуск? Или переводитесь на работу?

— Да вроде бы так... Закурите?

Мы вместе дымили и молчали. Говорить, казалось, больше было не о чем. Мой сосед опять задумался. Он сидел, уронив голову, покачиваясь в такт движению поезда. Показалось мне, он очень изменился с тех пор, как я его видел. Похудел, лицо осунулось, три резкие тяжелые складки на лбу. На лице хмурая тень от сведенных к переносице бровей. Неожиданно мой спутник невесело усмехнулся и спросил:

— Вы, наверно, на меня в тот раз крепко обиделись, агай?

— Когда, что-то не припомню? — Не хотелось, чтобы человеку было неловко передо мной. Но он смотрел с таким раскаянием, что мне пришлось признаться: — А-а... тогда-то... Пустяки. Я и забыл. Всякое бывает в пути. А вы все еще помните об этом?

— В другое время, может, и забыл бы, но в тот день...

— А что случилось? Не авария ли?

— Да как сказать, аварии-то не было, тут другое... — проговорил он, подыскивая слова, но потом рассмеялся, заставил себя рассмеяться. — Сейчас я бы вас повез на машине куда угодно, да только теперь я сам вот пассажир...

— Ничего, конь по одному следу тысячу раз ступает, может, еще когда-нибудь встретимся...

— Конечно, если встретимся, сам затащу в кабину! — тряхнул он головой.

— Значит, договорились? — пошутил я.

— Обещаю, агай! — ответил он, повеселев.

— А все-таки, почему вы тогда не взяли меня?

— Почему? — отозвался он и сразу помрачнел. За-молчал, опустив глаза, пригнулся над папиросой, ожесточенно затягиваясь дымом. Я понял, что не надо было задавать этого вопроса, и растерялся, не зная, как исправить ошибку. Он погасил окурок в пепельнице и с трудом выдавил из себя:

— Не мог... Сына катал... Он меня ждал тогда...

— Сына? — удивился я.

— Дело такое... Понимаете... Как бы вам объяснить... — Он вновь закурил, подавляя волнение, и вдруг твердо, серьезно глянув мне в лицо, стал говорить о себе.

Так мне довелось услышать рассказ шофера.

Времени впереди было много — поезд идет до Оша почти двое суток. Я не торопил, не перебивал его вопросами: это хорошо, когда человек сам все рассказывает, заново переживая, раздумывая, порой умолкая на полуслове. Но мне стоило больших усилий, чтобы не вмешаться в его повествование, потому что по воле случая и благодаря своей непоседливой профессии газетчика я уже знал кое-что о нем лично и о людях, с которыми судьба столкнула этого шофера. Я мог бы дополнить его рассказ и многое объяснить, но решил сделать это, выслушав все до конца. А потом вообще раздумал. И считаю, что поступил правильно. Послушайте рассказы самих героев этой повести.

РАССКАЗ ШОФЕРА

...Началось все это совсем неожиданно. В ту пору я только что вернулся из армии. Служил в моторизованной части, а до этого окончил десятилетку и тоже работал шофером. Сам я детдомовский. Друг мой Алибек Джантурин демобилизовался годом раньше. Работал на Рыбачинской автобазе. Ну, я к нему и приехал. Мы с Алибеком всегда мечтали попасть на Тянь-Шань или на Памир. Приняли меня хорошо. Устроили в общежитии. И даже ЗИЛ дали почти новый, ни единой вмятины...

Надо сказать, машину свою я полюбил, как человека. Берег ее. Удачный выпуск. Мотор был мощный. Правда, не всегда приходилось брать полную нагрузку. Дорога сами знаете какая — Тянь-Шань, одна из самых высокогорных автотрасс мира: ущелья, хребты да перевалы. В горах воды сколько угодно, а все равно постоянно возишь ее с собой. Вы, может, замечали, к кузову, в переднем углу прибита деревянная крестовина, а на ней камера с водой болтается. Потому что мотор на серпентинах перегревается страшно. А груза везешь не так уж много. Я тоже сначала прикидывал, голову ломал, что бы такое придумать, чтобы побольше груза брать. Но изменить вроде ничего было нельзя. Горы есть горы.

Работой я был доволен. И места нравились мне. Автобаза у самого берега Иссык-Куля. Когда приезжали иностранные туристы и часами простаивали, как обалдевшие, на берегу озера, я про себя гордился: вот, мол, какой у нас Иссык-Куль! Попробуй найди еще такую красоту...

В первые дни одно лишь обижало меня. Время было горячее — весна, колхозы после сентябрьского Пленума набирали силы. Крепко взялись они за дело, а техники было мало. Часть наших автобазовских машин посылали в помощь колхозам. Особенно новичков вечно гоняли по колхозам. Ну и меня тоже. Только налажусь в рейсы по трассе, как снова снимают, айда по айлам. Я понимал, что дело это важное, нужное, но я ведь все-таки шофер, машину жалко было, переживал за нее, точно это не ей, а мне самому приходилась по ухабам трястись и месить грязь на проселках. Дорог таких и во сне не увидишь...

Так вот, еду я как-то в колхоз — шифер вез для нового коровника. Аил этот в предгорье, и дорога идет через степь. Все шло ничего, путь просыхал уже, до айла рукой подать осталось, и вдруг засел я на переезде через какой-то арык. Дорогу здесь с весны так избили, искромсали колесами, верблюду потонет — не найдешь. Я туда, сюда, по-всякому принаравливался — и ничего не получается. Присосала земля машину, и ни в какую, держит, как клещами. К тому же крутанул я с досады руль так, что заклинило где-то тягу, пришлось лезть под машину... Лежу там весь в грязи, в поту, клянусь дорогу на все лады. Слышу, кто-то идет. Снизу мне видны только резиновые сапоги. Сапоги подошли, остановились напротив и стоят. Зло взяло меня — кого это принесло и чего глазеть, цирк тут, что ли?

— Проходи, не стой над душой! — крикнул я из-под машины. Краем глаза заметил подол платья, старенькое такое, в навозе перепачкано. Видно, старуха какая-то ждет, чтобы подбросил до аила.

— Проходи, бабушка! — попросил я. — Мне еще долго тут загорать, не дождешься.

Она мне в ответ:

— А я не бабушка.

Сказала как-то смущенно, со смешком вроде.

— А кто же? — удивился я.

— Девушка.

— Девушка? — покосился я на сапоги, спросил ради озорства: — А красивая?

Сапоги переступили на месте, шагнули в сторону, собираясь уходить. Тогда я быстро выбрался из-под машины. Смотрю, в самом деле, стоит тоненькая девушка со строгими, нахмуренными бровями, в красной косынке и большом, отцовском, видно, пиджаке, накинутом на плечи. Молча глядит на меня. Я и забыл, что сижу на земле, что сам весь в грязи и глине.

— Ничего! Красивая, — усмехнулся я. Она и вправду была красивая. — Туфельки бы только! — пошутил я, поднимаясь с земли.

Девушка вдруг круто повернулась и, не оглядываясь, быстро пошла по дороге.

Что это она? Обиделась? Мне стало не по себе. Схватился, кинулся было догонять ее, потом вернулся, быстро собрал инструмент и вскочил в кабину. Рывками, то назад, то вперед, стал раскачивать машину. Догнать ее — больше я ни о чем не думал. Мотор ревел, машину трясло и водило по сторонам, но вперед я не продвинулся ни на шаг. А она уходила все дальше и дальше. Я закричал, сам не зная кому, под буксующие колеса:

— Отпусти! Отпусти, говорю. Слышишь?

Изо всех сил выжал акселератор, машина поползла-поползла со стоном и просто чудом каким-то вырвалась из трясины. Как я обрадовался! Припустил по дороге, стер платком грязь с лица, пригладил волосы. Поравнявшись с девушкой, затормозил, и черт знает, откуда это у меня взялось, с таким шиком, почти лежа на сиденье, распахнул дверцу:

— Прошу! — и руку вытянул, приглашая в кабину.

Девушка, не останавливаясь, идет себе дальше. Вот те на! От лихости моей и следа не осталось. Я снова догнал ее, на этот раз извинился, попросил:

— Ну, не сердитесь! Я ведь так просто... Садитесь!

Но девушка ничего не ответила.

Тогда я обогнал ее, поставив машину поперек дороги. Выскочил из кабины, забсжал с правой стороны, отворил дверцу и стоял так, не убирая руки. Она подошла, опасливо глядя на меня: вот, мол, привязался. Я ничего не говорил, ждал. То ли она пожалела меня, то ли еще почему — покачала головой и молча села в кабину.

Мы тронулись.

Я не знал, как начать с ней разговор. Знакомиться и говорить с девушками мне не впервой, а тут почему-то оробел. С чего бы, спрашивается? Кручу баранку, поглядываю украдкой. На шее у нее легкие, нежные завитки черных волос. Пиджак сполз с плеча, она его придерживает локтем, сама отодвинулась подальше, боится задеть меня. Глаза смотрят строго, а по всему видать, что ласковая. Лицо открытое, лоб хочет нахмурить, а он не хмурится. Наконец она тоже глянула осторожно в мою сторону. Мы встретились глазами. Улыбнулась. Тогда я решился заговорить:

— А вы зачем остановились там, у машины?

— Хотела помочь вам, — ответила девушка.

— Помочь? — засмеялся я. — А ведь и вправду помогли! Если бы не вы, сидеть бы мне там до вечера... А вы всегда ходите по этой дороге?

— Да. Я на ферме работаю.

— Это хорошо! — обрадовался я, но тут же поправился: — Дорога хорошая! — И как раз в эту минуту машину так тряхнуло в колдобине, что мы столкнулись плечами. Я крикнул, покраснел, не зная, куда глаза девать. А она рассмеялась. Тогда и я не выдержал, захохотал.

— А ведь мне не хотелось ехать в колхоз! — признался я сквозь смех. — Знал бы, что по дороге помощница такая есть, не ругался бы с диспетчером... Ай, Ильяс, Ильяс! — укорил я себя. — Это меня так зовут, — пояснил ей.

— А меня зовут Асель...

Мы подъезжали к аилу. Дорога пошла ровнее. Ветер бился в окна, срывая косынку с головы Асель, трепал ее волосы. Мы молчали. Нам было хорошо. Бывает, оказывается, легко и радостно на душе, если рядом, почти касаясь локтем, сидит человек, о котором час назад ты еще ничего не знал, а теперь почему-то хочется только о нем и думать... Не знаю, что было на душе у Асель, но глаза

ее улыбались. Ехать бы нам долго-долго, чтобы никогда не расставаться... Но машина шла уже по улице айла. Вдруг Асель испуганно спохватилась:

— Остановите, я сойду!

Я затормозил.

— Вы тут живете?

— Нет, — она почему-то заволновалась, забеспокоилась. — Но я лучше здесь сойду.

— Зачем же? Я вас прямо к дому подвезу! — Я не дал ей возразить, поехал дальше.

— Вот здесь, — взмолилась Асель. — Спасибо!

— Пожалуйста! — пробормотал я и не столько в шутку, а скорее всерьез добавил: — А если я завтра там снова застряну, можете?

Она не успела ответить. Калитка отворилась, и на улицу выбежала чем-то встревоженная пожилая женщина.

— Асель! — крикнула она. — Где же ты пропадаешь, накажи тебя бог! Иди переодевайся быстрее, сваты приехали! — добавила она шепотом, прикрыв рот рукой.

Асель смутилась, уронила пиджак с плеча, потом подхватила его и покорно пошла за матерью. У калитки она обернулась, глянула, но калитка тут же захлопнулась. Я лишь теперь заметил на улице у коновязи оседланных потных лошадей, пришедших, видно, издалека. Приподнялся за рулем, заглянул через дувал*. Во дворе у очага сновали женщины. Дымил большой медный самовар. Два человека свежевали под навесом баранью тушу. Да, сватов принимали здесь по всем правилам. Мне ничего не оставалось делать. Надо было ехать разгружаться.

К концу дня вернулся на автобазу. Вымыл машину, загнал ее в гараж. Долго возился, все находил какое-нибудь дело. Не понимал я, почему так близко к сердцу принял сегодняшний случай. Всю дорогу ругал себя: «Ну что тебе надо? Что ты за дурак? Кто она тебе, в конце концов! Невеста? Сестра? Подумаешь, встретились случайно на дороге, подвез к дому и уже переживаешь, будто в любви объяснились. А может, она и думать-то о тебе не хочет. Нужен ты ей больно! Жених у нее законный, а ты никто! Шофер с дороги, сотни таких, не назнакомисься... Да и какое ты имеешь право на что-то рассчитывать: люди сватаются, свадьба будет у них, а ты при чем? Плюнь на все. Крути себе баранку, и порядок!..»

* Дувал — глинобитная ограда.

Но беда была в том, что как я ни уговаривал себя, а позабыть Асель не мог.

Делать возле машины было уже нечего. Пойти бы мне в общежитие, оно у нас веселое, шумное, красный уголок есть, а я — нет. Одному хочется побыть. Прилег на крыло машины, руки заложил за голову. Неподалеку копался под машиной Джантай. Был у нас шофер такой. Высунулся из ямы, хмыкнул:

— О чем мечтаешь, джигит?

— О деньгах! — ответил я со злостью.

Не любил его. Жмот первосортный. Хитрый и завистливый. Он и в общежитии не жил, как другие, у хозяйки какой-то, на квартире. Поговаривали, жениться обещал на ней, как-никак свой дом будет.

Я отвернулся. На дворе, возле мойки, устроили возню наши ребята. Кто-то взобрался на кабину и из брандспойта поливал шоферов, ждущих очереди. Хохот стоял на всю автобазу. Струя мощная, как стукнет — закачаешься. Парня хотели стащить с кабины, а он себе приплясывает, хлещет по спинам, как из автомата, кепки сбивает. Вдруг струя метнулась вверх, изогнулась в лучах солнца, будто радуга. Смотрю, там, где струя поднимается ввысь, стоит Кадича, наш диспетчер. Эта не побежит. Держаться она умела с достоинством, к ней так просто не подступишься. И сейчас она стояла безбоязненно, спокойно. Не тронешь, мол, слабо! Отставила этак ногу в сапожке, а сама волосы прикалывает, шпильки в зубах держит, посмеивается. Мелкие, серебристые брызги падают ей на голову. Ребята хохочут, подзадоривают паренька на кабине:

— Дай ей по кузову!

— Шандарахн!

— Берегись, Кадича!

Но паренек не осмеливался ее облить, только играл струей вокруг Кадичи. Я бы на его месте окатил ее с головы до ног, и, пожалуй, Кадича не сказала бы мне ни слова, посмеялась бы, да и все. Я всегда замечал, что ко мне она относилась не так, как к остальным, становилась податливой, немного капризной. Любила, когда я, заигрывая, гладил ее по голове. Мне нравилось, что она всегда спорила, ругалась со мной, но быстро сдавалась, даже если я был не прав. Иногда водил ее в кино, провожал: мне было по пути в общежитие. В диспетчерскую к ней заходил запросто в комнату, а другим она разрешала обращаться только в окошечко.

Но сейчас мне было не до нее. Пусть себе балуются. Кадича заколола последнюю шпильку.

— Ну хватит, поиграли! — приказала она.

— Слушаюсь, товарищ диспетчер! — Паренек на каблуке козырнул. Его с хохотом стащили оттуда.

А она направилась к нам в гараж. Остановилась у машины Джантая, кажется, искала кого-то. Меня она не сразу заметила из-за сетки, разделяющей гараж на отсеки. Джантай выглянул из ямы, проговорил заискивающе:

— Здравствуй, красавица!

— А, Джантай...

Он жадно смотрел на ее ноги. Она недовольно повела плечами:

— Ну, чего уставился? — и легонько ткнула его носком сапожка в подбородок.

Другой бы, наверно, обиделся, а этот нет. Просиял, будто его поцеловали, и нырнул в яму.

Кадича увидела меня:

— Хорошо отдыхается, Ильяс?

— Как на перине!

Она прижалась лицом к сетке, пристально посмотрела и тихо сказала:

— Зайди в диспетчерскую.

— Ладно.

Кадича ушла. Я поднялся и уже собрался идти. Джантай снова высунулся из ямы.

— Хороша баба! — подмигнул он.

— Да не про тебя! — отрезал я.

Я думал, что он обозлится и полезет драться. Я не любитель драк, но с Джантаем схватился бы: так тяжело было на душе, что просто не знал, куда девать себя.

Однако Джантай даже не обиделся.

— Ничего! — пробурчал он. — Поживем — увидим...

В диспетчерской никого не было. Что за черт? Куда она девалась? Я обернулся и прямо грудью столкнулся с Кадичой. Она стояла, прислонившись спиной к двери, откинув голову. Глаза ее блестели из-под ресниц. Горячее дыхание обожгло мне лицо. Я не совладал с собой, потянулся к ней, но тут же отступил назад. Как ни странно, мне показалось в тот миг, что я изменяю Асели.

— Зачем звала? — спросил я недовольно.

Кадича все так же молча смотрела на меня.

— Ну?.. — повторил я, теряя терпение.

— Что-то ты не слишком приветлив, — сказала она с обидой в голосе. — Или приглянулась какая-нибудь?..

Я растерялся. Почему она упрекает меня? И откуда узнала?

В это время окошечко распахнулось. Появилась голова Джантая. Ухмылка блуждала по его лицу.

— Прошу, товарищ диспетчер! — с ехидцей протянул он, подавая Кадиче какую-то бумагу.

Она зло глянула на него. С досадой бросила мне в лицо:

— А путевку за тебя кто будет получать? Особого приглашения ждешь?

Отстранив меня рукой, Кадича быстро прошла к столу.

— На! — протянула она путевой лист.

Я взял. Путевка была в тот же колхоз. Сердце похолодело: ехать туда, зная, что Асель... Да и вообще, почему именно меня больше всех гоняют по колхозам?

Я взорвался.

— Опять в колхоз? Опять навоз да кирпичи возить? Не поеду! — швырнул я путевку на стол. — Довольно, полазил по грязи, пусть другие помотаются!..

— Не кричи! Наряд у тебя на неделю! А надо будет, еще прибавят, — рассердилась Кадича.

Тогда я спокойно сказал:

— Не поеду!

И, как всегда, Кадича неожиданно сдалась:

— Ну хорошо. Я поговорю с начальством.

Она взяла со стола путевку.

«Значит, не поеду, — подумал я, — и никогда не увижусь с Асель». Мне стало еще хуже. Я отчетливо понял, что буду каяться всю жизнь. Будь что будет — поеду!..

— Ладно, давай сюда! — выхватил я путевку.

Джантай прыснул в окошке:

— Передай привет моей бабушке!

Я ничего не сказал. По морде бы ему съездить!.. Хлопнул дверью, пошел в общежитие.

На другой день я глаза проглядел на дороге. Где она? Покажется ли ее тоненькая, как тополек, фигурка? Тополек мой в красной косынке! Тополек степной! Пусть в резиновых сапогах и пиджаке отцовском. Ерунда. Я же видел, какая она!

Тронула Асель мое сердце, взбудоражила всю душу!

Еду, смотрю по сторонам, нет, не видно нигде. Доехал

до аила, вот и ее двор, притормозил машину. Может быть, дома? Но как я ее вызову, что скажу? Эх, не судьба мне, наверно, свидеться с ней. Газанул на разгрузку. Разгружаюсь, а в душе все теплится надежда: а вдруг да и встречу на обратном пути? И на обратном пути не встретил. Тогда я завернул на ферму. Ферма у них па отшибе, далеко от аила. Спрашиваю у девушки одной. Нет ее, говорит, не выходила на работу. «Значит, нарочно не вышла, чтобы не встретиться по дороге со мной», — подумал я и очень расстроился. Унылый вернулся на автобазу.

На второй день снова в дорогу. Еду и уже не мечтаю увидеть. В самом деле, зачем я ей, зачем беспокоить девушку, если она просватана? Однако не верится мне, что все так у нас и кончится, ведь в аилах и до сих пор еще сватают девушек и выдают замуж без их согласия. Сколько раз я читал об этом в газетах. А что толку? После драки саблей не машут, выдают замуж, назад не воротиться, жизнь поломана... Вот какие мысли бродили у меня в голове...

Весна в ту пору была в полном цвету. Земля в предгорье полыхает тюльпанами. С детства я люблю эти цветы. Нарвать бы охапку и принести ей! Поди найди ее...

И вдруг смотрю, глазам не верю — Асель! Сидит в сторонке на валуне, на том самом месте, где прошлый раз застряла моя машина. Будто поджидает кого-то! Я к ней! Она испуганно встала с камня, растерялась, косынку сдернула с головы, зажала в руке. Асель была на этот раз в хорошем платье, в туфельках. Даль такая, а она на каблучках. Затормозил я поскорее, а у самого сердце под горло подпирает.

— Здравствуй, Асель!

— Здравствуйте! — ответила она негромко.

Я хотел помочь ей сесть в кабину, а она повернулась и медленно пошла вдоль дороги. Значит, не хочет садиться. Я тронул машину, открыл дверцу и так же медленно покатил рядом с ней. Так мы и двигались. Она по обочине, а я за рулем. Молчали. О чем говорить? Потом она спросила:

— Вы вчера приезжали на ферму?

— Да, а что?

— Так просто. Не надо приезжать туда.

— Я хотел вас видеть.

Она ничего не сказала.

А у меня на уме это проклятое сватовство. Узнать хочу, как и что. Спросить — язык не поворачивается. Боюсь. Ответа ее боюсь.

Асель глянула на меня.

— Это правда?

Она кивнула головой. У меня руль запрыгал в руках.

— Когда свадьба? — спросил я.

— Скоро, — ответила она тихо.

Я чуть было не рванул на машине куда глаза глядят. Да вместо скорости сцепление выключил. Мотор как взревет на холостых оборотах, Асель в сторону отпрянула. Я и не извинился даже. Не до этого.

— Значит, мы больше не увидимся? — говорю.

— Не знаю. Лучше не видеться.

— А я, я все равно... как хотите, буду вас искать!

И опять мы замолчали. Может быть, думали об одном и том же, а между нами будто стена стояла, которая не позволяла мне подойти к ней, а ей сесть в мою кабину.

— Асель! — сказал я. — Не избегайте меня. Я ничем не помешаю. Буду смотреть на вас издали. Обещаете?

— Не знаю, может быть...

— Садитесь, Асель.

— Нет. Уезжайте. Аил уже близко.

После этого мы еще встречались на дороге, каждый раз словно невзначай. И снова: она идет по обочине, а я сижу в кабине. Обидно, но что поделаешь.

О женихе я не спрашивал. Неудобно, да и не хотелось. Но по ее словам понял, что она его мало знала. Он доводился каким-то родственником матери, жил в дальнем лесхозе, в горах. Их семьи издавна вели, если можно так сказать, обмен девушками, поддерживали родство между собой из поколения в поколение. Родители Асель не допускали мысли отдать ее куда-нибудь на сторону. Обо мне же и речи не могло быть. Кто я? Какой-то пришлый, безродный шоферюга. Да и я сам не посмел бы заикнуться.

Асель в те дни была неразговорчивой. Все думала о чем-то. Но я ни на что не надеялся. Судьба ее решилась, встречаться было бесполезно. Однако мы, как дети, старались не говорить об этом и встречались потому, что не могли не встречаться. Нам обоим казалось, что мы друг без друга не можем жить.

Так прошло дней пять. В то утро я был на автобазе, готовился в рейс. И вдруг вызывают в диспетчерскую.

— Можешь радоваться! — весело встретила меня Кадича. — Тебя переводят на Долонскую трассу.

Я остолебенел. Последние дни я жил так, будто вечно буду ездить в колхоз. Рейсы через Долон многодневные, кто знает, когда смогу вырваться к Асель? Исчезнуть внезапно, даже не предупредив ее?

— Да ты, кажется, не рад? — заметила Кадича.

— А как же колхоз? — заволновался я. — Работа там еще не окончена.

Кадича удивленно пожала плечами:

— Ты же раньше сам не хотел.

Я обозлился:

— Мало ли что было раньше!

Сел на стул, сижу, не знаю, что делать.

Прибежал Джантай. Оказывается, вместо меня его направили в колхоз. Я насторожился. Джантай, наверно, откажется, ведь выработка на проселочных дорогах меньше. Но он взял путевку, да еще сказал:

— Куда пошлешь, Кадича, хоть на край света! В аиле как раз баранчики поспевают, может, прихватить?

А потом увидел меня:

— Извиняюсь, я, кажется, помешал!

— Иди отсюда!.. — прошипел я, не поднимая головы.

— Ну что же ты сидишь, Ильяс? — тронула меня за плечо Кадича.

— Я должен поехать в колхоз, пошли меня, Кадича! — попросил я.

— Да ты в своем уме? Не могу я, наряда нет! — сказала она и беспокойно глянула мне в лицо. — Что это ты так разохотился туда ездить?

Я ничего не ответил. Молча вышел, отправился в гараж. Джантай проскочил мимо меня на своей машине, хитро подмигнул, чуть не задев крылом.

Я долго копался, медлил, но выхода не было. Поехал на погрузочную станцию. Там очередь небольшая.

Товарищи меня покурить звали, но я даже из кабины не вылез. Закрою глаза и представляю, как ждет понапрасну Асель на дороге. День будет ждать, два, три... Что же она подумает обо мне?

А очередь приближалась. Уже начали нагружать впереди меня машину. Через минуту и мне становиться под кран. «Прости меня, Асель! — подумал я. — Прости, тополек мой степной! — И тут вдруг мелькнула мысль: — Да я успел бы сказать ей и вернуться. Велика беда — выйду в рейс на несколько часов позже. Объясню потом

начальнику автобазы, поймет, быть может, а нет — поругает. Ну, выговор объявит... Не могу я! Поеду!»

Я завел мотор, чтобы податься назад, но машины сзади стояли вплотную. Тем временем груженная машина отошла, очередь была за мной.

— Становись! Эй, Ильяс! — крикнул крановщик.

Кран занес надо мной стрелу. Все кончено! С экстренным грузом никуда не денешься. Как же я раньше не хватился? Подошел отправитель с документами. Яглянул в заднее окошко: в кузов, покачиваясь, опускался контейнер. Он все приближался и приближался. И тут я крикнул:

— Берегись!

С места рванул из-под контейнера машину, мотор был у меня не выключен. Сзади раздались крики, свист, ругань...

А я гнал машину мимо складов, штабелей досок и угольных куч. Я будто прирос к баранке. Земля заметалась, и машину и меня било из стороны в сторону. Да нам не привыкать...

Вскоре я догнал Джантая. Он выглянул из кабины и ошалело вытаращил глаза: узнал меня. И ведь видит, что спешу, значит, надо уступить дорогу, так нет, не дает проехать. Вырулил я на обочину, пошел в обгон прямо полем. Джантай тоже припустил, не дает выбраться на дорогу. Так мы и мчались: он по дороге, я полем. Пригнулись к баранкам, косимся, как звери, ругаемся.

— Куда ты? Зачем? — кричит он мне.

Я ему кулаком погрозил. Все же машина у меня была порожняя. Обогнал, ушел.

Асель я не встретил. Приехал в аил, запыхался, будто пешком прибежал, еле дух перевел. Ни во дворе у них, ни на улице никого не видно. Только лошадь оседланная стоит у коновязи. Что делать? Решил ждать, думаю, увидит машину, выйдет на улицу. Полез я в мотор, будто чиню что-то, а сам все время поглядываю на калитку. Долго ждать не пришлось; открывается калитка, и выходит ее мать и старик, чернородый, грузный такой, два ватных халата на нем: нижний плюшевый, верхний вельветовый.

В руке камча* хорошая. Распарился, красный, видно, только что чай пил. Подошли они к коновязи. Мать Асель почтительно придержала стремя, помогла старику взгромоздиться в седло.

* Камча — нагайка.

— Мы вами довольны, сват! — сказала она. — Но и за нас не беспокойтесь. Для своей дочери ничего не пожалеем. Слава богу, руки наши не пусты.

— Э-э, байбиче*, в обиде не будем, — ответил он, поудобней устраиваясь в седле. — Дай бог здоровья молодым. А что касается добра: не для чужих — для своих же детей. И родниться нам не впервые... Ну, будь здорова, байбиче, значит, так и порешили: в пятницу!

— Да, да, в пятницу. Святой день. Счастливого пути. Привет передайте сватье.

«Что это они о пятнице говорят? — думаю я. — Какой день сегодня? Среда... Неужели в пятницу увезут? Эх, до каких же пор старые обычаи будут нам, молодым, жизнь ломать!..»

Старик затрусил на лошади в сторону гор. Мать Асель подождала, пока он удалится, потом повернулась ко мне, недружелюбно окинула взглядом.

— Ты что повадился сюда, парень? — сказала она. — Здесь тебе не караван-сарай! Нечего стоять! Уезжай, слышишь? Тебе говорю.

Значит, заметила уже.

— Поломка у меня! — упрямо буркнул я и уже вовсе по пояс полез под капот. Нет, думаю, никуда я не уйду, пока не увижу ее.

Мамаша еще что-то проворчала, ушла.

Я выбрался, присел на подножку, закурил. Откуда-то прибежала маленькая девочка. Скачет на одной ножке вокруг машины. На Асель немного похожа. Уж не сестренка ли?

— Асель ушла! — говорит она, а сама прыгает.

— Куда? — поймал я ее. — Куда ушла?

— А я почем знаю! Пусти! — вырвалась и на прощание язык показала.

Захлопнул я капот, сел за руль. Куда ехать, где ее искать? И возвращаться уже пора. Ползу по дороге, в степь выехал. Остановился у переезда через арык. Что делать, ума не приложу. Выбрался из кабины, повалился на землю. Тошно. И Асель не нашел, и рейс сорвал... Задумался, не вижу и не слышу ничего на свете. Сколько я так пролежал, не знаю, но только поднял голову, смотрю, по ту сторону машины стоят девичьи ноги в туфельках. Она! Сразу узнал. Я так обрадовался, что даже сердце заколотилось. Встал на колени, а подняться не могу.

* Байбиче — уважительное обращение к женщине.

И опять это произошло на том самом месте, где мы впервые встретились.

— Проходи, проходи, бабушка! — сказал я туфелькам.

— А я не бабушка! — подхватила Асель игру.

— А кто же ты?

— Девушка.

— Девушка? Красивая?

— А ты посмотри!

Мы разом рассмеялись. Я вскочил, бросился к ней. Она — навстречу. Остановились друг перед другом.

— Самая красивая! — говорю я. А она, как тополек молоденький на ветру, гибкая, в платье с коротенькими рукавчиками, под рукой две книжки держит. — Откуда ты узнала, что я здесь?

— А я из библиотеки шла, смотрю, на дороге следы твоей машины!

— Да ну? — Для меня это значило больше, чем само слово «люблю». Стало быть, думала обо мне и я ей дорог, если искала след моей машины.

— И я побежала сюда, почему-то решила, что ты ждешь!..

Я взял ее за руку:

— Садись, Асель, прокатимся.

Она охотно согласилась. Я не узнавал ее. И себя не узнавал. Все тревоги, горести как рукой сняло. Были только мы, было наше счастье, небо и дорога. Я открыл кабину, посадил ее, сам сел за руль.

И мы поехали. Просто так, по дороге. Неизвестно куда и зачем. Но для нас это было неважно. Достаточно сидеть рядом, встречаться взглядом, прикасаться рукой к руке. Асель поправила мою солдатскую фуражку (я ее года два носил).

— Так красивей! — сказала она и ласково прижалась к плечу...

Машина птицей неслась по степи. Весь мир пришел в движение, все побежало навстречу: горы, поля, деревья... Ветер бил нам в лицо — ведь мы мчались вперед, солнце сияло в небе, мы смеялись, воздух нес запах полыни и тюльпанов, мы дышали полной грудью...

Коршун-степняк, что сидел на развалинах старого кунбега*, снялся, замахал крыльями и низко поплыл вдоль дороги, как будто наперегонки с нами.

* К у н б е з — надгробный памятник.

Два всадника испуганно шарахнулись в сторону. А потом с диким криком приурадили вслед.

— Э-эй, стой! Остановись! — хлестали они припавших к земле коней. Кто они были, не знаю. Может, их знала Асель. Скоро они скрылись в клубах пыли.

Впереди брчка какая-то свернула с дороги. Парень и девушка привстали, увидев нас, обнялись за плечи, приветливо помахали.

— Спасибо! — крикнул я им из кабины.

Кончилась степь, вышли на шоссе, асфальт загудел под колесами.

Недалеко должно было быть озеро. Я круто свернул с дороги и прямо по целине, через кусты и травы направил машину к берегу. Остановились на взгорье, над самой водой.

Сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег. Солнце закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Где-то на другой стороне, вдаль, проступала сиреневая гряда снежных гор. Серые тучи собирались над нами.

— Смотри, Асель! Лебеди!

Лебеди бывают на Исык-Куле только осенью и зимой. Весной они залетают очень редко. Говорят, это южные лебеди, летящие на север. Говорят, это к счастью...

Стая белых лебедей носилась над вечерним озером. Птицы то поднимались вверх, то падали вниз, распластав крылья. Садились на воду, шумно плескались, далеко разгоняя кипучие круги пены, и снова взлетали.

Потом они вытянулись в цепочку и полетели, разом взмахивая крыльями, к песчаному откосу залива, на ночевку.

Мы сидели в кабине, молча смотрели. А потом я сказал так, будто мы уже все решили:

— Во-он там, видишь, крыши на берегу, это наша автобаза. А это, — я обвел рукой кабину, — это наш дом! — И рассмеялся. Везти-то ее было некуда.

Асель глянула мне в глаза, прижалась к груди, обнимает, а сама плачет и смеется:

— Родной мой, любимый! Не надо мне никакого дома. Только бы отец с матерью, ну хотя бы потом, когда-нибудь, поняли меня. Обидятся они на всю жизнь, я знаю... Но разве я виновата?..

Стало быстро темнеть. Тучи застлали небо, низко опустились к воде. Озеро замерло, почернело. В горах будто

электросварщик засел. То вспыхнет там — ослепит, то погаснет. Гроза надвигалась. Недаром лебеди завернули сюда по пути. Они предчувствовали: непогода могла застигнуть их над горами.

Грянул гром. Полил дождь, шумный, мятущийся. Забормотало, закипело озеро и пошло раскачиваться, биться о берега. Это была первая весенняя гроза. И это была наша первая ночь. По кабине, по стеклам ручьями стекла вода. В черное разверзнутое озеро падали белые полыхающие молнии. А мы прижались друг к другу, разговариваем шепотом. Чувствую, Асель дрожит: не то напугана, не то замерзла. Я укрыл ее своим пиджаком, обнял крепче, и от этого показался себе сильным, большим. Никогда не думал, что во мне было столько нежности: не знал, что так это хорошо — оберегать кого-то, о ком-то заботиться. Шепнул ей на ухо: «Никому, никогда не дам тебя в обиду, тополек мой в красной косынке!..»

Гроза кончилась так же быстро, как и началась. Но по растрескоженному озеру продолжали ходить буруны и накрапывал дождь.

Я достал маленький дорожный радиоприемник, единственное мое ценное имущество в ту пору. Настроил, поймал волну. Как сейчас помню, из городского театра транслировали балет «Чолпон». Из-за гор, из-за хребтов полилась в кабину музыка, нежная и могучая, как сама любовь, о которой говорилось в этом балете. Зал гремел, аплодировал, люди выкрикивали имена исполнителей, быть может, бросали цветы к ногам балерин, но никто из сидящих в театре не испытывал, я думаю, столько восторга и волнения, как мы в кабине, на берегу сердитого Иссык-Куля. Это о нас рассказывалось в этом балете, о нашей любви. Мы горячо принимали к сердцу судьбу девушки Чолпон, ушедшей искать свое счастье. Моя Чолпон, моя утренняя звезда была со мной. В полночь она уснула у меня на плече, а я долго не мог успокоиться. Тихо гладил ее по лицу и слушал, как вздыхает в глубинах Иссык-Куль...

Утром мы прибыли на автобазу. Нагоняй мне был хороший. Но когда узнали, почему я так поступил, то по случаю такого события простили. Потом еще долго смеялись, вспоминая, как я удрал из-под погрузочного крана.

Мне предстояло идти в рейс через Долон. Асель я взял с собой. Рассчитывал оставить ее по пути у своего друга — Алибека Джантурина. Он жил с семьей на перевалочной базе, вблизи Нарына. Это не так далеко от грани-

цы. Я всегда заезжал к ним проездом. Жена Алибека славная женщина, я уважал ее.

Мы выехали. Первым делом купили в придорожном магазине кое-что из одежды для Асель. Ведь она была в одном только платице. Кроме всего прочего, купили большую, яркую, цветастую шаль. Это было очень кстати. По дороге нам встретился пожилой шофер, наш аксакал Урмат-аке. Еще издали он подал мне знак остановиться. Я затормозил. Мы вышли из кабин, поздоровались:

— Ассалоум алейкум, Урмат-аке!

— Алейкум ассалам, Ильяс. Пусть будет прочен поводок сокола, который сел на твою руку! — поздоровил он меня согласно обычаю. — Дай бог вам счастья и детей.

— Спасибо! Откуда вы узнали, Урмат-аке? — удивился я.

— Э-э, сын мой, хорошая весть на земле не лежит. По всей трассе из уст в уста идет...

— Вон как! — еще больше удивился я.

Стоим на дороге, разговариваем, а Урмат-аке даже и не подходит к машине, не глядит на Асель. Хорошо, что Асель догадалась, в чем дело, накинула платок на голову, прикрыла лицо. Тогда Урмат-аке довольно улыбнулся.

— Вот теперь порядок! — сказал он. — Спасибо, доченька, за уважение. Ты отныне наша невестка, всем аксакалам автобазы невестка. Держи, Ильяс, за смотрины, — подал он мне деньги. Я не мог отказаться, обидел бы.

Мы расстались. Асель не снимала платка с головы. Как будто в заправдашнем киргизском доме, она, сидя в кабине, застенчиво прикрывала лицо при встречах со знакомыми шоферами. А оставшись одни, мы смеялись.

В платке Асель показалась мне еще красивей.

— Невестушка моя, подними глаза, поцелуй! — говорю я ей.

— Нельзя, аксакалы увидят! — отвечает она и тут же со смехом, будто бы украдкой, целует в щеку.

Все автобазовские шоферы останавливали нас при встрече, поздравляли, желали счастья, многие из них успели припасти не только цветы, собранные по пути, но и подарки. Не знаю, кому пришла в голову такая мысль. Наверно, это придумали наши русские ребята. У них в селах на свадьбе обычно разукрашивают машину. Вот и на нашей запестрели красные, голубые, зеленые ленты, шелковые косынки, букеты цветов. Заиграла машина, и

видно ее было, наверно, за десятки километров. Мы были счастливы с Асель, а я гордился своими друзьями. Говорят, что друзья познаются в несчастье, а по-моему, и в счастье они тоже познаются.

Встретился нам по пути и Алибек Джантуриц, самый близкий мой друг. Он старше меня года на два. Такой коренастый, большеголовый. Малый он рассудительный, серьезный и шофер отличный. На базе его очень уважали. В профком выбрали. Ну, думаю, а что он скажет?

Алибек молча посмотрел на нашу машину, покачал головой. Подошел к Асель, поздоровался с ней за руку, поздравил.

— А ну, дай сюда путевой лист! — потребовал он. Надоумевая, я молча подал ему лист. Алибек достал авторучку и крупным почерком написал поперек всей путевки: «Свадебный рейс, № 167!» Сто шестьдесят семь — номер путевки.

— Ты что делаешь? — растерялся я. — Это же документ!

— Сохранится для истории! — усмехнулся он. — Думаешь, в бухгалтерии не люди сидят, что ли? А теперь давай руку! — кренко обнял меня, поцеловал. Мы расхохотались.

Потом пошли было по машинам, но Алибек остановил меня:

— А жить-то где будете?

Я развел руками.

— Вот наш дом! — показал на машину.

— В кабине? И детей растить там будете?.. Вот что, поселяйтесь в нашей квартирке на перевалочной, я поговорю на базе с начальством, а мы переедем в свой дом.

— Так он же у тебя недостроен? — Дом Алибек ставил в Рыбачьем, неподалеку от автобазы. В свободное время я ходил помогать.

— Ничего. Там осталось самую малость доделать. А на большее не рассчитывай, сам знаешь, с жильем пока туго.

— Ну, спасибо. Нам большего и не надо. Ведь я хотел только на время оставить у вас Асель, а ты всю квартиру нам отдаешь...

— В общем, останавливайтесь у нас. На обратном пути подожди меня. Тогда все и решим, с женами! — подмигнул он в сторону Асель.

— Да, теперь — с женами.

— Счастливого свадебного путешествия! — крикнул нам вдогонку Алибек.

Черт возьми! Это действительно было наше свадебное путешествие! Да еще какое!

Мы были рады, что все устраивается хорошо, и только лишь одна встреча немного подпортила мне настроение.

На одном из поворотов выскочила на шоссе машина Джантая. Он был не один, в кабине сидела Кадича. Джантай помахал мне рукой. Я резко затормозил. Машины остановились почти борт о борт. Джантай высунулся в окошко:

— Ты что так разукрасился, как на свадьбе?

— Так оно и есть! — ответил я.

— Да ну? — недоверчиво протянул он и оглянулся на Кадичу. — А мы-то тебя ищем! — сорвалось у него с языка.

Кадича как сидела, так и застыла, бледная, растерянная.

— Здравствуй, Кадича! — сказал я приветливо. Она молча кивнула головой.

— Так это, значит, невеста с тобой? — только теперь догадался Джантай.

— Нет, жена, — возразил я и обнял Асель за плечи.

— Вот как? — Джантай еще больше вытаращил глаза, не зная, то ли радоваться, то ли нет. — Ну, поздравляю, от души поздравляю.

— Спасибо!

Джантай ухмыльнулся:

— Ловчач ты! Без калыма отхватил?

— Дурак! — обозвал я его. — Трогай машину.

Бывают же такие люди. Я хотел еще обругать его как следует. Выглянул из кабины, смотрю, Джантай стоит у машины, щеку потирает и кричит что-то, грозит кулаком Кадиче. А она бежит куда-то прочь от дороги, в поле. Бежала, бежала и с размаху упала на землю, закрыла голову руками. Не знаю, что произошло там у них, но только мне стало жаль ее, такое чувство было, будто виноват в чем-то. Асели я ничего не сказал.

Через неделю поселились мы в домике на перевалочной базе. Домишко был небольшой, сенцы и две комнаты. Таких домиков там несколько, в них живут шоферы с семьями да рабочие с заправочного пункта. Но место хорошее, у дороги, и Нарын недалеко. Все-таки областной центр. В кино, в магазин можно сходить, и больница есть.

Маме еще нравилось, что перевалочная база на середине пути. Рейсы у нас в основном были между Рыбачьим через Долон до Атбаши. Можно было по дороге отдохнуть дома, переночевать. Я почти каждый день виделся с Асель. Если даже задержусь в дороге, все равно, хоть в полночь, но доберусь домой. Асель всегда ждала, беспокоилась, не ложилась спать, пока не приеду. Мы уже стали обзаводиться кое-каким домашним скарбом. Одним словом, жизнь налаживалась понемногу. Решили, что и Асель начнет работать, она сама настаивала: в аиле выросла, работающая, но тут, к нашей неожиданной радости, оказалось, что она скоро станет матерью...

...В тот день, когда Асель родила, я шел обратным рейсом из Атбаши. Спешу, волнуясь. Асель лежала в родильном доме в Нарыне. Приезжаю — сын! К ней меня, конечно, не пустили. Сел я в машину и гоною по горам. Зимой это было. Снег да скалы кругом. В глазах так и рябит черное и белое, черное, белое... Вылетел я на гребень Долонского перевала, высота огромная, облака по земле ползут, а горы внизу, как карлики; выпрыгнул из кабины, набрал полные легкие воздуха и крикнул на весь свет:

— Э-эй, горы! У меня родился сын!

Мне показалось, что горы дрогнули. Они повторили мои слова, и эхо долго не смолкало, перекатываясь от ущелья к ущелью.

Сынишку мы называли Саматом. Это я ему дал такое имя. Все разговоры наши вертелись вокруг него. Самат, наш Самат улыбнулся, у Самата прорезались зубки. В общем, как полагается у молодых родителей.

Жили мы дружно, любили друг друга, а потом случилась у меня беда...

Трудно теперь разобраться, откуда пришло несчастье. Все перепуталось, переплелось... Правда, сам-то я теперь многое понял, да что толку.

С человеком этим мы встретились случайно в пути и расстались, не подозревая, что это наша не последняя встреча.

Поздней осенью я шел в рейс. Погода стояла нудная. С неба сыпал не то дождь, не то снег, что-то мокрое, мелкое, не поймешь. По склонам гор туман, как кисель, тянется. Почти всю дорогу шел с включенными «дворниками»: стекла запотевали. Я был уже глубоко в горах, где-

то на подходе к Долонскому перевалу. Эх, Долон, Долоп, тянь-шаньская махина! Сколько у меня с ним связано! Самый трудный, опасный участок трассы. Дорога идет серпантинном, петля на петле, и все вверх, по откосам, лезешь в небо, облака давишь колесами, то прижимает тебя к сиденью, не откинешься, то круто падаешь вниз, на руках выжимаешься, чтобы оторваться от баранки. И погода там, на перевале, как дурной верблюд: лето ли, зима, Долопу нипочем — миг сыпанет градом, дождем или заваруху снежную закрутит такую, что не видать ни зги. Вот какой он, наш Долон!.. Но мы, тяньшаньцы, привыкли к нему, даже по ночам нередко ходим. Это я сейчас всякие трудности и опасности вспоминаю, а когда работаешь там изо дня в день, раздумывать особенно не приходится.

В одном из ущелий близ Долона догоняю грузовую машину. Точно помню — ГАЗ-51. Вернее, не догоняю, она там уже стояла. Два человека возились у мотора. Один из них не торопясь вышел на середину дороги, поднял руку. Я затормозил. Подходит ко мне человек в намокшем плаще с накинутым капюшоном. Лет ему так под сорок, усы бурые, солдатские, подстриженные щеточкой, хмуроватое лицо, а глаза смотрят спокойно.

— Подбрось, джигит, к Долонскому дорожному участку, — говорит он мне, — трактор пригнать, мотор отдал.

— Садитесь, подвезу. А может, сами придумаем что-нибудь? — предложил я и вышел из кабины.

— Да что тут придумаешь, не фырчит, — прихлопнув открытый капот, уныло отозвался шофер. Посинел он весь, бедняга, озяб, скрючился. Видно, не нашенький, столичный какой-то, растерянно озирается вокруг. Везли они что-то на дорожный участок из Фрунзе. Что же, думаю, делать? Появилась у меня шальная мысль. Но прежде на перевал глянул. Небо мутное, сумрачное, тучи бегут низко. Однако решил. Идея не ахти какая, но для меня это тогда было как в атаку рискованную броситься.

— Тормоза у тебя в порядке? — спрашиваю шофера.

— Вот те на... Без тормозов, что ли, езжу! Говорят тебе, мотор ни в какую...

— А трос есть?

— Ну есть!

— Тащи сюда, цепляйся.

Уставились на меня недоверчиво, с места не трогаются.

— Ты что, рехнулся? — тихо проговорил шофер.

А у меня характер такой. Не знаю, хорошо это или плохо, но если взбредет что в голову, умру, а добыюсь своего.

— Слушай, друг, цепляйся! Честное слово, дотяну! — пристал я к шоферу.

Но шофер только отмахнулся.

— Отстань! Ты что, не знаешь, что здесь с буксиром не ездят? Даже и не подумая.

Обида взяла такая, будто отказал он мне в самой большой просьбе.

— Эх ты, ишак, — говорю, — трусливый!

Позвал дорожного мастера. Он, оказывается, был дорожным мастером, это я потом узнал. А дорожный мастер посмотрел на меня и сказал шоферу:

— Доставай трос.

Тот опешил:

— Вы будете отвечать, Байтемир-аке.

— Все будем отвечать! — ответил он коротко.

Мне это понравилось. Такого человека сразу начинаешь уважать.

И мы пошли, две машины, сцепленные тросом. Сперва ничего, нормально. Но по Долону дорога идет все время в гору, на подъем, по откосам да по крутым спускам. Застопал мотор, забыл, только гул стоит в ушах. Нет, думаю, врешь, выжму из тебя все до капельки. Я еще раньше замечал, что как ни тяжела дорога на Долоне, а все же оставался какой-то запас мощности на тягу. Грузили нас всегда с оглядкой, не больше семидесяти процентов нормы. Конечно, в тот час я не думал об этом. Бушевала во мне дикая сила, вроде спортивного азарта: добиться своего, и все тут — помочь людям дотащить машину до места. Но сделать это оказалось не так-то просто. Дрожит, надрывается машина, какая-то мокрятина липнет на стекла, щетки едва успевают разметать. Откуда-то тучи повналезли, ложатся прямо под колеса, переползают дорогу. Повороты пошли крутые, отвесные. Втайне, грешным делом, я уже поругиваю себя: зачем связался, как бы не угробить людей. Не столько машина, сколько сам измучился. Скинул с себя все: шапку, фуфайку, пиджак, свитер. Сижу в одной рубашке, а пар с меня валит, как в бане. Шуточное ли дело: машина на буксире сама столько весит, да еще груз. Хорошо еще, Байтемир стоял на подножке, согласовывал наши движения, мне голосом, а тому — на буксире — рукой знаки подавал. Когда пошли по сер-

пантину карабкаться, думаю, не выдержит, спрыгнет где-нибудь от беды подальше. Но он не шелохнулся. Подобрался, как беркут на взлете, и стоит, вцепился в кабицу. Глянул на его лицо, спокойное, будто из камня высеченное, капли воды сбегают по щекам, по усам, и на душе легче.

Нам оставался еще один большой подъем, и тогда все, победа за нами. В этот момент Байтемир пригнулся в окошко:

— Осторожней, машина впереди! Бери правей.

Я взял вправо. С горы спускалась грузовая машина — джантаевская! Ну, думаю, будет мне от инженера по безопасности: проболтается Джантай как пить дать. Он все ближе и ближе. Уперся руками в баранку, катит вниз, смотрит исподлобья. Мы пошли впритирку, рукой достать. Когда сравнялись, Джантай отпрянул от окошка и осуждающе покачал головой в рыжем лисьем малахае. «Черт с тобой, — подумал я, — трепи языком, если охота».

Вышли на подъем, внизу крутой спуск, потом пологая дорога и поворот к усадьбе дорожного участка. Туда я и свернул. Притащил все-таки! Выключил мотор и ничего не слышу. Кажется мне, что не я оглох, а природа онемела. Ни единого звука. Выполз я из кабины, присел на подножку. Задыхаюсь, вымотался, да и воздух разреженный на перевале. Байтемир подбежал, накиннул на меня фуфайку, шапку нахлобучил на голову. Спотыкаясь, приблизил шофер с той машины, бледный, молчаливый. Сел передо мной на корточки, протянул пачку сигарет. Я взял сигарету, а рука дрожит. Мы все закурили, пришли в себя. Во мне опять заиграла эта проклятая дикая сила.

— Ха! — гаркнул я. — Видал! — И как хлопну шофера по плечу, он так и сел. Потом мы все трое вскочили на ноги и давай колотить друг друга по спинам, по плечам, а сами гогочем, выкрикиваем что-то нелепое, радостное...

Наконец успокоились, закурили по второй. Я оделся, глянул на часы, спохватился:

— Ну, мне пора!

Байтемир нахмурился.

— Нет, заходи в дом, гостем будешь!

А у меня времени ни минутки.

— Спасибо! — поблагодарил я. — Не могу. Домой хочу заскочить, жена ждет.

— А может, останешься? Разошьем бутылочку! — начал упрашивать мой новый друг-шофер.

— Оставь! — перебил его Байтемир. — Жена ждет. Как тебя звать-то?

— Ильяс.

— Езжай, Ильяс. Спасибо тебе, выручил.

Байтемир проводил меня на подножке до самой дороги, молча пожал руку, спрыгнул.

Въезжая на гору, я выглянул из кабины. Байтемир все еще стоял на дороге. Шапку он скомкал в руке и думал о чем-то, понурился.

Вот и все.

Асель я подробностей не рассказывал. Объяснил только, что помогал людям на дороге, потому задержался. Я ничего не скрывал от жены, но такое рассказывать не решился. Она и без того всегда беспокоилась за меня, а потом я вовсе не собирался повторять такие штуки. Случилось раз в жизни, потягался силами с Долонем, и хватит. Да я забыл бы об этом на второй же день, если бы не занемог на обратном пути, простыл я тогда, оказывается. Едва добрался до дома — и сразу свалился. Не помню, что со мной было, все мерещилось, будто тяну на буксире машину по Долону. Метель горячая обжигает лицо, и так мне тяжело, дышать нечем, баранка точно из ваты, крутану, а она мнетя в руках. Впереди перевал — конца-края не видать, машина задралась радиатором в небо, карабкается вверх, ревет, срывается с крутизны... Видимо, это был «перевал» болезни. Одолею я его на третий день, на поправку пошел. Пролежал еще два дня, чувствую себя хорошо, хотел встать, но Асель ни в какую, заставила меня поваляться в постели. Присмотрелся я к ней и думаю: я болел или она болела? Не узнаю, так измучилась, под глазами синие круги, исхудала, ветер дует — с ног сшибет. Да еще ребенок на руках. Нет, решил я, так не пойдет. Не имею права дурака валять. Надо ей отдохнуть. Поднялся я с постели, принялся одеваться.

— Асель! — негромко позвал я: сынишка спал. — Договаривайся с соседями за Саматом присмотреть, мы в кино пойдем.

Она подбежала к кровати, повалила меня на подушку, смотрит, будто впервые видит, старается сдержать слезы, но они блестят на ресницах, и губы прыгают. Асель уткнулась лицом мне в грудь, заплакала.

— Что с тобой, Асель? Что ты? — растерялся я.

— Да так, рада, что ты выздоровел.

— И я рад, но зачем так волноваться? Ну, приболел кемного, зато дома с тобой побыл, с Саматом вволю наигрался. — А сын уже ползал, ходить собирался, самый забавный возраст. — Хочешь знать, я не прочь еще так поболеть! — пошутил я.

— Да ну тебя! Не хочу! — прикрикнула Асель.

Тут сынишка проснулся. Она принесла его со сна тепленького. И забарахтались мы втроем, лежим на кровати, дурачимся, а Самат, как медвежонок, ползает туда-сюда, топчет нас.

— Вот видишь, как хорошо! — говорю я. — А ты?! Вот поедем скоро к твоим старикам в аил. Пусть попробуют не простить. Увидят, какой у нас Самат, залюбуются, все позабудут.

Да, было у нас намерение поехать в аил с повинной, как полагается в таких случаях. Понятно, родители ее были крепко обижены на нас. Даже передали через одного односельчанина, приехавшего в Нарын, что никогда не простят дочери ее поступка. Сказали, что знать ничего не хотят о нашей жизни. Но мы-то надеялись, что все уладится, когда приедем к старикам и попросим прощения.

Однако требовалось сначала отпуск взять, подготовиться к поездке: подарков закупить обязательно всем родственникам. Ехать с пустыми руками я не хотел.

Тем временем зима наступила. Зима тянь-шаньская суровая, с метелями, со снегопадами, обвалами в горах. Нам, шоферам, прибавляется забот, а дорожникам еще больше. В эти дни они несут противолавинную службу. В опасных местах, где может произойти снежный обвал, заранее взрывают лавину и расчищают дорогу. Правда, в ту зиму было сравнительно спокойно, а может, я просто ничего не замечал, у шофера всегда работы хватает. А тут еще неожиданно автобазе дали дополнительное задание. Вернее, мы, шоферы, сами взялись выполнить его, и первым я вызвался. Я и сейчас не раскаиваюсь, но отсюда, пожалуй, и пошли все мои невзгоды. Дело было так.

Возвращался я как-то вечером на автобазу. Асель дала небольшой сверток для жены Алибека Джангурина. Завернул я к ихнему дому, посигналил, вышла жена Алибека. От нее я и узнал, что с Атбашинской ГЭС телеграмму прислали на автобазу, просят скорее перебросить заводское оборудование.

— А где же Алибек? — поинтересовался я.

— Как где? На разгрузочной станции, весь народ там. Эшелоны, говорят, уже прибыли.

Я туда. Думаю, надо разузнать все толком. Приезжаю. Разгрузочная паша находится в ущелье, на выходе к озеру. Это конечная станция железной дороги. Неспкойная, зыбкая полутьма стоит вокруг. Ветер из ущелья налетает порывами, раскачивает на столбах фонари, гонит по шпалам поземку. Снуют паровозы, сортируя вагоны. На крайнем пути кран мотаает стрелой, сгружает с платформы ящики, окованные жестью и проволокой, — транзитный груз в Атбаш, на строительство Атбашинской ГЭС. Строительство там шло крупное, мы уже возили туда кое-что из оборудования.

Машин скопилось много, но никто не грузился. Будто ждали чего-то. Сидят в кабинах, на подножках, иные прислонились к ящикам, укрываясь от ветра. На приветствие мое толком никто не ответил. Молчат, попыхиывают папиросами. В стороне Алибек стоял. Я к нему.

— Что у вас тут? Телеграмму получили?

— Да. Хотят досрочно пустить станцию.

— Ну и что?

— За нами дело... Ты смотри, сколько навалили груза вдоль путей, и еще будет. Когда управимся? А люди ждут, надеются на нас!.. Им каждый день дорог!..

— А ты что на меня-то! Я тут при чем?

— Что значит, при чем! Ты что, из другого государства, что ли? Или не понимаешь, какое дело в наших руках?

— Сдурел ты, ей-богу! — сказал я удивленно и отошел в сторону.

В это время подошел Аманжолов, начальник автобазы, молча прикурил у одного из шоферов, прикрывшись полкой. Оглядел всех нас.

— Вот так, товарищи, — проговорил он, — созвонюсь я с министерством, может быть, подбросят подмогу. Но рассчитывать на это не надо. Как быть, пока сам не знаю...

— Да, тут не просто сообразить, товарищ Аманжолов, — отозвался чей-то голос. — Груз габаритный. Больше двух-трех мест в кузов не полезет. Если даже организовать круглосуточную перевозку, хватит, дай боже, до весны.

— В том-то и дело, — ответил Аманжолов. — А сделать надо. Ну, пока, по домам, думать всем!

Он сел в «газик», уехал. Наши никто не тронулись с

мест. В углу, в темноте, кто-то пробасил, ни к кому не обращаясь:

— Черта с два! Из одной овчины двух шуб не скройшь! Раньше надо было думать! — Встал, пригасил окурок и пошел к машине.

Его поддержал другой. У нас, говорит, всегда так: как подопрет под самую завязку, так и айда — выручайте, братцы шоферы!

На него накинулись:

— Это важное дело, а ты, Исмаил, болтаешь, как баба на базаре!

Я не вмешивался в спор. Но вдруг вспомнил, как буксировал машину на перевале, и загорелся, как всегда.

— Да что думать-то! — выскочил я на середину. — Прицепы надо брать к машинам!

Никто не шевельнулся. Иные даже не глянули на меня. Такое мог ляпнуть только безнадежный дурак.

Джантай тихо присвистнул:

— Видали? — Я его по голосу узнал.

Стою, озираюсь по сторонам, хочу рассказать, какой случай у меня был. Но какой-то здоровенный детина слез с ящика, передал рукавицы соседу и, подойдя ко мне, притянул за шиворот, нос к носу:

— А ну дыхни!

— Ха-а! — дыхнул я ему в лицо.

— Трезвый! — удивился верзила, отпуская ворот.

— Значит, дурак! — подсказал его дружок, и оба пошли к своим машинам, уехали. Остальные тоже молча поднялись, собираясь уходить. Таким посмешищем я никогда не был! Шапка покраснела на мне от позора.

— Стойте, куда вы! — заметался я между шоферами. — Я ведь серьезно говорю. Прицепы можно брать...

Один из старых шоферов, аксакалов, подошел ко мне расстроенный:

— Когда я начал здесь шоферить, ты еще без штанов ходил, малый. Тянь-Шань — не танцплощадка. Жаль мне тебя, не смеши народ...

Люди, посмеиваясь, стали расходиться по машинам. Тогда я крикнул на всю станцию.

— Бабье вы, а не шоферы!

Зря я сделал это, на свою голову.

Все приостановились, потом разом ринулись на меня.

— Ты что? Чужими жизнями поиграть захотел?

— Новатор! Премию зарабатывает! — подхватил Джантай.

Голоса смешались, меня прижали к ящикам. Думал, измолотят кулаками, подхватил с земли доску.

— А ну расступись! — свистнул кто-то, растолкал всех. Это был Алибек.

— Тише! — гаркнул он. — А ты, Ильяс, говори толком! Быстрее говори!

— Да что говорить! — ответил я, переводя дыхание. — Пуговицы все пообрывали. На перевале я тащил машину к дорожному участку. На буксире, с грузом. Вот и все.

Ребята недоверчиво примолкли.

— Ну и вытянул? — с сомнением спросил кто-то.

— Да. Через весь Долон, до усадьбы.

— Ничего себе! — удивился чей-то голос.

— Брешет! — возразил второй.

— Брешут собаки. Джантай сам видел. 'Эй, Джантай, где ты? Скажи! Помнишь, как встретились...

Но Джантай не отзывался. Как сквозь землю провалился. Однако тогда не до него было. Начался спор, некоторые уже встали на мою сторону. Но какой-то маловер разубедил их сразу.

— Что трепаться зря! — мрачно проговорил он. — Кто-то что-то сделал один раз, мало ли случаев бывает. Мы не дети. На нашей трассе вождение прицепов запрещено. И никто этого не разрешит. Попробуй скажи инженеру по безопасности, он тебе такую дулю сунет, что не укусишь. Под суд не пойдет из-за вас... Вот и весь разговор.

— Да брось ты! — вступился было другой. — Что значит — не разрешит! Вот Иван Степанович в тридцатом на полуторке первый открыл перевал. А никто ему не разрешал. Сам пошел. Вон он, живой еще...

— Да, было, — подтвердил Иван Степанович. — Но, — говорит, — сомневаюсь: тут и летом-то никто не ходил с прицепами, а сейчас зима...

Алибек все время молчал, а тут заговорил:

— Довольно спорить. Дело хоть и небывалое, а подумать надо. Только не так, как ты, Ильяс: тяп-ляп, дчвай прицепы — и пошел. Подготовиться надо, продумать все как следует, посоветоваться, провести испытание. Одними словами ничего не докажешь.

— Докажу! — ответил я. — Пока вы будете думать-гадать, я докажу! Тогда убедитесь!

У каждого человека свой характер. Надо им, конечно, управлять, но не всегда это удается. Я сидел за рулем и не ощущал ни машины, ни дороги. Во мне кипели

боль, обида, горечь и раздражение. Чем дальше, тем больше распаялось задетое самолюбие. Нет, я вам докажу! Докажу, как не верить человеку, докажу, как смеяться над ним, докажу, как осторожничать, оглядываться!.. Алибек тоже хорош: подумать надо, подготовиться, испытать! Он умный, осмотрительный! А я плевал на это. Запросто сделаю и утру всем носы!

Поставив машину в гараж, я долго еще возился возле нее. В душе у меня все было натянуто до предела. Я думал только об одном: двинуться с прицепом на перевал. Я должен был это сделать во что бы то ни стало. Но кто мне даст прицеп?

С такими мыслями я брел по двору. Было уже поздно. Только в диспетчерской светилось окно. Я остановился: диспетчер! Диспетчер может все устроить! Сегодня дежурила, кажется, Кадича. Тем лучше. Она не откажет, не должна отказать. Да если на то пошло, то не преступление же я собираюсь совершить, наоборот, она лишь поможет мне сделать полезное, нужное для всех.

Подойдя к диспетчерской, я поймал себя на мысли, что давно уже не входил в эту дверь, как бывало, а обращался через окошечко. Я замялся. Дверь открылась. Кадича стояла на пороге.

— Я к тебе, Кадича! Хорошо, что застал.

— А я уже ухожу.

— Ну пойдем, провожу до дома.

Кадича удивленно подняла брови, недоверчиво посмотрела на меня, потом улыбнулась:

— Пошли.

Мы вышли из проходной. На улице было темно. С озера доносились шумные всплески, дул холодный ветер. Кадича взяла меня под руку, прижалась, укрываясь от ветра.

— Холодно? — спросил я.

— С тобой не замерзну! — отшутилась она.

Еще минуточку назад я отчаянно волновался, а сейчас почему-то успокоился.

— Завтра ты когда дежуришь, Кадича?

— Во вторую смену. А что?

— Дело у меня есть, очень важное. От тебя все зависит...

Сначала она и слушать не хотела, но я продолжал убеждать. Остановились у фонаря на углу.

— Ох, Ильяс! — проговорила Кадича, с тревогой заглядывая мне в глаза. — Зря ты это затеваешь!

Но я уже понял, что она сделает, как прошу. Я взял ее за руку:

— Ты верь мне! Все будет в порядке! Ну, договорились?

Она вздохнула:

— Ну что с тобой поделаешь! — и кивнула головой. Я невольно обнял ее за плечи.

— Тебе бы джигитом родиться, Кадича! Ну, до завтра! — крепко пожал ей руку. — К вечеру приготовь все бумаги, поняла?

— Не спеши! — проговорила она, не выпуская мою руку. Потом неожиданно повернулась. — Ну, иди... Ты сегодня в общежитие?

— Да, Кадича!

— Спокойной ночи!

На другой день у нас был техосмотр. Люди на автобазе нервничали: вечно эти инспектора заявляются некстати, вечно придираются ко всему и составляют акты. Сколько с ними возни, сколько хлопот! Но те были невозмутимы.

За свою машину я был спокоен, однако держался по-дальше, делая вид, что занят ремонтом. Надо было оттянуть время до вступления на дежурство Кадичи. Никто не заговаривал со мной, не напоминал о вчерашнем. Я знал, что людям не до меня: все спешили быстрее пройти техосмотр и отправиться в рейс, нагнать упущенное время. И все же обида в душе не проходила.

Техосмотр я прошел во второй половине дня. Инспектора ушли. Стало тихо и пусто. В глубине двора под открытым небом стояли прицепы. Их использовали иногда по равнинным дорогам для внутренних перевозок. Я облюбывал себе один — обыкновенная тележка, кузов на четырех колесах. Вот и вся премудрость. А сколько пришлось переволоковаться... Тогда я еще не знал, что меня ожидает, спокойно пошел в общежитие, надо было поплотней пообедать и вздремнуть часок, дорога предстояла трудная. Но я так и не смог заснуть, ворочался с боку на бок. А когда начало смеркаться, вернулся на автобазу.

Кадича была уже здесь. Все готово. Я взял путевку и поспешил в гараж. «Теперь держитесь!» Развернул машину, подвел к прицепу, перевел мотор на малые обороты, вышел, осмотрелся вокруг. Никого нет. Слышен только стук станков в ремонтной мастерской да шум прибоя на озере. Небо будто бы чистое, но звезд еще не вид-

не. Рядом тихо постукивает мотор, и сердце мое постукивает. Хотел закурить, да тут же отбросил папиросу в сторону: потом.

У ворот меня остановил вахтер:

— Стой, куда?

— На погрузку, аксакал, — сказал я, стараясь быть равнодушным. — Вот пропуск на выезд.

Старик уткнулся в бумажку, никак не разберет при свете фонаря.

— Не задерживай, аксакал! — не утерпел я. — Работа не ждет.

Погрузка прошла нормально. С полной выкладкой: два места в кузове, два — в прицепе. Никто слова не сказал — я даже удивился. Вышел на трассу и только тогда закурил. Уселся поудобнее, включил фары и дал полный газ. Закачалась, замельтешила тьма на дороге. Путь был свободен, и ничто не мешало мне увеличивать скорость до предела. Машина неслась легко, почти не ощущался погромыхивающий сзади прицеп. Правда, на поворотах нас немного заносило в сторону и выруливать было труднее, но это с непривычки, приноровлюсь, думал я. «Даешь Долон! Даешь Атбаши!» — крикнул я себе и пригнулся к баранке, как всадник к холке коня. Пока дорога ровная, надо было нажимать. К полуночи я рассчитывал выйти на штурм Долона.

Некоторое время я даже перекрывал свои расчеты, но, когда начались горы, идти пришлось осторожней. Не потому, что мотор не справлялся с нагрузкой, сдерживали меня не столько подъемы, сколько спуски. Прицеп вихлял на уклонах, гремел, подталкивал машину, мешал спокойно спускаться. Поминутно приходилось переключать скорости, тормозить, выруливать. Сначала я крепился, старался не замечать. Но дальше — больше, это стало беспокоить меня, раздражать. Сколько их на пути — подъемов да спусков, приходило ли кому в голову подсчитать! И все же я не падал духом. Мне ничто не грозило, только силы выматывались. «Ничего! — успокаивал я себя. — Сделаю передышку перед перевалом. Пробьюсь!» Я не понимал, почему сейчас мне было гораздо труднее, чем тогда осенью, когда я вел на буксире машину.

Долон приближался. Лучи фар заскользили по темным каменным громадам ущелья, скалы с нахлобученными снежными шапками нависали над дорогой. Замелькали крупные хлопья снега. «Должно быть, ветер сдул

сверху», — подумал я. Но хлопья стали налипать на стекла и оползать вниз, значит, шел снег. Он был не очень густ, но мокрый. «Этого еще не хватало!..» — выругался я сквозь зубы. Включил щетки.

Начались первые крутизны перевала. Мотор завел знакомую песню. Монотонный, надсадный гул пополз во тьме по дороге. Наконец подъем взят. Теперь впереди долгий путь под уклон. Мотор заурчал, машина пошла вниз. Сразу замотало из стороны в сторону. Я чувствую спиной, как дурит прицеп, как он наезжает и тычется в машину, слышу, как гремит, скрежещет металл на стыке сцепа. Этот скрежет сводит мне спину до ломоты, отзывается тупой болью в предплечьях. Колеса не подчиняются тормозам, скользят по мокрому снежному покрову. Машина пошла юзом, затряслась всем корпусом, вырывая баранку из рук, и заскользила наискось по дороге. Я вывернул руль, остановился. Дальше не могу, сил нет. Выключил фары, заглушил мотор. Руки одеревенели, стали словно протезы. Я откинулся на спинку сиденья и услышал свое хриплое дыхание. Просидел так несколько минут, отдышался, закурил. А вокруг — тьма, дикая тишина. Только ветер повистывает в щелях кабины. Боюсь представить, что будет впереди. Отсюда идет вверх по откосам серпантин. Мучение для мотора и для рук — это бесконечное карабкание по склону горы зигзагами. Однако раздумывать не приходится, снег валит.

Я завел мотор. Машина с тяжелым ревом двинулась в гору. Стиснув зубы, без передышки брал серпантин петлю за петлей, одну за другой. Кончился серпантин. Теперь крутой спуск, ровная, пологая дорога до поворота к дорожному участку и дальше последний приступ перевала. С трудом съехал вниз. По прямой дороге, которая тянется километра четыре, разогнал машину и с ходу припустил на подъем. Пошел, пошел вверх, еще... Разгона хватило ненадолго. Машина стала угрожающе замедлять ход, переключил скорость на вторую, затем на первую. Откинулся на спину, вцепился в баранку. В просвете туч брызнули звезды в глаза — ни с места, дальше не берет. Колеса забуксовали, повели в сторону, я придавил акселератор до самого дна.

— Ну, еще! Ну, еще немного! Держись! — закричал я не своим голосом.

Мотор с протяжного стога перешел на звенящую дрожь и сорвался, дал перебой, заглох. Машина медленно поползла вниз. И тормоза не помогали. Она скатыва-

лась с горы под тяжестью прицепа и наконец резко остановилась, ударившись о скалу. Все стихло. Я толкнул дверцу, выглянул из кабины. Так и есть! Проклятье! Прицеп завалился в кювет. Теперь никакими силами его не вытащишь. В беспамятстве я снова завел мотор, рванул вперед. Бешено закрутились колеса, машина поднатужилась, напряглась всем корпусом, но даже не сдвинулась с места. Я выпрыгнул на дорогу, подбежал к прицепу. Его колеса глубоко увязли в кювете. Что делать? Ничего не соображая, в дикой, иступленной злобе кинулся я к прицепу, стал руками и всем телом толкать колеса. Потом подлез под кузов плечом, зарычал, как зверь, напрягся до сверлящей боли в голове, пытаюсь сдвинуть прицеп на дорогу, но куда там. Обессилев, упал лицом на дорогу и, подгребая под себя грязь со снегом, заплакал от досады. Потом встал, пошатываясь, подошел к машине и сел на подножку.

Издали донесся гул мотора. Два огонька спускались под уклон к пологой дороге. Не знаю, кто он был, этот шофер, куда и зачем гнала судьба его среди ночи, но я испугался, будто то огни эти должны были настичь и поймать меня. Как вор, метнулся я к прицепу, скинул на землю соединительную серьгу, прыгнул в кабину и помчался вверх по дороге, бросив в кювете прицеп.

Непонятный, жуткий страх преследовал меня. Все время казалось, что прицеп гонится за мной по пятам, вот-вот настигнет. Я несся с небывалой скоростью, не расшибся, пожалуй, лишь потому, что наизусть знал дорогу.

К рассвету прибыл на перевалочную базу. Не отдавая себе никакого отчета, как сумасшедший заколотил кулаками в дверь. Дверь распахнулась, не глядя на Асель, прошел в дом, как был весь в грязи с головы до ног. Тяжело дыша, сел на что-то влажное. Это был ворох выстиранного белья на табурете. Полез в карман за папиросами. Под руку попались ключи от зажигания. С силой швырнул их в сторону, уронил голову и застыл, разбитый, грязный, оцепеневший. Босые ноги Асель переминались возле стола. Но что я мог сказать ей? Асель подняла с пола ключи, положила на стол.

— Умоешься? Я воды согрела с вечера, — негромко сказала она.

Я медленно поднял голову. Озябшая Асель стояла передо мной в одной рубашке, прижав к груди тонкие руки. Ее испуганные глаза смотрели на меня с тревогой и сочувствием.

— Прицеп завалил на перевале, — произнес я чужим, бесцветным голосом.

— Какой прицеп? — не поняла она.

— Железный, зеленый, 02-38! Не все ли равно, какой! — раздраженно выкрикнул я. — Украл я его, понимаешь! Украл!

Асель тихо ахнула, присела на кровать.

— А зачем?

— Что зачем? — Меня злило ее непонимание. — С прицепом хотел пробиться через перевал! Ясно? Доказать задумал свое... Вот и погорел!..

Я снова уткнулся в ладони. Некоторое время мы оба молчали. Асель вдруг решительно встала, начала одеваться.

— Что же ты сидишь? — строго сказала она.

— А что делать? — пробормотал я.

— Возвращайся на автобазу.

— Как! Без прицепа?

— Там все объяснишь.

— Да ты что! — взорвался я и забегал по комнате. — С какими глазами я приволоку туда прицеп? Извините, мол, простите, ошибся! На пузе ползать, умолять! Не буду! Пусть что хотят делают. Плевать!

От моих криков в кровати проснулся сынишка. Он заплакал. Асель взяла его на руки, он заревел еще больше.

— Трус ты! — вдруг тихо, но твердо сказала Асель.

— Что-о? — не помня себя, я бросился к ней с кулаками, замахнулся, но не посмел ударить. Меня остановили ее ошеломленные, широко раскрытые глаза. Я увидел в ее зрачках свое страшное, искаженное лицо.

Грубо отпихнул ее в сторону, шагнул к порогу и вышел, с треском хлопнув дверью.

На дворе уже было светло. При свете дня все вчерашнее представилось мне еще более черным, неприглядным, непоправимым. Пока что выход видел один: отвезти на место хотя бы тот груз, который был на машине. А дальше не знаю...

На обратном пути домой не заезжал. Не потому, что поссорился с Асель. Никому не хотел показываться на глаза, никого не хотел видеть. Не знаю, как другим, но мне в таких случаях лучше побыть в одиночестве, не люблю показывать людям свое горе. Кому оно нужно? Перетерпи, если можешь, пока не сторгит все...

Переночевал по дороге в доме для приезжих. Снилось мне, будто ищу прицеп на перевале. Не сон, а кошмар один. Следы вижу, а прицепа нет. Мечусь, спрашиваю, куда девался прицеп, кто его угнал...

А его и на самом деле не было на том злосчастном месте, когда я возвращался. Потом уж узнал: оказывается, Алибек притащил прицеп на автобазу.

Вслед за прицепом вернулся утром и я. Почернел за эти дни, гляну в зеркальце над кабиной и не узнаю себя.

На автобазе, как всегда, шла обычная жизнь, и только я, будто нездешний, неуверенно подкатил к воротам, тихо проехал во двор, остановился подальше от гаража, в дальнем углу. Из кабины вышел не сразу. Повел глазами по сторонам. Люди побросали работу, смотрят на меня. Эх, развернуться бы сейчас да укатить куда глаза глядят! Но деваться было некуда, пришлось выйти из кабины. Собрал в себе все силы и пошел через двор к диспетчерской. Старался казаться спокойным, но на самом деле иду, как провинившийся перед строем, знаю, что все провожают меня хмурыми взглядами. Никто не окликнул, никто не поздоровался. Да и я на их месте поступил бы, наверно, так же.

Споткнулся на пороге. И сердце мое будто споткнулось: про Кадичу-то забыл, подвел ее!

В коридоре прямо в лицо мне смотрел со стены плакат-«молния». «Позор» написано крупными буквами, а под этой надписью изобразили прицеп, брошенный в горах...

Я отвернулся. Лицо горело, как от пощечины. Вошел в диспетчерскую. Кадича говорила по телефону. Увидев меня, повесила трубку.

— На! — бросил я на стол злополучную путевку.

Кадича с жалостью глянула на меня. Только бы, думаю, не раскричалась, не заплакала. «Потом где-нибудь, не сейчас!» — прошу ее мысленно. И она поняла, ничего не сказала.

— Шум был? — тихо спросил я.

Кадича кивнула головой.

— Ничего! — процедил я сквозь зубы, стараясь ободрить ее.

— Сняли тебя с трассы, — сказала она.

— Сняли? Совсем? — я криво усмехнулся.

— Хотели совсем — на ремонт... да ребята вступились... Перевели пока на местные рейсы. Зайди к начальнику, вызывал.

— Не пойду! Пусть сами решают, без меня. Жалеть не буду.

Я вышел. Понуро ползлелся по коридору. Кто-то шел навстречу. Я хотел пройти боком, но Алибек загородил путь.

— Нет, ты стой! — оттеснил он меня в угол. В упор глядя, проговорил злым, свистящим шепотом: — Ну что, герой, доказал? Доказал, что ты сукин сын!

— Хотел как лучше, — буркнул я.

— Врешь! Один хотел отличиться. На себя работал. А стоящее дело загубил. Пойди теперь попробуй докажи после этого, что можно ходить с прицепом! Балда! Выскачка!

Может быть, кого-нибудь другого эти слова заставили бы одуматься, но мне теперь было все равно; ничего не понял я, только видел одну обиду свою. Я выскачка, стремлюсь отличиться, заработать славу? Это же неправда!

— Отойди! — отстранил я Алибека. — Без тебя тошно.

Вышел на крыльцо. Холодный, пронизывающий ветер мел по двору снежную пыль. Люди проходили мимо, молчаливо косясь на меня. Что было делать? Сунул в карманы кулаки и зашагал к выходу. Лед, намерзший в лужах, с хрустом втапывался в землю. Под ноги попала балка из-под тавота. Изо всей силы пнул ее через ворота на улицу и сам двинулся следом.

Весь день бесцельно бродил я по улицам городка, слонялся по пустой пристани. На Иссык-Куле штормило, баржи качались у причалов.

Потом я очутился в чайной. На столе передо мной стояла початая поллитровка да какая-то закуска в тарелке. Оглушенный первым же стаканом, я тупо глядел себе под ноги.

— Что приуныл, джигит? — раздался вдруг возле меня чей-то приветливый, слегка насмешливый голос. С трудом поднял голову. Кадича.

— Что, не пьется одному? — улыбнулась она, присела рядом за столик. — Ну давай выпьем вместе!

Кадича разлила водку по стаканам, пододвинула ко мне.

— Держи! — сказала она и задорно подмигнула, будто мы пришли сюда просто посидеть да выпить.

— Ты что радуешься? — спросил я недовольно.

— А что горевать? С тобой мне все ни о чем, Ильяс!

А я думала, ты крепче. Ну, где наша не пропадала! — негромко засмеялась она, придвинулась ближе, чокнулась, глядя на меня темными ласкающими глазами.

Мы выпили. Я закурил. Вроде бы немного полегчало, я улыбнулся первый раз в этот день!

— Молодец ты, Кадича! — сказал я и сжал ее руку.

Потом мы вышли на улицу. Было уже темно. Шальной ветер с озера раскачивал деревья и фонари. Земля качалась под ногами, Кадича вела меня, поддерживая под руку, заботливо приподняла мой воротник.

— Виноват я перед тобой, Кадича! — проговорил я, испытывая чувство вины и благодарности. — Но знай, в обиду тебя не дам... Сам буду отвечать...

— Позабудь об этом, родной мой! — ответила она. — Беспокойный ты. Все рвешься куда-то, а мне больно за тебя. Я и сама такая была. За жизнью не утонишься, бери, что берется... Зачем дразнить судьбу?..

— Ну, это смотря как понимать! — возразил я, а потом подумал и сказал: — А может, ты и права...

Мы остановились у дома, где жила Кадича. Она давно жила одна. С мужем они почему-то разошлись.

— Ну, я пришла, — сказала Кадича.

Я медлил, не уходил. Было уже что-то такое, что связывало нас. Да и не хотелось сейчас идти в общежитие. Правда хороша, но иной раз она слишком горька, и невольно стараешься избежать ее.

— Что задумался, милый? — спросила Кадича. — Устал? Идти далеко?

— Ничего, доберусь как-нибудь. До свидания.

Она взяла мою руку.

— У-у, замерз-то! Пстой, я согрею! — проговорила Кадича, запрягла мою руку к себе под пальто, порывисто прижала к груди. Я не посмел отдернуть, не посмел воспротивиться этой горячей ласке. Под рукой моей билось ее сердце, стучало, как бы требуя своего, долгожданного. Я был пьян, но не в такой степени, чтобы ничего не понимать. Я осторожно убрал руку.

— Ты пошел? — сказала Кадича.

— Да.

— Ну, прощай! — Кадича вздохнула, быстро пошла прочь. В темноте хлопнула калитка. Я было тоже тронулся в путь, но через несколько шагов остановился. Сам не знаю, как это произошло, только я был снова возле калитки. Кадича ждала меня. Она бросилась на шею, крепко обняла, целуя в губы.

— Вернулся! — прошептала она, затем взяла меня за руку, повела к себе.

Ночью я проснулся и долго не мог понять, где нахожусь. Голова болела. Мы лежали рядом. Теплая, полуголая Кадича, прильнув, ровно дышала мне в плечо. Я решил встать, немедленно уйти. Пошевелился. Кадича, не открывая глаз, обняла.

— Не уходи! — тихо попросила она. Потом подняла голову, заглянула в темноте в глаза и заговорила прерывающимся шепотом: — Я теперь не могу без тебя... Ты мой! Ты всегда был моим!.. И больше я ничего не хочу знать. Лишь бы ты любил меня, Илья! Другого я ничего не требую... Но и не отступлюсь, понимаешь, не отступлюсь!.. — Кадича заплакала, ее слезы потекли по моему лицу. Я не ушел. Уснули на рассвете. Когда проснулись, на дворе было уже утро. Я быстро оделся, неприятный, тревожный холодок сжимал сердце. Натягивая на ходу полушубок, торопливо вышел во двор, юркнул за калитку. Прямо на меня шел человек в рыжем разлапистом лисьем малахае. Ух, были бы в глазах моих пули! Джантай шел на работу, он жил здесь неподалеку. Мы оба на мгновение замерли. Я сделал вид, что не заметил его. Круто повернулся и быстро зашагал к автобазе. Джантай многозначительно кашлянул вслед. Шаги его скрипели на снегу, не приближаясь и не удаляясь. Так один за другим мы шли до самой автобазы.

Не сворачивая в гараж, я пошел прямо в контору. В кабинете главного инженера, где обычно проходили утренние пятиминутки, приглушенно гудели голоса. Как мне хотелось войти сейчас туда, сесть где-нибудь на подоконнике, положить ногу на ногу, закурить, послушать, как беззлобно переругиваются и спорят шоферы! Никогда не представлял, что это может быть так желанно человеку. Но я не решался войти. Я не трусил, нет, пожалуй. Во мне была все та же озлобленность, вызывающее, отчаянное, бессильное упрямство. И ко всему этому смятение после ночи, проведенной с Кадичой... Да и люди, оказывается, совсем не собирались забывать о моей неудаче. За дверьми речь шла как раз обо мне. Кто-то закричал:

— Безобразие! Под суд его надо, а вы цацкаетесь! Еще хватает нахальства говорить, что он задумал правильно! А прицеп-то бросил на перевале!..

Его перебил другой голос:

— Верно! Видали мы таких. Умный очень. Премияль-

ные захотел под шумок, выручаю, мол, автобазу... Да только боком все вышло!

Люди заспорили, загалдели. Я пошел прочь: не подслушивать же возле дверей.

Услышав за спиной голоса, я ускорил шаги. Ребята все еще гомонили. Алибек кому-то горячо доказывал на ходу:

— А тормоза на прицепе мы сделаем у себя на базе, не такое уж трудное дело перебросить шланг с компрессора, вложить колодки!.. Это Ильяс, что ли? Ильяс, стой! — окликнул он меня.

Я, не останавливаясь, шел к гаражу. Алибек догнал, дернул за плечо:

— Фу, черт! Понимаешь, убедил-таки. Готовься, Ильяс! Пойдешь в напарники? В испытательный рейс! С прицепом!

Зло меня взяло: выручать задумал, на буксир брать друга-неудачника. В напарники! Я сбросил его руку с плеча:

— Катись ты со своими прицепами...

— Да ты что лютуешь? Сам же виноват... Да, я и забл. Володька Ширяев тебе ничего не говорил?

— Нет, не видел я его. А что?

— Как что? Где ты пропадаешь? Асель ждет на дороге, спрашивает у наших, переживает! А ты!..

У меня ноги подкосились. И так тяжело, так невыносимо противно стало на душе, что рад был бы умереть на месте. А Алибек дергает меня за рукав и все объясняет про какие-то приспособления к прицепам... Джантай стоит в сторонке, прислушивается.

— Отойди! — вырвал я руку. — Какого черта вы ко мне пристаёте? Хватит! Никаких прицепов мне не надо. И ни в каких напарниках я ходить не буду... Ясно тебе?

Алибек нахмурился, заиграл желваками:

— Сам начал, наломал дров — и первый в кусты? Так, что ли?

— Как хочешь, так и понимай.

Подошел к машине, руки трясутся, ничего не соображаю. Прыгнул зачем-то в яму под машину, привалился к кирпичной кладке голову охладить.

— Слушай, Ильяс! — раздался над ухом шепот.

Я поднял голову: кого еще принесло? Джантай в малахае присел над ямой, как гриб, смотрит на меня хитрыми щелочками глаз.

— Ты ему правильно выдал, Ильяс!

— Кому?

— Алибеку, активисту! Как камень на зуб попал!..
Примолк сразу, новатор.

— А тебе какое дело?

— А такое, ты и сам небось понял, нам, шоферам, прицепы ни к чему. Знаем, как это делается: увеличил норму выработки, сократил пробег, давай все подтягивайся, а расценочку за грузо-километр срежут, какого же черта бить по своему карману? Славы на день, а потом что? Мы на тебя не в обиде, так и держись...

— Это кто мы? — спросил я как можно спокойнее. — Мы — это ты?

— Да не я один, — заморгал глазами Джантай.

— Врешь, гнида паршивая! Назло тебе буду ходить с прицепом... Душу положу — добыюсь. А сейчас — вон отсюда! Я еще доберусь до тебя!

— Ну-ну, ты не больно! — огрызнулся Джантай. — Знаю тебя, чистенького... подумаешь! А что касается того — гуляй, пока гуляется...

— Ах ты!.. — вскрикнул я вне себя и двинул его со всей силы под челюсть.

Он как сидел на краю ямы, так и опрокинулся. Малахай покатился по земле. Я выскочил из ямы, бросился к нему. Но Джантай успел встать на ноги, отпрыгнул в сторону, завопил на весь двор:

— Хулиган! Бандит! Драться? Найдется на тебя управа! Распоясался, зло срываешь!..

Со всех сторон сбежались люди. Прибежал и Алибек.

— В чем дело? За что ты его?

— За правду! — закатывался Джантай. — За то, что правду сказал в глаза!.. Сам прицеп выкрал, завалил его на перевале, нагадил, а когда другие честно берутся исправить ошибку, драться лезет! Теперь ему невыгодно, славу упустил!..

Алибек ко мне. Побелел, заикается от гнева.

— Подлец! — толкнул он меня в грудь. — Зарвался, мстишь за перевал! Ничего, без тебя обойдемся. Без героев!..

Я молчал. Я не в силах был что-либо сказать. Я был так потрясен наглой ложью Джантая, что не мог вымолвить ни слова. Товарищи хмуρο смотрели на меня.

Бежать, бежать отсюда... Я подскочил к машине и погнал ее вон из автобазы.

По дороге я напился. Забежал в придорожный магазинчик — не помогло, остановился еще раз, выпил полный стакан. А потом понесло — только мелькают мосты, при-

дорожные знаки да встречные машины. Повеселел вроде. «Эх! — думаю, — пропади все пропадом. Чего тебе не хватает, крутишь баранку, ну и крути. А Кадича... Чем она хуже других? Молодая, красивая. Любит тебя, души не чаёт. На все готова ради тебя... Дурак неблагодарный!»

Приехал домой уже вечером, стою в дверях, шатаюсь. Полушубок свисает сзади на одном плече. Я иногда освобождаю правую руку, чтобы удобней было за рулем. Привычка такая с детства, когда камни пулял мальчишкой.

Асель кинулась ко мне.

— Ильяс, что с тобой? — Потом, кажется, сообразила, в чем дело. — Ну, что же ты стоишь? Устал, замерз? Раздевайся!

Хотела помочь, но я молча оттолкнул ее. Стыд пришлось прикрывать грубостью. Спотыкаясь, пошел по комнате, с грохотом опрокинул что-то, тяжело опустился на стул.

— Что-нибудь случилось, Ильяс? — Асель беспокойно заглядывала в мои пьяные глаза.

— А ты что, не знаешь, что ли? — Я опустил голову: лучше не смотреть. Я сидел, ожидал, что Асель начнет упрекать меня, жаловаться на судьбу, проклинать. Я готов был выслушать все и не оправдываться. Но она молчала, как будто не было ее в комнате. Я осторожно поднял глаза. Асель стояла у окна, спиной ко мне. И хотя не видел ее лица, знал, что она плачет. Острая жалость стиснула мое сердце.

— Знаешь, я хочу сказать тебе, Асель, — нерешительно начал я. — Хочу сказать... — и умолк. Не хватило духу признаться. Нет, не мог я нанести ей такой удар. Пожалел, а не надо было... — Мы, пожалуй, не сможем скоро поехать к твоим в аил, — повернул я разговор в другую сторону. — Попозже как-нибудь. Сейчас не до этого...

— Отложим, не к спеху... — отозвалась Асель. Вытерла глаза, подошла ко мне. — Ты сейчас не думай об этом, Ильяс. Все будет хорошо. О себе лучше подумай. Странный ты какой-то стал. Не узнаю я тебя, Ильяс...

— Ну, ладно! — перебил я ее, раздраженный тем, что смалодушничал. — Устал, спать хочу.

Через день на обратном пути я встретил Алибека по ту сторону перевала. Он шел с прицепом. Долон был взят.

Увидев меня, Алибек выскочил на ходу из кабины, замахал рукой. Я сбавил скорость. Алибек стоял на дороге радостный, торжествующий.

— Привет, Ильяс! Выходи, покурим, — крикнул он.

Я притормозил. В кабине Алибека за рулем сидел молоденький паренек, второй шофер. На колеса машины были намотаны жгутами цепи. Прицеп был на пневматических тормозах. Это я сразу заметил. Но не остановился, нет. Удалось тебе — хорошо! А меня не трогай.

— Стой, стой! — побежал за мной Алибек. — Дело есть, остановись, Ильяс! Ах ты, шайтан, что же ты?.. Ну ладно же...

Я разгонял машину. Кричи не кричи. Никаких у нас с тобой дел нет. Мое дело давно погорело. Нехорошо я поступил, я потерял в Алибеке лучшего друга. Ведь он был прав, прав во всем, теперь-то я понимаю. Но тогда не мог простить, что он до обидного просто и быстро добился того, что стоило мне столько нервов, такого напряжения и труда.

Алибек всегда был вдумчивым, серьезным парнем. Он пикогда не пошел бы на перевал партизаном, как я. И правильно сделал, что вел машину с напарником. Они могли меняться в пути за рулем и брать перевал со свежими силами. На перевале решают мотор, воля и руки человека. К тому же у Алибека с напарником почти вдвое сокращалось время пробега. Все это он учел, пристроил действующие тормоза к прицепу от компрессора машины. Не забыл самые обыкновенные цепи, обмотав ими ведущие колеса. В общем, он повел бой с перевалом во всеоружии, а не брал на «ура».

Вслед за Алибеком стали водить машины с прицепом и другие. Ведь в любом деле главное начать. Тем временем машин прибавилось, помощь прислали с соседней автобазы. Полторы недели днем и ночью гудел Тянь-Шаньский тракт под колесами. Словом, как ни трудно было, а просьбу ГЭС наши выполнили в срок, не подвели. Я тоже работал...

Это я теперь спокойно рассказываю, когда прошло уже столько лет и все улеглось, а в те горячие дни не удержался я в седле. Не так повернул коня жизни...

Но продолжу все по порядку.

Я приехал на автобазу после встречи с Алибеком уже затемно. Пошел в общежитие, но по пути опять свернул в чайную. Все эти дни у меня было неодолимое, нечеловеческое желание выпить до беспамятства, чтобы позабыть все начисто, уснуть мертвецким сном. Я выпил много, но водка почти не действовала на меня. Вышел я из чайной еще более раздраженный и расстроенный. Побрел среди

ночи по городу и, уже не задумываясь, свернул на Береговую улицу к Кадиче.

Так и пошло. Заметался я между двух огней. Днем на работе, за рулем, а вечерами сразу шел к Кадиче. С ней было удобней, спокойней, я как бы прятался от себя, от людей, от правды. Мне казалось, что только Кадича понимает меня и любит. Из дома я старался быстрее уехать. Асель, родная моя Асель! Если бы она знала, что своей доверчивостью, чистотой душевной она гнала меня из дома. Я не мог обманывать, знать, что не достоин ее, не заслуживаю всего того, что она для меня делала. Несколько раз приезжал домой нетрезвый. И она даже не упрекнула. До сих пор не могу понять, что это было: жалость, безволие или, наоборот, выдержка, вера в человека? Да, конечно, она ждала, она верила, что я возьму себя в руки, сам осилю себя и стану таким, каким был прежде. Но лучше бы она ругала, принудила выложить честно всю правду. Может быть, Асель и потребовала бы от меня ответа, если бы знала, что меня терзали не только неприятности по работе. Она не представляла, что творилось со мной в эти дни. А я жалел ее, все откладывая разговор на завтра, на следующий раз, да так и не успел сделать того, что обязан был выполнить ради нее, ради нашей любви, ради нашей семьи...

В последний раз Асель встретила меня радостная, оживленная. Она разругалась, глаза ее блестели. Она потащила меня, как был в полушубке и сапогах, прямо в комнату.

— Смотри, Ильяс! Самат уже стоит на ногах!

— Да ну! Где он?

— А вон — под столом!

— Так он же ползает на полу.

— Сейчас увидишь! А ну, сынок, покажи папе, как ты стоишь! Ну иди, иди, Самат!

Самат каким-то образом понял, чего от него хотят. Он весело заковылял на четвереньках, выбрался из-под стола и, держась за кровать, с трудом выпрямился. Он постоял, мужественно улыбаясь, покачиваясь на мягких пожелтках, и с той же мужественной улыбкой шмякнулся об пол. Я подскочил, сгреб его в охапку и прижал к себе, вдыхая нежный, молочный запах ребенка. Какой он был родной, этот запах, такой же родной, как Асель.

— Ты его задушишь, Ильяс, осторожней! — Асель взяла сына. — Ну, что скажешь? Раздевайся. Скоро он станет совсем большой, тогда и мама начнет работать. Все

уладится, все будет хорошо, так ведь, сыночек, да? А ты!.. — Асель глянула на меня улыбочким и грустным взглядом. Я сел на стул. Я понял, в это короткое слово она вложила все, что хотела сказать, все то, что накопилось у нее на душе за эти дни. Это были и просьба, и упрек, и надежда. Я должен был сейчас же рассказать ей все или немедленно уехать. Лучше уж уехать. Она очень счастлива и ничего не подозревает. Я встал со стула.

— Я поеду.

— Куда ты? — встрепенулась Асель. — Ты и сегодня не останешься? Чаю хоть выпей.

— Не могу. Надо мне, — пробормотал я. — Сама знаешь, работа сейчас такая...

Нет, не работа гнала меня из дома. Я должен был лишь утром выехать в рейс.

В кабине я тяжело плюхнулся на сиденье и застонал от горя, долго копался, не попадая ключом в зажигание. Потом вырuling на дорогу и ехал, пока не скрылись позади огни в окнах. В ущелье, сразу же за мостом, свернул на обочину, загнал машину в кусты, погасил фары. Здесь я решил переночевать. Достал папиросы. В коробке оказалась единственная спичка. Она коротко вспыхнула и погасла. Я швырнул коробок вместе с папиросами за окошко, натянул на голову полушубок и, поджав ноги, скрючился на сиденье.

Луна хмурилась над холодными, темными горами. Ветер в ущелье тоскливо посвистывал, раскачивал приоткрытую дверь кабины. Она тихо поскрипывала. Никогда я так остро не ощущал полного одиночества, оторванности от людей, от семьи, от товарищей по автобазе. Жить так дальше было нельзя. Я дал слово, как только вернусь на автобазу, сразу же объяснюсь с Кадичой, попрошу ее простить меня и забыть все, что было между нами. Так будет честно и правильно.

Но жизнь решила по-иному. Не ожидал я, не думал, что произойдет такое. Через день, утром, вернулся на перевалочную базу. Дома никого не оказалось, дверь была открыта. Сначала я предположил, что Асель просто куда-то вышла, за водой или за дровами. Огляделся по сторонам. В комнате беспорядок. Нежилым, холодным духом пахло на меня из нетопленной, черной плиты. Я шагнул к кровати Самата — пусто.

— Асель! — прошептал я со страхом. «Асель!» — шепотом ответили стены.

Я опрометью кинулся к двери.

— Асель!

Никто не отозвался. Побежал к соседям, к бензоколонке, толком никто ничего не знал. Говорили, что вчера она уезжала куда-то на весь день, оставив ребенка у знакомых, а к ночи вернулась. «Ушла, узнала!» — содрогнулся и от страшной догадки.

Вряд ли когда-нибудь мне приходилось гнать так машину по Тянь-Шаньским горам, как в тот несчастный для меня день. Мне все время казалось, что я догоню ее за тем вон поворотом, или вон в том ущелье, или еще где-нибудь по дороге. Как беркут, достигал я идущие впереди машины, тормозил, шел бок о бок, окидывая взглядом кабины, кузова, и вырывался вперед, в обгон, под брань шоферов. Так я мчался три часа без передышки, пока не закипела вода в радиаторе. Выскочил из кабины, забросал радиатор снегом, принес воды. От радиатора шел пар, машина дышала, как загнанная лопадь. Только собрался садиться за руль, как увидел идущий навстречу автосцеп Алибека. Я обрадовался. Хоть мы с ним не разговаривали и не здоровались, но если Асель у них, то он скажет. Я выбежал на дорогу, поднял руку:

— Стой, стой, Алибек! Остановись!

Сменщик, сидевший за рулем, вопросительно глянул на Алибека. Тот хмуро отвернулся. Машина пронеслась мимо. Я стоял на дороге весь в снежной пыли и долго еще держал поднятую руку. Потом вытер лицо. Что ж, долги платежом красен. Но мне было не до обиды. Значит, Асель не приезжала к ним. Это было хуже. Выходит, она поехала к себе в аил, больше ей некуда деваться. Как она переступила порог родительского дома, что сказала? И как посмотрели там на ее позорное возвращение? Одна, с ребенком на руках!

Надо было немедленно ехать в аил.

Скорее разгрузился и, оставив машину на улице, побежал в диспетчерскую сдать документы. В проходной я столкнулся с Джантаем — ох уж эта его наглая, ненавистная усмешка!

Кадича странно взглянула на меня, когда я просунулся в окошко диспетчерской и бросил на стол путевку.

Что-то встревоженное, виноватое мелькнуло в ее глазах.

— Принимай быстрее! — сказал я.

— Что-нибудь случилось?

— Нет ее дома. Ушла Асель!

— Да что ты? — бледнея, привстала из-за стола Кадича.

ча и, кусая губы, проговорила: — Прости меня, прости меня, Ильяс! Это я, я...

— Что я? Говори толком, рассказывай все! — бросился я к двери.

— Я и сама не знаю, как все получилось. Честно говорю тебе, Ильяс. Вчера постучался в окошко вахтер из проходной, говорит, какая-то девушка хочет тебя видеть. Я сразу узнала Асель. Она молча посмотрела на меня и спросила: «Это правда?» А я, я вдруг сказала, не помня себя: «Да, правда. Все правда. Со мной он!» Она отпрянула от окошка. А я упала на стол и зарыдала, повторяя, как дура: «Мой, он! Мой!» Больше я ее не видела... Прости меня!

— Пстой, откуда же она узнала?

— Это Джантай. Это он, он и мне угрожал. Разве ты не знаешь этого подлеца! Ты езжай, Ильяс, к ней, найди ее. Я больше не буду вам мешать, уеду куда-нибудь...

Машина несла меня по зимней степи. Сизая, смерзшаяся земля. Ветер завывал гривы сугробов, выносил из арыков бездомное перекасти-поле и гнал его прочь. Вдали темнели обветренные дувалы и голые сады айла.

К вечеру приехал в аил. Остановился возле знакомого двора, быстро закурил, чтобы унять тревогу, пригасил окурок, посигналил. Но вместо Асель вышла ее мать, накинув на плечи шубу. Я стал на подножку и негромко сказал:

— Здравствуйте, апа!

— А-а, так это ты явился? — грозно ответила она. — И после всего этого ты смеешь называть меня апой? Прочь отсюда, вон с моих глаз! Бродяга, проходимец! Смашил мое родное дитя, а теперь прикатил! Бесстыжие твои глаза! Испоганил пам всю жизнь...

Старуха не давала мне и рта раскрыть. Она продолжала бранить и поносить меня самыми обидными словами. На ее голос стали сбегаться люди, мальчишки из соседних дворов.

— Убирайся отсюда, пока не созвала народ! Будь ты проклят! Чтобы и не видеть тебя никогда! — подступала ко мне разгневанная женщина, сбросив на землю шубу.

Мне ничего не оставалось, как сесть за руль. Надо было уезжать, раз Асель даже не желала меня видеть. В машину полетели камни и палки. Это мальчишки выпроваживали меня из айла...

В ту ночь я долго бродил по берегу Иссык-Куля. Озеро металось, освещенное луной. О Иссык-Куль — вечно горячее озеро! Ты было холодным в ту ночь, студеным и не-

приветливым. Я сидел на днище опрокинутой лодки. Волны набегали на отмель злыми валами, бились о голенища сапог и уходили с тяжелым вздохом...

...Кто-то подошел ко мне, осторожно положил руку на плечо: Кадича.

Через несколько дней мы уехали во Фрунзе, устроились там в изыскательскую экспедицию по освоению пастбищ Анархайской степи. Я — шофером, Кадича — рабочим. Вот так началась она, новая жизнь.

Далеко в глубину Анархая укатили мы с экспедицией, к самому Прибалхашью. Раз уж рвать с прошлым, то рвать навсегда.

Первое время заглушал тоску работой. А дел там было немало. За три с лишним года исколесили просторы Анархая вдоль и поперек, набурили колодцев, проложили дороги, построили перевалочные базы. Одним словом, теперь это уже не прежний дикий Анархай, где среди белого дня можно заблудиться и целый месяц скитаться по холмистой, полынной степи. Сейчас это край животноводов с культурными центрами, благоустроенными домами... Хлеб сеют и даже сено заготавливают. Работы на Анархаете и поныне непочатый край, тем более для нашего брата шофера. Но я вернулся обратно. Не потому, что слишком трудно было в необжитых местах, это дело временное. Мы с Кадичой трудностей не боялись и, надо сказать, жили неплохо, с уважением друг к другу. Но одно дело — уважение, а другое — любовь. Если даже один любит, а другой нет, это, по-моему, не настоящая жизнь. Или человек так устроен, или я по натуре своей таков, но мне постоянно чего-то не хватало. И не возместишь этого ни работой, ни дружбой, ни добротой и вниманием любящей женщины. Я давно уже втайне каюсь, что так опрометчиво уехал, не попытавшись еще раз вернуть Асель. А за последние полгода не на шутку затосковал по ней и по сыну. Ночами не спал. Чудился мне Самат — улыбается, неуверенно держится на слабых ножонках. Его нежный детский запах я будто вдохнул в себя на всю жизнь. Потянуло меня к родным Тянь-Шаньским горам, к моему синему Иссык-Кулю, к предгорной степи, где я встретил свою первую и последнюю любовь. Кадича знала об этом, но ни в чем не винила меня. Мы поняли наконец, что не можем жить вместе.

Весна как раз выдалась на Анархаете очень ранняя. Бы-

стро осел снег, холмы обнажились, зазеленели. Оживала степь, вбирала в себя тепло и влагу. По ночам воздух стал прозрачным, небо звездным.

Мы лежали в палатке у буровой вышки. Не спалось. Вдруг донесся в степной тиши невесть откуда далекий, едва слышный гудок паровоза. Каким образом долетел он к нам, трудно сказать. До железной дороги было от нас полдня езды по степи. Или мне померещилось, не знаю. Но только встрепенулось сердце, позвало в путь. И я сказал:

— Уеду я, Кадича.

— Да, Ильяс. Надо нам расстаться, — ответила она.

И мы расстались. Кадича уехала в Северный Казахстан, на целину.

Очень мне хочется, чтобы она была счастливой. Я хочу верить, что найдет она все-таки того человека, который, быть может, сам того не зная, ищет ее. Не повезло ей с первым мужем, не получилась у нее жизнь и со мной. Возможно, я остался бы с ней, если бы не знал, что значит настоящая любовь, как это любить самому и быть любимым. Ведь это дело такое, что и объяснить трудно.

Я отвез Кадичу на полустанок, посадил в поезд. Бежал рядом с вагоном, пока не отстал. «Счастливого пути, Кадича, не поминай лихом!» — прошептал я последний раз.

Журавли над Анархаем летели на юг, а я уезжал на север, уезжал на Тянь-Шань...

Приехал и, нигде не останавливаясь, сразу же отправился в аил. Я сидел в кузове попутной машины, старался ни о чем не думать — страшно и радостно мне было. Мы ехали по предгорной степи, по той самой дороге, на которой встречались с Асель. Но это был уже не проселок, а усыпанный гравием путь с бетонными мостами и дорожными знаками. Мне даже жаль стало прежнюю степную дорогу. Не узнал я переезда через арык, где когда-то застряла моя машина, не нашел того валуна, на котором сидела Асель.

Не доезжая до окраины аила, я застучал по кабине.

— В чем дело? — высунулся шофер.

— Останови, сойду.

— В поле? Сейчас доедем.

— Спасибо! Тут недалеко, — спрыгнул я на землю. — Пешком пройду, — сказал я, протягивая деньги.

— Оставь! — говорит. — У своих не берем.

- Держи, на лбу не написано.
- По повадке вижу.
- Ну ладно, коли так. Будь здоров!

Машина ушла. А я все стоял на дороге, не мог собраться с духом. Закурил, отвернувшись от ветра. Пальцы дрожали, когда подносил к губам сигарету. Затянулся несколько раз, затоптал окурок и пошел. «Вот и прибыл!» — пробормотал я. Сердце стучало так, что в ушах звенело, по голове будто молотом били.

Аил заметно изменился, разросся, появилось много новых домов с шиферными крышами. Провода протянулись вдоль улиц, радио говорило на столбе, у правления колхоза. Девтора бежала в школу. Подростки, что постарше, шли гурьбой с молодым учителем, разговаривали о чем-то. Может быть, среди них были и те, что бросали в меня камнями да палками... Идет время, идет, не останавливается.

Я заторопился. Вот и двор с вербами и глиняным дувалом. Остановился, переводя дыхание. Холодея от страха, тревоги, неуверенно направился к калитке. Постучал. Выбежала девочка с портфелем в руках. Та самая, что язык мне показывала, она теперь ходит в школу. Девочка спешила на занятия. Она недоуменно посмотрела на меня и сказала:

- А дома никого нет!
- Никого нет?
- Да. Апа уехала в гости, в лесхоз. А отец на водовозке у тракторов.
- А Асель где? — робко спросил я, чувствуя, как сразу пересохло во рту.
- Асель? — удивилась девочка. — Асель давно уехала...

- И никогда не приезжала?
- Каждый год приезжает вместе с джезде *. Апа говорит, что он очень хороший человек!..

Больше я не стал ни о чем расспрашивать. Девочка побежала в школу, а я повернул назад.

Эта новость так меня ошарашила, что стало вдруг все равно, за кого и куда она вышла замуж. Зачем знать? Почему-то мне никогда не приходило в голову, что Асель может найти другого. А ведь это должно было случиться. Не сидеть же ей все эти годы и ждать, пока я заявлюсь.

Я пошел по дороге, не дожидаясь попутной машины. Да, изменилась дорога, которой я шел, — утрамбован-

* Д ж е з д е — муж старшей сестры.

ная, посыпанная жестким гравием. Только степь оставалась прежней, с темной зябью и светлой, вылинявшей стерней. Широкими, пологими увалами убегала она от гор к горизонту, обрываясь светлой кромкой на далеких берегах Иссык-Куля. Земля лежала обнаженная, влажная после снега. Где-то уже рокотали тракторы на весенней вспашке.

Ночью я добрался до райцентра. А утром решил: поеду на автобазу. Все было кончено, потеряно. Но надо жить и работать, а дальше — кто его знает...

Тянь-Шаньский тракт, как всегда, гудел. Машины шли вереницами, но я высматривал свою, автобазовскую. Наконец я поднял руку.

Машина с разгона проскочила мимо, потом резко затормозила. Я подхватил чемодан, шофер вышел из кабины. Смотрю, однополчанин Эрмек, стажировку проходил у меня в армии. Тогда был юнцом. Эрмек молча стоял, как-то неуверенно улыбаясь.

— Не узнаешь?

— Сержант... Ильяс! Ильяс Алабаев! — наконец вспомнил он.

— Тот самый! — усмехнулся я, а самому горько стало: значит, крепко изменился, если люди с трудом узнают.

Поехали, разговаривали о том о сем, вспоминали службу. Я все время боялся: только бы не начал он спрашивать о моей жизни. Но Эрмек, видимо, ничего не знал. Я успокоился.

— Когда вернулся домой?

— Да вот уже два года как работаю.

— А где Алибек Джантурин?

— Не знаю. Я его не застал. Говорят, он теперь главным механиком автобазы где-то на Памире...

«Молодец, Алибек! Молодец, друг мой! Крепкий ты джигит!» — порадовался я в душе. Стало быть, добился все-таки своего, он еще и в армии заочно учился в автодорожном техникуме и институт собирался заочно кончить.

— Начальником Аманжолов?

— Нет, новый. Аманжолов на повышение пошел в министерство.

— Как думаешь, возьмут меня на работу?

— Почему же нет, возьмут, конечно. Первоклассный шофер, ты ведь и в армии был на хорошем счету.

— Был когда-то, — пробормотал я. — А Джантая знаешь?

— Нет у нас такого. Никогда не слышал.

«Да, немало изменений произошло на автобазе...» — подумал я, а потом спросил:

— А как с прицепами, ходите через перевал?

— Обыкновенно, — просто ответил Эрмек. — Смотри какой груз. Надо, так оборудуют — и тянешь. Машины сейчас мощные.

Не знал он, чего стоили мне эти прицепы.

В общем, вернулся я на свою родную автобазу. Эрмек пригласил к себе домой, угостил, выпить предложил по случаю встречи. Но я отказался, давно уже не пил.

На автобазе тоже неплохо встретили. Товарищам, знавшим меня, я был очень благодарен за то, что не докучали расспросами. Видят, человек помотался на стороне, вернулся, работает добросовестно, ну и хорошо. Зачем тревожить бывшее? Я сам старался забыть все, забыть раз и навсегда. Мимо перевалочной базы, где жил когда-то с семьей, я проносился, не глядя по сторонам и даже не заправляясь у бензоколонки. И однако ничто меня не спасло, не сумел я обмануть себя.

Я уже работал порядочное время, пообык, машину прощупал, мотор испробовал на всех скоростях и подъемах. Короче говоря, знал свое дело...

В тот день я ехал спокойно, ни о чем не думал, крутил себе баранку, смотрел по сторонам. Весна, хорошо было вокруг. Кое-где поодаль ставили юрты: скотоводы выходили на весенние пастбища. Потянулись над юртами сизые дымки. Ветер доносил беспокойное ржанье лошадей. Отары бродили близ дороги. Вспоминалось раннее детство, Взгрустнулось... И вдруг на выезде к озеру вздрогнул — лебеди!

Второй раз в жизни довелось мне увидеть весенних лебедей на Иссык-Куле. Над синим-синим Иссык-Кулем кружили белые птицы. Сам не знаю почему, я круто свернул с дороги и, как в тот раз, прямо по целине повел машину к озеру.

Иссык-Куль, Иссык-Куль — песня моя недопетая!.. Зачем я вспомнил тот день, когда на этом же взгорье, над самой водой, мы остановились вместе с Асель? Да, все было так же: сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег. Солнце закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Лебеди носились с ликующими, тревожными криками. Взмывали вверх, падали на распластанных, будто гудящих крыльях, взбивая воду, разгоняя широкие, кипящие круги. Да, все

было так же. Только не было со мной Асель. Где ты теперь, тополек мой в красной косынке?

Я долго стоял на берегу. Потом вернулся на автобазу и не удержался, сорвался... Опять пошел в чайную заливать разбередившуюся боль в душе. Уходил поздно. Небо было темное, в тучах. Ветер дул из ущелья, как из трубы, свирепо гнул деревья, свистел в проводах, бил в лицо крупной галькой. Ухало, стонало озеро. Я с трудом добрался до общежития и, не раздеваясь, завалился спать.

Утром не мог поднять голову, ломило с похмелья. За окном моросил противный дождь вперемежку со снегом. Прележал часа три, не хотелось выходить на работу. Первый раз случилось так — даже работа была не в радость. Но потом устыдился, выехал.

Машина шла вяло, вернее, я был вялым, и погода никудышная. На встречных машинах лежал снег; выходит, выпал на перевале. Ну и пусть, мне-то что, хоть буран разыграется, наплевать, бояться мне нечего, один конец...

Уж очень скверное было настроение. Гляну в зеркальце наверху, с души воротит: небритый, лицо отекшее, измятое, как после болезни. Мне бы перекусить что-нибудь по пути, с утра ничего не ел, но есть не хотелось, тянуло выпить. Известно, дашь себе один раз волю, потом трудно удержаться. Остановился у закуской. После первого стакана я прибодрился, пришел в себя. Машина пошла веселей. Потом еще где-то по дороге забежал, выпил сто граммов, потом еще прибавил. Понеслась дорога, заходили щетки взад и вперед перед глазами. Пригнулся я, жую сигарету в зубах. Только вижу, как пролетают встречные машины, обдавая стекла брызгами из луж. Я тоже поднажал, поздно уже было. Ночь застала меня в горах, глухая, беспросветная. Вот тут-то сказала водка. Разморило. Уставать стал. Перед глазами пошли черные пятна. В кабине было душно, мутить начало меня. Никогда еще я не был так сильно пьян. Пот заливал лицо. Чудилось мне, что еду не на машине, а качусь куда-то на двух бегущих впереди лучах, устремленных из фар. Вместе с лучами я то круто падал вниз, в глубоко освещенную падь, то выбирался вверх на дрожащих, скользких по скалам огнях, то начинал петлять вслед за лучами по сторонам. Силы покидали меня с каждой минутой, но я не останавливался, знал, стоит только оторвать руки от баранки, и я не смогу вести машину. Где я ехал, точно не помню, — где-то на перевале. Ох, Долоц, Долон, тянь-шаньская махина! Ну и

тяжел же ты! Особенно ночью, особенно для нетрезвого шофера.

Машина с натугой выбралась на какой-то подъем и покатила вниз, под гору. Закружилась, опрокинулась ночь перед глазами. Руки уже не подчинялись мне. Все больше набирая скорость, полетела машина по дороге вниз. Потом раздался глухой удар, скрежет, фары вспыхнули, и темнота залила мне глаза. Где-то в глубине сознания кольнула мысль: «Авария!»

Сколько я пролежал так, не помню. Только услышал вдруг голос, словно бы издалека, как через вату в ушах: «Ну-ка, посвети!» Чьи-то руки ощупали мою голову, плечи, грудь. «Живой, пьяный только», — сказал голос. Другой ответил: «Надо дорогу освободить».

— Ну-ка, друг, попробуй немного подвинуться, отгоним машину, — руки легонько толкнули меня в плечо.

Я застонал, с трудом поднял голову. Со лба стекала по лицу кровь. В груди что-то мешало выпрямиться. Человек чиркнул спичкой. Глянул на меня, Потом еще раз чиркнул и снова глянул, будто глазам не верил...

— Ты что же это, друг! Как же это, а? — с огорчением проговорил он в темноте.

— Машина... здорово побита? — спросил я, сплевывая кровь.

— Нет, не очень. Закинуло вот только поперек дороги.

— Ну, так я уеду сейчас, пустите! — Непослушными, дрожащими руками я попытался включить зажигание и нажать стартер.

— погоди! — крепко обхватил меня человек. — Хватит баловаться. Вылезай. Переспишь ночь, а утром видно будет...

Меня вытащили из кабины.

— Отгоняй машину на обочину, Кемель, там разберемся!

Он перекинул мою руку через плечо и потащил меня в темноте куда-то в сторону. Мы шли долго, пока добрались до какого-то двора. Человек помог мне войти в дом. В передней комнате горела керосиновая лампа. Человек посадил меня на табуретку, принялся стаскивать полушубок. И тогда я посмотрел на него. И вспомнил. Это был дорожный мастер Байтемир, тот самый, с которым мы буксировали когда-то машину на перевале. Стыдно стало, и все-таки я обрадовался, хотел было извиниться, поблагодарить его, но в это время грохот упавших на пол поленьев заставил меня обернуться. Я глянул и медленно, с уси-

лием привстал с места, будто на плечи мне свалилось что-то непомерно тяжелое. В дверях возле рассыпанных дров стояла Асель. Она стояла неестественно прямая и как неживая смотрела на меня.

— Что это? — тихо прошептала она.

Я чуть было не крикнул: «Асель!», но ее отчужденный, неподпускающий взгляд не дал проронить ни слова. Сгорая от позора, я опустил голову. В комнате на мгновение стало до жути тихо. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не Байтемир. Он как ни в чем не бывало опять усадил меня на место.

— Ничего, Асель, — спокойно сказал он. — Разбился немного шофер, отлежится... Ты бы лучше йод нам дала.

— Йод? — Голос ее потеплел, встревожился. — Йод соседи брали... Я сейчас! — спохватилась она и выбежала из дверей.

Я сидел, не двигаясь, прикусив губу. Хмель точно вышибло из головы, протрезвел в мгновение ока. Только кровь с шумом колотилась в висках.

— Обмыть надо сначала, — сказал Байтемир, разглядывая ссадины на моем лбу. Он взял ведро и вышел. Из соседней комнаты выглянул босоногий мальчик лет пяти в одной рубашонке. Он смотрел на меня большими любопытными глазами. Я сразу узнал его. Не пойму как, но узнал, сердце мое узнало.

— Самат! — сдавленным голосом прошептал я и потянулся к сыну. В это время Байтемир появился в дверях, и я почему-то испугался. Он, кажется, услышал, как я назвал сына по имени. Стало очень неловко, будто поймали меня, как вора. Чтобы загладить смущение, я вдруг спросил, прикрывая рукой ссадину над глазом:

— Это ваш сын? — Ну зачем мне надо было так спрашивать? До сих пор не могу простить себе.

— Мой! — по-хозяйски уверенно ответил Байтемир. Поставил ведро на пол, поднял Самата на руки. — Мой конечно, собственный, так ведь, Самат? — приговаривал он, целуя мальчонку и щекоча его шею усами. В голосе и поведении Байтемира не было ни тени фальши. — Ты почему не спишь? Ух ты, мой жеребенок, все тебе надо знать, ну-ка, беги в постель!

— А мама где? — спросил Самат.

— Сейчас придет. Вот она. Ты иди, сынок.

Асель вбежала, молча окинула нас быстрым, настороженным взглядом, подала Байтемиру пузырек с йодом и увела сынишку спать.

Байтемир намочил полотенце, вытер кровь с моего лица.

— Терпи! — пошутил он, прижигая ссадины, и строго сказал: — Прижечь бы тебя за такое дело покрепче, да ладно, гость ты у нас... Ну вот и порядок, заживет, Асель, нам бы чайку.

— Сейчас.

Байтемир постелил на кошму ватное одеяло, положил подушку.

— Пересаживайся сюда, отдохни немного, — сказал он.

— Ничего, спасибо! — пробормотал я.

— Садись, садись, будь как у себя дома, — настаивал Байтемир.

Я делал все как во сне. Сердце будто кто-то зажал в груди. Все во мне напряглось в тревоге и ожидании. Эх, зачем только родила меня мать на свет!

Асель вышла и, стараясь не смотреть на нас, взяла самовар, унесла во двор.

— Я сейчас помогу тебе, Асель, — сказал вслед Байтемир. Он пошел было за ней, но Самат снова прибежал. Он совсем не собирался спать.

— Ты что, Самат? — добродушно покачал головой Байтемир.

— Дядя, а ты прямо из кино вышел? — серьезно спросил меня сын, подбегая поближе.

Я смекнул, в чем дело, Байтемир расхохотался.

— Ах ты, несмышлениш мой! — смеялся Байтемир, опустившись возле малыша на корточки. — Уморил... Мы ездим на рудник кино смотреть, — обернулся он ко мне. — Ну и он с нами...

— Да, я из кино вышел! — поддержал я общее веселье.

Но Самат нахмурился.

— Неправда! — заявил он.

— Почему же неправда?

— А где сабля, которой ты сражался?

— Оставил дома...

— А ты мне покажешь? Завтра покажешь?

— Покажу. Ну-ка, иди сюда. Как тебя звать, Самат, да?

— Самат. А тебя как, дядя?

— Меня... — я умолк. — Меня — дядя Ильяс, — с трудом выдавил я.

— Ты иди, Самат, ложись, поздно уже! — вмешался Байтемир.

— Папа, можно я немножко побуду? — попросил Самат.

— Ну ладно! — согласился Байтемир. — А мы сейчас чай принесем.

Самат подошел ко мне. Я погладил его руку; он был похож на меня, очень похож. Даже руки были такие же, и смеялся он так же, как я.

— Ты кем будешь, когда вырастешь? — спросил я, чтобы как-то завязать разговор с сыном.

— Шофером.

— Любишь ездить на машине?

— Очень-очень... Только меня никто не берет, когда я поднимаю руку...

— А я покатаю тебя завтра. Хочешь?

— Хочу. Я тебе альчики* дам свои! — Он побежал в комнату за альчиками.

За окном выбивались из самоварной трубы языки пламени. Асель и Байтемир о чем-то разговаривали.

Самат принес альчики в мешочке из шкуры архара**.

— Выбирай, дядя! — рассыпал он передо мной свое разноцветное, крашеное хозяйство.

Я хотел взять один альчик на память, но не посмел. Дверь распахнулась, и вошел Байтемир с кипящим самоваром в руках. Вслед за ним появилась Асель. Она принялась заваривать чай, а Байтемир поставил на кошму круглый столик на низеньких ножках, накрыл скатертью. Мы с Саматом собрали альчики, положили их обратно в мешочек.

— Богатство свое показывал, ох и хвастунишка ты! — ласково потрепал Байтемир за ухо Самата.

Через минуту мы все уже сидели за самоваром. Я и Асель делали вид, будто никогда не знали друг друга. Мы старались быть спокойными и, наверно, поэтому больше молчали. Самат, примостившись на коленях Байтемира, лънул к нему, вертел головой:

— У-ух, всегда у тебя усы колются, папа! — И сам же лез, подставляя под усы щеки.

Нелегко мне было сидеть рядом с сыном, не смея его так назвать и слушая, как он называет отцом другого.

* Альчики — детские игральные кости (бабки).

** Архар — дикий баран.

человека. Нелегко было знать, что Асель, моя любимая Асель, вот тут рядом, а я не имею права прямо взглянуть ей в глаза, как она очутилась здесь? Полюбила и вышла замуж? Что я мог узнать, если она даже не подавала виду, будто знает меня, словно я был совершенно чужим, незнакомым человеком? Неужели она так возненавидела меня? А Байтемир? Разве он не догадывается, кто я на самом деле? Разве он не заметил нашего сходства с Саматом? Почему он даже не вспомнил о встрече на перевале, когда мы буксировали машину? Или вправду забыл?

Еще тяжелей стало, когда легли спать. Постелили мне тут же, на кошке. Я лежал, отвернувшись к стене, лампа была чуть пригашена. Асель убирала посуду.

— Асель! — тихо позвал ее Байтемир через открытую дверь смежной комнаты.

Асель подошла.

— Ты бы постирала.

Она взяла мою клетчатую рубашку, которая была вся в крови, и принялась стирать. Но тут же прекратила стирку. Слышу, прошла к Байтемиру.

— А воду из радиатора слили? — тихо спросила она. — Вдруг мороз прихватит...

— Слили, Кемель слил! — так же тихо ответил Байтемир. — Машина почти в целости... Утром поможем...

А я и забыл: не до радиатора, не до моторов мне было.

Асель доставала рубашку и, развешивая ее над плитой, тяжело вздохнула. Потушила лампу, ушла.

Стало темно. Я знаю, мы все не спали. Каждый из нас остался наедине со своими мыслями. Байтемир лежал с сыном на одной кровати. Он бормотал что-то ласковое, то и дело прикрывал Самата, когда тот беспокойно ворочался во сне. Асель изредка сдержанно вздыхала. Мне казалось, я видел в темноте ее глаза, влажно поблескивающие. Они, наверно, были залиты слезами. О чем она думала, о ком она думала? Нас было теперь у нее трое... Может быть, и она перебирала в памяти так же, как я, все то прекрасное и горестное, что связывало нас. Но теперь она была недоступна, недоступны были и ее мысли. Асель изменилась за эти годы, глаза ее изменились... Это были уже не те доверчивые, сияющие чистотой и простодушием глаза. Они

стали строже. И все-таки Асель оставалась для меня все той же, тем же топольком степным в красной козынке. В каждой ее черте, в каждом движении я угадывал знакомое, родное. Тем горше, тем обидней и мучительней было у меня на душе. В отчаянии, прикусив зубами угол подушки, я лежал, не сомкнув глаз до утра.

За окном в набегающих тучах плыла, ныряла луна.

Ранним утром, когда Асель и Байтемир вышли во двор по хозяйству, я тоже встал. Надо было уезжать. Осторожно ступая, я подошел к Самату, поцеловал его и быстро вышел из комнаты.

Асель грела во дворе воду в большом котле, уставленном на камнях. Байтемир колот дрова. Мы отправились с ним к машине. Шли молча, курили.

Машина, оказывается, натолкнулась вчера на придорожные надолбы. Две из них лежали, сбитые вместе с бетонным основанием. У машины была разбита фара, погнуто крыло и передок, заклинило колесо. Все это мы кое-как выправили с помощью лома и молотка. А потом началась долгая, мучительная работа. Промерз мотор, занемел. Разогревали картер горячей паклей, в две руки крутили заводную рукоятку. Наши плечи соприкасались, ладони горели на одной рукоятке, мы дышали в лицо друг другу, мы делали одно дело и, может быть, думали об одном и том же.

Мотор поддавался туго. Мы начали задыхаться. Тем временем Асель принесла два ведра горячей воды. Молча поставила передо мной, отошла в сторону. Я вылил воду в радиатор. Крутанули с Байтемиром раз, еще раз, наконец мотор заработал. Я сел в кабину. Мотор работал неровно, с перебоями. Байтемир полез с молотком под капот проверить свечи. В этот момент прибежал Самат, запыхавшийся, в пальтишке нараспанку. Он забегал вокруг машины, прокатиться хотелось ему. Асель поймала сына и, не выпуская, стала у кабины. Она посмотрела на меня с укором, с такой болью и жалостью, что я готов был в ту минуту сделать все, что угодно, лишь бы искупить вину, вернуть их себе. Я пригнулся к ней из раскрытой дверцы:

— Асель! Бери сына, садись! Увезу, как тогда, навсегда! Садись! — взмолился я под шум мотора.

Асель ничего не сказала, тихо отвела в сторону затуманенные слезами глаза, отрицательно покачала головой.

— Поедем, мама! — потянул ее за руку Самат. — Покатаемся!

Она шла, не оглядываясь, низко опустив голову. А Самат порывался назад, не хотел уходить.

— Готово! — крикнул Байтемир, захлопнул капот, подал мне в кабину инструмент.

И я поехал. Снова баранка в руках, снова дорога и горы, — машина уносила меня, какое ей было дело...

Так я нашел Асель с сыном на перевале, так мы встретились и расстались. Всю дорогу к границе и обратно я думал и ничего не мог придумать. Устал от безысходных дум... Теперь уж надо было уезжать, уезжать куда глаза глядят, я не должен был здесь оставаться.

Это я решил твердо, с такими мыслями возвращался назад. Проезжая мимо дорожного участка, увидел Самата, он играл в стороне с мальчиком и девочкой чуть постарше себя в ташкаргон — строили из кампей дворик, загоны для скота. Может быть, я и раньше замечал их у дороги... Выходит, почти каждый день проезжал неподалеку от своего сына, даже не подозревая об этом. Я остановил машину.

— Самат! — крикнул я. Взглянуть захотел на него. Дети понеслись ко мне.

— Дядя, ты приехал покатасть нас? — подбежал Самат.

— Да, чуть-чуть прокачу! — сказал я.

Ребята дружно полезли в кабину.

— Это наш знакомый дядя! — похвалился Самат перед друзьями.

Я провез их совсем немного, но сколько счастья и радости испытал при этом, пожалуй, больше, чем сами дети. А потом высадил их.

— Бегите теперь домой! — Ребята побежали. Я остановил сына:

— Постой, Самат, что-то скажу! — Поднял его на руки, высоко вскинул над головой, долго смотрел сыну в лицо, потом прижал к груди, поцеловал и опустил на землю.

— А где сабля, ты привез, дядя? — вспомнил Самат.

— Ох, я и забыл, сынок, привезу в следующий раз! — пообещал я.

— Теперь не забудешь, да, дядя? Мы будем играть на том же месте.

— Хорошо, беги теперь быстрее!

На автобазе в плотницкой мастерской я выстругал три игрушечные сабли и захватил их с собой.

Дети действительно ждали меня. Я снова прокатил ребят в машине. Так началась дружба с сыном и его товарищами. Они быстро привыкли ко мне. Еще издали бежали к дороге наперегонки:

— Машина, наша машина идет!

Ожил я, человеком стал. Иду в рейс, и на душе светло: какое-то хорошее чувство везу с собой. Знаю, ждет меня сын у дороги. Хоть две минуты посижу рядом с ним в кабине. Теперь все мои заботы и помыслы были о том, как бы вовремя подоспеть к сыну. Я так рассчитывал время, чтобы проезжать перевал днем. Дни стояли теплые, весенние, дети постоянно играли на улице, так что я часто заставлял их у дороги. Мне казалось, что ради этого только живу и работаю, до того я был счастлив. Но иногда сердце замирало от страха. Может быть, там, на дорожном участке, знали, что я катаю детей, может, нет, но сыну могли запретить встречаться со мной, не отпускать его к дороге. Я очень боялся, молил в душе Асель и Байтемира не делать этого, не отбирать у меня хотя бы этих коротеньких встреч. Но однажды так оно и случилось...

Приближалось Первое мая. Я решил сделать сыну подарок к празднику. Купил заводную машину, грузовичок. В тот день я замешкался на автобазе, выехал позднее и очень спешил. Может быть, поэтому у меня было какое-то нехорошее предчувствие, волновался, тревожился без всякого повода. Подъезжая к дорожному участку, я достал сверток, положил рядом с собой, представляя, как обрадуется Самат. Игрушки у него были и получше, но это особый подарок — от знакомого шофера с дороги мальчугану, мечтающему стать шофером. Однако Самата в этот раз на дороге не оказалось. Ребята подбежали без него. Я вышел из кабины.

— А где Самат?

— Дома, заболел он, — ответил мальчик.

— Заболел?

— Нет, он не заболел! — со знающим видом пояснила девочка. — Мама не пускает его сюда!

— Почему?

— Не знаю. Говорит, нельзя.

Я помрачнел: вот и конец всему.

— На, отнеси, — подал я было мальчику сверток,

но тут же раздумал. — Или нет, не надо. — Взял назад, понуро пошел к машине.

— А почему дядя не катает нас? — спросил мальчик у сестры.

— Он болен, — хмуро ответила она.

Да, угадала девочка. Хуже всякой болезни скрутило меня. Всю дорогу раздумывал я, как могло получиться, что Асель до того ожесточилась на меня. Неужели в ней не осталось ни капли хотя бы жалости, какой бы я ни был плохой? Нет, не верилось мне... Не походило это на Асель, тут что-то другое. А что? Откуда мне знать... Я старался уверить себя, что сын и правда приболел немного. Почему я не должен верить мальчику? Я так убедил себя в этом, что стало мерещиться, как мечется сын в жару и бреду... А вдруг надо помочь чем-нибудь, лекарство какое достать или повезти в больницу? Люди-то живут на перевале, а не на проспекте городском! Просто измучился, извелся. Спешил назад, не представлял, что могу сделать, как поступить, знал лишь одно: скорее увидеть сына, скорее... Я верил, что встречу его, сердце мне подсказывало. И, как назло, кончилось горючее в баке, пришлось остановиться у бензоколонки на перевалочной базе...

Мой попутчик Ильяс замолчал. Потирая ладонью разгоряченное лицо, тяжело вздохнул, поднял до отказа окно и снова, в который раз, закурил.

Время было уже далеко за полночь. Кроме нас, в поезде, наверно, все спали. Колеса выстукивали на рельсах свою бесконечную дорожную песню. За окнами бежала светлеющая летняя ночь, мелькали огоньки полустанков. Паровоз зычно гудел на бегу.

— Вот тут вы подошли ко мне, агай, и я отказал вам. Теперь понятно, почему? — задумчиво усмехнулся мой сосед. — Вы остались у бензоколонки, потом обогнали меня на «Победо». Это я заметил... Да, ехал, волновался страшно. Предчувствие не обмануло меня. Самат ждал у дороги. Завидев машину, побежал наперез:

— Дядя! Дядя шофер!..

Здоров мой мальчик! Ох, как я обрадовался, в охапку не вместить было моего счастья!

Я остановился, выскочил из кабины, побежал на встречу сыну.

— Ты что, болел?

— Нет, мама не пускала. Она говорит, чтобы я не катался на твоей машине. А я плакал, — пожаловался Самат.

— Ну а как же ты пришел сейчас?

— А папа сказал, что если хочется человеку катать детей, то пусть катает.

— Вот как?

— А я сказал, что буду шофером...

— Да ты и будешь, еще каким! А знаешь, что я привез тебе? — Я достал игрушечную машину. — Смотори, заводной грузовик, самое что ни на есть подходящее для маленьких шоферов!

Мальчик заулыбался, засиял.

— Я всегда-всегда буду ездить с тобой, да, дядя? — глянул он на меня просительными глазами.

— Конечно, всегда! — заверил я его. — А хочешь, поедем со мной на Первое мая в город, мы машину флажками украсим, а потом я тебя привезу.

Трудно сейчас объяснить, почему я так сказал, какое имел право и, главное, почему я сам вдруг поверил в это. Мало того, я пошел дальше.

— А если понравится, останешься у меня навсегда! — предложил я сыну самым серьезным образом. — Мы будем жить в кабине, я тебя везде буду возить с собой и никуда не отпущу, не расстанусь. Хочешь?

— Хочу! — сразу согласился Самат. — Мы будем жить в машине! Поедем, дядя, поедем сейчас!

Бывает, что и взрослый вроде ребенка становится. Мы сели в кабину. Я неуверенно включил зажигание, нажал на стартер. А Самат рад, тербит меня, ласкается, подпрыгивает на сиденье. Машина пошла. Самат обрадовался еще больше, смеется, говорит мне что-то, показывает на руль, на кнопки приборной доски. А я вместе с ним развеселился. Но опомнился, в жар кинуло. Что я делаю? Притормозил, однако Самат не дал мне остановиться.

— Быстрее, дядя, быстрее поехали! — просил он. Как мне было отказать детским счастливым глазам? Я прибавил газу. Только разогнался, как впереди показался грейдер, подновляющий шоссе. Грейдер развернулся, пошел навстречу, а за ним в конце загона стоял Байтемир. Он перелопачивал грабаркой гудрон на развороте. Я растерялся. Хотел остановиться, но было уже поздно:

далеко увез мальчишку. Я пригнулся пониже и отчаянно газанул. Байтемир ничего не заметил. Он работал, не поднимая головы: мало ли машин проходит в каждую минуту. Но Самат увидел его:

— А вон папа! Дядя, давай возьмем и папу, а? Останови, я позову папу!

Я молчал. Остановиться теперь было невозможно — что я скажу? Самат вдруг оглянулся назад, перепугался, закричал, заплакал:

— Я хочу к папе! Останови, я хочу к папе! Останови, не хочу! Ма-ма!..

Я затормозил, заводя машину за скалу на повороте. Бросился успокаивать сына:

— Не плачь, Самат, ну не надо! Я сейчас отвезу тебя обратно. Только не плачь!

Но перепуганный мальчик ничего не хотел знать.

— Нет, не хочу! Я к папе! Открой! — заколотил он в дверцу. — Открой, я побегу к папе! Открой!

Вот ведь какая оказия приключилась.

— Да ты не плачь, — умолял я. — Сейчас открою, только успокойся. Я сам отведу тебя к папе. Ну, выходи, пойдем!

Самат спрыгнул на землю и с плачем побежал назад. Я задержал его:

— Пстой! Вытри слезы. Не надо плакать. Я прошу тебя, сынок мой родимый, не плачь! А машину свою что же ты, а? Смотри! — Я схватил игрушку, дрожащими руками закрутил завод. — Смотри, как она побежит к тебе, лови! — Машина покатила по дороге, наткнулась на камень, опрокинулась и кувырком полетела в кювет.

— Не хочу! — пуще прежнего залился Самат и побежал от меня без оглядки.

Горячий ком подкатил к горлу. Я пустился догонять сына:

— Пстой, да ты не плачь, Самат! Пстой, я твой... я твой... Ты знаешь!.. — но язык не повернулся сказать.

Самат убежал не оглядываясь, скрылся за поворотом. Я добежал до скалы, остановился, глядя вслед сыну.

Я видел, как Самат подбежал к работающему на дороге Байтемиру и бросился к нему. Байтемир присел, обнял его, прижал к себе. Мальчик тоже обнял его за шею, пугливо поглядывая в мою сторону.

Потом Байтемир взял его за руку, перебрисил грабарку через плечо, и они пошли по дороге — большой и маленький человек.

Я долго стоял, притулившись к скале, затем повернул назад. Остановился возле игрушечной машинки. Она лежала в кювете колесами вверх. Слезы потекли по моему лицу. «Ну вот и все!» — сказал я своей большой машине, поглаживая ее по капоту. Меня обдало тепло мотора. Что-то родное было теперь даже в машине, свидетельнице моего последнего свидания с сыном...

Ильяс поднялся, направился в коридор.

— Подышу свежим воздухом, — сказал он в дверях.

Я остался в купе. Предрасветное небо белеющей полосой качалось за окном. Смутно мелькали телеграфные столбы. Можно было погасить свет.

Я лежал на полке и думал, рассказать ли Ильясу то, что мне было уже известно и чего он не знал? Но он не появлялся. Так я ему ничего и не рассказал.

С дорожным мастером Байтемиром мне довелось познакомиться в то время, когда Ильяс уже знал, что Асель и его сын живут на перевале.

На Памир ждали делегацию дорожных работников Киргизии. В связи с этим таджикская республиканская газета поручила мне написать очерк о киргизских горных дорожниках.

В числе делегатов был Байтемир Кулов, один из лучших дорожных мастеров.

Я приехал на Долон, чтобы познакомиться с Байтемиром.

Встретились мы неожиданно и поначалу очень удачно для меня. Где-то на самом перевале наш автобус остановил рабочий с красным флажком в руке. Оказывается, только что произошел обвал, и теперь ремонтники расчищали дорогу. Я вышел из автобуса, направился к месту обвала. Участок уже был взят в прочные опалубки. Бульдозер сбрасывал землю под откос. Там, где он не мог развернуться, орудовали рабочие с трамбовками и лопатами в руках. Человек в брезентовом плаще и кирзовых сапогах шагал вместе с бульдозером и подавал команду трактористу:

— Возьми левой! Зайди еще разок! Пройдись над опалубкой! Так! Стоп! Назад!..

Дорога была почти восстановлена, проезд расчищен. Шоферы с двух сторон отчаянно сигналили, ругались, требуя открыть путь, а человек в плаще, не обращая внимания, спокойно распоряжался. Он снова и снова заставлял бульдозер прохаживаться по дороге, приминать грунт в опалубке. «Это, наверно, и есть Байтемир. Хозяин своего дела!» — решил я. И не ошибся, это оказался Байтемир Кулов. Наконец путь был открыт, машины разъехались.

— А вы что же, автобус-то ушел? — сказал мне Байтемир.

— А я к вам!

Байтемир не показал своего удивления. Просто и с достоинством пожал мне руку:

— Рад буду гостю.

— У меня к вам дело, Баке, — обратился я, называя его уменьшительным именем. — Вы знаете, что наши дорожники должны поехать в Таджикистан?

— Слышал.

— Так вот, перед вашим отъездом на Памир я хотел поговорить.

По мере того как я объяснял цель своего приезда, Байтемир все больше хмурился, задумчиво поглаживая жесткие бурые усы.

— Что вы приехали, это хорошо, — сказал он, — но на Памир я не поеду и писать обо мне не стоит.

— А почему? Дела? Или дома что?

— Дела какие — дорога. Сами видите. А дома? — Он примолк, доставая папиросы. — Дома... тоже, конечно, дела, как у всех, семья... Однако на Памир я не поеду.

Я принялся убеждать его, разъяснять, как важно, чтобы в составе делегации был такой дорожный мастер, как он, Байтемир слушал больше из вежливости, уговорить его мне так и не удалось.

Я был очень раздосадован, и прежде всего на себя. Изменило мне профессиональное чутье, не так я подошел к этому человеку. Мне предстояло уехать ни с чем, не выполнив задания редакции.

— Что же, Баке, извините, я поеду. Подойдет сейчас какая-нибудь попутная машина...

Байтемир внимательно посмотрел на меня спокойными, умными глазами, улыбнулся в усы:

— Городские киргизы забывают обычай. У меня есть дом, семья, дасторкон* и ночлег. Раз вы приехали ко мне, уедете завтра из дома, а не с дороги. Пойдемте, я отведу вас к жене и сыну. Не обижайтесь, мне еще обход надо сделать засветло. Я быстро вернусь. Работа такая...

— Погодите, Баке, — попросил я. — Пойду-ка и я вместе с вами в обход.

Байтемир лукаво прищурился, оглядывая мой городской костюм:

— Да вроде бы неудобно вам бродить со мной. Концы далекие, пути крутые.

— Ничего!

И мы пошли. Останавливались возле каждого моста, поворота, возле обрывов и нависающих скал. Естественно, мы разговорились. До сего времени для меня загадка, с чего, с какого слова началось, каким образом я завоевал доверие и симпатию Байтемира. Он рассказал мне всю свою историю и историю своей семьи.

РАССКАЗ ДОРОЖНОГО МАСТЕРА

Вы спросили, почему я не желаю ехать на Памир. Я сам памирский киргиз, а очутился здесь, на Тянь-Шане. Чуть ли не мальчишкой попал я на строительство Памирского тракта. Пошел по комсомольскому призыву. Работали мы горячо, с охотой, особе но молодежь. Еще бы, дорога шла на недоступный Памир! Вышел я в ударники, получал премии, награды. Но это так, к слову.

Там, на стройке, встретил я одну девушку. Полюбил ее, крепко полюбил. Была она хороша и умна. Пришла из аила на стройку: в ту пору для киргизской девушки это была не простая задача. И сейчас не так легка девичья дорога, сами знаете — обычаи еще сковывают. Прошло около года. Строительство тракта подходило к концу. Нужны были кадры для эксплуатации дороги. Построить — полдела, это можно одолеть общими силами, а вот потом следить надо за дорогой умеючи. Был у нас один молодой инженер — Хусаинов, он и сейчас по дорожной части, крупный работник. Дружили мы с ним. Хусаинов

* Дасторкон — праздничная скатерть с угощением для гостя.

и надоумил меня поехать на курсы. Думал я, не дождет-ся Гульбара, увезут ее в аил, но нет, дождалась. Мы по-женились и остались там, на дорожном участке. Жили хорошо, дружно. Надо сказать, для дорожников, живу-щих в горах, на перевалах, крепкая семья, жена — осо-бенно много значит. Позднее я испытал это на себе. И если я полюбил на всю жизнь свою работу, то нема-лая заслуга в этом была жены. Родилась у нас девочка, а потом вторая, и тут как раз грянула война.

Памирский тракт стал как река во время ливня. Хлы-нул народ вниз — уходил в армию.

Мне тоже пришел черед. Утром мы все вышли из до-ма к дороге. Маленькую дочурку я нес на руках, стар-шенькая шла рядом, уцепившись за меня. Гульбара моя, бедная Гульбара! Она крепилась, старалась быть спокой-ной, несла мой походный мешок, но я-то знал, каково ей оставаться в безлюдных горах, на дорожном участке с двумя малыми детьми. Я собирался отправить их в аил, к своим родственникам, но Гульбара не захотела. Пере-бьемся, говорит, будем ждать тебя, да и дорогу нельзя оставить без присмотра... Последний раз мы стояли у обочины шоссе, я смотрел на жену, на детей, прощался. Совсем-совсем молодыми были мы тогда с Гульбарой, только начинали жить...

Попал я в саперный батальон. Сколько понаделали мы на военной земле дорог, переправ, мостов. Счету нет! Че-рез Дон, через Вислу и Дунай шли. Стынешь, бывало, в ледяной воде, горишь в дыму и пламени, снаряды рвутся кругом, разносят переправу, люди гибнут, и уж сил нет никаких, убили бы, что ли, поскорей! Но как вспомнишь своих, что ждут в горах, и откуда только силы берутся. Нет, думаешь, не затем я пришел с Памира, чтобы погиб-нуть здесь под мостом. Зубами крутил проволоку на разъ-езжающихся крепях, не сдавался... И не погиб, дошел почти до Берлина.

Жена мне писала часто, благо почта мимо по тракту шла. Писала все подробно, и о дороге тоже — она оста-лась мастером вместо меня. Знал, тяжело ей, дорога-то не где-нибудь, а на Памире.

Только весной сорок пятого перестал я вдруг получать вести. Ну, известно, на фронте все бывает, успокаивал себя. И вот однажды вызывают меня в штаб полка. Так и так, мол, старшина, повоевал, благодарность тебе, на-грады. Возвращайся домой, ты там сейчас нужнее. Я, ко-нечно, обрадовался. Телеграмму даже послал. На радо-

стях и не задумался над тем, почему меня отпустили до- мой раньше срока...

Прибыл я в свои места, в военкомат не стал заез- жать, успеется, никуда не денусь. Домой! Домой скорее! Встретилась попутная полуторка, и двинул я вверх по Памирскому тракту.

Крылья бы мне, привык на фронтовых машинах разъ- езжать, кричу шоферу в кабину:

— Поднажми, браток, не жалея ты свою дребезжал- ку! Домой еду!

И вот уже близко. За поворотом мой участок. Не утер- пел. Спрыгнул на ходу с машины, вещмешок за плечо и бегом. Бегу, бегу, миновал поворот и... не узнаю ничего. Все будто на месте: и горы стоят там же, и дорога та же, только нет жилья. Ни души кругом. Одни только камни лежат навалом. Двор наш был чуть на отшибе, под са- мой горой. Места там тесные. Как глянул я на гору — обомлел. Снежная лавина сорвалась с крутизны. Все снесла на своем пути подчистую, ничего не оставила, точ- но когтистой лапой сорвала землю со склона и далеко вниз по ложбине пропахала огромный овраг. Жена писа- ла в последнем письме, что снегопады были глубокие и вдруг начались дожди. Надо было заранее взорвать ла- вину, спустить ее, да разве это женское дело...

Вот тебе и встретился со своей семьей! Тысячу раз смотрел смерти в глаза, живой вернулся из ада, а их здесь как не было... Стою и двинуться не могу. Хочу за- кричать, заорать так, чтобы горы вздрогнули, — не мо- гу. Закаменело во мне все, будто и не живой я уже. Слы- шу только, вещмешок сползает с плеча и падает у ног. Так я бросил его там, подарки вез дочкам, жене, обме- нял по пути кое-что из барахла на леденцы... Долго сто- ял я, все будто ждал какого-то чуда. Потом повернулся и пошел назад. Остановился раз, глянул: горы раскачи- ваются из стороны в сторону, сдвигаются, наваливаются на меня. Закричал я и пустился бежать. Прочь! Прочь от проклятого места! Вот тогда я и заплакал...

Не помню, как и куда я шел, на третий день очутил- ся на станции. Брожу среди народа как потерянный. Окликнул меня по имени какой-то офицер. Смотрю — Хусаинов, возвращается домой, демобилизовался. Я ему рассказал о своем несчастье.

— Куда же, — говорит, — ты теперь?

А я и сам не знаю!

— Нет, — говорит, — не годится так, перетерпи. Не

позволю тебе слоняться одному. Поедем-ка на Тянь-Шань строить дорогу, а там видно будет...

Так я и попал сюда. Первые годы мосты строил на трассе. Время шло, надо было определяться куда-нибудь на постоянное жилье. Хусаинов в то время работал уже в министерстве. Он часто заезжал ко мне, советовал пойти на прежнюю работу дорожным мастером на участок. Я не решался. Страшно было. На стройке я не один, с народом, все легче. А там кто его знает, пропаду с тоски. Я все не мог прийти в себя, прошлое не забывалось. Будто кончилась на том жизнь и нет ничего впереди. О женитбе и мыслей не было. Слишком любил я свою Гульбару и детишек. Казалось, что никогда и никто не заменит мне их. А жениться так, лишь бы жить, — это не дело. Лучше оставаться одному.

Ну, надумал я все же пойти на участок мастером: попробую, не получится — уеду куда-нибудь. Дали мне участок здесь, на самом перевале. И ничего, постепенно прижился, привык. Может, потому, что участок хлопотливый: перевал. А мне даже лучше. Со временем притихла боль в душе, притупилась. Иногда только снилось: стою окаменевший перед тем местом, где был двор, и чувствую, как сползает вещмешок с плеча... В такие дни с утра уходил на дорогу и не возвращался домой до позднего вечера. Так я и оставался один. Кое-когда, правда, шевельнется грустная мысль: «А может, еще будет мне счастье?»

И пришло оно, трудное, мучительное, когда меньше всего я этого ждал.

Как-то раз, года четыре назад, у соседа мать заболела. Самому ему трудно вырваться из дома: работа, семья, дети, а старушке день от дня все хуже и хуже. Я и решил показать ее врачам. Пришла как раз на участок машина из дорожного управления, привезла что-то. На ней мы и поехали в город. Врачи хотели было устроить старушку в больницу, да куда там. Помирать, говорит, буду дома, не хочу оставаться. Увози меня, а то прокляну. Так и пришлось везти назад. Время было уже позднее. Миновали перевалочную базу. Вдруг шофер остановил машину. Слышу, спрашивает:

— Куда вам?

Женский голос ответил что-то, слышались шаги.

— Садитесь! — сказал шофер. — Что же вы? — И подогнал машину.

К борту подошла молоденькая женщина с ребенком

на руках и с небольшим узелком. Я помог ей забраться в кузов, уступил место у кабины, чтобы ветер поменьше лютовал, сам пристроился в углу.

Мы поехали. Холодина стоял страшный. Ветер дул сырой, промозглый. Ребенок расплакался. Она его укачивала, нянчила, а тот и не думал успокаиваться. Вот беда! В кабину бы ее посадить, да там старуха едва живая. Тогда я притронулся к ее плечу:

— А ну, дайте мне его, может, успокоится, а сами пригнитесь ниже, все ветра меньше.

Я запрягал малыша под полушубок, прижал к себе. Он утих, засопел носиком. Хорошенький такой, месяцев десяти примерно. Я держал его под левым боком. И вдруг ворохнулось мое сердце в груди, сам не знаю почему, забилось, как подбитая птица. Горестно и радостно стало мне. «Эх, неужели никогда не быть мне отцом?» — подумал я. А малыш приткнулся, и дела ему никакого.

— Мальчик? — спросил я.

Она кивнула головой. Вижу, замерзла бедняжка, пальто на ней тонкое. А я и зимой плащ ношу поверх полушубка, нельзя в нашей работе без него. Придерживая малыша, я протянул ей свободный рукав.

— Тяните с меня плащ. Так простыть можно.

— Нет, что вы, не беспокойтесь, — отказалась она.

— Тяните, тяните! — потребовал я. — Укрывайтесь от ветра.

Она укуталась в плащ, я подоткнул полы ей под ноги.

— Согрелись немного?

— Согрелась.

— А что же вы так поздно?

— Так уж пришлось, — тихо ответила она.

Тем временем мы пошли по ущелью. Здесь был рудничный поселок. Все уже спали, в окнах темно. Собаки с лаем бежали за машиной. И тут я спохватился, куда она едет? Я почему-то думал, что на рудник, дальше некуда: перевал, а там наш участок.

— Вы, наверно, приехали? — сказал я ей и постучал в кабину. — Осталось недалеко до перевала, а дальше машина не пойдет.

— А здесь что? — спросила она.

— Рудник. Вам разве не сюда?

— Я... я сюда ехала, — неуверенно сказала она. Но затем быстро встала, подала мне плащ, взяла на руки ребенка. Он сразу начал хныкать. Что-то тут было неладно, беда у нее. Оставить ее одну ночью в холод?

— Вам некуда ехать! — без обиняков сказал я. — Не подумайте плохое. Дайте сюда малыша! — Я почти силой взял его. — Не отказывайтесь. Переночуете у нас на участке, а там дело ваше. Все! Поехали! — крикнул я шоферу.

Машина тронулась. Она сидела молча, уткнув лицо в ладони. Не знаю, может быть, плакала.

— Не бойтесь! — успокоил я. — Я вам ничего худого не сделаю... Я дорожный мастер Байтемир Кулов. Можете верить мне.

Устроил их у себя. Была у нас свободная комнатуха в пристройке во дворе, улегся я там на топчане. Долго не засыпал. Раздумывал. Непокойно мне было. Расспрашивать неудобно, я сам не люблю этого, а все же пришлось кое-что спросить, вдруг человеку помощь нужна. Отвечала она скованно, неохотно. Однако я угадывал то, что она недоговаривала. Когда человек в горе, за каждым словом его — десять невысказанных. Ушла она из дома, от мужа. Гордая, должно быть. Заметно, что страдает, убивается, но не сдается. Ну что ж, каждый волен поступать как хочет. Ей виднее. И все же жалко мне было ее, совсем молодая женщина. На девушку похожа, стройная такая. Ласковая, наверно, душевная. Как мог человек допустить, чтобы она бросила все и ушла? Ну, да это их дело. Посажу завтра на какую-нибудь попутную машину — и до свидания. Устал я в тот день, засыпаю, и кажется мне, что еду в машине, а под полушубком у меня малыш. Пригрелся, прижимается под сердцем.

Поднялся я на рассвете. Пошел в обход, да что-то быстро вернулся. Как там, думаю, мои гости? Осторожно, чтобы не разбудить, затопил печку, поставил самовар. А она, оказывается, уже встала и собиралась уезжать. Благодарит меня. Без чая я их не отпустил, заставил немного подождать. Мой ночной попутчик-малыш оказался забавным мальчуганом. Большой радостью было повозиться с ним... За чаем я спросил:

— Вам куда ехать?

Она подумала и сказала:

— В Рыбачье.

— Родные там?

— Нет. Родители мои в айле, за Тосором.

— О, так это вам с пересадкой придется. Неудобно.

— А я и не еду туда. Нельзя нам в аил, — задумчиво сказала она сыну. — Мы сами виноваты.

Я предположил, что она, наверно, вышла замуж против воли родителей. Так оно потом и оказалось.

Собралась она идти на дорогу, но я уговорил повременить, посидеть пока дома, чтобы не стоять с ребенком на ветру. Машину мог и я остановить.

Я шел к дороге с тяжелой душой. Не знаю отчего, грустно и тоскливо становилось при мысли, что они сейчас уедут, а мне опять оставаться одному.

Сначала попутные машины не попадались. А потом я пропустил одну, не поднял руку. И сам перепугался. Зачем я это делаю? Вот тут и начались мои мучения. Машины шли, а я все откладывал. Сейчас, думаю, следующую машину остановлю, и снова рука не поднималась. В жар бросило меня. Она ждет там, надеется. Противен стал сам себе, а поделать ничего с собой не могу. Шагаю по дороге взад-вперед. Какие-то оправдания, причины нахожу. То кабина холодная — стекла выбиты, то машина не та, то шофер не приглянулся — лихач, а может, подвыпивший. А когда машины шли с занятыми кабинами, радовался, как мальчишка. Только не сейчас, только бы еще немного, еще минут пять побыли бы дома. «А куда ей ехать? — подумал я. — В ашпль нельзя, сама сказала. В Рыбачье — где приткнется она там с ребенком? Погубит его зима. Так пусть лучше остается здесь. Поживет немного, поразмыслит, что к чему. Может, вернется назад к мужу. Или он ее разыщет...»

Эх, наказание, лучше бы я сразу привел ее к дороге и отправил! Часа три я так шагал и топтался на месте. Возненавидел себя. Нет, думаю, приведу ее и при ней остановлю машину. Иначе ничего не получится. Пошел назад к дому. А она уже выходит из дверей, истомилась в ожидании. Мне стало стыдно, глянул на нее, как провинившийся мальчишка.

— Заждались? — пробормотал я. — Машин нет попутных, не то что нет, не подходящие вроде. Вы извините... Не подумайте чего-нибудь... Ради бога, зайдите на минуту в дом. Очень прошу вас!

Она удивленно и грустно посмотрела на меня. Молча вернулась в дом.

— Вы жалеете меня? — спросила она.

— Нет, не потому. Понимаете... Боюсь за вас. Трудно придется. Как жить будете?

— Работать буду. Мне не привыкать.

— Где?

— Где-нибудь устроюсь. Но назад не вернусь и в аил не поеду. Буду работать и жить.

Я замолчал. Что я мог возразить? Она сейчас ни о чем не думала. В ней говорили обида, гордость. Эти чувства гнали ее неизвестно куда. Но ведь легко сказать — буду работать и жить. Не так-то сразу это получится. А неволить человека нельзя.

Мальчик потянулся ко мне. Я взял его на руки. Поцеловал, а сам думаю: «Эх, хорошенький ты мой, придется нам сейчас расстаться. Дорогим ты мне стал, как свой, родной...»

— Ну что ж, пойдемте, — тихо сказал я.

Мы встали. Я понес малыша, но в дверях остановился.

— А работа и у нас найдется, — проговорил я. — Можете жить и работать. Квартирка есть небольшая. Правда, оставайтесь. Не спешите. Уехать всегда успеете. Подумайте...

Она сначала не соглашалась. Но в конце концов я убедил ее.

Так Асель с сынишкой Саматом остались у нас на дорожном участке.

Комнатушка, что пристроена во дворе, была холодной, и я настоял, чтобы Асель с сыном поселились в моем доме, а сам перебрался в пристройку. Меня это вполне устраивало.

С той поры жизнь моя стала иной. Ничего будто не изменилось, я по-прежнему оставался один, но ожил во мне человек, отогрелась душа после долгого одиночества. Конечно, и раньше я был среди людей, но можно жить с ними бок о бок, работать, дружить, делать общее дело, помогать и принимать помощь, и все-таки есть такая сторона жизни, которую ничем не заменишь. Привязался я к малышу. В обход иду, укутаю его потеплей и беру с собой, ношу по дорогам. Все свободное время проводил с ним. Не представлял, как жил раньше. Соседи мои — люди хорошие, добры были и с Асель и с Саматом. Детей кто не любит? А Асель душевная, открытая, быстро прижилась на участке. А я прикипел к малышу еще из-за нее, Асель. Что скрывать, и от себя-то не скрыл, как ни пытался. Полюбил я ее. Полюбил сразу на всю жизнь, всей душой. Все прожитые в одиночестве годы, вся тоска и страдание, все, что было потеряно, все слилось в этой любви. Но сказать об этом я не имел права. Ждала она его. Долго ждала, хотя и не подавала вида.

Часто замечал я, когда работали мы на дороге, как встречала и провожала она ожидающими глазами каждую проходящую машину. А иногда брала сына, шла к дороге и часами просиживала там. А он не появлялся. Не знаю, кто он был и какой из себя, этого я не спрашивал, и она никогда не рассказывала.

Время шло понемногу. Самат подрастал. Ох и шустрый, славный карапуз! Не знаю, научил его кто или сам он, только стал называть меня папой. Как увидит, бросается на шею: «Ата! Ата!» Асель задумчиво улыбалась, глядя на него. А мне и радостно, и больно. Рад бы ему отцом быть, да что поделаешь...

В тот год летом как-то раз ремонтировали мы дорогу. Машины шли проездом. Асель вдруг крикнула одному шоферу:

— Эй, Джантай, остановись!

Машина проскочила с разгона и затормозила. Асель побежала к шоферу. О чем они там поговорили, не знаю, но услышал, как она крикнула:

— Врешь ты! Не верю! Уезжай отсюда. Уезжай сейчас же!

Машина пошла дальше, а Асель кинулась через дорогу и побежала домой. Кажется, плакала она.

Работа валилась из рук. Кто он? Что сказал ей? Всякие сомнения и догадки одолевали. Не утерпел я, пошел домой, а Асель не выходит. Вечером я все же зашел к ней.

— А где Самат? Соскучился я по нему!

— Вон он, здесь, — уныло ответила Асель.

— Ата! — потянулся ко мне Самат. Я поднял его на руки, забавляю, а она сидит печальная и молчит.

— Что случилось, Асель? — спросил я.

Асель тяжело вздохнула.

— Уеду я, Баке, — ответила она. — Не потому, что мне здесь плохо. Я вам благодарна, очень. Но только уеду... Куда глаза глядят, сама не знаю куда...

Я вижу, действительно может уехать. Мне ничего не оставалось, как сказать правду.

— Что ж, Асель, задерживать не имею права. Но и мне не жить здесь. Придется уйти. А я уже один раз покидал пустое место. Да что тут объяснять. Сама знаешь, Асель. Если ты уедешь, для меня это будет то же самое, как тогда на Памире. Подумай, Асель... А если вернется он и сердце позовет назад, то мешать не буду, ты всегда свободна, Асель.

С этими словами я взял Самата на руки и пошел по дороге. Долго ходили мы с ним. Ничего не понимал он, малыш мой.

Асель пока от нас не уезжала. Но о чем она думала, что решила? Высох я за эти дни, почернел лицом.

И вот как-то в полдень вхожу во двор, смотрю, Самат по-настоящему пытается ходить. Асель поддерживает его, боится — упадет. Я остановился.

— Баке, а сын твой уже ходит, смотри! — радостно улынулась она.

Как она сказала? Сын твой! Я бросил лопату, присел на корточки и поманил к себе малыша:

— Тай-тай, тай, верблюжонок мой! Ну, иди ко мне, топай ножками по земле, смелей топай!

Самат раскинул руки.

— Ата! — ковыляет ножками, бежит. Я подхватил его на лету, высоко вскинул над собой и крепко прижал к груди.

— Асель! — сказал я ей. — Давай устроим завтра праздник «разрезания пут» для детворы. Ты приготовь веревочку из белой и черной шерсти.

— Хорошо, Баке! — засмеялась она.

— Да, да, обязательно из белой и черной шерсти...

Я сел на лошадь, поскакал к друзьям-скотоводам, кумыс привез, свежего мяса, и на другой день мы пригласили соседей на наш маленький праздник «разрезания пут».

Я поставил Самата на землю, спутал ему ноги черно-белой веревочкой, как бы стреножил. А рядом с ним положил ножницы и командовал детям, что стояли на другом конце двора:

— Кто первый прибежит и разрежет путы, тому первый подарок, а остальным — по очереди. Пошли, ребята! — махнул я рукой.

Дети с гиканьем пустились бежать, как на скачках.

Когда путы были разрезаны, я сказал Самату:

— Ну, сын мой, беги теперь! Берите его, ребята, с собой!

Дети взяли Самата за руки, и я проговорил вслед, ни к кому не обращаясь:

— Люди! Мой жеребенок побежал по земле! Пусть он будет быстроногим скакуном!

Самат бежал за детьми, потом обернулся: «Ата!» — и упал. Мы с Асель разом бросились к нему. Когда я поднял с земли малыша, Асель первый раз сказала мне:

— Родной ты мой!

...Вот так мы стали мужем и женой.

Зимой вместе с сынишкой съездили к старикам в аил. Долго они были в обиде. Пришлось нам с Асель за все ответ держать. Я им всю правду рассказал, все, как было. И они простили Асель, ради внука простили, ради нашего будущего.

Время шло незаметно. Самату сейчас пятый год. Во всем у нас с Асель согласие, и только одного мы никогда не затрагиваем, только об одном не упоминаем. Между нами как бы молчаливый договор: тот человек для нас не существует...

Но в жизни не всегда бывает так, как ты хочешь! Он объявился здесь совсем недавно...

Случилась авария на дороге. В ночное время. Мы с соседом, помощником моим, побежали узнать, что произошло. Прибегаем. Грузовая машина врезалась в столбы. Шофер весь побит, почти без сознания и пьяный. Узнал я его, только имя не мог вспомнить. Вызволил он нас однажды из беды, потянул на буксире машину на перевал. А это не шуточное дело — по Долону. Раньше такого здесь не бывало. А он оказался напористым, отчаянным парнем, притащил нас на усадьбу. Очень понравился он мне тогда, по душе пришелся. Вскоре после этого кто-то добрался до перевала с прицепом. Совсем немного оставалось ему, да видно, что-то помешало. Завалил шофер прицеп в кювет, бросил и уехал. Я подумал еще тогда, не он ли, эта отчаянная голова. Пожалел, что не удалось смельчаку добиться своего. Но после машины стали с прицепами ходить через перевал. Приспособились ребята, и правильно сделали.

Честно скажу, в первый момент я не знал, что это был он, человек, от которого ушла Асель. Но если бы знал, сделал бы то же самое. Притащил я его домой, и сразу все стало ясно. В этот момент Асель внесла дрова. Как увидела его, так и посыпались поленья на пол. Однако никто из нас и виду не подал. Будто встретились впервые. Тем более я должен был держать себя в руках, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или намеком не причинить им боли, не помешать заново понять друг друга. Я тут ничего не решал. Они решали: между ними было их прошлое, между ними был их сын, с которым я лежал на кровати, прижимал к себе и ласкал.

В эту ночь никто из нас не спал, каждый думал о своем. И я о своем.

Асель может уйти с сыном. Это их право. Пусть они поступят так, как велит им сердце и разум. А я... Да что говорить, не обо мне речь, не от меня зависит, я не должен мешать...

Он и сейчас здесь, ездит по нашей трассе. Где он был все эти годы, чем занимался? Но это неважно... Это их дело...

Мы возвращались с Байтемиром с обхода. Вечерело. Дымчатый весенний закат разливался в поднебесье над ледяными вершинами Тянь-Шаня. С ревом пронеслись машины по дороге.

— Вот как оно получается, — задумчиво проговорил Байтемир после некоторого молчания. — Не должен я сейчас уезжать из дома. Если Асель надумает уходить, пусть совесть ее будет чиста, пусть скажет мне об этом и получит последнее напутствие сыну. Ведь он мне роднее родного. А отнять его у них не могу... Потому и не еду никуда. Тем более на Памир. Не для газеты, конечно, я рассказываю. Просто как человек человеку...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

С Ильясом мы расстались в Оше. Он поехал на Памир, а я по своим делам.

— Приеду, разыщу Алибека. Начну новую жизнь! — мечтал Ильяс. — Не думайте, я не пропащий человек. Пройдет время, женюсь, будет у меня дом, семья, дети — словом, все как у людей. И друзья и товарищи найдутся. И лишь одного у меня не будет, того, что потеряно безвозвратно, навсегда... До последних дней своих, до последнего вздоха буду помнить Асель и все прекрасное, что было между нами.

Ильяс задумался, опустив голову. Помолчав, добавил:

— В день отъезда я пошел к озеру, на то самое обрывистое взгорье. Я прощался с Тянь-Шаньскими горами, с Иссык-Кулем. Прощай, Иссык-Куль, песня моя недопетая! Унес бы я тебя с собой, с синевой твоей и берегами желтыми, да не дано, так же как я не могу унести с собой любовь любимого человека. Прощай, Асель! Прощай, тополек мой в красной косынке! Прощай, любимая! Будь счастлива!..

ВЕРБЛЮЖИЙ ГЛАЗ

Я успел зачерпнуть из родника лишь полведра воды, как над степью пронесся истошный крик:

— Э-эй! Академик, морду набью-у-у!

Я замер. Прислушался. Вообще-то меня зовут Кемелем, но здесь прозвали «академиком». Так и есть: трактор на той стороне зловеще молчит. Тот, кто обещает набить мне морду, — это Абакир. Опять наорет на меня, изругает, а то и замахнется кулаком. Тракторов два, а я — один. И должен доставлять для них на этой одноконной бричке и воду, и горючее, и смазку, и всякую всячину. Тракторы с каждым днем уходят все дальше и дальше от единственного на всю округу родника. Все дальше и дальше уходят они от нашего единственного на всем белом свете полевого стана, где хранится в цистерне горючее. Пробовали было перенести его, да куда там — он тоже привязан к воде. А такой вот Абакир знать ничего не хочет: «Морду набью за простой, да и только! Не затем я здесь ишачу, чтобы время терять из-за какого-то студентика-слюнтяя!»

А я и не студентик вовсе. Даже не пытался попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархай. Когда нас отправляли, на собрании говорили, что мы, а значит, и я в том числе, «славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев». Вот кто я был вначале. А теперь? Стыдно признаться: «академик». Так прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли, размечтаюсь вслух, словно мальчишка, а люди потом смеются надо мной. Но если бы кто знал, что не столько я сам виноват в этом,

сколько паш учитель истории Алдияров. Краевед! Понаслушался я нашего краеведа, и теперь вот расплачиваюсь.

Так и не наполнив бочку доверху, я выехал из ложбинки на дорогу. Собственно, и дороги-то тут никогда не было. Это я накатал ее своей бричкой.

Трактор стоит в конце огромного черного поля. А наверху — на кабише — Абакир. Потрясая в воздухе кулаками, он все еще поносит меня, ругается на чем свет стоит.

Я подстегнул лошадь. Вода в бочке выплескивается мне на спину, но я гоню вовсю.

Я сам напросился сюда. Никто меня не заставлял. Другие ехали в Казахстан, на настоящую целину, о которой в газетах пишут. А на Анархай я один подался. Здесь только первую весну работают, да и то всего два трактора. В прошлом году агроном Сорокин — он тут главный над всеми нами — испытывал на небольшом поле богарный ячмень. Говорят, неплохо уродился. Если и дальше так пойдет, то проблему кормов в Анархайской степи, может, удастся разрешить.

Но пока приходится действовать с оглядкой. Очень уж засушлив и зноен Анархай летом: даже каменные колючки — таш-тикен — и то, случается, сохнут на корню. Те колхозы, что пригоняют сюда с осени скот на зимовку, не решаются пока сеять, выжидают: поглядим, мол, что у других получится... Потому нас всего-то здесь по пальцам перечесать: два тракториста, два прицеппика, повариха, я — водовоз — и агроном Сорокин. Вот и вся армия покорителей целины. Вряд ли кто знает о нас, да и мы не ведаем, что творится на свете. Иногда только Сорокин привезет какую-нибудь новость. Он ездит верхом в соседнее урочище к чабанам, ругается оттуда по рации с начальством да сводки сообщает для отчетности.

Да-а, а я-то думал — целина, масштабы! Впрочем, это же все наш историк Алдияров. Это он расписывал нам, школьникам, Анархай: «Веками нетронутая, роскошная полынная степь, простирающаяся от Курдайского нагорья вплоть до камышовых зарослей Балхаша! По преданиям, в былые времена, заблудившись в холмах Анархая, бесследно исчезали целые табуны, а потом долго бродили там косяки одичавших лошадей. Анархай — безмолвный свидетель минувших эпох, арена гран-

диозных битв, колыбель кочевых племен. А в наши дни Анархайскому плато суждено стать богатейшим краем отгонного животноводства...» Ну и так далее, в том же духе...

Хорошо было тогда разглядывать Анархай на карте, там он с ладонь. А теперь? С рассвета гоняю туда-сюда эту дурацкую водовозку. Вечером с трудом выпрягаю лошадь и задаю ей прессованного сена, завезенного сюда на машине. Потом ем без всякого аппетита то, что дает мне наша Альдей, заваливаюсь в юрте спать и сплю мертвецким сном.

Но что Анархай роскошная полынная степь — это и в самом деле так. Можно было бы часами бродить тут и любоваться ее красотой, да времени нет.

Все бы ничего, да вот одного не пойму: чем я не пришелся Абакиру, за что он так ненавидит меня? Если бы я знал, что меня здесь ждет... Я готов был ко всяким, так сказать, стихийным трудностям. Не в гости же я сюда ехал. Но о людях, с которыми мне предстояло жить и работать, я почему-то вовсе не думал. Везде люди как люди...

Ехал я сюда двое суток на машине. Вместе со мной везли в кузове эту вот водовозку о четырех колесах, и я даже не подозревал тогда, что именно из-за нее хлебну здесь столько горя.

Ведь я ехал сюда прицепщиком. Думал, поработаю весну возле трактора, подучусь и сам стану трактористом. Так мне в районе говорили. С этой мечтой я и отправился на Анархай. А когда прибыл на место, оказалось, что прицепщики уже есть, а я, мол, прислан водовозом. Надо было, конечно, сразу же отказаться и вернуться домой. Тем более что я никогда не имел дела с хомутами и оглоблями. Да и вообще-то нигде еще не работал, только вот на субботах помогал матери на сахарном заводе. Отец у меня погиб на фронте. Я его не помню. Вот я и решил начать самостоятельную жизнь... А все-таки надо было сразу вернуться. Постыдился. Сколько шума было тогда на собрании! И мать не отпускала, она мечтала увидеть меня врачом. Но я настоял, уговорил — помогать, мол, буду. Сам рвался, не терпелось поскорее уехать. Как бы я в глаза людям смотрел, если бы сразу вернулся. Пришлось сесть на водовозку. Однако беды мои начались не с нее.

Еще по пути сюда, стоя в кузове, я глядел во все глаза: вот он, древний легендарный Анархай! Машина мча-

лась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Земля еще дышала талым снегом. Но в волгом воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким, размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали.

И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной, с диким гиканьем и ревом неслась кочевника с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я тоже был где-то в этой кипучей схватке... Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда...

Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом. Так мне показалось издали. А поезд становится все меньше и меньше, он превратился в темную черточку, а потом и вовсе исчез из глаз.

Мы пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше...

В первый же день по прибытии я выдал себя с головой. Я еще не избавился от тех видений, которые почудились мне в дороге. Неподалеку от полевого стана стояла на пригорке древняя каменная баба. Серая, грубо отесанная гранитная глыба столетия простояла здесь, словно в дозоре, глубоко осев в землю и вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд. Правый глаз ее, чуть скошенный, выщербленный дождями и ветром, казался вытекшим, пустым и отпугивал злым прищуром под тяжелым подобием века. Я долго разглядывал бабу, а потом, подойдя к юрте, спросил у Сорокина:

— Как вы думаете, товарищ агроном, кто мог поставить здесь эту фигуру?

Сорокин собрался куда-то ехать.

— Должно быть, калмыки, — сказал он, садясь в седло, и уехал.

Что бы мне тогда на этом успокоиться! Нет! Меня словно кто за язык тянул, и я обратился к трактористам и прицепщикам, с которыми еще не успел как следует познакомиться:

— Нет, это не совсем точно. Калмыки были здесь в семнадцатом веке. А это надгробный памятник двенадцатого века. Бабу, очевидно, поставили монголы в пору великого нашествия на запад. Вместе с ними и мы, киргизы, пришли с Енисея сюда, в тьянь-шаньские края. До нас здесь обитали племена кипчаков, а до них — рыжеволосые светлоглазые люди.

Я залез бы еще дальше в глубь истории, но меня перебил человек в комбinezоне, стоявший у трактора. Это был Абакир.

— Эй ты, малый! — Он метнул на меня исподлобья раздраженный взгляд. — Больно ты ученый. Пойди-ка принеси из юрты шприц с тавотом.

Оказывается, я принес ему шприц с солидолом.

— Эх ты, академик! — презрительно процедил он, косясь на меня своими колючими, в красных прожилках, глазами. — Лекции читаешь нам, неучам, а кобылу от верблюда не умеешь отличить.

Отсюда и пошло — «академик».

Вот и сейчас я уже приближаюсь со своей водовозкой, а он не унимается. Бежит ко мне, увязая в пашне.

— Ты что ползешь, словно вошь прибитая! Сколько прикажешь тебя ждать? Придушу, щенок, все меньше одним сопливым академиком будет.

Я молча подъезжаю к трактору. Да и что я могу сказать в свою оправдание? Ведь трактор простаивает по моей вине, это факт. Хорошо еще, прицепщица Калипа вступает за меня:

— Ну успокойся, успокойся, Абакир! Криками тут не поможешь. Смотри, на нем и так лица нет. Совсем измучился, бедняга. — Она берет из моих дрожащих рук ведро и заливает водой радиатор. — Он без того старается. Видишь, мокрый весь, хоть выжимай...

— А мне-то что! — огрызается Абакир. — Сидел бы дома да книжки свои читал.

— Ну перестань, — уговаривает его Калипа. — Сколько в тебе зла. Нехорошо так, Абакир.

— Все прощать да спускать этаким вот — задарма по-мрешь. План-то с меня спрашивают, а не с тебя. Разве кому есть дело, что меня гробит этот ученый олух!

Далась же ему моя ученость. Зачем я только учился и откуда взялся на мою голову историк Алдияров?

Я стараюсь побыстрее уехать отсюда. Меня ведь ждут еще в другом конце поля. Там тракторист Садабек, человек пожилой, серьезный, он хоть и сердится, но не кричит.

Мотор за моей спиной затарахтел. Трактор Абакира тронулся с места и пошел. Я облегченно вздохнул и поежился под намокшей фуфайкой. И отчего это Абакир уродился таким вредным, таким злющим? Ведь не старый еще, едва за тридцать. Лицо, правда, немного тяжелое, с буграми на скулах, и руки цепкие, клешневатые, но собой видный. А глаза плохие, недобрые. Чуть что, наливаются кровью, тогда держись, тогда ему все ни почем.

Было у нас недавно одно дело. Дождь занялся с вечера, всю ночь моросил, нашептывал что-то унылое, монотонное, стекая по набрякшей кошме. И к утру не перестал. Мы томились в юрте от вынужденного безделья. Агроном Сорокин уехал — у него и в дождь дел по горло. Ведь он отвечал и за животноводство, поэтому и не было человеку ни минуты покоя, день-деньской в седле.

Когда дождь приутих немного, прицепщик Эсиркеп, младший брат Садабека, оседлал мою лошадь и тоже уехал куда-то к чабанам. Альдей и Калипа взяли ведра и пошли за водой к роднику. Остались в юрте мы трое — Абакир, Садабек и я.

Мы хмуро молчали, занятые каждый своим делом. Абакир полулежал, вытянув ноги, и курил. Садабек сидел у очага на потнике, орудуя шилом и дратвой над прохудившимся сапогом. Я приткнулся в уголке и читал.

Сыро, тоскливо было в юрте. Намокшая кошма отдавала квелым овечьим духом. Изредка сверху падали крупные, желтые, как чай, капли. А снаружи дождь все бормотал что-то, шепелявил в лужах.

Абакир скучаяще зевнул, с хрустом потянулся, зажмурился и, не глядя, швырнул окурок, который упал на краешек кошмы. И сразу же задымила паленая шерсть. Садабек поднял журак и бросил его в золу.

— Ты бы поосторожней, — проговорил он, протаски-

вая сквозь кожу дратву. — Трудно, что ли, с места подняться?

— А что стряслось? — вызываяще вскинул голову Абакир.

— Кошма загорелась.

— Подумаешь, богатство какое! — Абакир пренебрежительно усмехнулся. — Латаешь свой дырявый сапог, ну и латай, тебе другого и не надо!

— Дело не в богатстве. Ты тут не один и не у себя дома.

— Знаю, что не у себя дома! У себя я бы и разговаривать с тобой не стал. Понял, рожа ты в кожаных штанах? Да, видно, бог наказал, сижу в этом каторжном Анархае, где место таким вот дуракам, как ты и твоя жена!

Садабек с силой дернул дратву. Шило выскочило у него из руки и отлетело за спину. Он долго смотрел на Абакира ненавидящим взглядом, потом грозно подался вперед, зажимая в одной руке сапог, а в другой натянутую, как струна, дратву.

— Хорошо, пусть я дурак и жена моя дура, что приехала со мной и кормит нас всех тут! — проговорил он, тяжело дыша. — А все другие анархайцы, по-твоему, каторжники? Ты их, что ли, пригнал сюда? А ну, отвечай, сволочь! — вскрикнул Садабек и вскочил с места, перехватывая голенище кованого сапога правой рукой.

Абакир метнулся к гаечному ключу, что лежал в стороне, и вобрал голову в плечи, готовясь к удару.

Я испугался. Это было очень страшно. Они могли убить друг друга.

— Не надо, Абакир! — метнулся я к ним. — Не бей его! Не надо, Садабек, не связывайтесь! — взмолился я, путаясь у них под ногами.

Садабек отшвырнул меня в сторону, и они закружились по юрте, как барсы перед схваткой, впериw друг в друга глаза. Потом разом прыгнули, и гаечный ключ просвистел в воздухе у самой головы Садабека. Но тот в последний момент увернулся и обеими руками перехватил ключ. Однако Абакир был силен. Он подмял противника под себя, и они покатались по полу, хрипя и ругаясь. Я подскочил к ним, бросился всем телом на ключ, который Абакир выронил, и наконец, схватил его, выбежал из юрты.

— Альдей! Калипа! — закричал я женщинам, возвращавшимся с водой. — Живее, живее! Дерутся они, убьют...

Женщины поставили ведра и бросились ко мне. Когда мы вбежали в юрту, Садабек и Абакир все еще катались по земле. Мы растащили их, изодранных и окровавленных. Альдей потянула было мужа к выходу. Но Абакир рванулся из объятий Калипы.

— Ну погоди, колченогая собака! Ты еще будешь молить о пощаде, дрянь поганая, ты еще узнаешь, кто такой Абакир!

Приземистая, сухонькая Альдей подошла к нему и сказала прямо в упор:

— А ну, тронь попробуй! Глаза выдеру! Сам себя не узнаешь!

Садабек спокойно взял жену за руку:

— Не надо, Альдей. Он того не стоит...

Я тем временем вышел, разыскал брошенный мной в суматохе гаечный ключ, отошел подальше от юрты и зарыл его в землю возле каменной бабы. А сам сел и вдруг расплакался. Глухие, удушающие рыдания сотрясали мое тело. Никто не видел меня, и сам я не понимал, что творится со мной. Только каменная баба, будто подслушивая мое горе, зло косилась на меня пустой черной глазницей. Вокруг простиралась мокрая туманная степь, тихая и утомленная. Ничто ни единым звуком не нарушало ее извечного, глубокого покоя, и только я все еще всхлипывал, утирая глаза. Долго я сидел здесь, очень долго, пока не стемнело...

Вот так я и живу в этой самой роскошной полынной степи... Стараюсь изо всех сил, но все равно ничего у меня пока не получается. Сейчас вот опять влетело от Абакира. Как быть дальше, ума не приложу. Однако и падать духом нельзя. Надо стоять там, где стоишь. Пока не упадешь.

— А ну, Серко, шевелись! Поживей! Нам с тобой нельзя унывать, работа не ждет...

2

Назавтра я поднялся с рассветом, раньше обычного. Еще вчера, лежа в юрте, я решил про себя: в лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы никто не посмел меня не то что обругать, но и упрекнуть. В конце концов, надо доказать, что я ничем не хуже других.

Первым делом я развез горючее и сам заправил баки. Потом покатил со своей бочкой к роднику, чтобы до начала работы залить радиаторы водой. Затем надо было

успеть позавтракать и снова, не теряя ни минуты, возить воду. Пока что дело шло так, как я рассчитывал.

Тем временем за белесой дымкой горизонта шевельнулось солнце. Оно долго не всходило, медлило, точно боялось окинуть взглядом всю ширь и даль анархайской земли. А потом приподнялось и выглянуло одним краешком. Что может быть красивее степи на утренней заре! Будто разлилось огромное лазоревое море, да так и застыло голубыми волнами, кое-где отливающими темной прозеленью и желтизной.

О Анархай, о великая степь! Что же ты молчишь, о чем думаешь? Что таишь ты в себе от века и что ждет тебя впереди?

Не беда, что я всего-навсего водовоз. Я еще буду властвовать и над этой землей, и над машинами. Ведь наши два трактора и то, что мы делаем тут, — это всего лишь начало начал. Я где-то вычитал, будто изыскатели обнаружили под Анархаем большие подземные реки. Возможно, это пока лишь догадка. Но как бы там ни было, я верю, что люди напоят эту землю и на Анархае заколышутся зеленые сады, побежит вода в прохладных арыках, и здешние ветры будут мерить золотые хлебные поля. Вырастут здесь города и села, и наши потомки назовут эту степь благословенной страной Анархай. И через много-много лет, когда придет сюда такой же парень, как я, ему наверняка не придется день-деньской мотаться по степи с водовозкой и выслушивать брань какого-нибудь самодура.

И все-таки я не завидую ему, потому что я первый пришел сюда!..

Я остановил водовозку, оглядывая утренние просторы.

В эту минуту я был самым счастливым, самым сильным и даже самым красивым человеком на земле. Да будет благословенна страна Анархай!..

Солнце наконец выкатилось из-за горизонта, огромное, сияющее.

День начинался неплохо. По крайней мере, моторы не глохли — я поспеивал подвозить воду. Но до вечера было еще далеко...

В одну из своих поездок я обнаружил у родника небольшую отару овец с ягнятами. Их пригнала сюда какая-то девушка. Она поила их из ручья, не подпуская к источнику. Откуда она взялась? Наверно, пришла из урочища, что лежало в стороне от нас, там за двуглавым хол-

мом. В тех краях располагались чабаны. Лицо девушки показалось мне чем-то знакомым. В каком-то журнале я видел однажды фотографию молоденькой вьетнамки с такой же вот, как у этой девушки, челочкой на лбу. Поэтому, наверно, мне и почудилось, будто я ее где-то видел.

Мы молча посмотрели друг на друга. Мое появление здесь было для нее такой же неожиданностью, как и ее присутствие для меня. Но я как ни в чем не бывало прыгнул с повозки и деловито принялся черпать воду из родника, пополняя свою бочку.

Овцы напились тем временем, и девушка стала отгонять их в сторону. Проходя возле меня, она спросила:

— А как называется этот родник?

Я призадумался, глядя на округлый водоем, где тускло поблескивала замутненная мной вода. Действительно, должен же как-то называться наш единственный родник. Пока я думал, вода отстоялась, посветлела на поверхности и потемнела в глубине.

— Верблюжий глаз! — сказал я, повернувшись к девушке.

— Родник Верблюжий глаз? — Она тряхнула челочкой и улыбнулась. — Красиво! А он и правда похож на верблюжий глаз, такой задумчивый...

Мы разговорились. Девушка оказалась из наших мест. Она знала даже моего учителя Алдиярова. Ох, до чего же это здорово — услышать имя любимого учителя здесь, в степи, от незнакомой девушки, которая, подумалось мне, тоже не без его влияния попала сюда, на Анархай. Она еще в прошлом году окончила школу, не нашу, а другую, и теперь работала сакманщицей — помощницей чабана.

— У нас в кошаре колодезная вода соленая, — говорила девушка. — А я слышала, что где-то здесь есть родник. Мне и самой захотелось посмотреть на живую воду и ягнят напоить, пусть и они знают, какая она, настоящая вода. Вот выращу их, сдам в отару, а к осени поеду учиться в университет...

— Я тоже со временем думаю учиться, — сказал я. — Только я по механизации пойду. Меня ведь послали сюда работать у трактора, а это так... — показал я на бочку, — временно помогаю... Должны прислать другого водовоза...

Ну это уж я зря, конечно, ляпнул, просто сам не заметил, как сорвалось с языка. От стыда мне стало невыносимо жарко, но тут же я похолодел.

— Э-эй, акаде-емик, морду набью-у-у! — донесся издали ненавистный голос Абакира.

— Ох, и заболтался же я!

— Что это там? — не разобрав, спросила девушка.

— Да так, — пробормотал я, краснея. — Воду надо везти.

Девушка погнала овец своей дорогой. А он, Абакир, стоя на кабине трактора в дальнем конце загона, орал во всю глотку, размахивая кулаками.

— Да еду я, еду! Уймись ты! Нельзя же кричать при посторонних! — прошептал я в отчаянии и погнал лошадь вскачь.

Вода в бочке бултыхалась, выплескивалась, то и дело окатывая меня с головы до ног. Ну и пусть! Пусть там не останется ни капли! Не могу я больше терпеть такие издевательства!

Абакир спрыгнул с кабины и, как в тот раз, снова кинулся ко мне. Я осадил лошадь.

— Если ты будешь так кричать, я брошу работу и уйду!

Он растерялся от неожиданности, а потом присвистнул и обложил меня матом.

— Без тебя, сопливого академика, был Анархай и теперь не провалится, чтоб ему сгореть! Валяй, катись отсюда восвояси! Тоже еще огрызаться вздумал, голоштаный студент!

Я спрыгнул с повозки, закинул кнут за трактор и зашагал прочь.

— Стой, Кемель! Нельзя так! Куда ты, остановись! — закричала мне вслед Калипа.

Но это только подстегнуло меня, и я зашагал еще быстрее.

— Не задерживай, пусть проваливает! — донесся до меня голос Абакира. — Обойдемся!

— Изверг ты, зверь, а не человек, что ты наделал! — стыдила его Калипа.

Я еще долго слышал, как они там кричали и ругались.

Не замедляя шага, я уходил все дальше и дальше. Мне было все равно, куда идти. Никого, ни единой души не было вокруг, и пути передо мной были открыты во все стороны. Я миновал родник, полевой стан, прошел под пригорком, там, где стояла каменная баба. Зло ухмыляясь, старуха проводила меня пустым черным взглядом и осталась стоять, тяжело вросшая в землю, как стояла многие века.

Я шел, ни о чем не думая. У меня было только одно

желание: уйти, уйти отсюда как можно быстрее, и пусть этот проклятый Анархай любитесь моим затылком.

Пусто, бесстрастно стлалась передо мной степь. Все: пригорки, увалы, лощины — все вокруг до тошноты походило одно на другое. Кто сотворил это мертвое, унылое однообразие? Почему я, оскорбленный и униженный, должен мерить эти бесконечные седые просторы горькой полыни? Куда ни глянь — всюду бездыханная пустыня. Что, спрашивается, надо здесь человеку? Разве мало ему места на земле? Мои утренние мечты показались мне до смешного нелепыми.

«Вот тебе и роскошная полынная степь, вот тебе и страна Анархай!» — высмеивал я сам себя, ощущая всем существом своим собственное бессилие, бесприютность и подавленность.

Надо мной было высокое-высокое небо, вокруг расстилалась огромная-огромная земля, и сам я показался себе маленьким-маленьким, одиноким, забредшим сюда невесть откуда человечком в стеганой фуфайке, кирзовых сапогах и поношенной выцветшей кепчонке.

Так я и шел. Ни тропы, ни дороги. Я просто шел. «Выйду где-нибудь к железнодорожной насыпи, — думал я, — пойду по шпалам, а там на каком-нибудь разъезде подцеплюсь к товарняку. Уеду к людям...»

Когда у меня за спиной раздался топот коня и фырканы лошади, я даже не оглянулся. Это Сорокин. Кроме него, никому. Сейчас начнет корить, будет упрашивать, но — к чертям! — не вернусь, даже и не подумаю.

— Остановись! — негромко окликнул меня Сорокин.

Я остановился. Сорокин подъехал на вспотевшей лошади. Молча посмотрел на меня синими пристальными глазами из-под выцветших бровей, полез в полевую сумку и достал красный листок — мою комсомольскую путевку, которую я с такой гордостью вручил ему в день приезда.

— На, это нельзя оставлять, — спокойно протянул он мне путевку.

Во взгляде его я не прочел ни упрека, ни презрения. Он не осуждал и не жалел меня. Это был серьезный взгляд человека, обремененного делами, давно привыкшего ко всяким неожиданностям. Сорокин отер ладонью утомленное, заросшее рыжеватой щетиной лицо.

— Если на разъезд — держи правее, вон по-над той ложбиной, — показал он мне и, повернув коня, медленно поехал назад.

Я ошеломленно смотрел ему вслед. Почему он не обру-

гал меня, почему не стал уговаривать? Почему он так устало сидит на своей понурой лошади? Семья — жена и дети — где-то далеко, а он здесь один годами кружит по степи. Что он за человек, что держит его в пустынном Анархэе?

Сам не понимаю почему, но я медленно побрел за ним.

Вечером мы все собрались в юрте. Все молчали. Было тихо, только сухо потрескивал костер. Всему виной был я. Разговор еще не начинался, но, судя по хмурому, напряженному лицу Сорокина, он собирался что-то сказать.

— Ну, так как же быть? — промолвил наконец Сорокин, ни к кому не обращаясь.

— А что, на Анархэй потоп надвигается, что ли? — ехидно отозвался Абакир.

При этих словах Садабек молча встал и вышел из юрты. После той драки он не разговаривал с Абакиром и сейчас, видно, не намерен был вмешиваться в разговор. Его брат, прицепщик Эсиркеп, тоже поднялся было с места, но раздумал и остался.

Абакир и с ним был не в ладах. Как-то, уступив моей просьбе, Эсиркеп оставил меня на день на своем плуге у трактора Садабека, а сам пересел на водовозку. Ну, известно, опоздал немного с водой, и Абакир обрушился на него. Но Эсиркеп в обиду себя не дал, он тоже драться умел. А ведь он старше меня всего года на три.

Абакиру никто не ответил.

— А что тут думать? — добавил он. — Кто сорвал работу, тот пусть и отвечает.

— Не о том речь, кто виноват, кто не виноват! — ответил Сорокин, не глядя на меня. — Здесь судьба молодого человека решается, как ему быть теперь.

— Ну, уж и судьба! — усмехнулся Абакир. — Судьба таких академиков давно решена: пропащий, ни на что не годный народ! — Он небрежно махнул рукой. — Ну сам посуди, Сорокин, куда они годятся? Пока мы своим горбом хлеб добывали, они учились по десять лет, а то и больше. Мы кормили их, обували, одевали, а что получилось, чему их там выучили? Машины не знает, хомут на коня надеть не умеет, супонь и то толком не стянет... Почему это я должен отдуваться за него? На кой хрен мне его ученость! Подумаешь, знаток каменных идолов! А с делом не справляется. Раз так — значит, айда, катись, не срывай работу другим! И ты на меня, Сорокин, не напирай, я вкальваю без сменщика и никому спуску не дам. А неугоден —

завтра ноги моей здесь не будет. Но то, что говорил, всегда говорить буду; я бы всех этих академиков...

— Довольно! — резко прервал Абакира Сорокин, все так же не глядя на него. — Это мы и без тебя знаем. Не о том речь. А ну, скажи, Кемель, что ты-то сам думаешь?

Я не сразу ответил. Слушая Абакира, я поймал себя на мысли, что какая-то доля истины была в его словах. Но как все это говорилось, как зло, как враждебно! За что? Разве я безрукий или уж такой тушица, что никогда не постигну того, что доступно Абакиру? Или же моя грамотность мне помешает? Я этого решительно не понимал. Однако я постарался ответить Сорокину как можно спокойнее:

— Я приехал сюда работать прицепщиком. Это для меня важно. А с хомутами и супонями я уже справляюсь. Это знают все, и Абакир тоже знает. Можно было бы и дальше так работать. Но я водовозом не буду. Принципиально не буду.

— Другой работы у нас нет, — сказал Сорокин.

— Значит, мне надо уходить, — заключил я.

Калипа подняла на меня глаза и печально вздохнула.

— Я бы, Кемель, уступила тебе свое место, а сама бы села на повозку, но ведь ты не пойдешь...

Это прозвучало неожиданно. По доброте ли своей или оттого, что она почему-то постоянно испытывала неловкость за Абакира, вроде бы стыдилась, когда он кричал и ругался, и всегда старалась чем-нибудь смягчить, сгладить его грубость, — потому ли или нет, но она это сказала, а я сгоряча, не подумав, брякнул:

— Пойду!

В юрте стало совсем тихо. Только костер потрескивал стонким посвистом. Все, недоумевая, смотрели на меня. Может быть, люди ждали, что я одумаюсь, откажусь? Получалось так, что я сам лез в лапы человеку, который ненавидел меня и не желал мне ничего доброго. Но я промолчал. Сказано — сделано. Сорокин еще раз испытующе посмотрел на меня.

— Это точно? — коротко спросил он.

— Да.

— А мне все равно! — Абакир плюнул в костер. — Но предупреждаю: чуть что — надаю по шее! — И глаза его холодно блеснули в полутьме с усмешкой и вызовом.

— А что — чуть что? Что ты заранее угрожаешь? — не выдержал наконец все время молчаливый Эсиркеп. —

Справится, подумаешь, премудрость какая! Он на моем плуге работал.

— А тебя не спрашивают. Не лезь не в свое дело. Сами поглядим. Я отвечаю за трактор, за работу...

— Прекрати! — снова недовольно оборвал Абакира Сорокин и сказал мне: — С утра принимайся за работу. — Он поднялся и шагнул к выходу. — А теперь отдыхать пора...

В эту ночь я почти не спал. Как все сложится у меня с Абакиром? Ведь до сих пор я только время от времени сталкивался с ним, а с завтрашнего дня постоянно, днем и ночью, буду у него в подчинении. Обязанности прицеппщика меня не так пугали, хотя они требуют выносливости и терпения. Конечно, надо приноровиться точно и быстро поднимать и опускать лемеха в нужном месте, чтобы ни на минуту не задержать движения трактора. Но ведь, кроме этого, я должен во всем помогать трактористу — и по уходу за машиной, и по ремонту. Попробуй подай Абакиру не тот ключ, не тот болт или гайку, или там еще что...

Не спала, оказывается, и Альдей. Она подошла в темноте ко мне, присела рядом, погладила меня по голове.

— Ты бы подумал, Кемель. Не пара вы с ним. Добрый ты, безобидный. Заест он тебя, не угодишь ты ему...

— А я не собираюсь ему угождать. А что заест, так мне уж не привыкать.

— Ну гляди, тебе виднее, — тихо проговорила она и, вздохнув, пошла на свое место.

3

Наш поединок с Абакиром начался с первого же дня.

— Заснешь, упадешь под ножи — отвечать не буду! — бросил он единственную фразу перед началом пахоты.

Но мне было, конечно, не до сна. Я весь был в напряжении, готовясь работать четко и безупречно. А если думать, что можно случайно угодить под ножи, то лучше было сразу отказаться.

Да, под моими растопыренными на раме ногами были укреплены на кронштейнах стальные лемеха. Они шли рядом, наискось, один за другим, вспарывая и отваливая дымящуюся дернистую толщу целинных пластов. Вдавливая полынь в землю, трактор шел, не останавливаясь, напряженно гудя и лязгая гусеницами.

Абакир ни разу не обернулся, не поинтересовался

мной. Я видел лишь его упрямый, тугой затылок. Уже одно это как бы говорило мне, что Абакир будет испытывать меня до тех пор, пока я не откажусь или пока он не убедится, что я выстою. И возможно, нарочно он гнал трактор без передышки, чтобы измотать меня, заставить отступиться. Кто-кто, а уж Абакир-то прекрасно знал, что не очень это сладко сидеть на жестком металлическом сиденье, не имеющем никакой амортизации, задыхаясь от пыли и выхлопных газов. Но я не думал сдаваться. Предельно напряженные нервы, глаза, слух, руки, вцепившиеся в штурвал плуга, — вот что я собой представлял. За все время я не пророшил ни слова, я молчал даже тогда, когда он с особенно злым упорством вел машину по каменистым местам, где плуг то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали по кремню, высекая искры и гарь, а меня трясло и подкидывало на сиденье. К вечеру, когда Абакир остановил трактор, я ощутил страшную, никогда прежде не испытанную усталость. Рот, нос, уши, глаза — все было забито пылью и песком. Хотелось повалиться на землю и тут же заснуть. Но я не двинулся с места, я ждал приказаний Абакира.

— Подними лемеха! — крикнул он мне, выглянув из кабины. Затем вывел трактор из пахоты и, заглушив мотор, подошел к плугу. Наклонясь к лемехам, он ощупал острие ножей. — Менять надо, притупились. К утру чтобы было сделано! — сказал он.

— Ладно, — ответил я. — Оставь запасные ножи и отведи трактор от плуга.

Он выполнил мою просьбу и молча пошел к полевому стану. Я посмотрел ему вслед и поймал себя на том, что не только злюсь на Абакира, но и завидую ему. Идет себе вразвалку, будто и не устал вовсе. Из меня он, конечно, душу вымотал, но ведь и сам-то тоже ни минуты не отдыхал. Вот ведь как умеет работать, подлец!

Я вздохнул и принялся собирать курай, складывая его охапками возле плуга. Мне нужно было развести костер, чтобы успеть за ночь сменить ножи. Собрав большую кучу, я пошел ужинать.

Родная, добрая Альдей! С каким огорчением смотрела она на меня, пока я быстро и молча ел заботливо оставленный ею бешбармак. А мне некогда было расслаживаться. Я попросил у нее фонарь, который имелся у нас на всякий случай.

— Зачем он тебе? — спросила она, подавая фонарь.

— Надо. Лемеха буду менять.

— Да что ж это такое, куда это годится! — раскричалась Альдей, обращаясь к Абакиру. — Не позволю! Не дам издеваться над мальчишкой!

— А мне что, не позволяй, — огрызнулся Абакир, укладываясь спать.

— Не вмешивайся! — одернул Садабек жену. — У Кемеля своя голова на плечах.

— Ничего, мы поможем тебе, Кемель. Пошли, Эсиркеп! — Калипа поднялась, собираясь идти со мной.

— Не надо, — сказал я. — Не тревожьтесь. Я сам управлюсь.

С этими словами я вышел из юрты, освещая себе путь фонарем.

Кругом царила ночь, немая и беспредельная. Я на минуту завернул к роднику — напиться. Едва побулькивая в горловине, родник излучал спокойствие и прохладу. Он матово светился из темной, задумчивой глубины. А правда, похож на верблюжий глаз. Вспомнилась девушка-сакманщица. Я даже не успел узнать тогда, как ее зовут. Где она сейчас, эта милая девушка с челочкой?

Добравшись до плуга, я не мешкая взялся за дело. Поднял лемеха, насколько позволяло устройство, развел костер. И фонарь, конечно, пригодился. Я отвертывал гайки, сразу же накручивал их на болты и складывал в кепку, чтобы не растерять. Всю ночь я елозил под плугом. Приворачивать гайки было тяжело, а главное, неподручно. Они сидели в очень неудобных, труднодоступных пазах. Костер то и дело угасал. Я, словно уж, выползал из-под плуга и, лежа на земле, вновь раздувал огонь. Не знаю, сколько было времени, но я не успокоился до тех пор, пока не сменил все ножи. А потом, как в тумане, доплелся до трактора и завалился в кабине спать. Ныли, горели во сне ищарапаннные руки.

Рано утром меня разбудила Калипа. Она приехала с водовозкой.

— Радиатор я уже залила. Иди умойся, Кемель, — позвала она меня, — я полью тебе.

Она ни о чем не расспрашивала меня, и я был благодарен ей за это. Не всегда приятно, если люди жалеют тебя. Когда я умылся, она принесла мне из повозки узелок с едой и бутылку джармы. До чего же приятно было выпить кисленького квасу из жареного зерна! Это, конечно, Альдей позаботилась обо мне.

Пришел Абакир. Ничего не сказал. Да и придраться-

то было не к чему. Он молча подал трактор к плугу, я его прицепил серьгой, и мы снова двинулись по полю.

Но в этот день я уже сидел за плугом уверенно. Я поверил в себя. Раз выдержал первое испытание, буду держаться до конца!

Передо мной в окошке кабины маячил все тот же упрямый, тугой затылок. Все так же, без передышки, с напряженным ревом и лязганьем шел трактор. И я все так же сидел, вцепившись в штурвал.

В полдень Абакир неожиданно заглушил мотор.

— Слезай, — сказал он. — Перерыв.

Мы молча сидели на земле, в тени трактора. Абакир покурил, раздраженно покусывая папиросу, потом снял комбинезон и рубаху и лег на свою одежду загорать. Спина у него была широкая, мускулистая, лоснящаяся. Мне тоже захотелось погреться на солнце. Я стянул рубашку, собираясь расстелить ее и лечь, но в это время Абакир поднял на меня хмурое разомлевшее лицо.

— Почеси спину! — приказал он и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его прихоть, опустил тяжелую голову на руки.

Я промолчал.

— Слышишь? — Он грозно передернул плечами, не поднимая головы.

— Не буду!

— А я говорю, будешь! — Он рывком подтянулся ко мне на руках. — Ну, долго я буду ждать?

Я немного отодвинулся от него:

— Ты всегда тычешь себя в грудь: я рабочий! Я всех и вся кормлю... Но ты рабочий только потому, что работаешь, а душой ты не рабочий. Тебе бы баем быть.

— И был бы! А ты мне в душу не лезь! — Он неожиданно щелкнул меня по носу.

Я вскочил и бросился на него с кулаками. Абакир словно только этого и ждал. Всю свою ненависть и злобу, накопившуюся за последние дни, он вложил в страшный удар, от которого я покатился по земле. Я с трудом поднялся на колени и, не помня себя, ослепленный яростью, снова ринулся на Абакира. Почти каждый удар его сбивал меня с ног.

— Я тебе покажу, чем мой кулак пахнет! Я тебе покажу мою душу! — приговаривал он, нанося мне чугунные удары.

Но я снова и снова вскакивал и молча, остервенело бросался на него. Я все время метил ему в лицо, в его звери-

ную рожу, а он точно и расчетливо бил меня в живот, по ребрам, в грудь.

Вот я опять поднялся и медленно двинулся к нему. Он занес руку и, крикнув, как мясник, сплеча двинул меня кулаком по шее. Я лежал, прижав к земле и прикусив губу, чтобы не издать ни единого стога.

— Лежишь, академик! Ну-ка понюхай, чем пахнет земля! — сказал он, тяжело дыша и сплевывая кровь с разбитых губ. — Это тебе не лекции читать про каменных идолов.

Он пошел к своей одежде, истоптанной нашими ногами, и, отряхнув ее, стал не спеша одеваться с чувством исполненного долга. Но он все-таки не подозревал, что и этот бой выиграл я. Да, я оставался непобежденным, хотя и лежал на земле. Мне стало ясно, что можно и кулаками драться за правду. Я понял, что можно и нужно бить того, кто бьет тебя. Для меня это было победой...

Пока Абакир одевался, залезая в свой комбинезон, я встал, быстро оделся и занял свое место на плуге.

Трактор взревел и тронулся вдоль пашни. Все тот же упрямый, тугой затылок маячил в окошке кабины, и я был все тем же прицепщиком, вцепившимся в штурвал плуга.

4

В нашей жизни произошли кое-какие изменения. Нам привезли на машинах пароконную бричку с лошадьми для подвоза семян к пахоте. Прибыл также еще один человек — ездовой. Теперь и водовозу стало легче управляться. На сев переключили трактор Садабека и Эсиркепа, и мы с Абакиром продолжали пахать.

И еще одна очень важная новость.

Несколько дней назад, когда мы после обеда ехали на бричке к полю, я увидел у родника ту самую девушку-сакманщицу. Я спрыгнул с брички. Ездовой придержал было лошадей, но Абакир не дал ему остановиться.

— Айда, не задерживай, — недовольно приказал он.

Я побежал к девушке, и она пошла навстречу мне, оставив своих овец. Но я так и не добежал до нее, надо было догонять бричку, чтобы поспеть к началу работы. Я остановился.

— Здравствуйте! — крикнул я.

— Здравствуйте! — ответила она и тоже остановилась. Я очень обрадовался, что увидел ее, но решительно не знал, что сказать.

— Почему вас не видно с водовозкой, где вы теперь?

— Я теперь на тракторе! — не без гордости прокричал я в ответ. — Мы во-он на том поле! Извините, я очень спешу!

— Бегите, бегите! — Она помахала мне.

Я пустился догонять бричку. Только разок оглянулся. Девушка стояла на том же месте, глядя мне вслед. Бричка останавливалась. Но мне бежалось легко и свободно. Я счастлив был, что она помахала мне рукой, что бегу я по вольной весенней степи...

На другой день она появилась у нашего поля. Стояла на пригорке неподалеку, присматривая за матками с ягнятами. Мне очень хотелось подойти к ней хоть на минутку, но разве Абакир позволил бы, разве он способен на такой поступок? Я не стал просить его об этом.

В следующий раз, когда девушка появилась на пригорке, мы с Абакиром стояли возле гудящего трактора, он что-то проверял в моторе.

— Чего это она зачастила? — спросил Абакир.

— Не знаю.

— А как ее звать?

— Тоже не знаю.

— Эх ты, академик! — Он насмешливо сплюнул и кинул взгляд в ее сторону. — А девка сочная...

Я глянул на него со злостью.

— Иди садись на место! — рывкнул он, и мы двинулись дальше.

Девушка тем временем перегнала овец с пригорка на открытое место, шагах в ста от нашего поля. Побежать бы к ней, посидеть рядом, поговорить, просто посмотреть на ее хорошенькую челочку...

Трактор вдруг остановился. Абакир высунулся из кабины.

— Закрепи рычаг! Иди сюда!

Я сошел с плуга, в недоумении направляясь к Абакиру. В кабину он меня во время работы не допускал.

— Садись. — Он уступил мне свое место. — Учись управлять!

Я был поражен. Такого я от него никак не ожидал.

Что произошло с Абакиром, неужели он подобрел ко мне? Однако, недолго думая, я приготовился делать все, что он прикажет.

— Прижми педаль. Включи сцепление. Вот так. Теперь осторожно отпусти педаль. Держи рычаги фрикционных...

Трактор зарокотал, двинулся с места, и мы пошли вдоль загона. У меня дух захватило от радости. Я ни о чем не думал, мне ни до чего на свете не было дела. Я был поглощен одним желанием: овладеть трактором, постигнуть его механизм. Ведь я так давно мечтал об этом! И вот могучий тягач, послушный моим рукам, двинулся вперед, с лязгом забирая землю гусеницами. И сам я, казалось, превратился в механизм, сосредоточенный лишь на том, чтобы четко выполнять нужные действия.

Я неплохо развернулся в конце загона. Правда, без прицепа на развороте остались большие огрехи. Но это не такая уж беда: мало, что ли, земли на Анархасе! Зато я научусь водить трактор!

Так мы сделали несколько гонов. Сердце у меня уже не так билось, я чувствовал себя уверенней.

— Не дрейфь, академик! — крикнул мне в ухо Абакир. — Я отлучусь малость. А если что, заглушишь!..

Он спрыгнул на ходу с трактора и, отряхиваясь, прихорашиваясь, направился к девушке-сакманнице. Она была теперь совсем рядом. Тут только я понял, что он замыслил. Не без корысти, оказывается, посадил он меня в кабину.

Абакир стоял возле девушки и бесечно разговаривал с ней. А что ему!.. Работа идет, трактор рядом, в случае чего всегда можно подбежать.

Мне не понравилась проделка Абакира. Но в то же время я был счастлив — ведь я сам вел машину! Меня так и подмывало помахать девушке из кабины, крикнуть ей что-нибудь хорошее. Эх, если бы не торчал тут Абакир! Что он там ей говорит и что она ему отвечает? Хорошо бы ей поосторожней, поостроже быть с ним...

Я не слезал с трактора часа полтора, пока девушка не погнала овец назад. На лице Абакира я не уловил ничего такого, что говорило бы о его успехе. Нет, ничего, кроме обычного туповато-надменного самодовольства, не выражало его лицо.

— Айда, академик, на свое место! — Он хлопнул меня по плечу и криво усмехнулся.

Я ничего не сказал и спрыгнул с трактора.

Наша девушка пришла и на другой день. Абакир опять оставил меня в кабине, а сам направился к ней. Лучше бы уж она не приходила. Бросить трактор я не мог, но и оставаться равнодушным я тоже не мог.

«Как бы предупредить ее? — думал я, бросая из кабины тревожные взгляды в их сторону. — Не надо ей встре-

чаться с ним. Но как можно запретить людям разговаривать друг с другом? Человек сам должен понимать, с кем он имеет дело...»

На этот раз девушка быстро ушла, и я очень обрадовался этому. Все быстрее и быстрее погоняя овец, она убежала по степи, не оглядываясь. «Прости меня, милая, — мысленно посылал я ей свои извинения. — Хорошо, что ты так быстро ушла. Но мы еще встретимся. В следующий раз я не останусь на тракторе, я побегу к тебе. А пока иди, не останавливайся, славная девушка с челочкой... Я ведь не знаю даже твоего имени...»

Но напрасно рассчитывал я на предстоящую встречу. Девушка больше не появлялась. Дня три подряд мы оба ждали ее, не говоря, конечно, об этом вслух. Абакир был злее и грубее обычного. Он опять смотрел на меня откровенно ненавидящим взглядом. Но я теперь не скрывал своего презрения. Я понял, что он чем-то оскорбил девушку, я чувствовал свою вину перед ней, словно бы не сумел защитить ее от чего-то недоброго, темного. Я дал себе слово: при первой же возможности отыскать ее и просто, по душам, поговорить обо всем. Я стал мечтать об этой встрече, я желал этого и надеялся.

Как раз в эти дни нас застиг в поле дождь. Он наскокил стремительно и внезапно. Это был буйный степной ливень с градом. Воздух загудел, земля вмиг покрылась вспученными, кипящими лужами. Но Абакир не остановил трактор. Наоборот, он его припустил быстрее и ни разу не оглянулся на меня, а я ведь сидел под ливнем и градом.

Набухшие водой вспаханные пласты уже не отваливались за лемеха. Они распирали плуг, лезли на раму, мне на ноги. Пожалуй, Абакир вообще не остановился бы, если бы на гусеницы не налипли вязкие, невпроворот комья. Тогда он заглушил мотор и закурил, развалился у себя в кабине, наверно, полагая, что я попрошусь к нему под крышу. Но мне теперь было все равно. Я уже промок до нитки. Я не сошел с плуга и сидел под дождем, смывая с себя грязь. Единственное, что я постарался уберечь от воды, — это блокнот с кое-какими записями и выписками из прочитанных книг. Я сунул блокнот за голенище.

Дождь кончился сразу, будто его рукой сняло. И тотчас же распахнулось небо, сияющее бездонной, прозрачной бирюзой. Оно было словно продолжением той красоты и чистоты, которую являла собой раздольная степь, омытая весенним щедрым ливнем. Беспредельные анархайдские просторы раздвинулись еще шире, стали еще при-

вольнее. Через весь небосклон пролегла над Анархаем радуга. Она перекинулась из края в край света и застыла в вышине, вбирая в себя все нежные краски мира. Восхищенно глядел я вокруг. Синее, бесконечно синее, невесомое небо, трепетное многоцветье радуги и блеклая полынная степь! Земля быстро просыхала, а над ней высоко в поднебесье кружил орел на неподвижно раскинутых, тугих крыльях. Казалось, не сам он и не крылья его, а могучее дыхание земли, ее восходящие теплые токи вознесли орла в такую высь.

И я снова почувствовал в себе силу, я тоже воспрянул духом, снова ожили во мне мечты о стране Анархай. Да, теперь я прочно стоял на земле, и никто уже не мог омрачить мои мечтания, помешать мне верить в прекрасное будущее Анархайской степи. Я не поэт, но случалось порой, что в школьной стенгазете помещали мои стишки. Вот и теперь я достал из-за голенища блокнот и сразу, вроде бы с разбегу, написал первые напросившиеся на бумагу слова:

Лежит за Курдайским нагорьем
Веками нехоженный край,
Провьюженный снегом метельным,
Иссушенный зноем предельным —
Далекий степной Анархай.
Но быть суждено, я-то знаю —
Тот день недалек, он в пути, —
Роскошной страной Анархаю,
Просторам полынной степи!

Я не думал о том, что у меня получились неумелые, корявые строки. Меня огорчило другое: они не выражали даже сотой доли того, что теснилось и бунтовало в моей душе. Я мучительно ломал голову, как сладить, как найти те единственно верные слова, чтобы высказать свои мечты так, как я их ощущал. Но тут кто-то выхватил у меня из рук блокнот. Я оглянулся.

— Любовные писульки сочиняешь! — злобно посмеивался Абакир, отходя в сторону. — Хочешь девку стихами пронять?..

— Отдай! — подскочил я к нему в негодовании. — Не хорошо читать чужое!

— А ты мне не указ: хорошо, нехорошо! У меня свое хорошо! Отцепись!

— Ах, так! — Я подбежал к трактору и схватил отвертку.

— Ну-ну! — пригрозил мне Абакир. — На, ерунда

какая-то. — Он вернул мне блокнот, а спустя минуту вдруг расхохотался, заржал на всю степь. — Страна Анархай! Ха-ха-ха! Ну и дурак ты, академик! Вот таких только, как ты, и надо пригонять сюда, чтоб вы узнали, что почем.. Выдумал, страна Анархай! Ха-ха-ха! Она еще покажет тебе, какая она есть страна! Остаешься тут на зиму — по-другому запоешь...

— А я у тебя не буду спрашивать, оставаться мне или нет! Ты лучше о себе подумай!

— А что мне думать? — Абакир с сумрачной усмешкой надвинулся на меня. — Моя думка со мной. Я везде свое возьму. — Он отошел было от меня, но, вспомнив о чем-то, приостановился, подошел ко мне вплотную и сказал приглушенным голосом: — А ты, академик, выкинь из головы мыслишки о ней, не рассчитывай... Пришибу!

— Это мы еще посмотрим!

— А я тебе говорю, чтоб и думать не смел!

Мне стало вдруг даже жалко этого зарвавшегося человека, обалдевшего от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью. Я сказал ему спокойно:

— Ты взрослый человек. Порой говоришь правильные вещи. Но это, видно, случайно, сослепу. Тебе надо запомнить, что никто никому не в силах запретить думать, желать, мечтать. Люди тем и отличаются от скотины, что они способны мыслить.

Не знаю, действовали ли мои слова на него, но он промолчал. Только мрачно подошел к трактору и с силой крутанул пускач. Двигатель легко завелся, надо было снова приниматься за работу...

С этого часа я не расставался со своими мечтами. Я завоевал их, я снова обрел на них право. И они уже не покидали меня, они жили со мной.

Вечером, когда все стали укладываться спать, я вышел из юрты и направился к роднику. Меня почему-то тянуло туда, хотелось побыть в одиночестве.

Звездам было тесно на небе, и они сбегали у горизонта к самой земле. Но многие из них, а пожалуй, что и все, висевшие над головой, невероятным образом помещались в роднике, отражаясь в небольшом округлом водоеме, который казался сейчас бездонно глубоким. Они поблескивали и мерцали на воде — хоть черпай их и выбрасывай огненными россыпями на берег. Там, где бежал ручей, они уплывали вместе с ним и рассыпались осколками по каменистому дну. Но там, где вода вастыла в тихой задумчивости, они были такими же лучистыми, как на небе,

и я подумал, что степной родник чем-то напоминает иной раз такое состояние человеческой души, когда она светла и полна мечтами, когда она становится такой глубокой, что вмещает в себя весь окружающий мир.

Я сидел у родника, смотрел, слушал, всем существом своим ощущал, вбирал в себя почную затаившуюся степь и по-своему преображал ее в своих мечтах. Кому бы рассказать о них, с кем бы поделиться? Трудно объяснить, почему, но она, девушка с челочкой, имени которой я не знал, казалась мне тем самым человеком. Она бы поняла меня, она бы сумела разделить со мной мои волнения. Может, это было оттого, что впервые мы встретились с ней здесь, у родника, и назвали его Верблюжьим глазом?

Где она сейчас, знает ли, что я думаю о ней? Скоро мы закончим пахоту, и тогда я найду ее, приведу сюда, к роднику, и поведаю ей о стране Анархай. Не стихами, нет, — засмеет еще! — расскажу просто, обыкновенными словами, так, как представляю себе будущую жизнь в Анархайской степи.

Собираясь уходить, я еще раз окинул взором обметанное звездами небо. Глаза радовались тому, что было доступно зрению. Но на пригорке, как всегда, стояла, смутно темнея, бесформенная глыба каменной бабы. Я представлял себе, как стоит она и сейчас, сохраняя свое полное безразличие ко всему, вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд своего единственного глаза.

Вошла луна, и я заметил две осторожные тени, которые двигались по ту сторону распаханного клина. Это были джейраны — степные косули. Куда они шли? Пожалуй, к водопою. Джейраны подошли к самому краю поля и остановились как вкопанные, не осмеливаясь вступить на непривычно взрыхленную, отдающую нефтью и железом землю. Они долго стояли так, не шелохнувшись, слегка посеребренные лунным светом. Самец — с ветвистыми рожками и самка — пониже в холке, с крупными, поблескивающими в темноте глазами. Она прильнула к самцу, как и он, настороженно вскинув легкую голову. Так и стояли они, объятые оцепенением. Весь вид их выражал вопрос и страх: «Что случилось со степью? Куда девалась старая тропа? Какая сила разворотила землю?»

Джейраны так и не посмели пройти по полю. Они повернули и бесшумно пошли назад, унося на гибких спинах грустный отсвет лунного серебра.

Я посидел еще немного, чтобы джейраны могли спокой-

но удалиться. Потом вернулся в юрту, отыскал впотьмах свое место и долго еще лежал с открытыми глазами.

И тут я услышал шепот. Абакир и Калипа лежали вместе. Возможно, и раньше бывало так, но я этого не знал. Калипа, всхлипывая, говорила что-то, только я не мог разобрать что.

— Ну перестань, хватит, — сонно пробормотал Абакир. — Вот поедем в город и там все уладим. Полежишь денька два... Чего зря убиваться?

Калипа ответила с горечью:

— Не из-за этого я убиваюсь. Ненавижу себя, презираю... За что полюбила такого человека, как ты? Что я в тебе нашла, не пойму... Хоть что-нибудь хорошее сделал ты людям? Нет же, как собака привязалась...

— Жалеть не будешь. Кончим работу — увезу.

— Нет, буду жалеть. Знаю, что каяться мне всю жизнь. И все-таки поеду. Не хочу одна оставаться...

— Да тише ты! Ложись поближе. Ну, давно бы так, а то... Намочила вон всю подушку.

Я укрылся с головой. Хотелось поскорее уснуть, чтобы не слышать этот огорчивший меня разговор.

5

Солнце с каждым днем припекало все жарче и жарче. Чаше стал наведываться Сорокин. Надо было спешить — сроки поджимали, земля пересыхала. Нам оставалось пахоты еще дней на пять, столько же оставалось работы сеяльщикам.

Сорокин говорил, что с осени будем взметывать зябь, а на следующий год сюда пригонят много тракторов и построят здесь РТС. У Сорокина все было рассчитано. Он неустанно кружил по степи, по ее урочищам, балкам и ложинам. Он не просто знал ее — она вся умещалась у него в голове, изученная до последней песчинки.

Пора было уже отказаться от завоза кормов на машинах и самолетах, как это нередко случалось на Анархасе в тяжелые зимы. И Сорокин знал, как этого добиться.

Мы с Абакиром пахали теперь до поздней ночи. Ночевали в поле и с рассветом снова принимались за дело. Работа была настолько тяжелой, что Абакир оставил меня в покое. Казалось, он не замечал меня, не обращал на меня никакого внимания. Но глухая, затаенная неприязнь ко мне все еще жила в его угрюмых глазах. А мне от этого было не хуже. Я делал свое дело и жил своими мечта-

ми. Я ждал дня, когда пойду к чабанам, в урочище за холмом, и разыщу там девушку с челочкой.

В эти дни мы начали распахивать новый большой клин. Всегда приятно приступать к чему-то новому, когда ты занят желанным, приносящим удовлетворение делом. Еще в школе я любил писать с новой строки, на новой чистой страничке. Я любил бегать утром по нетронутому снегу, первым оставляя следы. Я любил ходить весной в предгорья за первыми, еще никем не виданными тюльпанами. Есть что-то в этом захватывающее, манищее новизной и свежестью. Здесь, на Анархае, новая борозда на непочатом поле была для меня первой строкой, нетронутым снегом и несорванным тюльпаном.

Я сидел на плуге и любовался тем, как лемеха подомной режут первую борозду. Настойчиво врезаюсь в толщу земли, отполированные до нестерпимого блеска лемеха мягко и легко отваливали пласты.

Из-под крайнего лемеха вдруг что-то блеснуло, словно рыбка метнулась на волне пласта, вспыхнуло огнем в зеркале лемеха и сразу юркнуло в борозду. Я одним махом спрыгнул с плуга, бросился к тому месту и вытащил из земли тяжелый металлический обломок удлиненной формы. Это было что-то такое красивое, я был так восхищен, что от радости вскинул руки и крикнул:

— Золото!

Абакир оглянулся на мой крик, остановил трактор и сразу спрыгнул на землю.

— Ты что там нашел?

— Золото! Смотри, Абакир, золото!

Он направился ко мне сначала медленно, а потом зашпешил. Я протянул ему на ладони эту золотистую, красивую вещь.

— А ну! — Он недоверчиво взял в руки мою находку и, разглядывая, потер ее о рукав. — Да откуда ему быть здесь, золоту? — проговорил он подавленным голосом, бледнея при этом, как от внезапно нахлынувшего страха. — Не может быть, — с усилием усмехнулся он, выколушывая ногтем землю из зазубринок, и, не глядя мне в глаза, с явным неудовольствием вернул обломок.

— А почему бы нет! — запальчиво возразил я. — Смотри, какой тяжелый, в нем граммов восемьсот. В двенадцатом веке здесь жили монголы, а перед тем как прийти сюда, они захватили Китай и вывезли оттуда много золота. Вот так оно могло попасть и сюда! — Я говорил это потому, что мне очень хотелось, чтобы моя находка

оказалась золотом. Увлеченный этим желанием, я продолжал фантазировать, убеждая в своей правоте и себя, и ошеломленного, ошарашенного Абакира. — Ты знаешь, сколько веков оно пролежало под землей? Другой металл давно бы съела ржавчина, а это сохранилось, потому что чистое золото. Тут, на Анархае, когда-то сталкивались племена кочевников. Знаешь, какие тут бывали побоища! Ханские мечи ковались в те времена с золотыми рукоятками. Этот обломок и есть золотая рукоять ханского меча. Вот возьми сам — видишь, как удобно держать.

Абакир взял обломок, подержал его, взвесил на руке.

— Хотя и не золото, а надо показать знающим людям, просто для интересу. — Он положил обломок в карман. — Ты его можешь выронить с плуга-то. Пусть у меня полежит.

— Ну ладно, — согласился я.

Абакир пошел к трактору, поглаживая отяжелевший карман.

Мы двинулись дальше. Я думал о том, как отвезу свою находку учителю Алдиярову на память. У него собрано много таких вещей. И он, конечно, расскажет в связи с моей находкой что-нибудь интересное. Потом я устал и забыл про свое золото. Меня донимало неравномерное движение трактора. Как-то странно вел сейчас Абакир машину: то нерешительно замедлял ход, то рвал с места, оглушая меня ревом мотора. Черный дым вырывался из выхлопной трубы и ложился мутным, чадным облаком на пашню, лез под плуг и лемеха.

Так проработали мы до конца дня. Солнце село, но было еще светло. Абакир несколько раз оглядывался через плечо из кабины, бросая на меня какие-то неопределенные взгляды. Но вот он остановил трактор.

— Иди сюда! — Он махнул мне рукой.

Я поднялся в кабину. Абакир был бледен, глаза его растерянно бегали. Утирая пот со лба, он сказал сквозь шум мотора:

— Докричатся не было сил. Ты иди установи рычаги, а потом возвращайся, садись поводи сам немного. Нездоровится мне, плохо что-то. Я пройду по воздуху, может, полегчает...

— Иди, иди! — ответил я.

Пока я сбегал к плугу и вернулся, Абакир уже сошел на землю. Он весь как-то сразу потускнел, точно бы слинял. Молча побрел он в сторону, сильно сеугулившись.

«Да он, кажется, тяжело заболел. С животом, наверное,

неладно, вон как схватило», — подумал я и, включив сцепление, тронул трактор с места.

Трактор пошел ровным, напряженным ходом. Опять он был подвластен моей воле. Как и каждый раз, я волновался, стараясь точно управлять машиной. Я развернулся в конце загона и пошел в обратную сторону. Сумерки уже опускались на землю, потянуло прохладой. «Еще два круга, надо включить фары», — подумал я, вглядываясь перед собой. Впереди, вдоль косогора, кто-то быстро удалялся. Достигнув седловины, человек сбежал вниз и скрылся. Я увидел только его спину. Это был Абакир. Что с ним? Куда он побежал? Должно быть, увидел что-нибудь. Доехав до середины поля, я высунулся из кабины и привстал на минутку, но Абакира не увидел. Куда он делся? Ведь он же болен. Странно. Я остановил трактор и перевел мотор на малые обороты.

— Абаки-ир! — крикнул я. — Абаки-ир!

Он не отзывался. Тогда я вовсе заглушил мотор, чтобы было слышнее.

— Абаки-ир! Где ты? Отзовись! — кричал я в степь.

Но затененные, предвечерние увалы молчали.

А вдруг ему плохо? Мне представилось, что он, скрючившись, валяется на земле и не может разогнуться. Я спрыгнул с трактора и во весь дух пустился бежать. Перевалил седловину, огляделся. Никого нет. Взбежал на высокий пригорок и отсюда увидел Абакира, уходящего по равнине. Он был уже далеко.

— Абакир! Куда ты? — кричал я, но он не оглядывался, а вскоре и вовсе исчез из глаз, словно провалился сквозь землю.

Я постоял еще немного и нерешительно повернул назад. В небе бледными пятнами меркли последние отсветы заката. Хмурая тьма ложилась на холмы и равнины.

Я шел смятенный и растерянный. Странной, непривычной вдруг показалась мне эта притаившаяся, грустная тишина. словно бы степь прислушивалась к моим шагам, к моим мыслям. А думал я об Абакире. Когда я рассказывал о том, что в этих краях на самом деле было, он издевался надо мной, не верил. А тут, когда я нафантазировал с этим злосчастным золотом, он голову потерял... Нет. Такие голову не теряют! Он, видно, это давно задумал и даже поговаривал об этом, да только так, вроде бы стращал Сорокина. Ведь всех он тут ненавидел, со всеми перессорился, передрался. А Калипа? С ней-то больше всего ему хотелось развязаться. На кой черт она ему, беремен-

ная, с ее любовью! И все-таки за неделю до получки он бы не убежал. А так, что ему — вчера получил денежки, и немалые, он их никогда в юрте не оставлял, всегда держал при себе, значит, задарма немного поработал, всего денек, да и находка вдруг окажется золотом...

Мои думы прервал голос Калипы:

— Абаки-ир! Кемель! Где вы?

Она привезла нам в бидонах воду для ночной работы.

— Куда вы подевались? — тревожно встретила меня Калипа. — Жутко стало. Жду, жду, трактор стоит, а самих нет!

Что было мне ответить ей? Сказал правду:

— Абакир ушел. Бросил работу.

— А... почему... зачем? — запинаясь, спросила она,

— Не знаю.

Про золото я молчал, мне было стыдно за Абакира.

— Значит, ушел?.. — Помолчав она рванула с повозки бидон и тяжело опустила его на землю. — Зачем же вожу я эту воду? — растерянно проговорила она, ни к кому не обращаясь.

Я понес бидон к радиатору, а Калипа прислонилась лицом к кабине и горько заплакала.

Мне стало не по себе. Я не знал, как утешить ее.

— Может, еще вернется, — неуверенно пробормотал я, обернувшись к Калипе.

— Да не о нем я, — всхлипнула она и резко повернула ко мне мокрое от слез лицо. — Верила, мечтала! А во что верила? О чем мечтала? — выкрикнула она вдруг с такой томительной, звенящей силой, что даже в пустой степи ей отозвалось стонущее эхо. — Думала, парень работающий, думала, отойдет в нем зло. Добром, любовью хотела отогреть его душу. А он? Да что уж там говорить... Лошадь тоже работает, а только человек — он есть человек, душа в нем прежде всего. Тогда и работа — счастье, тогда и делу есть смысл... А он, он не понял ничего. Какой был, такой и ушел. Обидно мне, если бы кто знал, ох, как обидно!

Я молчал, подавленный и удрученный. Мне было жалко Калипу, больно за нее. Не понимал я, как могла она полюбить такого человека... Но если бы Абакир знал, если бы понимал, какое истинное счастье потерял он сегодня, уйдя от Калипы, то не она, а он завыл бы, как волк в зимнюю стужу.

Калипа села в повозку и молча уехала.

Спокойно спала Анархайская степь. Откуда-то издали,

колеблясь и перекатываясь по метелкам полыни, донесся понизу чуть слышный паровозный гудок. Может быть, Абакир уезжал уже, подцепившись к товарняку?.. Ну и катись, сволочь, туда тебе и дорога! Не пропадет Анархай, и мы без тебя обойдемся...

Больше я о нем не хотел вспоминать. Надо было приниматься за дело. Я долго бился, пока трактор не затарахтел, пугая ночную тьму. Я сел в кабину и включил фары.

Теперь я был за все в ответе. И мне вдруг очень захотелось, чтоб рядом со мной оказалась сейчас моя милая девушка с челочкой и чтобы она поверила мне, что будет, будет в этой дикой полынной степи прекрасная страна Анархай.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В ясном голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе, — просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы

мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях, на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.

А над аилом, на бугре, стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить, — то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника, — но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым делом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополя-близнецы? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугор к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда: днем ли, ночью ли, они раскачиваются, переклестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновение затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегают грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам,

и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка...

В последний год учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.

Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали, насколько хватал глаз, и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об удивном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревьев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то назы-

вали «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» — ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя, — воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называют «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен? Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была, название одно. Ох, и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя — тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не пайдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось...»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом * и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень **, и конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет.

И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в го-

* Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.

** Кетмень — сельскохозяйственное орудие типа мотыги.

лове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так.

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил — ехать, не мог же я в такой радостный день для нашего аила усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить, — невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна. — Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулайманов-

на бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, заверну, всегда и с радостью, и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошенные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности — очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да, — ответил парень. — Всю дорогу, говорит, подстигивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепелась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом грехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Я его звал, агай, но он уехал, ему еще надо письма развозить.

— Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит, — недовольно проговорил кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел

из госпиталя, на Украине это было, и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет...

— А все-таки зайти бы ему сейчас... Ну да ладно. — И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена. — Один из почтеннейших людей айла поднял бокал. — А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. — Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

— А ведь и правда, было так, — отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить? Чего только не затевал тогда Дюйшен. А мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:

— Ну а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в айле новую среднюю школу, одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!

Все опять зашумели, дружно поддерживая тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговором, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порывевшие осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнувшим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета, — сказал я ей.

— И я об этом же думаю, — вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядающему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски, горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцатый?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно затропилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным, — просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я ре-

шила все отложить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте...»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам», — но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок, — начал он заикающейся скороговоркой, — раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллою?

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец, — быстро отозвался Дюйшен. — А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну это дело...

— Молодец! — раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу, с вашей помощью конечно, вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замаялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот припильный? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла, и изредка поплеывал сквозь зубы.

— Ты постой, парень, — проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь. — Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как зачем? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса приутихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? — спросил ошарашенный Дюйшен, пристально глядя в лица окружающих его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь отхлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана

гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой:

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и словно выстрел отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понуриив головы.

— Мы бедняки, — уже тихо проговорил Дюйшен. — Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей...

Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что... Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять... Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— Да-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. — Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись другие. А Дюйшен так и

остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, бегй домой! — И я кинулась догонять ребят. — Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большой вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это никак учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга. Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал. Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.

— А послушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, и все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скосоченная, разохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпан-

ный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам:

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму приготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелим побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решила ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить, — сказала я.

— Ну почему же не отпустит, — отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай, — ответила я, прикрывая ладонью колени, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя. — Он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело. — Ты чья будешь?

Я помолчала: не любила, когда меня жалели.

— Сирота она, у дяди живет, — подсказали подруги.

— Так вот, Алтынай, — снова улыбнулся мне Дюйшен, — ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой, — застеснялись мы.

— Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки! — крикнула я своим подругам. — Давайте высыпем кизяки в школе, все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в том, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!..»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила ки-

зьяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещаю себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. — И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! — Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове. — Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткинских побоев, нет — к ним мне было не привыкать, — я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен

и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя, тот даже головы из ямы не поднял.

Это смутило Дюйшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу:

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка. — Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна. Советской власти нужна. А пойдите против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка. — Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эй, баба, — гаркнул он, выбираясь из ямы. — С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь — учи, хочешь — изжарь ее. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я? — заголосила было тетка.

Но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать, — объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеневским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой плакатной бумаге, — он потерялся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры, — говорил Дюйшен. — Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как это малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело. Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами айла, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, не слыханный и не виданный прежде мир.

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулиэ-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря, большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что, когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал

так взволнованно, словно видел его своими глазами. Много из того, что говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул — ему было неловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь, на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знания.

Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, — все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого учнее и умнее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невозможно — ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравняв-

шись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа:

— Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глухие, дурные люди!»

Но кто вянул бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горячие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мосток через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятами от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом

ступала по дну, казалось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться и начала медленно валиться в воду. Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.

— Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся, — приговаривал Дюйшен. — Я и сам справлюсь...

Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся:

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так! — И, помолчав, спросил: — Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?

— Да, — ответила я.

Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»

Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, я была на седьмом небе, и Дюйшен понял мою радость.

— Ручеек ты мой светлый, — сказал он, ласково глядя на меня. — И способности у тебя хорошие... Эх, если бы я мог послать тебя в большой город. Каким бы ты человеком стала!

Дюйшен порывисто шагнул к берегу.

И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чем он думал тогда? Может быть, и правда, в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею и крепко обнять его и, крепко зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой

бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.

В один из таких студеных дней — это было, как теперь помню, в конце января — Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного, прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли: почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, а за мной все остальные. И в этот раз у подножия бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины — и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого: мы взбирались гуськом на бугор — под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше — в белом мутном небе темнела одинокая черная туча.

Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.

— Встаньте, — приказал он.

Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

— Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер срывается в щели. И слышно было, как снежинки с порохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур, —

в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в неведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на повязке все так же смотрел на нас со стены. И все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию: Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз... Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю...

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому же залетовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи айла и до самого рассвета были голодным, истощным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели. А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову, чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела на заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрее. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель, на дороге?» Но не видно было ни души.

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попро-

буй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в айле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буря, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? — все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло: — Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Стунай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой...

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец айла по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно, я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу ты, негодница, страхуто нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет, — отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки. — Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркается. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, ког-

да лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал:

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю айла.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели:

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий. — Картанбай всполошился, ища в темноте шубу. — Свет, свет давай, старуха! Да быстрее ты, ради бога!

Дрожь от страха, мы вскочили, и, пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, окаянные! — вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время лаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье! — выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье! — повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечах Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома, — Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу. — Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, она доскакала до айла и рухнула, как сноп. Там они и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упали конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стянну, — суетился Картанбай. — А ты, старуха, подогрей что там у тебя есть.

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня, — ответил Дюйшен. — Завтра с утра начнем заниматься.

— Эх, дурень! — даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой. — Ты послушай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим соплякам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

— Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом

скажите: обычно пешком ходил, а тут, черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение...

— Да не об этом речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай. — Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять Советская власть, наживу еще...

— Дело говоришь, старик, — отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал. — Наживем еще... На-ка, сынок, хлебай, пока горячее...

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышленными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет...

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышлениши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил...

— Да, к слову... — перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы мы с тобой его ни оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям.

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем...

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неумная, неудар-

жимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни бурной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет, — сказала Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо: — Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну, глянь на меня...

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да никак сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы. — А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всеокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упустила случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты... нашла себе забаву в школу ходить... Но погоди, я тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то принимала близко к сердцу теткыны угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка, — смеялся Дюйшен. — Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколечко не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая я буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех теткы: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обдуряешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ слышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на

кошме скатерти сидел, как пень, краснолицый, грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забижалась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька, — сказала она, — там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало беспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой», — решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показывать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы всей гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня.

— Постой, Алтынай. — Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо. — Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мною тетка.

— Я сам за тебя отвечу, — сказал Дюйшен. — А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он. — Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе. — Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся. — Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез. Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, — говорит, — пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со штраху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе как одной овцой не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. «Ты, — говорит, — подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной, что захотят, и никто в айле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело, — сообщил он, загадочно улыбаясь. — Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная...

Деревца были ростом с меня, молоденькие сизостволенные топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул

в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались...

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад. — А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди...

Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким... Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было...

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшен, оказывается, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход, — сказал он, когда мы возвращались в аил. — Послезавтра я поеду в волюсть. Буду говорить там о тебе. Может быть, добыюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет, — ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой, город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от не-

ожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились, замерли.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом, — быстро сказал Дюйшен.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей улыбкой на лице, Дюйшен подошел к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй ты, бездомная! — Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого! — твердо и спокойно сказал Дюйшен.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешили с коней еще двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я же говорила! — взвизгнула тетка. — Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, замахиваясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен

попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краспорожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покотился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове:

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец...

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных пастухов, стороживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное,

как земля. Я повернула голову в другую сторону... О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее, — приказал краснорожий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, корявой рукой.

— Усмири свою панарницу, втолкуй ей. А нет — все равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем поцало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна...

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания так же, как мой учитель Дюшшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, оцупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопение, беспробудный храп, только бы не оставаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токол — вторая жена. О, как ненавижу я это слово!

Кто, в какие гиблые времена выдумал его! Что может быть унижительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на новое стойбище, а затем на все лето в глубину гор, за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе — бежать оттуда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем?.. Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, и ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его помочь ей собраться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва, я не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в

то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опоро-
ченная...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с краснорожего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него мили-
цейских наганов. Дюйшен схватил его за шиворот, трях-
нул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами. — Те-
перь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающим-
ся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а те-
бе на этом конец!..

Краснорожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромодили на коня. Один из милиционеров повел ко-
ня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюй-
шена, он шел рядом.

Когда мы двинулись, сзади раздался дикий, нечелове-
ческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она,
точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем
его лисью шапку.

— За кровь мою вышитую, душегуб! — орала она
истощным голосом. — За черные дни мои, душегуб! Не
отпущу тебя живым!

Наверно, сорок лет не поднимала она головы. А те-
перь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у
нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в
скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с
другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом,
камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под
руку, и выкрикивала проклятья:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя!
Пусть кости твои останутся в поле, чтоб ворон выклевал
твои глаза. Не приведи господь увидеть тебя еще раз!
Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь,
сгинь! — прокричала она, потом умолкла, потом с воплем
кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих разве-
вающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее.

Как после кошмарного сна, гудело у меня в голове.

Пришибленная, угнетенная, ехала я на коне: Дюйшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюйшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня, — сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке. — Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем, — сказал он наконец. — Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся. — Он достал из кармана кусочек мыла. — На, Алтынай, не жалея. А хочешь, я отоюду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула себе на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собой всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогах им, памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я припала бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословен-

ны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке, они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка, — сказал он, — светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-что понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед...

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показывать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала: такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя, — сказал он. — Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься... Пусть будет так, пусть будет так...

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь, — дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку. — Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить: слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай. — Дюйшен вытер мне глаза.

И вдруг вспомнил: — А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай прощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб. — Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-а-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни...

Прощай, учитель, прощай, моя первая школа, прощай, детство, прощай, моя первая, никому не высказанная любовь...

Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом окончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступить. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться.

ся. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь иные причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору.

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне навеститься к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые айлы, распаханно много полей, построены новые дороги и мосты, — но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла учителем, просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я. — Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал... Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой вот бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор,

когда вы были молоденькими сизостволыми деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляет в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь, к шуму осенней листвы. Арык у подножия деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся, светлая вода в полном арыке чуть рябилась, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашенная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки, солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что случилось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб, — предполагали они, — время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель, — думала я временами. — Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтвик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход; проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова прикинула к стеклу. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путевским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стопкран и с силой сорвала его с пломбы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатились посуда, заголосили дети и женщины. Кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и так же, ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель! — крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы? — участливо спросил он по-казахски. — Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров

тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастливая, мужа или брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому, — пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну... — ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем, — сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил брать в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук.

Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в айле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками, — это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я как-то отделилась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замушенная, прохладная вода необыкновенной чистоты поражит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... И подумает тот человек, что грех не знать такие места, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз в жизни бывает. Но на то она, наверно, и есть жизнь...

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того как побывала в айле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самое себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего айла — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблю-

дала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утра- тили способность по-настоящему уважать простого чело- века, как уважал его Ленин? И слава богу, что мы гово- рим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была пове- дать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в айле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его об- раз превратился для меня словно бы в дорогую релик- вию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Курку- реу и предложить там людям назвать новую школу-интер- нат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого кол- хозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как зем- ляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречу с Учителем и поцелую его в седую бороду...

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В ясном голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мной картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного... Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, ду- маю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, до- гадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего айла, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сде- лать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел доне-

сти ее до вас, мои современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко и сидит на ветке тополя, смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз? Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.

МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ

*Отцу, я не знаю, где ты похоронен...
Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.*

*Мама, ты вырастила всех нас, четверых...
Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.*

1

В белом свежевыстиранном платье, в темном стеганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли еще стада на стерню.

За серым большаком далеко, невидимо простирается осенняя степь. Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль и сухие былинки, бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки травой. Земля отдыхает после жатвы. Скоро начнется ненастье, польют дожди, запорошит землю первым снегом, и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой.

Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими, старыми глазами.

— Здравствуй, поле, — тихо говорит она.

— Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком.

— Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения.

— Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна?

— Как видишь, опять одна.

— Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толгонай?

— Нет, не посмела.

— Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто ненароком?

— Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подросток, теперь он может узнать и от других. Но для меня он еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.

— Однако человек должен узнать правду, Толгонай.

— Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле мое родимое, то, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он, как посмотрит на былое, дойдет ли разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза. Эх, если бы можно было просто, в двух словах, взять, да и рассказать будто сказку! В последнее время только об этом и думаю, ведь, неровен час, — помру вдруг. Зимой как-то заболела, слегла, думала — конец. И не столько боялась смерти — пришла бы, я противиться бы не стала, — а боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя, боялась унести с собой его правду. А ему и невдомек было, почему так маялась я... Жалел, конечно, даже в школу не ходил, все крутился возле постели — в мать весь. «Бабушка, бабушка! Может, воды тебе или лекарства? Или укрыть потеплее?» А я не решилась, язык не повернулся. Уж очень он доверчивый, бесхитростный. Время идет, и никак не найду я, с какого конца приступить к разговору. По-всякому прикидывала, и так, и эдак. И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни, и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила всех нас в одно тесто, завязала в один узел. А история такая, что не всякий даже взрослый человек разберется в ней. Пережить ее надо, душой понять... Вот и раздумываю... Знаю, что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать не страшно было бы...

— Садись, Толгонай! Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень, подумаем вместе. Ты помнишь, Толгонай, когда ты первый раз пришла сюда?

- Трудно припомнить, столько воды утекло с тех пор.
— А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толгонай, все с самого начала.

2

Смутно очень припоминаю: когда я была маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда за руку и сажали в тени, под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не плакала. А потом, когда я подросла, я прибегала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногой, косматой девчушкой. Взаблмошное, беззаботное время — детство! Помню, скотоводы шли с низовой Желтой равнины. Гурты за гуртами спешили на новые травы, в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со степи лавиной, подвернешья — растопчут вмиг, пыль на версту оставалась висеть в воздухе, а я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались, а табунщики гнались за мной.

— Эй, косматая, вот мы тебе!

Но я увертывалась, убегала по арыкам.

Рыжие отары овец проходили здесь день за днем, курдюки колыхались в пыли, как град, стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие пастухи. Потом шли кочевья богатых айлов с караванами верблюдов, с бурдюками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и молодайки, разнаряженные в шелка, покачивались на резвых иноходцах, пели песни о зеленых лугах, о чистых реках. Дивилась я и, забыв обо всем на свете, долго бежала за ними. «Вот бы и мне когда такое красивое платье и платок с кистями!» — мечтала я, глядя на них, пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босоногой дочкой батрака-джатака. Деда моего оставили за долги нахарем, так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я шелкового платья, выросла приметной девушкой. И любила смотреть на свою тень. Идешь и поглядываешь, как в зеркало любуешься... Чудная была я, ей-богу. Лет семнадцать мне было, когда на жатве я и встретила Суванкула. В тот год он пришел батрачить с Верхнего Таласа. А я и сейчас — закрою глаза и точь-в-точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой еще, лет девятнадцати... Рубахи на нем не было, ходил, накинув на голые плечи старый бешмет. Черный от загара, как прокопченный; скулы блестели, как темная медь; с виду казался

он худым, тонким, но грудь у него была крепкая и руки словно железные. И работник он был — такого не скоро сыщешь. Пшеницу жал легко, чисто, только слышишь рядом, как серп звенит да колосья подрезанные падают. Бывают такие люди — любо смотреть, как работают. Вот и Суванкул был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него. Далеко уходил вперед Суванкул, потом, бывало, оглянется и вернется, чтобы помочь мне сравняться. А меня это задевало, я сердилась и гнала его:

— Ну кто тебя просил? Подумаешь! Оставь, я и сама управлюсь!

А он не обижался, усмехнется и молча делает свое. И зачем я сердилась тогда, глупая?

Мы всегда первыми приходили на работу. Рассвет только-только наливался, все еще спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за аилом, на тропинке нашей.

— Ты пришла? — говорил он мне.

— А я думала, что ты давно ушел, — отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдет.

И потом мы шли вместе.

А заря разгоралась, золотились первыми самые высокие снежные вершины гор, и ветер со степи струился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви. Когда мы шли с ним вдвоем, весь мир становился иным, как в сказке. И поле — серое, истоптанное и перепаханное — становилось самым красивым полем на свете. Вместе с нами встречал восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал в небе, как точка, и бился там, трепыхался, словно человеческое сердце, и столько раздольного счастья звенело в его песнях...

— Смотри, запел наш жаворонок! — говорил Суванкул.

Чудно, даже жаворонок был у нас свой.

А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула. А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе...

Натруженной, тяжелой, как чугун, рукой Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала ему шепотом:

— Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?

И он ответил:

— Если земля и вода будут поделены всем поровну, если и у нас будет свое поле, если и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить — это и будет нашим счастьем. А большего счастья человеку и не надо, Толгон. Счастье хлебороба в том, что он посеет да пожнет.

Мне почему-то очень понравились его слова, стало так хорошо от этих слов. Я крепко обняла Суванкула и долго целовала его обветренное, горячее лицо. А потом мы искупались в арыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом мы лежали, взявшись за руки, и молча, просто так смотрели в небо на звезды. Их было очень много в ту ночь.

И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий пыльный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в самую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела Дорогу Соломщика — Млечный Путь простирался через весь небосклон широкой серебристой полосой среди звезд. Я вспомнила слова Суванкула и подумала, что, может быть, и в самом деле этой ночью прошел по небу какой-то могучий добрый хлебороб с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины, зерен. И я вдруг представила себе, что когда-нибудь, если исполнятся наши мечты и мой Суванкул вот так же понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка соломы своего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растрясенной половы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной, и мне вдруг так захотелось, чтобы все это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери-земле с человеческой речью. Я сказала: «Земля, ты держишь всех нас на своей груди; если ты не дашь нам счастья, то зачем тебе быть землей, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети,

земля, дай нам счастья, сделай нас счастливыми!» Вот какие слова я сказала в ту ночь.

А утром я проснулась и смотрю — нет Суванкула со мной рядом. Не знаю, когда он встал, пожалуй, очень рано. Вокруг на жнивье всюду лежали вповалку новые снопы пшеницы. Обидно мне стало — как бы я поработала рядом с ним в ранний час...

— Суванкул, что же ты меня не разбудил? — крикнула я.

Он оглянулся на мой голос; помню, какой он был в то утро — голый по пояс, черные сильные плечи его блестя от пота. Он стоял и как-то радостно, удивленно смотрел, будто не узнавал меня, а потом, утирая ладонью лицо, сказал улыбаясь:

— Я хотел, чтобы ты поспала.

— А сам? — спрашиваю.

— Я ведь теперь за двоих работаю, — ответил он.

И тут я совсем вроде обиделась, чуть не разревелась даже, хотя на душе было очень хорошо.

— А где же твои вчерашние слова? — укорила я его. — Ты говорил, что мы во всем будем равными, как один человек.

Суванкул бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и, целуя, говорил:

— Отныне вместе во всем — как один человек. Жаворонок ты мой, родная, милая!..

Он носил меня на руках, что-то еще говорил, называл меня жаворонком и другими забавными именами, а я, обхватив его за шею, хохотала, болтала ногами, смеялась — ведь жаворонком называют только маленьких детей, и все же как хорошо было слышать такие слова!

А солнце только-только всходило, поднималось краем глаза из-за горы. Суванкул отпустил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу:

— Эй, солнце, смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины, лучами, светом плати!

Не знаю, всерьез или в шутку он так сказал, только я вдруг расплакалась. Так просто, не удержалась от хлынувшей радости, переполнилась она в груди...

И сейчас вот вспоминаю и плачу зачем-то, глупая. Ведь то были слезы другие, они даются человеку только раз в жизни. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась. Мы с Суванкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, кетмень ни летом, ни зимой

не выпускали из рук. Много пота пролили. Много труда ушло. Было это уже в новое время — дом поставили, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить, как люди. А самое великое — сыновья родились у нас, трое, один за другим, как на подбор. Теперь иной раз такая досада душу палит и такие несуразные мысли приходят в голову: зачем рожала их, как овца, через каждые год-полтора, нет бы, как у других, через три-четыре года — может, тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились на свет. Дети мои, это я от горя, от боли так говорю. Мать ведь я, мать...

Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суванкул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суванкул задерживался до ночи — ходить-то было далеко, — мне и жалко, и обидно становилось за него.

— Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром... — упрекала я его.

А он, как всегда, спокойно улыбался.

— Ну, не шуми, Толгон. Подожди, вот настанет весна — и тогда убедишься. Потерпи малость...

Говорила я это не со зла — нелегко приходилось одной с детьми в доме по хозяйству, опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро: гляну на него, а он замерз с дороги, не евши, а я еще заставляю его оправдываться — и самой становится неловко.

— Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, — ворчала я, вроде бы прощая.

В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В аиле тогда не нашлось грамотного человека для учебы на курсах, так Суванкул сам вызвался: «Я, — говорит, — пойду и грамоте буду обучаться, освобождайте меня от бригадирских дел».

Вызваться-то вызвался, зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас — интересное было время, дети отцов учили. Касым и Маселбек ходили уже в школу, они-то и были учителями. Бывало, по вечерам в доме — настоящая школа. Столов тогда не было. Суванкул, лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон, и каждый учил: «Ты, — говорят, — отел, прямей держи карандаш да гляди — строка-то вкривь пошла, да за рукой следи — дрожит она у тебя, вот так видишь, а тетрадь вот так держи». А то вдруг заспорят между

собой, и каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец цыкнул на них, а тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замучается вконец: пот градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у барабана подавальщиком стоял. Колдуют они всей кучей над тетрадью или букварем, гляжу на них, и меня смех разбирает.

— Дети, да оставьте вы в покое отца. Что вы из него, муллу собираетесь сделать, что ли? А ты, Суванкул, не гонись за двумя зайцами, выбирай одно — или тебе мулло быть, или трактористом.

Сердился Суванкул. Не глянет, покачает головой и тяжело вздохнет.

— Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками.

Одним словом — и смех, и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего.

Ранней весной — только сошел снег и установилась погода — за аилом однажды что-то затарахтело, загудело. По улице сломя голову промчался вспугнутый табун. Я выскочила со двора. За огородами шел трактор. Черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила. Кто на коне, кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседями. И первое, что я увидела, — мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки свистали им, шапки кидали, а они такие гордые, куда там, словно герои какие, и лица их сияли. Вот ведь сорванцы эдакие, спозаранку еще убежали на реку, оказывается, трактор отцовский встречали, а мне ничего не сказали: побоялись, что не отпущу. А оно и правда испугалась я за детей — а вдруг что случится? — и крикнула им:

— Касым, Маселбек, Джайнак, вот я вам! Слезьте сейчас же! — Но в грохоте мотора и сама не услышала свой голос.

А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой — мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев. Особенно старшие — Касым и Маселбек — точь-в-точь, не отличить от Суванкула, такие же моджарые, с крепкими коричневыми скулами, как темная

медь. А младшенький мой — Джайнак, тот больше походил на меня, светлее обликом, глаза у него были черные, ласковые.

Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам любопытно было, как же трактор будет пахать? И когда три огромных лемежа легко врезались в целину и пошли отваливать тяжелые, как гривы жеребцов, пласты, все заликовали, загалдели и толпой, обгоняя друг друга, нахлестывая приседающих на запятки, храпящих коней двинулись по борозде. Не понимаю, почему я тогда отделилась от других, почему я отстала от людей, но вдруг очутилась одна, да так и осталась стоять, не могу идти. Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла, обессиленная, и смотрела вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня! И не знала я, чему больше радоваться: тому ли, что Суванкул привел в аил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подростки наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала: «Всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои! Если бы выросли, вы такими же людьми, как он, то ничего мне больше не надо!..»

То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках, я всегда любила работать. Если человек здоров, если руки-ноги целы — что может быть лучше работы? Время шло, сыновья как-то незаметно, дружно поднялись, словно тополя-одногодки. Каждый стал определять свою дорогу. Касым пошел по отцовскому пути: трактористом стал, а потом на комбайнера выучился. Одно лето ходил в штурвальных по ту сторону реки — в колхозе Каинды, под горами. А через год вернулся комбайнером в свой аил.

Для матери все дети равны, всех одинаково носишь под сердцем, и все же Маселбека я вроде больше любила, гордилась им. Может, оттого, что тосковала о нем в разлуке. Ведь он, как рано оперившийся птенец, первым улетел из гнезда, рано ушел из дому. В школе он с самого детства учился хорошо, все книгами зачитывался — хлебом не корми, только книгу дай. А когда закончил школу, то сразу уехал в город на учебу, учителем решил стать.

А младший — Джайнак — красивый, ладный вышел собою. Одна беда: дома почти не жил. Избрали его в колхозе секретарем комсомольским, вечно у него то собрания, то кружки, то стенгазета, то еще что. Посмотрю, как варнишка пропадает днем и ночью, зло берет.

— Слушай, непутевый, ты бы уж взял гармонь свою, подушку да поселился бы в конторе колхозной, — говорила я ему не раз. — Тебе все равно, где жить. Ни дома, ни отца, ни матери тебе не надо.

А Суванкул заступался за сына. Переждет, пока я пошумлю, а потом скажет как бы между делом:

— Ты не расстраивайся, мать. Пусть учится жить с людьми. Если бы он болтался без толку, я бы ему и сам шею намылил.

Суванкул к тому времени вернулся снова на свою прежнюю бригадирскую работу. На тракторы села молодежь.

А самое важное вот что: Касым женился вскоре, первая невестка порог перешагнула в дом. Как там у них было, не спрашивала, но, когда Касым проходил лето штурвальным в Заречье, там, видать, и приглянулись они друг другу. Он привез ее из Каинды. Алиман была молоденькой девушкой, горянка смуглая. Сначала я обрадовалась тому, что невестка попалась пригожая, красивая и проворная. А потом как-то быстро полюбила ее, очень она мне по душе пришлась. Может, оттого, что втайне я всегда мечтала о дочери, хотелось мне иметь дочку свою. Но не только поэтому, просто она была толковая, работающая, ясная такая, как стеклышко. Я и полюбила ее, как свою родную. Многие, случается, не уживаются между собой, а мне посчастливилось: такая невестка в доме — это большое счастье. К слову сказать, настоящее, неподдельное счастье, как я понимаю, — это не случай, оно не обрушивается вдруг на голову, будто ливень в летний день, а приходит к человеку исподволь, смотря как он к жизни относится, к людям вокруг себя; по крупице, по частице собирается, одно другое дополняет, и получается то, что мы называем счастьем.

В тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано. Рано начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже издали заметно было, как там, наверху, снег таял, словно сахар. И забурлила в поймище гремучая вода, понеслась в желтой пене, в мыльных хлопьях, приносила с гор огромные ели с комлем, била их в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно до самого рассвета ухала и стонала река под кручей. А утром глянули — старых островов как не было, начисто смыло за ночь.

Но погода стояла жаркая. Пшеница подходила ровно,

зеленоватая понизу, а поверху желтизной наливалась. В то лето конца края не было спеющим нивам, хлеба колыхались в степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, но мы загодя выжинали вручную по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиман держались рядышком, так что некоторые женщины вроде бы стыдили меня:

— Ты бы уж сидела дома припеваючи, чем соревноваться с невесткой своей. Уважение имей к себе.

А я думала иначе. Какое к себе уважение — дома сидеть... Да и не усидела бы я дома, люблю жатву.

Так мы и работали вместе с Алиман. И вот тогда заметила я то, чего никогда не забуду. На краю поля среди колосьев цвела в ту пору дикая мальва. Она стояла до самой макушки в крупных белых и розовых цветах и падала под серпами вместе с пшеницей. Смотрю, Алиман паша набрала букет мальвы и как бы тайком от меня понесла куда-то. Я поглядываю незаметно, думаю: что ж она будет делать с цветами? Добежала она до комбайна, положила цветы на ступеньки и молча побежала назад. Комбайн стоял наготове с дороги, со дня на день ждали начала уборки. На нем никого не было, Касым куда-то отлучился.

Я прикинулась, будто ничего не заметила, не стала смущать — застенчивая она еще была, но в душе крепко обрадовалась: значит, любит. Вот и хорошо, спасибо тебе, невестушка, благодарила я про себя Алиман. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. В красной косыночке, в белом платье, с большим букетом мальвы, а сама разряжилась, и глаза блестят — от радости, от озорства. Что значит молодость! Эх, Алиман, невестушка моя незабвенная! Охотница была до цветов, как девчонка. По весне снег лежит еще сугробами, а она приносила из степи первые подснежники... Эх, Алиман!

На другой день началась жатва. Первый день страды — всегда праздник, никогда в этот день не видела я сумрачного человека. Никто не объявляет этот праздник, но живет он в самих людях, в их походке, в голосе, в глазах... Даже в тарактенье бричек и в резвом беге сытых коней живет этот праздник. По правде говоря, в первый день жатвы никто толком и не работает. То и дело шутки, игры загораются. В то утро тоже, как всегда, было шумно и людно. Задорные голоса перекликались из одного края в другой. Но веселей всех было у нас, на ручной жатве, потому что молодаек и девушек здесь целый

табор был. Бедовый народ. Касым, как на грех, проезжал тем часом на своем велосипеде, полученном в премию от МТС. Озорницы перехватили его на пути.

— А ну, комбайнер, слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься со жницами, зазнался? А ну, кланяйся нам, кланяйся своей жене!

Насели со всех сторон, заставили Касыма поклониться в ноги Алиман, прощения просить. Он и так, и эдак:

— Извините, любезные жницы, промашка получилась. Отныне буду вам кланяться за версту.

Но этим Касым не отделался.

— Теперь, — говорят, давай прокати нас на велосипеде, как барышень городских, да чтоб с ветерком!

И наперебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, со смеху покатываются. Сидели бы уж смирно, так нет — крутятся, визжат.

Касым от смеха еле на ногах держится.

— Ну, хватит, довольно, отпустите, черти! — умоляет он.

А те нет, только одну прокатит — другая цепляется.

Наконец Касым осерчал не на шутку:

— Да вы что, посбесились, что ли! Роса просохла, мне комбайн выводить, а вы! Работать пришли или в шутки играть? Отстаньте!

Ох и смеху было в тот день! А небо какое было в тот день — голубое-голубое, а солнце как ярко светило!

Приступили мы к работе, замелькали серпы, солнце жарче припекло, и застрекотали на всю степь цикады. С непривычки всегда тяжело, пока не втянешься, но весь день не покидало меня утреннее настроение. Широко, светло было на душе. Все, что видели глаза мои, все, что я слышала и ощущала, все, казалось мне, создано для меня, для моего счастья, и все, казалось мне, полно необыкновенной красоты и радости. Отрадно было видеть, как кто-то скакал куда-то, ныряя в высоких волнах пшеницы, — может, то был Суванкул? Отрадно было слышать звон серпов, шелест падающей пшеницы, слова и смех людей. Отрадно было, когда неподалеку проходил комбайн Касыма, заглушал собой все другое. Касым стоял у штурвала, то и дело подставлял пригоршни под бурную струю обмолота, падающего в бункер, и каждый раз, поднося зерно к лицу, вдыхал его запах. Мне казалось, что я сама дышу этим теплым, еще молочным запахом спелого зерна, от которого голова идет кругом. А ког-

да комбайн приостановился напротив нас, Касым крикнул, словно бы с вершины горы:

— Эй, ездовой, торопись! Не задерживай!

А Алиман схватила кувшин с айраном.

— Побегу, — говорит, — пить отнесу ему!

И пустилась бежать к комбайну. Она бежала по первой комбайновой стерне, стройная, молодая, в красной косынке и белом платье, и казалось, несла в руках не кувшин, а песню любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала: «Вот бы и Суванкулу испить айрана» — и оглянулась по сторонам, по где там. С началом страды не найдешь бригадира, день-денской он в седле, скачет из конца в конец, хлопот у него по горло.

К вечеру на полевом стане для нас был уже готов хлеб из пшеницы нового урожая. Эту муку приготовили заранее, обмолотив снопы с обкоса, который мы начали неделю назад. Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий раз, когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, совершаю святой обряд. Хлеб этот хотя и темного цвета, и немного клейкий, словно бы испеченный из жидко замешенного теста, но ни с чем на свете не сравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух: пахнет он солнцем, молодой соломой и дымом.

Когда проголодавшиеся жнецы пришли на полевой стан и расположились на траве у арыка, солнце уже садилось. Оно пылало в пшенице на дальнем краю. Вечер обещал быть светлым и долгим. Мы собрались подле юрты, на траве. Правда, Суванкула еще не было, он должен был скоро подоспеть, а Джайнак, как всегда, исчез. Укатил на братнином велосипеде в красный уголок листок какой-то вывешивать.

Алиман расстелила на траве платок, высыпала яблоки-скороспелки, принесла горячих лепешек, налила в чашки квасу. Касым вымыл в арыке руки и, сидя у скатерти, неторопливо разломил лепешки на куски.

— Горячие еще, — сказал он, — бери, мама, ты первой отведай нового хлеба.

Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук — свежего зерна, нагретого железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб, его

держал в своих комбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб — тех, кто вырастил его, тех, кто сидел в тот час рядом с сыном моим на полевом стане. Святой хлеб! Сердце мое переполнилось гордостью за сына, но об этом никто не знал. И я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы. Я и сейчас не отреклась от этой своей веры, что бы ни пережила, как бы круто жизнь ни обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива...

В тот вечер Суванкул долго не появлялся, некогда было ему. Стемнелось. Молодежь жгла костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнавала голос своего Джайнака... Он там у них гармонистом был, заводилой. Слушала я знакомый голос сына и говорила ему про себя: «Пой, сынок, пой, пока молод. Песня очищает человека, сближает людей. А потом услышишь когда-нибудь эту песню и будешь вспоминать о тех, кто вместе с тобой пел ее в этот летний вечер». И снова я стала думать о своих детях — такова, наверно, природа материнская. Думала я о том, что Касым, слава богу, стал уже самостоятельным человеком. Весной они с Алиман отделятся, дом уже начали строить, хозяйством своим обзаведутся. А там и внуки пойдут. За Касыма я не беспокоилась: работник он вышел в отца, покоя не знал. Темно уже было в тот час, но он еще кружил на комбайне — осталось немного закончить. Трактор и комбайн при фарах шли. И Алиман там с ним. В страдное время минуту вместе побыть — и то дорого.

Вспомнила я Маселбека и затосковала. На прошлой неделе прислал он письмо. Писал, что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми куда-то на озеро Иссык-Куль в пионерлагерь на практику. Ну что ж, ничего не поделаешь, раз он такую работу себе выбрал — значит, по душе. Где бы ни был, главное, чтоб здоров был, рассуждала я.

Суванкул вернулся поздно. Он наспех поел, и мы с ним поехали домой. Утром надо было по хозяйству управиться. На вечер приглядеть за скотиной я попросила соседку нашу Айшу. Она, бедняжка, часто болела. День порабатает в колхозе, а два дома. Болезнь у нее была женская, поясницу ломило, потому и осталась с одним сынишкой — Бекташем.

Когда мы ехали домой, уже стояла ночь. Дул ветерок. Лунный свет качался на колосьях. Стремена задевали ме-

телки соаревавшего курая, и в воздух бесцумно поднималась терпкая, теплая пыльца. По запаху слышно было — цвел донник. Что-то очень знакомое было в этой ночи. На душе защемило. Я сидела на коне сзади Суванкула, на седельной подушке. Он всегда предлагал мне садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень. И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый — намотался ведь за день, и то, что он временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, — все это было мне дорого. Я смотрела на его сутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела: «Стареем мы понемногу, Суван. Ну что ж, время-то идет. Но недаром, кажется, жизнь проживаем. Это самое главное. А ведь, сдается, совсем недавно мы были молодыми. Как быстро пролетают годы. И все-таки жить еще интересно. Нет, рано нам сдаваться. Дел еще много. Хочется долго жить с тобой...»

И я распрямылась, подняла голову, глянула на небо, и в груди что-то дрогнуло: высоко среди ясных звезд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой простиралась Дорога Соломщика. И мне опять почудилось, что и в самом деле кто-то только что прошел там с огромной охапкой соломы нового урожая и растряс ее по пути. Там, наверху, золотистые соломинки, ость и мякина шевельнулись, будто от прикосновения ветра. Можно было даже разглядеть просыпавшиеся вместе с мякиной зерна. «Боже мой!» — подивилась я, и разом мне вспомнилось: и та первая ночь, и наша любовь, и молодость, и тот могучий хлебороб, о котором я грезила. Значит, все сбылось, все, о чем мы мечтали! Да, земля и вода стали нашими, мы пахали, сеяли, молотили свой хлеб — значит, исполнилось то, о чем мы думали в первую ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая жизнь, но земная мечта простого человека, выходит, совпала с желанием времени, желанием добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела не шелохнувшись и молчала. Суванкул оглянулся и сказал:

— Ты что, уснула, Толгонай? Устала. Ну, ничего, сейчас доберемся до дому. Я тоже намаялся. — Потом он помолчал и спросил: — А может, на новую улицу завернем?

— Завернем, — согласилась я.

Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине айла. Улицы-то самой еще не было. Весной

только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Касым и Алиман тоже здесь усадьбу получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути, что там у них делается. Днем-то в уборочное время не всегда бывает свободная минута отлучиться по своим делам. Касым, Алиман и Джайнак еще с весны кирпичей саманных паделали, теперь они просыхали, сложенные в штабеля. Канавы прокопали под фундамент да на прошлой неделе навозили с реки бутového камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сваленный посреди двора большой кучей. Суванкул остался доволен работой молодых.

— Ну что ж, начало есть. Камня вполне хватит, еще и останется, — сказал Суванкул. — Закончим уборку — стены поставим, крышу наведем, а остальное по мелочи потом докончим весной. До зимы все равно не управиться. Как ты думаешь, правильно я говорю, Толгонай?

— Правильно, — ответила я, — главное — стены под крышу подвести, а остальное успеется. — И, вспомнив о Джайнаке, я засмеялась. — Вот Джайнак наш все не понимает, говорит, на собрании они постановление записали: назвать новую улицу Комсомольской. А Алиман подшучивает над ним. «Ты, говорит, Джайнак, как Насреддин, ребенок не родился еще, а имя даешь. Ты, мол, женись сначала, дом поставь, улицу построй, тогда и придумывай название». А Джайнак спорит: «Ты, говорит, ничего не понимаешь».

Суванкул тогда покачал головой, усмехнулся:

— Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он-таки правильно придумал. Ведь это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года в год. В айле уже не вмещаемся, новые улицы застраиваем. Это хорошо. Ну а когда улица станет, то посмотришь, сын твой будет прав...

В тот час, когда мы вели этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей...

3

— Подними голову, Толгонай, возьми себя в руки.

— Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь, земля родная, тот день?

— Помню.... Я ничего не забываю, Толгонай. С тех пор как стоит мир, следы всех веков во мне, Толгонай.

Не вся история в книгах, не вся история в людской памяти — она вся во мне. И жизнь твоя, Толгонай, тоже во мне, в моем сердце. Я слышу тебя, Толгонай. Сегодня твой день.

4

На другое утро солнце еще не всходило, мы приступили к работе. В тот день мы начали жать новую полосу хлеба на самом обрыве у реки. Полоска была такая, что комбайну не развернуться, а колос уже сухой стоял — с краю всегда раньше поспевают. Только мы развернулись цепочкой, сжали снопа по два, как вдруг на той стороне показался скачущий всадник. Он выскочил из-за крайних дворов Заречья и, оставляя за собой хвост пыли, поскакал напрямик, через кустарники, через камыши, точно за ним кто гнался. Конь вынес его на прибрежный галечник. Но он, не сворачивая, погнал коня прямо по камням к реке. Мы удивленно разогнули спины: что за нужда гонит этого человека, почему он не сворачивает к мосту, который был ниже верстах в двух по течению? Всадник оказался русским парнем. Он с ходу понукнул рыжего жеребца к воде, и мы все замерли: что он, ищет гибели? Разве можно в такое время шутить с рекой: при разливе не то что коня — верблюда унесет, костей не соберешь.

— Э-эй, куда ты, остановись, остановись! — закричали мы.

Он что-то кричал нам, размахивая руками, но из-за гула реки ничего не разобрать, слышно было только протяжное:

— ...а-а-а-а...

Мы ничего не поняли. И тогда он вздыбил рыжего жеребца и, нахлестывая плетью, бросил его в стремнину. Вода сразу подхватила всадника. Среди бурунов только мелькала голова коня с прижатыми ушами и оскаленной мордой. Всадник обеими руками уцепился за гриву. Фуражку снесло с его головы, она закружилась в волнах. Мы метались по обрыву. Вода быстро уносила всадника, но он, приноровясь к течению, наискось пробивался к берегу. Его снесло далеко, и вышел он на берег ниже мельницы. Все мы облегченно вздохнули. Одни восхитились смелостью всадника, хвалили его: «Молодец!» Кто-то сказал, что неспроста это, надо бы разузнать, а другой недовольно вставил:

— Пьяный дурак какой-то куражится, а вы будете бегать следом!

На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда, — подумала я, — трезвый человек не стал бы так рисковать собой».

Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился, — а он в тот день обкашивал загон возле мельницы, — я не придавала этому значения: ремень приводной соскочил или цепь порвалась, мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным, страшным голосом:

— Мама!

Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки.

— Что с тобой? Змея, что ли? — бросилась я к ней.

Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые, испуганные глаза, и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики, со всех сторон прямо по пшенице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бречках, нахлестывали кнутами коней.

— Что-то случилось, мама! — закричала Алиман и бросилась бежать.

Чьи-то слова резанули ухо:

— Под нож кто-то попал! Или в барабан закрутило! Бежим!

И все жнецы кинулись вслед за Алиман.

«Сохрани, боже! Сохрани, боже!» — взмолилась я, воздевая на бегу руки; прыгая через арык, с маху упала, вскочила и снова пустилась бежать. Ох как я бежала тогда по пшенице! Крикнуть хочу, чтобы подождала меня, но не могу, голос пропал.

Когда я добежала наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала. Рванулась через толпу: «Стойте! Отойдите!» — люди расступились, а когда я увидела подле комбайна Касыма и Алиман, стоящих рядом, я потянулась к сыну, как незрячая, с дрожащими руками. Касым шагнул навстречу, подхватил меня.

— Война, мама! — услышала я его голос будто издали.

Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое.

— Война? Ты говоришь, война? — переспросила я.

— Да, мама, война началась, — ответил он.

А до меня все еще неясно доходило, что таилось за этим словом.

— Как война? Почему война? Ты говоришь, война? — повторяла я это странное, это страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха и этой неожиданной вести.

Слезы потекли по моему лицу, а женщины, глядя на меня, заголосили, запричитали.

— Тише! А ну, замолчите! — раздался в толпе чей-то мужской голос.

Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что, мол, это неправда. Но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Только стало так тихо в степи, что явственно донесся с реки громяющий гул воды. Кто-то шумно вздохнул, шевельнулся. Все опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая стоящих вокруг людей, Касым негромко пробормотал, словно бы для себя:

— Теперь надо быстрее управляться с хлебом, а не то под снегом останется. — Он помолчал и вдруг, резко вскинув голову, приказал штурвальному: — Что стоишь? Заводи мотор! А вы все что смотрите? Не успеем с уборкой, вам же придется туго! Давай за работу!..

Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в мокрой с головы до ног одежде, держа под уздцы потемневшего жеребца. Когда люди задвигались, нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову и стал подтягивать подруги седла. И я увидела, что он был совсем молоденький парень, ровесник моему Джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли ко лбу, на губах и лице — свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишечьи, в тот час смотрели с таким суровым страданием, что я поняла: только что он остановил юность, только что возмужал, сегодня, в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших айльских ребят:

— Слушай, друг, ты скачи сейчас, разыщи председателя, бригадиров, передай, чтоб немедленно отправлялись в райком. А я поеду, мне еще в два колхоза. — С этими словами он сел на коня и тронул поводья.

Но тот, к кому он обращался, остановил коня:

— Постой, шапку-то у тебя унесло. На, надень мою.
Жарко сегодня.

Мы долго смотрели вслед юному гонцу и слушали, как тревожно рокотала сухая дорога под копытами рыжего, уносящегося птицей жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника. А мы еще стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чем-то своем, и, когда разом взревели моторы комбайна и трактора, люди вздрогнули и посмотрели друг другу в лица.

С этой минуты началась новая жизнь — жизнь войны...

Мы не слышали грохота сражений, но слышали наши сердца и крики людей. Сколько жила я на свете, не знала такой палящей жары, такого зноя. Плюнешь на камень — и слюна кипит. А хлеба созрели сразу, за три-четыре дня: сплошь стояли сухие и желтые, простирались под самый полог неба и ждали жатвы. Какое богатство было! И тяжело мне было смотреть, сколько добра пропадало в спешке. Сколько было потоптано, растеряно, растрясено по дорогам. Мы так спешили, что не успевали вязать снопы, кидали пшеницу вилами в мажары — и быстрее за молотилку, на тока, а колосья сыпались и сыпались по пути. Но и это ладно, еще тяжелее было смотреть на людей. Каждый день уходили по повесткам в армию, а те, что оставались, работали. И в полуденную жару, и в душные суховейные ночи — на жатве, на молотбе, на обозах все работали, не зная сна, не покладая рук. А работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчин оставалось все меньше и меньше. Касым, бедный сын мой, неужто думал он сам одолеть то, чего было уже невпроворот: жатва безнадежно затягивалась, а он, как одержимый, гонял свой комбайн по полю. И комбайн его не смолкал ни днем, ни ночью, снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскаленной пыли с загона на загон. Все эти дни Касым не сходил с комбайна, не отходил от штурвала. Днями стоял он на мостике под жгучим ветром, как коршун всматривался в мутное зарево, за которым скрывались еще не убранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его черное лицо, на его свалившиеся, заросшие бородой щеки. Сердце обливалось кровью. «Ой, пропадет он, свалится на солнце», — думала я, но сказать не решалась. Знала я по злему блеску в его глазах, что не отступится он, до последнего часа будет стоять на жатве.

И час тот пришел. Как-то побежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поникшей головой.

— Повестку прислали ему, — тихо сказала она.

— Когда?

— Только что, с нарочным сельсовета.

Я знала, что рано или поздно придет черед Касыму идти в армию, как и многим другим. И все же, когда услышала я эту весть, ноги мои подогнулись. И такая боль заняла в намаявшихся руках, что я выронила сери и сама села на землю.

— Что ж он там делает, собираться надо, — проговорила я, с трудом совладав с дрожащими губами.

— К вечеру, говорит, приду. Я пойду, мама, а вы скажите отцу. И Джайнака не видно сегодня. Где он пропадает?..

— Иди, Алиман, иди. Да тесто поставь. Я подойду скоро, — сказала я ей.

А сама как сидела, так и осталась сидеть на жнивье. Долго сидела так. Сил не было поднять с земли платок, упавший с головы. И вот тогда, смотрю я, муравьи цепочкой бегут по тропке. Они тоже трудились, тащили солому, зерна и не подозревали, что рядом сидел человек со своим горем, тоже труженик, во всяком случае, не меньше, чем они, труженик, который завидовал в ту минуту даже им, муравьям, этим крошечным работягам. Они могли спокойно делать свое дело. Если бы не война, разве стала бы я завидовать муравьиной жизни, стыдно говорить...

Тем временем Джайнак прикатил на своей бричке. Он в те дни на комсомольском обозе работал по вывозке хлеба на станцию. Видно, узнал о повестке брата и приехал за мной. Джайнак соскочил с брички, поднял платок и накинул мне на голову.

— Поедем, мама, домой, — сказал он и помог мне встать на ноги.

И мы молча поехали. За последние дни Джайнак неузнаваемо изменился, посерьезнел. Чем-то он очень напоминал мне того русского парня, нарочного. Такая же суровая душа поселилась в его детских глазах. В эти дни он также распростился с юностью. Многие тогда распростились с ней... Думая о Джайнаке, вспомнила, что давно уже нет вестей от Маселбека. «Что там с ним? В армию взяли или что? Почему не пишет, почему не может прислать хоть бы коротенькую весточку? Знать, отвык от дома, позабыл отца-мать, зачерствел там, в городе. Да и ка-

кая сейчас учеба, лучше бы уж приезжал домой, что там теперь делать», — уныло думала я, сидя на бричке, и потом спросила у Джайнака:

— Джайнак, ты вот едешь на станцию, как там, не слышать случайно, скоро закончится война?

— Нет, мама, не скоро, — ответил тогда Джайнак. — Плохи сейчас наши дела. Немец все гонит и гонит. Вот если бы нашим удалось где-нибудь удержаться да обломать им разок бока, тогда мы пошли бы. Думаю, скоро это случится. — Он замолчал, погоняя коней, потом оглянулся и сказал мне: — А ты, мама, боишься? Очень, да? А ты не думай, не надо, мама, тебе думать, не беспокойся. Все будет хорошо, вот посмотришь.

Эх, глупый мой мальчишка, это он решил успокоить меня так, пожалел. Да разве же можно было не думать? Закрой я глаза, заткни уши — и все равно думать не перестала бы.

Приехала домой, а там Алиман сидит, плачет: тесто еще не замесила. Зло взяло меня, хотела было пристыдить ее: «Что, мол, ты, лучше других, что ли, все идут, не один твой муж. Разнюнилась, руки опустила. Нельзя так. Как же мы будем жить дальше?» Но раздумала, не стала выговаривать. Пожалела молодость ее. А может, напрасно, может, надо было сразу с первых дней опалить ей душу, чтобы потом ей легче было. Не знаю, только я тогда ничего не сказала.

Касым пришел к вечеру, почти на закате солнца. Как только он появился в воротах, Алиман бросила подтапливать очаг, в слезах кинулась к нему, повисла на шее.

— Не останусь, не останусь я без тебя, умру!

Касым пришел прямо с комбайна, как был, в пыли, в грязи, в мазуте. Он снял с плеч руки жены и сказал:

— Постой, Алиман. Грязный я очень. Ты бы дала мне мыла, полотенце, пойду искупаюсь в реке.

Алиман обернулась, глянула на меня, я поняла. Сунула ей ведро порожнее:

— Принеси заодно воды.

В тот вечер они вернулись с реки поздно, луна уже на три четверти поднялась. Дома я управлялась сама да Джайнак помогал. А к полуночи и Суванкул заявился. Я-то все ждала, думала, куда он запропастился. А он, оказывается, еще днем поскакал в горы, иноходца савра-сого привел из табуна. Мы его еще жеребенком покупали для Касыма, когда он трактористом начал работать. Добрый был иноходец, резвый на побегку, с крепкими, гул-

кими копытами, в белых чулках задние ноги. На весь аил был известный, девушки в песнях пели:

...Как заслышу иноходца по дороге,
Выбегаю глянуть со двора...

Отец решил, видно, чтобы сын поездил на своем саврасом иноходце хоть день-два на прощанье.

Рано утром мы все выехали из аила в военкомат. Мы с Алиман на бричке Джайнака, а Касым с отцом на своих конях. То было время самых больших мобилизаций. Народу было еще много. Как глянула я на шоссе на дорогу — черным-черно, один конец в Большом ущелье, а другого не видно. Понаехало народу со всех поселков на конях, на быках. А в райцентре двинуться некуда от людей, от бричек. И детишки здесь, и старики, и старухи. И все возле своих толкуются, ни на шаг не отстают. Кто плачет, а кто уже и подвыпил. Но недаром говорится: народ — море, в нем есть глубины и мели. Так же и здесь, в этих гомонящих проводах на войну, были твердые, ясные джигиты, которые держались, говорили к слову и даже веселили народ, пели и плясали под гармонию. Киргизские и русские песни сменяли друг друга, а «Катюшу» пели все. Вот тогда-то я и узнала эту песню.

Мобилизованные не вместились в широком дворе военкомата, их построили рядами посреди главной улицы села и стали выкликать каждого по фамилии и имени. Народ сразу затих, затаил дыхание. Глянула я на тех, кто уходил на войну, — горячая волна подкатила к горлу. Все они были как на подбор молодые, здоровые джигиты. Им бы только жить да жить, да работать. Каждый раз, когда выкликали кого-нибудь по списку, он отвечал «я» и бросал взгляд в нашу сторону. Я невольно вся вздрогнула, когда услышала «Суванкулов Касым», и новая волна горячей боли застлала мне глаза. «Я», — ответил Касым. А Алиман крепко стиснула мою руку. «Мама», — прошептала она. Что ж я могла поделать, понимала я: трудно, страшно было ей расставаться, но кто может стоять в стороне от народа, да еще в лихие дни. Эх, Алиман моя, Алиман, и она понимала, что это нужда военная, нужда всей страны, но не знала я в жизни женщины, которая бы так любила своего мужа, как она.

В тот день мы вернулись в аил, узнали, что отправка будет через сутки. Касым уговорил нас уехать домой: незачем, мол, здесь томиться, забегу по дороге попрощаться. Благо колхоз наш лежит у большака. Мы оставили

для Алиман лошадь Суванкула, а сами поехали вместе с другими на телеге. Джайнак тоже оставался в районе, он должен был везти на своей бричке мобилизованных на станцию.

Ночью, войдя в опустевший дом, я дала себе волю, заплакала слезами. Суванкул вскипятил чай, налил мне погуще, заставил выпить и потом сказал, сидя рядом:

— Кто мы были с тобой, Толгонай? Вот с этим народом мы стали людьми. Так давай поровну будем делить с ним все — добро и беды. Когда хорошо было, все были довольны, а теперь, выходит, каждый будет думать только о себе да на судьбу свою плакаться? Нет, так будет нечестно. Завтра держи себя в руках. Если Алиман убивается — так это дело другое, она не видела в жизни того, что мы видели. А ты — мать. Запомни это. А потом, учти, если война подзатянется, то и я уйду, и у Маселбека годы выйдут, и его могут призвать. Если потребуются, все уйдем. Так что, Толгонай, готовь себя ко всему, привыкай.

На другой день после полудня началась отправка. Касым и Алиман опередили колонну, прискакали на рысях. Касыму разрешили заехать домой попрощаться. Глаза Алиман опухли, как волдыри, видно, всю дорогу плакала. Касым старался держаться, крепился, но ему было нелегко. Вот уж не знаю, что заставило Касыма придумать такое: то ли он побоялся за Алиман, решил как-то облегчить ей расставание, то ли и вправду ему было сказано так, но он, как только сошел с коня, сразу попросил нас не ехать на станцию. Касым сказал, что, может быть, еще вернется домой, потому что трактористов и комбайнеров решили пока не призывать до конца уборки. И если приказ поспеет, то их могут вернуть со станции. Теперь-то я понимаю, что он пожалел Алиман, пожалел нас. До станции почти день езды, а каково возвращаться назад — ведь дорога станет нескончаемой, слез не хватит. А тогда я поверила: говорят, надежда живет в человеке до смерти. И когда мы вышли провожать его к большаку, я уже сомневалась.

По дороге с Касымом прощались все, кто работал на уборке. Прибежали жнецы, возчики, молотильщики с гумна, и комбайн оказался неподалеку. Помощники Касыма остановили комбайн поблизости и тоже прибежали проститься.

Говорят, кузнец, уходя на войну, прощается с накопальной и молотком. А Касым мой был мастером, кузне-

дом своего дела. Когда комбайн остановился, Касым, разговаривая с односельчанами, глянул на дорогу. В тот момент растянувшаяся колонна мобилизованных с обозом, с конями, с красным знаменем во главе только показывалась на повороте.

— На, отец, поддержи! — Касым отдал поводья саврасого Суванкулу, а сам направился к комбайну. Он обошел его, оглядел со всех сторон. И потом вдруг взбежал на мостик. — Давай, Эшенкул, гони! Гони, как тогда! — крикнул он трактористу.

Моторы, что чуть слышно работали на пол-оборотах, зарокотали, взревели, комбайн загрохотал, залязгал цепями и, выбрасывая из молотилки соломенный буран, пошел захлестывать пшеницу мотвилами. А Касым подставил лицо горячему ветру, смеялся, расправляя плечи, и, казалось, обо всем забыл. Они с трактористом о чем-то перекрикивались, кивали головами, развернулись в конце загона и снова пошли. Комбайн летел по полю, как степная птица. И мы все забыли на минуту о войне. Люди стояли со счастливыми глазами, но больше всех горда была Алиман. Она тихо шла навстречу комбайну и тихо смеялась. Комбайн остановился. Мы снова помрачнели. А Бекташ — сынишка соседки нашей Айши, ему было тогда лет тринадцать, он в то лето солощиком работал на комбайне — кинулся к Касыму и стал целовать его, плакать. Я губы себе искусала, хотела закричать в голос, но, помня наказ Суванкула, не посмела. Касым поднял на руки Бекташа, поцеловал его, поставил парнишку к штурвалу и медленно сошел по лесенке вниз. Мы его обступили. Здесь он простился с помощниками своими, со штурвальным и трактористом. Надо было поторапливаться. Колонна на большаке поравнялась уже с нами.

Вот так мы провожали Касыма. А когда настала минута садиться ему на коня, то Алиман, бедная Алиман, не посмотрела ни на старших, ни на малых — крикнула и замертво повисла у него на плечах. А сама без кровинки в лице, только глаза горят. Мы ее силком оторвали. Но она вырвалась и снова бросилась к мужу. И вот так каждый раз, как дитя малое, тащила Касыма за руку, не давала ему ногу вдеть в стремя. Молила его:

— Пстой! Минутку! Еще одну минутку!

Касым целовал ее, уговаривал:

— Да не плачь ты так, Алиман! Вот увидишь, я завтра же вернусь со станции. Поверь мне!

И тогда Суванкул сказал снохе:

— Ты иди, Алиман, проводи его сама до дороги. А мы простимся здесь. Не будем задерживать. — Суванкул взял сына за руку и тихо сказал: — Посмотри мне в глаза.

Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ты меня понял? — спросил отец.

— Да, отец, понял, — ответил сын.

— Ну, отправляйся с богом! — Суванкул сел на коня и, не оглядываясь, поскакал прочь.

Прощаясь со мной, Касым сказал:

— Если будет письмо от Маселбека, пришлите его адрес.

Касым и Алиман пошли к дороге, ведя на поводу саврасого иноходца. Я не спускала с них глаз. Колонна на большаке уже уходила. Сначала Алиман бежала, ухватившись за стремя, потом Касым нагнулся с седла, поцеловал ее в последний раз и пустил саврасого большой иноходью. А Алиман все бежала и бежала за пылью копыт. Я пошла следом, привела ее домой.

На другой день к вечеру со станции вернулся Джайнак, расседланный иноходец был привязан к заднику брички.

5

Вдали шла битва, лилась кровь, а нашей битвой была работа. Правильно предупреждал Касым: сколько мы ни старались, а последние хлеба снег прихватил на корню и на гумнах. Картошка кое-где осталась под снегом, не успели выкопать. Мужчины уходили один за другим, изо дня в день все на фронт. А мы с утра до вечера в колхозе, разговоры только о войне — как там да что там, и самым желанным человеком в домах стал почтальон.

После того как проводили Касыма, неделю спустя пришло письмо от Маселбека. В первом письме он писал, что его с товарищами по учебе призвали в армию, местопребывание пока там же, в городе. Он просил не печалиться, что не пришлось увидеться, попрощаться, — кто мог знать, что так случится, жалеть об этом не надо, самое главное — вернуться с победой. Второе письмо он прислал уже из Новосибирска. Писал, что учится там в командирском училище, и фотокарточку свою прислал. Эта карточка и сейчас висит под стеклом, потускнела уже. Красивая фотография: военная форма ему идет, густые волосы зачесаны назад, а глаза смотрят чуточку печали-

но, задумчиво. Таким он мне и снится до сих пор... Алиман только раз видела Маселбека, когда он приезжал на денек на свадьбу брата.

— Смотри, мама, а Маселбек наш красивый парень, оказывается, — говорила она, разглядывая фотографию. — В тот раз я его и не разглядела толком из-за занавесок, неудобно мне было, невесте, пялить оттуда глаза, постеснялась. Вот хорошо было бы, если бы он вернулся и нашел себе девушку, такую же образованную, как он сам, и красивую. Правда, хорошо было бы, да, мама?

Я соглашалась и сама начинала мечтать об этом дне.

До середины зимы более или менее спокойно было у меня на душе, письма получала от сыновей и довольствовалась этим. Но тут пришло письмо от Касыма, что направляются они в сторону фронта. И затаился в душе страх, сердце замирать стало. А тут еще Суванкула начали то и дело вызывать по повесткам в военкомат. Что ни день — то на комиссию, то на учет, то на переучет. Он прямо извелся, разрываясь между поездками в военкомат и бригадирскими делами в колхозе. Я почему-то не думала, что Суванкула возьмут в армию: ведь без бригадира в колхозе все равно что без рук. Однако призвали и его. Узнала я об этом на току, где мы домолачивали прихваченный снегом хлеб. Я как узнала — уткнула вилы в солому, прислонилась лицом к холодному черенку и стояла так, с мыслями не могла собраться. Как быть, как жить дальше? Двое сыновей уже там, теперь муж уходит туда же, на фронт...

Тут и сам Суванкул прискакал, молча слез с коня, подошел ко мне и сказал:

— Пошли домой, собираться надо.

Я ехала на лошади, а он шел рядом, сказал, что разговаривать на ходу будет удобнее. Но разговор наш не клеился, больше молчали. Не оттого, что не о чем было, а оттого, что тяжело было, сковывалось все внутри, слово выдавить страшно. Так мы и двигались — я на коне, а он пешком. Мутные, серые тучи застилали небо. С Желтой равнины тянуло сиверком, поземка пошевеливалась, кураи посвистывали к бурану. Я глянула по сторонам — поле лежало унылое и пустое. Без людей, без звуков, без движения, холодное и сумрачное.

Суванкул шел, курил сигарку за сигаркой. Потом взял меня за руку.

— замерзла? — спросил он.

Я ничего не сказала. И он, собираясь что-то сказать, промолчал. Может, хотел поделиться думкой: «Вот, мол, ухажу вслед за сыновьями. Как оно там будет, суждено ли вернуться домой или же нет... Может, нынче навеки распрощаемся. Если так, то что ж, столько лет прожили мы в дружбе и согласии. Если что, простим друг другу. Неизвестно ведь, как обернется судьба». Хотел ли он сказать эти слова или другие, кто его знает, только тогда, глядя мне в лицо, он стоял молча, прикусив губы. Мне бросилось в глаза, что в бурых усах его начал пробиваться седой волос. Раньше я этого как-то не замечала.

Вспомнила я, как мы с Суванкулом встретились на этом поле молодыми, как двадцать два года вместе трудились здесь, проливали пот, детей растили, хлеб растили, и вся наша жизнь в мгновение предстала перед глазами. Не думала не гадала я никогда, что придется нам так разлучаться, быть может, навсегда. Вспомнила, как мы летом, в первый день жатвы, ночью ехали на коне по этой же дороге. Увидела, что новая улица на краю айла осталась заброшенной и недостроенной, увидела на усадьбе Алимана и Касыма кучу камней и кирпичей, упала на гриву коня и зарыдала. Долго плакала я. Суванкул молча терпеливо ждал, а потом сказал:

— Ты, Толгон, выплачь сразу все, что-на душе, тут никого нет, но отныне при людях не показывай слез. Ты теперь остаешься не только хозяйкой дома, не только головой над Алиманом и Джайнаком, тебе придется и бригадиром остаться вместо меня. Больше некому.

Я еще пуще залилась слезами:

— На кой черт мне твое бригадирство? Как ты можешь говорить об этом в такой час? Не нужно мне ничего. Слышать даже не хочу!

Но вечером меня вызвали в контору правления колхоза. Здесь были наш новый председатель — раненый фронтовик Усенбай, Суванкул и еще несколько стариков, айльных аксакалов, Усенбай сразу сказал мне:

— Что ни говори, тетушка Толгонай, а придется по-мужски, крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня. Землю, и воду, и народ нашего айла никто лучше вас не знает. Мы вам верим, верим еще и потому, что вам верит наш лучший бригадир, которого мы теперь, стиснув зубы, провозжаем на фронт. Ничего не поделаешь. С завтрашнего дня беритесь за работу, тетушка Толгонай.

Аксакалы тоже стали советовать. В общем, уговорили меня, согласилась я быть бригадиром. Да и как было не

согласиться? Разве я не понимала, какое время мы переживали? Правильно я поступила, хотя бы даже потому, что это была последняя воля моего Суванкула. В ту ночь он до утра не спал, все наказы мне давал. Начиная готовиться к весне, тягло поставь на отдых, отремонтируй плуги, бороны, брочки... Присмотри за многодетными семьями, за стариками... То делай так, это эдак... Эх, беспокойный человек мой, милый муж мой, друг сердечный...

И до самого утра не утихала на дворе метель, ветер гудел в трубе.

Суванкула мы провожали тоже на большаке. Он сел в брочку Джайнака вместе с такими же пожилыми людьми, и они укатили по бурану, скрылись в снежной мгле. Ох как холодно было, лютый ветер лицо обжигал! Я шла медленно, часто оглядывалась и всхлипывала, плакала.

С того дня, как сказал наш председатель Усенбай, туго подпоясалась я, села на коня и вступила в свои обязанности бригадира. И сейчас эта работа не из легких, не каждому по плечу, а тогда и подавно — мука одна. Здоровых мужчин не осталось — больные да хромые, а остальные работники — женщины, девушки, дети, старики. Все, что добывали, отдавали фронту. А в хозяйстве телеги без колес, упряжь — обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и угля нет. Стали мы жечь джерганак колючий по суходолу в поймище, тем и не давали гаснуть горну. А житье не прежнее, голод застучался в дома. И все же мы делали все, чтобы не остановилось хозяйство колхозное, тянули его, сколько хватало сил. Как вспомню теперь: ради дела к кому с добрым словом подойдешь, к кому с выговором, а то чуть и не за волосы таскались, всякое бывало, чего я только не натерпелась тогда... А все равно и сейчас в ноги кланяюсь народу за то, что в те дни народ не разбрелся, остался народом. Тогдашние женщины — теперь старухи, дети — давно отцы и матери семейств, верно, они и забыли уже о тех днях, а я всякий раз, как увижу их, вспоминаю, какими они были тогда. Встают они перед глазами такими, какими были, — голые и голодные. Как они работали тогда в колхозе, как они ждали победы, как плакали и как мужали! Не знают они, что бессмертные дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не пожалею я, что работала бригадиром. С самого рассвета я была уже на ногах, на колхозном дворе, потом целый день в седле, то туда надо, то сюда, то в степь, то в горы, с вечера до поздней ночи в конторе — вот так и не

замечала, как пролетали дни. Быть может, меня это и спасло. И пусть иной раз с досады, с горя ругали меня, хватили за горло, бросали работу — не в обиду я. Нет, в таких случаях я больше наваливала работу на Джайнака и Алиман, днем и ночью не было им покоя, и тоже не каюсь, что гоняла их безжалостно. А не то тягостные мысли, страх задавили бы нас — ведь три человека из одной семьи на войне, разве можно было не думать? От Касыма второй месяц не было ни слуху ни духу. Мы с Алиман прячем глаза, чтобы не заговорить о том, что и без того страшно, — о Касыме. Если разговаривали, то о том о сем, о работе, о хозяйстве, по дому. Как дети, старались не напоминать.

В один из зимних дней с утра побежала я в кузницу помочь. Там перековывали наших рабочих коней. Смотрю, председатель наш Усенбай летит на рысях, а в руке у него бумажка небольшая, с ладонь. Телеграмма, говорит, вам срочная. У меня дух перехватило. Слышу только, как в кузнице молоты стучат по наковальне, точно бьют меня по груди. Видно, лица на мне не было.

— Да вы что, тетушка Толгонай! — вскричал председатель. — Это же телеграмма от Маселбека, из Новосибирска. Да подойдите же, возьмите, не бойтесь! — И, нагнувшись с седла, отдал мне эту бумажку. — Вы, — говорит, — немедленно отправляйтесь на станцию, сын ваш будет проезжать, хочет увидеться, просит встретить. Я там велел заложить вам бричку, сена, овса лошадям велел прихватить. Не стойте, собирайтесь в дорогу.

И такая радость обуяла меня! Засуетилась я, забежала по кузнице и не знаю, что делать. Кузнецы прогнали меня.

— Сами, — говорят, — управимся, бригадир, езжай быстрее на станцию, чтобы не опоздать.

И побежала я домой. Сама толком не понимаю, что к чему. Знаю только одно: что Маселбек просит приехать на станцию, что Маселбек просит увидеться. Бегу по улице, жарко от мороза, пот прошиб. Бегу и сама с собой разговариваю, как ненормальная:

— Что значит просит? Да я, сынок мой, пешком тысячу верст буду бежать к тебе, как на крыльях долечу!

Эх, мать, мать... Не подумала я в тот час, куда же проезжает мой сын, в какую сторону.

Прибежала домой, наспех всякой снеди наделала, мяса наварила, ведь там небось Маселбек не один, а с товарищами, пусть угостит их домашней стряпней. Уложила

все это в переметный курджун, и в тот же день мы с Алиман выехали на станцию. Сперва я хотела поехать с Джайнаком. Но он сам отказался.

— Нет, — говорит, — мама, лучше будет, если поедет Алиман, а я дома останусь по хозяйству. Так оно будет вернее.

Потом-то я поняла; правильно поступил мой младший сын. Хоть и мальчишка он был, а неглупый. Он-то, оказывается, догадывался, что творилось на душе Алиман в те дни, как она переживала и страдала. Джайнак сам сбегал на сенной двор, где работала Алиман, сам позвал жену брата. Давно я не видела невестку такой радостной. Засветилась вся, загорелась, захопотала больше, чем я, и стала торопить меня:

— Быстреей, мама, быстреей собирайся. Вот твоя шуба, вот платок пуховый, одевайся, поехали!

И в дороге тоже места себе не находила.

— Погоняй, погоняй быстреей! — торопила она возчика, а иногда выхватывала у него из рук вожжи и сама, гикая, нахлестывала лошадей.

Бричка ходко катила по наезженному насту, лошади шли бодро, мягко гремели, мягко постукивали колеса на смазанных осях. Всю дорогу шел снег — ровный такой, веселый. Стоял легкий морозец. Алиман была в снегу, но она не знала, как это ей идет. Снег густо налипал ей на голову, на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и ее пшеничная смуглость, с разлившимся на щеках румянцем, ее сияющие, черные быстрые глаза и белые зубы казались еще красивее. В молодости человеку все идет — даже снег. Алиман не умолкала всю дорогу. То она просила меня молчать, когда сойдет с поезда Маселбек, не говорить о ней: узнает он ее или нет? То собиралась незаметно подойти к Маселбеку сзади и закрыть ему глаза: что скажет он, перепугается, наверно, скажет, кто это еще здесь с шутками глупыми? И сама смеялась, хохотала над своими придумками. Эх, Алиман, Алиман, невестушка моя сердечная! Неужто думала она, что не догадываюсь я, почему она вела себя так. Да она и сама проговорилась. Замолчала вдруг, перестала смеяться и тихо пробормотала:

— Маселбек очень похож на Касыма. Они как близнецы, правда ведь?

Я сделала вид, будто не расслышала. А она помолчала, думая о чем-то своем, и потом снова выхватила вожжи у паренька и снова, гикая, погнала лошадей.

К вечеру мы были уже на станции. Только остановили мы бричку — сразу же побежали с Алиман на пути, словно Маселбек должен тотчас же прибыть. Там никого не было. Мы огляделись по сторонам и приуныли, стоим, как сироты, куда идти, что делать — не знаем. Между рельсами по шпалам бежала поземка. Паровоз ползал назад и вперед, со скрежетом и лязгом страгивал заиндевевшие, примерзшие к месту вагоны. В проводах посвистывал ветер.

Нам не приходилось раньше встречать поезда, мы даже не догадались расспросить кого-нибудь, что к чему — когда поезд надо ждать. Тем временем издали послышался гудок паровоза, показался поезд.

— Идет, мама! — сказала Алиман.

У меня коленки задрожали, страшно стало. Поезд быстро приближался. Вот и паровоз прошел в снежной пыли. Поезд остановился. Мы бросились бежать вдоль состава. В вагонах было битком народу. Женщины, дети, но много и солдат. Кто его знает, кто они были и куда ехали. Мы останавливались возле каждого вагона и спрашивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек? Скажите, пожалуйста, нет здесь Суванкулова Маселбека?

Одни отвечали, что не знают, другие молчали, а иные усмехались. Пока мы бегали, поезд тронулся и ушел. Всего-то три минуты, оказывается, остановка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. Тут к нам подошел пожилой русский железнодорожник в черном полгубке, в валенках. Я заметила его, как он выходил навстречу поезду. Он спросил нас, кого мы ожидаем. Мы рассказали ему, дали почитать телеграмму Маселбека. Он надел очки, долго шевелил губами и сказал затем:

— Сын ваш едет воинским эшелоном. А какой эшелон и в какой час он будет проходить по станции — неизвестно. Если не опоздает, то должен сегодня ночью или завтра прибыть. А может быть, эшелон уже прошел. Сколько теперь эшелонов каждый день в ту или другую сторону проносится, иные и не останавливаются даже, напролет идут.

Мы совсем повесили головы.

— Эх, война, война, — вздохнул железнодорожник, — перевернула всех вверх дном! Ну что ж вы будете стоять на ветру? Идите на станцию, там комнатка для ожидаю-

щих есть. Сидите там, а когда поезда будут проходить, выходите встречать... Другого выхода нет.

В станционной комнатке было человек десять. Они лежали на скамейках. Жизнь, должно быть, погоняла их по дорогам, по станциям, привыкли, наверно, чувствовали себя здесь как дома. Одни спокойно спали, другие переговаривались, курили, в углу двое пили из жестяных кружек горячий кипяток — обжигались, дули на воду, а один тихо наигрывал на гитаре и что-то тихо напевал себе под нос. Десятилинейная лампа с разбитым нечищеным стеклом помигивала, коптила. Оглядевшись в полутьме, мы с Алиман тоже примостились с краю скамейки. Посидели немного, но тут послышался шум поезда, и мы опротянувшись к двери. Ветер во тьме рванул за полы и рукава. Поезд был сплошь из товарных вагонов. Салдат в них не видно было, но мы бежали вдоль поезда и выкрикивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек?

— Суванкулов Маселбек здесь?

Никто не откликнулся, никого не было. Когда мы вернулись на станцию, там уже все спали.

— Мама, приляг немного, отдохни, а я постерегу поезд, — сказала Алиман.

Я прислонила голову к плечу невестки, думала, вздремну, но где там. Какой мог быть сон? Да и как можно думать о сне, если не только слухом — сердцем, разумом угадываешь приближение поездов, но даже чувствуешь под ногами за тридевять земель первое неуловимое содрогание пола и сразу спохватываешься. С какой бы стороны поезд ни шел, мы вскакивали, хватали курджун и выбегали на пути.

Эшелоны шли, но ни в одном из них Маселбека не было. В полночь снова заходила земля под ногами, мы спохватились, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно слышались раскатистые гудки паровоза, поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы, заметались и очутились посреди двух колеи. С оглушительно нарастающими гудками сошлись поезда и, не останавливаясь, все быстрее и быстрее набирая бег, пошли напролет. И застучали колеса, заревел ветер, замотал нас в снежном вихре, норовя кинуть под вагоны.

— Мама! — закричала Алиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятиях и не отпускала.

Я всматривалась в проносящиеся, как молнии, окна:

а вдруг увижу Маселбека, а вдруг мой сын там и я не знаю об этом? Рельсы стонали под бегущими колесами, так же как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собою тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись у фонаря.

До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад-вперед вдоль эшелонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошел с запада еще невиданный нами эшелон: вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всем эшелоне — ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. Пахло дымом, горелым железом, обуглившимися досками и краской.

Наш вчерашний железнодорожник в черном полушубке подошел с фонарем.

Алиман спросила у него шепотом:

— Что это за эшелон?

— Бомбили его, — шепотом ответил он.

— А куда теперь эти вагоны?

— На ремонт, — так же тихо ответил железнодорожник.

Я слушала этот разговор и думала о тех, кто ехал в этих вагонах, кто в дыму, криках и пламени расстался с жизнью, о тех, кому оторвало руки и ноги, кто оглох и ослеп навеки... А ведь эти бомбы — лишь отголосок войны. Что же тогда сама она?

Долго стоял разбитый эшелон на станции, потом тихо тронулся и, печально погромыхая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной тоской в душе: вот и Маселбек отправится туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с Касымом? Как Суванкул? Он писал, что находятся где-то под Рязанью. Ведь это, наверно, не так уж далеко от фронта...

Настало утро. Пора было уезжать — сено у лошадей кончилось. А вдруг Маселбек не проезжал еще, тогда как? Столько ждали, разве не обидно будет? По-всякому думали, решали мы с Алиман. Но уехать не посмели.

Погода была, как и вчера, ветреная, холодная. Недаром называют станционное ущелье караван-сараяем ветров. Вдруг тучи развеялись, и солнышко проглянуло. «Эх, — подумала я, — вот бы и сын мой блеснул вдруг, как солнышко из-за туч, появился бы на глаза хоть разок...»

И тут послышался вдали шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью.

Земля затряслась под ногами, рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах — танки, пушки, укрытые брезентом, подле них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек, и пошли — вагон за вагоном — пронесить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармоней и балалаек. Засмотрелись мы. Тем временем прибежал какой-то человек с красными и желтыми флажками в руках, закричал на ухо:

Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь с путей. — И стал отталкивать нас.

В эту минуту раздался рядом крик:

— Мама-а-а! Алима-а-ан!

Он! Маселбек! Ах ты, боже мой, боже! Он пронесился мимо нас совсем близко. Всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал, прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Маселбек!» И в тот короткий миг увидела его точно и ясно: ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах — радость, и горе, и сожаление, и прощание! И, не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, потом упала. Ох как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, потом и он стих.

И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову пронесится этот эшелон и долго стучат в ушах колеса.

Алиман добежала вся в слезах, опустила рядом, хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Тут подросла русская женщина, стрелочница. И тоже: «Мама! Мама!» — обнимает, плачет. Они вдвоем вывели меня на обочину, и, когда мы шли к станции, Алиман дала мне солдатскую шапку.

— Возьми, мама, — сказала она. — Маселбек оставил.

Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном.

Я ехала домой с этой шапкой в руках; сидя в бричке, крепко прижимала ее к груди.

Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой. Иногда возьму в руки, уткнувшись лицом и слышу запах сына.

— Скажи, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына?

— Не знаю, Толгонай. Такой войны, как в твое время, мир не знал.

— Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи бог никому обнимать железные рельсы и биться головой о шпалы.

— Когда ты возвращалась домой, еще издали можно было догадаться, что ты не встретишься с сыном. Ты была желтая, с запавшими, измученными глазами, как после долгой болезни.

— Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке.

— Бедная моя Толгонай. В тот год седина побила твою голову. А какие были прежде тяжелые и густые твои косы... Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне-то понятно было, по глазам видела, с каждым разом трудней и трудней становилось тебе.

— Да, мать-земля, поневоле станешь такой. Если бы только я одна была — ведь не осталось ни одной семьи, ни одного человека, не схваченного за горло войной. И когда приходили черные бумаги — похоронные, и в айле в один день сразу в двух-трех домах поднимался плач и проклятья, вот тогда закипала кровь и месть темнила глаза, сжигала сердце. Я горжусь, что именно в те дни я была бригадиром, хлебала свое и чужое горе, делила с народом все невзгоды, голод и холод. Потому и выстояла я, за других выстояла, а иначе упала бы я и война растоптала бы меня в пыль. Поняла я тогда, что на войну только одна управа — биться, бороться, побеждать. Иначе смерть! Вот потому-то, поле мое родимое, я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя, молча здоровалась и молча поворачивала назад.

Настал день, когда от Касыма пришло письмо. Я вскочила на коня и пошла галопом, не разбирая пути, через арыки, через сугробы, с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучи навоза, и я закричала им на скаку:

— Суйунчу, суйунчу — радость!

Как же было не порадовать их! Ведь от Касыма два месяца подряд не было ни строчки, не знали мы, что с ним. А в письме он писал, что два раза стоял в обороне под Москвой и оба раза вышел живым. Писал, что немцы остановились, что сломали им зубы, и о том, что полк ихний отвели на передышку.

А Алиман как обрадовалась! Спрыгнула с брочки и наперегонки с Джайнаком, обогнала его.

— Мама, масла в твои уста! — Схватила письмо дрожащими руками, заплась от счастья, читать не может. Только твердит одно: — Жив! Жив-здоров!

Тут подбежали женщины, обступили ее.

— А ну, прочти, Алиман, что пишет муж? Может, о наших что знает?

А она:

— Сейчас, милые, сейчас! — И ни строчки не может прочесть.

Джайнак не утерпел:

— Дай-ка сюда, людям надо прочесть. — Взял письмо и стал читать вслух.

А Алиман присела на корточки, хватает снег горстями и прикладывает ко лбу. Джайнак кончил читать, она встала и даже лицо забыла утереть, стоит с тающими ручейками на лице, разгоряченная, радостная.

— Ну, теперь пойдём работать! — тихо сказала она и медленно пошла по снегу.

Шла и тихо оглядывалась по сторонам. О чем она думала в тот час — кто ее знает, может, о том, как летом бежала она здесь по жнивью к мужу с кувшином в руке. А может, о том, что Касым прощался здесь с комбайном. Алиман, казалось мне, заново переживала все дорогое ей, памятное. Глаза ее то улыбались, то меркли. Она долго смотрела в сторону большака, вспоминала, наверное, как уходил по дороге саврасый иноходец, как гудели его копыта и как она бежала за Касымом.

А Джайнак шел рядом и стал дразнить ее, тормошить:

— Да ты очнись наконец, приди в себя. Ты понимаешь, что над тобой теперь будет смеяться весь аил. Письмо не могла прочитать, эх ты! Я вот напишу Касыму, скажу, что жену твою отдал в школу, снова в первый класс, азбуку учить!

Алиман принялась колотить его, а потом они побежали к брочке и гонялись друг за другом.

А я шла и думала. Конечно, кому же и защищать народ, если не таким джигитам, как мои сыновья! Только бы они живыми вернулись, с победой. А все остальное переживем, перетерпим, пусть кожа да кости останутся, только бы до победы дожить. Скорей бы уж, скорей бы победа! И потому что это было не только моим желанием, а мечтой и целью всего народа, ради этого на все шла, со всем соглашалась.

Даже когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушел на фронт, а ему и восемнадцати еще не было, стиснула я зубы, смолчала, стерпела.

К концу зимы частенько стали его вызывать в военкомат. Не его одного, а многих ребят, обучали их там военному строю. Ну, это было дело привычное, я и не очень беспокоилась. Погоняют, погоняют их там дней десять и распускают по домам. Однажды он что-то быстро вернулся домой, на второй же день.

— Что это тебя так скоро отпустили? — удивилась я. — Или совсем освободили?

— Нет, мама, — ответил Джайнак, — завтра я снова уйду. Разрешили денек побыть дома. В этот раз нас подольше задержат, так что ты не беспокойся.

А я и поверила, нет чтобы догадаться. Ведь он как-то странно вел себя в тот день, словно собирался в дальний путь. С молотком, с гвоздями ходил целое утро, что-то подбивал, приколачивал. А потом, смотрю, дров наколот ку-чу, навоз убрал на задворье, сено, что было сложено на крыше сарая, перебрал, подсушил. К вечеру пришла, смотрю — он двор вымел, привел в порядок развалившиеся конские ясли. Они нужны были, когда отец был дома, он любил коня держать при себе.

— Зачем ты возишься с ними, сынок, летом успеешь починить, — сказала я ему.

Но он ответил, что надо сделать тогда, когда время есть, а потом некогда будет. И тогда недомыслила я, не подумала ни о чем. Ведь он добровольно ушел на фронт, по комсомольскому призыву. А узнали мы об этом, когда Джайнак был уже в пути. Письмо передал он с товарищем со станции. Вот ведь, негодник этакий, сынок мой бедный, хоть ты и написал письмо, но разве можно было так уходить, не простившись? Да пусть я с ума сойду, все равно надо было сказать. Он просил в том письме у нас с Алиман прощения за то, что молча ушел. Так, говорит, легче, отрубить одним разом. Я, говорит, хотел, чтобы вы меньше переживали, чтобы сразу узнали о моем решении

и, узнав, примирились, согласились со мной. Кто его знает, может, он и прав. Конечно, трудно ему было сказать мне в лицо, а может, побоялся, что я стану плакать, отговаривать, упрашивать...

И сейчас, когда я уже лишилась его и прошло уже столько лет, я веду с ним разговор так же, как с матерью-землей.

Джайнак, послушай меня! Пусть тебя не мучит совесть, не в обиде я, нет. Я тогда еще простила тебя, Джайнак, сынок мой младшенький, жеребенок мой, весельчак мой! Думаешь, я не понимала, почему ты ушел, не простившись, почему ты оставил меня одну, почему ты оставил юность, молодость, жизнь свою будущую? Ты был озорной, шумный парень, и не все знали, как ты любил людей. Не смог ты спокойно смотреть на наши страдания и ушел. Ты очень хотел, чтобы люди оставались людьми, чтобы война не калечила в людях живую человеческую душу, чтобы она не вытравляла из них доброту и сострадание. И ты все сделал для этого. На свете остаются жить только добрые дела, все остальное исчезает. И твое доброе дело осталось жить. Ты давно погиб, пропал без вести. Ты писал, что ты парашютист. Что три раза ходил в тыл врага. И вот в какую-то темную ночь сорок четвертого года ты спрыгнул с самолета вместе со своими товарищами, чтобы помогать партизанам, и пропал без вести. Погиб ли ты в бою, или шальная пуля настигла, или попал в плен, или в болоте утонул — никто не ведает. Но если б ты был жив, то хоть маленькая весточка объявилась бы за эти годы. Да, Джайнак, вот так и не стало тебя. Ты ушел совсем молодым, восемнадцати лет, и не очень крепко остался в памяти людей. Но я помню тебя и всякий раз вспоминаю, как ты ушел на фронт, не посмеяв сказать мне об этом, потому что ты любил и жалел меня. Вспоминаю, как ты отдал мальчику на станции свой полушубок. Увидел на станции семью эвакуированную — мать и четверых детей, и отдал старшему мальчишке, совсем раздетому, полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке — зуб на зуб не попадает. Может быть, и он, став взрослым человеком, иногда вспоминает тебя, мальчишку, потому что теперь ты намного моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Ведь добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится.

Эх, что теперь говорить, словами не поможешь. Сколько людей война погубила. Если бы не война, каким кра-

сивым, душевным человеком жил бы на свете мой Джайнак!

Сын мой, обидно мне, из двенадцати цветов жизни ты не сорвал ни одного. Ты только начинал жить, и я даже не знаю, какую девушку ты любил...

Последняя свеча горит в душе моей, скоро она погаснет. Но я все помню, помню и тот злосчастный день, когда приехал за мной тот старик на пахоту.

Было это ранней весной. Подснежники еще не сходили, бороньба только началась. С Желтой равнины шел внизу теплый ветер, зябь просыхала, трава на солнце пошла зеленеть.

В тот день мы как раз только начали пахоту. Я ехала на коне шагком вслед за трактором, вдыхала земной дух борозды и подумывала про себя, что очень давно нет вестей от Суванкула и Касыма.

Тем временем приехал сюда старик наш один, вроде бы не по очень срочному делу. Я ему сказала:

— Кстати приехали, аксакал, благословите с добрым началом пахоты.

Он развернул ладони, сидя на коне, и, поглаживая бороду, прошептал:

— Пусть покровитель хлеборобов Дыйкан-баба побудет здесь, пусть урожай будет, как половодье. — А потом сказал мне: — Тебя, Толгонай, вызывает начальник какой-то из района. Приказал, чтобы ты явилась в контору. Я за тобой приехал.

— Хорошо, сейчас поедem, аксакал.

Подъехала я к плугарям, предупредила, что к вечеру приеду проверить работу, и мы направились к айлу. В том, что меня вызвал уполномоченный, ничего удивительного не было. Обычное дело, особенно с началом посевной много их разных наезжает в айл. Ехали не торопясь, разговаривали о том о сем, о житье-бытье нашем, и старик в разговоре как-то осторожно вставил:

— Спасибо тебе, Толгонай, что в такое лихолетье служишь ты на коне народу. Хотя и женщина ты, но всем нам голова. Так и держись, Толгонай, крепче держись в седле. Если что, мы все тебе опора, а ты нам. Конечно, и тебе нелегко, знаем. Судьба человеческая, как горная тропа: то вверх, то вниз, то вдруг пропасть впереди. Одному, случается, не под силу, а всем миром одолеть можно... Так-то оно в жизни нашей суетной...

Мы ехали уже по улице, и я заметила возле нашего двора вроде бы толпу людей. Я увидела их головы за ду-

валом. Но почему-то не придавала этому значения. Старик вдруг взял за повод моего коня и сказал мне, не глядя в глаза:

— Слезай, Толгонай, ты должна спешиться.

Я удивленно уставилась на него. Только он сам слез с лошади, и, беря меня под руку, повторил:

— Ты должна слезть с седла, Толгонай.

Все еще не соображая, в чем дело, но уже охваченная каким-то страшным предчувствием, уже мертвая, я медленно спешила и увидела Алиман, идущую к дому вместе с тремя женщинами. Они в тот день работали на очистке арыков. Алиман несла кетмень на плече. Одна из женщин взяла ее кетмень с плеча. И тут я все разом поняла.

— Что вы? Что вы надумали? — закричала я на всю улицу.

Когда я закричала, из двора соседки Айши выбежали женщины. Молча, быстро подошли ко мне, схватили за руки и сказали:

— Крепись, Толгонай, лишились мы наших соколов, погибли Суванкул и Касым.

Я услышала в ту минуту, как вскрикнула Алиман, как заголосили все разом:

— Боорумой — братья наши! Боорумой!

И больше уже ничего не слышала, оглохла сразу. Отлохла, наверное, от своего крика. И закачалась улица, чудилось мне, деревья падают, дома падают. В жуткой тишине мелькали перед глазами то облака в небе, то какие-то искаженные немые лица. Я вырывалась, силилась освободить зажатые в чьих-то руках свои руки. Я не понимала, кто меня держит, что за толпа у ворот. Я видела только Алиман. Видела ее с беспощадной ясностью. Она была страшна, с изодранным в кровь лицом, с разлохмаченными волосами, в изорванном платье. Ее удерживали женщины, закрутив руки за спину, а она вырывалась изо всех сил ко мне и кричала так сильно, что я ничего не слышала. Я тоже рвалась к ней. У меня было только одно желание — быстрее прийти к ней на помощь. Но прошла, казалось, целая вечность, пока мы наконец сошлись. И только тогда, когда Алиман бросилась ко мне на шею, я наконец услышала ее надсадный, хриплый крик:

— Мама, вдовы мы, мама! Несчастные вдовы! Погасло наше солнце. Черный день! Мама! Черный день!

Да, мы были вдовами. Две вдовы — свекровь и невест-

ка, мы оплакивали свою судьбу, обнимаясь и обливая друг друга горячими слезами.

Но нам с Алиман не пришлось вволю поголосить. На седьмой день пришли колхозники, чтобы еще раз почтить память погибших, и сказали нам:

— Год круглый траур держать и то было бы мало. Мы будем их помнить, но живой человек должен жить. То, что они не дожили, пусть доживут Маселбек и Джайнак. — (От Джайнака мы тогда еще почти каждую неделю получали письма.) — Пусть они вернуться с победой. А вам мы разрешаем выходить на работу. Время сейчас посевное, земля не ждет. Зажмите сердца в кулак. Будьте с нами. И пусть это будет нашей мезтью врагу.

Посоветовались мы с Алиман и согласились с народом.

Утром, когда мы собирались на работу, председатель Усенбай принес две бумажки. Это, говорит, похоронные, сберегите их. Похоронная Касыма прибыла в колхоз, оказывается, еще полмесяца тому назад. Он погиб в наступлении под Москвой, в деревне Ореховка. Пока собирались сообщить об этом, подоспела и похоронная Суванкула. Он тоже погиб в большом наступлении под Ельцом. Односельчанам нашим ничего не оставалось, как сказать правду. И пришлось им сделать это в один и тот же день. Ну, а дальше рассказывать нечего. Снова крепко подпоясалась я и снова села на бригадирского коня.

Ведь если бы я стала сетовать, судьбу проклинать, руки опустила, то что было бы с Алиман? Она так убивалась, что мне страшно становилось. Горько у меня было не меньше, я потеряла сразу мужа и сына, утрата была двойная, и все-таки положение мое было иное. Мало ли, много ли, мы с Суванкулом прожили большую жизнь. Всякое видели, всякое испытали — и трудно жили, и счастливо. Детей имели, семью имели, вместе трудились. И если бы не война, вместе были бы до конца дней. А много ли познали Алиман и Касым? Жизнь для них вся была в будущем, вся в мечтах. В самую пору молодости срубила их война топором. Конечно, со временем затянулись бы раны в душе Алиман. Свет не без людей, нашла бы, может быть, человека, которого и полюбила бы даже. И жизнь вернулась бы с новыми надеждами. Другие солдатки так и поступили. Кончилась война, они вышли замуж. Кто удачно, кто не совсем удачно, но они не остались одинокими, все они теперь матери, жены. Многие из них нашли свое счастье. Но не все люди одинаковы. Есть такие, что быстро забывают о горе, быстро переступают на по-

вую дорогу — другие мучительно, отчаянно топчутся на месте, не находя в себе сил уйти от памяти прошлого. Вот и Алиман, на беду свою, оказалась такой. Не сумела она забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Здесь есть и моя непростительная вина. Слаба я оказалась, не осилила жалость свою.

Весной бригада наша копала головные арыки. Я тоже была там. Однажды закончили мы работу рано, до захода солнца, и народ стал расходиться по домам. Мне надо было еще завернуть к плугарям, и я сказала Алиман, чтобы она не ждала меня. Шалаш плугарей был неподалеку. Они как раз ужинали. Я потолковала с ними о делах и, выйдя из шалаша, собиралась было сесть на коня, как увидела Алиман. Она, оказывается, не ушла. Осталась одна и ходила по перелогу, собирала тюльпаны. Ведь она, как девчонка какая, любила цветы. Эх, Алиман, Алиман, горемычная моя невестушка! В руках у нее было штук десять больших тюльпанов. Она их собрала, наверное, домой понести. Я как увидела ее с цветами, пот горячий проступил на лбу. Вспомнила, как она тогда на обкосе загона набрала дикой мальвы и тоже стояла с цветами вот так же. Только тогда косынка на ней была красная, а цветы белые, а теперь она была повязана черным платком и в руках держала красные цветы. Вот и вся разница. Но как это резануло по сердцу! А Алиман подняла голову, огляделась по сторонам, потом понурилась, уныло уставилась на цветы, вроде бы: кому их теперь и куда?..

И вдруг встрепенулась вся, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в клочья, хлестала ими землю, потом утихла, уткнулась в руки и лежала так, передергивая плечами. Я спряталась за шалаш. Не стала ее тревожить. Пусть, думаю, поплачет, может, легче ей станет. А она вскочила на ноги и помчалась по перелогу к большаку. Я перепугалась, на коня — и за ней. Страшно мне было видеть, как убегала моя невестка, как бежала она в черном платке по красному полю.

— Алиман! Остановись! Что с тобой? Остановись, Алиман! — кричала я ей, а она не останавливалась.

Добежала до дороги, по которой уходил когда-то саврасый иноходец, тут лишь я догнала ее.

— Мама! Не говори мне ничего! Мама, не говори мне ничего. Не надо!

Я втянула поводья, а она подбежала, схватилась за гриву коня, ткнулась к моей ноге и зарыдала. Я молчала.

А что мне было ей говорить? Потом она подняла голову, а лицо все в глине, в слезах, и сказала всхлипывая:

— Посмотри, мама, как светит солнце. Посмотри, какое небо, а степь какая, в цветах! А Касым не вернется, да? Никогда не вернется?

— Нет, не вернется, — ответила я.

Алиман тяжело вздохнула.

— Прости меня, мама, — тихо сказала она. — Хотела добежать туда и умереть там вместе с ним.

И я не выдержала, заплакала, ничего не сказала. Но если бы я была мудрой, дальновидной матерью, я должна была ей твердо сказать: «Ты что, дитя маленькое? Не ты одна, сколько овдовело таких, как ты, — не считать. Перетерпи. Как тебе ни дико это слышать — забудь Касыма. Что прошло, того не вернешь. Придет время — найдется человек по душе. Если не возьмешь себя в руки, тебе же будет хуже. Не смей так убивать себя. Ты еще молода и должна жить». И как я каюсь теперь, что не посмела сказать этой грубой, этой единственной правды. И потом сколько раз подходили удобные случаи, на языке стояли эти слова, я так и не решилась их высказать. Какая-то неодолимая сила удерживала меня. Да и сама Алиман не хотела меня выслушать. Есть, оказывается, у каждого слова свое время, когда оно ковкое, как раскаленное железо, а если упустишь время — слово остывает, каменеет и лежит на душе тягостным грузом, от которого не так-то просто освободиться. Это я говорю теперь, когда прошло столько лет, а тогда в каждодневной суматохе, в каждодневных заботах и нехватках колхозных некогда было одуматься, сообразить толком, что к чему. Все ожидания, все помыслы были только об одном — скорей бы победа, скорей бы конец войне, а все остальное потом. Думалось: кончится война — и все само собой станет на свое место. А оно, оказывается, не совсем так...

— Мать-земля, почему не падают горы, почему не разливаются озера, когда погибают такие люди, как Суванкул и Касым? Оба они — отец и сын — были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях, они его кормят, поят, а в войну они его защищают, они первые становятся воинами. Если бы не война, сколько бы еще дел сделали Суванкул и Касым, сколько бы

людей одарили они плодами своего труда, сколько еще полей засеяли бы, сколько еще зерна намолотили бы. И сами, сторицею вознагражденные трудами других, сколько еще радостей жизни увидели бы! Скажи мне, мать-земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?

— Ты задала трудный вопрос, Толгонай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах, были города, сожженные огнем и засыпанные песками, были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: «Остановитесь, не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за морями! Эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно — земли? Вот я — земля! Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши разговоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зерен. Воткните прутик — и я выращу вам чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду травой. Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна!» А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от меня — от вас, от людей зависит, от вашей воли и разума.

— Как подумаешь, земля родная, ведь самых лучших тружеников твоих, самых лучших мастеров убивает война. А я не согласна с этим, всей жизнью своей не согласна! Могут люди, должны люди преградить путь войне.

— А ты, Толгонай, думаешь, я не страдаю от войн? Нет, я очень страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам, я вечно оплакиваю детей своих, хлеборобов, мне всегда не хватает Суванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханой, когда нивы остаются несжатыми, а хлеба необмолоченными, я зову их: «Где вы, мои пахари, где вы, мои сеятели? Встаньте, дети мои, хлеборобы, придите, помогите мне, задыхаюсь я, умираю!» И если бы тогда пришел Суванкул с кетменем в руках, если бы Касым привел свой комбайн, если бы Джайнак пригнал свою бречку! Но они не откликаются...

— Спасибо тебе, земля, на том. Значит, ты так же тоскуешь о них, как и я, так же оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, земля.

Третий и четвертый годы войны и радовали и омрачали: врага изгоняли шаг за шагом — душа ликовала, но, что ни день, все трудней и трудней становилась жизнь. Осенью еще куда ни шло, колоски собирали по жнивью, картошку копали в огородах, а с середины зимы начинался голод. Особенно весной да в желтые летние дни туго приходилось, иные едва-едва пробивались дикими кореньями, травой да чуть забеленной молоком водичкой. Мы с Алиман обе работали и за подол нам детишки не цеплялись. Но лучше бы они цеплялись. Невыносимо становилось на душе, когда у других, у многодетных, детишки с раздутыми животами и опухшими лицами глядели в руки, безмолвно прося хлеба. Если бы мне сказали: «Иди и ты на фронт, умри там — и война кончится, дети будут сытыми», — я не задумалась бы. Только бы не видеть их голодных глаз. Как-то я поделилась этими мыслями с Алиман, она посмотрела на меня и потом сказала:

— Я бы тоже так поступила. Ведь самое страшное то, что дети не понимают, почему они должны голодать. Взрослые-то хоть утешают себя, знают причины, знают, что будет этому когда-нибудь конец. А дети не понимают. Пока не вернутся их отцы, мы должны хлеб добывать им. Нам с тобой, мама, только это и осталось. А то ведь и жить не стоит...

Все безраздельно принадлежало только войне: и жизнь, и труд, и воля, и даже детская кашка — все, все до единой крупицы уходило в ненасытную утробу войны. Однако были и такие, что не хотели делиться с войной ничем; да зачем скрывать, были такие люди. Они тоже урывали от нашего куска.

Как-то я заблудилась. Это произошло в сорок третьем году, кажется, в середине зимы, или нет, к концу зимы дело было. В степи уже темнели прогалины голой земли, но окна еще замерзали по ночам.

Кто его знает, в какой час ночи — все давно спали, — только вдруг заколотил кто-то в окно, думала стекла полетят.

— Толгонай! Бригадир! Вставай! Проснись! — кричал кто-то с улицы.

Мы перепугались, и обе, я и Алиман, вскочили с постелей.

— Мама! — прошептала Алиман в темноте, и так тревожно, словно ждала какого-то чуда.

Эх, проклятая никогда не покидающая надежда! У меня тоже сердце зашлось от страха и смутной радости: «Может, вернулся кто из наших?» — и я приникла к окну:

— Кто тут? Кто ты?

— Выходи, Толгонай! Быстрее! Лошадей увели! — ответил голос за окном.

Пока Алиман зажигала лампу, я быстро натянула сапоги, надела чапан и выскочила на улицу. Прибежали на конюшню, там были уже люди и сам председатель. Оказалось, что воры трех лошадей увели, в том числе и нашего саврасого иноходца — я его в колхоз передала. Это были лучшие мерины нашей бригады, мы их готовили к пахоте. Конюх говорил, что пошел на сеновал задать лошадям полночное сено, вернулся, а в конюшне темно, фонарь не горит. Решил, что ветер задул, потому не спеша зажег свет, глянул — с краю три стойла свободные.

В то время для колхоза потерять трех рабочих лошадей — все равно что сейчас десять тракторов потерять. А если подумать поглубже, то это все равно, что у каждого солдата на фронте отнять по куску хлеба. Мы оседлали лошадей, некоторые прихватили ружья, и все кинулись в погоню. И если бы догнали воров, то не пожалели бы. Честное слово, не пожалели бы!

За аилом мы разделились на кучки по несколько человек и поехали в разные стороны. У меня под седлом был племенной жеребец, горячий, поджимистый, в побегку просился. Я дала ему повод. Помню, перемахнула через большак и направилась в сторону гор. За мной скакали еще двое наших. Вдруг оглянулась — нет их. То ли они свернули в сторону, то ли я свернула. Ошибиться было немудрено: луна хоть и сворачивала, но свет ее был обманчив — шагах в двадцати все сливалось в темную мглу. Но не об этом думала я тогда: только бы догнать конокрадов: так досадно и обидно было, что не замечала, куда уносит меня конь, и когда он внезапно остановился, смотрю — впереди глубокий овраг. Под самыми горами очутилась. Луна осторожно шла над темным хребтом, звезды туманились. Вокруг ни огонька. Понизу скользил порывистый ветерок, шевелил сухостойные кураи, тонко посвистывал. На развалинах старой глинобитной гробницы переключались совы.

Я спустилась на коне в овраг. Ничего не слышно. Только вспугнула лисицу. Она выскочила из камыща и понес-

лась — сизо-голубая в лунном свете. Больше никого не видать кругом.

Я повернула в аил. Ехала над обрывом и вспоминала: поговаривают, что Дженшенкул — был у нас такой в аиле — сбежал из армии, что с ним двое таких же, как сам он, дружков откуда-то с Желтой равнины и что прячутся они в горах. Я не очень-то верила этим слухам. Не понимала я, как можно прятать свою голову, когда все в опасности. Выходит, что кто-то должен идти сражаться, погибать, а кто-то может отсиживаться за его спиной? Нет, вряд ли кто пойдет на такое бесстыдство, думала я. А тут вдруг усомнилась. В аиле мы все знаем друг друга как пять своих пальцев. Вроде не было людей, которые могли пойти на конокрадство. Да и конь не иголка, в воротнике его не припрячешь. Тем более сразу трех лошадей. Значит, воры пришли откуда-то. Должно быть, сейчас, как волки, рыскают в горах и в степи. Если правда, что Дженшенкул в бегах, то, пожалуй, это дело его рук, думалось мне. Однако уверенности в этом не было: как-никак, не пойман — не вор, а видеть — никто не видел.

Три лошади — упряжка одного двухлемешного плуга. Упряжь эту мы восстановили с горем пополам, объездили молодняк, четверку, запрягли в плуг. Жаль, но ничего не поделаешь. А тут нагрянула посевная, и началось такое, что не до воров было и не до самого бога. Это была, пожалуй, самая тяжелая весна в моей жизни. Народ что — народ не виноват. Люди хотели работать и старались, но с пустым желудком не очень-то наработаешь. Того, что прежде за день делали, теперь на неделю хватало. Запоздывали работы, затягивалась посевная. А тут еще беда — семян в колхозе нет. Уж мы до зернышка вымели, выскребли закрома, кое-как свели концы с концами, но план бригады все же выполнили.

В эти дни я крепко призадумалась над нашей жизнью. На трудодни мы ничего не получали, что было из прежних запасов, давно съели. Как быть? По миру расходиться, разбрестись куда глаза глядят? Нет, это значит потерять себя. Ну что же дальше? Хорошо, дотянем до осени, перебежмся зиму, а там опять же весна и опять же придется заставлять работать полуголодных, ослабевших людей. И не работать нельзя.

По-всякому думала я, ночей не спала, и осенила меня мысль такая: распахать залежь — была у нас небольшая на отшибе — с тем, чтобы урожай поделить по семьям.

Посоветовалась с председателем, до района дошла, объяснила, что план мы свой выполнили, а это сверх плана, своими силами, специально для себя на трудовни, подержать чтобы народ. Кто-то мне из-за стола бросил:

— Ты сталинский Устав колхоза нарушаешь!

Я не утерпела:

— А пусть он провалится, этот Устав! Если мы будем голодными, кто вас будет кормить?

— А ты, — говорит, — знаешь, куда Макар телят не гонял?

— Знаю. Отправляйте, если от этого легче станет. Только подумайте сначала, кто будет хлеб сеять для солдат на фронте?

Зашумели, в райком толкнулись. В общем, разрешили, сказали: под личную ответственность. А дело-то было не в ответственности, а в семенах. В колхозе — хоть шаром покати: что было — все высеяли. Помозговала я и собрала свою бригаду, всех от мала до велика. Не то что собрание, а так, вроде семейный совет устроили.

— Давайте подумаем, как быть нам? — сказала я. — На то, что посеяно на полях, не надо надеяться. Сами знаете, там все для фронта, а если что останется — на семена. Но у нас, если найдем семена, есть возможность посеять хлеб для помощи многодетным, старикам и сиротам. Если верите мне, я беру на себя эту ответственность. Дело сейчас стоит за тем, чтобы каждый из нас отдал на семена золотые крупы, то, что еще приберегаем мы на дне мешочков и сусеков. Не гневайтесь на меня, пусть мы оторвем кусок от своего рта, пусть мы будем голодать — дотанем как-нибудь на молоке до жатвы, но зато каждое зернышко вернется нам сторицей. Поднатужьтесь, родные, стисните зубы, отважьтесь на такой подвиг ради себя, ради детей своих. Не пожалеете. Поверьте моему материнскому слову. Помогите мне, пока есть еще время посеять...

На сходке вроде бы все поддержали меня. Но когда коснулось дела, пришлось туго, просто страшно. Особенно страшно было мне, когда выбегали из дворов многодетные матери, когда они проклинали все на свете: и войну, и жизнь такую, и детей, и колхоз, и меня. И все же люди с кровью отрывали от сердца, давали каждый сколько мог и что мог: кто полпуда, а кто пригоршню. Понимала я, что люди отдавали свое последнее, и все же я брала. Собирала все, высыпала в мешки по горсточке. И так обходила я с бричкой двор за двором, умоляла, просила, ру-

галась, выхватывала из рук. И только одно утешение было, что осенью люди поблагодарят меня, что осенью каждая горсточка вернется пудом.

Никогда не забыть мне, как я обошлась с соседкой своей, Айшой. Она ведь болезненная была. Рано овдовела, муж ее, Жаманбай, умер еще до войны. И осталась она одна, хвоя, с единственным сыном — Бекташем. Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде, коровенку имела — тем и кормилась и растила сына. Бекташ в ту пору был уже работником, надежный вырос парнишка. В тот день как раз на его бричке и ездили мы по дворам. Когда поравнялись с их двором, я спросила его:

— Бекташ, есть у вас дома что-нибудь?

— Есть немного, — ответил, помедлив, парнишка. — В торбочке, за печкой.

— Ну, так иди принеси, — сказала я.

— Нет, тетушка Толгонай, сами пойдите, — попросил он.

Айше нездоровилось в те дни. Она сидела на кошме, укутав поясницу теплым платком.

— Айша, я пришла получить то, что все дают, — сказала я.

— Все, что у нас есть, вон там, — показала она на торбу за печкой.

— Сколько есть. Не для утешения отдаешь. Для семян, поле готово, сева ждет, не задерживай, Айша, — поторопила я.

А она прикусила губу и молча опустила голову. Ох, нужда проклятая, до чего доводит людей!

— Айша, подумай, ну десять-пятнадцать дней тебе легче было бы перебиваться. Но подумай и о будущей зиме, о весне подумай. Ради сына твоего прошу, Айша. Он ждет на улице с бричкой.

Она подняла глаза и с мольбой посмотрела на меня.

— Если бы было что, думаешь, жалко? Ты же знаешь, Толгонай, соседка ведь я твоя...

Я почувствовала, что не устоять мне перед ее мольбой, но тут же отбросила в сторону жалость.

— Я сейчас тебе не соседка, а бригадир! — отрезала я. — От имени народа забираю у тебя это зерно! — Встала и взяла в руки торбу.

Айша отвернулась.

В торбе было килограммов семь пшеницы. Я хотела унести все, но не посмела. И отсыпала половину зерна в порожнее ведро. И сказала ей:

— Смотри, Айша, я полови́ну только беру. Не обижайся.

Она обернулась. И я увидела слезы, стекавшие по ее лицу к подбородку. Мне стало не по себе. Я опрометью кинулась из дома. Ах, почему я не поставила эту торбу на место? Но откуда же мне было знать, что случится с собранными мною семенами?

Зерна набралось два больших мешка. Мы его пропустили через решето, провеяли, очистили от сорняков, по зернышку перебирали. И я сама свезла семена к пашне. Повременить бы мне в тот день. Но ведь оставалось еще допахать край загона. А мне не терпелось быстрее засеять это поле. С рассветом сама собралась сеять вручную. Все было готово — семена, пашня, все получалось так, как задумала.

Вечером вернулась я с работы домой, и что-то беспокойно стало на душе, места себе не находила. Днем я велела Бекташу и еще одному пареньку отвезти на бричке бороны к полю. Дети, как ни говори, это дети. Не совсем уверена была я, выполнили ли они мое поручение. И я сказала Алиман:

— Съезжу-ка я к ребятам. Погляжу, что они делают.

Села на коня и поехала.

За айлом пошла рысью: сумерки сгущались, темнеть начинало уже. Подъезжаю к месту, смотрю — быки стоят на пашне в ярме. И рядом никого нет. Зло взяло на мальчишку-плугаря: до сих пор тягло не распряжено, томится в ярме. Ну, думаю, подожди у меня, парень, я тебе дам нагоняй. Двинулась я разыскивать его, смотрю — бричка с боронами опрокинута набок. И тут тоже никого нет.

— Эй, ребята! Где вы? Откликнитесь! — звала я.

Никто не отозвался, ни души вокруг. Да что с ними? Куда они запропастились? Перепугалась я. Поскакала к шалашу, прыгнула с лошади. Засветила спичку. Ребята лежали в шалаше связанные, избитые в кровь, ободранные, во ртах тряпье какое-то набито. Я вырвала клыч изо рта Бекташа.

— Семена? Где семена? — закричала я не своим голосом.

— Забрали! Избили! — прохрипел он и мотнул головой в ту сторону, куда исчезли воры.

А дальше не помню, что было. Сроду не гнала я так

коня, как в ту ночь. Что там ночь — тьма могильная была нипочем. Если бы дом мой сожгли и разграбили, ничего не сказала бы. Если бы осенью с гумна похитили десять мешков хлеба — стерпела бы: мыши тоже утаскивают. Но за эти семена, за этот хлеб наш будущий — да я придушила бы своими руками.

Оказывается, я гналась по следам воров и вскоре увидела их. Искры заметила из-под копыт. Мешки воры везли перед собой на седлах. Уходили в сторону гор.

Увидев их, я стала кричать, просить:

— Оставьте мешки, это семена! Оставьте, это семена! Семена это!

Они не оборачивались. Расстояние между нами быстро сокращалось, и я увидела, что один из них, тот, что с краю, ехал на иноходце. Я сразу узнала его. Как было не узнать саврасого иноходца? По побегке узнала, по белым чулкам на задних ногах. И тогда я крикнула:

— Стой, я знаю тебя! Ты Дженшенкул! Ты Дженшенкул! Теперь ты не уйдешь от меня! Стой!

Он и в самом деле оказался Дженшенкулом. Отделившись от других, он повернул ко мне навстречу. Огонь вспыхнул во тьме, что-то прогрохотало. И, уже падая с коня, я поняла, что это был выстрел. А сначала я подумала, что просто споткнулась лошадь.

Придя в себя, я почувствовала тупую, тяжелую, ломившую спину боль. Из головы сочилась кровь, она затекла к затылку холодным студнем. Рядом со мной хрипела, издыхая, лошадь, она еще сучила ногами, пытаясь встать. Клокочущий предсмертный вздох вырвался из ее груди, голова глухо стукнулась о землю, и лошадь утихла. И все вокруг утихло — утихла вся жизнь. Я лежала не шелохнувшись, не пытаюсь даже встать. Все теперь было для меня безразлично. И жизнь не имела смысла. Я думала о том, как убить себя. Была бы поблизости круча, доползла бы и бросилась вниз головой. Я не представляла себе, как, какими глазами теперь буду глядеть на людей. И тут я увидела на небе Дорогу Соломщика. Тусклая, туманная река Млечного Пути напоминала мне мутные слезы, стекавшие по лицу Айши. И я встала на колени, потом на ноги, пошатнулась, снова упала и, рыдая от горя и обиды, стала выкрикивать проклятья:

— Чтоб тебя кровь войны прокляла, Дженшенкул!

Убитые пусть проклянут тебя, Дженшенкул! Дети пусть проклянут тебя, Дженшенкул!

Я плакала и кричала, пока не обессилела.

Долго лежала я. Потом послышались чьи-то шаги, и кто-то позвал меня:

— Тетушка Толгонай! Где вы? Тетушка Толгонай!

По голосу узнала Бекташа и отозвалась. Бекташ прибежал запыхавшись, упал на колени, приподнял мою голову.

— Тетушка Толгонай, что с вами, вы ранены?

— Нет, расшиблась, — успокоила я его. — Лошадь вот убило пулей.

— Ну это не так страшно, мы вам сейчас поможем! — обрадовался Бекташ. И добавил: — А мясо не пропадет. Раздадим по дворам.

Ребята привезли меня домой на бричке. Дня три провалялась в постели, спину не отпускало. И сейчас, когда непогодит, ломит порой. В те дни многие приходили навестить меня, справиться о здоровье. Спасибо за это людям, но больше всего спасибо за то, что никто не укорил меня, никто не напомнил, будто ничего не случилось. Может быть, люди догадывались, что мне и так было тяжело. Как вспомню, что труды наши пропали даром, что пашня осталась незасеянной, а зерно, которое я оторвала от плачущих детей, стало добычей этих подлых бандитов, — такая горечь жгла душу, что в глазах меркло.

10

— Да, Толгонай, не только ты, но и я, земля, чувствовала эту боль. То пустое поле саднило все лето, как зияющая рана. Долго не утихла боль. Самые страшные раны наносятся мне тогда, когда поля остаются незасеянными, Толгонай. А сколько полей осталось бесплодными из-за войны! Самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну.

— Ты права, мать-земля. Не об этом ли писал мой сын Маселбек? Ты помнишь, земля, письмо Маселбека?

— Помню, Толгонай.

— Да, мы с тобой помним. Сегодня день поминовения, мать-земля. Сегодня мы снова все вспомним.

— Вспомним, Толгонай. Ведь Маселбек был не только твоим сыном, он и мой сын — сын земли. Повтори мне его письмо, Толгонай.

Когда приходили люди проведать о моем здоровье, я думала, что они из сочувствия ко мне старались как-то умолчать о случившемся и поэтому говорили большей частью о новостях, о работе, о погоде; но была, оказывается, еще одна причина. Я потом догадалась об этом. А они-то знали, что меня ждет.

Как-то заглянула к нам Айша, принесла мне чашку сметаны. Когда она переступила порог, мне стало очень стыдно. Я не знала, что говорить, молчала, сидя на постели. А она сказала мне:

— Ты не думай, Толгонай, о том, что было. И прости мою слабость. А я обиды не держу. За тебя, если надо, и жизнь отдать мне не жалко. Бекташ мой теперь у нас помощник на два двора. Он тебя, Толгонай, больше даже любит, чем меня. А я рада этому. Значит, вырастет он понятливым человеком...

Я только промолвила:

— Спасибо на слове, Айша.

Утром другого дня мне было уже легче, и я вышла во двор кое-что по хозяйству присмотреть. Но быстро утомилась и села возле окна на солнышке посидеть. Алиман тоже была дома. Она стирала белье во дворе. Я ей говорила, чтобы она выходила на работу, но она ответила, что сам председатель предложил ей остаться на денек дома, чтобы я не была одна.

В ту весну большая старая яблоня — ее еще сам Суванкул сажал — так густо зацвела, словно заново набралась сил и помолодела. А когда сады цветут, воздух чист, все дали открываются. Сидела я так, любовалась всем вокруг, а тем временем почтальон наш, старик Темирчал, пожаловал. Здравствуй, мол, Толгонай, как поживаешь? А сам, против обыкновения, что-то очень заторопился, что-то очень ему не по себе было, кашлял надсадно и жаловался на кашель; на прошлой неделе, говорит, простыл, замучился совсем; а потом как бы между прочим говорит:

— Кажется, тебе письмо есть какое-то. — И достает его из сумки.

Я даже обиделась на такое равнодушие:

— Да что же ты сразу не сказал? От кого?

— Да вроде от Маселбека, — пробормотал он.

От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда, треугольни-

ком, а в твердом белом конверте с печатными буквами. Тут пришел на костылях фронтовик Бектурсун, сосед наш. Я подумала, что у него с раненой ногой хуже стало — еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить. Бектурсун поздоровался, взял конверт. От Маселбека, говорит.

— А что у тебя руки дрожат? Да ты не стой на костылях, садись, прочти мне, — попросила я.

Он с трудом сел на кошму, нога у него не подгибалась. Дрожащими пальцами открыл конверт и начал читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все поняла.

«Понимаешь, мама, — писал он, — пройдет время, и ты поймешь меня, убедишься, что я сделал правильно. Да, ты обязательно скажешь, что сын твой поступил честно. И все-таки, хотя ты и поймешь, где-то в глубине твоего сердца останутся не высказанные мне слова: «Как же ты мог, сынок, так просто уйти из этого светлого мира? Зачем я тебя родила, зачем растила?» Да, мама, ты мать и вправе спросить с меня, но на твои вопросы ответит потом история. А я сейчас могу лишь сказать, что не мы выпросили себе войну и не мы ее затеяли, это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем, то недостойны будем имени Человека. Я никогда не жаждал совершать геройства на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии — я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть. Но вместо мела и указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока.

Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в человеке.

Это мое последнее письмо, это мои последние слова. Мама! Да, тысячу раз я буду повторять твое материнское имя и все-таки останусь перед тобой в неоплатном долгу. Прости меня, мама, за горе, которое я приношу тебе. Но ты пойми, мама, это не безрассудная жертвенность, нет. Так учила меня жить сама жизнь. И это мой первый и последний урок детям, которых я должен был учить. Я иду по своей воле и убеждению. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми.

Не плачь, мама, пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать.

Прости, мама, и прощай.

Прощайте, горы мои — Ала-Тоо! Как я любил вас!
Твой сын — учитель, лейтенант Маселбек Суванкулов.

Фронт, 9 марта 1943 г. 12 часов ночи».

Как во сне я подняла тяжелую голову. Во дворе безмолвной толпой стояли люди. Никто не плакал. Маселбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подняли меня под руки. И когда я встала, то ветер набежал на яблоню и посыпались тучей белые лепестки цветов. Они бесшумно падали нам на головы. За белой нашей яблоней, за белыми вершинами далеких гор синело бесконечно чистое и бездонное небо. А во мне, в душе моей, поднимался крик. Мне хотелось кричать на весь белый свет. Но я молчала. Я выполняла последнюю волю моего сына, он просил, чтобы я не плакала. Я не знаю, что делала Алиман. Я увидела, как она медленно шла ко мне с вытянутыми руками. Она подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, отвернулась и пошла, закрыв лицо ладонями.

Вот так я лишилась и своего среднего сына. Осталась мне шапка его.

12

— А мне осталось имя его, Толгонай. Я его родина. Народу остались слова его, Толгонай. Они его земляки.

— Да, мать-земля, все это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо Маселбека прислали в сельсовет его однополчане вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища, будут гордиться его подвигом и что Родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Маселбек перед большим наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов, от взрыва этого смело все живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Маселбеком, славой которого горжусь. Но ничто, никакая слава не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рожают детей для жизни, для простого, земного счастья...

— Ты права, Толгонай. Я всегда помню ту весну, когда пришла победа, я всегда помню тот день, когда

вы, люди, встречали солдат с фронта, но я до сих пор не могу сказать, Толгонай, чего было больше — радости или горя.

В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плугом. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то беготня и шум. Алиман побежала узнать, в чем дело, и вернулась мигом.

— Мама, собирайся быстрее, — заторопила она меня. — Народ идет солдат встречать.

Плуг, быки в ярме так и остались на пашне. Действительно, весь аил — конные, пешие, сторбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях, — все куда-то бежали. На бегу передавали, что какой-то проезжий (зареченский как будто) сказал кому-то, что солдаты возвращаются по домам, что на станцию прибыли два эшелона, там ребята со всех айлов и что они уже в дороге и с часу на час должны подоспеть. Никто не спрашивал, правда ли это. Люди хотели этой правды, люди мечтали об этом долгожданном дне, поэтому ни у кого не было никаких сомнений.

Мы сбежались на окраину айла, туда, где закладывалась до войны новая улица. Конные не слезали с седел, пешие поднялись на пригорок у арыка, мальчишки забрались на развалины недостроенных стен, а иные вскарабкались на деревья. И все ждали и смотрели на дорогу. Одни, нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывали о добрых снах, виденных накануне, другие собрали по пригоршне камешков, стали гадать на них. И во всем этом — и в снах, и в гаданиях, и в других предчувствиях и приметах — видели люди хорошие, желанные предзнаменования. Вспоминаю я теперь и думаю, что если бы люди во всем мире всегда так ждали, охваченные одним чувством, всегда так любили своих сыновей, братьев, отцов и мужей, как мы их ждали и любили, то на земле, может быть, не было бы войны.

Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своем, опустив голову. Люди ждали решения судьбы. Каждый спрашивал себя: кто вернется, а кто нет? Кто дождется, а кто нет? От этого зависела жизнь и дальнейшая судьба.

Вот в такую минуту один мальчишка вдруг крикнул

с дерева: «Идут!» И все замерли, натянулись, как струны комуза, а потом все разом глухо повторили: «Идут!» — и снова замолчали в ожидании, снова стало тихо. Очень тихо. Но затем, словно опомнившись, все зашумели: «Где? Где идут? Где?» — и снова замолчали. Впереди на большаке показалась бричка. Она резво катила по дороге, остановилась на развилке, где отходит проселок к нашему айлу, и с брички соскочил солдат. Он взял свою шинель, вещевого мешок, распрощался с возницей и зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова, все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат с шинелью и вещевым мешком, перекинутым через плечо. Он приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все еще ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих.

Солдат подходил все ближе и ближе, потом остановился в нерешительности — тоже оробел, увидев на окраине айла безмолвную толпу людей. Он, наверно, подумал: что это за люди, почему они молчат, почему они стоят как вкопанные? Может быть, они кого-то ждут? Солдат раза два оглянулся на дорогу, но, кроме него, на ней не было ни души. Он снова зашагал к нам, и снова остановился, и снова оглянулся назад. Босоногая девчонка, что стояла впереди нас, неожиданно выкрикнула:

— Это мой брат! Аширалы! Аширалы! — И, сорвав с головы косынку, кинулась к нему со всех ног.

Бог ее знает, как она его узнала, только крик ее, как выстрел, вывел нас из оцепенения. За ней побежали мальчишки, девушки.

— Да ведь это он, Аширалы! Это он! — зашумели голоса, и тогда все, старые и малые, все мы хлынули толпой к солдату.

Какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятия, то мы несли вместе с собой всю свою жизнь, все пережитое и выстраданное, наши муки ожидания и наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слезы и стоны, наше мужество несли мы солдату-победителю. И он, вдруг поняв, что это встречают его, тоже побежал нам навстречу.

И когда мы бежали всей толпой, мне почудилось,

что мимо проносится с грохотом эшелон; ветер бьет в лицо, я слышу крик: «Мама-а! Алиман-ан!» — и в ушах стучат, стучат колеса...

Конные первыми доскакали до солдата, на лету подхватили его шинель и вещевой мешок, а самого взяли за руки с двух сторон.

О, Победа! Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, Победа! Здравствуй! Прости наши слезы! Прости мою невестку Алиман за то, что она билась головой на груди Аширалы и спрашивала его, тряся за плечи: «Где? Где мой Касым?» Прости всех нас, Победа. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости за наши крики. «Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие? Когда вернуться все?» Прости солдата Аширалы за то, что он отвечал всем нам: «Вернутся, родные мои, все вернутся. Скоро вернутся, завтра вернутся». Прости нас, Победа, прости. Обнимая и целуя Аширалы, я думала в ту минуту о Джайнаке, о Маселбеке, о Касыме, о Суванкуле: из них никто не вернулся. Прости меня, Победа...

Мы шли молча. Алиман, все еще изредка и неожиданно всхлипывала, тяжело, шумно вздыхала, словно ей не хватало воздуха. Лицо ее было сумрачно, она смотрела только под ноги себе и, понурив голову, о чем-то напряженно думала. Я догадывалась: мрачные мысли одолевают ее. Да, Алиман очень страдала. Я это видела по ее лицу, по ее тоскливым взглядам и прикушенной губе. Я знала, о чем она думала, и говорила ей про себя: «Ну что ж, невестушка, верно, придется нам расстаться. Теперь-то уж небось ты окончательно похоронила Касыма. А что ж делать? Не умирать же за умершим и не вечно тебе куковать вдовой. Все кончено. Ты уйдешь. Ничего не поделаешь — уйдешь, конечно. Ну что ж, я не в обиде. Не по воле своей и не по прихоти уходишь. Судьба такая. Эх, судьба, судьба... Знала бы ты, Алиман, как жалко мне разлучаться. Жили мы с тобой, как мать с дочерью. Будешь уходить, благословлю тебя, как дочь свою, буду молиться за твое счастье. Тебе еще жить, молода ты и красива, найдется кто-нибудь. Главное, чтобы человек хороший попался. А сможет ли он быть для тебя таким, как Касым? Кто его знает. И помочь тебе я ничем не могу. Одна лишь просьба: когда уйдешь, то вспоминай меня хоть изредка. Никого у меня нет теперь, кроме тебя. Ведь я остаюсь в доме совсем одна, одна в целом свете. Подумать страшно.

И нет мне утешения на старости лет: не успела ты родить мне внука. Но для тебя это, может быть, к лучшему. И ты не смотри на меня. Не губить же тебе молодость свою из-за меня, старухи. Я свое отжила. А тебе жить. Когда надумаешь, тогда и скажешь. Ты свободна уйти в любой день. Уйдешь со спокойной совестью. А я буду всегда тебя помнить, любить и благодарить тебя...»

Так я шла, думала и готовилась сказать эти слова. И Алиман, оказывается, знала, что у меня на уме. Когда люди живут душа в душу, они понимают друг друга с полуслова, с полунамека. И все-таки она сказала не то, чего я ожидала.

Мы шли мимо заброшенной улицы. И я на беду свою глянула на бывшую стройку Алиман и Касыма: на дворе там все так же, как пять лет тому назад, серой громадной кучей лежали навезенные камни, а кирпичи давно превратились в груды обломков. С тех пор как началась война, недостроенная улица совсем заглохла. Каждое лето усадьбы зарастали репьем и лебедой. Стены осели, пообвалились, и даже внутри домов росли колючки, выглядывали из пустых глазниц окон. До самой осени здесь бродили лишь телята на приколе да грустно куковали удоны. Эти хохлатые птицы любят заустерненные кладбища. Они и в тот час сидели на развалинах, как на могильниках, нежились тихой теплынью весны и вполголоса, уныло переключались.

«Боже! — подивилась я пустоте. — Где же остались люди, что хотели здесь жить, иметь свой дым над очагом? И бедному Касыму моему не довелось построить здесь свой первый дом!» Пусто, горестно стало на душе. А Алиман, придерживая меня за руку, жалеючи улыбнулась.

— Мама, — сказала она, — ну что ты так поникла? Или совсем уж разуверилась в жизни? Не надо, мама. Понимаю, тяжело. Но ты крепкая у меня. Ты у меня... — Она запнулась, собираясь что-то сказать, и, наверно, раздумав, виновато улыбнулась. — Ты у меня просто хорошая. Давай сядем здесь на бугорок поговорим, мама.

«Ну вот, сейчас скажет, скажет, что уйдет», — подумала я. Горячей волной нахлынула жалость к себе и к ней, и я ответила, стараясь унять задрожавший голос.

— Хорошо, сядем поговорим.

Мы присели на бугорок на краю дороги. Да, сели мы

с ней так, вдвоем — свекровь и невестка, чтобы решить свою судьбу, как нам дальше быть.

Алиман потупилась и, вздохнув, заговорила:

— Ну вот, мама, война проклятая кончилась. И ты теперь думаешь, наверно, как нам жить дальше. — Она замолчала, и я молчала. Алиман подняла глаза, серьезно и прямо посмотрела мне в лицо. — Не печалься, мама, — грустно улыбнулась она. — Думаешь, не осталось нам от счастья ничего, ну маленько, чуточку хотя бы. Не может быть, чтобы из четырех человек не вернулся ни один. Нет, ты постой, мама, не перебивай, послушай меня. Честно говорю, не мне тебя утешать, и обманывать тебя я не стала бы. Ты поверь мне, мама, сердце мне подсказывает так: Джайнак должен вернуться. Пропал без вести — это значит, что живой. Ведь никто не видел его убитым. А может, он в плену или с партизанами скрывался в лесах, а теперь вдруг объявится. Или лежит где тяжелораненый и не может сообщить об этом. Всякое может быть. Вот увидишь — возьмет да вернется, упадет как снег на голову. Давай подождем, мама, не будем хоронить прежде времени. Были же случаи — ты же сама слышала — живыми оказывались не то что там без вести пропавшие, а даже те, на которых приходила черная бумага. Вот в соседнем аиле и еще где-то у казахов Желтой равнины уже оплакивали, поминки справили, а мертвые оказались живыми, вернулись. А я верю, точно знаю, Джайнак наш живой, вернется скоро. Никак не должно быть, чтобы из четырех человек ни один не вернулся. Давай повременим, мама, долго ждали, подождем еще. А обо мне не беспокойся, если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе как сын, вместо всех сыновей...

Алиман замолчала, и мы долго еще сидели молча. Была уже середина мая. Далеко-далеко от нас собирались в тучу облака и словно бы наливались черным дымом. Там погромыхивал гром. Оттуда тянуло прохладным духом дождя. В той дали шел светлый ливень. Он проливался струящимися потоками, блистал на солнце и незримо широкими шагами ходил по земле: то уходил в горы, то спускался вниз, то снова поднимался в горы, то снова опускался к степи. Я смотрела в ту сторону не отрывая глаз. Далеким дождевым ветром обдавало мое горячее лицо. Я ничего не говорила Алиман. Слова мои для нее были там: такие же щедрые и светлые, как этот светлый далекий ливень.

Да, будут идти дожди, будут расти хлеба, будет жить народ — и я с ним буду жить. Я так думала не потому, что Алиман пожалела меня, не потому, что она из милосердия сказала, что не оставит меня одну. Нет, я радовалась другому. Кто говорит, что война делает людей жестокими, низкими, жадными и пустыми? Нет, война, сорок лет ты будешь топтать людей сапогами, убивать, грабить, сжигать и разрушать — и все равно тебе не согнуть человека, не принизить, не покорить его.

А моя Алиман была человеком! Ради кого крепила она в себе веру в то, что наш Джайнак, спрыгнувший темной ночью с парашютом в стан врагов и бесследно пропавший той же ночью, непременно жив и непременно вернется? Ради кого убеждала она себя, что мир не так уж несправедлив, как нам кажется? И я не посмела разрушить эту веру, я не посмела смутить ее надежды на лучшее и даже поверила ей. А что, если правда Джайнак жив? Значит, не будет никакого чуда, если в один прекрасный день он вернется. Я поверила, как дитя. Я этого хотела. И уже мечтала об этом дне, когда Алиман нарушила молчание. Она первая вспомнила, что огород остался недопаханным.

— Мама, а ведь у нас плуг простаивает. Пошли живей! Земля пересохнет, — заторопила она.

Мы прибежали на огород. Быки, волоча за собой плуг, давно уже паслись на траве за огородом. Алиман пригнала их назад, мы снова установили плуг в борозду и продолжали пахоту. Странно, как мало надо человеку! Порой одного доброго слова ему хватит, чтобы воскреснуть из мертвых. Так случилось и с Алиман. Или мне так казалось? Но она вдруг превратилась в прежнюю, довоенную Алиман. Все в ней засветилось, и каждое слово ее, каждая улыбка и движение — все было таким, как когда-то. Она забросила на межу свой коротенький бешмет, подоткнула платье, засучила рукава, косынку сбила на затылок и ловко погоняла быков.

— Эй, белоголовый, цоб-цобе! Эй, куцехвостый, цоб-цобе! — покрикивала она на них, хлестко хлопая длинным кнутом.

Алиман хотела, чтобы я немного приободрилась, чтобы я работала, жила. Потому-то она и вела себя так в тот памятный день. Она оборачивалась на ходу и, смеясь, говорила мне:

— Мама, полегче налегай на чапыги — камень пойдет наверх. Побереги свою силушку!

Когда осталось нам еще два-три круга пройти по огороду, и дождь подоспел. Это был шумный, веселый ливень. Дождь сначала потрогал спины волов первыми редкими каплями, призадумался — и затанцевал сразу всеми струями, заиграл, будто в ладоши захлопал, вмиг всполошил весь аил. Закудахтав, растопырив крылья, побежали куры с цыплятами. Женщины срывали белье с веревок и тоже бежали к домам. На улицу выскакивали детвора и собаки. Они носились в дождевой кутерьме наперегонки. Ребятишки пели песенку:

Дождик, дождик, подожди,
Мне с тобою по пути...

— Намокнем! Побежим переждем! — сказала я Алиман.

Она мотнула головой!

— Ничего, мама, не раскиснем! — и, как девчонка, захохотав от щекотки дождя, стала быстрее погонять быков.

И я заразилась ее весельем. Любовалась ею и шептала про себя: «Светлая моя, дождевая! Какая бы ты счастливая была!.. Эх, жизнь, жизнь...» Теперь-то я понимаю, что все это она делала для меня. Она очень хотела, чтобы я забыла о войне, о горе, чтобы я веселей глянула на жизнь. Алиман подставляла руки и лицо струям дождя и говорила мне:

— Смотри, мама, какой дождь! Смотри, какой чистый дождь! Год будет урожайный! Цоб-цобе, дождь, лей, поливай щедрей, цоб-цобе! — И хлестала кнутом струи дождя и парные спины волов.

Смеялась она и не знала, наверно, какая она была красивая под дождем, в намокшем платье, тонкая, с крутыми грудями и сильными бедрами, с сияющими от счастья глазами и с разгоряченным румянцем на щеках. Будь же ты еще раз трижды проклята, война!

Когда ливень поредел и ушел гулять дальше, Алиман примолкла. С сожалением смотрела она вслед уходящему дождю, прислушивалась к его стихающему за рекой шуму, быть может, думая о том, что и дождь не вечен, что и он быстро проходит. Она печально вздохнула. Вспомнила ли она о Касыме или еще что, но, глянув на меня, снова улыбнулась.

— Вот, кстати, по дождю и засеем кукурузу! — сказала она и побежала домой.

Алиман принесла в ведерке намоченную кукурузу.

Взяла полную пригоршню набухших, крупных зерен.
— Мама, — сказала она мне. — Пусть Джайнак вернется, пока поспеют молочные початки! — И швырнула по огороду первую горсть.

Никогда не забыть мне этот день. Как новорожденный ребенок, выглянуло из-за облаков омытое дождем чистое солнце. По темной, влажной пашне Алиман шла босая и, улыбаясь, разбрасывала через каждый шаг семена. Она сеяла не просто зерна, а зерна надежды, добра, ожидания.

— Вот посмотришь, мама, — говорила она при этом. — Сбудутся мои слова. Я еще сама испеку Джайнаку молочную кукурузу в горячей золе. Помнишь, он всегда дрался со мной из-за початков? Однажды он вытащил из золы горячий початок, сунул за пазуху — и бежать от меня. А початок как припечет ему живот. Он завертелся, словно ужаленный. Целое ведро воды выплеснул себе на грудь. А я нет, чтоб ему помочь как-то, со смеху покатываюсь и приговариваю все одно: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» Помнишь, да, мама? — смеялась она, вспоминая этот забавный случай.

И за это спасибо ей...

14

— Да, Толгонай, долго вы ждали Джайнака.

— Долго, мать-земля. Кукуруза поспела не один раз, а два, три раза поспела, а Джайнак наш так и не вернулся. И никаких известий о нем не объявилось. Ты же помнишь, сколько раз я приходила к тебе со слезами, горем своим делилась...

— Приходила, Толгонай. Да, много раз приходила ты ко мне. Плакала, спрашивала, как быть с невесткой, не погубить бы ее молодую жизнь. Но ничем я не могла помочь тебе, Толгонай. И сейчас вот уже прошло столько лет, но и сейчас ничего не скажу тебе.

15

Жизнь шла своим чередом, колхоз стал понемногу налаживаться, житье полегчало, и вместе с этим тускнела память о войне, стирались ее следы в душах людей.

Мы с Алиман все так же работали в колхозе. Работу бригадирскую я передала молодым сразу же как солдаты вернулись с фронта.

— Три года без вас поработала, походила по мукам, а теперь вы вернулись, беритесь за дело сами, — сказала я ребятам. — А меня увольте, постарела я за эти годы, буду вам и так помогать.

Тогдашняя молодежь меня и сейчас зовет «бригадир-апа», стало быть, уважают еще...

Хотя жизнь и вошла в свою колею, мы с Алиман так и не обрели покоя. Никто этого не замечал, но в душе мы постоянно страдали, постоянно думали об одном и том же. На первый взгляд, казалось бы, чего легче — с глазу на глаз откровенно потолковали: так и так, мол, пусть каждый пойдет по своей дороге, пусть каждый устраивает свою жизнь. Да, суть была очень проста. Если бы невесткой моей была не Алиман, а какая-нибудь другая женщина, если бы не была она так добра со мной, я, недолго думая, сказала бы ей в глаза, что, мол, нечего засиживаться — пока не поздно, найди себе мужа и уходи. А ей, Алиман, не решалась сказать этих слов. Ведь как ни подстилай слова помягче, как их ни выбирай, а смысл остается тот же — грубый и жестокий смысл. Я не имела права гнать ее поневоле. Однажды как-то заехали к нам по пути ее родственники из Каиндов. Чтобы совесть моя была чиста, я заставила себя сказать им, что, мол, Алиман свободна и я готова благословить ее. Но Алиман им так отрезала, что мне было неудобно перед людьми и за себя, и за нее. Она и говорить им запретила об этом. У меня, мол, своя голова есть, уйду я или не уйду, когда уйду — это дело мое, и не вмешивайтесь в нашу жизнь. Каялась я потом, что поспешила. Глаза прятала от Алиман. А она, умница моя, все поняла, словом не обмолвилась, как будто бы ничего и не было. Вот так мы и жили, жалели друг друга, обманывались надеждами на возвращение Джайнака; потом и эти надежды иссякли, а время шло, и уже стало поздно...

Как это получилось, я и сама не знаю. Аил-то наш на скотопрогоне. Издавна гоняют здесь скот — весной в горы, а осенью — с гор, в степь. Бывает, что задерживаются у нас скотоводы по нескольку дней. Отдыхают себе и отарам.

Осенью сорок шестого года гонял здесь свою отару по суходолу в поймище один молодой чабан из соседнего айла. Видно, солдат бывший, на нем еще была серая шинель, ездил он на хорошем коне, с ружьем через плечо, шубу возил с собой, притороченную к седлу. Часто

он пронёсился рысью по айлу. Ну, носится — и ладно, мало ли людей ездит по дорогам, кому какое дело. Я его и знать-то не знала.

В ту осеннюю пору свадьбы шли в айле. Кто-то устроил в честь свадьбы сына козлодранье на конях. Чабан этот оказался ловким наездником. Мы с Алиман собирались на свадьбу сходить. Пока она принаряживалась, по улице проскакал кто-то и словно упал у ворот. Я выбежала глянуть. Это был тот чабан. Конь с запала горячился под ним, приплясывал, сам он ладно красовался в седле, с плетью в зубах, с подвернутыми рукавами гимнастерки. А у самых ворот лежала туша козла. Победитель игры волен бросить его в любой двор. Только я почему-то так растерялась, что и не знала, что сказать.

— Ты к чему это, сынок? — сорвалось у меня с языка.

А он спросил:

— Дома кто?

— А кого тебе надо? — говорю.

Тогда он пробормотал: мол, уронил козла, подхватил его с земли и, развернув коня, умчался вверх по улице. Тут подоспела погоня за ним. Увидели, что он ушел с козлом, и тоже следом помчались на конях. Вот и все. После этого я его не встречала. А тогда вроде обидно было. Раз уж привез в дом козла, должен его оставить хозяевам — обычай такой. А может быть, и в самом деле уронил случайно? Так почему же козел лежал не на улице, а под воротами? Что это могло значить?

Когда из дома вышла Алиман, я сразу все поняла. На ней был цветастый полушалок, шелковое платье. Она окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, застыдилась.

— Пойдем, мама, — тихо сказала она.

Без слов стало ясно, почему прискакал сюда этот чабан. Я вспомнила, что вот уже несколько дней по вечерам Алиман ходит по воду на реку, хотя за двором в арыке полно воды, и возвращается поздно. Больно стало на сердце. Не потому, что я ревновала ее — а может быть, и ревновала, — но дело было в другом. Ведь я сама молила бога, чтобы Алиман не засиделась во вдовах, чтобы она быстрее нашла себе мужа, я желала ей этого, как счастья, а тут страх вдруг охватил меня. Забеспокоилась я, будто не невестку, а дочь родную должна вы-

дать замуж. Боялась я, как бы она не ошиблась, каково-то ей будет в новом доме, да к каким людям попадет, да что за муж окажется. И на свадьбе, и по дороге, когда возвращалась домой, и дома не выходило у меня из головы.

«Ты хорошо узнала его, Алиман? Что он за человек? Не торопись, доченька Алиман, смотри не ошибись. Узнай хорошенько человека», — просила я ее про себя. И думала, как бы не оказаться помехой на пути молодых. Как бы так сделать, чтобы Алиман не стеснялась меня, как бы осторожно дать ей знать, что она вольна поступать, как считает сама нужным. И я старалась скрыть свою тревогу, разговаривала с ней, как обычно, даже шутила, смеялась, чтобы она не насторожилась и, не дай бог, не подумала, что я не одобряю ее. И все-таки знала она, оказывается, о чем я тревожилась.

Вечером, когда Алиман взяла ведро и пошла по воду, я облегченно вздохнула, словно гора свалилась с плеч. Вот и хорошо: пусть встретится с ним, подумала я. Но она быстро вернулась назад. На реку не пошла, а принесла воды из арыка.

— Мама, — сказала она, ставя ведро на место. — Я воды согрею, помой себе голову.

— Успеется, — говорю, — доченька, завтра есть день, если тебе куда надо...

Но она перебила меня:

— Завтра на работу, некогда будет. Ты помой, мама, я тебе волосы расчесу гребнем.

Нагрев котел воды, Алиман принялась возиться со мной как с маленькой девочкой, которая сама не может вымыть себе голову. Сперва она заставила меня мыть волосы кислым молоком, потом душистым мылом, потом водой и снова мылом, и все время не отходила ни на шаг, то и дело меняла воду, горячую мешала с холодной и ковшом поливала мне на голову. В другой раз я бы не утерпела, сказала, чтобы она оставила меня в покое, но в тот вечер я не могла так поступить. Я чувствовала себя виноватой, потому что из-за меня она не пошла на свидание. «Вот ведь беда, ну зачем она это сделала?» — досадовала я и на себя, и на нее. А Алиман как будто была очень довольна всем и, лишь расчесывая мне гребнем косы, сказала грустно:

— Мама, когда-то косы твои были густые, наверно, и ты ведь молода была.

Она тихонько погладила меня по голове и ласково

коснулась ладонями моего лица. Я не поднимала глаз — слезы навертывались. «Стало быть, прощается со мной», — думала я с тоской. Потом она заплела мне косы и достала из сундука свои давнишние духи. Касым их покупал, а она все берегла. Я стала отмахиваться:

— Да что ты, Алиман, бог с тобой! Зачем мне это? Стыдно на старости-то лет, люди засмеют!

А она и слушать не хотела, смеялась, развеселившись, надушила мне лицо, шею, голову, вылила все, что оставалось в пузырьке. А потом стала обнимать меня, рассматривать со всех сторон.

— Ну вот смотри, какая ты у меня молодая и красивая стала! — радовалась она своей затее.

Я тоже повеселела. После чая Алиман сказала:

— А теперь будем отдыхать, мама. Я тебе сейчас постелю.

В ту ночь мы обе не спали. Алиман думала о чем-то своем, вздыхала в углу, ворочалась с боку на бок. А у меня душа была полна ею. То мне виделось, как Алиман бежала по пшенице к комбайну с букетом дикой мальвы. Как она положила мальву на ступеньки комбайна и как озорно побежала назад. То мне виделось, как она не давала Касыму сесть на коня, как она, словно малое дитя, с плачем цеплялась за его руку. То вспоминалась наша поездка на станцию. Чудилось, мы быстро едем на бричке, Алиман сидит со мной рядом с морозным румянцем во всю щеку и вся запорошена снегом. Снег налип на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и она от этого кажется еще красивей. То мне виделось, как она кинулась ко мне с распростертыми руками: «Мама-а! Вдовы мы, несчастные вдовы!» То виделось, как она убегала от меня в черном платке по красному полю тюльпанов. Все, что связывало нас, перебрала я в памяти и вдруг представила себе, как она уходит с тем чабаном, угоняя его отару по суходолу. Будто слышу ее голос: «Прости, мама, уйду я. Не поминай лихом, прощай, мама!» Я бежала за ней по крутояру, махала рукой и тоже прощалась: «Прощай, свет мой! Закатилась звезда моя. Прощай, Алиман! Будь счастлива, прощай!.. Эй, парень! — кричала я чабану. — Смотри не обижай ее, береги мою невестку. А не то прокляну тебя, страшной клятвой прокляну!» Слезы стекали по лицу на подушку. Я тихо плакала, укрывшись с головой, чтобы не услышала Алиман.

На другой день, вернувшись с работы, Алиман ни-

куда не пошла. Осталась вечером дома. После этого чабан угнал куда-то отару и больше не появлялся. Алиман, видно, переживала это, ходила хмурая.

«Плюнула бы на меня и ушла с ним, коли он по душе тебе, — ругала я ее про себя и жалела: — Эх бедняжка ты моя, горемычная! И на что ты уродилась такая на беду свою!» Но дни шли, и понемногу все это забылось.

Ранней весной тот чабан снова появился у нас. Я заметила его в поймище, где он пас овец. И снова Алиман стала уходить по вечерам и возвращалась поздней ночью. Я ей ничего не говорила. Сама она должна была решать свою судьбу.

Как-то ночью я долго ждала Алиман. Аил весь спал, и я прилегла было, прикрутила лампу, но не спалось. Непокойно, тяжело было на душе. Ожидая Алиман, я прислушивалась к каждому шороху за окном. На дворе стояла луна, тучи иногда задевали ее краем, погода была тихая, весенняя. Знобило меня. Не от холода, а от одиночества. Укуталась я в шубу и задремала сидя. А потом проснулась, испугавшись чего-то; смотрю — Алиман появляется в дверях. Пуговицы на платье сорваны, видна голая грудь, волосы растрепаны и глаза помутневшие. Первый раз я видела ее пьяной. Переступив порог, она зашаталась, едва не упав, схватилась за печку и замотала головой. У меня мороз пробежал по коже.

— Что смотришь? — спросила она, подняв голову. — Ну что ты смотришь на меня? Да, я пьяна. Да, я пила водку. А что мне остается делать? Кому же пить, если не мне, а? Что молчишь?

Онемела я, слово не в силах была выдать. Жутко было глядеть, до чего невестка моя докатилась. Алиман стояла все так же, держась за печь. Опустив голову, она вдруг зашептала:

— Мама, ты ничего не знаешь. А я... я сегодня... Помнишь, когда провожали Касыма, мы ходили на реку. Вот там... — И, не договорив, вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол и забилась в плаче.

И только тогда я пришла в себя. Кинулась я к ней, схватила ее, прижала к груди.

— Что с тобой, Алиман? Что ты плачешь? Ну скажи? Опечалилась? Или обидел кто? Скажи, скажи мне! Или на меня в обиде? Если в обиде, выскажи все, что на душе...

— Нет, нет, мама, мамочка! — захлебывалась Алиман в слезах. — Бедная моя, несчастная, одинокая моя! Ничего-то ты не знаешь... А если бы и знала, что бы ты могла сделать? Ой, мама, мама, ой, мама!

Долго еще она стонала, уткнувшись в меня мокрым лицом. А потом понемногу успокоилась и уснула. Но и во сне она продолжала всхлипывать и жалобно стонать. До самого рассвета просидела я у ее изголовья и все думала: как нам быть дальше? Что делать? Решила поговорить с ней начистоту. Но утром она не стала разговаривать со мной. И без того ей было тошно. Молча, глазами просила не напоминать ей о том, что случилось ночью, только, когда мы выходили на работу, тихо сказала в воротах:

— Прости меня, мама.

И я не стала больше тревожить ее.

Прошло месяца три. Летом было следствие по делу того самого дезертира Дженшенкула. После войны он не решался открыто вернуться в аил, но украдкой по ночам, оказывается, бывал дома. Скрывался он где-то в Казахстане, промышлял там спекуляцией, перепродавал ворованный скот и вот попался. Выяснились его прошлые дела, и Дженшенкула привезли к нам в аил на очное дознание. Ко мне тоже прискакал рассыльный из сельсовета, говорит:

— Вызывают тебя свидетелем.

Я пошла. На улице встретила Алиман. Она возвращалась с работы. Усталая, понурая, шла она в стороне от всех. Потемнела она лицом в то лето. Мне стало жалко ее, и, чтобы не сидела она дома одна, я сказала ей:

— Идем, детка, сходим в контору. Домой вернемся вместе.

А она ответила:

— Нет, мама. Что мне там делать? Я пойду домой, голова что-то болит.

— Ну, иди, — сказала я ей. — Да приляг, отдохни. Корову я сама буду доить.

Возле сельсовета стояла глухо крытая машина. На крыльце толпились люди, вызванные как свидетели, и те, что завернули сюда по пути с работы. Давненько я не видела Дженшенкула, почитай, лет семь. Видно, дурная жизнь шла ему впрок. Здоровенный, толсторожий, сидел он на скамейке у окна, угрюмо поглядывая исподлобья, и огрызнулся в ответ кому-то:

— Ты говоришь, что вор, а вы меня ловили руками, вы меня видели глазами? Нет! Так вот не возводи напрасно поклеп. Можешь говорить сто раз, и все это пустое. Факты, факты нужны!

Услышав это, я рванула приоткрытое окно и крикнула с улицы:

— Ты врешь, сволочь! Тебе факты нужны — вот я — факт!

— Мамаша, войдите сюда, — попросил меня следовательно, привстав из-за стола.

Я всшла и сразу заговорила.

— Да, мы тебя не ловили на месте преступления. Да нам и некогда было гоняться за тобой. Мы тогда погтями пахали землю, мы тогда хлеб добывали для фронта. Мы тогда колоски собирали, чтобы прокормить детей. А ты угонял наших лошадей — с плуга срывал тягло рабочее. Ты тогда вырывал из рук последние семена, собранные по зернышку, от детей отрывали мы, а ты от нас. Значит, ты был врагом. И когда я догнала тебя, я крикнула: «Стой! Я тебя знаю, Дженшенкул, стой!» Ты обернулся и выстрелил в меня. Вот тебе факты!

Я замолчала, и следовательно сказал мне:

— Спасибо вам, мамаша. Теперь вы свободны. Можете идти домой.

Я выходила из сельсовета, как вдруг к двери выскочила жена Дженшенкула. Она, как бешеная, накинулась на меня с криком:

— Ах ты, карга одинокая! Ты все правды ищешь, и правда карает тебя. Так тебе и надо! Мало было, теперь поплачешь. Откуда живот у твоей невестки, а? Под носом у тебя твоя шлюха забрюхатела, а ты правды ищешь. Вот и поищите теперь вместе, бесстыжие твари!

Люди оттащили ее от меня в угол, зажали ей рот, но я сказала им:

— Отпустите ее, не троньте! — И молча пошла домой.

То ли пыль по дороге была такая горячая, то ли стыд жег мои ноги, но сначала я чуть не бежала. А потом медленно побрела, стала собираться с мыслями. Никогда мне в голову не приходило такое, а ведь можно было догадаться. В последнее время Алиман как-то странно изменилась, неразговорчивой стала, нелюдимой, сторонилась даже подруг своих. Я приписывала это тому, что с чабаном тем у нее ничего не получилось. Он еще вес-

ной ушел в горы, и след его простыл. Думала, что не поладили они, вот она и переживает. Однако дело-то оказалось совсем другое. Ах какая беда! Но кто мог знать, что так получится. Растерялась я, не представляла, что делать. На другой день вечером Айша позвала меня к себе заглянуть на огонек. За чаем и разговорами она сказала между прочим:

— А жена Дженшенкула ночью переехала куда-то из айла.

Я промолчала. Какое мне было дело? Переехала, ну и пусть. Каждый волен себе. И только потом, года через два, я узнала: пришли ночью люди к жене Дженшенкула, погрузили все ее добро на брички и сказали: «Езжай куда хочешь. Тебе у нас в айле нет места». После этого никто никогда не напоминал мне о нашей с Алиман беде. Может быть, самой ей и говорили что-нибудь, может быть, люди всякое думали про себя, кто жалел, а кто осуждал ее, но мне никто не намекал об этом, и за это людям великое спасибо. Прошло столько лет, но все по-прежнему уважают меня.

После того как я узнала, что Алиман беременна, у нас с ней ничего не изменилось. Жили, работали, советовались обо всем, как и раньше. О своем будущем материнстве Алиман не заговаривала. То ли не решалась, то ли откладывала до поры до времени. Я тоже молчала об этом, щадила ее гордость. А главное — в душе я не осуждала ее. Права такого не имела, потому что вся ее жизнь проходила на моих глазах, все я видела, все я понимала и в чем-то сама была виновата. И поэтому я сразу сказала себе: если Алиман совершила грех, то это и мой грех, если она родит, то это и мой ребенок, и весь стыд, все тяготы и муки возьму на себя. Я знала, так же как и она, что рано или поздно наступит день, когда мы поневоле заговорим и простим друг другу долгое молчание. И все же мы откладывали разговор сегодня на завтра, завтра на послезавтра. Однажды я все-таки проговорилась.

К концу лета, когда Алиман носила уже пятый или шестой месяц, как-то рано утром я погнала корову к стаду. Мальчишка-пастушок звенел в то утро, как кочеток. Стадо поравнялось с нашим двором. Погоняя коров, пастушок улыбался мне во всю рожу.

— Тетушка Толгонай! — сказал он. — Суйунчу — давайте мне плату за хорошую весть! Сноха деда Джорбека родила!

— Да ну! Когда родила?

— На рассвете.

— Мальчик или девочка?

— Девочка, тетушка Толгонай. Сказали, что имя ее будет Жаворонок. Потому что родилась она на заре, как жаворонок!

— Вот и хорошо. Пусть долго живет. Спасибо за хорошую весть.

Очень тронуло меня, что этот мальчишка-сирота так радовался тому, что кто-то родился на свет. Довольная этим, я пошла домой. И как это могло случиться, что в ту минуту я забыла о том, о чем думала днем и ночью? Я крикнула в воротах:

— Алиман, ты слышала новость? Сноха Джоробека родила. Девочку. Слышала? Бедняжка так тяжело переносила; слава богу, благополучно... — И, не договорив, осеклась, словно камень попал на больной зуб.

Алиман стояла молча, опустив глаза и добела прикусив губу. Что подумала она в тот миг? Может, у нее мелькнула мысль, что, когда она родит, никто не будет с такой радостью оповещать об этом людей. Мне стало невыносимо жарко от стыда за свою неловкость. Не смея взглянуть ей в глаза, я подседа к очагу и принялась подклаживать кизяки в огонь, хотя в этом не было никакой нужды. Когда я обернулась, Алиман все так же, опустив глаза, стояла у стены. Сердце защемило от жалости. Я заставила себя встать и подойти к ней.

— Что с тобой, тебе нездоровится? — спросила я.

— Нет мама, — ответила она.

— Может, тебе трудно на работе — полежала бы дома.

— Да нет, не трудно, мама. Табак низать — какая же трудность, — сказала она и пошла на работу.

Тогда я решила, что больше тянуть нельзя. Надо сейчас же сказать, что ей нечего стыдиться, что все новорожденные одинаковы и что ее ребенок будет для меня родным. Буду нянчить его, как нянчила своих детей. Пусть она поймет это. Пусть не вешает головы. Пусть живет гордо. Смотрит людям в глаза смело — она имеет право быть матерью.

С этими мыслями я выбежала за ней, окликнула ее:

— Алиман, подожди минутку. Разговор есть, стой!

Она сделала вид, что не услышала, ушла, не оглянувшись.

Весь день переживала я, думала: «Нет, так дальше

нельзя. Вечером скажу обязательно. Так будет легче ей и мне». Но не пришлось мне исполнить свое намерение. Вечером, когда я вернулась с работы, Алиман не было дома. Подождала и забеспокоилась. Что с ней? Почему так долго не возвращается? Собралась идти искать и, выйдя из дому, увидела Бекташа. Он молча вошел в калитку с большой охапкой зеленой травы. Так же молча бросил траву в кормушку корове и только тогда сказал негромко:

— Тетушка Толгонай, Алиман передала, чтобы вы ее не искали. Она сказала, что уезжает к себе в Каинды.

Ноги мои подкосились, я села на порог.

— Когда уехала?

— После обеда. Часа два тому назад. Уехала на попутной машине.

Я сидела как побитая. Так тошно, так беспросветно было на душе, точно час мой смертный настал. Бекташ стал успокаивать меня:

— Да вы не волнуйтесь, тетушка Толгонай. Шофер посадил ее в кабину. В кабине хорошо, — говорил он.

«Эх, Бекташ, Бекташ, если бы дело было только в этом», — думала я про себя. И все же я была благодарна ему за его бесхитрое утешение. В ту пору он был уже рослым парнем. Работал в колхозе ездовым. Посмотрела я на него и удивилась, как быстро он вытянулся, раздался в плечах. И походка, и голос стали уже мужскими. И лицо спокойное, приветливое. Я его мальчишкой еще любила, и в такой горький для меня час хорошо было, что он пришел ко мне. Бекташ принес воды из арыка, поставил самовар, полил водой двор и стал подметать.

— Вы отдыхайте, тетушка Толгонай, — сказал он. — Я сейчас кошму постелю под яблоней. Мама придет. Говорит, соскучилась по вашему чаю. Она сейчас придет.

После того как ушла Алиман, дни стали бесконечными. И как я могла до этого считать себя одинокой? Вовсе не знала я, оказывается, что такое настоящее одиночество. Потерпела дня три, а потом стало невмоготу. Дом не дом, и жизнь не жизнь. В пору хоть уйти куда-нибудь скитаться по свету. А как подумаю, что там с Алиман, — еще тяжелей становилось. Хорошо, если родственники в Каиндах приняли ее подобру, а что, если издеваются: когда-то слушать не желала, не ваше, мол, дело, сама знаю, не вмешивайтесь, а теперь пришла опозоренная приют искать, теперь мы тебе нуж-

ны стали. Могли ей так сказать, конечно, могли. И если сказали, каково-то ей там? Гордая она, снесет ли эти упреки? Не дай бог, руки еще наложит на себя. Эх, Алиман, Алиман, была бы ты рядом со мной, сама бы весь позор приняла, но в обиду никому не дала! Всякое думала, по-всякому гадала. А потом сказала себе: «Нет, так не годится. Поеду, узнаю, посмотрю сама. Буду упрашивать, может, послушается, вернется домой. Какое счастье было бы, если бы она снова вернулась. А если не захочет вернуться, ну что ж, ничего не поделаешь. Благословлю ее, поплачу и приеду назад». Так я решила и на другой день собралась в путь. Дом и корову поручила Айше. Бекташ остановил на улице попутную машину, села я в кузов и отправилась в Каинды.

Когда мы выехали за аил и двинулись по проселку, я заметила женщину, идущую по тропинке в жнивье. Сразу узнала — Алиман! Родная, ненаглядная моя, она возвращалась ко мне домой. Я заколотила кулаками по кабине: «Стой! Стой! Остановись!» Машина с разгона прошла еще немного, остановилась, я схватила курджун и скатилась с кузова. В налетевшей пыли все вдруг сразу скрылось, как в густом тумане. Я подумала даже, не во сне ли видела мою Алиман. Когда пыль ушла вслед за машиной, я снова увидела ее.

— Алиман-ан! — крикнула я изо всей мочи.

Не помню, как добежала. Помню только, обнимались мы, целовались, плакали. И так истосковались, оказываются, друг по дружке, что и слов-то не находили, как сказать обо всем, что думано и передумано было за эти дни. Ласкала я, гладила лицо Алиман и все говорила одно и то же:

— Вернулась, да? Вернулась, доченька моя. Вернулась ко мне, к матери своей! Вернулась!

Алиман отвечала:

— Да, вернулась! Вернулась, мама, к тебе. Вернулась!

И когда мы стояли так, обнявшись, ребенок ее вдруг шевельнулся внутри и раза два толкнул ножкой в живот. Мы обе услышали эти толчки. Алиман положила руки на живот и стала осторожно гладить его ладонями. И глаза ее в ту минуту будто перевернули всю мою жизнь. И как мне могли придти в голову скверные мысли о ней! О святое материнство! Одна лишь такая капля счастья окупит море твоих страданий. Я прижалась к ее щеке и, не удержавшись, заплакала:

— Ненаглядная моя, сердечная, ласковая! Как я боялась за тебя!

Она успокаивала:

— Не плачь, мама. Прости меня, глупую. Не уйти мне никогда от тебя. Попробовала, ничего не получилось: не вытерпела я, все время тосковала о тебе.

Я решила, что подошел самый удобный случай для нашего откровенного разговора, и сказала ей:

— Ты почему ушла, обиделась?

Она молчала, точно обдумывая свой ответ, а потом со вздохом сказала:

— Не спрашивай меня об этом, мама! Зачем тебе это? Ты мне ничего не говори, и я ничего не буду тебе говорить. Не мучай меня, мама, и так мне тошно.

Опять она уклонилась от разговора. И вот так всякий раз. Как она не понимала, что этим делала себе только хуже.

Осень в том году был затяжная и очень дождливая. Не было дня, чтобы не капало сверху. И в эти серые, долгие, ненастные дни мы большей частью сидели дома. И так же, как сама осень, томилась Алиман. Все больше мрачнела, вовсе перестала разговаривать и смеяться. Все думала о чем-то. Сдавалось мне: последние дни донашивала она ребенка. Как ни старалась я расшевелить немного ее, подбодрить шуткой, лаской, ничего из этого не получалось. Не дитя же она маленькое, чтобы ее печаль можно было развеять шуткой. Да не только я — и другие пытались как-то помочь ей в беде, но что можно было сделать? Бекташ однажды привез нам соломки. Говорит, мать снова слегла. И я пошла попроведать Айшу. Жар был у нее, кашляла. Я ее пожурила немного.

— Сама, — говорю, — ты виновата. Знаешь, что беречься тебе надо, так нет, куда там, разъезжать стала по гостям, да в такую погоду.

Она виновато улыбнулась. Возразить-то ей было трудно, потому что до этого ездили они, четыре женщины, на бричке Бекташа в соседний аил в гости к кому-то, на свадьбу. Когда я собиралась было уже уходить, Айша задержала меня.

— Постой, — говорит, — Толгонай, если не осерчаешь, разговор есть у меня к тебе.

— Ну говори. — Я вернулась от дверей.

— В нижний аил мы ездили не на свадьбу. Родственников там у меня нет, ты это и сама знаешь. За-

думали мы одно дело, хотя и без разрешения на то от тебя, так ты прости нас, Толгонай, хотели как лучше. Нашли мы этого парня, чабана, ну и взяли его в оборот. Говорим: так и так, Алиман уже на сносях, последние дни, а ты и глазу не кажешь. Как же так получается? Нехорошо вроде! Однако ничего у нас не вышло из этого. Во-первых, жена у него есть, а во-вторых, совести у него нет. Отрекся: не знаю ничего и знать не хочу. Ни в какую. Да, тут еще жена его пронюхала, в чем дело. Да такая скандальная баба оказалась, накричала, наорала на нас, срам один. Обесчестила и прогнала. А в пути дождь застиг холодный, промокли до ниточки, вот и слегла я. Но и это ладно, как же теперь с Алиман-то, а? — И Айша, зажимая, рот, заплакала.

— Не плачь, Айша, — сказала я ей. — Пока я жива, в обиду ее не дам! — И вышла. А что я еще могла сказать?

Потянулись трудные дни, роды приближались, и тут уже я не спускала глаз с Алиман. Она во двор — и я за ней. Ни на шаг не отставала. Боялась, как бы не упустить схватки. А не то стала бы я разве надоедать ей?

А однажды смотрю — оделась она тепло, платком укуталась.

— Ты куда, — говорю, — доченька?

— На реку пойду, — ответила она.

— Не ходила бы ты, что там делать на реке в такую сырость? Посиди лучше дома.

— Нет, пойду.

— Ну, тогда и я пойду. Одну тебя не отпущу, — сказала я.

А она так глянула на меня — и все, что наболело у нее на душе за эти дни, всю свою злобу сорвала на мне:

— Да что ты привязалась ко мне? Чего тебе надо от меня? Что ты ходишь по пятам, как тень? Оставь меня в покое. Думаешь, подохну я, что ли, не подохну! — Хлопнула дверью и ушла.

Будто по сердцу моему хлопнула она дверью. Очень обиделась я. И однако, не усидела, опять же вышла на задворье глянуть, где Алиман. Не видно было ее, ушла она в поймаще.

Дождь моросил мелкий-мелкий, почти невидимый, будто холодным паром обдавало. Ветер таскал за космы седые тучи. В саду было неуютно. Деревья стояли голые, озябшие, с мокрыми, потемневшими ветвями. На-

род весь сидел по домам. Безлюдно кругом. За дымной мглой вдаль едва угадывались гребни темного хребта.

Подождала я немного и потом пошла следом: пусть как хочет ругает меня, но хуже будет, если ляжет где-нибудь в сырости, когда начнутся схватки. Выйдя на тропу за огородом, я увидела Алиман. Она возвращалась. Шла медленно, едва передвигая ноги и понуро опустив голову. Поспешив домой, я поставила чай, быстренько наделала оладий на сметане и яйцах. Потом расстелила на кошке чистую скатерть и принесла яблук-зимовок, выбрала самые красивые. Алиман вошла и, увидев скатерть, молча грустно улыбнулась мне.

— Замерзла, доченька? Садись, чай попей, покушай оладий, — сказала я ей.

— Нет, ничего мне не хочется кушать, мама. Дай вот одно яблоко. Попробую, — ответила она.

— Может, у тебя где болит, Алиман, ты скажи мне, — стала допытываться я.

Но она опять сказала:

— Не спрашивай меня, мама. Я какая-то сама не своя. Ненавижу себя. И тебя обругала ни за что. Лучше оставь меня в покое. — И махнула рукой.

Наступила ночь, и, укладываясь спать, я с обидой думала, что теперь Алиман не нравится все, что бы я ей ни сказала, и с этой обидой уснула. Обычно я часто просыпалась по ночам, поглядывала, как там Алиман, а тут сон придавил меня, словно камнем. Если бы я знала, разве сомкнула бы я глаза — да десять ночей подряд не прислонила бы голову к стене...

Не помню, когда и отчего я вдруг проснулась.глянула, — а Алиман нет на месте. Спросонья-то не сразу сообразишь. Подумала сначала, что вышла на двор. Подождала немного. Нет, не слышно. Потом потрогала постель Алиман. Постель холодная, и у меня сердце похолодело: давно уже она встала! Кое-как оделась и выскочила во двор. Обошла все углы, сбегала на огород, выскочила на улицу. Стала звать ее: «Алиман! Алиман!» — не отзывалась. Только собаки всполошились, залаяли по дворам. Муторно стало мне: значит, ушла! Куда же она ушла в такую темную ночь? Что делать теперь? Может, догоню? Бросилась снова в дом, фонарь засветила и с фонарем в руках пошла искать. Но, выходя из дверей, услышала, будто застонал кто и вскрикнул в сарае. Кинулась через двор, рванула двери сарая — и фонарь чуть не выронила из рук, засты-

ла, не веря своим глазам: Алиман лежала на соломе навзничь. Рожала. Металась в горячке.

— Да что же ты это? Почему не сказала? — закричала я и бросилась к ней.

Хотела помочь, стала приподнимать ее и содрогнулась, когда на руку мне навернулся пропитанный кровью подол платья. Алиман горела, как огонь. Она тяжело и с хрипом выдыхала:

— Умираю. Умираю.

Видно, давно уже она маялась.

— Упаси боже! Упаси боже! — взмолилась я, поняв, что ей самой не разродиться, что спасти ее может только доктор.

Я оставила ее и побежала к Айше, заколотила в окно изо всех сил:

— Вставайте, вставайте быстрее! Бекташ, запрягай бричку. Плохо с Алиман. Быстрее, милый, плохо с ней!

Разбудила их, прибежала назад, дала Алиман воды. Зубы ее стучали по кружке, било ее, как в лихорадке, кое-как сделала она два глотка и снова скрутилась, заохала. Тут подоспела Айша, запыхалась, на ногах едва держится, больная ведь лежала. Как увидела, что с Алиман — с лица, сошла, запричитала:

— Алиман, милая, да что ж это такое? Алиман, деточка моя! Не бойся. В больницу повезем!

К счастью, Бекташ в тот день вернулся домой поздно и потому лошадей не отвел на конюшню, а поставил у себя под навесом. Он быстро пригнал бричку во двор. Мы набросали в нее сена, постель постелили, подушки подложили и втроем кое-как вынесли Алиман из сарая, положили в бричку. И тут же, не медля, поехали в больницу.

Ах, эта разбитая осенняя дорога, ах, эта темная проклятая ночь... Больница была тогда только в Заречье, а мост через реку в объезд далеко внизу.

Как только мы выехали из аида, у Алиман снова начались схватки, она закричала, стала сбрасывать с себя все. Я держала ее голову у себя на коленях. То и дело укрывала одеялом, то и дело подносила к лицу фонарь — все смотрела ей в глаза, успокаивала. И Бекташ успокаивал:

— Потерпи, Алиман. Скоро приедем. Вот увидишь, сейчас приедем. До моста уже рукой подать.

До моста было еще кто его знает сколько. Погнать бы лошадей вскачь, да никак нельзя — растрясет Алиман. А тут дождь припустил сильнее. Все будто сошлось одно

к одному — тьма непроглядная, холодный дождь, грязь да ухабы. Алиман билась в судорогах, стонала, кричала и вдруг как-то сразу затихла, захрипела.

— Алиман! Алиман! Что с тобой? — всполошилась я, обняла ее, посветила фонарем.

На меня глядели ее горящие глаза.

— Остановитесь! Умираю я! Остановитесь! — проговорила она черными, запекшимися губами и стала задыхаться.

Мы остановили бричку.

— Подними мне голову выше, — попросила она. — Воздуху не хватает. — И заплакала. И, торопясь, глотая слезы, стала говорить: — Мама, родненькая... Горит у меня все внутри, сил нет... Умираю я... Спасибо тебе за все, мама. Прости меня... Если бы Касым был жив... О-ой, Касым, умираю я... Прости меня...

Я взмолилась перед ней:

— Нет, доченька, не умрешь ты. Потерпи, потерпи, родная. Вот уже до моста недалеко. Слышишь, не умрешь ты!

Ее снова скрутило. Стиснув зубы и теряя сознание, она забилась из последних сил.

— Бекташ, — приказала я. — Бери ее под руки, поднимай! Быстрей! Да не стыдись ты, ради бога!

Бекташ поднимал Алиман, а я старалась помочь ребенку. Потом Бекташ заплакал навзрыд, и тут снова вдруг вспомнился мне грохот эшелона, и пошли, пошли стучать в ушах колеса; ветер донес крик: «Мама-а! Алиман-ан!» И сейчас же раздался крик новорожденного. О жизнь, почему ты так жестока, почему ты так слепа! Ребенок родился, а Алиман умирала. Я успела только завернуть в подол мокрое, голое тельце, глянула, а она, мать Алиман, уже безжизненно висела на руках Бекташа. Голова огкинулась набок, руки болтались, как плети.

— Алиман! — вскрикнула я не своим голосом и схватила ее руку: пульс пропал.

В одно мгновение на глазах у меня столкнулись жизнь и смерть.

Когда мы повернули назад, рассвет уже занимался. В сумеречном свете кружились крупные белые снежинки. Они мягко опускаясь на дорогу. Вокруг была тишина — ни звука, во всем мире была белая тишина. И в этой белой тишине бесшумно тащились усталые лошади с белыми гривами и белыми хвостами, беззвучно рыдал

Бекташ, сидя на бричке. Он не погонял лошадей, лошади сами шли. Он всю дорогу плакал. А я шла рядом по обочине дороги, укрыв ребенка под чапан у себя на груди, и белый снег на земле казался мне черным.

Вот так война в последний раз напомнила о себе. Дорога, по которой я шла в то утро, была самой трудной дорогой в моей жизни, и мне казалось, что лучше умереть, чем так жить... А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошевеливался теплым, мяконецким комочком и не переставал плакать. Несла его и говорила: «Какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью». И вдруг откуда-то издалека, донеслась мысль: «А ведь жизнь не совсем погибла, остался росточек». Но тут же подумала: «Да какой же он жилец, если не попробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его». Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе: «Ну, оставь в живых хоть этого! Не дай ему умереть. Может, выживет? Может, выкарабкается как-нибудь?» Вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась, и незаметно наступило утро, когда мы добрались до айла.

Снег все так же бесшумно и густо валил, все так же стояла вокруг белая тишина. И среди этой тишины заброшенные развалины недостроенной улицы показались еще более страшными. От того, что здесь было начато семь лет назад, остались лишь жалкие следы. Снег кружил над безжизненной улицей, заметая сугробами зияющие пустотой руины и унылые заросли сухих колючек и кураев. На бывшем дворе Алиман и Касыма, точно в память их забот и мечтаний, все так же лежали груды камней и куча кирпичей.

Навсегда успокоенная, Алиман лежала бледная, с закрытыми глазами. Голова моталась из стороны в сторону, снег падал на ее лицо и не таял.

У первых дворов айла Бекташ спрыгнул с брички и первый раз в жизни громким мужским плачем оповестил людей о смерти человека. Из дворов стал выбегать народ, нас обступили со слезами. Прибежала Айша, заголосила на всю улицу, взяла у меня ребенка и понесла его к себе домой.

Через день мы похоронили Алиман. По обычаю, женщине не положено идти на кладбище, но я пошла, и ни-

кто ничего не сказал мне: в доме у меня не было мужчин, чтобы я могла соблюсти обычай. Я сама схоронила Алимана, сама уложила ее на дно могилы и сама бросила первую горсть земли. В тот день тоже шел густой, пушистый снег. Красная куча глины быстро стала белой горкой.

Весной я посадила на могиле Алимана цветы. Каждую весну сажаю. Ведь она очень любила цветы.

Ну а дальше снова началась жизнь. В первые дни Жанболота кормила грудью сноха деда Джоробека, а потом я стала давать ему козье молоко. Хватили мы с ним горя вдосталь, стоит ли об этом говорить. Одним словом, было ему написано на роду остаться в живых, и он выжил. И за это благодарю судьбу. Теперь ему двенадцать лет. Доктор, что лечил его маленького, — нынче известный к округе человек, и сейчас при встрече спрашивает:

— Ну как, бабушка, внучек-то растет?

— Слава богу, — говорю, — джигит уже!

Он смотрит на меня и улыбается:

— Вот и хорошо, расти его человеком.

Знает он нас с Жанболотом давно. Жанболоту было тогда года полтора. Конечно, болезненным рос он. Однажды простыл сильно и занемог не на шутку. Смотрю, губы посинели, глаз не открывает и дышит еле-еле. Схватила я его — и быстрее в больницу. И опять же ночью да в зимнее время вброд перешла реку. Доктор оказался молоденьким парнем, недавно, наверное, учение кончил. Как увидел меня, что дрожу я от холода в мокрой одежде, перепугался, замахал руками:

— Да вы с ума сошли, кто вам разрешил ходить по воде? Где его родители?

— Я ему и отец и мать, сынок. Не дай ему помереть. Если помрет, жить не буду, — сказала я ему.

Всю ночь он возился с малышом, через каждые два часа уколы делал. Мне дал сухую одежду, лекарствами поил, однако утром свалилась я в жару, кровью захаркала. Лежала я в горячем тумане, в забытьи. Помню только, что доктор подходил к изголовью, клал мне руку на лоб и говорил:

— Не сдавайся, мамаша, держись. Внучек твой смеется уже, выздоровел.

— Коли так, и я вытяну, — прошептала я.

Может, потому и выжила я, что внук остался жив.

Летом в этом году интересный случай был. На каникулы бегал он по улицам, а потом смотрю — выволоч во

двор велосипед Касыма. Тот самый, двадцать лет висел он в сарае под крышей. Да, вытащил, стало быть, и давай ремонтировать. Ну, я ничего не сказала, мальчишка ведь, думала, повозится, повозится и бросит. Ремонтировать-то там было нечего: железо все в ржавчине и резина полопалась. Прибежали друзья его и тоже смеялись. Это, говорят, рухлядь, допотопная машина. А он упрямый, сопит и делает свое. Не знаю, получилось бы у него что-нибудь или нет, если бы не Бекташ. Он тоже вязался в это дело. И тоже с самым серьезным видом, как мальчишка, хотя он и отец семейства. Бекташ любит Жанболота, если что — и в школу ходит к учителям. Женился он, когда Айша была еще жива. Умерла она года через три после Алимана. Крепко убивалась я по подруге своей. Сколько мы с ней повидали горя. А Бекташ хорошим вышел человеком. Разумный, работающий. Трое детей у него, жена — Гульсун — добрая соседка. А сам он давно уже комбайнером работает.

Так вот, однажды Жанболот появился с велосипедом, начищенным, смазанным, и сам весь в масле.

— Бабушка, — сказал он, — смотри, какой стал отцовский велосипед!

У меня и руки отнялись: радостно и горько мне стало от этих слов. А он загордился.

— Я, — говорит, — ездить уже умею. Вот смотри!

На седло сесть — ноги не достают педалей, так он прицепился сбоку к велосипеду, перегнулся весь и поехал, завихляя из стороны в сторону: вот-вот свалится.

— Слезь, упадешь! — прикрикнула я.

А он еще пуще. В ворота — и на улицу. Я за ним. Разогнался по дороге да как полетит с размаху вместе с велосипедом. Сильно ушибся. Я добежала, подняла его с земли, стала ругать:

— Убиться хочешь, что ли? Ишь что выдумал! Не смей больше ездить!

А он говорит:

— Я больше не буду падать, бабушка. Это я попробовать хотел, я ведь еще не падал с велосипеда.

Я рассмеялась. Смотрю, Бекташ стоит у калитки. Вроде бы так просто, стоит и поглядывает. Он ничего не сказал, и я ничего не сказала. Но мы без слов поняли друг друга.

А тут вскоре жатва началась. Бекташ как-то зашел к нам вечером.

— Хочу, — говорит, — вашего Жанболота в помощник взять на комбайн.

— Если подходит — бери, — согласилась я.

Разрешить-то разрешила, а через два дня пошла проводить. Дитя ведь еще: может, трудновато будет на уборке.

Жанболот мой работал на комбайне солоมщиком. Он увидел меня и закричал, будто с вершины горы:

— Бабушка! Я здесь!

А Бекташ, стоя у штурвала, помахал мне рукой, поклонился.

До самого вечера сидела я в тени под деревом у арыка и смотрела на жатву. Машины пылили взад-вперед по дороге, отвозя обмолот на тока.

В сумерках пришли комбайнеры отдохнуть. Жанболот шагал устало и гордо, подражая Бекташу, и, так же молча и так же фыркая, стал умываться по пояс в арыке. А когда увидел узелок в моих руках, обрадовался:

— Бабушка, ты яблоки принесла?

— Принесла, — ответила я.

И тогда он подбежал, обнял меня и поцеловал.

Бекташ прыснул со смеху.

— Что ж ты важничал? Давно бы так. Ну, поласкайся, поласкайся, а то некогда будет.

Ужинать сели мы на траву подле полевого вагона. Хлеб был горячий, только что испеченный. Жанболот разломил лепешки и сказал:

— Бери, бабушка!

Я благословила хлеб и, откусив от ломтя, услышала знакомый запах комбайнерских рук. Хлеб припахивал керосином, железом, соломой и спелым зерном. Да-да, в точности, как тогда! Я проглотила хлеб со слезами и подумала: «Хлеб бессмертен, ты слышишь, сын мой Касым! И жизнь бессмертна, и труд бессмертен!»

Домой меня комбайнеры не отпустили. Говорят, вы у нас гостя, оставайтесь ночевать в поле. Мне постелили на соломе. Глядела я в ту ночь в небо, и чудилось мне, что Млечный Путь усеян свежей золотистой соломой, рассыпанными зернами и шелухой обмолота. И в той звездной выси, сквозь Дорогу Соломщика, как далекая песня, уходит эшелон, удаляется стук его колес. Засыпала я под этот затихающий стук и думала, что сегодня пришел на свет новый хлебобоб. Пусть долго живет он, пусть будет у него столько зерна, сколько звезд на небе.

А на рассвете я поднялась и, чтобы не мешать комбайнерам, пошла в аил.

Давно я не видела такой великой зари над горами. Давно я не слышала такой песни жаворонка. Он взлетал все выше и выше в ясное небо, повис там серым комочком и, словно человеческое сердце, неустанно бился, трепыхался, неумолчно звенел на всю степь. «Смотри, запел наш жаворонок!» — говорил когда-то Суванкул. Чудно, даже жаворонок был у нас свой. И ты бессмертен, жаворонок мой!

17

— О поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы. Не слышно здесь голосов людей, не пылят на дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще стада на стерню. Ты отдало людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов. Ты будешь отдыхать до взмета зяби. Сейчас здесь нас двое — ты да я, и больше никого. Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения, сегодня я поклоняюсь памяти Суванкула, Касыма, Маселбека, Джайнака и Алиман. Пока жива, я их никогда не забуду. Придет время, расскажу обо всем Жанболоту. Если наделен с рождения разумом и сердцем, то он поймет все. А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? У меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека?

Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям.

Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой каплей своей скажи!

Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты людям!

— Нет, Толгонай, ты скажи. Ты — Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех, ты — Человек. Ты скажи!

18

— Ты уходишь, Толгонай?

— Да, уйду. Если жива буду, приду еще. До свидания, поле.

ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРЫ!

На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым...

Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит, как в аду.

Для Танабая этот подъем всегда был сущим наказанием. Не любил он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлестывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быками, прыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках.

Покойный Чоро любил, бывало, подтрунить над чудачеством друга. Он говорил:

— Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет? От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки и тот тебе невмоготу. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь — и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаясь других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся.

Но это было давно, очень давно.

На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал ни скоро, ни тихо. Ехал, как ехалось. Теперь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто ватагой ходил с ним когда-то по этой шумной дороге, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь ездит на машинах. На какой-то кляче тащить с ним не будет.

Колеса стучали по старой дороге. Долго еще стучать им. Впереди лежала степь, а там, за каналом, надо было еще ехать предгорьем.

Он уже давно начал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет...

Да и откуда он мог знать, что его старый иноходец Гульсары*, прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть, последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем и сейчас вез его последние версты? Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым?

Глухо и затянно ныло давно насаженное сердце коня, дышать в хомуте становилось все трудней. Резала, сбившись набок, шлея, а с левой стороны под хомутом постоянно кололо что-то острое. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки хомута. Открывшаяся ранка на старой мозолистой наматине плеча нестерпимо жгла и зудела. И ноги все больше тяжелели, точно он шел по мокрому вспаханному полю.

Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать.

Колеса стучали по старой дороге. Гульсары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил по лугу за своей матерью — большой гривастой кобылой.

* Гульсары — желтый цветок, лютик.

Гульсары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кощунством. Но, как говорится, если беда свалится на коня — конь будет взнузданным воду пить, если беда свалится на молодца — молодец и вброд пойдет в сапогах.

Все это было, осталось далеко позади. Теперь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага.

Кобыла стучали по старой дороге.

Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня те давние летние дни, тот мокрый зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам, а он, глуныш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, в те давние дни, табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать — большая гривастая кобыла — превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир — солнце, земля, мать — умещался в глотке молока. И, уже насытившись, можно было сделать еще глоток, потом еще и еще...

Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад, табуны перестали ходить вверх ногами, под их копытами истоптанный луг чавкал и темнел, а камни на отмели цокали и лопались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью, она больно кусала его за холку, когда он слишком надоедал. Молока уже не хватало. Надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец.

За всю свою долгую жизнь иноходец никогда не возвращался в то успешнее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седо-

ками, а дорогам все не было конца. И только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его зарябило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы, тот мокрый луг, те табуны, та большая гривастая кобыла стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании. И, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием, табуны проносились, как в детстве, задевая его боками и хвостами, а у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели — она разыгрывалась вокруг все сильнее, она секла его жесткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри, в жарком поту он содрогался от холода, и тот недосыгаемый мир бесшумно утопал, исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река, убежали табуны, и лишь смутным пятном проступала впереди тень матери — большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло, исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестала щемить ранка под хомутом.

Иноходец остановился, запатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Станный бесконечный гул стоял в голове.

Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затекшие ноги и хмуρο подошел к коню.

— Эх, будь ты неладен! — тихо выругался он, глядя на иноходца.

Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной, исхудавшей шее. Ребра иноходца туго ходили вверх и вниз, вздымая худые, дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый, золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потеки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта.

— Вроде бы я не гнал, — пробормотал Танабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздал коня. Удила были в горячей липкой слюне. Рукавом шубы отер иноходцу морду и шею. Потом кинулся к телеге — собрать остатки сена, наскреб пол-охапки, бросил к ногам

коня. Но тот не притронулся к корму, его била мелкая дрожь.

Танабай поднес иноходцу клок сена.

— На бери, ешь, ну что же ты!

Губы иноходца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома.

Танабай растерянно огляделся по сторонам: вдали — горы, окрест — голая степь, и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь — редкость.

Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге.

Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы волчьи хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смерзшаяся, сизая, не ожившая. Бесприютна и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида у Танабая заохлодело внутри.

Вскинув вклокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце висало среди облаков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий, дымный закат. Непогоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато.

«Знал бы, не выезжал лучше, — сокрушался Танабай... — А теперь ни туда, ни сюда, стой среди чистого поля. И коня понапрасну загублю».

Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору?

Танабай поднялся на пригорок, чтобы взглянуть, не покажется ли вдали попутная или встречная машина. Но ни в той, ни в другой стороне ничего не было видно и слышно. Он побрел назад к телеге.

«Зря я выехал», — опять подумал Танабай, уже в который раз упрекая себя за вечную спешку. Он злился от досады и на самого себя, и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню передохнуть. А он?..

Танабай сердито махнул рукой. «Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы! — оправдывался он перед

собой. — Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец. Ишь ты, зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил, к старости выгнали... Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца — и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, что там говорить! Не тот народ пошел, не тот».

Танабаю стало жарко, он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь. И никак не мог успокоиться. Там, в доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел, сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей: «Не ты принимала меня в партию, и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всем судить легко. Теперь всяк грамотный, почет и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как еще спрашивали! За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую, за все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь! Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь!»

— Это ты не тронь! — продолжал повторять он вслух, топчась у телеги. — Это ты не тронь! — твердил он все одно и то же. И самое обидное, унижительное было в том, что, кроме этого «не тронь», вроде бы и сказать-то было печего.

Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать — не оставаться же здесь на всю ночь.

Гульсары стоял в упряжи все так же неподвижно, ко всему безучастный, сгорбившись, подобрав ноги в кучу, — казалось, одеревенел, умер.

— Ты что? — Танабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня. — Задремал? Худо тебе, старина? Плохо? — Он торопливо пощупал холодные уши иноходца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. «Совсем постарел, иссеклась грива, легкая, как пушок. Все мы стареем, всем нам один конец», — с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы добрать-ся до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой, по соседству со смотрителем водхоза, оби-

тавшим в полутора километрах выше по речке. Летом Танабай присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока.

Минувшей осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему:

— Идите, аксакал, на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет.

— Это какого же? — насторожился Танабай. — Опять клячу какую-нибудь?

— Там вам покажут. Буланый такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нем когда-то.

Танабай отправился на конюшню, и, когда увидел во дворе иноходца, сердце у него больно сжалось. «Вот и свиделись, выходит, снова», — сказал он про себя старому, заезженному вконец коню. А отказаться не хватило духу. Увел коня с собой.

Дома жена едва узнала иноходца.

— Танабай, неужели это тот Гульсары? — удивилась она.

— Он, он самый, что ж тут такого... — пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза.

Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей:

— Ну, что стоишь, согрей нам поесть. Голодный я как собака.

— Да вот смотрю и думаю, — ответила она, — что значит старость. Не скажи ты мне, что это тот самый Гульсары, и не признала бы.

— Что ж тут удивляться? Думаешь, мы с тобой лучше выглядим! Всему свое время.

— Вот и я ж об этом. — Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала: — Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своем иноходце? Разрешу.

— Куда там, — неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился. Думал, забыла она про то, выходит, нет.

Из трубы валил дым, жена грела на ужин остывший

обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей:

— Слезай, а то еда опять остынет.

Больше она не заговаривала о давнем, да и к чему?..

Всю осень и зиму Танабай выхаживал иноходца, кормил теплыми отрубями, резаной свеклой. Зубы-то у Гульсары были на исходе, одни пеньки оставались. И казалось, поставил уже коня на ноги, так надо же случиться такому. Как теперь с ним быть?

Нет, не хватало у него духу кинуть коня среди дороги.

— Что ж, Гульсары, так и будем стоять? — Танабай толкнул иноходца рукой, тот закачался, переступил ногами. — А ну постой, я сейчас.

Он поднял кнутовищем со дна телеги порожний мешок, в котором привозил невестке картошку, достал оттуда узелок. Жена испекла хлеба на дорогу, а он и забыл о нем, не до еды было. Танабай отломил половину лепешки, мелко крошил ее в подол бешмета, поднес крошево коню. Гульсары шумно вдохнул запах хлеба, но есть не смог. Тогда Танабай стал кормить его с ладони. Затолкал ему в рот несколько кусочков, и конь начал жевать.

— Ешь, ешь, может, и дотянем, а? — Танабай повеселел. — Потихоньку, полегоньку, может, доберемся, а? А там не страшно, там мы со старухой выходим тебя, — приговаривал он. На его дрожащие руки стекала с лошадиных губ слюна, а он радовался, что слюна становится теплее.

Потом он взял иноходца за повод.

— А ну пошли! Нечего стоять. Пошли! — приказал он решительно.

Иноходец тронулся с места, телега закрипела, колеса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли — старый человек и старый конь.

«Совсем ослаб, — думал Танабай про коня, шагая по обочине. — Сколько же тебе лет, Гульсары? Двадцать, а то и больше. Пожалуй, что больше...»

2

Первый раз встретились они после войны. Побывал ефрейтор Танабай Бакасов и на Западе и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал он по солдатским дорогам. И ничего, бог миловал, один раз конту-

зило в обозе, другой раз ранило осколком в грудь, месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть.

А когда возвращался домой, станционные торговки называли его стариком. Ну, это больше в шутку. Танабай не очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый, это с виду будто старый, побурел порядком за войну, седина замелькала в усах, но телом и духом он был еще крепкий. Через год жена родила дочь, а потом вторую. Обе уже замужем, с детьми. Частенько наезжают летом. Муж старшей — шофер. Посадит всех в кузов — и в горы, к старикам. Нет, не в обиде они на дочерей и зятьев, а вот сын не вышел. Но это разговор другой...

А тогда в пути, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Дома жена ждала, сынишке восьмой год шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым: надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем — жить. И этому уже ничто больше не должно помешать — потому что все прошлое как бы отдано было в залог того, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне.

Только оказалось, спешил Танабай, слишком спешил — в залог будущего надо было отдать еще годы и годы.

Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал сплеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды, женщины ходили в галошах на босу ногу, детишки не знали, что такое сахар, колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им, наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. «Уг-ха, уг-ха!» — выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал: — Все уладится, главное — победили, главное — победили!» А молот вторил: «Победили, победили, дили, дили, дили!»

И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом.

А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чоро его уговорил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза, он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за большого сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабай это сразу заметил, когда вернулся.

Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун. Но Чоро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомольцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он, Танабай, старался тогда. Не щадил он тех, кто попал в список на раскулачивание...

Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим.

— А я боялся, что ты прирос к молоту, не оторвешь, — говорил он, улыбаясь.

Больной был Чоро, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Чоро и летом ходил в своей неизменной фуфайке.

Сидели они, опустившись на корточки, у арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю, каким был Чоро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. А Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чоро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось.

— Понимаешь, был я третьего дня в горах, — рассказывал Чоро. — Старики спрашивают, все ли солдаты вернулись? Да все, говорю, кто в живых остался. «А когда думают братья за работу?» Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. «Это и мы знаем. А табуны кому водить? Будут ждать, пока мы порем, так нам немного уже осталось». Стыдно мне стало. Понимаешь, к чему этот разговор ведут? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем ни ночью покоя. А в зимние ночи как! Помнишь Дербшибая, тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали — армии нужны были кони. Попробуй на седьмом

десятке лет, чтоб потаскал тебя как-нибудь сатана по горам да по долам. Костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят, культуры понавидались за границей, в табунщики уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам? Вот как получается. Так что выручай, Танабай. Ты пойдешь, тогда и других заставим.

— Хорошо, Чоро, попробую поговорю с женой, — отвечал Танабай. А сам думал: «Жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, Чоро, все такой же. Сгораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидали за войну, нам бы всем добрее быть. Может, это и есть самое верное в жизни?»

На том они было и разошлись.

Танабай пошел к себе в кузницу. Но Чоро вдруг окликнул его:

— Пстой, Танабай. — Он подъехал к нему на коне, склонился на луку седла, заглядывая в лицо. — Ты, слушаем, не обижаешься? — спросил он негромко. — Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделись. Думал, кончится война, легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить и чтобы планы все выполнять. И люди уже не те, жить хотят лучше...

Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не напли они случая посидеть наедине. А время шло, потом было уже поздно.

Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого Торгоя буланого жеребчика-полуторалетку.

— В наследство что оставляешь, аксакал? Табун-то не ахти, а? — уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона.

Торгой был сухонький старичок без единой волосинки на сморщенном лице, сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты.

Но Торгой не вспылил.

— Какой есть, табун как табун, — невозмутимо ответил он. — Хвалиться особенно нечем, погоняешь — увидишь.

— Да я так, отец, к слову, — примирительно промолвил Танабай.

— Один есть! — Торгой сдвинул с глаз пависшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи. — Вон тот буланый жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет.

— Это который — вон тот, круглый как мяч? Что-то мелковат с виду, поясница короткая.

— Поздныш он. Выправится — ладный будет.

— А что в нем? Чем он хорош?

— Иноходец от роду.

— Ну и что?

— Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали.

— А ну глянем! — предложил Танабай.

Они пришпорили коней, пошли краем табуна, отбили буланого в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места, как заводной, четкой, стремительной иноходью, описывая большой полукруг, чтобы вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал:

— О-о-о, смотри, как идет! Смотри!

— А ты как думал, — задорно отозвался старый табунщик.

Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на байге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика, он все убыстрял и убыстрял бег, почти без напряжения, без единого сбоя на скач, шел ровно, как в полете.

Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме иноходи.

— Ты видишь, Танабай! — кричал на скаку Торгой, размахивая шапкой. — Он на голос чуткий, как нож под рукой, смотри, как поднадает на крик! Айт, айт, ай-та-а-ай!

Когда буланый жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли угомониться, проезжая своих разгоряченных лошадей.

— Ну спасибо, Торгой-аке, хорошего коня вырастил. На душе даже веселей стало.

— Хорош, — соглашался старичок. — Только ты смотри, — вдруг посуровел он, скребя в затылке. — Не сглазь. И прежде времени не болтай. На хорошего иноходца, как на красивую девку, охотников много. Девичья судьба какая: попадет в хорошие руки — будет цвести, глаза

радовать, попадет к какому-нибудь дурню — страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадет на скаку.

— Не беспокойся, аксакал, я ведь тоже разбираюсь в этом деле, не маленький.

— Вот то-то. А кличка его — Гульсары. Запомни.

— Гульсары?

— Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить. Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он стригунком был. Запомни: Гульсары.

Словоохотливым оказался старичком Торгой. Всю ночь наказания давал. Танабай терпеливо выслушивал.

Провожал он Торгоя и жену его верст семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться с семьей. В другой юрте поселится его помощник. Но помощника еще не подобрали. Пока он был один.

На прощанье Торгой снова напоминал:

— Буланого пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да смотри осторожней. Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задергаешь, собьется с иноходи, испортишь коня. Да смотри, чтобы в первые дни не опился сгоряча. Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь — покажешь, если не помру...

И уехал Торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, увозя с собой верблюда, навьюченного пожитками...

Если бы знал Гульсары, сколько разговоров шло о нем и сколько еще будет и к чему это все приведет!..

Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было все то же, те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин — в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, если нравится.

А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубели от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Гульсары оброс длинной шерстью, и все еже ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затишке в плотную кучу и стоял так, индейя, до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо. Иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза — табун вскинет головы, на-

вострит уши, но тут же, убедившись, что хозяин рядом, задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь.

Забуранило однажды ночью в горах. Сыпал колкий снег. Он набивался в гриву, тяжелел хвост, залеплял глаза. Непокорно было в табуна. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоня жеребят в середину табуна. Они оттеснили Гульсары на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брыкаться, расталкивать других, оказался вовсе в стороне, и тут ему здорово досталось от косячного жеребца. Тот давно уже колесил вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожаяще пригнув голову и прижав уши, пропадал в темноте, слышался только его храп, и снова прибегал к лошадям, злой и грозный. Заметив отошедшего в сторону Гульсары, он налетел на него грудью и, развернувшись, со страшной силой ударил его задними копытами по боку. Это было так больно, что Гульсары чуть не задохнулся. Внутри у него что-то ухнуло, он взвизгнул от удара и едва устоял на ногах. Больше он не пытался своевольничать. Смирно стоял, прибившись с края табуна, с ноющей болью в боку и обидой на свирепого жеребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как все в нем на миг приостановилось и заledenело. Табун дрогнул, напрягся прислушиваясь. Все стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег все сыпал, с шорохом налиная на вскинутую морду Гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хоть бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы. А его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и оцепенел от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень, пластаясь во тьме по снегу. Гульсары резко отпрянул, и табун тотчас же шархнулся, сорвался с места. С диким визгом и ржанием обезумевшие лошади понеслись лавиной в кромешную тьму. И не было уже такой силы, которая могла бы их остановить. Лошади рвались вперед изо всей мочи, увлекая друг друга, как камни горного обвала, сорвавшегося с крутизны. Ничего не понимая, Гульсары мчался в жаркой, бешеной скачке. И вдруг раздался выстрел, затем прогрохотал второй. Лошади услышали на бегу яростный крик хозяина. Крик раздавался где-то сбоку и, не стихая, пошел им наперерез и затем оказался впереди. Они настигали теперь этот неумолкавший голос, он вел их за собой. Хо-

зьян был с ними. Он скакал впереди, рискуя сорваться в любую минуту в расщелину или в пропасть. Он кричал уже вполсилы, потом стал хрипеть, но продолжал подавать голос: «Кайт, кайт, кайта-а-айт!» И они бежали вслед, спасаясь от преследующего их ужаса.

К рассвету Танабай пригнал табун на старое место. И только тут лошади остановились. Пар валил над табуном густым туманом, лошади тяжело водили боками и все еще дрожали от пережитого испуга. Горячими губами хватали они снег. Танабай тоже ел снег. Сидел на корточках и пригоршнями совал в рот белые холодные комки. Потом вдруг будто замер, уткнувшись лицом в ладони. А снег все сыпал сверху, таял на горячих лошадиных спинах и стекал вниз мутными, желтыми каплями...

Сошли глубокие снега, открылась, зазеленела земля, и Гульсары быстро набирал тело. Табун слышал, залоснился новой шерстью. Зимы и бескормицы будто и в помине не было. Лошади не помнили об этом, помнил об этом человек. Помнил стужу, помнил волчьи ночи, помнил, как застывал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра заочевшие руки и ноги, помнил весенний голод, свинцовой коростой сковавший землю, помнил, как гибли тогда слабые в табуне, как, спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в конторе акты о падеже лошадей и как, взорвавшись вдруг, орал и стучал кулаком по столу председателя:

— Ты на меня не смотри так! Я тебе не фашист! Где сарай для табунов, где корм, где овес, где соль? На одном ветру держимся! Разве же так велено нам хозяйствовать? Посмотри, в каком рванье мы ходим! Посмотри на наши юрты, посмотри, как я живу! Хлеба досыта не едим. На фронте и то в сто раз лучше было. А ты еще смотришь на меня, будто я сам передумал этих лошадей!

Помнил страшное молчание председателя, его посеревшее лицо. Помнил, как ему стыдно стало своих слов и как он начал извиняться.

— Ну, ты, ты прости меня, я погорячился, — запинаясь, выдавил он из себя.

— Это ты должен простить меня, — сказал ему Чоро.

И еще больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился:

— Выдай ему пять кило муки.

— А как же ясли?

— Какие ясли? Вечно ты все путаешь! Выдай! — резко приказал Чоро.

Тапабай хотел было отказаться наотрез, скоро, мол, молоко пойдет, кумыс будет, но, глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшой из этой муки. Бросал ложку:

— Ты что, спалить меня собираешься, что ли?

— А ты остуди, не маленький, — спокойно отвечала жена.

Помнил он, все помнил...

Но стоял уже май. Голосили жеребцы, сшибаясь в схватке один на один, угоня молодых кобылиц из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики, разгоня драчунов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плетками. Гульсары дела не было до всего этого. Солнце светило вперемежку с дождями, трава лезла из-под копыт. Луга стояли зеленые-зеленые, а над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну буланый иноходец. Из мохнатого кургузого полуторалетки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся, корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника — широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного иноходца — сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты, — страсть к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них желтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и по лощинам гоняла его без устали какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звездами, снилось ему, как убегала под ним земля, как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта.

К хозяину он относился так же, как и ко всему другому, что прямо его не касалось. Не то чтобы любил его, но и не питал никакой неприязни, потому что тот ничем не стеснял ему жизнь. Разве что ругался, догоняя их, когда они слишком далеко уносились. Иногда хозяину удавалось раз-другой стегануть буланого по крупу укруком*. Гульсары вздрагивал при этом всем телом, но больше от

* Укрук — длинная палка с петлей на конце для ловли лошадей.

неожиданности, чем от удара, и еще пуще прибавлял шаг. И чем сильнее он бежал, возвращаясь к табуну, тем больше нравился своему хозяину, скакавшему следом с укруком наперевес. Иноходец слышал сзади себя одобрительные покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню. Потом он хорошо узнал эти песни — разные были среди них, веселые и печальные, длинные и короткие, со словами или без слов. Любил он еще, когда хозяин кормил табун солью. В длинные дощатые корыта на колышках хозяин разбрасывал комки лизунца. Наваливались всем табунном, то-то было наслаждение. На соли-то он и попался.

Как-то раз забарабанил хозяин в порожнее ведро, стал скликать лошадей: «По, по, по!» Лошади сбежались, припали к корытам. Гульсары лизал соль, стоя среди других, и ничуть не обеспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укруками в руках. Это его не касалось. Укруком ловили верховых лошадей, дойных кобылиц и прочих, но только не его. Он был вольный. И вдруг волосяная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело, петля пока не пугала его, и он продолжал лизать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укрук, а Гульсары не шелохнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Он стал выбираться из табуна. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого еще никогда не бывало. Гульсары отпрянул, захрапел, выкатывая глаза, затем взвился на дыбы. Лошади вокруг мигом рассыпались, и он оказался один на один с людьми, держащими его на волосяном аркане. Хозяин стоял впереди, за ним — второй табунщик, и тут же топтались мальчишки табунщиков, появившиеся здесь недавно и уже изрядно надоевшие ему своими бесконечными скачками вокруг табуна.

Иноходца охватил ужас. Он рванулся на дыбы еще раз, затем еще и еще, солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами, горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь, глаза застила на миг черная, пугающая пустота, которую он молотил передними ногами.

Но сколько он ни бился, петля затягивалась все туже, и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Люди шарахнулись, петля на секунду ослабла, и он с разгона поволок их по земле. Женщины закричали, погнались мальчишек к юртам. Однако табунщики успели

есть на поги, и петля снова захлестнулась на шее Гульсары. В этот раз так туго, что дышать было уже нельзя. И он остановился, изнемогая от головокружения и удушья.

Стравливая аркан в руках, хозяин стал приближаться сбоку. Гульсары видел его одним глазом. Хозяин подходил к нему в изодранной одежде, со ссадинами на лице. Но глаза хозяина смотрели не злобно. Он тяжело дышал и, прищмокивая разбитыми губами, пегромко, почти шепотом приговаривал:

— Тек, тек, Гульсары, не бойся, стой, стой!

За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин наконец дотянулся рукой до иноходца, погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику:

— Уздечку.

Тот сунул уздечку.

— Стой, Гульсары, стой, умница, — приговаривал хозяин. Прикрыв глаза иноходца ладонью, он накиннул ему на голову уздечку.

Теперь предстояло взнуздать его и оседлать. Когда уздечка была накинута ему на голову, Гульсары захрипел, попытался рвануться прочь. Но хозяин успел ухватить его за верхнюю губу.

— Накрутку! — крикнул он помощнику, и тот подбежал, быстро паложил на губу накрутку из ремня и стал пакручивать ее на губе палкой, как воротом.

Иноходец присел от боли на задние ноги и больше уже не сопротивлялся. Холодные железные удила загремели на зубах и впились в углы рта. На спину ему что-то набрасывали, подтягивали, рывками стискивали ему ремнями грудь, так что он качался из стороны в сторону. Но это уже не имело значения. Была только всепоглощающая, невыносимая боль в губе. Глаза лезли на лоб. Нельзя было ни шелохнуться, ни вдохнуть. И он даже не заметил, когда и как сел на него хозяин, очнулся лишь после того, как сняли с губы накрутку.

Минуту-другую он стоял, ничего не соображая, весь стянутый и отяжелевший, потом покосил глазом через плечо и вдруг увидел на спине у себя человека. От испуга он кинулся прочь, но удила раздирали рот, а ноги человека крепко впились в бока. Иноходец вскинулся на дыбы, заржал негодуя и яростно, заметался, взбрыкивая задом, и, весь напрягшись, чтобы сбросить с себя все, что давило его, ринулся в сторону, но аркан, конец которого

держал под стременем другой человек, на другом верхнем копе, не пустил его. И тогда он побежал по кругу, побежал, ожидая, что круг разомкнется и он пустится прочь отсюда куда глаза глядят. Однако круг не размыкался, и он все бежал и бежал по кругу. Этого-то и надо было людям. Хозяин нахлестывал его плеткой и понукал каблуками сапог. Два раза иноходцу все же удалось скинуть его с себя. Но тот вставал и снова садился в седло.

Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг, кружились юрты, кружились облака в небе. Потом он устал и пошел шагом. Очень хотелось пить.

Но пить ему не давали. Вечером, не расседывая, чуть только приослабив подпруги, его поставили у коповязи на выстойку. Повода уздечки были крепко намотаны на луку седла, так что голову приходилось держать прямо и ровно и лечь на землю в таком положении он не мог. Стремена были подняты наверх и тоже надеты на луку седла. Так он стоял всю ночь. Стоял смирно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. Удила во рту все еще мешали, малейшее движение их причиняло жгучую боль, неприятен был привкус железа. Набухшие углы рта были раздерганы. Саднили под боком растертые ремнями места. И под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум реки, и от этого еще больше одолевала жажда. Там, за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржанье лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юрт сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тьякали по-собачьи. А он стоял, и никому не было дела до него.

Потом вошла луна. Горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещенные желтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже опускаясь к земле. Он смирно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подальше от них. Она была еще недоростком, а он тоже не достиг еще такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.

Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это бы-

ла она, он точно узнал ее голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный, опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала легким шагом, поблескивая при луне белой звездочкой во лбу. Хвост и ноги ее были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими теплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почесывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на ее шею и почесать ей холку. Но не мог ответить на ее ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напоить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень ее не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни.

Рано утром пришел хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и, улыбаясь, застонал от ломоты в костях.

— Ох, Гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что? Продрог? Смотри, как подвело тебя.

Он потрепал иноходца по шее и стал говорить ему что-то доброе, насмешливое. Откуда было Гульсары знать, что именно говорил человек? А Танабай говорил:

— Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, все пойдет на лад. А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, подкует на все четыре ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Проголодался, а? Пить хочешь? Знаю...

Он повел иноходца к реке. Разнуздал его, осторожно вынимая удила из пораненного рта. Гульсары с дрожью припал к воде, в глазах заломило от холода. Ах какая вкусная была вода и как благодарен он был за это человеку!

Вот так. Вскоре он настолько привык к седлу, что почти не чувствовал никакого стеснения от него. Легко и радостно ему стало носить на себе всадника. Тот всегда придерживал его, а он рвался вперед, четко печатая по дорогам дробный перестук иноходи. Он научился ходить под седлом так стремительно и ровно, что люди ахали.

— Поставь на него ведро с водой — и ни капельки не выплеснется!

А прежний табунщик, старичок Торгой, сказал Танабаю:

— Спасибо, хорошо выездил. Теперь увидишь, как поднимется звезда твоего иноходца!

3

Колеса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался. Иноходец останавливался, выбившись из сил. И тогда в наступившей мертвой тишине он слышал, как гулко отдавались в ушах удары его сердца: тум-тум, тум-тум, тум-тум...

Старый Танабай поджидал, пока отдышится конь, затем снова брал его под уздцы:

— Пошли, Гульсары, пошли, вечереет уже.

Так они тащились часа полтора, пока иноходец не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Танабай снова засуетился, забегал вокруг коня:

— Что же ты, Гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже!

Но конь не понимал его. Он стоял в упряжи, мотая головой, тяжесть которой стала ему уже непосильна, и шатаясь на ногах из стороны в сторону. А в ушах продолжал отдаваться оглушительный стук сердца: тум-тум, тум-тум, тум-тум.

— Ну, ты прости меня, — проговорил Танабай. — Мне бы сразу догадаться. Да пропади она пропадом, эта телега, эта сбруя, только бы довести тебя домой.

Он скинул на землю шубу и стал торопливо выпрягать коня. Вывел его из оглобель, сдернул хомут через голову и кинул всю сбрую на телегу.

— Вот и все, — сказал он, надев шубу, поглядел на выпряженного иноходца. Без хомута, без сбруи, с непомерно большой головой, конь стоял сейчас среди холодной вечерней степи как призрак. — Боже, во что ты превратился, Гульсары? — прошептал Танабай. — Если бы тебя увидел сейчас Торгой, перевернулся бы в могиле...

Он потянул иноходца за повод, и они снова медленно побрели по дороге. Старый конь и старый человек. Позади оставалась брошенная телега, а впереди, на западе, ложилась на дорогу темно-фиолетовая тьма. Ночь бесшумно растекалась по степи, заволакивая горы, смывая горизонт.

Танабай шел, вспоминал все связанное с иноходцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда тяжело заболит человек или помрет. Вот тогда вдруг ста-

новится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари? Кого только не носил на себе Гульсары! Кто только не ездил на нем! А состарился, и все о нем забыли. Идет теперь, еле волочит ноги. А ведь какой конь был!..»

И он снова вспоминал и удивлялся тому, как давно не возвращался в мыслях к прошлому. Все, что когда-то было, оживило в нем. Оказывается, ничто не исчезает бесследно. Раньше он просто мало думал о прошлом или, вернее, не позволял себе думать, а теперь после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с издыхающим иноходцем на поводу, оглянулся с болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним.

Так он шел, погруженный в свои мысли, а иноходец плелся сзади, все больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика немела, он перекидывал повод на другое плечо и снова тянул иноходца за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал иноходцу отдохнуть. И, подумав, снял уздечку с головы коня.

— Иди' впереди, иди как можешь, я буду сзади, я не брошу тебя, — сказал он. — Ну, иди, иди потихоньку.

Теперь иноходец шел впереди, а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гульсары останавливался, Танабай поджидал, пока он наберется сил, и они снова брели по дороге. Старый конь и старый человек.

Танабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в свое время Гульсары и пыль стелилась за ним хвостом. Чабаны говорили, что по этой пыли они за многие версты узнают бег иноходца. Пыль из-под его копыт прочерчивала степь белым бегучим следом и в безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолета. Стоял чабач в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони, говорил себе: «Это он идет, Гульсары!» — и с завистью думал о том счастливце, который, обжигая лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый иноходец.

Сколько председателей колхоза пережил Гульсары, разные бывали — умные и самодуры, честные и нечестные, — но все до одного ездили на иноходце с первого и до последнего дня своего председательства. «Где они теперь? Вспомниают ли порой про Гульсары, который носил их с утра и до вечера?» — думал Танабай.

Они добрались наконец до моста через овраг. Здесь опять остановились.

Иноходец стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю, но Танабай не мог этого допустить: потом никакими силами не поднимешь.

— Вставай, вставай! — закричал он и ударил коня уздечкой по голове. И, досадуя на себя за то, что ударил, продолжал орать: — Ты что, не понимаешь? Подыхать собрался? Не дам! Не позволю! Вставай, вставай, вставай! — Он тянул коня за гриву.

Гульсары с трудом выпрямили ноги, тяжело застонал. Хотя и темно было, Танабай не посмел глянуть коню в глаза. Он погладил его, пощупал, затем приник ухом к его левому боку. Там, в груди у коня, захлебываясь, плескалось сердце, как мельничное колесо в водорослях. Он стоял так, согнувшись возле коня, долго, пока не заныло в пояснице. Потом разогнулся, покачал головой, вздохнул и решил, что, пожалуй, придется рискнуть — свернуть за мостом с дороги на тропу, что идет вдоль оврага. Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрее добраться домой. Правда, ночью немудрено и заблудиться, но Танабай надеялся на себя, места эти издавна знал, только бы конь выдержал.

Пока старик думал об этом, вдали засветились ффары попутной машины. Огни внезапно выплыли из мрака парой ярких шаров и стали быстро приближаться, прощупывая перед собой дорогу длинными, качающимися лучами. Танабай с иноходцем стояли у моста. Машина им ничем не могла помочь, и все же Танабай ждал ее. Ждал просто так, безотчетно. «Наконец-то хоть одна», — подумал он, довольный уже тем, что на дороге появились люди. Фары грузовика мощным снопом света полоснули его по глазам, и он прикрыл их рукой.

Двое людей, сидевших в кабине машины, с удивлением смотрели на старого человека у моста и стоящую рядом с ним захудалую клячу без седла, без уздечки, точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света добела озарил старика и коня, и они вдруг превратились в белые бесплотные контуры.

— Чудно, чего он здесь среди ночи? — сказал сидящий рядом с шофером долговязый паренёк в ушанке.

— Это он, это его телега там, — пояснил шофер и остановил машину. — Ты чего, старик? — крикнул он, высунувшись из кабины. — Это ты бросил на дороге телегу?

— Да, я, — ответил Танабай.

— То-то. Глядим, бричонка разваливающая на дороге. Вокруг никого. Хотели сбрую подобрать, да тоже никудышная.

Танабай промолчал.

Шофер вылез из машины, прошелся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки, и стал мочиться на дорогу.

— А что случилось? — спросил он, обернувшись.

— Конь не потянул, занемог, да и старый уже.

— М-м. Ну и куда же теперь?

— Домой. В Сарыгоускую щель.

— Тю-у, — присвистнул шофер. — В горы? Не по пути. А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра.

— Спасибо. Я с конем.

— Вот эта дохлятина? Да брось ты его к собакам, столкни воп в овраг — и делу конец, склюет воронье. Хочешь, поможем?

— Поезжай, — мрачно процедил Танабай.

— Ну, как знаешь, — усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину: — Ополоумел старик!

Машина тронулось, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов.

— Зачем смеешься над человеком, а если бы тебе так пришлось? — сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером.

— Ерунда... — Шофер, зевая, крутанул баранку. — Мне пришлось всякое. Я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то! Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова. Везде техника. И на войне. А таким старикам и лошадям конец пришел.

— Зверюга ты! — сказал парень.

— Плевал я на все, — ответил тот.

Когда машина ушла, когда почь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнал пноходца:

— Ну пошли, чу, чу! Иди же!

За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода, холодно поблескивали в холодном небе.

В тот год, когда Гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая, снег падал часто, но не залеживался, корма хватало. А весной табуны снова спустились в предгорья, и, как только зацвела степь, двинулись вниз.

После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Танабая. Серый конь старости ждал его еще за перевалом, хотя и близким, и Танабай пока ездил на молодом буланом иноходце. Попадись ему этот иноходец несколько лет спустя, вряд ли бы он испытывал такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем иноходце! Гульсары это хорошо знал. Особенно когда Танабай ехал в аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, весь как-то напряживался, и его возбуждение передавалось коню. Гульсары поднимал хвост почти вровень со спиной, грива со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках, расступались по краям дороги, утопая по колено в зеленой пшенице. Вот они остановились как завороченные, вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза, улыбки и белые зубы.

— Эй, табунщик! остано-ви-ись!

И вдогонку неслись смех и последние слова:

— Смотри, попадешься, поймаем!

Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было! Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали; вырывая из рук камчу:

— Признавайся, когда привезешь нам кумыса?

— Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходце раскатываешь!

— Кто же вас держит? Идите табунщиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки.

— Ах вот как! — И снова принимались тормошить его.

Но не было случая, чтобы Танабай позволял кому-нибудь сесть на иноходца. Даже та женщина, при встрече

с которой у него сразу менялось настроение и он заставлял иноходца идти шагом, так ни разу и не проехала на его коне. Возможно, она этого и не хотела.

В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию. Часто наезжал он в аил и почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из конторы он часто выходил злой. Гульсары это чуял по его глазам, по голосу, по движению рук. Но, встречаясь с ней, Танабай всегда добрел.

— Ну-ну, потише, куда так! — шептал он, успокаивая ретивого иноходца, и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом.

Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлежала тяжесть с сердца хозяина, как теплел его голос, как ласковой ставились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.

Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепало и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе, и как же это получается, и когда же наконец начнется такая жизнь, чтобы и государству было что дать и чтобы люди не даром работали.

В прошлом году был неурожай, бескормица, в нынешнем — отдали сверх плана хлеб и скот за других, чтобы район не ударил лицом в грязь, а что будет дальше, на что колхозники могут рассчитывать — неизвестно. Времени шло, о войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не было: все сдавалось в убыток себе — хлеб, молоко, мясо. Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом, скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов, а стройматериалов неоткуда было взять и никто не обещал их дать. А жилье во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше не базарам промышляли скотом да картошкой. Такие стали силой, они и стройматериалы находили на стороне.

— Нет, не должно быть так, товарищи, что-то тут не в порядке, какая-то тут большая загвоздка у нас, — говорил Танабай. — Не верю, что так должно быть. Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами.

— Что не так? Что неправильно? — Бухгалтер совал ему бумаги. — Вот смотри планы... Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо. Доходов нет,

одни убытки. Чего ты еще хочешь? Разберись сначала. Один ты коммунист, а мы враги народа, да?

В разговор влезали другие, начинался спор, шум, и Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянье, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем, — были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давно счеты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую и, завидев его, вызывающе глядят в лицо: ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмешься? Только с нас теперь спрос невелик. Где сядешь, там и слезешь. У-ух, почему только не пришибло тебя на фронте!..

И он им отвечал взглядом: подождите, сволочи, все равно будет по-нашему! А ведь люди это не чужие, свои. Сводный брат его Кулубай — старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца, люто ненавидят Танабая. И с чего бы им любить? Может, и дети их будут ненавидеть род Танабая. И имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, середняком? А родство куда денешь? Кулубай от старшей жены, а он от младшей, но у киргизов такие братья считаются как единокровные. Значит, и на родство он посягнул, сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить. А тогда? Разве не ради колхоза он пошел на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу?

— Ну что ты сидишь, Танабай, очнись, — возвращали его к разговору. И снова все то же: надо за зиму вывезти весь навоз на поля, собирать по дворам. Колес нет — значит, надо купить карагачевого леса, железа на шины, а на какие деньги, дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо ремонтировать, новые прокопать, работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет, земля мерзлая, не раздолбишь. А весной не успеть — посевная, окот, прополки, а там сенокос... А как быть с овцеводством? Где помещения для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. Толкутся с утра до ночи, а что получают? А сколько еще было разных других забот и нехваток? Жутко стаповилось подчас.

И все же собирались с духом, снова обсуждали эти

вопросы на партсобрании, на правлении колхоза. Председателем был Чоро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается, было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чоро за всех и за все в колхозе. Да, крепким был человеком Чоро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватили за грудки в колхозе, не пал Чоро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или покончил с собой. А Чоро все же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце, и потом еще поработал года два парторгом. Умел Чоро убеждать, говорить с людьми... Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чоро, но и то он сам больше был виноват...

Иноходец не знал, что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья. Но он чувал, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он похорошеет, придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теревить его, Гульсары, гриву, гладить шею. Ни у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины. Танабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то, и глаза ее переливались светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой.

После этого Танабай ехал задумчивый. Он отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось. Вольно, дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Словно и он и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, под мерный топот иноходца напевал Танабай про страдания давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам...

Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение, любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фи-

гуру, походку, улавливал даже своим тонким нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящий от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики.

— Ты заметь, как он тебя любит, Бюбюжан, — говорил ей Танабай. — А ну погладь, погладь еще. Ишь как уши развесил. Прямо теленок. А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется с жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще.

— Оп-то любит, — думая о чем-то своем, отвечала она.

— Хочешь сказать, что другие не любят?

— Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя будет.

— Это почему же?

— Не такой ты человек, тяжело потом тебе будет.

— А тебе?

— Что мне? Я вдова, солдатка. А ты...

— А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты, — пытался шутить Танабай.

— Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри.

— Ну а я при чем? Я иду, и ты идешь.

— Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне.

— Слушай, Бюбюжан!

— Ну что? Не надо, Танабай. Зачем? Ты же умный человек. Мне и без тебя тошно.

— Что ж, я тебе враг, что ли?

— Ты себе враг.

— Как это понимать?

— Как хочешь.

Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть, хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и как пойдет к себе, на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полущалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом.

Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном

платье за водою, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна в темном, беззвучном доме и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая женщина и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по другой.

От таких мыслей Танабаю становилось не по себе. «Значит, не судьба», — думал он и, глядя в дымчатую даль за рекой, напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете, о делах, о колхозе, об обувке и одежде детям, о друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку и, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда иноходец, почуяв близость табуна, прибавлял шаг, он приходил в себя.

— Т-р-р, Гульсары, куда ты так несешь?! — спохватывался Танабай, натягивая поводья.

5

И все же, несмотря ни на что, прекрасное было то время и для него, и для иноходца. Слава скакуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гонявший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первые забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы скакуна. Он знаменит, пока непобедим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя как сказать — пути зависти непостижимы, известны случаи, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох, эта черная зависть!.. Но бог с ней...

Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда иноходца. Уже все знали о нем — и стар и мал: «Гульсары!», «Иноходец Танабая», «Краса анла»...

А чумазые мальчишки, еще не выговаривающие букву «р», бегали по пыльной улице, подражая бегу иноходца, и наперебой кричали: «Я Гульсалы... Нет, я Гульсалы... Мама, скажи, что я Гульсалы... Чу, впелед, а-и-и-й, я Гульсалы...»

Что значит слава и какую великую силу имеет она, познал иноходец на первой своей большой скачке.

То было Первое мая. После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось отовсюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней.

Говорили, что после войны не было еще такого большого праздника.

С утра еще, когда Танабай оседлывал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, иноходец почувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался.

— Ну, смотри у меня, Гульсары, не подкачай, — шептал он, расчесывая коню гриву и челку. — Ты не должен опозорить себя, слышишь! Мы не имеем на то права, слышишь!

Ожидание чего-то необыкновенного чувствовалось в самом воздухе, взбудораженном голосами и беготней людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехали и все вместе двинулись к реке.

Гульсары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюрбанов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремяна, бряцали удила и серебряные подвески на нагрудниках.

Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили повода и рыли копытами землю. В кругу гарцевали старики, распорядители игр.

Гульсары ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, и, чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и погнестись.

И когда распорядители дали знак к выходу в круг и Танабай припустил поводья, иноходец вынес его на сере-

дну, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул: «Гульсары! Гульсары!..»

Выехали все желающие принять участие в большой байге. Набралось человек пятьдесят верховых.

— Просите у парода благословения! — торжественно провозгласил главный распорядитель игр.

Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край прошумел единый вздох: «Оомнин!» — и сотни рук поднялись ко лбам и опустились ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

После этого всадники отправились на рысях к старту, который был в поле, за девять километров отсюда.

Тем временем начались игры на кругу — борьба пеших и конных, стаскивание с седел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Все это было только вступление, главное начнется там, куда ускакали всадники.

Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг гарцевали и ярились другие кони. И оттого, что их было много и все просились вскачь, иноходец злился и дрожал от нетерпения.

Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове, отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбужденные и настороженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один Гульсары, не умевший скакать галопом, шел иноходью. В этом были и слабость его и сила.

Сначала шли все кучей, но уже через несколько минут начали растягиваться. Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые лошади обошли его и были уже впереди, на дороге. В морду хлестали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скакали кони, кричали верховые, свистели нагайки и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной польню.

Так продолжалось почти до половины пути. Впереди всех неслись с недостижимой для иноходца скоростью с десяток лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что впереди шли другие, и то, что поводья так и не давали ему полной свободы, поднимало в

нем ярость. В глазах темнело от злобы и ветра, дорога стремительно уплывала под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жаркий пот прошибал по всему телу, и чем больше иноходец потел, тем легче становился он сам для себя.

И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а иноходец только входил в разгар своих сил. «Чу, Гульсары, чу!» — услышал он голос хозяина, и солнце еще быстрее покатилося навстречу. И замелькали одно за другим настигнутые и оставленные позади искаженные яростью лица всадников, взмытые в воздух плетки, оскаленные, хрипящие морды коней. Исчезла вдруг власть удила и поводьев, не стало для Гульсары ни седла, ни всадника — в нем бушевал огненный дух бега.

И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он выскочил на бугор, точно бы на гребень большой волны, и на какое-то мгновение словно завис в полете, невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг.

Так мчались они втроем, голова к голове, слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А темно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушел он, не желая признать поражения.

Когда соперники отстали, вроде бы легче стало дышать. А впереди уже серебрилась излучина реки, зеленел луг и слышался оттуда далекий рев человеческих голосов. Самые рьяные болельщики поджидали, оказывается,

по пути. С улюлюканьем и гиканьем они скакали по сторонам. И тут иноходец почувствовал вдруг слабость. Сказывалось расстояние. Что там было позади, достигали его или нет, этого Гульсары не знал. Бежать становилось неважготу, силы покидали его.

Но там, впереди, гудела и колыхалась огромная толпа, и уже покатались двумя рукавами навстречу конные и пешие, крики становились все громче, сильнее! И он вдруг явственно услышал: «Гульсары! Гульсары! Гульсары!..» И, вбирая в себя эти крики, возгласы и вопли, наполняясь ими, как воздухом, иноходец с новой силой устремился вперед. Ах, люди, люди! Чего только они не могут!..

При неумолкающем шуме и криках ликования Гульсары прошел сквозь гулкий коридор встречающих и, сбавляя бег, описал круг по лугу.

Но это было еще не все. Теперь ни он, ни его хозяин не принадлежали себе. Когда иноходец немного отдышался и успокоился, народ расступился, образуя круг победителя. И снова взмыли крики: «Гульсары, Гульсары, Гульсары!» А вместе с ним гремело и имя его хозяина: «Танабай! Танабай! Танабай!»

И снова люди совершили какое-то чудо с иноходцем. Гордый и стремительный, он вступил на арену с высоко поднятой головой, с горящими глазами. Хмелея от воздуха славы, Гульсары пошел выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит.

Танабай объезжал народ с распростертыми руками победителя, и снова из края в край прошумел единый вздох благословения: «Оомин!» — и снова сотни рук поднимались ко лбам и опускались ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

И тут среди множества лиц иноходец увидел вдруг знакомую женщину. Он сразу узнал ее, когда она опустила ладони по лицу, хотя в этот раз она была не в темном полушалке, а в белом платье. Она стояла в первом ряду толпы, счастливая и радостная, и не отрываясь смотрела на них сияющими, как камни в быстром солнечном водоеме, глазами. Гульсары привычно потянулся к ней, чтобы постоять возле нее, чтобы хозяин поговорил с ней и чтобы она потеряла гриву, погладила ему шею своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. Но Танабай почему-то тянул поводья в другую сторону,

а иноходец все крутился и порывался к ней, не поймав хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить?..

И второй день, то есть второе мая, тоже был днем Гульсары. В этот раз пополудни разыгрывалось в степном урочище козлодранье — своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча служит обезглавленная туша козла. Козел удобен тем, что шерсть на нем длинная, прочная и его можно подхватывать с коня за ногу или за шкуру.

Снова огласилась степь древними криками, снова зарокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями металась вокруг игроков. И снова героем дня был Гульсары. В этот раз, уже окруженный ореолом славы, он сразу стал самой сильной фигурой в игре. Танабай, однако, приберегал его к финишу, к аламан-байге, когда будет дано разрешение на вольную схватку: кто ловок и скор, тот и утащит козла в свой аил. Аламан-байгу ждали все, ибо это апофеоз состязания, к тому же любой всадник имеет право принять в ней участие. Каждому хотелось попытать свое счастье.

А майское солнце тем временем тяжело оседало на дальней казахской стороне. Оно было как желток, выпуклое и густое. На него можно было смотреть не щурясь.

До самого вечера носились киргизы и казахи, свисая с седел, подхватывая на скаку тушу козла, вырывая ее друг у друга, сбиваясь в гомонящую кучу и вновь рассыпаясь с криками по полю.

И лишь когда побежали по степи длинные пестрые тени, старики разрешили наконец аламан-байгу. Козел был брошен в круг. «Аламан!..»

Со всех сторон кинулись к нему всадники, столпились, пытаясь подхватить тушу с земли. Но в давке сделать это было не так-то просто. Кони ошалело крутились, кусались, ощерив зубы. Гульсары изнывал в этой свалке, ему бы на простор, но Танабаю все никак не удавалось завладеть козлом. И вдруг раздался пронзительный голос: «Держи-и, казахи взяли!» Из конной круговерти вырвался молодой казах в разодранной гимнастерке на карем озверевшем жеребце. Он кинулся прочь, подтягивая под ногу, под стремя, тушу козла.

— Держи-и! Это карий! — закричали все, бросаясь в погоню. — Скорей, Танабай, только ты можешь догнать!

С болтающимся под стремнем козлом казах на карем жеребце уходил прямо туда, где алело закатное солнце. Казалось, еще немного — и он влетит в это пламенеющее солнце и растает там красным дымом.

Гульсары не понимал, зачем Танабай сдерживает его. Но тот знал, что надо дать казахскому джигиту оторваться от лавины преследующих всадников, уйти подальше от толпы спешивших к нему на помощь сородичей. Стоило им окружить карего скачущим заслоном, и тогда никакими силами не вырвать упущенную добычу. Только в единоборстве можно было рассчитывать на какой-то успех.

Выждав нужное время, Танабай припустил иноходца во весь мах. Гульсары приник к набегающей на солнце земле, и топот и голоса позади сразу стали отставать, удаляться, а расстояние до карего жеребца сокращаться. Тот шел с тяжелым грузом, и настигнуть его было не так трудно. Танабай выводил иноходца по правую сторону карего. Туша козла висела, зажата под ногу всадника, на правом боку коня. Вот уже стали равняться. Танабай наклонился с седла, чтобы ухватить козла за ногу и перетянуть его к себе. Но казах ловко перекинул добычу с правой стороны на левую. А кони мчались все так же прямо к солнцу. Теперь Танабаю надо было приотстать и снова настигнуть, чтобы зайти с левой стороны. Трудно было отрывать иноходца от карего, но все же удалось проделать и этот маневр. И опять казах в разодранной гимнастерке успел перекинуть козла на другую сторону.

— Молодец! — азартно закричал Танабай.

А кони неслись все так же прямо к солнцу.

Больше рисковать было нельзя, Танабай прижал иноходца почти вплотную к карему жеребцу и упал грудью на луку седла соседа. Тот пытался отделиться, но Танабай не отпускал. Резвость и гибкость иноходца позволяли ему почти лежать на шее карего жеребца. Так он дотянулся до туши козла и стал тащить ее к себе. Ему было сподручно действовать с правой стороны, к тому же обе руки его были свободны. Вот ему уже удалось перетянуть козла почти наполовину.

— Держись теперь, брат казах! — прокричал Танабай.

— Врешь, сосед, не отдам! — ответил тот.

И началась схватка на бешеном скаку. Сцепившись, как орлы на одной добыче, они орали благим матом, хрипели и рычали по-звериному, устроя друг друга, руки их сплетались, из-под ногтей сочились кровь. А кони,

соединенные единокровием всадников, мчались в злобе, торопясь настичь багровое солнце.

Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных!

Туша козла была теперь между ними, они держали ее на весу между скачущими конями. Приближалась развязка. Молча, сцепив зубы, напрягая все свои силы, перетягивали тушу, каждый старался зажать ее под ногу, с тем чтобы потом оторваться и уйти в сторону. Казах был силен. Руки у него были крупные, жилистые, к тому же он был гораздо моложе Танабая. Но опыт — великое дело. Танабай неожиданно высвободил правую ногу из стремени и уперся ею в бок карего жеребца. Подтягивая козла к себе, он одновременно отталкивал ногой копыта соперника, и пальцы того медленно разжалась.

— Держись! — успел предупредить его побежденный.

От резкого толчка Танабай едва не вылетел из седла. Но все же удержался. Ликующий вопль вырвался из его груди. И, круто разворачивая иноходца, он бросился убежать, зажимая под стремени добытый в честном поединке трофей. А навстречу уже летела орда орущих всадников:

— Гульсары! Гульсары взял!

Казахи большой группой бросились наперехват.

— Ойбай, лови, держи Танабая!

Теперь главное было избежать перехвата и чтобы свои айльчане поскорей окружили его заслоном.

Танабай снова круто развернул иноходца, уходя в сторону от перехватчиков. «Спасибо, Гульсары, спасибо, родной, умница!» — про себя благодарил он иноходца, когда тот, улавливая малейшие наклоны его тела, увертывался от погони, кидаясь то в одну, то в другую сторону.

Почти припадая к земле, иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую. Тут подскочили айльчане Танабая, пристроились по сторонам, закрыли его с тыла и все вместе, плотной кучей бросились наутек. Однако погоня снова вышла наперерез. Опять пришлось разворачиваться и опять уходить. Как стаи быстрокрылых птиц, падающих на лету с крыла на крыло, носились по широкой степи убегающие и догоняющие их орды всадников. В воздухе клубилась пыль, звенели голоса, кто-то падал вместе с конем, кто-то летел через голову, кто-то, прихрамывая, догонял свою лошадь, но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания. В игре никто не в ответе. У риска и бесстрашия одна мать...

Солнце смотрело уже одним краешком, смеркалось, а аламан-байга все еще катилась в синей прохладе вечера, содрогая землю конскими копытами. Уже никто не кричал, уже никто никого не преследовал, но все продолжали скакать, увлеченные страстью движения. Растянувшаяся по фронту лавина перекатывалась темной волной с пригорья на пригорье во власти ритма и музыки бега. Не оттого ли были сосредоточены и молчаливы лица всадников, не это ли породило рокошующие звуки казахской домбры и киргизского комуза!..

Уже приближались к реке. Она тускло блеснула впереди за темными зарослями. Оставалось еще немного. За рекой — игра конец, там аил. Танабай и окружение его все еще неслись слитной кучей. Гульсары шел в середине, как главный корабль, под охраной.

Но он уже устал, очень устал — слишком трудный выдался день. Иноходец вымотался из сил. Двое джигитов, скакавших по бокам, тянули его под уздцы, не давали упасть. Остальные прикрывали Танабая с тыла и по сторонам. А он лежал грудью на туше козла, переброшенной перед седлом. Голова Танабая моталась, он едва держался в седле. Не будь сейчас сопровождающих рядом всадников, ни он сам, ни его иноходец уже не в состоянии были бы двигаться. Так, наверное, убегали прежде с добычей, так, наверное, спасали и от плена раненого батыра...

Вот и река, вот луг, широкий галечный брод. Пока он еще виден в темноте.

Всадники с ходу бросились в воду. Закипела, взбурлилась река. Сквозь тучи брызг и оглушающее клацанье подков джигиты протацили иноходца на тот берег. Все! Победа!

Кто-то снял тушу козла с седла Танабая и поскакал в аил.

Казахи остались на той стороне.

— Спасибо вам за игру! — крикнули им киргизы.

— Будьте здоровы! Встретимся теперь осенью! — ответили те и повернули коней назад.

Было уже совсем темно. Танабай сидел в гостях, а иноходец вместе с другими лошадьми стоял во дворе на привязи. Никогда так не уставал Гульсары, разве только в первый день объездки. Но тогда он был лозинкой в сравнении с тем, каким стал сейчас. В доме шла речь о нем.

— Выпьем, Танабай, за Гульсары: если бы не он, не видать нам сегодня победы.

— Да, карий жеребец могуч был, как лев. И парень тот силен. Далеко пойдет он у них.

— Это верно. А у меня и сейчас перед глазами, как Гульсары уходит от перехвата, прямо стелется по земле травой. Дух захватывает, глядя.

— Что и говорить. В прежние времена батырам бы на нем в набег ходить. Не конь, а дулдул! *

— Танабай, ты когда собираешься пустить его к кобылам?

— Да он и сейчас уже гоняется, но пока рано. А к следующей весне как раз будет в пору. С осени отпущу гулять, чтобы тело набрал...

Захмелевшие люди долго еще сидели, перебирая подробности аламан-байги и достоинства иноходца, а он стоял во дворе, просыхая от пота и грызя удила. Ему предстояла голодная выстойка до рассвета. Но не голод мучил его. Ломило в плечах, ноги были будто не свои, копыта горели от жара, а в голове все еще стоял гул аламан-байги. Все еще мерещились ему крики и погоня. Время от времени он вздрагивал и, всхрапывая, наострял уши. Очень хотелось поваляться по траве, встряхнуться и побродить среди лошадей на выпасе. А хозяин задерживался.

Вскоре он, однако, вышел, слегка покачиваясь в темноте. От него несло каким-то резким, жгучим запахом. С ним такое случалось изредка. Пройдет год — и иноходцу придется иметь дело с человеком, от которого постоянно будет разить этим запахом. И он возненавидит того человека и этот мерзкий запах.

Танабай подошел к иноходцу, потрепал его по холке, сунул руку под потник:

— Остыл немного? Устал? Я тоже чертовски устал. А ты не косись, ну выпил, так в твою же честь. Праздник. Да и то малость. Я свое знаю, ты это учти. И на фронте знал меру. Брось, Гульсары, не косись. Уедем сейчас в табун, отдохнем...

Хозяин подтянул подпруги, поговорил с другими людьми, вышедшими из дома, все сели по лошадям и разъехали.

Танабай ехал по уснувшим улицам айла. Тихо было кругом. Окна темны. Чуть слышно тарахтел трактор на

* Дулдул — сказочный скакун.

поле. Луна уже стояла над горами, в садах белели цветущие яблони, где-то заливался соловей. Почему-то он был один на весь аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал и затем снова принимался щелкать и свистать.

Танабай придержал иноходца.

— Красота какая! — сказал он вслух. — А тихо как! Только соловей заливается. Ты понимаешь, Гульсары, а? Где тебе... Тебе в табун, а я...

Они миновали кузницу, и отсюда надо было выехать по крайней улице к реке, а там — в табуны. Но хозяин почему-то потянул в другую сторону. Он поехал по средней улице, в конце ее остановился возле двора, где жила та женщина. Выбежала собачонка, которая часто бегала с девочкой, полаяла и умолкла, виляя хвостом. Хозяин молчал в седле, о чем-то думал, потом вздохнул и нерешительно тронул поводья.

Иноходец пошел дальше. Танабай свернул вниз к реке и, выйдя на дорогу, заторопил коня. Гульсары и сам хотел побыстрее добраться до стойбища. Пошли лугом. Вот и река, заклацали подковы по берегу. Вода была холодная, гремячая. И вдруг на середине брода, резко натянув поводья, хозяин круто потянул назад. Гульсары мотнул головой, думая, что хозяин ошибся. Не должны они были возвращаться назад. Сколько можно ездить? Но в ответ хозяин стегнул его камчой по боку. Гульсары не любил, когда его били. Раздраженно грызя удила, он нехотя подчинился и повернул назад. Снова через луг, снова по дороге, снова к тому двору.

У дома хозяин опять заерзал в седле, задергал удила то туда, то сюда, не поймешь, чего он хочет. Остановились у ворот. Впрочем, самих ворот не было. От них остались только одни покосившиеся столбы. Опять выбежала собачонка, полаяла и умолкла, виляя хвостом. В доме было тихо и темно.

Танабай слез с седла, пошел по двору, ведя на поводу иноходца, и, приблизившись к окну, застучал пальцем по стеклу.

— Кто там? — раздался изнутри голос.

— Это я, Бюбюжан, открой. Слышишь, это я!

В доме вспыхнул огонек, и окна тускло засветились.

— Ты чего? Откуда так поздно? — Бюбюжан появилась в дверях. Она была в белом платье с расстегнутым воротом и темными волосами на плечах. От нее пахло теплым запахом тела и тем диковинным запахом незнакомой травы.

— Ты извини, — негромко проговорил Танабай, — с алмана поздно прискакали. Устал. А конь совсем заморился. Его на выстойку надо, а табуны далековато, сама знаешь.

Бюбюжан помолчала.

Глаза ее вспыхнули и погасли, как камни на дне освещенного луной водооя. Иноходец ждал, что она подойдет и погладит его по шее, но она не сделала этого.

— Холодно, — передернула Бюбюжан плечами. — Ну что стоишь? Заходи, коли так. Эх ты, придумал, — тихо засмеялась она. — Я и сама извелась вся, пока ты тут топтался на коне. Как мальчишка.

— Я сейчас. Коня поставлю.

— Ставь вон там в углу у дувала.

Никогда так не дрожали руки хозяина. Он спешил, вынимая удилы, и долго возился с подпругами: одну приослабил, а другую так и забыл.

Он ушел вместе с ней, и свет в окнах вскоре погас. Непривычно было иноходцу стоять на незнакомом дворе.

Луна светила в полную силу. Поднимая глаза над дувалом, Гульсары видел вздымающиеся в выси ночные горы, облитые молочно-голубым сиянием. Чутко перебирая ушами, он прислушивался. Журчала вода в арыке. Вдали тарахтел на поле все тот же трактор, и пел в садах все тот же одинокий соловей.

С веток соседней яблони падали белые лепестки, бесшумно оседая на голову и гриву коня.

Ночь светлела. Иноходец стоял и переминался, переключивая тяжесть тела с одной ноги на другую, стоял и терпеливо ждал хозяина. Не знал он, что еще не раз придется стоять ему здесь, коротая ночь до утра.

Танабай вышел на рассвете, стал взнуздывать Гульсары теплыми руками. Теперь и его руки пахли тем диковинным запахом незнакомой травы.

Бюбюжан вышла проводить Танабая. Приникла к нему, и он долго целовал ее.

— Исколол усами, — прошептала она. — Торопись, смотри, как светло. — Она повернулась, чтобы уйти.

— Бюбю, поди сюда, — позвал ее Танабай. — Слышишь, погладь его, поласкай, — кивнул он на иноходца. — Ты уж не обижай нас!

— Ох, я и забыла, — засмеялась она. — Смотри, да он весь в яблоневом цвету. — И, приговаривая ласковые слова, стала гладить коня своими удивительными руками,

упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу.

За рекой хозяин запел. Хорошо было идти под его песню, и очень хотелось быстрее добраться к табунам на выпас.

Повезло Танабаю в эти майские ночи. Как раз пришел его черед ночной пастбы. И у иноходца начался какой-то ночной образ жизни. Днем он пасся, отдыхал, ночью, отогнав табун в лощину, хозяин мчался на нем опять туда же, к тому двору. На рассвете, еще затемно, снова мчались они, как конокрады, по неприметным степным тропам к лошадям, оставшимся в лощине. Здесь хозяин стоял табун, пересчитывал лошадей и наконец успокаивался. Туго приходилось иноходцу. Хозяин спешил в оба конца, и туда и обратно, а бегать по ночам по бездорожью не так-то легко. Но так хотел хозяин.

Гульсары хотелось другого. Если бы его воля, он вообще не отлучался бы из табуна. В нем зрел самец. Пока еще он уживался с косячным жеребцом, но с каждым днем все чаще сталкивались они, обхаживая одну и ту же кобылу. Все чаще, выгибая шею и подняв хвост трубой, красовался он перед табуном. Заливисто ржал, горячился, покусывая кобыл за бедра. А тем, видно, это нравилось, они лънули к нему, вызывая ревность косячного жеребца. Иноходцу крепко перепадало — жеребец был старым и свирепым драчуном. Однако лучше было волноваться и бегать от косячного, чем стоять всю ночь во дворе. Здесь он тосковал по кобылам. Долго топтался, бил копытами и только потом смирялся. Кто знает, сколько бы длились эти ночные поездки, если бы не тот случай...

В ту ночь иноходец привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в ожидании хозяина, и уже начал подремывать. Поводья уздечки были высоко подвязаны к балке под стреху крыши. Это не позволяло лечь: всякий раз, когда голова его клонилась, удила врезались в мякоть рта. И все-таки тянуло уснуть. Тяжесть какая-то стояла в воздухе, тучи темнили небо.

Уже сквозь дрему, сквозь полусон Гульсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно и начал трепать их и валить. Ветер захлестал по двору, покатыл, брякая, пустой подойник, сорвал и умчал с веревки белье. Собачонка заскулила, заметалась, не зная, куда приткнуться. Иноходец сердито всхрапнул, замер, наставляя уши. Вскинув голову над дувалом, он пристально смотрел в подозрительно

накипавшую мглу — туда, в сторону степи, откуда приближалось с гулом что-то грозное. И в следующее мгновение ночь затрещала, как поваленный лес, прогрехотал гром, молнии располосовали тучи. Хлынул крутой дождь. Иноходец рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нем пробудился извечный инстинкт защиты своего рода от опасности. Инстинкт звал его туда, на помощь. И, обезумев, он поднял мятеж против узды, против удил, против волосяного чумбура, против всего, что так крепко держало его здесь. Он стал метаться, рыть землю копытами и, не переставая, ржал в надежде услышать ответные крики табуна. Но только буря свистела и выла. Ах, если бы ему удалось тогда сорваться с привязи!..

Хозяин выскочил в белой нательной рубашке, за ним — женщина, тоже в белом. Они вмиг потемнели под дождем. По их мокрым лицам и испуганным глазам мазнул синий всполох, выхватывая из черноты часть дома с хлопающей на ветру дверью.

— Стой! Стой! — заорал на коня Танабай, намереваясь отвязать его. Но тот уже не признавал его. Иноходец кинулся на хозяина зверем, обрушил копытами дувал и все рвался и рвался с привязи. Танабай подкрался к нему, прижимаясь к стене, бросился вперед, закрывая голову руками, и повис на уздечке.

— Скорее отвязывай! — крикнул он женщине.

Та едва успела отвязать чумбур, как иноходец, дыбась, потащил Танабая по двору.

— Камчу скорей!

Бюбюжан кинулась за плеткой.

— Стой, стой, убью! — кричал Танабай, остервенело хлеща коня камчой по морде. Ему надо было сесть в седло, ему надо было сейчас быть в табуне. Что там? Куда угнал ураган лошадей?

Но и иноходцу тоже надо было в табун. Немедленно, сию же минуту — туда, куда звала его в грозный час могучая власть инстинкта. Потому он ржал и взмывал на дыбы, потому он рвался отсюда. А дождь лил сплошной стеной, гроза бушевала, сотрясая грохотом мятущуюся во вспышках ночь.

— Держи! — приказал Танабай Бюбюжан и, когда та схватилась за уздечку, прыгнул в седло. Он еще не успел сесть, только уцепился за гриву коня, а Гульсары уже ринулся со двора, сшибив и проволочив женщину по луже.

Не подчиняясь уже ни удилам, ни плети, ни голосу, Гульсары мчался сквозь буревую ночь, сквозь секущий ливень, угадывая путь одним лишь чутьем. Он пронес безвластного теперь хозяина через взбурлившую реку, сквозь грохот воды и грома, сквозь заросли кустов, через рвы, через лога, он неудержимо мчался и мчался вперед. Никогда до этого, ни на большой скачке, ни на аламанбайге, не бежал так Гульсары, как в ту ураганную ночь.

Танабай не помнил, как и куда уносил его осатаневший иноходец. Дождь казался ему жгучим пламенем, полыхавшим по лицу и телу. Одна лишь мысль колотилась в мозг: «Что с табуном? Где теперь лошади? Не дай бог, умчатся в низовья к железной дороге. Крушение! Помогите мне, аллах, помогите! Помогите, арбаки*, где вы? Не упади, Гульсары, не упади! Вынеси в степь, туда, туда, к табуну!»

А в степи шарахались белые зарницы, ослепляя ночь белым полымем. И снова смыкалась тьма, ярилась гроза, бил по ветру дождь.

То светло, то темно, то светло, то темно...

Иноходец взметнулся на дыбы и ржал, раздирая пасть. Он звал, он взывал, он искал, он ждал. «Где вы? Где вы? Отзовитесь!» В ответ грохотало небо — и снова в бег, снова в поиски, снова в бурю...

То светло, то темно, то светло, то темно...

Буря улеглась только к утру. Постепенно расплзлись тучи, но гром все еще не утихал на востоке — погромыживал, урчал, потягивался. Дымилась истерзанная земля.

Несколько табунщиков рыскали по окрестности, собирая отбившихся лошадей.

А Танабая искала жена. Вернее, не искала, а ждала. Еще ночью кинулась она с соседями верхом на помощь мужу. Табун нашли, удержали в яру. А Танабая не было. Думали, заблудился. Но она знала, что он не заблудился. И когда соседский паренек радостно воскликнул: «Вот он, Джайдар-апа, вон он едет!» — и поскакал ему навстречу, Джайдар не тронулась с места. Молча смотрела с коня, как возвращался блудный муж.

Молчаливый и страшный, ехал Танабай в мокрой исподней рубашке, без шапки, на перепавшем за ночь иноходце. Гульсары прихрамывал на правую ногу.

— А мы вас ищем! — радостно сообщил ему добежавший паренек. — Джайдар-апа беспокоиться уже начала.

* Арбаки — духи предков.

Эх, мальчишка, мальчишка...

— Заблудился, — пробубнил Танабай.

Так встретились они с женой. Ничего не сказали друг другу. А когда паренек отлучился выгонять табун из-под обрыва, жена тихо проговорила:

— Что ж ты, не успел даже одеться. Хорошо еще штаны да сапоги при тебе. И не стыдно? Ведь ты уже не молод. Дети вот скоро взрослые, а ты...

Танабай молчал. Что было ему говорить?

Парнишка тем временем подогнал табун. Все лошади и жеребята были целы.

— Поехали домой, Алтыке, — позвала парнишку Джайдар. — Дел не оберешься сегодня и у вас и у нас. Юрты разворотило ветром. Поехали собирать.

А Танабаю она сказала вполголоса:

— Ты тут побудь. Привезу тебе поесть да во что одеться. Людям-то как покажешься на глаза?

— Там я буду, внизу, — кивнул Танабай.

Они уехали. Танабай погнал табун на выпас. Долго гнал. Уже светило солнце, тепло стало. Запарилась степь, ожила. Запахло дождем и молодой травой.

Лошади не спеша потрусили по перепадкам, по логом, вышли на взлобье. И словно бы мир другой открылся перед Танабаем. Далеко-далеко отстоял горизонт, подернутый белыми облаками. Небо было большое, высокое, чистое. И очень далеко отсюда дымил в степи поезд.

Танабай слез с коня, пошел по траве. Рядом вспорхнул жаворонок, поднялся и защебетал. Танабай шел, опустив голову, и вдруг грохнулся на землю.

Никогда не видел Гульсары своего хозяина в таком положении. Он лежал вниз лицом, и плечи его тряслись от рыданий. Он плакал от стыда и горя, он знал, что утратил счастье, которое выдалось ему последний раз в жизни. А жаворонок все щебетал...

Через день табуны двинулись в горы — теперь они должны были вернуться сюда только на следующий год, ранней весной. Кочевье шло вдоль реки, по пойме, мимо аила. Шли отары овец, стада, табуны. Шли под вьюком верблюды и кони, ехали в седлах женщины и дети. Бежали лохматые псы. В воздухе стояло разноголосье: покрики, ржанье, бляенье...

Танабай гнал свой табун через большой луг, затем по пригорку, где недавно гомонил народ на празднике, и все старался не смотреть в сторону аила. И когда Гульсары вдруг потянул туда, ко двору на окраине, он полу-

чил за это плеткой. Так и не заехали они к женщине с удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу...

Табун дружно бежал.

Хотелось, чтобы хозяин пел, но он не пел. Аил остался позади. Прощай, аил. Впереди горы. До свиданья, степь, до следующей весны. Впереди горы.

6

Близилась полночь. Дальше Гульсары уже не могли идти. Сюда, до оврага, он кое-как доковылял, останавливаясь десятки раз, но оврага ему уже было не одолеть. Старик Танабай понял, что большего не вправе требовать от коня. Гульсары стонал мучительно, стонал, как человек. И когда он стал ложиться, Танабай не помещал ему.

Лежа на холодной земле, иноходец продолжал стонать, мотая головой из стороны в сторону. Ему было холодно, он дрожал всем телом. Танабай скинул с себя шубу и покрыл ею спину коня.

— Ну что, плохо тебе? Совсем плохо? Замерз ты, Гульсары. А ведь ты никогда не мерз.

Танабай что-то еще бормотал, но иноходец уже ничего не слышал. Сердце у него стучало уже в самой голове, оглушительно, срываясь и захлебываясь: тум-там, тум, тум-там, тум... — будто табун убегал в панике от настигавших его преследователей.

Луна вышла из-за гор, повисла в тумане над миром. Беззвучно упала и потухла звезда...

— Ты тут полежи, я пойду курая наломаю, — сказал старик.

Он долго бродил вокруг, собирая сухостой прошлогоднего бурьяна. Руки исколол колючками, пока собрал охапку. Пошел еще, спустился в овраг, на всякий случай с ножом в руке, и наткнулся здесь на кусты тамариска. Обрадовался — будет настоящий костер.

Гульсары всегда боялся горевшего вблизи огня. Теперь не боялся, его обдавало теплом и дымом. Танабай молча сидел на мешке, подкидывал в костер тамариск вперемешку с бурьяном и смотрел на огонь, грея руки. Иногда вставал, поправлял на коне наброшенную шубу и снова садился к огню.

Гульсары отогрелся, дрожь затихла, но в глазах стояла желтая муть, давило и жало в груди, дышать было

нечем. Пламя то падало, то вставало на ветру. Старик, сидевший напротив, давнишний хозяин его, то исчезал, то появлялся. И казалось иноходцу в бреду, что скачут они по степи в грозовую ночь, ржет он, вскидываясь на дыбы, ищет табуна, а его нет. Загораются и гаснут белые всполохи.

То светло, то темно, то светло, то темно...

7

Отошла зима, отошла на время, чтобы показать пастухам, что жить на свете не так-то уж и трудно. Будут теплые дни, скот нажирует тело, будет вдоволь молока и мяса, будут скачки в праздники, будут будни — оюк, стрижка, выхаживание молодняка, кочевка, и между всем этим у каждого своя жизнь — любовь и разлука, рождения и смерти, гордость за успехи детей и огорчения при неутешительных вестях о них из интернатов: при себе-то, может, лучше учился бы... Мало ли чего будет, забот всегда предостаточно, и позабудутся на время зимние невзгоды. Джуты, падежи, гололедицы, дырявые юрты и холодные кошары останутся в сводках и отчетах до следующего года. А там опять грянет зима — на белой верблюдице домчится, разыщет пастуха, где бы он ни был, в горах или в степи, и покажет ему свой норов. Все припомнит он, о чем на время позабыл. И в двадцатом веке зима ведет себя все так же...

Все так же было и тогда. Спустились с гор отощавшие стада и табуны и разбрелись по степи. Весна. Пережили зиму.

В ту весну гулял Гульсары жеребцом в табуне. Танабай теперь редко когда оседлывал его, жалел, да и нельзя было этого делать — приближался случной сезон.

Хорошим жеребцом обещал быть Гульсары. Следил за махонькими жеребятами прямо как отец. Чуть что проглядит матка, он уже здесь, не даст жеребенку упасть куда-нибудь или отбиться от косяка. И еще одно достоинство было у Гульсары: не любил, чтобы напрасно тревожили лошадей — если так случалось, сразу угонял табун подальше.

Зимой того года в колхозе произошли изменения. Прислали нового председателя, Чоро сдал дела и лежал в районной больнице. С сердцем у него становилось совсем плохо. Танабай все собирался поехать проведать друга, да разве вырвешься? Пастух, как многодетная мать, веч-

но в заботах, особенно зимой да по весне. Животное не машина: не отключишь рубильник и не уйдешь. Так и не смог тогда Танабай съездить в районную больницу. Сменщика теперь у него не было. Подменным табунщиком числилась жена — надо же было как-то зарабатывать на жизнь: хоть и мало чего стоил трудодень, а все же на два трудодня можно было получить больше, чем на один.

Но Джайдар — с ребенком на руках. Какой она сменщик? День и ночь самому приходилось управляться. Пока Танабай собирался, сговариваясь с соседями о подмене, пришла весть, что Чоро выписался из больницы и вернулся в аил. И тогда они с женой решили, что побывают у него потом, спустившись с гор. А только спустились в долину, только обжились на новом месте, как случилось то, о чем Танабай до сих пор не может вспомнить спокойно...

Слава иноходца — палка о двух концах. Чем больше гремит он на всю округу, тем больше зарится на него начальство.

В тот день с утра отогнал Танабай лошадей на выпас, а сам вернулся домой позавтракать. Сидел с дочуркой на коленях, пил чай, переговариваясь с женой о разных семейных делах.

Надо было съездить в интернат к сыну, а заодно и на базар, к станции, купить там на барахолке кое-что из одежды для детей и жены.

— В таком случае, Джайдар, оседлаю я иноходца, — сказал Танабай, прихлебывая из пиалы. — А то не успею обернуться. Съезжу последний раз и больше не буду его трогать.

— Смотри, тебе виднее, — согласилась она.

Снаружи послышался топот верховых, кто-то ехал к ним.

— Глянь-ка, — попросил он жену. — Кто там?

Она вышла и, вернувшись, сказала, что это «завферма Ибраим» и с ним еще кто-то.

Танабай поднялся нехотя, вышел из юрты с дочкой на руках. Хотя и недолюбливал он заведующего коневодческой фермой Ибраима, но гостя полагается встретить. А за что он недолюбливал Ибраима, Танабай и сам не знал. Вроде бы и обходительный он, не в пример другим, а что-то в нем было все же скользковатое. Самое главное — делать он ничего не делал, так себе — учет, перечет. Настоящей коневодческой работы на ферме во-

все не было, каждый табунщик был предоставлен самому себе. На партсобраниях Танабай не раз говорил об этом, все соглашались, соглашался и Ибраим, благодарил за критику, но все оставалось по-прежнему. Хорошо еще, что табунщики подобрались добросовестные, Чоро их сам подбирал.

Ибраим, сойдя с седла, приветливо развел руки.

— Ассалом алейкум, ба-ай! — Он всех табунщиков называл баями.

— Алейкум ассалом! — сдержанно отвечал Танабай, пожимая приехавшим руки.

— Как живы-здоровы? Как лошади, Танаке, как сам? — Ибраим сыпал свои привычные вопросы, и его мясистые щеки расплывались в столь же привычной улыбке.

— В порядке.

— Слава богу. За вас я не беспокоюсь.

— Прошу в юрту.

Джайдар стелила для гостей новую кошму, а на кошму бостек из козьих шкур — специальный полог для сидения на полу.

И ей уделил внимание Ибраим.

— Здравствуйте, Джайдар-байбиче. Как ваше здоровье? Хорошо ли ухаживаете за своим баем?

— Здравствуйте, проходите, садитесь сюда.

Все расселись.

— Налей нам кумыса, — попросил Танабай жену.

Пили кумыс, говорили о том о сем.

— Сейчас самое верное дело — животноводство. Здесь хоть летом молоко, мясо, — рассуждал Ибраим, — а на полеводстве или там на других работах — вовсе ничего. Так что лучше сейчас держаться табунов да отар. Верно ведь, Джайдар-байбиче?

Джайдар кивнула, а Танабай промолчал. Знал он это и сам и не впервые слышал такое от Ибраима, не упускавшего случая намекнуть на то, что положением животновода следует дорожить. Хотелось Танабаю сказать, что ничего, мол, тут хорошего нет, если люди будут держаться за теплые местечки, где молоко и мясо. А как же другие? До каких пор люди будут работать задарма? Разве так было до войны? Осенью по две, по три брички хлеба свозили в каждый дом. А теперь что? Бегают с пустыми мешками, где бы что бы добыть. Сами хлеб растят и сами без хлеба сидят. Куда это годится? Одними собраниями да увещеваниями далеко не протянешь. Чоро пото-

му и подорвал свое сердце, что, кроме хороших слов, ничего уже не мог дать людям за работу. Но все это, что наболело у него на душе, бесполезно было говорить Ибраиму. Да и не хотел Танабай сейчас затягивать разговор. Надо было побыстрее выпроводить их, оседлать иноходца — ехать по делам, чтобы пораньше обернуться. Зачем они пожаловали? Но спрашивать было неудобно.

— Что-то не узнаю я тебя, брат, — обратился Танабай к спутнику Ибраима, молодому молчаливому джигиту. — Не сын ли ты покойного Абалака?

— Да, Танаке, я его сын.

— О, как время идет! Взглянуть приехал на табуны? Любопытно?

— Да нет, мы...

— Он приехал вместе со мной, — перебил его Ибраим. — Мы тут по делу, об этом потом. Кумыс у вас, Джайдар-байбиче, прямо отменный. А запах какой крепкий. Налейте-ка еще чашку.

Снова заговорили о том о сем. Чувял Танабай неладное, но никак не мог взять в толк, что же привело к нему Ибраима. Наконец Ибраим достал из кармана какую-то бумагу.

— Танаке, мы к вам по такому делу, вот с такой бумагой. Прочтите.

Читал Танабай про себя, по складам, читал и не верил глазам. Размашистыми буквами на бумаге было написано:

«Распоряжение.

Табунищику Бакасову.

Отправить иноходца Гульсары на конюшню для верховой езды.

Пред. к-за (подпись неразборчивая). 5 марта 1950 г.»

Ошарашенный столь неожиданным оборотом дела, Танабай молча сложил бумагу вчетверо, положил в нагрудный карман гимнастерки и долго сидел, не поднимая глаз. Под ложечкой неприятно холодило. Собственно, неожиданного тут ничего не было. Для того он и выращивал лошадей, чтобы затем передавать их другим для работы, для езды. Скольких он уже отправил по бригадам за эти годы! Но отдать Гульсары! Это было сверх его сил. И он стал лихорадочно соображать, как ему отстоять иноходца. Надо было все хорошенько обдумать. Надо было взять себя в руки. Ибраим уже начал тревожиться.

— Вот по такому небольшому делу и завернули к вам, Танаке, — осторожно пояснил он.

— Хорошо, Ибраим, — спокойно глянул на него Танабай. — Дело это никуда не ускачет. Попьем еще кумыса, поговорим.

— Ну конечно, вы же разумный человек, Танаке.

«Разумный! Черта с два поддамся на твои лисьи слова!» — озлился про себя Танабай.

И снова пошел незначительный разговор. Спешить теперь было некуда.

Так впервые столкнулся Танабай с новым председателем колхоза. Вернее, не с ним лично, а с его неразборчивой подписью. Его самого он в глаза еще не видел. В горах зимовал, когда тот пришел на смену Чоро. Говорили, что человек он крутой, в больших начальниках ходил. На первом же собрании предупредил, что будет строго наказывать нерадивых, а за невыполнение минимума трудодней пригрозил судом, сказал, что все беды в колхозах происходили оттого, что колхозы были мелкими, теперь их будут укрупнять, вскоре положение должно выправиться — для того и послали его сюда, и он ставит своей главной задачей вести хозяйство по всем правилам передовой агротехники и зоотехники. А для этого все обязаны учиться в агротехнических и зоотехнических кружках.

И действительно, учебу наладили, — развесили плакаты, лекции стали читать. А если чабаны засыпали на лекциях, то это уж их дело...

— Танаке, нам пора собираться, — выжидающе посмотрел на Танабая Ибраим и стал натягивать оползшие голенища сапог, встряхивать и прихорашивать свой лисий тебетей*.

— Вот что, завферма, передай председателю: Гульсары я не отдам. Он у меня табунный жеребец. Маток кроет.

— Ой-бой, Танаке, да мы вам вместо него пять жеребцов дадим, ни одна матка холостая не останется. Разве же это вопрос? — изумился Ибраим. Он был доволен, все шло хорошо, и вдруг... Эх, будь это не Танабай, а кто-нибудь другой, разговор был бы короток. Но Танабай есть Танабай, он и брата своего не пожалел, с этим надо считаться. Тут приходится помягче стелить.

— Не нужны мне ваши пять жеребцов! — Танабай отер вспотевший лоб и, помолчав, решил идти напри-

* Тебетей — шапка, отделанная мерлушкой или лисьим мехом.

мую. — Что, твоему председателю не на чем ездить, что ли? Лошади на конюшне перевелись? Почему именно Гульсары потребовался?

— Ну как же, Танаке? Председатель — руководитель паш, уважение, стало быть, ему. Ведь он в район ездит, и к нему люди приезжают. Председатель на виду, при народе, так сказать...

— Что «так сказать»? На другом коне признавать его никто не будет? Или если на виду, так обязательно на иноходце?

— Обязательно не обязательно. Но вроде полагается. Вот вы, Танаке, солдатом были на войне. Разве вы ездили на легкой, а генерал ваш на грузовике? Нет, конечно. Генералу — генеральское, а солдату — солдатское. Резонно?

— Здесь дело другое, — неуверенно возразил Танабай. Почему именно другое, он не стал объяснять, да и не мог бы объяснить. И, чувствуя, что кольцо вокруг иноходца сжимается, сказал зло: — Не отдам. А негоден — убирайте с табуна. Пойду в кузницу. Там вы у меня молот не отберете.

— К чему так, Танаке? Мы вас уважаем, ценим. А вы как маленький. Разве же вам к лицу так? — Ибраим эрзал на месте. Кажется, влип. Сам наобещал, сам подкачал, сам вызвался, а этот упрямый тип все дело срывает.

Ибраим тяжело вздохнул и обратился к Джайдар:

— Сами посудите, Джайдар-байбиче, ну что такое один конь, ну иноходец? В табуе каких только лошадей нет — выбирайте любую. Человек приехал, прислали его...

— А ты что так стараешься? — спросила Джайдар.

Ибраим запнулся, развел руками:

— А как же? Дисциплина. Мне поручили, я человек маленький. Не для себя. Мне хоть на ишаке. Вот спросите, сына Абалака послали пригнать иноходца.

Тот молча кивнул головой.

— Нехорошо получается, — продолжал Ибраим. — Председателя нам прислали, он наш гость, а мы всем аиллом коня порядочного не дадим ему. Узнает народ, что скажет? Где видано такое у киргизов?

— Вот и хорошо, — отозвался Танабай, — пусть узнает аил. Я пойду к Чоро. Пусть он рассудит.

— Вы думаете, Чоро скажет — не отдавать? С ним согласовано. Подведете только его. Вроде саботаж. Нового

председателя не признаем, к старому идем жаловаться. А Чоро — человек больной. Зачем портить ему отношения с председателем? Чоро будет парторгом, ему работать с ним. Зачем мешать...

И тут, когда речь зашла о Чоро, Танабай замолчал. Все замолчали.

Джайдар тяжело вздохнула.

— Отдай, — сказала она мужу, — не держи людей.

— Вот это разумно, так бы давно, спасибо вам, Джайдар-байбиче.

Не зря Ибраим рассыпался в благодарностях. Не так уж много времени прошло после этого, а он из завфермой стал заместителем председателя по животноводству...

Танабай сидел в седле, потупив глаза, и, не глядя, все видел. Видел, как Гульсары был пойман и как на него надели новый недоуздок — свой Танабай ни за что не отдал бы. Видел, как не хотел Гульсары уходить из табуна, как рвался он на поводу у сына Абалака, как лупцевал его плеткой Ибраим с потягом, сплеча, подскакивая на коне то с одной, то с другой стороны. Видел глаза иноходца, смятенный взгляд их, не понимающий, куда и зачем уводят его незнакомые люди от маток и жеребят, от его хозяина, видел, как вырывался пар из его раскрытой пасти, когда он ржал, видел его гриву, спину, круп, следы плетки на спине и боках, видел все его стати, даже небольшой нарост каштана на правой передней ноге выше запястья, видел его поступь, следы копыт, все видел до последней волосинки его светло-желтой буланой шерсти, — все видел и, прикусив губу, молча страдал. Когда он поднял голову, те, что увели Гульсары, уже скрывались за бугром. Танабай вскрикнул и припустил коня вслед за ними.

— Стой, не смей, — Джайдар выбежала из юрты.

И на скаку его вдруг осенила страшная догадка — мстит жена иноходцу за те ночи. Он круто развернул коня, нахлестывая камчой, повернул назад. Осадил возле юрты, спрыгнул и, страшный, с искаженным, побелевшим лицом, подбежал к жене.

— Ты почему? Ты почему сказала «отдай»? — прошептал он, глядя в упор.

— Уймись. Опустит руки, — как всегда спокойно, осадил она его. — Послушай, что я тебе скажу. Разве Гульсары твоя собственная лошадь? Личная? Что у тебя

есть своего? Все у нас колхозное. Этим живем. Иноходец тоже колхозный. А председатель — хозяин колхоза; как скажет, так и будет. А насчет того напрасно думаешь. Можешь хоть сейчас уходить. Уходи. Она лучше меня, красивей, моложе. Хорошая женщина. Я тоже могла ответить, но ты вернулся. Сколько я тебя ждала! Ну пусть это не в счет. У тебя трое детей. Куда их? Что им скажешь потом? Что они скажут? Что я им скажу? Решай сам...

Уехал Танабай в степь. Пропадал у табуна до самого вечера, все никак не мог успокоиться. Осиротел табун. Осиротела душа. Унес иноходец вместе с собой и ее. Все унес. Все не то. И солнце не то, и небо не то, и сам вrede не тот.

Вернулся уже затемно. Вошел в юрту молчаливый, почерневший. Девочки спали уже. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки. Подала ужин.

— Не хочу, — отказался Танабай. А потом сказал: — Возьми темир-комуз *, сыграй «Плач верблюдицы».

Джайдар взяла темир-комуз, поднесла его к губам, тронула пальцем тоненькую стальную струнку,дохнула на нее, затем вдохнула воздух в себя, и полилась древняя музыка кочевников. Песня о верблюдице, потерявшей белого верблюжонка. Много дней бежит она по пустынному краю. Ищет, кличет детеныша. Горюет, что не водить ей больше за собой его в час вечерний над обрывом, в час утренний по равнинам, не обирать им вместе листья с веток, не ходить по зыбучим пескам, не бродить по весенним полям, не кормить его белым молоком. Где ты, темноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

Хорошо играла Джайдар на темир-комузе. Когда-то полюбил он ее за это, девчонкой еще.

Слушал Танабай, уронив голову, и опять, не глядя, все видел. Руки ее, погрубевшие от долголетней работы в жару и холод. Поседевшие волосы и морщины, появившиеся на шее, возле рта, возле глаз. Проступала за теми морщинами ушедшая юность — смуглая девчонка с косицами, падающими на плечи, и он сам — молодой-молодой тогда, и их былая близость. Он знал, что сейчас

* Темир-комуз — щипковый музыкальный инструмент в виде железной скобы со стальным языком посредине.

она его не замечает. Она была погружена в свою музыку, в свои мысли. И видел он еще в тот час половину бед и страданий своих в ней. Она несла их всегда в себе.

...Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, темноглазый верблюжонок? Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты! Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

А девочки спали обнявшись. А за юртой лежала степь — огромная и непроглядная во мраке ночи.

В тот час бунтовал Гульсары в конюшне, не давал конюхам спать. Первый раз он попал в конюшню — в тюрьму для лошадей.

8

Велика была радость Танабая, когда однажды утром увидел он в табуне своего иноходца. Со свисающим обрывком веревки от недоуздка, под седлом.

— Гульсары, Гульсары, здравствуй! — подскочил наметом Танабай и увидел его вблизи в чужой уздечке, под чужим громоздким седлом с тяжелыми стремянами. И что его особенно возмутило — с пышной бархатной подушкой на седле, точно ездил на нем не мужчина, а баба толстозадая.

— Тьфу! — Танабай сплюнул от возмущения. Хотел поймать коня, сбросить с него всю эту нелепую сбрую, но Гульсары увильнул. Иноходцу сейчас было не до него. Он обхаживал маток. Он так истосковался по ним, что не заметил своего бывшего хозяина.

«Значит, сбежал-таки, оборвал повод. Молодец! Ну погуляй, погуляй, так и быть, я умолчу», — подумал Танабай и решил, что надо дать пробегку табуну. Пусть Гульсары почувствует себя как дома, пока за ним не причалась погоня.

— Кайт-кайт-кайт! — крикнул Танабай, привстал в седле и, размахивая укруком, погнал табун прочь.

Двинулись матки, сзывая жеребят, побежали, резвясь, молодые кобылицы. Ветер обдувал их гривы. Смеялась под солнцем зеленеющая земля. Гульсары встрепетнулся, выправился, пошел гоголем. Вымахнул в голову табуна, отбил нового жеребца, загнал его на зады, а сам, красуясь перед табуном, зафыркал, затанцевал и пошел забегать то с одной, то с другой стороны. Кружил ему голову табунный дух — запах кобыльего молока, запах же-

ребят, запах полынного ветра. Дела ему не было, что сидело на нем нелепое седло с нелепой бархатной подушкой, что тяжелые стремяна колотили его по бокам. Забыл он, как вчера стоял в районе у большой коновязи, грызя удила и шарахаясь от громяющих грузовиков. Забыл, как стоял потом в луже у вонючей забегаловки и как новый его хозяин вышел вместе со всей своей компанией и ото всех несло вонью. Как рыгал и сопел новый, садясь на него. Забыл, как по дороге устроили они дурацкую скачку по грязи. Как понес он нового хозяина во весь опор и как тот трюхал в седле, болтаясь мешком, а потом стал рвать удила и бить его камчой по голове.

Все забыл иноходец, все: кружил ему голову табунный дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра... Бежал иноходец, бежал, не подозревая, что погоня уже мчится за ним.

Вернул Танабай табун на прежнее место, и тут подошли из аила двое конюхов. И снова увели Гульсары из табуна в конюшню.

Однако вскоре он появился опять. На этот раз без уздечки и без седла. Скинул каким-то образом узду с головы и ночью убежал из конюшни. Танабай сперва посмеялся, а потом примолк и, подумав, накинул укрук на шею иноходца. Сам поймал, сам обротал и сам повел его в аил, попросив молодого табунщика с соседнего стойбища подгонять иноходца сзади. На полпути встретили конюхов, едущих за беглым иноходцем. Передавая им Гульсары, Танабай даже поворчал на них:

— Вы что там, безрукие, что ли, собрались, не можете уследить за конем председателя. Вяжите его покрепче.

А когда Гульсары прибежал в третий раз, Танабай не на шутку рассердился:

— Ты что, дурак! Что тебя носит сюда нелегкая? Дурак ты и есть дурак, — ругался он, гопяясь с укруком за иноходцем. И снова потащил его пазад и опять ругался с конюхами.

Но Гульсары не собирався умнеть, прибегал при каждом удобном случае. Осточертел конюхам, осточертел Танабаю.

...В тот день уснул Танабай поздно — поздно вернулся с выпаса. Подогнал табун поближе к юрте на всякий случай и заснул — беспокойно, тяжело. Измучился за день. Снилось ему странное что-то — то ли он опять на войне, то ли на бойне где-то. Кровь кругом, руки тоже в липкой крови. И сам думает во сне: не к добру снится

кровь. Хочет вымыть руки где-нибудь. А его толкают, смеются над ним, хохочут, визжат — и непонятно кто: «Танабай, в крови моешь руки, в крови. Здесь нет воды, Танабай, здесь кругом кровь! Ха-ха, хо-хо, хи-хи!...»

— Танабай, Танабай! — трясла его за плечо жена. — Проснись.

— А, что?

— Слышишь, в табуна что-то. Дерутся жеребцы. Наверно, опять Гульсары прибежал.

— Будь он проклят! Покою нет никакого! — Танабай быстро оделся, схватил укрुक и побежал в ложбину, где слышалась какая-то свалка. Светло было уже.

Подбежал и увидел Гульсары. Но что это? Иноходец прыгает, сдвуноженный кишеном — железными путами. Гремят кандалы на ногах, крутится он, на дыбы встает, стонет, кричит. А этот лопух — косячий жеребец — и лягает и грызет его почему зря.

— Ах ты изверг! — Танабай налетел вихрем, протянул лопуха так, что переломился укрुक. Отогнал. А у самого слезы на глазах. — Что с тобой сделали, а? Кто же это додумался заковать тебя! И чего ты притащился сюда, болван несчастный?..

Надо же — в такую даль, через реку, через рвы и кочки допрыгал сюда в кандалах, добрался-таки до табуна. Всю ночь, наверно, прыгал, всю ночь шел. Один, под звон цепей, как беглый каторжник.

«Ну и ну!» — качал головой Танабай. Стал гладить иноходца, лицо подставил ему под губы. А тот перебирал губами, щекотал, глаза жмурил.

— Как же нам быть, а? Бросил бы ты это, Гульсары. Не поздоровится тебе. Глупый ты, глупый. Ничего-то ты не знаешь...

Осмотрел Танабай иноходца. Ссадины, полученные в драке, заживут. А вот ноги потер кандалами крепко. Велючки копыт кровоточат. Войлочная обшивка кишена оказалась гнилой, моль побила. Когда прыгал конь по воде, обшивка слезла, обнажила железо. Вот оно и раскровенило ему ноги. «Не иначе Ибраим раскопал у стариков кишен. Его это дело», — со злостью думал Танабай. Да и чье же еще? Кишен — старинные цепные путы. У каждого кишена особый замок, без ключа не откроешь. Раньше надевали кишен на ноги лучшим коням, чтобы конокрады не могли их угнать с выпаса. Обыкновенные путы из веревки перерезал ножом — и делу конец, а с кишеном коня не уведешь. Но то было давно, а сейчас кишен

стал уже редкостью. У старика разве какого-нибудь хранился как память о прошлом. И вот надо же, наверняка кто-то подсказал. Заковали иноходца, чтобы не смог он далеко уйти с аильного выпаса. А он все-таки ушел...

Снимали кишен с ног Гульсары всей семьей. Джайдар держала под уздцы, прикрывала иноходцу глаза, дочки играли поблизости, а Танабай, притаив весь свой короб с инструментами, обливался потом, пытаясь подобрать отмычку к замку. Пригодилась кузнечная сноровка, долго пыхтел, возился, руки сбил, но все же нашел способ, отомкнул.

Швырнул кишен подальше, с глаз долой. Смазал мазью кровоточины на ногах иноходца, и Джайдар повела его к коновязи. Старшенькая дочка подняла на спину младшую, и они тоже отправились к дому.

А Танабай еще сидел отдувался — устал. Потом собрал инструмент, пошел поднять с земли кишен. Вернуть надо, а то еще отвечать придется. Разглядывая поржавевший кишен, подивился работе мастера. Все было сделано отменно, с выдумкой. Работа старых киргизских кузнецов. Да, потеряно теперь это ремесло, забыто навсегда. Не нужны теперь кишены. А вот другие вещи исчезли — это жаль. Какие украшения, утварь какую из серебра, из меди, из дерева, из кожи умели делать! И недорогие вроде, а красивые вещи были. Каждая сама по себе, особая. Теперь таких нет. Теперь из алюминия лепят все подряд: кружки, чашки, ложки, серьги и тазы — куда ни придешь, все одно и то же. Скучно даже. И мастера-седельники тоже последние остались. А какие седла умели делать! Каждое седло свою историю имело: кто, когда, для кого сделал и как отблагодарен был за свой труд. Скоро, наверно, на машинах будут ездить все, как там, в Европе. Все на одинаковых машинах, только по номерам и отличишь. А умение дедовское забываем. Похоронили начисто старое ручное мастерство, а ведь в руках и душа и глаза человека...

Иногда вдруг находило на Танабая такое. Пускался в рассуждения о народном ремесле, негодовал и не знал, кого винить, что оно исчезает. А ведь в молодости сам был одним из таких могильщиков старины. Однажды выступил даже на комсомольском собрании с речью о ликвидации юрт. Услышав откуда-то, что юрта должна исчезнуть, что юрта — дореволюционное жилье. «Долой юрту! Хватит жить по старинке».

И «раскулачили» юрту. Стали строить дома, а юрты

пошли на слом. Кошмы резали на всякие нужды, дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на растопку...

А потом оказалось, что отгонное животноводство немислимо без юрт. И всякий раз теперь Танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучше которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений?

Теперь он жил в дырявой, прокопченной юрте, доставшейся от старика Торгоя. Юрте было много лет, и если она еще кое-как держалась, то только благодаря долготерпению Джайдар. Целыми днями чинила, латала она юрту, приводила ее в жилой вид, а через неделю-другую снова расплзалась квелая кошма, снова зияли прорехи, задувал ветер, сыпал снег, протекал дождь. И опять же-на принималась за починку, и конца этому не было видно.

— До каких пор будем мучиться? — жаловалась она. — Смотри, это же не кошма, а прах, сыплется, как песок. А кереге-ууки * во что превратились! Стыдно сказать. Ты хоть добился бы, чтобы дали нам хотя бы новые кошмы. Хозяин ты дома или нет? Должны же мы наконец зажить по-людски...

Танабай первое время успокаивал, обещал. А когда заикнулся было в аиле, что ему нужно поставить новую юрту, оказалось, что старые мастера давно повымерли, а молодежь и представления не имеет, как их надо делать. Кошм для юрт в колхозе тоже не было.

— Хорошо, дайте шерсти, мы сами сваяем кошмы, — попросил Танабай.

— Какая шерсть! — сказали ему. — Ты что, с луны свалился? Вся шерсть идет на продажу по плану, в хозяйстве не положено оставлять ни грамма... — И предложили взамен брезентовую палатку.

Джайдар наотрез отказалась:

— Лучше уж в дырявой юрте жить, чем в палатке.

Многие животноводы к тому времени вынуждены были перейти в палатки. Но что это за жилье? Ни встать, ни сесть, ни огня развести. Летом невозможная жарница, зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи

* Кереге-уук — разборный деревянный остов юрты.

расставить, ни кухню устроить, ни убрать покрывшей. А гости появятся — не знаешь, куда их приткнуть.

— Нет-нет! — отказывалась Джайдар. — Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палатка для бессемейных разве, и то на время, а мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, воспитывать, нет, не пойду.

Встретил как-то Танабай в те дни Чоро, рассказал обо всем.

— Как же это получается, председатель?

Чоро грустно покачал головой.

— Об этом мы с тобой должны были подумать в свое время. И руководители наши наверху. А сейчас что — пишем письма и не знаем, что скажут. Говорят, шерсть — ценное сырье. Дефицит. Экспорт. На внутрихозяйственные нужды расходовать, говорят, вроде бы нецелесообразно.

Умолк после этого Танабай. Выходит, сам был отчасти виноват. И молча посмеивался над своей глупостью: «Нецелесообразно! Ха-ха-ха! Нецелесообразно!»

Долго не выходило у него из головы это жестокое слово — «нецелесообразно».

Так они и жили в старой, латаной и перелатанной юрте, для починки которой нужна была обыкновенная шерсть. А шерсть эту, кстати, тоннами стригли с колхозных отар...

Подопел Танабай к своей юрте с кишеном в руках. И такой убогой показалась она ему, такое зло взяло его на все — и на себя, и на кишен этот, которым раскровенили ноги иноходцу, что зубами заскрипел. А тут под горячую руку подвернулись еще конюхи, примчавшиеся за Гульсары.

— Забирайте! — крикнул им Танабай. И губы его запрыгали от злости. — А кишен этот передайте председателю и скажите ему: если еще раз посмеет заковать иноходца, я ему этим кишеном голову размозжу. Так и скажите!..

Зря он это сказал. Ох, зря! Никогда не проходила ему даром эта горячность и прямота его...

9

Стоял светлый, солнечный день. Щурилась на солнце весна, курчавилась новой листвой, дымилась на пашне и лезла травой на тропы, прямо под ноги.

Возле конюшни ребятня играла в чижика. Подкинет

чижник в воздух этакий шустрый паренек и пультет его с размаху вдоль дороги. Станет мерить палкой по земле расстояние — раз, два, три... семь... десять... пятнадцать... Придирчивые судьи идут рядом гурьбой, следя, чтобы тот не мухлевал. Двадцать два.

— Было семьдесят восемь и теперь двадцать два, — считает паренек и, подведя итог, вскрикивает, вне себя от радости: — Сто! Есть сто!

— Ура-а, сто! — подхватывают другие.

Значит, попал в точку. Без перебора и недобора. Теперь проигравший должен «дудеть». Победитель идет к коню и отсюда снова закидывает чижник. Да так, чтобы подальше. Все бегут туда, где он упал, оттуда еще один удар по чижику, и так три раза. Побежденный чуть не плачет — так далеко придется ему дудеть! Но закон игры неумолим. «Что стойшь, давай дуди!» Дудильщик набирает воздуху в легкие и бежит приговаривая:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй.
А погонишь — не догонишь,
Будет тебе нагоняй — ду-у-у-у!

Голова уже трещит, а он все дудит. Но нет, до копа не дотянул. Надо возвращаться назад и начинать снова. И снова не дотянул. Победитель ликует. Раз не хватает дыху — вези! Он забирается дудильщику на спину, и тот везет его, как ишак.

— Ну вперед, а ну быстрее! — понукает ногами седок. — Ребята, смотрите, это мой Гульсары. Смотри, как он идет иноходью...

А Гульсары стоял за стеной, в конюшне. Томился. Что-то его и не оседывали сегодня. Не кормили и не поили с утра. Позабыли. Конюшня давно опустела, разъехались брички, разъехались верховые, только он один в стойле...

Конюхи убирают навоз. Ребята шумят за стеной. В табуны бы сейчас, в степь! Видится ему вольная равнина, как бродят там по раздолью табуны. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой...

Дернулся Гульсары, попробовал оборвать привязь. Нет, крепко привязали его на двух цепных растяжках. Может, услышат свои? Вскинул голову к окну под крышей Гульсары и, перетаптываясь по настилу, гулко и проятжно заржал: «Где вы-ы-ы?..»

— Стой, черт! — подскочив, замахнулся на него лопатой конюх. И, обращаясь к кому-то за дверью, крикнул: — Выводить, что ли?

— Выводи! — ответили со двора.

И вот двое конюхов выводят иноходца во двор. Ух, как светло! А воздух какой! Затрепетали тонкие ноздри иноходца, трогая и вбивая в себя пьяный воздух весны. Листьями горьковато пахнет, влажной глиной пахнет. Кровь играет в теле. Побежать бы сейчас. Гульсары припрыгнул слегка.

— Стой! Стой! — осадило его сразу несколько голосов.

Что это сегодня так много людей вокруг него? С засученными рукавами, руки здоровенные, волосатые. Один, в сером халате, выкладывает на белую тряпицу какие-то блестящие металлические предметы. Сверкают они на солнце до боли в глазах. Другие — с веревками. О, и новый хозяин здесь! Стоит важно, расставив толстые короткие ноги в широченных галифе. Брови насуплены, как и у всех. Только рукава не засучены. Одной рукой подбоченился, другой крутит пуговицу на кителе. Вчера от него опять разило все тем же вонючим духом.

— Ну, что стоите, начинайте! Начинать, Джорокул Алданович? — обращается к председателю Ибраим. Тот молча кивает головой.

— Ну, давайте! — суетится Ибраим и торопливо вешает на гвоздь в воротах конюшни свой лисий тебетей. Шапка срывается, падает в навоз. Ибраим брезгливо отряхивает и снова вешает. — Вы бы посторонились чуток, Джорокул Алданович, — говорит он между тем, — а то ведь, не ровен час, заденет копытом. Конь — тварь неразумная, всегда жди подвоха.

Передернул кожей Гульсары, почувствовав на шее волосяной аркан. Колочий. Аркан завязали скользящей петлей на груди, перекинули конец наружу, на бок. Чего им надо? Зачем-то заводят аркан к задней ноге, на лодыжку, зачем-то еще опутывают ноги. Гульсары начинает нервничать, храпит, косит глазами. К чему все это?

— Быстрее! — торопит Ибраим и взвизгивает неожиданным фальцетом: — Вали!

Две пары здоровенных волосатых рук рывком берут па себя аркан. Гульсары падает на землю как подкоженный — гха-а! Солнце кувыркнулось, дрогнула от удара земля. Что это? Почему он лежит на боку? Почему странно вытянулись вверх лица людей, почему дере-

вья поднялись ввысь? Почему так неудобно лежит он на земле? Нет, так не пойдет.

Гульсары мотнул головой, подался всем туловищем. Арканы врезались жгучими путами, сводя ему ноги под живот. Иноходец рванулся, напрягся, отчаянно засучил свободной еще задней ногой. Аркан натянулся, затрещал.

— Наваливай, дави, держи! — заметался Ибраим.

Все кинулись на коня, придавили коленями.

— Голову, голову прижимайте к земле! Вяжи! Тяни! Так. Да побыстреей. Возьми тут еще разок. Тяни, еще раз, еще. Вот так. Теперь зацепи здесь, вяжи узлом! — не переставая визжал Ибраим.

И все туже опутывали арканом ноги иноходца, пока все они не были собраны в один жесткий узел. Застонал, замычал Гульсары, все еще пытаюсь высвободиться из этой мертвой хватки аркана, сбрасывая тех, кто наседали на шею и на голову. Но они снова давили его коленями. Судорога пробежала по взмокшему телу иноходца, онемели ноги. И он сдался.

— Фу, наконец-то!

— Ну и силища!

— Теперь не шелохнется, если даже он трактор!

И тут к поваленному иноходцу подскочил он сам, новый хозяин его, присел на корточки в изголовье, обдал вчерашним сивушным духом и заулыбался в откровенной ненависти и торжестве, точно бы лежал перед ним не конь, а человек, враг его лютей.

К нему подсел, утираясь платком, распаренный Ибраим. И, сидя так рядышком, они закурили в ожидании того, что должно еще было последовать.

А за двором играли мальчишки в чижикиа:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй.
А погонишь — не догонишь,
Будет тебе нагоняй — ду-у-у!

Солнце все так же светило. И видел он в последний раз большую степь, видел, как бродят табуны там по раздолью. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, клещут за собой... А морду облепили мухи. Не сгонишь.

— Начнем, Джорокул Алданович? — снова спросил Ибраим.

Тот молча кивнул. Ибраим встал.

Все снова задвигались, навалились коленями и гру-

дями на связанного иноходца. Прижали еще крепче голову его к земле. Чьи-то руки завозились в паху.

Мальчишки поналезли на дувал, как воробьи.

— Смотри, ребята, смотри, что делают.

— Копыта чистят иноходцу.

— Знаешь ты много. Копыта! Все и не копыта.

— Эй, что вам тут надо, а ну прочь отсюда! — зама- хал на них Ибраим. — Идите играйте. Нечего вам тут.

Ребята скатились с дувала.

Стало тихо.

Гульсары весь сжался от толчков и прикосновения чего-то холодного. А новый хозяин сидел на корточках перед ним, смотрел и чего-то ожидал. И вдруг острая боль взорвала свет в глазах. Ах! Вспыхнуло ярко-красное пламя, и сразу стало темно, черным-черно...

Когда все было кончено, Гульсары лежал еще свя- занный. Надо было, чтобы унялась кровь.

— Ну вот, Джорокул Алданович, все в порядке, — потирая руки, говорил Ибраим. — Теперь он никуда бе- гать не будет. Все, набегался. А на Танабая не обращай- те внимания. Плюньте. Он всегда был таким. Он брата своего не пожалел — раскулачил, в Сибирь заслал. Кому он, думаете, добра желает...

Довольный Ибраим снял с гвоздя лисий тебетей, встряхнул его, пригладил и надел на потную голову.

А ребятня все гоняла чиж:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй.
А погоняшь — не догоняшь,
Будет тебе нагоняй — ду-у-у!

— Ага, не добежал, подставляй спину. Чу, Гульсары, вперед! Ура-а, это мой Гульсары!

Стоял светлый, солнечный день...

Ночь. Глубокая ночь. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Пламя падает и встает на ветру...

Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля. За- тылок сводит чугунной тяжестью, голова устала мотать- ся то вверх, то вниз, как тогда, когда он прыгал, сдвү- ноженный кишеном. И как тогда, не может Гульсары разбежаться, не может порвать кандалы. Хочется ему

свободно махать ногами, чтобы копыта горели от бега, хочется лететь над землей, чтобы дышать всей грудью, хочется быстрее домчаться до выпаса, чтобы заржать во всю глотку, скликаая табун, чтобы бежали кобылы и жеребята вместе с ним по большой полынной степи, но кандалы не пускают. Один, под звон цепей, как беглый каторжник, идет он, прыгает шаг за шагом, шаг за шагом. Пусто, темно, одиноко. Мелькает луна наверху в струях ветра. Она встает перед глазами, когда инокходец, прыгая, вскидывает голову, и падает камнем, когда он роняет голову.

То светло, то темно, то светло, то темно... Глаза устали смотреть.

Гремят цепи, растирают ноги в кровь. Прыжок, еще прыжок, еще. Темно, пусто. Как долго идти в кандалах, как трудно идти в кандалах.

Горит костер на краю оврага. Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля...

11

Через две недели предстояло отправиться в новое кочевье, снова в горы. На все лето, на всю осень и всю зиму, до следующей весны. С квартиры на квартиру и то чего стоит переехать! Откуда только набирается барахло? Не потому ли киргизы издавна говорят: если считаешь, что ты беден, — попробуй перекочуй.

Надо было уже готовиться к кочевке, надо было сделать уйму разных дел, съездить на мельницу, на базар, к сапожнику, в интернат к сыну... А Танабай ходил как в воду опущенный. Станным он казался жене в те дни. На рассвете спешит — поговорить не успеешь, ускольчет в табун. Возвращается к обеду мрачный, раздраженный. И все будто чего-то ожидает, все время настороже.

— Что с тобой? — допытывалась Джайдар.

Он отмалчивался, а однажды сказал:

— Сон я видел недавно дурной.

— Это ты чтобы отвязаться от меня?

— Нет, на самом деле. Из головы не выходит.

— Дожили. Не ты ли был заводилой безбожников в айле? Не тебя ли проклинали старухи? Стареешь ты, Танабай, вот что, крутишься возле табуна, а что кочевка на носу — тебе хоть бы что. Разве я управлюсь одна с детьми? Съездил бы хоть повидал Чоро. Порядочные люди перед кочевкой проведывают больных.

— Успеется, — отмахивался Танабай, — потом.

— Когда потом? Да ты что, в аил боишься ехать? Поедем завтра вместе. Возьмем детей и поедем. Мне тоже надо побывать там.

На другой день, договорившись с молодым соседом, что он будет приглядывать за табуном, они выехали всей семьей верхом на лошадях. Джайдар — с маленькой девочкой, Танабай — со старшей. Детей везли, посадив перед седлами.

Ехали по улицам аила, здоровались со встречными и знакомыми, а возле кузницы Танабай вдруг остановил лошадь.

— Постой, — сказал он жене. Слез с седла и пересадил старшую дочь к жене на круп коня.

— Ты что? Куда ты?

— Я сейчас, Джайдар. Ты езжай. Скажи Чоро, что я мигом подъеду. В конторе срочные дела, закроется на обед. И в кузницу надо забежать. Подковы, кухнали на кочевку запасти.

— Да неудобно же врозь.

— Ничего, ничего. Ты езжай. Я сейчас.

Ни в контору, ни в кузницу Танабай не заглянул. Поехал он прямо на конный двор.

Спешившись, никого не окликаая, вошел в конюшню. Пока глаза привыкали к полумраку, во рту пересохло. В конюшне было пустынно и тихо, все лошади в разъезде. Оглядевшись, Танабай облегченно вздохнул. Вышел через боковую дверь во двор конюшни повидать кого-нибудь из конюхов. И тут увидел то, чего боялся все эти дни.

— Так и знал, сволочи! — тихо сказал он, сжимая кулаки.

Гульсары стоял под навесом с забинтованным хвостом, подвязанным веревкой к шее. Между задними раскоряченными ногами темнела огромная, с кувшин, тугая воспаленная опухоль. Конь стоял неподвижно, поупоро опустив голову в кормушку. Танабай замычал, кусая губы, хотел подойти к иноходцу, но не посмел. Ему стало жутко. Жутко от этой пустынной конюшни, пустынного двора и одинокого, выхолощенного иноходца. Он повернулся и молча побрел прочь. Дело было непоправимое.

Вечером, когда они вернулись уже к себе в юрту, Танабай печально сказал жене:

— Сбылся мой сон.

— А что?

— В гостях не стал об этом говорить. Гульсары больше не будет прибегать. Ты знаешь, что они сделали с ним? Охолостили, сволочи!

— Знаю. Потому и потащила тебя в аил. Ты боялся узнать об этом? А чего бояться? Не маленький же ты! Разве первый и последний раз выхолощают коней? Так было испокон века и так будет. Это же известно каждому.

Ничего не ответил на это Танабай. Только сказал:

— Нет, все же сдается мне, что наш новый председатель — плохой человек. Чует сердце.

— Ну, ты это брось, Танабай, — сказала Джайдар. — Если оскопили твоего иноходца, так сразу и председатель плохой? Зачем так? Человек он новый. Хозяйство большое, трудное. Чоро вон говорит, что теперь с колхозами разберутся, помогут. Планы какие-то намечают. А ты судишь обо всем раньше времени. Мы-то ведь многого здесь не знаем...

После ужина Танабай отправился в табун и пробыл там до глубокой ночи. Ругал себя, заставлял все забыть, но из головы не выходило то, что увидел днем на конюшне. И думал он, объезжая табун, кружа по степи: «Может, и вправду нельзя судить так о человеке? Глупо, конечно. Оттого, наверно, что старею, что гоняю круглый год табун, ничего не вижу и не знаю. Но до каких пор будет так трудно жить?.. А слушаешь речи — будто все идет хорошо. Ладно — положим, я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Но ведь и другие, наверно, так думают...»

Кружил по степи Танабай, думал, не находил ответа на свои сомнения. И вспомнилось ему, как начинали они когда-то колхоз, как обещали народу счастливую жизнь, какие мечты у всех были. И как бились за те мечты. Перевернули все, перелопатили старое. Что ж, и зажили поначалу неплохо. Еще лучше зажили бы, если бы не эта проклятая война. А теперь? Сколько лет уже прошло после войны, а все латаем хозяйство, как старую юрту. В одном месте прикроешь — в другом лезет прореха. Отчего? Отчего колхоз будто не свой, как тогда, а вроде чужой? Тогда собрание что постановило — закон. Знали, что закон приняли сами и его надо выполнять. А теперь собрание — одни пустые разговоры. Никому нет дела до тебя. Колхозом вроде не сами колхозники управляют, а кто-то со стороны. Точно бы со сторо-

ны виднее, что делать, как лучше работать, как вести хозяйство. Крутят, вертят хозяйство то так, то эдак, а толку никакого. Встретиться с людьми и то страшно — того и гляди спросят: ну-ка, вот ты, партийный человек, колхоз начинали — больше всех глотку драг, растолкуй нам, как все это получается? Что им скажешь? Хоть бы собрали да рассказали, что к чему. Спросили бы, что у кого на душе, какие мысли, какие заботы. Так нет, уполномоченные приезжают из района тоже какие-то не такие, как прежде. Раньше уполномоченный в народ шел, всем доступный был. А теперь приедет, накричит на председателя в конторе, а с сельсоветом так и вовсе не разговаривает. На партсобрании выступит, так все больше о международном положении, а положение в колхозе вроде не такое уж и важное дело. Работайте, давайте план, и все...

Вспомнил Танабай, как приезжал тут недавно один, все толковал о каком-то новом учении о языке. А попробовал Танабай с ним заговорить о колхозном житье-бытье — косится: мысли ваши, говорит, сомнительные. Не одобрил. Как же все это получается?

«Вот встанет Чоро с постели, — решил Танабай, — заставлю его душу выложить. И сам выложу. Если я путаю, пусть скажет, а если нет?.. Что же тогда? Нет-нет, так не должно быть. Конечно, я путаю. Кто я? Простой табунщик, пастух. А там люди мудрые...»

Вернулся Танабай в юрту и долго не спал. Все голову ломал: в чем тут загвоздка? И снова не находил ответа.

А с Чоро так и не удалось потолковать. Перед кочевой дела заели.

И опять двинулось кочевье в горы на все лето, на всю осень и зиму, до следующей весны. Снова вдоль реки, по пойме пошли стада, табуны, отары. Караваны выюков. В воздухе повисло разноголосье, запестрели платки и платья женщин, пели девушки о расставании.

Гнал Танабай свой табун через большой луг, по пригоркам мимо аила. Все так же стоял на окраине тот дом, тот двор, куда заезжал он на своем иноходце. Заныло сердце. Не было теперь для него ни той женщины, ни иноходца Гульсары. Ушло все в прошлое, прошумела та пора, как стая серых гусей по весне...

...Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись!

Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

Осенью того года судьба Танабая Бакасова неожиданно повернулась.

Вернувшись из-за перевала, он остановился в предгорье, на осенних выпасах, с тем чтобы вскоре уйти с табунами на зимовье в горные урочища.

И как раз в эти дни прибыл посыльный из колхоза.

— Чоро прислал меня, — сказал он Танабаю. — Передал, чтобы ты завтра приехал в аил, а оттуда поедете на совещание в район.

На следующий день Танабай приехал в контору колхоза. Чоро был здесь, в комнатке парторга. Выглядел он куда лучше, чем весной, хотя и заметно было по синеве губ и худобе его, что болезнь все еще сидела в нем. Держался он бодро, очень занят был, народ обступал его. Танабай порадовался за друга. Ожил, значит, снова принялся за работу.

Когда они остались вдвоем, Чоро глянул на Танабая, потрогал ладонью свои впалые, жесткие щеки, улыбнулся:

— А ты, Танабай, не стареешь, все такой же. Сколько мы не виделись — с самой весны? Кумыс и воздух гор — дело великое. А я вот сдаю понемногу. Время, наверно, уже... — Помолчав, Чоро заговорил о деле: — Вот что, Танабай. Знаю, скажешь — дай нахальному ложку, так он вместо одного раза пять раз хлебнет. Опять по твою душу. Завтра едем на совещание животноводов. С животноводством очень плохо, особенно с овцеводством и особенно у нас в колхозе. Прямо гиблое дело. Райком обратился с призывом: коммунистов и комсомольцев на отстающие участки, в отары. Выручай! Тогда выручил с табунами, спасибо, и теперь выручай. Берись за отару, переходи в чабаны.

— Скор ты шибко, Чоро. — Танабай помолчал. «К лошадям я привык, — думал он. — А с овцами скучновато будет! Да и как все это пойдет?»

— Неволю тебя, Танабай, — сказал опять Чоро. — А ничего не поделаешь — партийное поручение. Не сердись. При случае припомнишь по-дружески, ответу за все сразу!

— Да уж припомню как-нибудь! — засмеялся Танабай, не подозревая, что не так далеко то время, когда придется ему припомнить Чоро все... — А насчет отары подумать надо, с женой поговорить...

— Ну что ж, подумай. Но к утру решай, завтра надо доложить перед совещанием. С Джайдар потом посоветуешься, объяснишь ей все. Да я и сам при случае подъеду, расскажу. Она умная — поймет. Не будь ее при тебе, давно бы где-нибудь шею себе свернул, — пошутил Чоро. — Как там она поживает? Дети как?

И они разговорились о семьях, о болезнях, о том о сем. Танабая все подмывало начать большой разговор с Чоро, однако стали заходить скотоводы, вызванные с гор, да Чоро и сам заснешил, поглядев на часы.

— Значит, так. Коня своего сдай в конюшню. Решили ехать все вместе на машине с утра. Мы ведь машину получили. И вторую скоро получим. Заживем! А я отправлюсь сейчас, приказано к семи быть в райкоме. Председатель уже там. Думаю, успею на иноходце к вечеру, он не хуже машины идет.

— Как, разве ты едешь на Гульсары? — удивился Танабай. — Уважил, выходит, председатель...

— Как сказать. Уважил не уважил, но отдал его мне. Понимаешь, какая беда, — смеясь, развел руками Чоро. — Возненавидел почему-то Гульсары председателя. Просто уму непостижимо. Звереет, близко не подпускает к себе. Пробовали и так и эдак. Ни в какую! Хоть убей. А я езжу — идет хорошо, крепко ты его выездил. Знаешь, схватит иной раз сердце, болит, а сяду на иноходца, пойдет он, и боль как рукой снимет. Только за одно это готов всю жизнь работать парторгом, лечит он меня! — смеялся Чоро.

Танабай не смеялся.

— Я ведь тоже его не люблю, — промолвил он.

— Кого? — спросил Чоро, утирая прослезившиеся от смеха глаза.

— Председателя.

Чоро посерьезнел.

— За что же ты его не любишь?

— Не знаю. Думается мне, пустой он человек, пустой и злой.

— Ну знаешь, на тебя трудно угодить. Меня ты упрекал всю жизнь за мягкотелость, этого тоже, оказывается, не любишь... Не знаю. Вышел я на работу не так давно. Пока не разобрался.

Они замолчали. То, что Танабаю хотелось рассказать Чоро — о кишене, в который заковывали Гульсары, о том, как оскопили жеребца, — показалось ему теперь неуместным, необидительным. И чтобы не длить заминку, Танабай заговорил о том, что порадовало его в разговоре как приятная новость:

— Очень хорошо, что машину дали. Значит, и в колхозы теперь пойдут машины. Надо, надо. Пора. Помнишь, перед войной получили мы первую полуторку. Митинг целый собрался. Как же — своя машина в колхозе. Ты еще выступал, стоя в кузове: «Вот, товарищи, плоды социализма!» А потом и ее забрали на фронт...

Да, было такое время... Удивительное время, как солнца восход. Что там автомашина! Когда вернулись со стройки Чуйского канала и привезли с собой первые патефоны, как потянулся тогда аил к новой песне! В конце лета то было. По вечерам собирались все к тем, у кого патефоны, выносили их на улицу и все слушали и слушали пластинку про ударницу в красной косынке. «Эй, ударница в красной косынке, скипятила бы ты мне чайку!..» Это тоже были для них плоды социализма...

— А мы сами-то, помнишь, Чоро, после митинга понабивались в полуторку — полным-полно! — вспоминал, оживляясь, Танабай. — Я стоял у кабины с красным флагом, как на празднике. И поехали мы просто так, без дела, на станцию, а оттуда вдоль железной дороги на другую станцию, в Казахстан. Пиво пили в парке. И всю дорогу туда и обратно пели песни. Из тех джигитов мало кто остался — погибли все на войне. Да... И ночью, слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто бы его увидел? А я все не выпускал его из рук... То был мой флаг. И все пел, охрип даже, помню... Почему мы теперь не поем, Чоро?

— Стареем, Танабай, теперь уж не к лицу как-то...

— Да я не об этом — мы свое отпели. А молодежь? Вот я бываю у сына в интернате. Каким он там выучится? С этих пор знает уже, как угождать начальству. Ты, говорит, отец, почаще привози кумыса директору школы. А зачем? Учится он ничего... А послушал бы, как они поют. Батрачил я в детстве у Ефремова в Александровке, как-то водил он меня в церковь на пасху. Вот и наши ребята станут все на сцене, руки по швам, лица каменные, и поют, как в русской церкви. И все одно и то же... Не нравится мне это. И вообще много непонят-

но мне теперь, поговорить бы нам надо... Отстал я от жизни, не все стал понимать.

— Ладно, Танабай. В другой раз потолкуем, выберем время. — Чоро стал собирать свои бумаги, складывать их в полевую сумку. — Только ты не переживай больно. Я, например, верю, крепко верю: как бы трудно ни было, а все равно поднимемся мы, заживем еще, как мечтали... — говорил он, уже уходя. На пороге обернулся, вспомнил: — Слушай, Танабай, проезжал я как-то по улице — совсем запустел твой дом. Не глядишь ты за ним. Ты все в горах, а дом без хозяина, Джайдар в войну одна без тебя и то лучше содержала. Ты пойдй посмотри. Скажешь, что потребуется, весной поможем как-нибудь с ремонтом. Наш Самансур приезжал летом на каникулы и то не утерпел. Взял косу — пойду, говорит, выкошу бурьян во дворе Танаке. Штукатурка пообвалилась, стекла повыбиты, говорит: воробьи носят по комнатам, как на гумне.

— Насчет дома — это ты верно. И Самансуру спасибо. Как там он учится?

— На втором курсе уже. А учится, по-моему, хорошо. Вот ты говоришь — молодежь, а я по сыну своему сужу — вроде неплохая нынешняя молодежь. По рассказам его вижу, дельные у них ребята в институте. Ну, да видно будет. Молодежь грамотная идет, подумает о себе...

Чоро отправился на конюшню, а Танабай поехал посмотреть свой дом. Обошел во дворе все кругом. Хрумкал под ногами сухой, пыльный бурьян, скошенный летом студентом — сыном Чоро. Совестно было, что дом стоит без хозяйского пригляда. У других животноводов по домам оставались родственники или присматривал кто. А у него две сестры родные жили в других аилах, с братом Кулубаем он не в ладах, а у Джайдар вообще нет близких родичей. Вот и получилось, что дом оказался заброшенным. И опять работать предстояло на отгонном животноводстве, теперь уже чабаном. Танабай пока еще колебался, но про себя знал, что Чоро все равно уговорит его, не сможет он отказать ему, согласится, как всегда.

Утром выехали на машине из аила и покатали в район. Новый трехтонный ГАЗ понравился всем. «Едем как цари», — шутили скотоводы. Радовался и Танабай —

давно не приходилось ему ездить на машине, почитай с самой войны. Довелось тогда поколесить по дорогам Словакии и Австрии на американских «студебеккерах». Мощные были грузовики, трехосные. «Вот бы нам такие, — подумал тогда Танабай. — Особенно на вывозку зерна с предгорий. Такие нигде не завязнут». И верил: кончится война — будут и у нас. После победы все будет!..

В открытом кузове, на ветру разговор не клеился. Все больше молчали, пока Танабай не напомнил молодежи:

— Запевайте песни, ребята. Что ж вы смотрите на нас, стариков? Пойте, мы послушаем.

Молодежь запела. Сперва у них не ладилось, а потом дело пошло. Веселей стало ехать. «Вот и хорошо, — думал Танабай. — Так-то лучше. А главное, хорошо, что собирают наконец нас. Доложат, наверное, как и что, как быть с колхозом. Начальству-то виднее, чем нам. Мы знаем то, что у себя, не больше. Подскажут, глядишь, и мы у себя по-новому возьмемся за дело...»

В райцентре было шумно и людно. Машины, телеги, множество верховых лошадей запрудили всю площадь возле клуба. И пашлычники, чайханщики были тут как тут. Дымили, чадили, скликали приезжих.

Чоро уже ждал.

— Слезайте быстрее да идемте. Занимайте места. Скоро начнется. Танабай, куда ты?

— Я сейчас, — бросил Танабай, пробираясь сквозь кучу верховых лошадей. Он еще с машины заметил своего Гульсары и теперь шел к нему. Не видел с самой весны.

Иноходец стоял под седлом среди других лошадей, выделяясь своей светло-желтой, буланой мастью, широким, крепким крупом и горбоносой сухой головой с темными глазами.

— Здравствуй, Гульсары, здравствуй! — зашептал Танабай, протискиваясь к нему. — Ну, как ты тут?

Иноходец скосил яблоко глаза, признал старого хозина, переступил ногами, зафыркал.

— А ты, Гульсары, выглядишь ничего. Смотри, раздался в груди. Бегаешь, стало быть, много. Плохо тебе было тогда? Знаю... Ну ладно, еще в хорошие руки попал. Веди себя смирно, и все будет в порядке, — говорил Танабай, опцупывая в переметной суме остатки овса. Значит, Чоро не морил его здесь голодом. — Ну, ты стой, а я пойду.

У входа в клуб на стене атели полотнища с надписями: «Коммунисты — вперед!», «Комсомол — авангард советской молодежи!»

Народ шел густо, растекаясь, в фойе и зрительном зале. В дверях Танабай встретили Чоро и председатель колхоза Алданов.

— Танабай, отойдем в сторонку, — заговорил Алданов. — Мы тебя уже отметили, вот твой блокнот. Ты должен выступить. Ты партийный, лучший табунщик у нас.

— А о чем же мне говорить?

— Скажи, что ты, как коммунист, решил идти на отстающий участок. Чабаном маточной отары.

— И все?

— Ну как все! Скажешь свои обязательства. Обязуюсь, мол, перед партией и народом получить и сохранить по сто десять ягнят от каждых ста маток и настричь по три килограмма шерсти с головы.

— Как же я скажу, если я в глаза не видел отару?

— Ну вот еще, подумаешь! Отару получишь. — Чоро смягчил разговор. — Выберешь себе овец, какие приглянутся. Не беспокойся. Да, и еще скажи, что берешь под шефство двух молодых чабанов-комсомольцев.

— Кого?

Люди толкались. Чоро смотрел списки.

— Болотбекова Эшима и Зарлыкова Бектая.

— Так ведь я с ними не говорил, как они посмотрят на это?

— Опять ты свое! Станный ты человек. Обязательно тебе говорить с ними? Не все ли равно? Никуда они не денутся, мы их наметили к тебе, дело решенное.

— Ну, если решенное, зачем со мной разговор вести? — Танабай пошел.

— Постой, — удержал его Чоро. — Ты все запомнил?

— Запомнил, запомнил, — раздраженно бросил Танабай на ходу.

Совещание закончилось к вечеру. Опустел райцентр, разъехались люди кто куда: в горы, к отарам и стадам, на фермы, в айлы и села.

Уезжал Танабай вместе с другими в грузовике через Александровский подъем, через степное плато. Темно было уже, ветер пробирал. Осень. Примостился Танабай

в углу кузова, упрятался в поднятый воротник с мыслями своими. Вот и закончилось совещание. Сам он ничего дельного не сказал, зато других послушал. Выходит, много еще надо труда положить, чтобы пошло все на лад. Верно говорил этот в очках, секретарь обкома: «Никто не уготовил нам пути-дороги, самим их пробивать». Подумать только, с самых тридцатых годов — то вверх, то вниз, то на подъем, то на спуск... Непростое, видно, дело, колхоз. Вот и сам он уже седой наполовину, всю молодость ухлопал, чего только не повидал, чего не делал, и глупости порол не раз, все казалось — вот оно, вот оно то, а тягот с колхозом все не оберешься...

Ну что ж, работать — значит работать. Правильно сказал секретарь — жизнь, она никогда не покатится сама собой, как думалось когда-то, после войны. Ее вечно надо подталкивать плечом, пока сам жив... Только вот оборачивается она каждый раз острыми углами, все плечи уже в мозолях. Да что мозоли — была бы душа довольна тем, что делаешь, что делают другие и чтобы от трудов этих счастье было... Как-то повернется у него теперь с отарой? Что скажет Джайдар? В магазин даже не успел забежать — девчущкам конфет хотя бы прихватить. Наобещал. Легко сказать, по сто десять ягнят на сотню да по три килограмма шерсти с головы. Каждый ягненок народиться да прижиться должен, а против него дождь, ветер, холод. А шерсть? Возьми шерстинку, глазом не различишь, дунешь — и нет ее. Килограммы-то откуда? Ох, золотые то килограммы. А ведь иные, наверно, и ведасть не ведают, как все оно добывается...

Да, сбил его Чоро, спутал... «Выступи, — говорит, — но только коротко, о своих обязательствах. Ничего другого не говори. Не советую». А Танабай и послушался. Вышел на трибуну, оробел и так ничего не сказал, что на душе накипело. Пробубнил обязательства и сошел. Вспомнить стыдно. А Чоро доволен. И что это он осторожный стал такой? От болезни, что ли, или потому, что не главный теперь человек в колхозе? Зачем ему надо было предостерегать Танабая? Нет, что-то в нем сдвинулось, переиначилось как-то. Оттого, наверно, что всю жизнь председателем колхоз тянул, всю жизнь начальство его ругало. Ловчить научился, кажется...

«Ну постой, друг, припомню я тебе когда-нибудь с глазу на глаз...» — думал Танабай, закутываясь поплотнее в тулуп. Холодно было, ветер, до дома еще далеко. Что-то там его ждет?..

Чоро поехал на иноходце. Ехал он один, не стал дожидаться попутчиков. Домой хотелось быстрее, сердце побаливало. Пустил коня своим ходом, тот настоялся за день и шел теперь размашистой, прочной иноходью. Печатали копыта по вечерней дороге, как заведенная машина. Из всего прежнего осталась у него лишь одна страсть к бегу. Все другое давно уже умерло в нем. Умертвили, чтобы знал он только седло и дорогу. В беге Гультары жил. Бежал добросовестно, неутомимо, точно бы мог догнать то, что было отнято людьми. Бежал и никогда не настигал.

На ветру в дороге Чоро немного полегчало. Отошла боль в сердце. Советованием в целом он был доволен, очень понравилось выступление секретаря обкома, о котором он много слышал, но видел его впервые. И все же не совсем по себе было партоту. Коробило на душе. Ведь он Танабаю добра желал. Ведь он собаку съел на всех таких совещаниях, заседаниях и собраниях, знал, что и где надо говорить, а что не следует. Научен был. А Танабай хотя и послушался, но не желал этого понять. После совещания не обмолвился с ним ни словом. Сел в машину, отвернулся. Обиделся. Эх, Танабай, Танабай! Простак ты, ничему-то тебя жизнь не научила. Ничего ты не знаешь и не замечаешь. Каким был в молодости, таким и остался. Все бы тебе рубить сплеча. А времена-то уже не те. Теперь важнее всего — как сказать, при ком сказать и чтобы слово в духе времени звучало, как у всех, не выделяясь, не спотыкаясь, а гладкое, как писаное было. Тогда все будет на месте. А пусти тебя, Танабай, как душе твоей угодно, наломал бы дров, отвечать еще пришлось бы. «Как вы воспитываете членов своей организации? Что за дисциплина? Что за распушенность?» Эх, Танабай, Танабай...

14

Все та же ночь, заставшая их двоих в пути. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Танабай встает, в который раз поправляет шубу, накинутую на издыхающего Гультары. И снова садится в его изголовье. Перебирает он в мыслях всю свою жизнь. Годы, годы, годы, как бег иноходца... А что было тогда, в тот год, в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму, когда он ходил чабаном с отарой?..

Весь октябрь в горах был сух и золотист. Дня два только вначале лили дожди, захолодило, лег туман. Но потом за ночь развеяло, разнесло непогоду, и утром, выйдя из юрты, Танабай чуть не попятился — горы шагнули к нему в свежем снегу на вершинах. Как им шел снег! Они стояли в поднебесье в безупречной своей чистоте, отчетливые на свету и в тени, будто только что созданные богом. Там, где лежал снег, начиналась синяя бесконечность. А в ее глубине, в ее далекой-далекой сини проступала призрачная даль вселенной. Танабай пожегился от избытка снега и свежести, и тоскливо стало ему. Опять он вспомнил о той, к которой ездил на Гульсары. Был бы инокходец под рукой, сел бы и, крича от восторга и радости, явился бы к ней, как этот белый снег поутру...

Но он знал, что это только мечта... Что ж, половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь. Смотрел он на горы и небо и думал, что вряд ли все люди могут быть в одинаковой мере счастливы. У каждого своя судьба. А в ней свои радости, свои горести, как свет и тень на одной и той же горе в одно и то же время. Тем и полна жизнь... «А она, наверно, и не ждет уже. Разве что вспомнила, увидев свежий снег на горах...»

Стареет человек, а душа не желает сдаваться, нет-нет да и встрепенется, подаст свой голос.

Танабай оседлал лошадь, открыл овечий загон, крикнул в юрту жене:

— Джайдар, я отгоню овец, вернусь, пока ты упрaviшься.

Отара засемила торопливо, потекла потоком спин и голов, поднимаясь по склону. Соседние чабаны тоже уже выгоняли своих овец. Тут и там по косогорам, по лощинам, по распадам пошли овечьи стада, собирать извечную дань земли — траву. Серо-белыми кучами бродили они среди рыжего и бурого разнотравья осенних гор.

Пока что все обстояло благополучно. Отара Танабаю досталась неплохая — матки второго и третьего окота. Полтыщи голов. Полтыщи забот. А после окота станет их в два с лишним раза больше. Но до окота, до страды чабанской, было еще далеко.

С овцами спокойнее, конечно, чем с табунами, одна-

ко не сразу привык к ним Танабай. То ли дело лошади! Но потеряло, говорят, коневодство свое значение. Машины пошли. Лошади, выходит, уже не прибыльны. Теперь главное — овцеводство, шерсть, мясо, овчина. Задевала Танабая такая трезвость расчета, хотя и понимал он, что была в этом своя правда.

Хороший табун при хорошем жеребце можно иной раз и оставить на время, на полдня, а то и больше, отлучиться по другим своим делам. А с овцами — никуда. Днем неотступно ходи с ними, ночь — сторожи. Кроме чабана, подпасок должен быть при отаре, но его не давали. Вот и получалось — сплошная работа, без смены, без отдыха. Джайдар числилась ночным сторожем, днем она только иногда могла приглядывать с дочками за овцами, до полуночи ходила с ружьем у загона, а потом приходилось самому стеречь. А Ибраим, теперь хозяин всего животноводства в колхозе, на все находил свои причины.

— Ну, где я вам возьму подпаска, Танаке? — говорил он с горестным видом. — Вы же разумный человек. Молодежь вся учится. А те, что не учатся, и слышать не хотят об овцах, уходят в город, на железную дорогу и даже на рудники куда-то. Что делать, ума не приложу. У вас всего одна отара — и то вы стонете. А я? У меня все животноводство на шее. Под суд я попаду. Зря я, зря пошел на это дело. Попробуй с такими, как ваш Бектай подшефный. Ты, говорит, обеспечи мне радио, кино, газеты, юрту новую и чтобы магазин приезжал ко мне каждую неделю. А не будет — уйду куда глаза глядят. Вы бы хоть поговорили с ним, Танаке!..

Ибраим не врал. Он и сам не рад был, что залез высоко. И насчет Бектая — тоже правда. Танабай иногда урывал время, ездил к своим подшефным комсомольцам. Эшим Болотбеков покладистый был парень, хотя и не очень расторопный. А Бектай красив был, ладен, но в его черных раскосых глазах так и сквозила злость. Танабая он встречал угрюмо, говорил ему:

— Ты, Танаке, не разрывайся на части. Лучше с детьми своими побудь. А проверяльщиков у меня и без тебя хватает.

— А что ж тебе, хуже будет, что ли?

— Хуже не хуже. А таких, как ты, я не люблю. Это вы расшибались в доску. Все — ура, ура! А человеческой жизни и сами не видели, и нам житья не давали.

— Ты, парень, не очень, — едва сдерживая себя, це-

дил сквозь зубы Танабай. — И пальцем в меня не тычь. Не твое это дело. Расшибались мы в доску, а не ты. И не жалеем. Для вас расшибались. А не расшибались бы, посмотрел бы я, как бы ты сейчас разговаривал. Не то что там кино или газеты, имени своего не знал бы. Одно было бы у тебя имя из трех букв — кул — раб!

Не любил Танабай Бектая, хотя где-то втайне и уважал его за прямоту эту. Пропадала в нем сила характера. Горько было Танабаю, видел он, что не туда ведет парня кривая... И потом, когда дороги их разошлись и встретились они в городе случайно, ничего не сказал ему, но и слушать его не стал.

В ту раннюю зиму...

Быстро домчалась она на свирепой белой верблюдице своей и пошла донимать пастухов за их забывчивость.

Октябрь весь был сух и золотист. А в ноябре грянула разом зима.

Пригнал Танабай вечером овец, пустил в загон, все как будто было в порядке. А в полночь разбудила его жена:

— Вставай, Танабай, замерзла я совсем. Снег идет.

Руки у нее были холодные, и вся она пахла мокрым снегом. И ружье было мокрое и холодное.

На дворе стояла белесая ночь. Снег сыпал густо. Овцы лежали в загоне беспокойно, мотали головами с непривычки, перхали, отряхивали снег, а он все сыпал. «Постойте, еще не то будет нам с вами, — запахнув плотней шубу, подумал Танабай. — Рано, очень рано пожаловала ты, зима. К чему это, к добру или к худу? Может, потом, к концу, приотпустишь, а? Только бы к расплоду убралась. Вот и вся просьба наша. А пока делай свое дело. Право имеешь и можешь никого не спрашивать...»

Молчала народившаяся зима, молча, торопливо хлопотала впотьмах, чтобы к утру все ахнули, засновали, забегали.

Горы стыли в ночи пока еще темными громадами. Зима им нипочем. Это пастухи со стадами своими пусть побегают. А горы как стояли, так и будут стоять.

Началась та памятная зима, но что она замышляла, пока никто не знал.

Снег лежал, через несколько дней его еще подвалило, потом еще и еще, и выжил он чабанов с осенних

стойбищ. Отары стали разбредаться, прятаться по ущельям, по затишкам, по малоснежным местам. Пошло в ход вековое искусство пастухов — находить отарам корм там, где другой махнул бы рукой и сказал, что нет тут ничего, кроме снега. На то они и были чабанами... Надеет иногда какое-нибудь начальство, поглядит-поглядит, порасспросит, наобещает кучу всего — и быстрее назад из гор. А чабан опять остается один, лицом к лицу с зимой.

Все хотелось Танабаю как-нибудь вырваться в колхоз, разузнать, как там думают насчет проведения окота, все ли сделано, все ли припасено. Но где там! И дыхнуть некогда было. Джайдар однажды съездила к сыну в интернат, но недолго задержалась там: знала, что без нее совсем трудно стало. Танабай пас тогда отару вместе с дочерьми. Маленькую усаживал перед собой в седло, кутал в шубу, тепло и покойно ей, а старшая мерзла — сидела она сзади, за отцом. И даже огонь в очаге горел по-другому, бесприютно.

А когда мать на другой день вернулась, что тут было! Дети кинулись ей на шею, отцеплять пришлось силой. Ох нет — отец, конечно, отец, но без матери и он не то.

Так шло время. Зима выдалась переменчивая — то прижмет, то отпустит, раза два бураны были, потом стихало, таяло. Это-то и тревожило Танабая. Хорошо, как расплод попадет в теплую полосу, а если нет, что тогда?

Животы овец между тем все больше тяжелели. У иных, у кого крупный плод или двойня, они уже начали обвисать. Суягные матки шагали трудно, осторожно, сильно сдали с тела. Хребты выпирали. Да и что удивляться — плод рос в чреве, наливался материнскими соками, а тут каждую травинку из-под снега выбивай. Чабану прикармливать бы маток по утрам и вечерам, подвозить бы корм в горы, но в амбарах колхозных — все под метелку. Кроме семян да овса для рабочих лошадей, ничего и нет.

Каждое утро, выгоняя из загона, Танабай осматривал маток, ощущивал животы, вымя. Прикидывал, что если все обойдется благополучно, то свое обязательство по ягнятам выполнит, а вот с шерстью нет, пожалуй, не выйдет. Плохо росло руно за зиму, а у иных овец шерсть даже поредела, выпадать стала — опять же кормить надо было бы лучше. Хмурился Танабай, злился, а сделать

ничего не мог. И ругал себя последними словами за то, что послушался Чоро. Насулил. С трибуны выступал. Я, мол, такой-сякой, передовой, перед партией и Родиной слово даю. Хоть бы уж этого не говорил! Да и при чем тут партия и Родина! Обыкновенное хозяйское дело. Так нет... Положено! И чего мы на каждом шагу, надо не надо, бросаемся этими словами?..

Ну что ж, сам и виноват. Не обдумал. По чужим подсказкам стал жить. Им-то что — отбрешутся, вот только Чоро жалко. Никак не везет ему. День здоров, два болеет. Всю жизнь суетится, уговаривает, обнадеживает, а что толку? Осторожный уже становится, слова выбирает. Раз больной, то уходил бы уж, что ли, на отдых...

Зима шла своим ходом, то обнадеживая, то тревожа чабанов. В отаре Танабая пали две матки от истощения — слабы оказались. И у подшефных его, молодых чабанов, тоже подошло по нескольку овец. Ну не без этого же. Десяток маток потерять за зиму — дело обычное. Главное было там, впереди, на подходе к весне.

И вдруг начало теплеть. У овец сразу же стало наливаться вымя. Смотришь, худущие уже такие, животы едва тащат, а соски разовеют, набухают не по дням, а по часам. И с чего бы? Откуда силы такие берутся? Слух пронесся, что у кого-то уже объягнилось несколько маток. Значит, недогляд был при случке. И это было первым сигналом. Через неделю-другую посыплются ягнята, как груши. Успевай только принимать. И начнется великая страда чабанская! За каждого ягненка дрожать будет чабан и проклинать тот день, когда пошел за отарой, и радости его предела не будет, если сбережет молодняк, если встанут ягнята на ноги и покажут хвосты свои зиме.

Но только бы вышло оно так, только бы вышло! Чтоб потом не прятать глаза от людей...

Прислали из колхоза сакманщиц — женщин большей частью престарелых да бездетных, которых удалось вытащить из села, — для помощи на время окота. К Танабаю в отару прислали двух сакманщиц. Приехали с постелями, с палаткой и пожитками. Веселей стало. Сакманщиков надо было, по крайней мере, человек семь. Ибраим заверил, что они будут, когда отары перекочуют на окотный пункт, в долину Пяти Деревьев, а сейчас, мол, хватит и этих.

Зашевелились отары, стали перебираться пониже, в предгорья, на окотные базы. Танабай попросил Эшима

Болотбекова, чтобы он помог женщинам добраться до места и устроиться там, пока он подгонит отару. Отправил их с утра, караваном целым, а сам собрал овец и направил их своим ходом, полегоньку, чтобы нетрудно было маткам на сносях. Потом ему придется проделать этот же путь в долину Пяти Деревьев еще два раза, помочь подшефным.

Медленно передвигались овцы, а не поторопишь их. Даже пес соскучился, побежал рыскать по сторонам.

Солнце было уже на закате, но пригревало. И чем ниже опускалась отара в предгорья, тем теплей становилось. Зелень уже пробивалась на солнцепеке.

В пути вышла небольшая задержка — окотилась первая матка. Не должно было быть этого, огорчался Танабай, продувая уши и ноздри новорожденному. Срок окота наступал через неделю, не раньше. А тут на тебе!

Может, еще пачнут ягниться по пути? Осмотрел других — нет, вроде бы непохоже. Успокоился, а потом даже повеселел. То-то обрадуются девчухи его первому ягненку. Первенец всегда мил. И ягненок-то оказался хорошепкий. Белый, с черными ресницами и черными копытцами. Было в отаре несколько полугрубошерстных овец, одна из них как раз разрешилась. Ягнята от них обычно рождаются крепкие, в шерсточке, не то что от тонкорунных, те рожают почти голышей.

— Ну, раз уж ты поторопился, погляди на божий свет, — приговаривал Танабай. — И принеси нам счастье! Принеси нам таких, как ты, столько, чтобы ступить негде было ногой, чтобы от голосов ваших в ушах звенело и чтобы жили все, как один! — Он поднял ягненка над головой. — Смотри, покровитель овец, вот он, первый, помоги нам!

Вокруг стояли горы, и они молчали.

Танабай упрятал ягненка под шубу и пошел, подгоняя овец. Матка бежала следом, беспокоилась, бляла.

— Пошли, пошли! — сказал ей Танабай. — Здесь он, никуда не денется.

Обсох ягненок под шубой, пригрелся.

На базу Танабай пригнал отару к вечеру.

Все были уже на месте, из юрты тянулся дымок. Возле палатки хлопотали сакманщицы. Управились, стало быть, с переездом. Эшима не видно было. Ну да, увел уже вьючного верблюда, чтобы завтра самому переключать. Все правильно.

Но то, что Танабай увидел затем, потрясло его, как

гром среди бела дня. Ничего хорошего он не ожидал, но чтобы кошара для расплода стояла с прогнившей и провалившейся камышовой крышей, с дырами в стенах, без окон, без дверей, чтобы ветер продувал ее вдоль и поперек, — нет, этого он не ожидал. Вокруг уже почти не было снега, а в кошаре лежали сугробы.

Загон, сложенный когда-то из камней, тоже лежал в руинах. Танабай так расстроился, что не стал даже глядеть, как девочки радуются ягненку. Сунул им его в руки и пошел осматривать все кругом. И куда бы ни ткнулся — всюду такая бесхозяйственность, какой свет не видывал. С самой войны, должно быть, все здесь было заброшено, справлялись кое-как с окотом овец и ухаживали, кинув все дождям и ветрам. На крыше сарая пригорюнились кособокий прикладок гнилого сена, лежали кучи разбросанной соломы — вот и весь корм, и вся подстилка для ягнят и маток на всю отару, если не считать двух неполных мешков ячменной муки да ящичка с солью, что были свалены в углу. Там же, в углу, было брошено несколько фонарей с разбитыми стеклами, ржавый бидон с керосином, две лопаты и обломанные вилы. Так и хотелось облить все это керосином, сжечь к чертям собачьим и уйти отсюда куда глаза глядят...

Ходил Танабай, спотыкаясь о мерзлые кучи прошлогоднего навоза и снега, и не знал, что сказать. Слов не находил. Только и повторял как помешанный: «Да как же так можно?.. Да как же так можно?.. Да как же так можно?..»

А потом выскочил из кошары, бросился седлать коня. Руки тряслись, когда седлал. Сейчас он поскачет туда, поднимет всех на ноги среди ночи и сделает сам не знает что! Схватит за шиворот этого Ибраима, этого председателя Алданова и Чоро: пусть не ждут от него пощады! Раз они с ним так — не видать им от него добра! Все, конец!..

— А ну постой! — успела перехватить поводья Джайдар. — Куда ты? Не смей. Слезь, послушай меня!

Но где там! Попробуй останови Танабая.

— Отпусти! Отпусти! — орал он, вырывая поводья, наезжая на жену, нахлестывая коня. — Отпусти, говорю! Я убью их! Я убью!

— Не пуцуй! Тебе надо кого-нибудь убить? Убей меня.

Тут прибежали сакманщицы на помощь Джайдар, прибежали дочки, подняли рев.

— Отец! Отец! Не надо!

Остыл Танабай, но все еще порывался ехать.

— Не держи меня, разве ты не видишь, что тут творится? Разве ты не видишь — вон матки с ягнятами. Куда мы их завтра денем, где крыша? Где корм? Передохнут все. Кто будет отвечать? Отпусти!

— Да постой ты, постой. Ну хорошо, ну поедешь ты, накричишь, наскандалишь. А что из того? Если они до сих пор ничего не сделали, значит, нет у них сил на это. Было бы из чего, разве колхоз не построил бы новую кошару?

— Но крышу-то перебрать можно было? А где двери? Где окна? Все кругом развалено, в кошаре снег, навоз не вывозили лет десять! А смотри, на сколько хватит этого гнилого сена? Разве же ягням такое сено? А подстилку откуда возьмем? Пусть в грязи дохнут ягнята, да? Так, по-твоему? Уйди!

— Хватит, Танабай, уймись. Ты что, лучше всех? Как все, так и мы. И тебя еще мужчиной считают? — стыдила жена. — Подумай лучше, что можно сделать, пока не поздно. Плюнь ты на них. Нам отвечать, и нам делать. Я вон заметила по пути к ложбинке шиповник густой, колючий, правда, — нарубим, позатыкаем крышу, сверху навоза набросаем. А на подстилку курая придется накосить. Как-нибудь да и перебьемся, если погода не подведет...

Тут и сакманщицы стали успокаивать Танабая. Сполз он с седла, плюнул на баб и пошел в юрту. Сидел, уронив голову, поникшую, как после тяжелой болезни.

Притихли все дома. Разговаривать боялись. Джайдар сняла с кизячных углей чайник, заварила покрепче, принесла в кувшине воды, дала мужу руки помыть. Расстелила чистую скатерть, конфеты даже откуда-то достала, масла топленого положила в тарелку желтыми ломтиками. Пригласили сакманщиц и сели пить чай. Ох уж эти бабы! Пьют себе чай из пиал, разговоры разговаривают всякие, будто в гостях сидят. Молчал Танабай, а после чая вышел и стал укладывать обвалившиеся камни загона. Работы тут невпроворот. Но хоть что-то надо было сделать, чтобы загнать овец на ночь. Вышли женщины и тоже взялись за камни. Даже девчонки силелись подносить их.

— Бегите домой, — сказал им отец.

Стыдно было ему. Таскал камни, не поднимая глаз. Правду говорил Чоро: не будь Джайдар, не сносить Танабаю головы своей бедовой...

На другой день съездил Танабай подсобить перекочевке своих подшефных, а потом всю неделю работал не покладая рук. Не помнил даже, когда так доводилось, разве что на фронте, когда оборону строили круглыми сутками. Но там — со всем полком, с дивизией, с армией. А здесь — сам, жена да одна из сакманщиц. Вторая пасла овец поблизости.

Труднее всего пришлось с очисткой кошары от навоза и рубкой шиповника. Заросли оказались густые, сплошь в колючках. Сапоги все изодрал Танабай, шинель солдатскую свою доконал — вся в клочьях висела на нем. Нарубленный шиповник связывали веревками и тащили волоком, потому что на лошадь не навьючишь и на себе не утащишь — колючки. Чертыхался Танабай — долина Пяти Деревьев, а от них и пяти пеньков не сыщешь. Согнувшись в три погибели, обливаясь потом, волокли они этот проклятый шиповник, дорогу им проборонили к кошаре. Жалко было Танабаю женщин, но ничего не поделаешь. И работалось беспокойно. Времени в обрез, и на небо надо поглядывать — как там? Повеет снег, тогда и это все ни к чему. И все заставлял старшую дочурку бегать к отаре — узнавать, не начался ли окот.

А с навозом и того хуже. Тут его было столько, что за полгода не вынести. Когда под хорошей крышей лежит сухой, утрамбованный овечий навоз, то работать с ним даже приятно. Слитными, плотными кусками отделяется вырубленный пласт. Его складывают сушиться большими штабелями. Жар овечьего кизяка приятен и чист, как золото, им и обогреваются чабаны в зимние холода. Но если навоз полежал под дождем или под снегом, как тут, то нет ничего более тяжелого, чем возиться с ним. Каторжная работа. А время не ждало. Ночью, зажегив чадящие фонари, продолжали они выносить на носилках эту холодную, липкую, тяжелую, как свинец, грязь. Вот уж вторые сутки.

На задворках навалили уже огромную кучу навоза, а в кошаре оставался еще непчатый край. Торопились очистить хотя бы один угол кошары для ожидавшихся ягнят. Но что значит один угол, когда всей этой большой кошары мало, чтобы поместить всех маток и их приплод — ведь в день будет появляться по двадцать-тридцать ягнят! «Что будет?» — только об этом и думал

Танабай, накладывая на носилки навоз, вынося его, затем вновь возвращаясь, и так без конца, до полуночи, до рассвета. Мutilo уже. Руки онемели. Да еще и фонари то и дело задувало ветром. Хорошо, сакманщицы не роптали, работали так же, как Танабай и Джайдар.

Прошли сутки, затем еще сутки и еще. А они все носили и носили навоз, затыкали дыры в стенах и в крыше. И ночью однажды, выходя с носилками из кошары, услышал Танабай, как замекал ягненок в загоне и как матка взблеяла в ответ, стуча ногами. «Началось!» — екнуло под сердцем.

— Ты слышала? — обернулся Танабай к жене.

Они разом бросили под ноги носилки с навозом, схватили фонари и побежали в загон.

Зашарили фонари, мигая неверным светом, по отаре. Где он? Вон там, в углу! Матка уже облизывала крохотное, дрожащее тельце новорожденного. Джайдар подхватила ягненка в подол. Хорошо, что вовремя подоспели, а не то так и замерз бы в загоне. Рядом, оказывается, окотилась еще одна матка. Она принесла двойню. Этих положил в подол плаща Танабай. В потугах лежали еще штук пять и сдавленно мычали. Значит, началось. К утру и эти разродятся. Позвали сакманщиц. Стали выводить из загона окотившихся маток, чтобы поместить их в тот угол кошары, что уже был кое-как расчищен.

Постелил Танабай соломы под стену, уложил ягнят, отдававших впервые молозива матерей, прикрыл их мешком. Холодно. Маток впустил сюда же. И призадумался, закусив губу. А что толку было думать? Оставалось только надеяться, что, может быть, все как-нибудь образуется. Сколько дел, сколько забот... Хоть бы соломы было вдосталь, так и той нет. Ибраим и на это найдет уважительную причину. Скажет, попробуй привезти соломку по бездорожью в горы.

Эх, что будет, то будет! Пошел принес банку с разведенными чернилами. Одному ягненку намалевал на спине двойку, а двойняшкам по тройке. Так же пронумеровал и маток. А то потом попробуй разберись, когда они будут здесь кишеть сотнями. Не за горами, страда чабанская началась!

И началась она круто, жестко, как в обороне, когда нечем отбиваться, а танки идут. А ты стоишь в окопе и не уходишь, потому что некуда уходить. Одно из двух — или чудом выстоять в схватке, или умереть.

Стоял Танабай поутру на пригорке перед выгоном отары на пастьбу и молча смотрел по сторонам, словно оценивая свои позиции. Ветхой, никудышной была его оборона. Но он должен был стоять. Уходить ему было некуда. Небольшая извилистая долинка с обмелевшей речушкой теснились между увалами, за ними поднимались сопки повыше, а за теми — еще выше, в снегу. Чернели над белыми склонами голые каменные скалы, а там, на хребтах, скованных сплошным льдом, лежала зима. Ей было рукой подать сюда. Стоило шевельнуться, скинуть вниз тучи, и утонет долинка во мгле, не разыщешь.

Небо было серое, в серой стылой мути. Ветер поддувал низом. Пустынно было вокруг. Горы, кругом горы. Холодно на душе от тревоги. А в кошаре-развалюшке уже мекали ягнята. Только что отбили из стада еще голов десять подоспевших овец, оставили на окот.

Отара потихоньку ушла добывать себе скудный корм. И там, на выгоне, тоже теперь глаз да глаз нужен. Бывает, что овца не подает никаких признаков, что скоро окотится. А потом — раз, прилегла за кустом и опросталась. Если недоглядеть, застудится на сырой земле ягненок, и тогда он уже не жилец.

Однако застоялся Танабай на пригорке. Махнув рукой, он зашагал к кошаре. Там еще работы невпроворот, надо хоть что-то успеть еще сделать.

Приезжал потом Ибраим, муку привозил — бесстыжие глаза его... А где, говорит, дворцы я вам возьму? Какие были кошары в колхозе, такие и есть. Других нет. До коммунизма пока не дошли.

Танабай едва удержался, чтобы не броситься на него с кулаками.

— При чем тут смешки твои? Я о деле говорю, я о деле думаю. Мне отвечать.

— А я, по-вашему, не думаю? Вы отвечаете за какую-то одну отару, а я за все, за вас, за других, за все животноводство. Думаете, мне легко! — И вдруг, к изумлению Танабая, тот ловкач заплакал, уткнувшись в ладоши, и забормотал сквозь слезы: — Под суд я попаду! Под суд! Нигде ничего не достанешь. Люди не хотят идти даже в сакманщики на время. Убейте, растерзайте меня, ничего я больше не могу. И не ждите от меня ничего. Зря я, зря пошел на это дело...

С тем и уехал, оставив простака Танабая в немалом смущении. Больше его тут и не видели.

Окотилась пока первая сотня маток. В отарах Эшима и Бектая, стоявших выше по долине, окот и не начинался еще, но Танабай уже чувствовал, что надвигается катастрофа. Все они, сколько их было — трое взрослых, не считая старую женщину-сакманщицу, которая теперь постоянно пасла отару, и старшая шестилетняя девочка, — едва успевали принимать ягнят, обтирать их, подсаживать к маткам, утеплять чем придется, выносить навоз, подтаскивать хворост на подстилку. И уже слышны были голодные крики ягнят — им не хватало молока, матки были истощены, и кормить их было нечем. А что ждало впереди?

Закружились круговертью дни и ночи чабанские, наваливалась расплодная — ни вздохнуть, ни разогнуться.

А вчера как напугала их погода! Сильно заохлодало вдруг, тучи поползли хмарые, посыпалась жесткая снежная крупа. Потонуло все во мгле, потемнело...

Но вскоре тучи разошлись и стало теплеть. Весной запахло в воздухе, сыростью. «Дай-то бог, может, весна встанет. Только бы уж прочно встала, а то нет ничего хуже, когда пойдет шататься туда-сюда», — думал Танабай, вынося на вилах с соломой водянистые последы приплода.

И весна пришла, только не так, как ожидал Танабай. Заявилась вдруг ночью с дождем, туманом и снегом. Всей своей мокрой и холодной массой обрушилась на кошару, на юрту, на загон, на все кругом. Всучилась ручьями и лужами на мерзлой, слякотной земле. Просочилась сквозь гнилую крышу, подмыла стены и пошла затапливать кошару, пробираться ее обитателей дрожью до мозга костей. Всех подняла на ноги. Сбились в кучу ягнята в воде, орали матки, котившиеся стоя. С подхвата крестила весна новорожденных холодной водой.

Засуматошились люди в плащах, с фонарями. Забегал Танабай. Как пара загнанных зверей, метались во тьме большие сапоги его по лужам, по жиже навозной. Хлестали полы плаща крыльями подбитой птицы. Хрипел он, кричал на себя и на других:

— Лом давай скорей! Лопату! Навоз валите сюда! Загораживайте воду!

Надо было хотя бы отвести в сторону вбегавшие в кошару потоки воды. Рубил мерзлую землю, долбил канавы.

— Свети! Свети сюда! Что смотришь!

А ночь никла туманом. Валил снег дождем. И ничем нельзя было этого остановить.

Танабай побежал в юрту. Засветил лампу. Здесь тоже капало отовсюду. Но не так, как в кошаре. Дети спали, и одеяло их намокало. Танабай сгреб детей в охапку, вместе с постелью перетащил их в угол, освобождая в юрте побольше места. Набросил на детей кошму поверх, чтобы одеяло не промокло сверху, и, выбежав, крикнул женщинам в кошару:

— Ягнят тащите в юрту! — и сам побежал туда же.

Но сколько их можно было поместить в юрту? Нескольким десяткам, не больше. А куда девать остальных? Ох, хоть бы спасти то, что можно...

Вот и утро уже. А хляби небесной — ни конца ни края. Приутихнет немного, и снова то дождь, то снег, то дождь, то снег...

Юрта битком набита ягнятами. Орут не смолкая. Вонь, смрад. Вещи сложили в одно место, в кучу, накрыли брезентом, а сами переселились в палатку к сакманщицам. Дети мерзнут, плачут.

Пришли черные дни чабана. Клянет он свою долю. Кроет всех и вся на свете. Не спит, не ест, бьется из последних сил среди мокрых с головы до ног овец, среди коченеющих ягнят. А смерть уже косит их в промозглой кошаре. Ей нетрудно было заявиться сюда — входи, где хочешь. Через гиблую крышу, через окна без стекол, через пустые проемы дверей. Заявилась и пошла косить ягнят и ослабевших маток. Выносит чабан синие трупики, по нескольку штук сваливает их за кошарой.

А на улице, в загоне, под дождем и снегом стоят пузатые суягные матки. Им котиться не сегодня-завтра. Бьет их дождь, судорога сводит челюсти. Ключьями обвцасает мокрая шерсть, ключьями...

Не хотят уже овцы идти на пастбище. Какой там выпас в такую стужу и мокроту?! Старая сакманщица с мешком на голове гонит их, а они бегут назад, точно им тут рай уготован. Женщина плачет, собирает их, опять гонит, а они опять бегут назад. Танабай выбегает разъяренный. Палкой бы избить этих глупых овец, но ведь они суягны. Зовет других, и все вместе с трудом выпроваживают отару на выпас.

С тех пор как началось это бедствие, Танабай потерял счет времени, счет гибнущему на глазах приплоду. Двойни шли больше и даже тройни. И все это богатство пропало. Все труды шли прахом. Ягнята появлялись на свет и в тот же день околевали в слякоти и навозной жиже. А те, что оставались, кашляли, хрипели, их поносило,

и они загаживали друг друга. Осиротевшие матки орали, бегали, толкались, топтали тех, что лежали в потугах. Во всем этом было что-то противоестественное, чудовищное. Ох, как хотелось Танабаю, чтобы расплодная хоть немного замедлилась! Хотелось кричать этим глупым овцам: «Остановитесь! Не рожайте! Остановитесь!..»

Но они, матки, точно сговорившись, котились одна за другой, одна за другой, одна за другой!..

И поднималась в душе его темная, страшная злоба. Поднималась, застилая глаза черным мраком ненависти ко всему, что творилось здесь, в этой гиблой кошаре, к овцам, к себе, к жизни своей, ко всему тому, ради чего бился он тут как рыба об лед.

Отупение какое-то нашло на него. Дурно становилось от мыслей своих, гнал он их прочь, но они не отступали, лезли в душу, лезли в голову: «Зачем все это? Кому это нужно? Зачем мы разводим овец, если уберечь их не можем? Кто виноват в этом? Кто? Отвечай, кто? Ты и такие, как ты сам, болтуны. Мы, мол, все поднимем, догоним, перегоним, слово даем. Красиво говорим. Вот поднимай теперь дохлых ягнят, выноси их. Волоки вон ту матку, что подохла в луже. Покажи себя, какой ты есть...»

И особенно по ночам, хлюпая по колено в грязи и моче овечьей, задыхался Танабай от обидных и горьких дум своих. О эти бессонные ночи расплодной! Под ногами болото раскисшего навоза, сверху льет. Ветер шастает по кошаре, как в поле, задувает фонари. Танабай идет ощупью, спотыкается, на четвереньках лезет, чтобы не подавить новорожденных, находит фонарь, зажигает и в свете его видит свои черные, опухшие руки, вымазанные в навозе и крови.

Давно уже он не видел себя в зеркале. Не знал, что поседел и постарел на много лет. И что отныне старик — имя ему. Не до того, не до себя ему было. Поесть и умыться некогда. Ни себе, ни другим не давал ни минуты покоя. Видя, что дело идет к полной катастрофе, посадил молодую сакманщицу на ковя:

— Скачи, найди Чоро. И скажи, чтобы приехал немедленно. А если не приедет, то передай: пусть не показывается мне на глаза!

Прискакала она назад к вечеру, свалилась с седла, посиневшая, промокшая до нитки:

— Большой он, Танаке. Лежит в постели, сказал, что через день-два хоть мертвый, но доберется.

— Чтоб не видеть ему продыху от этой болезни! — ругался Танабай.

Хотела Джайдар одернуть его, но не посмела, нельзя было.

Погода стала проясняться на третий день. Уползли нехотя тучи, поднялся в горы туман. Приутих ветер. Но было уже поздно. Суягные овцы за эти дни отощали до того, что смотреть на них было страшно. Стоит худоба с раздутыми животами на тоненьких ножках. Какие же они матки-кормилицы! А те, что окотились, и ягнята, что еще живы, — многие ли из них смогут дотянуть до лета и поправиться на зеленой траве? Рано или поздно хворь доконает их. А нет — будет хурда: ни шерсти, ни мяса от них...

Только прояснилась погода, другая беда — наледь стала намерзать на землю. Гололеду быть. В полдень, однако, отпустило. Обрадовался Танабай: может, удастся еще кое-что спасти. Снова пошли в ход лопаты, вилы, носилки. Хоть немного, но надо в кошару ходы проделать, а то ведь ступить шагу нельзя. Недолго, однако, занимались этим. Надо еще кормить сосунков-сирот, подсаживать их к бездетным маткам. Те не даются, не принимают чужих. Ягнята тычутся, просят молока. Холодными ротиками хватают пальцы, сосут. Отгонишь — обсасывают грязные полы плащей. Есть хотят. Бегают вслед плачущей гурьбой.

Хоть плачь, хоть разрывайся на части. Сколько еще можно требовать от этих женщин и от своей маленькой дочки? На ногах едва держатся. Вот уже сколько дней плащи не просыхают на них. Не говорит им ничего Танабай. Один раз только не выдержал. Пригнала старая женщина отару в загон в полдень, хотела помочь Танабаю. Он выскочил глянуть, как там. Глянул — и в жар его кинуло: стоят овцы — шерсть едят друг у друга. Это значит, что отаре уже грозит гибель от голода. Выбежал, накинулся на женщину.

— Ты что, старая! Не видишь? Почему молчишь? Вон отсюда! Гони отару. И не давай останавливаться. Не давай им грызть шерсть. Пусть ходят. Чтобы ни минуты не стояли. А то убью!

А тут еще напасть — матка одна с двойнями стала отрекаться от своих ягнят. Бодает их, не подпускает к себе, ногами бьет. А ягнята лезут, падают, плачут. Такое случается, когда вступает в силу жесточайший закон самосохранения, когда матка инстинктивно отказывается кормить сосунков, чтобы выжить самой, потому что организм ее не в силах питать других. Явление это, как болезнь.

заразное. Стоит одной овце показать пример, и все начнут следовать ему. Переполошился Танабай. Выгнали они с дочкой озверевшую от голода матку с ее ягнятами во двор, к загону, и здесь начали заставляя ее кормить своих детенышей. Сначала Танабай сам держал овцу, а дочка подсаживала ягнят. Но матка крутилась, вертелась, отбивалась. Ничего не получалось у девочки.

— Отец, они не могут сосать.

— Могут, ты просто безрукая.

— Да нет же, смотри, они падают. — Она чуть не плакала.

— А ну держи, я сам!

Но сколько там силенок у девочки! Только было подсунул он ягнят к вымени, только было они начали сосать, а овца как рванется — сбила девочку с ног и убежала. Лопнуло терпение Танабая. Залепил он пощечину дочке. Никогда не бил детей, а тут сорвался. Девочка захлопала носом. А он ушел. Плюнул на все и ушел.

Походил, вернулся, не знал, как попросить прощения у дочки, а она сама прибежала:

— Отец, приняла она их. Мы с мамой посадили ягнят. Больше она не гонит их.

— Ну вот и хорошо, доченька. Молодец.

И сразу легче стало на душе. И вроде не так уж все плохо. Может быть, еще удастся сберечь, что осталось. Смотри, и погода налаживается! А вдруг да встанет весна по-настоящему и минут черные дни чабана? Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать — только так, только в этом спасение...

Приехал учетчик — парнишка верховой. Наконец-то. Спрашивает, что и как. Хотелось Танабаю послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос...

— Где же ты был раньше?

— Как где? По отарам. Не успеваю, я один.

— А как у других?

— Не лучше. Эти три дня покосили много.

— Что говорят чабаны?

— Да что. Ругаются. Иные и разговаривать не хотят. Бектай, так тот погнал меня со двора. Злой ходит, не подступишься.

— Да-а-а. И у меня не было продыху, чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу. Ну а ты?

— А что я? Учет веду.

— А помощь нам какая-нибудь будет?

— Будет. Чоро, говорят, вышел. Обоз отправил с се-

ном, с соломой, с конюшни сняли все — пусть, говорит, лучше лошади подышают. Да, говорят, обоз застрял где-то, дороги-то вон какие.

— Дороги! А что думали раньше? Вечно у нас так. Ис обоза-то этого что толку теперь? Ну, я еще доберусь до них! — грозился Танабай. — Не спрашивай. Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь все равно! — И, оборвав разговор, пошел в кошару принимать окот. Сегодня еще маток пятнадцать опросталось.

Ходил Танабай, подбирая приплод, смотрит — учетчик бумагу сует ему:

— Подпишите акт о падеже.

Подписал не глядя. Черкнул так, что карандаш сломался.

— До свидания, Танаке. Может, передать что? Скажите.

— Нечего мне сказывать. — Потом все же задержал парнишку. — Заверни к Бектаю. Передай: завтра к обеду как-нибудь выберусь.

Напрасно беспокоился Танабай. Опередил его Бектай. Сам пришел, да еще как пришел...

Той ночью снова потянул ветерок, пошел снег, не очень густо, но к утру припорошил землю набело. Припорошил и овец в загоне, всю ночь простоявших на ногах. Не ложились они теперь. Собьются в кучу и стоят неподвижные и безразличные ко всему. Слишком долго тянулась бескормица, слишком долго боролась весна с зимой.

В кошаре стоял холод. Снежинки падали через размытую дождями крышу, кружились в тусклом свете фонарей и плавно опускались вниз, на стынущих маток и ягнят. А Танабай все толкался среди овец, исполнял службу свою, как солдат похоронной команды на поле боя после побоища. Он уже свыкся со своими тяжелыми мыслями, возмущение перешло в молчаливое озлобление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он, чавкая сапогами по жиже, дело свое делал и все вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь...

Бегал когда-то он мальчишкой-подпаском. Пасли вместе с братом Кулубаем овец у одного родственника. Прошел год, и оказалось, что работали они только за одни харчи. Надул хозяин. И разговаривать не захотел. Так и ушли они с прохудившимися чокоями на ногах, со своими жалкими котомками за спинами, с пустыми руками. Уходя, Танабай пригрозил хозяину: «Я тебе это припомню,

когда вырасту». А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на пять. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело самому стать хозяином, скотом обзавестись, землю занять. «Буду хозяином — никогда не обижу работника», — говаривал он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, а Танабай подался в Александровку, батраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый — пара волов да пара лошадей, свое поле пахотное. Хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу в городишко Аулиэ-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи, Танабай у него больше за волами и лошадьми ходил. Строг был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное платил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно обираемая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски, побывал вместе с извозом в городишке том Аулиэ-Ата, свет повидал немного. А там революция подошла. И перевернулось все вверх дном. Пришло время Танабаев.

Вернулся Танабай в аил. Другая жизнь началась. Захватила, понесла, кружа голову. Все пришло сразу — земля, воля, права. Избрали его в батрачком. С Чоро сошелся в те годы. Тот был грамотным, молодежь обучал писать буквы, читать по складам. А Танабаю очень нужна была грамота — как-никак батрачком. Вступил в комсомольскую ячейку. И здесь был заодно с Чоро. И в партии вместе вступали. Все шло своим ходом, беднота наверх выбралась. А когда коллективизация началась, Танабай прикипел к этому делу всей душой. Кому, как не ему, было бороться за новую жизнь крестьянскую, за то, чтобы все стало общее — земля, скот, труд, мечты. Долой кулаков! Крутое, ветреное время зашумело. Днем — в седле, ночью — на заседаниях и собраниях. Составлялись списки кулаков. Баи, муллы, всякие другие богатеи выбрасывались, как сорная трава с поля. Поле нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока Танабай носился вскачь, пока митинговал да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло. Скот имел — овец, корову, пару лошадей, кобылу дойную с жеребенком, плуг, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, но и не бедным он был. Крепко жил, крепко работал.

На заседании в сельсовете, когда очередь дошла до Кулубая, Чоро сказал:

— Давайте, товарищи, подумаем. Раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в колхозе. Ведь он сам из бедняков. Враждебной агитацией не занимался.

По-разному стали говорить. Кто «за», кто «против». Слово осталось за Танабаем. Сидел он нахохлившись, как ворон. Хоть и сводный брат, но брат. Идти надо было против брата. Жили они мирно, хотя и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать: не троньте его, но тогда как с другими быть — у всякого найдется защитник, родственник. Сказать: решайте сами — подумают, что в кусты прячешься.

Люди ждали, что он скажет. И оттого, что они ждали, в нем нарастало ожесточение.

— Ты, Чоро, всегда так! — заговорил он, поднявшись. — В газетах пишут о книжных людях, как их там, интеллигенты. Ты тоже интеллигент. Ты вечно сомневаешься, боишься, как бы что не так. А чего сомневаться? Раз есть в списке — значит, кулак! И никакой пощады! Ради Советской власти я отца родного не пожалею. А то, что он брат мой, пусть вас не смущает. Не вы, так я сам раскулачу его.

Кулубай пришел к нему на другой день. Встретил Танабай брата холодно, руки не подал.

— За что же меня кулачить? Разве не мы с тобой ходили в батраках? Разве не нас с тобой прогоняли бай со двора?

— Это теперь не имеет значения. Ты сам стал баем.

— Какой же я бай? Своим трудом все наживал. И то не жалко. Возьмите все. Только зачем в кулаки меня тащить? Побойся бога, Танабай.

— Все равно. Ты враждебный класс. И мы должны ликвидировать тебя, чтобы построить колхоз. Ты стоишь на нашем пути, и мы должны убрать тебя с дороги...

Это был их последний разговор. Вот уже двадцать лет, как они словом не обмолвились. Когда Кулубая выслали в Сибирь, сколько разговоров, сколько пересудов было в аиле!

Всякое болтали. Придумали даже такое, что, мол, когда угоняли Кулубая из аила под конвоем двух верховых милиционеров, то уходил он, опустив голову, никуда не глядя и ни с кем не прощаясь. А когда вышли за аил и пошли по дороге через поля, бросился будто он в пшеницу

молодую — то была первая колхозная озимь, и стал-де рвать ее с корнями да топтать и мять, как зверь в капкане. Конвоиры, мол, насилу сладили с ним и погнали дальше. И, уходя, сказывали, горько плакал он и проклинал Танабая.

Танабай этому не очень-то поверил. «Болтовня вражеская — хотят допечь меня этим. Но черта с два, так уж я и поддался!» — убеждал он себя.

А перед самой косовицей объезжал он однажды поля, любовался — хлеб уродился в тот год на славу, колос неред колосом гордился, и наткнулся на то самое место в пшенице, где бился в отчаянье Кулубай, где топтал он и рвал с корнем молодое жито. Вокруг пшеница стояла стеной, а тут словно быки дрались, все истоптано, изломано, повисохло все, позарастало лебедой. Как увидел это Танабай, так и осадил коня.

— Ах ты, гад! — прошептал он, вскипая злобой. — На колхозный хлеб руку поднял. Значит, ты и есть кулак. А кто же ты больше...

Долго стоял он так здесь на коне, молчаливый и мрачный, с тяжелой думой в глазах, потом развернулся и уехал не оглядываясь. И после долгое время избегал он это несчастное место, объезжал стороной, пока не выкосили хлеб, пока жнивье на полях не сровнялось с землей под копытами скота.

Мало кто защищал тогда Танабая. Больше осуждали: «Не приведи бог иметь такого брата. Лучше безродным быть». Иные прямо резали это в глаза ему. Да, откровенно говоря, отшатнулись от него тогда люди. Не то чтобы открыто, но когда голосовали его кандидатуру, стали воздерживаться. Так мало-помалу и выбыл он из актива. И все же оправдывал себя тем, что кулаки жгли колхозы, стреляли, а самое главное, что колхоз зажил, дела пошли год от года лучше. Совсем другая жизнь наступила. Нет, не зря все то было тогда.

Вспоминал Танабай все то минувшее до мельчайших подробностей. словно бы вся жизнь его осталась там, в той удивительной поре, когда колхозы набирали силу. Оять припомнил он песни той поры про «ударницу в красной косынке», припомнил первую колхозную полуторку и то, как стоял он ночью у кабины с красным флагом.

Бродил Танабай ночью по кошаре, служил свою горькую службу и думал свои горькие думы. Отчего же теперь все лезет по швам? А может, ошиблись, не туда пошли, не той дорогой? Нет, не должно быть так, не должно! До-

рога была верная. А что же тогда? Заплутали? Сбились? Когда и как это случилось? Вот ведь и соревнование теперь — записали обязательства, и больше дела нет никому до того, как ты тут, что с тобой. Раньше красные и черные доски были, каждый день сколько разговоров, сколько споров: кто на красной доске, кто на черной — важно это было для людей. Теперь говорят, что это все пройденное, отжившее. А что взамен? Пустые разговоры, обещания. А на деле ничего. Почему так? Кого винить за все это?

Устал Танабай от безысходных дум. Безразличие, отупение охватывало его. Работа валилась из рук. Голова болела. Спать хотелось. Видел, как молодая сакманщица приткнулась к стене. Видел, как слипались ее воспаленные глаза, как она боролась со сном, и как стала медленно сползать, и как потом села на землю и уснула, уронив голову на колени. Не стал ее будить. Тоже прислонился к стене, и тоже стал медленно сползать вниз, и ничего не мог поделать с собой, с той навалившейся на плечи тяжестью, которая клонила и клонила его вниз...

Проснулся он от сдавленного крика и какого-то глухого удара о землю. Испуганно шарахнувшиеся овцы затопали по его ногам. Вскочил, не понимая, в чем дело. Развиднялось уже.

— Танабай, Танабай, помоги, — звала его жена.

К ней подбежали сакманщицы, и он за ними. Смотрит — придавило ее обвалившейся с крыши стропилиной. Соскочил один конец ее с размытой стены, и рухнула стропила под тяжестью гнилой кровли. Сразу сон как рукой сняло.

— Джайдар! — вскрикнул он, подлез плечом под стропилину, поднял рывком.

Джайдар выползла, заохала. Женщины запричитали, стали ощупывать ее. Растолкал их, ничего не соображая от испуга, зашарил Танабай дрожащими руками под фуфайкой жены:

— Что с тобой? Что?

— Ой, поясница! Поясница!

— Ушибло? А ну давайте? — Он скинул митом плащ, Джайдар положили на него и понесли из кошары.

В палатке осмотрели. Снаружи как будто бы ничего не было. Но пристукнуло крепко. Шевельнуться не могла.

Джайдар заплакала:

— Как же теперь? В такое-то время, а я? Как же теперь вам!

«О боже! — пронеслось в голове Танабая. — Надо радоваться, что жива осталась. А она? Да провались эта работа ко всем чертям! Только бы ты цела была, бедняжка моя...»

Он стал гладить ее по голове.

— Что ты, Джайдар, успокойся! Лишь бы ты встала на ноги. А все остальное ерунда, справимся...

И все они, только теперь придя в себя, стали наперебой уговаривать и успокаивать Джайдар. И ей от этого словно полегчало. Улыбнулась сквозь слезы.

— Ладно уж. Не обижайтесь только, что так случилось. Я не залежусь. Дня через два встану, вот посмотрите.

Женщины принялись готовить ей постель и разжигать огонь, а Танабай пошел обратно в кошару, все еще не веря, что несчастье пронеслось стороной.

Утро открывалось белое, в новом мягком снегу. В кошаре Танабай нашел задавленную стропиной матку. Давеча они и не заметили ее. Сосунок тыкался мордочкой в соски мертвой овцы. И еще страшней стало Танабаю, и еще радостней, что жена осталась жива. Он взял осиротевшего ягненка, пошел отыскивать ему другую мать. И потом, ставя подпорку под стропилу, подпирая стояком стену, все думал, что надо пойти поглядеть, что там с женой.

Выйдя наружу, он увидел недалеко стадо овец, медленно бредущих по снегу. Какой-то пришлый чабан гнал их к нему. Что за отара? Зачем он гонит ее сюда? Перемешаются овцы, разве же можно так? Танабай пошел предупредить этого странного чабана, что тот забрел в чужие места.

Подойдя ближе, увидел, что отару гонит Бектай.

— Эй, Бектай, ты, что ли?

Тот ничего не ответил. Молча подгонял к нему отару, лупил овец палкой по спинам. «Да что он так сунгных маток!» — возмутился Танабай.

— Ты откуда? Куда? Здравствуй.

— Оттуда, где меня уже нет. А куда, сам видишь. — Бектай подходил к нему, туго подпоясанный веревкой, с рукавицами, засунутыми на груди под плащ.

Держа палку за спиной, остановился в нескольких шагах, но не поздоровался. Сплюнул зло и зло притоптал плевков в снег. Вскинул голову. Черный бык, обросший бородой, точно приклеенной к его молодому, красивому лицу. Рысьи глаза его смотрели исподлобья с ненавистью

и вызовом. Он сплюнул еще раз, судорожно перехватил палку, махнул ею на стадо:

— Бери. Хочешь считай, хочешь нет. Триста восемьдесят пять голов.

— А что?

— Ухожу.

— Как это — ухожу? Куда?

— Куда-нибудь.

— А я при чем?

— При том, что ты мой шеф.

— Ну и что? Постой, постой, ты куда? Ты куда собрался? — Тольке теперь дошло до Танабая то, что задумал его подшефный чабан. И ему стало душно, горячо от прилившей к голове крови. — Как же так? — промолвил он растерянно.

— А вот так. Хватит с меня. Надоело. Сыт по горло жизнью такой.

— Да ты понимаешь, что ты говоришь? Окот у тебя не сегодня-завтра! Как же так можно?

— Можно. Раз с нами так можно, то и нам так можно. Прощай! — Бектай раскрутил палку над головой, закинул ее что есть силы и пошел прочь.

Танабай застыл, онемевший. Слов уже не находил. А тот щагал не оглядываясь.

— Одумайся, Бектай! — Он побежал за ним. — Нельзя так. Подумай сам, что ты делаешь! Ты слышишь!

— Отстань! — Бектай резко обернулся. — Это ты думай. А я хочу жить, как люди живут. Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе, получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами? Без кормов, без кошары, без юрты над головой. Отстань! И иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож. Подохнешь здесь скоро. А тебе еще мало этого. Призывы еще бросаешь. Хочешь и других за собой потянуть. Дудки! Довольно с меня! — И он зашагал, топча белый нетронутый снег с такой силой, что следы его мигом чернели, наливаясь водой...

— Бектай, ты послушай меня! — догнал его Танабай. — Я тебе все объясню.

— Другим объясняй. Ищи дураков!

— Остановись, Бектай. Поговорим.

Тот уходил, не желая слушать.

— Под суд попадешь!

— Лучше под суд, чем так! — огрызнулся Бектай и больше не оборачивался.

— Ты дезертир!

Тот все шагал.

— Таких на фронте расстреливали!

Тот все шагал.

— Стой, говорю! — Танабай схватил его за рукав.

Тот вырвал руку и пошел дальше.

— Не позволю, не имеешь права! — Танабай крутанул его за плечо, и вдруг белые сопки вокруг поплыли в глазах и померкли в дыму. Неожиданный удар под челюсть свалил его с ног.

Когда он поднял кружившуюся голову, Бектай уже скрылся за пригорком.

Уходила за ним одинокая цепочка темных следов.

— Пропал парень, пропал, — застонал Танабай, поднявшись на четвереньки. Встал. Руки были в грязи и снегу.

Отдышался. Собрал бектаевскую отару и понуро погнал к себе.

17

Двое всадников выезжали из аила, направляясь в горы. Один на буланом коне, другой — на гнедом. Хвосты их коней были подвязаны тугими узлами — путь предстоял далекий. Грязь, перемешанная со снегом, чавкала, разлеталась из-под копыт брызгами и комьями.

Гульсары шел на тугих поводьях напористой поступью. Настоялся иноходец, пока хозяин болел дома. Но сейчас на нем ехал не хозяин, а кто-то незнакомый в кожаном пальто и распахнутом брезентовом плаще поверх пальто. От его одежды пахло краской и резиной. Чоро ехал рядом, на другом коне. Это случилось — уступал иноходца товарищу, приехавшему из района. А Гульсары, собственно, было все равно, кто на нем сидел. С тех пор как его взяли из табуна, от прежнего хозяина, много людей ездило на нем. Разных людей — добрых и недобрых. Удобных и неудобных в седле. Попадал и в руки лихачей. Ох и дурные же они на коне! Разгонит такой всю и вдруг осадит удилами, поднимет на дыбы и снова разгонит, снова осадит намертво. Сам не знает, что вытворяет, только чтобы все видели, что он на иноходце. Ко всему уже привык Гульсары. Ему лишь бы не стоять на конюшне, не томиться. В нем все еще жила прежняя страсть — бежать, бежать и бежать. А кого он везет, ему все равно было. Это седоку было не все равно, на каком коне он

ехал. Буланого иноходца подали — значит, уважают, боятся его. Силен, красив Гульсары. Покойно и надежно на нем седоку.

В этот раз на иноходце ехал районный прокурор Сегизбаев, посланный в колхоз уполномоченным. Сопровождал его парторг колхоза — тоже, стало быть, уважение. Молчит парторг, боится небось: дела-то плохи с расплодной в овцеводстве. Очень плохи. Ну и пусть молчит. Пусть боится. Нечего ему лезть с пустыми разговорами, нижестоящие должны робеть перед вышестоящими. Иначе никакого порядка не будет. Есть еще такие, что запросто держатся со своими подчиненными, так потом от этих же самых подчиненных такие щелчки получают, что пыль идет с них, как со старой одежды. Власть — дело большое, ответственное, не каждому по плечу.

Ехал с такими мыслями Сегизбаев, покачиваясь в седле в такт поступи иноходца, и нельзя сказать, чтобы был в дурном расположении духа, хотя направлялся с проверкой к чабанам и знал, что там мало чего приятного увидит. Зима сшиблась с весной, не уступают друг другу, и в этой сшибке больше всех достается овцам — гибнет молодняк, гибнут отощавшие матки, а ничего не поделаешь. Каждый год ведь так. И все об этом знают. Но раз уж его послали уполномоченным — значит, должен он будет кого-нибудь призвать к ответу. И где-то в глубоких потемках своей души он знал еще, что высокий процент падежа в районе ему даже на руку. В конце концов, не он, районный прокурор и всего лишь член бюро райкома, отвечает за положение дел с животноводством. Первый секретарь — вот кто отвечает. Новый еще, недавно в районе, вот пусть и отдувается. А он, Сегизбаев, посмотрит. И там, наверху, пусть посмотрят, не ошиблись ли, прислав секретаря со стороны. Досадовал Сегизбаев, когда это случилось, не мог смириться, что его обошли. Давно уже он тут в прокурорах, не раз, кажется, доказывал, на что способен. Ну ничего, друзья у него есть, поддержат при случае. Пора, пора ему переходить на партийную работу, засиделся в прокурорском кресле... А иноходец хорош, качается, как корабль, ни грязь, ни слякоть ему нипочем. У парторга-то лошадь уже в мыле, а иноходец только сыреть начал...

А Чоро думал о своем. Выглядел он очень плохо. Желтизна разлилась на изможденном лице, глаза ввалились. Сколько лет мучается с сердцем, и чем дальше, тем хуже и хуже. И мысли его были тяжкие. Да, Танабай оказался

прав. Председатель кричит, шумит, а толку от этого нет. Больше пропадает в районе, всегда у него какие-то дела там. Надо бы поставить вопрос о нем на партсобрании, но в районе велют подождать. А чего ждать? Поговаривают, будто Алданов сам хочет уходить, может, потому? Ушел бы уж лучше. И ему, Чоро, тоже пора уходить. Какова от него польза? Вечно болеет. Самансур приезжал на каникулы, тоже советует уходить. Уйти-то можно, а совесть? Самансур парень неглупый, теперь он лучше отца во всем разбирается. Все толкует, как надо вести сельское хозяйство. Учат их хорошим наукам, со временем, может, так оно и станет, как их учат профессора, но пока суд да дело — отец, видно, душу отдаст. И не уйти ему от горя своего никуда. От себя не уйдешь, не скроешься. Да и что скажут люди? Обещал, обнадеживал, завел колхоз в невылазные долги, а сам теперь — на покой? Нет ему покоя, не будет, лучше уж стоять до конца. Придут на помощь, так долго не может быть. Скорей бы уж только. И по-настоящему, а не так, как этот. Судить, говорит, будем за развал! Ну, суди! А дело приговором не поправишь. Едет, насупился, будто там, в горах, одни преступники, а он один борется за колхоз... А ведь ему наплевать на все, так только, вид напускает. Но попробуй скажи.

18

Большие горы стояли в серой мгле. Забытые солнцем, угрюмо темнели они наверху, как обиженные великаны. Весне нездоровилось. Сыро, мутно вокруг.

Бедовал Танабай в кошаре своей. Холодище, духота. Ягнилось сразу по нескольку маток, и некуда было девать ягнят. Хоть криком кричи. Галдеж, блянье, толкотня. Все хотят есть, все хотят пить и мрут как мухи. А тут еще жена лежит с разбитой поясницей. Хотела встать, но разогнуться не может. Пусть что будет, то будет. Сил никаких уже нет.

Из головы не выходил Бектай, бессильная злоба на него душила Танабая. Не потому, что он ушел — туда ему и дорога, и не потому, что отару свою подкинул, как кукушка яйца свои в чужое гнездо, — в конце концов приплот кого-нибудь, заберут его овец, а потому, что не сумел ответить Бектаю так, чтобы шкура с него слезла от стыда. Так, чтобы свету белому не возрадовался. Мальчишка! Сопляк! А он, Танабай, старый коммунист, всю жизнь положивший за колхоз, не нашел слов, чтобы до-

стойно ответить ему. Закинул палку чабанскую и ушел, сопляк. Разве думал Танабай когда, что случится такое? Разве он думал когда, что станут смеяться над его кровным делом?

«Хватит!» — останавливал он себя, но через минуту снова возвращался к тем же мыслям.

Вот еще разрешилась одна матка, двойню принесла, хорошенькие ягнята. Только куда их? Вымя у овцы пустое, да и с чего молоку-то быть? Значит, и эти подохнут! Эх, беда, беда! А там вон лежат уже дохлые, законченые. Собрал Танабай трупики, пошел выносить. Вбежала запыхавшаяся дочурка.

— Отец, к нам едут начальники.

— Пусть едут, — буркнул Танабай. — Ты иди за матерью присмотри.

Выйдя из кошары, Танабай увидел двух всадников. «О! Гульсары! — обрадовался он. Тенькнула в груди старая струнка. — Сколько не видались! Смотри, как идет, все такой же!» Один был Чоро. А другого, в кожаном пальто, что ехал на иноходце, не узнал! Из района кто-нибудь.

«Ну-ну, подъезжайте. Наконец-то», — со злорадством подумал он. Тут можно было бы пожаловаться, выплакать свою долю, но нет, не станет он хныкать, пусть они покраснеют. Разве же можно так! Бросили на погибель, а теперь заявляются...

Танабай не стал ожидать, когда они подъедут, пошел за угол кошары, выбросил мертвых ягнят в кучу. Вернулся не спеша.

Те были уже во дворе. Кони дышали тяжело. Чоро выглядел жалким, виноватым. Знал, что ответ придется держать перед другом. А тот, на иноходце, сердит был, грозен, даже не поздоровался. Вспылил сразу.

— Безобразие! Везде так! Смотри, что тут творится! — возмущался он, обращаясь к Чоро. Потом повернулся к Танабаю: — Что же это ты, товарищ, — кивнул он в ту сторону, куда отнес Танабай мертвых сосунков, — чабан-коммунист, а ягнятадохнут?

— А они, наверное, не знают, что я коммунист, — съязвил Танабай, и вдруг будто сломалась в нем какая-то пружина, и сразу пусто стало на душе, безразлично и горько.

— То есть как? — Сегизбаев побагровел. И замолк. — Социалистические обязательства принимал? — нашелся он наконец, одергивая для остратки голову иноходца.

— Принимал.

— А что там было сказано?

— Не помню.

— Вот потому идохнут у тебя ягнята! — Сегизбаев ткнул рукояткой камчи опять в сторону и вскинулся на стременах, воодушевившись возможностью проучить дерзкого пастуха. Но сначала он накинулся на Чоро: — Куда вы смотрите? Люди не знают даже свои обязательства. Срывают планы, губят скот! Чем вы занимаетесь здесь? Как воспитываете своих коммунистов? Какой он коммунист? Я вас спрашиваю!

Чоро молчал, опустив голову. Мял в руках поводья уздечки.

— Какой есть, — спокойно ответил за него Танабай.

— Во-во, какой есть. Да ты вредитель! Ты уничтожаешь колхозное добро. Ты враг народа. В тюрьме твое место, а не в партии! Ты смеешься над соревнованием.

— Угу, в тюрьме мое место, в тюрьме, — подтвердил Танабай так же спокойно. И губы его запрыгали, смеясь от раздражающего приступа бешенства, вспыхнувшего в нем от обиды, от горечи, от всего того, что переполнило чашу его терпения. — Ну! — уставился он на Сегизбаева, силясь унять прыгающие губы. — Что ты еще скажешь?

— Зачем ты так разговариваешь, Танабай? — вмешался Чоро. — Ну зачем? Объясни все толком.

— Вот как! Значит, и тебе надо объяснять? Ты зачем сюда приехал, Чоро? — закричал Танабай. — Ты зачем приехал? Я тебя спрашиваю! Чтобы сказать, что у меня мрут ягнята? Я и сам знаю! Чтобы сказать, что я в дерьме сижу по горло? Я и сам знаю! Что я дураком был всю жизнь, что расшибался в доску ради колхоза? Я и сам знаю!...

— Танабай! Танабай! Опомнись! — Побелевший Чоро прыгнул с седла.

— Прочь! — оттолкнул его Танабай. — Плевал я на свои обязательства, на всю свою жизнь плевал! Уйди! Мое место в тюрьме! Ты зачем привел этого нового манана в кожаном пальто? Чтобы измывался он надо мной? Чтобы в тюрьму меня сажал? А ну давай, сволочь, сажай меня в тюрьму! — Танабай метнулся, чтобы схватить что-нибудь в руки, схватил вилы, стоявшие у стены и кинулся с ними на Сегизбаева. — А ну вон отсюда, сволочь! Убирайся! — И, уже ничего не соображая, замахал вилами перед собой.

Перетрусивший Сегизбаев бестолково дергал иноходца

то туда, то сюда, вилы били ошалевшего коня по голове, отскакивали, звеня, и снова обрушивались на его голову. И в ярости своей не понимал Танабай, почему так судорожно дергается голова Гульсары, почему так рвут удила его красную горячую пасть, почему так растерянно и жутко мелькают перед ним выкатившие из орбит глаза коня.

— Уйди, Гульсары, прочь! Дай мне достать этого ма-наша в коже! — ревел Танабай, нанося удар за ударом по неповинной голове иноходца.

Подоспевшая молодая сакманщица повисла на его руках, пыталась вырвать вилы, но он швырнул ее наземь. Чоро тем временем успел вскочить в седло.

— Назад! Бежим! Убьет! — Чоро бросился к Сегизбаеву, загрозявая его от Танабая.

Танабай замахнулся на него вилами, и оба всадника припустили коней прочь со двора. Собака с лаем преследовала их, цепляясь за стремяна, за хвосты коней.

А Танабай бежал вслед, спотыкаясь, хватал на бегу комья глины, швырял вдогонку и, не переставая, орал:

— В тюрьме мое место? В тюрьме! Вон! Вон отсюда! В тюрьме мое место! В тюрьме!

Потом вернулся, все еще бормоча, задыхаясь: «В тюрьме мое место, в тюрьме!» Рядом горделиво, с чувством исполненного долга, шел пес. Он ждал одобрения хозяина, но тот не замечал его. Навстречу, опираясь на палку, ковыляла бледная, перепуганная Джайдар.

— Что ты наделал? Что ты наделал?

— Зря.

— Что зря? Конечно, зря!

— Зря избил иноходца.

— Да ты в уме своем? Ты знаешь, что ты наделал?

— Знаю. Я вредитель. Я враг народа, — проговорил он, борясь с одышкой, потом замолк и, стиснув лицо руками, согнувшись, громко зарыдал.

— Успокойся, успокойся, — просила жена, плача вместе с ним, но он все плакал и плакал, качаясь из стороны в сторону. Никогда еще не видела Джайдар плачущего Танабая...

Бюро райкома партии состоялось на третий день после этого чрезвычайного происшествия.

Танабай Бакасов сидел в приемной и ждал, когда его

вызовут в кабинет, за дверь которого шел разговор о нем. Много передумал он за эти дни, но все еще не мог решить, виновен он или нет. Понимал, что совершил тяжелый проступок, что поднял руку на представителя власти, но если бы дело было только в этом, то все обстоит бы просто. За свое недостойное поведение он готов был принять любое наказание. Но ведь он, поддавшись порыву гнева, выплеснул на ветер всю свою боль за колхоз, испоганил все свои тревоги и раздумья. Кто ему теперь поверит? Кто его теперь поймет? «А может, все-таки поймут? — вспыхивала у него надежда. — Скажу обо всем: о зиме нынешней, о кошаре и юрте, о бескормице, о бессонных ночах моих, о Бектае... Пусть разберутся. Можно ли так хозяйничать?» И он уже не сожалел, что так случилось. «Пусть накажут меня, — замышлял он, — зато другим, может быть, станет легче. Быть может, после этого оглянутся на чабанов, на жизнь наше, на наши беды». Но спустя минуту, вспоминая все пережитое, он снова поддавался ожесточению, и каменно сжимал кулаки между коленками, и упрямо твердил себе: «Нет, ни в чем я не виноват, нет!» А потом снова впадал в сомнения...

Здесь же, в приемной, сидел почему-то и Ибраим. «А этому что тут надо? Прилетел, как стервятник на падаль», — злился Танабай, отворачиваясь от него. И тот помалкивал, вздыхал, поглядывая на поникшую голову чабана.

«Что же они тянут? — ерзая на стуле, думал Танабай. — Чего еще — бить так бить!» Там, за дверями, кажется, все были уже в сборе. Последним, несколько минут тому назад, пришел в кабинет Чоро. Танабай узнал его по налившим к голенищам сапог шерстинкам. То был желтоватый волос буланого иноходца. «Крепко спешил, видать, пропотел Гульсары до мыла», — подумал он, но не поднял головы. И сапоги с разводьями конского пота и шерстинками на голенищах, нерешительно потоптавшись возле Танабая, скрылись за дверью.

Долго тянулось время, пока из кабинета не выглянула секретарша:

— Войдите, товарищ Бакасов.

Танабай вздрогнул, встал, оглушенный ударами сердца, и пошел в кабинет под эту несмолкающую канонаду в ушах. В глазах затуманилось. Он почти не различил лиц сидящих здесь людей.

— Садитесь. — Первый секретарь райкома Кашкатаев показал Танабаю на стул в конце длинного стола.

Танабай сел, положил отяжелевшие руки на колени, ждал, когда пройдет туман в глазах. Потом глянул вдоль стола. По правую руку первого секретаря сидел Сегизбаев с надменным лицом. Танабай так напрягся весь от ненависти к этому человеку, что туман, стоявший в его глазах, разом пропал. Лица всех сидевших за столом выступили резко и отчетливо. Самым темным среди всех, темно-багровым, было лицо Сегизбаева и самым бледным, совершенно бескровным — лицо Чоро. Он сидел с самого края, ближе всех к Танабаю. Худые руки его нервно подрагивали на зеленом сукне стола. Председатель колхоза Алданов, сидевший напротив Чоро, шумно сопел, насупленно поглядывая по сторонам. Он не скрывал своего отношения к предстоящему делу. Другие, видимо, еще выжидали. Наконец первый секретарь оторвался от бумаг в папке.

— Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова, — сказал он, жестко нажимая на слова.

— Да, с позволения сказать, коммуниста, — ехидно проронил кто-то с усмешкой.

«Злы! — отметил про себя Танабай. — Пощады от них не жди. А почему я должен ждать пощады? Что я, преступник?»

Он не знал, что в решении его вопроса столкнутся две тайно соперничающие стороны, готовые каждая по-своему использовать этот прискорбный случай. Одна сторона — в лице Сегизбаева и его сторонников — хотела испытать сопротивляемость нового секретаря, проверить, нельзя ли для начала хотя бы прибрать его к рукам. Другая сторона — в лице самого Кашкатаева, который угадывал, что Сегизбаев метит на его место, — обдумывала, как сделать так, чтобы и себя не уронить, и не обострить отношений с этими опасными людьми.

Секретарь райкома зачитал докладную записку Сегизбаева. В докладной были обстоятельно описаны все преступления, учиненные словами и действиями Танабая Бакасова, чабана колхоза «Белые камни». В докладной не было ничего, что Танабай мог бы отрицать, но ее тон, формулировки предъявляемых ему обвинений привели его в отчаяние. Он покрылся испариной от сознания своего полного бессилия перед этой чудовищной бумагой. Докладная Сегизбаева оказалась куда страшнее его самого. Против нее не бросишься с вилами в руках. И все, о чем намеревался Танабай сказать в свое оправдание, рухнуло в один миг, потеряло в его же собственных глазах всякое значение, превратилось в жалкие жалобы пастуха

на свои обычные невзгоды. Не глупец ли он? Какая цена его оправданиям перед этой грозной бумагой?! С кем вздумал он сразиться?

— Товарищ Бакасов, признаете вы объективность фактов, изложенных в записке члена бюро товарища Сегибзаева? — спросил Кашкатаев, закончив читать докладную.

— Да, — глухо отозвался Танабай.

Все молчали. Казалось, все были в страхе от этой бумаги. Алданов удовлетворенно смерил сидящих за столом вызывающим взглядом — видите, мол, что происходит.

— Товарищи члены бюро, если разрешите, я внесу ясность в сущность дела, — решительно заговорил Сегибзаев. — Я хочу сразу предостеречь некоторых товарищей от возможной попытки квалифицировать действия коммуниста Бакасова просто как хулиганский поступок. Если бы это было так, то, поверьте мне, я не стал бы выносить вопрос на бюро: с хулиганами у нас есть другие меры борьбы. И дело, конечно, не в моих оскорбленных чувствах. За мной стоит бюро районного комитета партии, за мной в данном случае, если хотите, стоит вся партия, и я не могу допустить надругательства над ее авторитетом. А самое главное — все это говорит о запущенности нашей политико-воспитательной работы среди коммунистов и беспартийных, серьезных недостатках в идеологической работе райкома. Нам всем еще предстоит ответить за образ мыслей таких рядовых коммунистов, как Бакасов. Нам еще предстоит выяснить, один ли он такой или у него есть единомышленники. Что стоит его заявление: «Новый манап в кожаном пальто!» Оставим в сторону пальто. Но, по Бакасову, выходит, что я, советский человек, партийный уполномоченный, — новый манап, барин, душитель народа! Вот как! Вы понимаете, что это означает, что кроется за такими словами? Думаю, комментарии излишни... Теперь о другой стороне дела. Удрученный крайним неблагополучием с животноводством в «Белых камнях», я в ответ на возмутительные слова Бакасова, якобы забывшего свои социалистические обязательства, назвал его вредителем, врагом народа и сказал, что его место не в партии, а в тюрьме. Признаю — оскорбил его и готов был извиниться перед ним. Но теперь я убедился, что это именно так. И не беру слова свои назад, а утверждаю, что Бакасов — опасный, враждебно настроенный элемент...

Чего только Танабай не пережил, войну прошел с начала до конца, но не подозревал, что сердце может кри-

чать таким криком, каким оно кричало сейчас. С этим криком, отдававшимся неумолкающей канонадой в ушах, сердце его падало, вставало, карабкалось, срывалось вниз и снова пыталось встать, но пули били его в упор. «Боже, — стучало в голове Танабая, — куда девалось все, что было смыслом моей жизни, смыслом всей моей работы? Вот уже до чего дожил — стал врагом народа. А я-то страдал за какую-то кошару, за ягнят этих обдристанных, за беспутного Бектая. Кому это нужно!..»

— Напомню еще раз выводы своей докладной записки, — продолжал Сегизбаев, расставляя слова железным порядком. — Бакасов ненавидит наш строй, ненавидит колхоз, ненавидит соцсоревнование, плюет на все это, ненавидит всю нашу жизнь. Это он заявил совершенно открыто в присутствии парторга колхоза товарища Саякова. В его действиях наличествует также состав уголовного преступления — покушение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Я прошу правильно понять меня, я прошу санкции на привлечение Бакасова к судебной ответственности, с тем чтобы по выходе отсюда он был взят под стражу. Состав его преступления полностью соответствует статье пятьдесят восемь. А о пребывании Бакасова в рядах партии, по-моему, и речи не может быть!..

Сегизбаев знал, что запросил слишком, но он рассчитывал на то, что если бюро и не сочтет нужным привлечь Танабая Бакасова к судебной ответственности, то исключение его из партии, во всяком случае, будет обеспечено. Этого требования Кашкатаев уже никак не сможет не поддержать, и тогда его, Сегизбаева, позиции еще больше утвердятся.

— Товарищ Бакасов, что вы скажете о своем поступке? — спросил Кашкатаев, уже приходя в раздражение.

— Ничего. Все уже сказано, — ответил Танабай. — Выходит, я был и остаюсь вредителем, врагом народа. Так зачем же знать, о чем думаю я? Судите сами, вам виднее...

— А вы считаете себя честным коммунистом?

— Теперь этого не докажешь.

— А вы признаете свою вину?

— Нет.

— Вы что, считаете себя умнее всех?

— Нет, наоборот, глупее всех.

— Разрешите, я скажу. — С места встал молодой парень с комсомольским значком на груди. Он был моложе

всех, щуплый, узколицый, выглядел еще как-то по-мальчишески.

Танабай только теперь заметил его. «Крой, мальчик, не жалей, — сказал он ему про себя. — Я тоже был когда-то таким, не жалел...»

И, как вспышку, сверкнувшую в далеких тучах, увидел он то место в пшенице у дороги, где Кулубай рвал и топтал молодое жито. Он увидел это совершенно отчетливо, все разом предстало перед его мысленным взором, и содрогнулся он, закричал в душе беззвучным криком.

Его вернул в себя голос Кашкатаева:

— Говорите, Керимбеков...

— Я не одобряю поступка товарища Бакасова. Считаю, что он должен понести соответствующее партийное взыскание. Но я не согласен и с товарищем Сегизбаевым. — Керимбеков сдерживал в голосе дрожь волнения. — Мало того, я считаю, что надо обсудить и самого товарища Сегизбаева...

— Вот те раз! — оборвал его кто-то. — Это у вас в комсомоле, что ли, порядки такие?

— Порядки у всех одни, — ответил Керимбеков, еще больше волнуясь и краснея. Он запнулся, подбирая слова и преодолевая свою скованность, и вдруг, словно с отчаяния, заговорил хлестко и зло: — Какое вы имели право оскорблять колхозника, чабана, старого коммуниста? Да попробуйте вы назвать меня врагом народа. Вы объясняете это тем, что были крайне удручены состоянием животноводства в колхозе, а вы не предполагаете, что чабан был удручен не меньше вашего? Вы, когда приехали к нему, поинтересовались, как он живет, как идут у него дела? Почему гибнет молодняк? Нет, судя по вашей же записке, вы сразу же начали поносить его. Ни для кого не секрет, как тяжело идет расплодная кампания в колхозах. Я часто бываю на местах, и мне стыдно, неудобно перед своими комсомольцами-чабанами за то, что мы требуем с них, а помощи практической не оказываем. Посмотрите, какие кошары в колхозах, а с кормами как? Я сам сын чабана. Я знаю, что это такое, когда мрут ягнята. В институте нас учили одному, а на местах все идет по старинке. Душа болит, глядя на все это!..

— Товарищ Керимбеков, — перебил его Сегизбаев. — Не пытайтесь разжалобить нас, чувство — понятие растяжимое. Факты, факты нужны, а не чувства.

— Извините, но тут не суд над уголовным преступником, а разбор дела нашего товарища по партии, — продол-

жал Керимбеков. — Решается судьба коммуниста. Так дайте же призадумаемся, почему так поступил товарищ Бакасов. Действия его, конечно, надо осудить, но как случилось, что один из лучших животноводов колхоза, каким был Бакасов, дошел до такой жизни?

— Садитесь, — недовольно сказал Кашкатаев. — Вы уводите нас в сторону от существа вопроса, товарищ Керимбеков. Всем тут, по-моему, абсолютно ясно — коммунист Бакасов совершил тягчайший проступок. Куда это годится? Где это видано? Мы никому не позволим накидываться с вилами на наших уполномоченных, мы никому не позволим подрывать авторитет наших работников. Вы бы лучше подумали, товарищ Керимбеков, как наладить дела в комсомоле, чем заниматься беспредметными спорами о душе и чувствах. Чувства чувствами, а дела делами. То, что позволил себе Бакасов, действительно должно насторожить нас, и, конечно, ему нет места в партии. Товарищ Саяков, вы как парторг колхоза подтверждаете всю эту историю? — спросил он у Чоро.

— Да, подтверждаю, — проговорил бледный Чоро, медленно поднимаясь с места. — Но я хотел бы объяснить...

— Что объяснить?

— Во-первых, я попросил бы, чтобы мы у себя в парт-организации обсудили Бакасова.

— Это не обязательно. Проинформируете потом членов парторганизации о решении бюро райкома. Что еще?

— Я хотел бы объяснить...

— Что объяснить, товарищ Саяков? Антипартийное выступление Бакасова налицо. Объяснять тут уже нечего. Вы тоже несете ответственность. И мы вас накажем за развал работы по воспитанию коммунистов. Почему вы пытались уговорить товарища Сегизбаева не ставить вопрос на бюро? Хотели скрыть? Безобразие! Садитесь!

Начались споры. Директор МТС и редактор районной газеты поддержали Керимбекова. На какой-то момент показалось даже, что им удастся защитить Танабая. Но сам он, подавленный и смятенный, уже никого не слушал. Он все спрашивал себя: «Куда девалось все то, чем я жил? Ведь здесь никому, кажется, и дела нет до всего того, что там у нас в отарах, в стадах. Каким же я дураком был! Жизнь свою извел ради колхоза, ради овец и ягнят. А теперь все это не в счет. Теперь я опасный. Ну и черт с вами! Делайте со мной что хотите — если от этого лучше

станет, не буду жалеть. Давайте гоните меня взашей. Мне теперь один конец, кройте, не жалейте...»

Выступил председатель колхоза Алданов. По выражению лица и жестам председателя Танабай видел, что тот кого-то попосит, но кого именно — не доходило до его сознания, пока он не услышал слова: «Кишен... ипоходец Гульсары...»

— ...И что вы думаете? — возмутился Алданов. — Он в открытую грозился разmozжить мне голову только за то, что мы вынуждены были надеть пугы на ноги коню. Товарищ Кашкатаев, товарищи члены бюро, я, как председатель колхоза, прошу избавить нас от Бакасова. Его место действительно в тюрьме. Он ненавидит всех руководящих работников. Товарищ Кашкатаев, за дверью находятся свидетели, которые могут подтвердить угрозы Бакасова в мой адрес. Можно ли будет их пригласить?

— Нет, не надо, — брезгливо поморщился Кашкатаев. — Достаточно и этого. Садитесь.

Потом стали голосовать.

— Внесено одно предложение: исключить из членов партии товарища Бакасова. Кто «за»?

— Одну минутку, товарищ Кашкатаев. — Снова порывисто встал Керимбеков. — Товарищи члены бюро, не совершим ли мы тяжелую ошибку? Есть другое предложение — ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело Бакасова и объявить вместе с этим выговор члену бюро Сегизбаеву за оскорбление партийного и человеческого достоинства коммуниста Бакасова, за недопустимый метод работы Сегизбаева как уполномоченного райкома.

— Демагогия! — вскричал Сегизбаев.

— Успокойтесь, товарищи, — сказал Кашкатаев. — Вы находитесь на бюро райкома, а не дома у себя, прошу соблюдать дисциплину. — Теперь все зависело от него, первого секретаря райкома. И он повернул дело так, как и рассчитывал Сегизбаев. — Привлекать Бакасова к уголовной ответственности я не нахожу нужным, — сказал он, — но в партии ему, конечно, не место, в этом товарищ Сегизбаев совершенно прав. Будем голосовать. Кто за исключение Бакасова?

Членов бюро было семь человек. Трое подняли руки за исключение, трое — против. Остался сам Кашкатаев. Помедлив, он поднял руку «за». Танабай ничего этого не видел. Он узнал решение своей участи, когда услышал, как Кашкатаев обратился к секретарше:

— Запишите в протокол: решением бюро райкома товарищ Бакасов Танабай исключен из членов партии.

«Вот и все!» — сказал про себя Танабай, помертвев.

— А я настаиваю на объявлении выговора Сегизбаеву, — не сдавался Керимбеков.

Можно было и не ставить этого на голосование, отклонить, но Кашкатаев решил, что надо поставить. В этом тоже был свой тайный смысл.

— Кто за предложение товарища Керимбекова? Прошу поднять руки!

Опять три на три. И опять Кашкатаев поднял руку четвертым и спас тем самым Сегизбаева от выговора. «Только поймет ли он, оценит ли эту услугу? Кто его знает... Коварен, хитер».

Люди задвигались на стульях, как бы собираясь уходить. Танабай решил, что все уже кончено, встал и молча, ни на кого не глядя, направился к дверям.

— Бакасов, вы куда? — остановил его Кашкатаев. — Оставьте свой партийный билет.

— Оставить? — Только теперь до Танабая дошло все то, что случилось.

— Да. Положите на стол. Вы теперь не член партии и не имеете права носить его при себе...

Танабай полез за партбилетом. Долго возился в наступившей тишине. Он был там, глубоко, под фуфайкой, под пиджаком, в кожаной сумочке, сшитой руками Джайдар. Сумочку эту Танабай носил на ремешке через плечо. Наконец вытащил наружу, достал партийную книжицу, нагретую у груди, и положил ее, теплую, пропитанную запахом своего тела, на холодный, полированный стол Кашкатаева. Поежился даже, самому стало холодно. И, опять ни на кого не глядя, стал запихивать сумочку под пиджак, собираясь уйти.

— Товарищ Бакасов, — послышался сзади, из-за стола, сочувствующий голос Керимбекова. — А что вы сами скажете? Ведь вы ничего не сказали здесь. Может быть, вам трудно было? Мы надеемся, что двери для вас назад не закрыты, что рано или поздно вы сможете вернуться в партию. Вот скажите, что вы думаете сейчас?

Танабай обернулся с болью и неловкостью за себя перед этим незнакомым парнем, все еще пытавшимся как-нибудь облегчить свалившееся на его плечи горе.

— Что мне говорить? — промолвил он грустно. — Всех не переговоришь тут. Одно лишь скажу, что не виновен я ни в чем, если даже и поднял руку, если даже и

сказал нехорошие слова. Объяснить вам этого не смогу. Вот и все, стало быть.

Наступило гнетущее молчание.

— Хм. Значит, на партию обижаешься? — раздраженно сказал Кашкатаев. — Ну, знаешь, товарищ. Партия тебя на путь истинный наставляет, от суда тебя спасла, а ты еще недоволен, обижаешься! Значит, ты действительно недостоин звания члена партии. И вряд ли двери назад будут тебе открыты!

Вышел Танабай из райкома спокойным на вид. Слишком даже спокойным. И это было скверно. День стоял теплый, солнечный, близился вечер. Люди шли и ехали по своим делам. Детвора бегала на площади у клуба. А Танабаю тошно было смотреть на все и от самого себя было тошно. Скорей отсюда в горы, домой. Пока не случилось с ним еще что-нибудь плохое.

У коновязи рядом с его конем стоял Гульсары. Большой, длинный и сильный, переступил он с ноги на ногу, когда приблизился Танабай, и посмотрел на него спокойно и доверчиво темными глазами. Позабыл уже иноходец, как колотил его Танабай вилами по голове. На то он и конь.

— Забудь, Гульсары, не обижайся, — шепнул иноходцу Танабай. — А у меня беда большая. Очень большая беда, — и всхлипнул, обняв шею коня, но сдержался, не заплакал, постыдившись прохожих.

Сел на свою лошадь и поехал домой.

Чоро догнал его за Александровским подъемом. Как только слышался позади знакомый перестук бегущего иноходца, Танабай обидчиво поджал губы, нахохлился. Оглядываться не стал. Обида за себя темнила душу, темнила глаза. Теперешний Чоро был для него совсем не тем, каким был когда-то прежде. Вот и сегодня — стоило Кашкатаеву повысить голос, и он покорно сел на место, как вышколенный ученик. А что же дальше? Люди верят ему, а он боится сказать правду. Бережет себя, слова выбирает. Кто научил его этому? Пусть Танабай отсталый человек, простой работяга, а ведь он грамотный, все знает, всю жизнь в руководстве ходит. Неужели не видит Чоро, что все это не так, как говорят сегизбаевы и кашкатаевы! Что слова их снаружи красивы, а внутри лживы и пусты. Кого обманывает, ради чего?

Не повернул Танабай головы и тогда, когда Чоро догнал его и поехал рядом, сдерживая разгоряченного иноходца.

— Я думал, Танабай, мы вместе выедем, — сказал он, переводя дыхание. — Хватился, а тебя уже нет...

— Чего тебе? — все так же не глядя на него, бросил Танабай. — Езжай своей дорогой.

— Давай поговорим. Не отворачивайся, Танабай. Поговорим как друзья, как коммунисты, — начал Чоро и осекся на полуслове.

— Я тебе не друг и тем более не коммунист уже. Да и ты давно уже не коммунист. Ты прикидываешься им...

— Ты это серьезно? — спросил Чоро упавшим голосом.

— Конечно, серьезно. Выбирать слова еще не научился. Что, где и как говорить, тоже не знаю. Ну, прощай. Тебе прямо, а мне в сторону. — Танабай свернул коня с дороги и, не оборачиваясь, так и не глянув ни разу в лицо друга, поехал полем, напрямиком в горы.

Он не видел, как мертвенно побледнел Чоро, как хотел остановить его, протянув руку, и как потом скорчился, схватился за грудь, и как повалился на гриву иноходца, хватая ртом воздух.

— Плохо мне, — шептал Чоро, корежась от невыносимой боли в сердце. — Ой, плохо мне! — хрипел он, синея и задыхаясь. — Скорей домой, Гульсары, домой скорей.

Мчал иноходец его к айлу по темной, пустынной степи, пугал коня голос человека, слышалось в нем что-то страшное, жуткое. Прижал Гульсары уши, испуганно фыркая на бегу. А человек в седле мучился, корежился, судорожно вцепившись руками и зубами в гриву коня. Поводья болтались, свисая с шеи бегущего Гульсары.

20

В тот поздний час, когда Танабай был еще в пути к горам, по улицам айла носился верховой, поднимая лай всполошившихся собак.

— Эй, кто там дома? Выходи! — вызывал он хозяев. — На партсобрание давай, в контору.

— А что такое? Почему так срочно?

— Не знаю, — отвечал посыльный. — Чоро зовет. Сказал, чтобы быстрее шли.

Сам Чоро сидел, в это время в конторе. Привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, крепко зажимал он пятерней грудь под рубахой. Мычал от боли, кусал губы. Холодная испарина выступила на позеленевшем лице, глаза провалились в орбиты темными ямами. Времена-

ми он забывался, и снова казалось ему, что несет его иноходец по темной степи, что хочет он окликнуть Танабая, а тот, бросив на прощание раскаленные, как уголь, слова, не оглядывается. Прожигают сердце слова Танабая, душу прожигают...

Сюда привели парторга под руки из конюшни, после того как отлежался он там немного на сене. Конюхи хотели отвести его домой, но он не согласился. Послал человека сзывать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту.

Засветив лампу и оставив Чоро одного, сторожика возилась у печки в передней комнате, иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой.

Чоро ждал людей, а время уходило каплями. Горькими, тяжелыми каплями каждую секунду иссякало отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и годов, оглянуться не успел, пролетели они в трудах и заботах. Не все получилось на веку его, не все удалось, как хотелось. Старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жестко было ходить. И, однако, не обошел. Приперла его к стене та сила, с которой избегал он сталкиваться, и теперь отходить было некуда, путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился, если бы пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни...

А время убывало горькими, гулкими каплями. Как долго не идут люди, как долго их ждать!

«Только бы успеть, — со страхом думал Чоро. — Только бы успеть все сказать! — Беззвучным, отчаянным криком удерживал он покидавшую его жизнь. Крепился, готовился к последнему бою. — Все расскажу. Как было дело. Как проходило бюро, как исключили Танабая из партии. Пусть знают: я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают: я не согласен с исключением Танабая. Скажу все, что я думаю об Алданове. Пусть потом, после меня, заслушают его. Пусть решат коммунисты. О себе расскажу все, какой я есть. О колхозе нашем, о людях скажу... Только бы успеть, скорей бы уж приходили, скорей...»

Первой прибежала жена с лекарствами. Перепугалась, запрыгала, заплакала:

— Да ты в уме своем? Да неужто ты не сыт этими собраниями? Пошли домой. Ты посмотри на себя. Боже мой, подумай хоть о себе!

Чоро не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарство. Зубы стучали о стакан, вода лилась на грудь.

— Ничего, мне лучше уже, — проговорил он, пытаюсь дышать ровней. — Ты подожди там, уведешь меня потом. Не бойся, иди.

И когда слышались с улицы шаги людей, Чоро выпрямился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом.

— Что случилось? Что с тобой, Чоро? — спрашивали его.

— Ничего. Скажу сейчас, пусть подойдут все, — отвечал он.

А время убывало горькими, гулкими каплями.

Когда коммунисты собрались, парторг Чоро Саяков встал из-за стола, снял шапку с головы и объявил партсобрание открытым...

21

Вернулся Танабай к себе ночью. Джайдар вышла во двор с фонарем. Ждала, глаза проглядела.

И с первого взгляда поняла она, какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня, расседывал, а она светила ему, и он ничего ей не говорил. «Хоть бы напился в районе, может, легче было бы ему», — подумала она, а он все молчал, и страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его — корма подвезли немало, соломы, муки ячменной, и теплее стало, ягнят выгоняли на пастбу, травку щиплют уже.

— Бектаевскую отару забрали. Нового чабана прислали, — сказала она.

— А хрен с ним, с Бектаем, с отарой, с чабаном твоим...

— Устал?

— Чего устал? Из партии выгнали!

— Да потише ты, сакманщицы услышат.

— Чего тише? Что мне скрывать? Выгнали как последнюю собаку, и все. Так мне и надо. И тебе тоже так и надо. Мало нам. Ну чего стоишь? Чего смотришь?

— Иди отдыхай.

— Сам знаю.

Танабай пошел в кошару. Осмотрел овец. Потом пошел в загон, там тоже побродил впотьмах и снова вернулся в кошару. Места себе не находил. От еды отказался

и разговаривать отказался. Плюхнулся на солому, сваленную в углу, и лежал неподвижно. Жизнь, заботы, тревоги всякие потеряли смысл. Уже ничего не хотелось. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг.

Ворочался, хотел уснуть, хотел забыться, но где там, куда уйдешь от себя? Снова припоминал, как уходил Бектай, как оставались за ним черные следы на белом снегу, как нечего ему было сказать в ответ, снова представлял себе, как орал Сегизбаев, сидя на иноходце, как поносил его последними словами, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал Танабай на бюро райкома вредителем и врагом народа, и на этом кончалось все, вся его жизнь. И снова хотелось ему схватить вилы и броситься с криком, бежать в ночь, истошно орать на весь свет, пока не свалится куда-нибудь в овраг и не свернет там себе шею.

Засыпая, он думал, что лучше умереть, чем так жить. Да, да, лучше смерть!..

Проснулся с тяжелой головой. Несколько минут не мог сообразить, где он и что с ним. Рядом перхали овцы, блеяли ягнята. Значит, в кошаре он. Брезжил рассвет на дворе. Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не проснулся совсем. Умереть осталось только, надо покончить с собой...

...Потом он пригоршнями пил воду из речки. Холодную, студеную воду с тонким, хрустящим ледком. Вода с шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал ее и пил обливаясь. Отдышался, пришел в себя и только тогда представил себе всю нелепость этой затеи с самоубийством, всю глупость этой расправы над собой. Да как можно лишить себя жизни, которая единожды дается человеку?! Да разве сегизбаевы стоят того? Нет, Танабай будет еще жить, он еще будет горы ворочать!

Вернувшись, он незаметно спрятал ружье, патронташ и весь тот день усердно работал. Поласковой хотелось ему быть с женой, с дочками, с сакманщицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподозрили. А те работали как ни в чем не бывало, точно ничего особенного не случилось, все было в порядке. Благодарен им был Танабай за это, помалкивал и работал. Сходил на выпас, помог пригнать отару домой.

Вечером погода испортилась. Дождь или снег, но что будет. Затуманились горы вокруг, небо отяжелело в

тучах. Опять надо было думать, как убересть молодняк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мрачнел Танабай, но старался забыть, что было, и не падать духом.

Стемнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встретила его Джайдар. Они о чем-то поговорили. Танабай в это время работал в кошаре.

— Выйди на минутку, — позвала его жена. — Человек к тебе. — И уж по тому, как позвала она, он почувствовал что-то недоброе.

Вышел. Поздоровался. То был чабан из соседнего урочища.

— Это ты, Айтбай? Слезай с коня. Откуда?

— Из аила. Был я там по делам. Просили передать тебе: Чоро тяжело болен. Сказали, чтобы ты приехал.

«Опять этот Чоро!» Вспыхнула угасшая было обида. Видеть его не хотелось.

— А что я, доктор? Он всегда болеет. У меня тут и без него забот по горло. Погода вон портится.

— Ну, дело твое, Танаке, поедешь не поедешь, сам знаешь. А я передал, что проспли. До свидания. Мне пора, ночь скоро.

Айтбай тронул лошадь, но затем придержал.

— Ты подумай все же, Танаке. Плохо ему. Сына вызвали с учебы. Поехали встречать на станцию.

— Спасибо, что передал. Но я не поеду.

— Поедет, — застыдилась Джайдар. — Не беспокойтесь, поедет он.

Танабай промолчал, а когда Айтбай выехал со двора, сказал жене зло:

— Ты брось эту привычку отвечать за меня. Я сам знаю. Сказал, не поеду — значит, не поеду.

— Подумай, что ты говоришь, Танабай!

— Мне нечего думать. Хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И я если заболел, пусть никто не приезжает. Подохну один! — Он махнул в сердцах рукой и пошел в кошару.

Но покоя на душе не было. Принимая роды у маток, таская ягнят, устраивая их в углу, цыкая на орущих овец, расталкивая их, чертыхался и бурчал:

— Давно бы ушел, не страдал бы так. Всю жизнь болеет, стонет, за сердце хватается, а сам с седла не слазит. Тоже мне начальник. Видеть тебя не желаю после этого. Обижайся не обижайся, а я тоже в обиде. И никому нет дела...

На дворе стояла ночь. Снег стал сыпать понемногу, и тишина вокруг была такая чуткая, что слышно было даже, как с шорохом падали на землю редкие снежинки.

Танабай не шел в юрту, избегал разговора с женой, и она не приходила. «Ну и сиди, — думал он. — А поехать меня не заставишь. Мне теперь все безразлично. Мы с Чоро чужие люди. У него своя дорога, у меня своя. Были друзьями, а теперь не то. А если я друг его, то где он был раньше? Нет, мне теперь все безразлично...»

Джайдар все же пришла. Принесла ему плащ, сапоги новые, кушак, рукавицы, шапку, которую он надевал при выездах.

— Одевайся, — сказала она.

— Напрасно стараешься. Я никуда не поеду.

— Не теряй времени. Может случиться, что потом всю жизнь будешь жалеть.

— Ничего я не буду жалеть. И ничего с ним не случится. Отлежится. Не первый раз.

— Танабай, никогда я тебя ни о чем не просила. А сейчас прошу. Отдай мне свою обиду, отдай мне свое горе. Поезжай. Будь человеком.

— Нет. — Танабай упрямо мотнул головой. — Не поеду. Мне теперь все безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге. Что люди скажут? А я теперь знать ничего не хочу.

— Одумайся, Танабай. Я пойду пока присмотрю за огнем, как бы не упали угли на кошму.

Она ушла, оставив его одежду, но он не тронулся с места. Сидел в углу, не мог переломить себя, не мог забыть тех слов, которые он говорил Чоро. А теперь «Здравствуйте, проведать явился, как здоровье? Не помочь ли чем?» Нет, не сможет он так, не в его это правилах.

Джайдар вернулась.

— Ты еще не оделся?

— Не надоедай. Сказал: не поеду...

— Встань! — гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по ее приказу, как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря исстрадавшимися, возмущенными глазами. — Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты оставайся нюни разводи! Я поеду сейчас же. Иди седлай немедленно коня!

И он, повинувшись ей, пошел седлать лошадь. На дворе порошил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг бесшумной, медленной каруселью, как вода в глубокой за-

води. Горы не различишь — темно. «Вот еще наказание! Куда она теперь одна среди ночи? — думал он, набрасывая впопыхах седло. — И не отговоришь. Нет. Не откажется. Убей, не откажется. А если собьется с пути? Ну, пусть пеняет на себя...»

Седлал Танабай коня, и самому стыдно становилось: «Зверь я, больше никто. Одурил от обиды. Выставляю ее напоказ, — смотри, какой я несчастный, как мне плохо. И жену извел. А она-то при чем? За что ее терзаю? Не видать мне добра. Никудышный я человек. Зверь, и только».

Заколебался Танабай. Нелегко было отступить от своих слов. Пошел назад, набычившись, опустив глаза.

— Оседлал?

— Да.

— Ну так собирайся. — И Джайдар подала ему плащ.

Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую. И все же для вида покуражился:

— А может, с утра поеду?

— Нет, отправляйся сейчас. Будет поздно.

Ночь кружилась в горах тихой заводью. Плавно и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега. Один среди темных склонов ехал Танабай на зов отвергнутого им друга. Снег налипал на голову, на плечи, на бороду и руки. Танабай сидел в седле неподвижно, не отряхивая его. Так ему было лучше думать. Думал он о Чоро, обо всем том, что связывало их долгие годы, когда Чоро учил его грамоте, когда они вступали в комсомол, а потом и в партию. Вспомнил, как они работали вместе на стройке канала и как Чоро первый принес ему газету с заметкой о нем и с фотографией, первый поздравил, пожал руку.

Смягчался душой Танабай, оттаивал, и его охватывало щемящее чувство беспокойства: «Как он там? А может, и правда ему очень плохо? А то зачем бы вызывать сына? Или сказать хочет что? Посоветоваться?..»

Уже светало. Снег все так же кружил. Танабай заторопил коня, погнал рысью. Скоро за теми вон буграми, в низине, — аил. Как там Чоро? Быстрее бы.

И вдруг в тишине утра донесся смутный, далекий голос со стороны аила. Всплеснул чей-то крик и оборвался, замер. Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось.

Конь вынес Танабая на бугор. Внизу перед ним среди белых, заснеженных огородов, среди голых садов лежали улицы аила, еще безлюдные в эту раннюю пору. Нигде

никого. И только у одного двора толпилась черная куча народа, у деревьев стояли оседланные лошади. Это был двор Чоро. Почему так много собралось там люда? Что случилось? Неужели...

Приподнявшись на стременах, Танабай судорожно глотнул колючий ком холодного воздуха и замер, и сейчас же погнал коня вниз по дороге. «Не может быть! Как же так? Не может быть!» На душе у него стало так скверно, словно бы он был виновен в том, что там, наверное, случилось. Чоро, единственный его друг, просил приехать на последнее свидание перед вечной разлукой, а он артачился, упрямствовал, тешил свою обиду. Да кто же он после этого? Почему жена не плюнула ему в глаза? Что может быть на свете уважительнее последней просьбы умирающего человека?

Опять перед Танабаем встала та дорога в степи, на которой догнал его на иноходце Чоро. Что он ему тогда ответил? Да разве можно простить себе это?

Как в бреду, ехал Танабай по снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда, и вдруг увидел впереди, за двором Чоро, большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей и вдруг все разом громко заголосили в один голос, раскачиваясь в седлах:

— Ойбай, баурыймай! Ойбайай, баурым! *

«Казахи приехали», — догадался Танабай и понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чоро как брата, как соседа, как человека, близкого им и известного во всей округе. «Спасибо вам, братья, — подумал в ту минуту Танабай. — От дедов и отцов — в беде и горестях вместе, на свадьбах и скачках вместе. Плачьте, плачьте вместе с нами!»

И сам вслед за ними огласил утренний аил истошным, надсадным криком:

— Чоро-о-о! Чоро-о-о! Чоро-о-о!

Он рыснул на коне, свисая с седла то на левую, то на правую сторону, и рыдал по своему ушедшему из этого мира другу.

Вот уже двор, вот стоит возле дома Гульсары в траурной попоне. Оседает снег на него и тает. Остался иноходец без хозяина. Стоять ему с пустым седлом.

Танабай припадает к гриве коня, мотымается и снова припадает. Вокруг — едва различимые, как в тумане, лица людей, плач. Он не слышал, как кто-то сказал:

* Ойбайай, баурыймай! — траурный крик, оплакивание умершего.

— Снимите Танабая с седла. Подведите к сыну Чоро. Несколько пар рук протянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки через толпу.

— Прости меня, Чоро, прости! — плакал Танабай.

Во дворе лицом к стене дома стоял сын Чоро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах, они обнялись, плача.

— Нет твоего отца, нет моего Чоро! Прости меня, Чоро, прости! — захлебываясь, рыдал Танабай.

Потом их развели. И тут Танабай увидел рядом с собой среди женщин ее, Бюбюжан. Она смотрела на него и молча лила слезы. Танабай зарыдал еще сильнее.

Плакал за все, за все утраты, за Чоро, за вину свою перед ним, за то, что не мог вернуть назад те слова, которые бросил ему по дороге, плакал за нее, что стояла теперь рядом, как чужая, за ту любовь, за ту грозную ночь, за то, что оставалась она одинокой, и за то, что старела она уже, плакал за иноходца своего Гульсары, стоящего в траурной попоне, за обиды свои и муки, за все то, что было не выплакано.

— Прости меня, Чоро, прости! — повторял он. И тем самым как бы просил прощения у нее.

Ему хотелось, чтобы Бюбюжан подошла и утешила его, чтобы она утерла ему слезы, но она не подходила. Она стояла и плакала.

Утешали его другие:

— Довольно, Танабай. Слезами не поможешь, успокойся.

И от этого ему было еще горше и больнее.

22

Хоронили Чоро после полудня. Мутный диск солнца бледно просвечивал сквозь блеклые слои неподвижных туч. Все еще плавали в воздухе мягкие влажные хлопья снега. По белому полю черной молчаливой рекой тянулась похоронная процессия. Эта река словно бы возникла здесь внезапно и словно бы впервые прокладывала себе русло. Впереди на машине с откинутыми бортами везли усопшего Чоро, туго и глухо запеленатого в белую погребальную кошму. Возле сидели жена, дети, родственники. Все другие следовали верхом на лошадях. Двое шли за машиной пешком — сын Самансур и Танабай, ведущий на поводу коня покойного друга, иноходца Гульсары, с пустым седлом.

Дорога за околицей была в мягком ровном снегу. Широкой и темной, изрытой копытами коней полосой следовала она затем по пятам процессии. Она словно бы отмечала последний путь Чоро. Путь выводил к холму, на кладбище. И здесь оканчивался для Чоро уже безвозвратно.

Вел Танабай иноходца на поводу и говорил ему про себя: «Вот, Гульсары, лишились мы с тобой нашего Чоро. Нет его, не стало... Что ж ты тогда не крикнул мне, не остановил меня? Не дал бог тебе языка. А я хоть и человек, а оказался хуже тебя, коня. Бросил друга на дороге, не оглянулся, не одумался. Убил я Чоро, убил его словом своим...»

Всю дорогу до самого кладбища Танабай вымаливал у Чоро прощение. И на могиле, спустившись в яму вместе с Самансуром, он говорил Чоро, укладывая его тело на вечное ложе земное:

— Прости меня, Чоро. Прощай. Слышишь, Чоро, прости меня!..

Падала в могилу брошенная горстями земля, потом она посыпалась потоками с разных сторон, уже с лопат. Наполнила яму и выросла свежим бугром на холме.

Прости, Чоро!..

После поминок Самансур отозвал Танабая в сторону:

— Танаке, дело у меня к вам, поговорить нам надо.

И они пошли через двор, оставив людей, дымящие самовары и костры. Вышли на зады в сад. Пошли вдоль бровки арыка, остановились за огородом, у сваленного дерева. Сели на него. Помолчали, каждый думал о своем. «Вот она, жизнь-то, — размышлял Танабай, — мальчишкой знал Самансура, а теперь вон какой стал. Повзрослел от горя. Теперь он вместо Чоро. Теперь мы с ним как равный с равным. Так оно и должно быть. Сыновья заступают на место отцов. Сыновья род продолжают, дело продолжают. Дай-то бог стать ему таким же, как отец. Да чтобы дальше пошел, чтобы разумом и умением выше нас поднялся, чтобы счастье творил себе и другим. На то мы и отцы, на то мы и рождаем сыновей с надеждой, что будут они лучше нас, в этом вся суть».

— Ты, Самансур, старший в семье, — сказал ему Танабай, по-стариковски оглаживая бороду. — Ты теперь вместо Чоро, и я готов выслушать тебя, как самого Чоро.

— Должен я вам передать, Танаке, наказ отца, — проговорил Самансур.

Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и интонации отца, и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого Чоро, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его?

— Слушаю тебя, сын мой.

— Я застал отца живым, Танаке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был в сознании до самого последнего вдоха. А вас, Танаке, он очень ждал. Все спрашивал: «Где Танабай? Не приехал?» Мы его успокаивали, что вы в дороге, что вы вот-вот появитесь. Видно, хотел он вам что-то сказать. И не успел.

— Да, Самансур, да. Нам надо было увидеться. Очень надо было. Век не прощу себе. Это я виноват. Это я не успел.

— Так вот просил он меня передать. Сын, говорит, скажи Танаке моему, что прощения прошу у него, скажи, чтобы обиду не держал в душе и чтобы он сам отвез мой партбилет в райком. Пусть, говорит, Танабай собственноручно сдаст мой билет — не забудь, передай. Потом забылся. Мучился. И, умирая, смотрел так, точно ждал кого-то. И плакал, слов уже было не разобрать.

Танабай ничего не отвечал. Всхлипывая, теребил бороду. Ушел Чоро. Унес с собой половину Танабая, часть жизни его унес.

— Спасибо, Самансур, за слова твои. И отцу твоему спасибо, — промолвил наконец Танабай, беря себя в руки. — Одно лишь меня смущает. Ты знаешь, что меня исключили из партии?

— Знаю.

— Как же я, исключенный, повезу партбилет Чоро в райком? Не имею я на то права.

— Не знаю, Танаке. Решайте сами. А я должен выполнить предсмертную волю отца. И буду вас просить сделать так, как хотел он, покидая нас.

— Я бы от души рад. Но такая беда приключилась со мной. А не лучше, если ты сам отвезешь, Самансур?

— Нет, не лучше. Отец знал, что просил. Если он вам верил, то почему я не должен вам доверять? Скажите в райкоме, что такой был наказ отца моего, Чоро Саякова.

Еще затемно, ранним туром, выехал Танабай из аила. Гульсары, славный иноходец Гульсары, в беде и радостях одинаково надежный конь, — Гульсары бежал под

седлом, дробя копытами мерзлые комья дорожной колеи. В этот раз он вез Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чоро Саякова.

Впереди, над невидимыми краями земли, медленно наливался рассвет. В чреве рассвета нарождалась новая заря. Она разрасталась там, внутри серой мглы...

Иноходец бежал туда, к рассвету, к одинокой и яркой звезде, еще не угасшей на небосклоне. Один по пустынной гулкой дороге выбивал он рокочущую дробь ходкой иноходи. Давно не доводилось Танабаю ездить на нем. Бег Гульсары по-прежнему был стремителен и прочен. Ветер пластал гриву, дул седоку в лицо. Хорош был Гульсары, в доброй силе был еще конь.

Всю дорогу Танабай раздумывал, терялся в догадках, почему именно ему, Танабаю, изгнанному из партии, Чоро наказал перед смертью отвезти в райком свой партбилет. Чего он хотел? Или испытать думал? А может, хотел тем самым сказать о своем несогласии с исключением Танабая из партии? Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь. Никогда больше ничего не скажет он. Да, есть такие слова страшные: «Никогда больше!» Дальше и слов уже нет...

И опять нахлынули разные мысли, снова ожило все то, что хотел забыть, оторвать от себя навсегда. Нет, оказывается, еще не все кончено. С ним, при нем еще последняя воля Чоро. Он придет с его партбилетом и поведает о нем, о Чоро, все как есть, расскажет, каким был Чоро для людей, каким был для него. И о себе расскажет, потому что Чоро и он — пальцы одной руки.

Пусть узнают, какими они были тогда, в молодости, какую жизнь они прожили. И может быть, поймут, что не заслуживает он, Танабай, чтобы отлучали его от Чоро ни при жизни, ни после. Только бы выслушали его, только бы дали высказаться!

Танабай представил себе, как он войдет в кабинет секретаря райкома, как он положит ему на стол партбилет Чоро и как расскажет обо всем. Признает свою вину, извинится, только бы вернули его в партию, без которой жить ему плохо, без которой не мыслит он самого себя.

А что, если скажут: какое он, исключенный из партии, имеет право приносить партийный документ? «Не должен был ты прикасаться к партбилету коммуниста, не должен был ты браться за это дело. И без тебя нашлись бы другие». Но ведь такова была предсмертная во-

ля самого Чоро! Так он завещал при всех, умирая. Это может подтвердить его сын, Самансур. «Ну и что же, мало ли что может сказать человек при смерти, в бреду, забыты?» Что тогда он ответит?

А Гульсары бежал по звонкой, смерзшейся дороге и, минуя степь, уже выходил к Александровскому спуску. Быстро домчал Танабай иноходец. Не заметил даже, как приехал.

Рабочий день в учреждениях только начинался, когда Танабай приехал в райцентр. Нигде не задерживаясь, он направил взмокшего иноходца прямо к райкому, привязал его у коновязи, стряхнул с себя пыль и пошел с бьющимся от волнения сердцем. Что ему скажут? Как его встретят? В коридорах было пусто. Не успели еще понаехать из айлов. Танабай прошел в приемную Кашкатаева.

— Здравствуйте, — сказал он секретарше.

— Здравствуйте.

— Товарищ Кашкатаев у себя?

— Да.

— Я к нему. Я чабан из колхоза «Белые камни». Моя фамилия Бакасов, — начал он.

— Как же, знаю вас, — усмехнулась она.

— Так вот, скажите ему, что парторг наш Чоро Саяков умер и при смерти просил меня отвезти его партбилет в райком. Вот я и приехал.

— Хорошо. Обождите минутку.

Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кашкатаева, но Танабай перемучился, места себе не находил, дожидаясь ее.

— Товарищ Кашкатаев занят, — сказала она, плотно прикрывая за собой дверь. — Он просил передать билет Саякова в сектор учета. Это там, направо по коридору.

«Сектор учета... направо по коридору». Что это? — не соображал Танабай. Потом понял все разом и разом упал духом. Как же так? Неужели все так просто? А он-то думал...

— У меня к нему разговор. Прошу вас, пойдите скажите ему. Важный разговор у меня.

Секретарша неуверенно пошла в кабинет и, вернувшись, снова сказала:

— Занят он очень. — И потом добавила от себя сочувственно: — Разговор-то ведь с вами окончен. — И еще тише сказала: — Не примет он вас. Лучше уезжайте.

Пошел Танабай по коридору, завернул направо. Над-

пись: «Сектор учета». В дверях окошечко. Постучал. Окошечко открылось.

— Что вам?

— Билет привез вам сдать. Умер парторг наш — Чоро Саяков. Колхоз «Белые камни».

Заведующая учетом терпеливо ждала, пока Танабай доставал из-под пиджака кожаную сумочку на ремешке, в которой еще недавно носил свой партбилет и в которой на этот раз привез партбилет Чоро. Передал он книжечку в окошко: «Прощай, Чоро!»

Смотрел, как она писала в ведомости номер партбилета, фамилию, имя, отчество Чоро, год вступления в партию — последняя память о нем. Потом дала ему расписаться.

— Все? — спросил Танабай.

— Все.

— До свидания.

— До свидания. — Окошечко захлопнулось.

Вышел Танабай на улицу. Стал отвязывать поводья иноходца.

— Все, Гульсары, — сказал он коню. — Это все.

И неутомимый иноходец понес его назад, в аил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром, под рокочущий перестук копыт. Только в беге коня унималась, стихала боль Танабая.

В тот же день вечером вернулся Танабай к себе в горы.

Жена встретила его молча. Взяла коня под уздцы.

Помогла мужу слезть с седла, поддерживая его под руку.

Танабай обернулся к ней, обнял ее, привалился к плечу. Она тоже обняла его, плача.

— Похоронили мы Чоро! Нет его больше, Джайдар. Нет моего друга! — говорил Танабай и еще раз дал волю слезам.

Потом он молча сидел на камне подле юрты. Хотелось побыть одному, хотелось посмотреть на восход луны, которая тихо поднималась из-за зубчатых вершин белого снежного хребта. В юрте жена укладывала детей на ночь. Слышалось, как огонь потрескивал в очаге. Потом запыла, хватая за душу, гудящая струна темир-комуза. Будто ветер тревожно завыл, будто бежал человек по полю с плачем и жалобной песней, а все вокруг молчало, затаив дыхание, все безмолвствовало, и только бежал как будто одинокий голос тоски и скорби человеческой. Буд-

то бежал он и не знал, куда приткнуться с горем своим, как утешиться среди безмолвия этого и безлюдья, и никто не откликнулся. Он и плакал и слушал себя один. Та-набай понял, что это жена играет для него «Песню старого охотника»...

...В далекие времена был у старика сын — молодой смелый охотник. Отец сам обучал сына нелегкому делу охотничьему. И тот превзошел его.

Промаха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули. Перебил он в горах вокруг всю дичь. Маток беременных не жалел, малых детенышей не жалел. Истребил он стадо Серой Козы, первоматери козьего рода. Осталась Серая Коза со старым Серым Козлом, и взмолилась она, обращаясь к молодому охотнику, чтобы тот пожалел старого Козла, не убивал его, чтобы им род свой продолжить. Но тот не послушался, уложил метким выстрелом громадного Серого Козла. Рухнул Козел со скалы. И тогда запричитала Серая Коза, повернулась боком к охотнику и сказала: «Стреляй мне в сердце. Я с места не стронусь. Но ты не попадешь — это будет твоим последним выстрелом!» Засмеялся молодой охотник над словами выжившей из ума старой Серой Козы. Прицелился. Грянул выстрел. А Серая Коза не упала. Пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался охотник — такого еще никогда не случалось. «Ну вот, — обернулась к нему Серая Коза. — А теперь попробуй поймай меня хромую!» Засмеялся в ответ молодой охотник: «Что ж, попробуй уйди. А догоню — пощады не жди. Прирежу тебя, старая, как паршивую хвастунью!»

Стала убежать хромая Серая Коза, охотник — за ней. Много дней и много ночей по скалам, по кручам, по снегам и камням продолжалась эта погоня. Нет, не давалась Серая Коза. Давно уже бросил охотник свое ружье, одежда на нем висела ключьями. И не заметил он, как завела его Серая Коза на неприступные скалы, откуда не было путей ни вверх, ни вниз, откуда ни слезть, ни спрыгнуть нельзя было. Здесь и оставила его Серая Коза и прокляла его: «Отсюда тебе не уйти вовек, и никто тебя не сможет спасти. Пусть твой отец поплачет над тобой, как плачу я по убитым детям своим, по исчезнувшему роду своему. Пусть воет отец твой среди каменных гор, один среди холодных гор, как вою я, старая Серая Коза, первоматерь козьего рода. Проклинаю тебя, Карагул, проклинаю...» С плачем убежала Серая Коза — с камня на камень, с горы на гору.

Остался молодой охотник на головокружительной крутизне. Стоит на узком уступе, прижавшись лицом к стене, боится оглянуться — ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево не ступить ему. Ни неба не видно, ни земли не видно.

А отец тем временем искал его повсюду. Облазил все горы. И когда нашел на тропе брошенное им ружье, понял, что с сыном стряслось несчастье. Побежал он по скалистым ущельям, по темным теснинам. «Карагул, где ты? Карагул, отзовись!» А в ответ ему каменные горы грохотали каменным хохотом, отвечали его же словами: «...Где ты, Карагул? Отзовись!..»

«Здесь я, отец!» — вдруг донесся до него голос откуда-то с высоты. Глянул старик вверх и увидел сына своего, как вороненка на краю обрыва, на высокой, неприступной скале. Стоит там спиной к миру, обернуться не может.

— Как же ты там очутился, несчастный сын мой? — перепугался отец.

— Не спрашивай, отец, — отвечает тот. — Я здесь в наказание свое. Завела меня сюда старая Серая Коза и прокляла страшным проклятием. Я стою уж много дней, не вижу ни солнца, ни неба, ни земли. И лица твоего не увижу, отец. Сжался надо мной, отец. Убей меня, облегчи мои страдания, прошу тебя. Убей и похорони меня.

Что мог поделать отец? Плачет, мечется, а сын все молит: «Убей меня поскорей. Стреляй, отец! Сжался надо мной, стреляй!» До самого вечера не решался отец. А перед заходом солнца прицелился и выстрелил. Разбил ружье о камни и запел прощальную песню над телом сына.

Убил я тебя, сын мой Карагул.
Один остался я на свете, сын мой Карагул,
Судьба покарала меня, сын мой Карагул.
Судьба наказала меня, сын мой Карагул.
Зачем обучил я, сын мой Карагул,
Тебя ремеслу охотника, сын мой Карагул,
Зачем истребил ты, сын мой Карагул,
Всю дичь и тварь живую, сын мой Карагул,
Зачем уничтожил ты, сын мой Карагул,
То, что явилось жить и умножаться, сын мой Карагул?
Один остался я на свете, сын мой Карагул.
Никто не откликнется, сын мой Карагул,
Плачем на мой плач, сын мой Карагул.
Убил я тебя, сын мой Карагул...
Своими руками убил, сын мой Карагул...

...Сидел Танабай подле юрты, слушал древний киргизский плач, смотрел, как медленно всплывала луна над молчаливыми и темными горами, как зависала она над островерхими снежными пиками, над громоздящимися каменными скалами. И опять молил он умершего друга о прощении.

А Джайдар в юрте все наигрывала на темир-комузе плач по великому охотнику Карагулу:

Убил я тебя, сын мой Карагул...

Один остался я на свете, сын мой Карагул...

23

Близился рассвет. Сидя у костра, в изголовье умиравшего иноходца, припоминал старик Танабай то, что было потом.

Никто не знал, что ездил он в те дни в областной город. То была его последняя попытка. Хотелось ему повидать секретаря обкома, выступление которого он слышал на совещании в районе, и рассказать ему о всех своих бедах. Ему верилось, что этот человек понял бы и помог бы. И Чоро говорил о нем хорошо, и другие хвалили его. От том, что того секретаря перебросили в другую область, он узнал, уже придя в обком.

— А вы не слыхали разве?

— Нет.

— Ну, если у вас очень важное дело, то я доложу нашему новому секретарю, может, он вас примет, — предложила женщина в приемной.

— Нет, спасибо, — отказался Танабай. — Я ведь так хотел, по своему личному делу. Я ведь его знал, и он меня знал. А так беспокоить не стал бы. Извините, до свидания. — Он вышел из приемной, веря в душе, что хорошо знал секретаря и что тот тоже лично знал его, чабана Танабая Бакасова. А почему бы нет? Они могли бы знать и уважать друг друга, в этом он не сомневался, потому и сказал так.

Шел Танабай по улице, направляясь к автобусной станции. Возле пивного ларька двое рабочих грузили на машину пустые бочки из-под пива. Один стоял в кузове. А тот, что накатывал бочку к нему наверх, случайно оглянулся на проходящего мимо Танабая и замер, переменялся в лице. Это был Бектай. Удерживая бочку на накате, он пристально и с неприязнью смотрел на Танабая своими узкими рысьими глазами, ждал, что тот скажет.

— Ну ты что там, уснул, что ли? — раздраженно бросил Бектаю тот, что стоял в машине.

Бочка скатывалась вниз, а Бектай, удерживая ее, пригибался под тяжестью и смотрел не отрываясь на Танабая. Но Танабай не поздоровался с ним. «Так вот ты где. Вот где ты. Хорош. Ничего не скажешь. К пивному делу пристроился, — подумал Танабай и, не задерживаясь, пошел дальше. — Пропадет ведь парень, а? — подумал он затем, замедляя шаги. — Хорошим человеком мог бы стать, может, поговорить?» И захотел вернуться, жалко стало ему Бектая, готов был простить ему все, только бы тот одумался. Однако не стал этого делать. Понял, что если тот знает о его исключении из партии, то разговор не получится. Не хотел Танабай давать этому злословному парню повода издеваться над собой, над судьбой своей, над делом, которому оставался верен. Так и ушел.

Ехал из города на попутной машине и все думал о Бектае. Запомнилось ему, как тот стоял, пригибаясь под тяжестью скатывающейся бочки, как пристально и выжидательно глядел на него.

Позже, когда Бектая судили, Танабай сказал на суде только, что Бектай бросил отару и ушел. Больше ничего не стал говорить. Очень хотелось ему, чтобы Бектай в конце концов понял, что был не прав, и раскаялся. Но тот, кажется, и не думал раскаиваться.

— Отсидишь — приезжай ко мне. Потолкуем, как быть дальше, — сказал Танабай Бектаю. А тот ничего не ответил, даже глаз не поднял. И Танабай отошел от него. После исключения из партии стал не уверен в себе, виновным чувствовал себя перед всеми. Оробел как-то. Никогда в жизни не думал он, что с ним случится такое. Никто ему не колол глаза, и все равно сторонился людей, избегал разговоров, молчал больше.

Иноходец Гульсары неподвижно лежал у костра, уронив голову на землю. Жизнь медленно покидала его. Клокотало, хрипело в горле у коня, глаза расширились и угасали, не мигая глядя на пламя, деревенели вытянутые, как палки, ноги.

Прощался Танабай с иноходцем, говорил ему последние слова: «Ты был великим конем, Гульсары. Ты был моим другом, Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары. Я буду всегда помнить о тебе, Гульса-

ры. И сейчас при тебе я уже вспоминаю о тебе потому, что ты умираешь, славный конь мой Гульсары. Когда-нибудь увидимся с тобой на том свете. Но не услышу я там топота твоих копыт. Ведь там нет дорог, там нет земли, там нет травы, там жизни нет. Но покуда я буду жив, ты не умрешь, потому что я буду помнить о тебе, Гульсары. Перестук твоих копыт будет для меня как любимая песня...»

Думал так старик Танабай и грустил, что время промчалось, как бег иноходца. Что быстро как-то постарели они. Быть может, и рано еще Танабаю считать себя стариком. Но ведь человек стареет не столько от старости своих лет, сколько от сознания того, что он стар, что время его ушло, что осталось только доживать свой век...

И сейчас, в эту ночь, когда умирал его иноходец, Танабай, заново пристально и внимательно оглядывая пройденное, сожалел, что так рано сдался старости, что не решился сразу последовать совету того человека, который не забывал, оказывается, о нем, который сам нашел его и сам пришел к нему.

Случилось это лет семь спустя после того, как его исключили из партии. Танабай тогда работал объездчиком колхозных угодий в Сарыгоуском ущелье, жил там в сторожке со старухой своей Джайдар. Дочери уехали учиться, а потом вышли замуж. Сын после окончания техникума определился на работу в районе и тоже был уже семейным человеком.

Однажды летом выкашивал Танабай траву по берегу речки. День стоял сенокосный, жаркий и светлый. Тихо было в ущелье. Кузнечики трещали. В рубашке навыпуск, в белых широченных стариковских штанах ступал Танабай за звенящей косой, ровной, плотной гривой клал траву в валок. С удовольствием работал. И не заметил, как остановился неподалеку легковой «газик», как вышли из машины двое и направились к нему.

— Здравствуйте, Танаке. Бог на помощь! — услышал он рядом с собой. Оглянулся и увидел Ибраима. Тот был все такой же проворный, толстощекий, с брюшком. — Вот мы и нашли вас, Танаке, — заулыбался Ибраим во всю ширь лица. — Сам секретарь райкома приехал, увидеть вас пожелал.

«Ох и лиса! — с невольным восхищением подумал о нем Танабай. — Во все времена находит себе место. Смотри, как юлит. Прямо-таки раздобрейший человек. Всякому угодит, всякому услужит!»

— Здравствуйте. — Танабай пожал им руки.

— Не узнаете, отец? — спросил приехавший с Ибраимом товарищ, не выпуская из своей крепкой ладони его руки.

Танабай медлил с ответом. «Где же я его видел?» — допытывал он себя. Перед ним стоял очень знакомый как будто бы и в то же время, видимо, очень изменившийся человек. Молодой, здоровый, загорелый, с открытым и уверенным взглядом, одетый в серый парусиновый костюм, в соломенной шляпе. «Городской кто-то», — подумал Танабай.

— Так это же товарищ... — хотел было подсказать Ибраим.

— Постой, постой, я сам скажу, — остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя: — Узнаю, сын мой. Еще бы не узнать! Здравствуй еще раз. Рад тебя видеть.

Это был Керимбеков. Тот самый комсомольский секретарь, который смело защищал Танабая в райкоме, когда его исключали из партии.

— Ну, если узнали, то давайте поговорим, Танаке. Пойдемте пройдемся по берегу. А вы пока тут берите косу и покосите, — предложил Керимбеков Ибраиму.

Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак:

— Конечно, с удовольствием, товарищ Керимбеков.

Танабай и Керимбеков пошли по сенокосу, сели у реки.

— Вы, наверно, догадываетесь, Танаке, по какому делу я к вам, — начал разговор Керимбеков. — Смотрю на вас, вы такой же крепкий, сено косите — значит, здоровье в порядке. Этому я рад.

— Слушаю тебя, сын мой. Я тоже рад за тебя.

— Так вот, чтобы яснее вам было, Танаке. Сейчас вы сами знаете, многое изменилось. Многое уже пошло на лад.

— Знаю. Что верно, то верно. По колхозу нашему могу судить. Дела как будто бы лучше пошли. Даже не верится. Был я недавно в долине Пяти Деревьев, там как раз бедовал я в тот год чабаном. Позавидовал. Кошару новую поставили. Хорошая кошара, под шифером, голов на полтыщу. Дом построили для чабана, стало быть. А рядом сарай, конюшня. Совсем не то, что было. Да и на других зимовьях то же самое. И в самом аиле народ строится. Как ни приеду, так новый дом вырос на улице. Дай-то бог и дальше так.

— Об этом и наша забота, Танаке. Не все еще, как надо. Но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Танабай молчал. Смутился. И обрадовался, и горько ему стало. Вспомнил все пережитое, глубоко засела в нем обида. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Танабай секретаря райкома. — Спасибо, что не забыл старика. — И, подумав, сказал начистоту: — Стар я уже. Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для нее? Никуда я уже не поеду. Прошло мое время. Ты не обижайся. Дай мне подумать.

Долго не решался Танабай, все откладывал — завтра поеду, послезавтра, а время шло. Тяжеловат стал на подъем.

Однажды все же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил: «Одурел, в детство впал». Понимал все это, но ничего не мог поделать с собой.

Увидел он в степи пыль бегущего иноходца. Сразу узнал Гульсары. Теперь он редко когда его видел. Белым бегучим следом прочерчивал иноходец летнюю, сухую степь. Смотрел Танабай издали и мрачнел. Раньше пыль из-под копыт никогда не догоняла иноходца. Темной стремительной птицей несся он впереди, оставляя за собой длинный хвост пыли. А теперь пыль то и дело накатывалась на иноходца облаком, окутывала его. Он вырывался вперед, но через минуту снова исчезал в густых клубах самим же им поднятой пыли. Нет, теперь он не мог уйти от нее. Значит, крепко постарел, ослаб, сдался. «Плохи твои дела, Гульсары», — с едкой печалью подумал Танабай.

Он представлял себе, как задыхался конь в пыли, как трудно ему было бежать, как злился и нахлестывал его всадник. Он видел перед собой растерянные глаза иноходца, чувствовал, как он изо всех сил старается вырваться из клубов пыли и не может. И хотя всадник не мог услышать Танабая — расстояние было изрядное, — Танабай крикнул: «Сто-ой, не гони коня!» — и пустился вскачь наперерез ему.

Но не доскакал, остановился вскоре. Хорошо, если тот

человек поймет его, а если нет? А если скажет ему в ответ: «Какое тебе дело? Откуда ты такой указчик? Как хочешь, так и еду. Проваливай, старый дурак!»

А иноходец тем временем уходил все дальше неровным, трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из нее. Долго смотрел ему вслед Танабай. Потом повернул коня и поехал назад. «Отбегали мы свое, Гульсары, — говорил он. — Постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам, Гульсары, доживать последнее...»

А через год увидел Танабай иноходца, запряженного в телегу. И опять расстроился. Печально было смотреть на старого, вышедшего из строя скакуна, уделом которого осталось ходить в побитом молью хомуте, таскать ветхую повозку. Отвернулся Танабай, не захотел смотреть.

Потом еще раз встретил Танабай иноходца. Ехал на нем по улице мальчишка лет семи в трусиках, в драной майке. Пришлепывал коня голыми пятками, сидел он на нем гордый и ликующий оттого, что сам управлял лошадью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые, и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший иноходец Гульсары.

— Дедушка, посмотрите на меня! — похвалился мальш старику Танабаю. — Я Чапаев! Я сейчас через речку поеду.

— Ну-ну, езжай, я посмотрю! — ободрил его Танабай.

Смело, одергивая поводья, мальчишка поехал через речку, но, когда конь стал выбираться на тот берег, не удержался, шлепнулся в воду.

— Ма-ма-а! — заревел он от испуга.

Танабай вытащил его из воды и понес к коню. Гульсары смиренно стоял на тропинке, держа на весу поочередно то одну, то другую ногу. «Мозжат ноги у коня — знать, совсем уже плох», — понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца.

— Езжай и больше не падай.

Гульсары потихоньку побрел по дороге.

И вот в последний раз, уже после того, как иноходец снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз свозил он его в Александровку и теперь умирает в дороге.

Ездил Танабай к сыну и невестке по случаю рожде-

ния внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок гушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеди, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказала больная. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком несамостоятельным, безвольным, а жена попалась жестокая, властная. Сидя дома, помыкала мужем, как ей хотелось. Бывают же такие люди, которым ничего не стоит обидеть, оскорбить человека, лишь бы верх держать, лишь бы чувствовать свою власть.

Так случилось и на этот раз. Оказывается, сына должны были повысить по работе, но потом почему-то повысили другого. Вот она и накинулась на не повинного ни в чем старика:

— Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да табунщиках проходил. Все равно под конец выгнали, а из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он сто лет сидеть на одной должности. Вы там живете себе в горах — что вам еще нужно, старикам, а мы здесь страдаем из-за вас.

Ну и прочее в этом же духе...

Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал неуверенно:

— Если уж такое дело, может, я обратно в партию попрошусь.

— Очень ты там нужен. Так тебя там и ждут. Обойтись не могут без старья такого? — фыркнула она в ответ.

Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь. Промолчал старик, не стал перечить, не стал говорить, что мужа ее не продвигают по службе не потому, что отец виноват, а потому, что сам он никудышный и жена попалась ему такая, от которой доброму человеку бежать надо куда глаза глядят. Недаром же в народе говорят: «Хорошая жена плохого мужа делает средним, среднего — хорошим, а хорошего прославит на весь мир». Но опять же не хотелось старику позорить сына при жене, пусть уж думают они, что он виноват.

Потому и уехал Танабай поскорей. Тошно было ему оставаться у них.

«Дура ты, дура! — ругал он теперь невестку, сидя у костра. — Откуда только беретесь вы такие? Ни чести,

ни уважения, ни добра человеку другому. Все о себе печетесь. Обо всех по себе судите. Только не быть по-твоему. Нужен я еще, нужным буду...»

Открывалось утро. Вставали горы над землей, прояснялась, ширилась степь вокруг. На краю оврага чуть тлели побуревшие угольки потухшего костра. Рядом стоял седой старик, накинув на плечи шубу. Теперь не было нужды укрывать ею иноходца. Отошел Гульсары в иной мир, в табуны господни... Смотрел Танабай на павшего коня и диву давался — что с ним стало! Гульсары лежал на боку с откинутой в судороге головой, на которой видны были глубокие впадины — следы уздечки. Торчали его вытянутые, негнибающиеся ноги с истертыми подковами на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить. Танабай наклонился к коню в последний раз, опустил ему на глаза холодные веки, взял уздечку и, не оглядываясь, пошел прочь.

Шел он через степь в горы. Шел, продолжая долгую думу свою. Думал о том, что стар он уже, что дни его на исходе. Не хотелось ему умирать одинокой птицей, отбившейся от своей быстрокрылой стаи. Хотел умереть на лету, чтобы с прощальными криками закружились над ним те, с которыми вырос в одном гнездовье, держал один путь.

«Напишу Самансуру, — решил Танабай. — Так и напишу в письме: помнишь иноходца Гульсары? Должен помнить. На нем я отвозил в райком партбилет твоего отца. Ты сам отправлял меня в тот путь. Так вот, возвращался я прошлой ночью из Александровки, и в дороге пал мой иноходец. Всю ночь я просидел возле коня, всю жизнь свою продумал. Не ровен час, паду в пути, как иноходец Гульсары. Должен ты мне помочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был. Как теперь понимаю, твой отец Чоро неспроста завещал мне отвезти его партбилет в райком. А ты его сын, и ты знаешь меня, старика Танабая Бакасова...»

Шел Танабай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слезы стекали по лицу, мочили бороду. Но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары. Смотрел сквозь слезы старик на новое утро, на одинокого серого

гуся, быстро летящего над предгорьем. Спешил серый гусь, догонял стаю.

— Лети, лети! — прошептал Танабай. — Догоняй своих, пока крылья не устали. — Потом вздохнул и сказал: — Прощай, Гульсары!

Он шел, и слышалась ему старинная песня.

...Бежит верблюдица много дней. Ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись. Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

РАННИЕ ЖУРАВЛИ

верблюды-то там водятся, непременно должны водиться, где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам. Умные птицы на Цейлоне — пожалуйста, тоже есть: попугай. Захочешь — поймаешь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать. А что — попугай такая птица, все может. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из аиловых сам видел на джамбульском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю, он и шпарит без запинки...

Да, чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе и ни о чем не думай. Главное, не попадаться при этом на глаза баю-плантатору. Тот с кнутом ходит. Цейлонцев по спине стегает, как рабов. Угнетатель! Ха, да ему врезать в ухо так, чтобы в глазах засветилось. Кнут отобрать, а самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам и разным другим капиталистам, никаких разговоров: работай сам за себя, и все! Известно, от них ведь и фашисты происходят... Вот и война оттого... Сколько уже людей в аиле погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего, а плачет, боится, что отца убьют. А соседке сказала: куда я, говорит, тогда с четырьмя...

Поеживаясь в стылом классе, терпеливо пережидая приступы кашля у ребят, Инкамал-апай продолжала рассказывать про Цейлон, про моря, про жаркие страны. Беря и не веря услышанному (уж очень распрекрасно получалось в тех краях), Султанмурат искренне жалел в тот час, что живет не на Цейлоне. «Вот где жизнь!» — думал он, поглядывая краем глаза в окно. Это он умел. Вроде смотрит на учителя, а сам любитесь в окно. Но за окном ничего особенного не происходило. За окном непогодило. Снег сыпал жесткой, секущей крупью. Снежинки тупо шуршали, скреблись, ударяясь в стекла. На стеклах выросла паледь. Помутнели окна. Замазка по краям оконных переплетов взбухла от холода, местами обвалилась на подоконник, залитый чернилами. «На Цейлоне, наверно, и замазка не нужна, — думал он. — А зачем она? Да и окна к чему, да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашик, накрыл листьями — и живи...»

От окна все время поддувало, слышно было даже, как ветер посвистывает украдкой в щелях рамы, уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инкамал-апай сама пересадила его сюда, к окну. «Ты, — говорит, — Султанмурат, самый сильный в классе. Ты выдюжишь». А раньше, до холодов, здесь сидела Мырзагуль,

ее перевели на место Султанмурата. Там не так дует. Но лучше было бы, если б ее оставили тут же, на этой парте. Все равно, холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком. А то подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми как со всеми, а подойдет он, она краснеет и убегает. Не гоняться же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда горазды придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки: «Султанмурат + Мырзагуль = эки ашик *». А так сидели бы рядышком — и ничего не скажешь...

За окном несло. Сыплет снег, сыплет... В ясный день глянешь из класса, горы всегда перед глазами. Сама школа на пригорке, над аилом стоит высоко. Аил внизу, школа наверху. Потому отсюда, из школы, видимость хорошая. Дальние снежные горы как на картинке видны. Сейчас же едва угадывались во мгле их угрюмые очертания.

Ноги стынут, и руки стынут. Даже спина мерзнет. До чего холодно в классе! Раньше, до войны, школу топили слежавшимся овечьим кизяком. Как уголь, сильно горел кизяк. А теперь привезут соломы. Ну погудит-погудит солома в печах, а толку нет. Через пару дней и соломы нет. Один сор только от соломы.

Жаль, что климат в Таласских горах не такой, как в жарких странах. Климат другой, и жизнь была бы другая. Свои слоны водились бы. На слонах ездили бы, как на быках. А что, не побоялись бы. Первым сел бы на слона, прямо на голову между ушами, как нарисовано в учебнике, и поехал бы по аилу. Тут народ со всех сторон: «Смотрите, бегите — Султанмурат, сын Бекбая, на слоне!» Пусть бы тогда Мырзагуль полюбовалась, пожалела бы... Подумаешь, красавица! Нельзя уж подойти. И обезьяну завел бы себе. И попугая, читающего газету. Усадил бы их тоже на слона позади себя. Места-то хватит, на слоновой спине всем классом можно разместиться. Это уж точно, как пить дать! Не с чужих слов, сам знает.

Слона живого он видел своими глазами, об этом всем известно, и обезьяну живую видел, и разных других зверей. Об этом все знают в аиле, сколько раз сам рассказывал. Да, повезло ему тогда, посчастливилось...

До войны, как раз за год до войны, произошел этот знаменательный в его жизни случай. Также было лето. Сено косили как раз. Отец его, Бекбай, в тот год возил

* Эки ашик — двое влюбленных.

горючее из Джамбула на нефтесклад здешней МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал, цену себе набивал: я, говорит, не простой арабакеч, а золотой — за меня, за моих коней, за бричку колхоз плату получает от казны. Я, говорит, колхозу банковские деньги добываю. Потому бухгалтер, завидев меня, с лошади слезает поздороваться...

Бричка у отца была специально оборудована для перевозки керосина. Кузова нет, а просто четыре колеса с двумя большими железными бочками, уложенными в гнезда подушек, впереди, на самом облучке, сиденье для ездового. Вот и вся телега. На сиденье том вдвоем ехать можно, а троим уже нельзя, не поместишься. Но зато лошади были подобраны самые что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара была в упряжи у отца.

Чалый мерин Чабдар и гнедой мерин Чонтору. И сбруя подогнана к ним добротная, как по примерке. Хомуты, постромки из казенной яловой кожи, смазанные дегтем. Рви — не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочпость, порядок в деле. Держал всегда хороший ход лошадей. Бывало, как побегут Чабдар и Чонтору в лад, в равном усердии, гривами вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины, рядом плывущие, любо смотреть! Люди издали узнавали по стуку колес: «Это Бекбай покатыл в Джамбул». Туда и обратно — два дня занимало. Назад возвращался Бекбай — вроде и не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди: «У Бекбая бричка, как поезд по рельсам, идет!» Удивлялись они не случайно. Уставшую или нерадивую упряжь можно по скрипу колес узнать. Пока проедет мимо, душу вымотает. А у Бекбая кони всегда были на свежем ходу. Потому, наверно, и поручали ему самые ответственные поездки.

Так вот, в позапрошлом году, только отучились, только каникулы начались, отец однажды говорит:

— Хочешь, в город возьму?

Султанмурат чуть не задохнулся от радости. А то бы! Как отгадал отец, что ему в город давно хотелось! Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово!

— Только ты того, не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. — А то младшие такой бунт поднимут, что и не уедешь никуда.

Это верно, Аджимурат, тот моложе па три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как ишак. Когда

отец дома, к нему не пробьешься, бывало, из-за Аджимурата. Все он крутится возле отца. Точно бы он один, а другие вовсе не в счет. Две младшие сестренки, они ведь совсем маленькие тогда были, и те, бывало, с плачем завоевывали отцовские ласки. Соседи и те не понимали, что за привязанность такая младшего сына к отцу. Бабка Аруукан — строгая, сухая, как палка, со скрипучим голосом, ее все боятся. Так вот она не раз и не два предупреждала, ухватив корявыми пальцами Аджимурата за ухо:

— Ой, не к добру ты липнешь к отцу, сорванец! Быть на земле большой беде! Где это видано, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу! Что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова, на всех нас накличет он беду!

Мать отщепчется, отплюется, подзатыльника отвесит Аджимурату, но бабке Аруукан прекословить не смела. Ее все боялись.

А она, бабка Аруукан, не зря говорила, выходит. Так оно и случилось. Жалко Аджимурата. Он уже большой, в третьем классе, старается виду не показать, держится, особенно при матери, а на самом деле так и ждет, что отец вернется с фронта не сегодня-завтра. Ложась спать, он шепчет, как взрослый, ночную молитву: «Дай бог, дай бог, чтобы отец завтра приехал». И так каждый день. Чудной. Думает, уснет, проснется — и все изменится, произойдет какое чудо?

Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь аджимуратовским и пусть носит Аджимурата на руках, на голове. Только бы приехал наконец. Лишь бы увидеть его живым и здоровым. С него, с Султанмурата, и этого счастья хватило бы. Только бы вернулся отец.

Как бы он теперь хотел, чтобы повторилось то событие в семье, когда отец возвратился с Чуйского канала. Туда, на стройку, он уезжал позапрошлогодним летом, тоже ездовым, на целых пять месяцев, все лето и осень там пробыл на вывозе грунта. Стахановцем стал.

А приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули. Дети вскочили. Отец! Худюций, загорелый, точно цыган, обросший. И одежда на нем, говорила потом мать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. Аджимурат первым добежал, кинулся на шею отца и прилип, как вцепился, так и не отпуская. А сам плачет взахлеб и только одно твердит:

— Ата, атаке, ата, атаке...

Отец прижимает его к себе, и тоже слезы на глазах. Тут соседи сбежались. Смотрят и тоже плачут. А мать, смущенная и счастливая, бегаёт вокруг, хочет отнять Аджимурата от отца:

— Да отпусти же ты отца! Хватит. Не ты один. Дай и другим. Ну какой же ты неразумный. Боже, посмотри, вон пришли поздороваться...

А тот ни в какую...

Султанмурат почувствовал, как что-то стронулось в нем внутри и поползло горячим набухшим комом к горлу. Во рту стало солоно. А еще говорил, что никогда и ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки. Встряхнулся.

А урок шел. Инкамал-апай рассказывала теперь уже про Яву, про Борнео, про Австралию. Опять же — чудесные земли, вечное лето. Крокодилы, обезьяны, пальмы и разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес! Детеныша в сумку на брюхе кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру, или, вернее, придумалось же такое в природе...

Вот кенгуру он не видел. Чего не видел, того не видел. А жаль. Но зато слона, обезьяну и всяких зверей других посмотрел вблизи. Руку протянуть — достанешь...

В тот день, когда отец сказал, что возьмет его с собой в город, Султанмурат не знал, куда себя деть. Его распирало от нетерпения, от восторга, но вот беда — сказать об этом никому не смел. Если бы Аджимурат узнал, был бы большой рев: почему ему, Султанмурату, можно, а мне нельзя, почему отец берет его с собой, а почему меня не берет? И что ты тут скажешь? И потому к неумемной радости и ожиданию завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то вины перед братом. И все-таки очень подмывало рассказать братишке и сестренкам о предстоящем событии. Очень хотелось открыться. Но отец и особенно мать наказали строго-настроено не делать этого. Пусть младшие узнают, когда уже он будет в пути. Так лучше. С большим-большим трудом сумел он преодолеть себя, сохранить этот секрет. Чуть не умер, извелся от тайны. Зато в тот день он был такой прилежный, так предупредителен, так заботлив и добр со всеми, как никогда. Все делал, везде попевал. И теленка переарканил пастись на новое место, и картошку окучивал в огороде,

* Ата, атаке — папа, папочка.

и матери помог стирать, и самую младшую, Алматай, умыл, когда та упала в грязь, и еще переделал много разных дел. Короче говоря, в тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, приснула со смеху, качая головой.

— Что это на тебя нашло? — пряча улыбку, говорила она. — Всегда бы такой — вот счастье! Как бы не сглазить! А может, не отпускать тебя в город? Уж больно помощник ты у меня хороший.

Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разной другой снеди. Масла натопила, тоже в дорогу, в бутылку налила.

Вечером пили чай всей семьей из самовара. Со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились у арыка, под яблоней. Отец сидел в окружении младших — с одного боку Аджимурат, с другого девочка. Мать чай наливала, а Султанмурат подавал пиалы, углей досыпал в самовар. С удовольствием все это делал. А сам все думал, что завтра он будет уже в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того — разыграл на глазах брата.

— А что, Аджике, — прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну. — Черногривого своего не объездил еще?

— Нет, ата, — начал жаловаться Аджимурат. — Он такой вредный оказался. Ходит за мной, как собачонка. Я его кормлю, пою, один раз даже в школу прибежал. Стоял под окном, ждал, когда я выйду на переменку, весь класс видел. А садиться на себя не позволяет, сбрасывает тут же и еще лягается...

— И некому тебе помочь объездить его как следует? — посетовал отец вроде бы между делом.

— Я это сделаю, Аджике, — с готовностью отозвался Султанмурат. — Обязательно сам объезжу...

— Ура-а! — сорвался с места младший. — Пошли!

— Ну-ка сядь на место! — осадил его мать. — Сядь, не суешься. Попыете чаю как люди, потом уснете.

Речь шла об ишачонке-двухлетке, любимце Аджимурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери — Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать длинноухого, чтобы приучить к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашнем всегда нужен собственный ослик — то на мельницу, то за дровами, то подвезти что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурат. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика таки-

ми заботами и опекой, что и не подступить к нему. Чуть что — не трогайте ослика! Я сам его накормлю, я сам его напою. Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепало от него младшему. И с тех пор обиду затаил Султанмурат. Когда же настало время объезжать ослика, отмахнулся: раз он твой, сам и объезжай, а меня не проси, мне дела нет. Хотя именно в этом деле Султанмурат был мастак. С детства привык, наловчился. Любил он укрощать неуков. Это как борьба, кто кого. Всех соседских жеребят, бычков, ишачков объезжал всегда он. Молодняк обычно обучает кто-нибудь из ловких мальчишек. Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к Султанмурату почтительно: «Султанмурат, милый, будет время, поезди на нашем бычке». Или: «Султанке, дорогой, наставь на ум-разум нашего молодого крикуна ишака. Мухе не дает сесть на спину, кусается, бьется. Кроме тебя, некому сладить...»

Вот какой славой пользовался он, а брату родному отказывал, еще и посмеивался, издевался, когда тот вернулся раза два с любимого ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил Аджимурата:

— Он за тобой вместо собаки будет следом бегать! Ты еще наплачешься с ним!

Эх, как негоже было, оказывается. Только тогда это понял, когда отец намекнул. Вот каким дураком выглядел он, с младшим счеты сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о которой младший не знал, такие угрызения совести и раскаяние захлестнули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все, что угодно.

После чая пошли вместе с отцом на лужайку за огородами. Вначале собрали все камни вокруг, забросили их подальше. Потом взнуздали Черногривого — так торжественно называл своего ослика Аджимурат. Отец держал Черногривого за уши, а Султанмурат изловчился накинуть уздечку.

Потом подтянул штаны потуже — дело-то предстояло нелегкое. И тут началось цирковое представление. За время вольготного житья под опекой Аджимурата Черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Сразу начал брыкаться, вскидывать задом, шарахаться в сторону. Знал уже, ушлый, как сбрасывать седока. Но не тут-то было. Султанмурат падал, однако не мешкал, сразу же поднимался, вспрыгивал на ходу, ложась животом на

хребтину Черногривого, вторым приемом оказывался верхом на осле. Тот опять бунтовать, опять падение, опять попытка...

У Султанмурата все это получалось ловко и даже весело. Все дело в том, что надо знать, как падать! Почему люди говорят, что с ишака сильнее ушибешься, чем с лошади или с верблюда? Казалось бы, должно быть наоборот. Секрет заключается в том, что, падая, надо успеть приземлиться на руки. Высота с лошади и тем более с верблюда дает возможность человеку сориентироваться. С ишака неопытный ездок падает мешком, не успевает даже сообразить.

Султанмурат знал это по собственному опыту. За него нечего было бояться. Расшумелись, развеселились, раскричались. Отец схватился за живот, хохотал до слез. На шум сбежались мальчишки. У одного из них оказалась собачонка, она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе, и стала с лаем гоняться по пятам за Черногривым. Тот с испугу еще больше припустил, а Султанмурат, на зависть всем, стал показывать «джигитовку», как осовавихимовцы. На бегу спрыгивал с Черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал.

Вот так до войны кавалеристы-осовавихимовцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же сильные джигиты занимались после работы. Лозу рубили, на бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки, на цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как осовавихимовцы джигитовали. Где-то они теперь? На конях или в окопах. Конница, говорят, уже не применяется на войне...

И, глянув во двор за окном, Султанмурат подумал, что лошади к тому же мерзнут зимой, а танку и холод нипочем. А все равно лошадь лучше!

...То-то была потеха тогда. Вскоре Черногривый стал смиряться. Понял, что требовалось от него: шагом ходил, рысью ходил, по кругу ходил и напрямую...

— А теперь садись, — позвал Султанмурат брата, — езжай, все в порядке!

Разрумянился от гордости Аджимурат, пристукнул Черногривого пятками, то туда, то сюда проезжался — все теперь видели, какой у него умелый агай *, как тут было не похвастаться!

* Агай — старший брат.

Вечер стоял светлый, долго не темнело. Вернулись домой усталые, но довольные. Аджимурат верхом на Черногоривом въехал во двор показаться матери.

Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая. А Султанмурату не спалось. Думал о том, как завтра очутится в городе, что там увидит, что ожидает его. Засыпая, слышал, как негромко переговаривались отец с матерью.

— Я бы и того взял, вдвоем бы им веселее было, — говорил отец, — да только места нет на этой чертовой бричке. Сидишь там на самом передке, впритык под боковой. А дорога дальняя, задремлет малый да упадет под колеса.

— Что ты! — перепугалась мать. — Не приведи бог, и не думай, не надо, — зашептала она. — В другой раз как-нибудь успеется. Пусть подрастет. Ты и за этим гляди в оба. Думаешь, большой, куда там...

Сладко засыпалось Султанмурату, сладко было слышать, как тихо разговаривают между собой родители, сладко было думать, что утром, рано-рано утром им отправляться с отцом в путь-дорогу...

И, уже засыпая, испытал он, замирая сердцем, неслышанное удовольствие полета. Странно, откуда он знал, как надо летать. Ходить, бегать, плавать дано человеку. А он летал. Не совсем как птица. Птица машет крыльями. А он лишь распростер руки и шевелил кончиками пальцев. И летел плавно, свободно, неизвестно откуда и неизвестно куда, в беззвучном, «улыбающемся» пространстве... То был полет духа, то он рос во сне.

Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо:

— Вставай, Султанмурат, поехали.

И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощутил, как накатилась волна нежности и признательности к отцу за его жесткие усы, прикоснувшиеся к уху, и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти сказанные им слова: «Вставай, Султанмурат, поехали».

Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубаху, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников, в прошлом году отец привез ее с Чуйского канала, и ботинки, береженные, тоже привезенные отцом с канала.

— Попробуй надень, не жмет? — спросила она про ботинки.

— Нет, не жмет, — сказал Султанмурат. Хотя, конечно, они чуть-чуть жали. Но это не беда, растопчутся.

Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка-керосиновозка, громыхая, пошла по воде через большой каменистый арык, сердце его заколотилось, он вздрогнул, поежился от радости, от холодных брызг, ударивших из-под ног лошадей, и понял, что не во сне, а наяву отправляется в город.

Летний ранний рассвет нарождался, как бы наливаясь прозрачным соком. Солнце еще было где-то очень далеко, за снежными горами. Но оно приближалось исподволь, наклеывалось, готовясь вдруг высунуться, засиять из-за горы. А пока было покойно и свежо на похолодевшей за ночь дороге. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из аила. Только собаки на окраине брякнули спросонья на колесный перестук...

Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнеющей вдаль лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул. Туда лежал их путь.

Сытые лошади деловито трусили ровной рысцей, казалось, не замечая ни сбруи, ни упряжи, бежали себе, привычно пофыркивая и встряхивая челки над глазами. Дорога была им хорошо знакома, в который-то раз продельвали они этот путь; хозяин на месте, вожжи в его руках, а то, что рядом с ним сидел на передке мальчишка, то он тоже был своим и ничем, собственно, не мешал тянуть лямку...

Вот так они ехали, набрав хороший накат, погромычивая и скрипя, как все телеги на свете. А солнце тем временем всходило где-то сбоку, в щелке между горами. Свет и тепло покойно и мягко растекались воздушной волной на припотевшие спины лошадей — Чабдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо, а Чонтору все больше светлел, светло-гнедым становился; свет и тепло коснулись бронзовых скул отца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз, а руки его, держащие вожжи, стали еще крупнее и жилистей; свет и тепло струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком; свет и тепло проникали в тело, в глаза; свет и тепло одаляли жизнью все на земле...

Хорошо, отрадно, вольготно было на душе Султанмурата в то дорожное утро.

— Ну как, проснулся? — пошутил отец.

— Давно уже, — ответил сын.

— Ну тогда держи, — передал ему вожжи.

Султанмурат благодарно улыбнулся, этого он ждал с нетерпением. Можно было и самому попросить, но лучше, когда отец найдет нужным доверить — тут тебе не где-нибудь, а езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки, недовольно уши прижали, коснулись друг друга на бегу, точно бы бунтовать-подражаться решили при ослабшей власти. Но Султанмурат сразу дал о себе знать — энергично дернул вожжами, прикрикнул:

— Эй вы! Я вам!

Если счастье существует для человека только в настоящем времени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту поездку Султанмурат испытал его полностью. Не было даже минуты такой, когда бы настроение его чем-либо омрачилось. Сидя рядом с отцом, он был полон достоинства. И оно не покидало его всю дорогу. Громяхающая керосиновозка другого, быть может, свела бы с ума, а для него то был ликующий перезвон счастья. Пыль из-под брички, зависающая позади, дорога, по которой катились колеса, лошади, дружно печатающие копытами, ладная сбруя, отдающая потным духом и дегтем, легкие белые облака, кочующие высоко над головой; еще не засохшие, зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловые; арыки и ручьи, разлившиеся на переездах, встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрко спующие взад и вперед, иной раз чуть ли не задевая морды лошадей, — все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо, когда счастье есть, о нем не думают. Он чувствовал, что мир устроен так, как лучше не может быть. И что отец у него такой, лучше которого не может быть.

Вот даже желтобокые черноголовые полевые птички всю дорогу поют в колючках или в кустарнике одну и ту же заученную трель неспроста. Они знают, для кого они высвистывают. Они-то знают, как их любит Султанмурат. Птички эти — сарайгыры*, а прозываются они так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего солового жеребца: «Чу, чу, сарайгыр! Чу, чу, сарайгыр!»

* Сарайгыр — сары — соловая масть, айгыр — жеребец.

Чудные птахи сарайгыры. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал в аил киномеханик, веселый русский парень. Султанмурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами, а вечером ему за это выпало первому крутить динамо-машину. В динамо-машине вырабатывается электрический ток, а от тока светятся лампочки, а от лампочек свет на побеленной стене — экран, а на экране живые изображения.

Так вот киномеханик этот прислушался и спросил:

— Что это за птичка за забором поет?

— Это сарайгыр, — объяснил ему Султанмурат.

— А что она поет?

— Чу, чу, сарайгыр!

— А что это значит?

— Не знаю. По-русски должно быть: «Но-о, но-о, желтый жеребец!»

— Во-первых, жеребцы желтыми не бывают, но допустим. Но почему все время: «Чу, чу, сарайгыр!»?

— Потому что птичке этой кажется, что она едет на свадьбу верхом на сарайгыре, едет, едет, но не доедет, и потому кричит: «Чу, чу, сарайгыр!»

— А я слышал другое. Будто сарайгыр играл в карты на базаре. И чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл. И потому поет: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» И будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля.

— Но когда же он их выиграет?

— А никогда. Так же, как никогда на свадьбу не доедет.

— Вот потеха...

Действительно, с виду не очень уж приметная пичужка, а оказалась такая знаменитая.

Сарайгыры пели всю дорогу. Султанмурат улыбался им:

— Поехали с нами, и там, на базаре, выиграем три рубля!

А они все высвистывали: «Чу, чу, сарайгыр!» — а в другой раз: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!»

Спешил Султанмурат, быстрее, быстрее в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султанмурат лошадей:

— Чу, чу, сарайгыр! — Это он относил к Чабдару. — Чу, чу, торайгыр! — Это он относил к Чонтору.

А отец приуныл его немного:

— Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут, и тело берегут.

— А который из них лучше, ата, Чабдар или Чонтору?

— Оба хороши. И на шаг и на силу. Работают, как машины. Только корми вовремя, да вдосталь, да за упряжью следи — никогда не подведут. Надежные лошадики. В прошлом году вон на Чуйском канале работали в болотистом месте, на сазах. Брички с грузом увязали по самые ступицы. Засядет, бывало, кто-нибудь — и ни туда и ни сюда. Хоть караул кричи. Ну прибегут — выручай. Просят. Как откажешь? Приведу своих Чабдара и Чонтору, перепряжем — и вот ведь смотри: говорим — скотина, а умные, понимают, что неспроста впрягли их в чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам — и они, дай бог чтобы постромки выдержали, на коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их, на Чуйском канале, все знали, завидовали: повезло, говорят, тебе, Бекбай. Может, и повезло, да только уход нужен за лошадьми, тогда и повезет.

Чабдар и Чонтору деловито трусили все той же ровной заводной рысцей, будто им совсем дела не было, что о них говорили. Бежали себе с припотевшими подбрюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух.

— Ата, а который старше? — спросил отца Султанмурат. — Чабдар или Чонтору?

— Чонтору старше года на три. Замечаю я, Чонтору начинает понемногу стареть, сдает иногда. А Чабдар в самой силе. Крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили: конь джигита.

Султанмурат обрадовался за Чабдара, потому что Чабдар ему больше нравился. Масть необыкновенная — чалая, в крапинку. Да и сам мерин норсва не вредного, красив, силен.

— А мне Чабдар больше нравится, — сказал он отцу. — Чонтору злой. Так и косит глазом.

— Не злой, а умный, — усмехнулся отец. — Не любит, когда ему докучают без дела. — И, помолчав, добавил: — Оба хороши.

Сын тоже согласился.

— Оба хороши, — повторил он, погоняя копей.

Через некоторое время отец сказал:

— Ну-ка, придержи малость, останови бричку. — И посвистел спокойно, выжидательно. — Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечать надо.

И в самом деле, оба мерина начали мочиться на дорожку шумными, пенистыми струями, и плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами взбухла пузырями, набирая влагу.

Потом они снова двинулись в путь. Дорога все уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше.

Вскоре завиднелись сады городской окраины. На дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожжи в свои руки. И правильно сделал. Теперь Султанмурату было не до вожжей и не до коней. Начинался город. Он оглушил шумом, красками и запахами. Будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружа и подбрасывая в волнах.

Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему как никому на свете: на Атчабаре, на большом джамбулском скотном базаре, оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению: человек первый раз приезжает в город — тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель, да еще аттракцион кривых зеркал.

2

В комнату смеха он ходил три раза. Нахохочется, успокоится и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожи, ну и дела! Век думай, не придумаешь такого — хоть стой, хоть падай!

Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца — со здешними узбеками. «Ассалам алейкум! Вот мой старший сын!» — представлял Бекбай сына. Узбеки привечали Султанмурата, привстав с места и прикладывая руку к груди. «Вежливый народ! — довольно отзывался отец. — Узбек не посмотрит, что ты младше годами, — всегда уважит...»

Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Проталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слоны, медведи, обезьяны, мартышки — кого там только не было...

Особенно запомнился Султанмурату огромный, серопепельный, как бугор после выжженной травы, слон, все

переступающий с ноги на ногу и раскачивающий хоботом. Вот это да! Стояли люди, глазели на слона и всякие байки рассказывали. Что он мышей боится. Что дразнить его нельзя, не дай бог, сорвется с цепей, порушит весь город на мелкие черепки. Но больше всего понравился Султанмурату рассказ одного старика узбека, тот сказал, что слон — самое умное животное на свете. Хоботом поднимает он здоровенные бревна на лесных работах, но и хоботом младенца подберет с земли, если змея или еще какая-нибудь опасность угрожает ребенку, а взрослых поблизости нет.

Такие рассказы и отцу нравились. Стоял он, удивленно покачивая головой, покая языком, и каждый раз обращался к сыну: «Ты слышал? Вот ведь какие чудеса бывают на свете!»

Ну и, конечно, запомнилась комната смеха. Там над самим собой смеешься сколько тебе влезет...

Султанмурат покосился на Мырзагуль, сидящую через несколько парт. «Тебя бы туда, в комнату смеха! — подумал он озорно. — Сразу бы по-другому заговорила, красавица! Как увидела бы себя в тех зеркалах, перестала бы важничать». Но он тут же устыдился своих мыслей. Чего он к ней пристал, что плохого она ему сделала? Девочка как девочка, ну красивая, красивее всех в классе. Так что, виновата, что ли? Бывает, и «жаман» * схватывает.

Однажды учительница отобрала у нее на уроке зеркальце. Рано, говорит, любоваться начала. Мырзагуль сделалась красной-красной от стыда, чуть не заплакала. А ему почему-то обидно стало за нее. Подумаешь, зеркальце какое-то, а если оно случайно оказалось в ее руках...

Глянув еще раз в ту сторону, Султанмурат пожалел ее. Посинела Мырзагуль, съезжилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни, может быть, она плачет. Ведь у нее отец и брат на фронте... А он о ней так плохо думает. Вот дурак, действительно дурак.

Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривляться. А что, все кашляют, а он чем хуже? Инкамал-апай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения.

* Ж а м а н — оценка «плохо».

После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. Аджимурату — пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье, прямо как всамделишный пагап. А девочкам — какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку — и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили и потом разных сладостей...

Весь базар обошли, все повидали, на карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а ты уже джигит, года через два женить тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели. А потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на стапцию, на нефтебазу, залить бочки — да в обратный путь. Время уже позднее. И правда, солнце уже клонилось за город, когда они приехали на нефтебазу. Отсюда поехали окраиной, подкрепились в попутной чайхане пловом и двинулись назад.

В сумерках покинули пригородные сады и снова очутились на той дороге, по которой приехали днем в город. Вечер стоял теплый, настоящий на запахах летних трав. Лягушки затурчали в придорожных арыках. Лошади шли мерным шагом, с полными бочками не очень-то побежишь. Мало-помалу Султанмурата стало клонить ко сну. Устал. Как не устать — день-то был всем дням день. Жаль, что негде было на бричке растянуться и уснуть. Уж очень хотелось спать. Привалился Султанмурат к плечу отца и заснул как ни в чем не бывало. Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал неподолгим сном. И перед тем как уснуть, всякий раз успевал подумать: как здорово, что на свете есть отцы. Покойно и надежно было ему на крепком отцовском плече. А бричка погромыхивала и поскрипывала, кони стучали копытами.

Не помнил Султанмурат, сколько проехали, только вдруг бричка остановилась. Колеса перестали стучать. Все умолкло. Отец поднял его на руки и куда-то понес.

— Вот какой вымахал, не утащишь. Тяжеленный какой стал, — бормотал он, прижимая его к груди.

Потом улесил его на кучу сена, прикрыл фуфайкой и сказал:

— Ты спи, а я выпягу лошадей попасться.

Султанмурат даже глаз не открыл, так хорошо спа-

лось. Только подумал опять: как здорово, что на свете есть отцы...

Потом он еще раз проснулся, когда отец расшнуровал его ботинки и стащил с ног. Как же они жали, оказывается, целый день, эти ботинки. И как отец догадался, что они жали ноги?

И он снова заснул, ощущая телом полную свободу, точно бы поплыл, отдавшись на волю беспрепятственному течению. Чудилось ему, волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекаты, и в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды. То в одном, то в другом месте круто падала бесшумно горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала. Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади скусывали под корень молодую траву и как переступали они вокруг копы, позвякивая отпущенными удилами. Он знал, что отец спит рядом, что ночуют они в поле, что стóит ему открыть глаза — и он действительно увидит звезды, падающие с неба...

Но ему не хотелось открывать глаз, уж очень хорошо спалось. После полуночи стало подхолаживать. Все ближе подвигаясь к отцу, он приткнулся под боком, и тогда отец обнял его спростонья, поплотней прижал к себе. В дороге, в чистом поле, под открытым небом спали они. Это тебе не дома, не на мягкой подушке...

Часто потом вспоминался ему звездный сон...

Перепелка по соседству звонко булькала до самого рассвета, в двух шагах... Наверно, все перепелки на свете счастливые.

4

— Султанмурат, что с тобой? — Инкамал-апай подошла к его парте, и только тогда он заметил ее.

— Да нет, ничего. — Как бы оправдываясь, Султанмурат встал с места.

В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель.

— То ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса, — недовольно проговорила Инкамал-апай, зябко передергивая плечами. — Иди лучше принеси соломы и затопи печь.

Султанмурат с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает среди урока. На переменах

дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость.

Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударило. Эх, это тебе не Цейлон! Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел, как спешился с коня председатель колхоза Тыналиев, раненый фронтовик. Сам молодой еще, а ходил кособоко. Сколько-то ребер у него не хватает. Оказывается, он с парашютом прыгал, десантником назывался. А до войны агрономом был, говорят. Султанмурат, однако, этого не помнил. Все довоенное — как иной мир, уже и не верится, что была она, довоенная жизнь..

Захватив большую охапку соломы, Сулганмурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашущукались, оживились.

— Тихе, не отвлекайтесь! — потребовала Инкамал-апай. — А ты, Султанмурат, занимайся своим делом, и без лишнего шума.

В печке, в самой сердцевине нагоревшей соломенной золы сохранился, как младенческое дыхание, тлеющий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще и еще, печь загудела, пожирая солому. Успевай только подкидывать. Веселей стало в классе.

Хотелось обернуться к ребятам, показать кое-кому рожу, посмешить, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Анатаю на задней парте. Он, видите ли, самый старший, ему пятнадцать с половиной лет, задиристый, да и к Мырзагуль, случается, пристаёт. Дулю бы ему показать. На, на! Но нельзя этого делать. Учительница строгая. Да, мол, и не хочется лишний раз огорчать ее. Что-то в последнее время писем нет от ее единственного сына. Он командир, артиллерист. Очень она им гордится. А муж ее куда-то исчез еще до войны, что-то плохое с ним случилось. Не говорят даже люди, что с ним случилось. Потому она и приехала в аил и стала здесь учительствовать. Сын же ее занимался в педучилище в Джамбуле, оттуда и пошел на фронт. Как увидит в окно верхового почтальона Инкамал-апай, прямо с урока посылает кого-нибудь за письмом. Тот выбегает во двор и, если письмо, во весь дух назад. Существует даже очередь — кому в следующий раз выбегать за письмом для учительницы.

Когда приходит письмо, это целый праздник! Инкамал-апай тут же быстро пробегает глазами коротенькое

письмецо, и когда поднимает голову от бумаги, то вроде бы другая учительница появляется в классе. Невозможно оставаться спокойным, видя, как радуется твоя учительница с седыми прядями, аккуратно подоткнутыми под платок, невозможно, чтобы сердце не сжалось при виде слез на ее глазах.

— Всем вам, ребята, большой привет. Ваш агай жив-здоров. Воюет, — говорит она, удерживая дрожащий голос, и никак не удается классу скрыть свою радость за нее. Все улыбаются ей, как бы тянутся к ней, разделяя ее счастье. Но в следующую минуту она напоминает: — А теперь, ребята, продолжим наше занятие.

И тогда наступает самое прекрасное, самое лучшее в учении: слова ее как бы умножают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в ум и души учеников. Это ее взлет, и класс сидит завороченный...

В последние дни что-то тревожит ее, что-то тревожит... И, наверное, потому, когда в дверях класса появляется председатель колхоза Тыналиев в сопровождении завуча, Инкамал-апай медленно отступает к доске. И все-таки находит в себе силы сказать:

— Встаньте, ребята. А ты, Султанмурат, иди на свое место.

Захлопнув дверцу печки, Султанмурат быстро вернулся к своей парте.

Пришедшие поздоровались.

— Здравствуйте! — ответил им класс.

Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже.

— Что-нибудь случилось? — спросила Инкамал-апай перехваченным голосом.

— Ничего плохого не случилось, Инкамал-апай, — успокоил ее сразу Тыналиев. — Я пришел по другому делу. Разговор у меня к ребятам. А что на урок вторгся, извините — мне разрешили, — кивнул он в сторону пожилого завуча.

— Да, разговор важный, — подтвердил завуч. — Садитесь, ребята.

Класс разом сел.

Председателя колхоза все знали, хотя председательствовать он стал недавно, с осени, после возвращения с фронта, да и сам он знал, пожалуй, тут всех. Не для знакомства же он пришел. Да и с чего бы? Ученики седьмого класса — это уже приметный в аиле народ. С каж-

дым из них, семиклассников, разговор мог состояться дома, в конторе, на дороге, где придется в аяле. Но чтобы председатель пришел в школу на урок для особого разговора с учениками, такого еще никогда не бывало. Да и что за разговор, какой может быть разговор? Летом другое дело, все до единого работают в колхозе, а сейчас какой разговор?

— Дело у меня такое, — начал Тыналиев, внимательно всматриваясь в напряженные лица ребят и все время ссылаясь держаться прямее, чтобы не так бросалась в глаза его кособокоость. — Холодно у вас в школе, помочь я вам ничем не могу, кроме соломы. А солома, известно, вспыхнет и погаснет. Кизяк, которым прежде топили школу, вывозили с гор вначале вьюком, а потом перегружали в телеги. В прошлом году заниматься этим было некому и некогда. Все на фронте. Есть у меня под замком две тонны угля, которые я купил в Джамбуле у спекулянтов. Это уголь для кузницы. Купил я железа для кузницы, тоже у спекулянтов. Мы с ними когда-нибудь сочтемся. А пока положение очень тяжелое. И на фронте тяжелое. В прошлом году мы не справлялись, не успели засеять гектаров двести озимой пшеницы. Никто не виноват. Война. Можно и так. Но если везде, во всех колхозах и совхозах недоберут, недосеют, недоделают, как мы у себя, то, может случиться, врага не одолеем. Да, чтобы одолеть такую силу, надо иметь и хлеб и саряд. Я и пришел к вам, ребята, придется кое-кому из вас оставить пока школу. Время не ждет, надо готовить тягло к весновспашке, а тягло у нас — страшно смотреть, довели, на ногах едва держится. Надо готовить сбрую, а она вся разбитая, надо ремонтировать плуги и сеялки, а инвентарь у нас под снегом... К чему я все это говорю? К тому, что недосеянные площади озимой мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало, безоговорочно, как на фронте! А это значит сверх плана собственными силами дополнительно вспахать и засеять двести гектаров яровых. Две-е-сти! Вы понимаете? А где взять силы, на кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть и что уже делается к весенней кампании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугарей, двухлемешников. Думали, гадали. Женщин послать не можем. Это далеко, в Аксае. Людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам...

Вот так говорил председатель Тыналиев, суровый и замкнутый человек, ходивший в своей неизменной армей-

ской серой шинели, в которой он, конечно же, мерз, в серой ушанке, с озабоченным заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку...

Вот так говорил председатель Тыналиев, стоя у школьной доски с географической картой, возле той самой карты, на которой люди умудрились поместить все земли и моря, включая такие расчудесные теплые страны, как Цейлон, Ява, Суматра, Австралия, где живи себе в удовольствие и плюй в потолок...

Вот так говорил председатель Тыналиев в школе, топленной соломой, от которой больше сора на полу, нежели тепла. И когда он говорил, что надо на далеком Аксае поднять дополнительно сотни гектаров яровых для фронта, пар шел из его рта, как на дворе...

Вот так говорил председатель Тыналиев...

А за окном все выюжило, кружило, задувало в щели. Султанмурату у окна было видно, как перетаптывался на ветру, как пытался укрыть свою голову от ветра запуржавевший председательский конь у столба. А ветер трепал ему гриву, запрокидывал набок распущенный хвост. Холодно было коню...

Да, тут тебе не Цейлон...

— Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы, — объяснил Тыналиев. — Это вынужденная мера. Вы должны понимать. После войны, а может, и раньше буду жив, сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжали учебу. А пока получается вот такая картина...

Потом говорил завуч. Потом снова Тыналиев. Когда в классе началось оживление — ребята стали тянуть руки: я, мол, я хочу на работу, — Тыналиев сразу внес ясность:

— Если кто думает, что мне нужны всякие ученики, тот ошибается. Кто плохо учится, тот плохо работает. А во-вторых, хорошему ученику потом легче будет догонять упущенное время. Ну вот ты, Султанмурат, вроде бы самый большой в классе...

Ребята зашумели:

— У нас Анатай самый большой. Ему скоро шестнадцать лет.

— Я не о возрасте сейчас. О росте говорю. Да и не это главное. Ну вот ты, Султанмурат, — снова обратился к нему председатель. — Ты в прошлом году огороды пахал, так ведь?

— Да, — ответил Султанмурат и встал с места. — Пахал на Аральской улице.

— На двухлемешном, четырехконном?

— Да, на двухлемешном, четырехконном, но я только помогал. То был плуг Сартбая, а его как раз взяли в армию. Огороды запаздывали. Аксакал Чекиш попросил меня помочь.

— Я знаю об этом. Потому с тебя и начал, — сказал председатель.

Все оглянулись на Султанмурата. Он поймал на себе взгляд Мырзагуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие, и сама покраснела вдруг, точно речь шла о ней. И ему стало неловко от этого, даже сердце заколотилось.

— Я тоже пахал огороды! — выкрикнул с места Анатай.

— И я, — вставил Эркинбек.

Вслед за этим еще раздались голоса.

Но Тыналиев попросил тишины.

— Давайте по порядку, ребята. Дело тут серьезное. Начнем с учебы. Как у тебя с учебой? — опять обратился он к Султанмурату.

— Да не очень, — проговорил Султанмурат.

— Что не очень?

— Ну, не очень плохо.

— Но и не очень хорошо, — вставила все это время молчавшая Инкамал-апай. — Я ему всегда говорю: ты мог бы учиться гораздо лучше, во сто раз лучше. Он очень способный. Но вот беда — ветер в голове гуляет.

— Да-а, — задумчиво протянул председатель. — А я-то рассчитывал... Ну ладно. Отец у тебя на фронте. Стало быть, будешь добывать для него хлеб. А как у тебя, Анатай?

— Да так же, — ответил тот, набычившись и поднимаясь с места.

— Выходит, один другого не лучше, — усмехнулся Тыналиев и, помолчав, сказал: — Когда вернетесь снова в школу, поймете цену учения. Знаю я, по себе знаю. Чуть что — а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Анатай?

Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался:

— Не знаю.

— Я тоже не все знаю, — сказал Тыналиев, — но не будь войны, пошел бы учиться, еще поучился бы.

В классе послышался откровенный смех. Смешно — совсем уже взрослый человек, сам председатель колхоза, а хочет учиться. А им уже надоело, так надоело в школе!

— А что смешного? — улыбнулся Тыналиев. — Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом, попозже, поймете.

И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя:

— Башкарма-агай, а правда, что вы прыгали с самолета?

Тыналиев кивнул.

Мальчишка не унимался:

— Вот здорово! А не страшно? Я один раз с крыши табачного сарая прыгал на кучу сена — и то колени задрожали!

— Да, прыгал. Но только с парашютом, конечно, — объяснил Тыналиев. — Это такой купол над головой, он распускается, как юрта...

— Знаем, знаем, — хором загудел класс.

— Ну так вот, мы были десантом. Прыгать с парашютом — это была наша работа.

— А что такое десант? — снова раздался чей-то голос.

— Десант, говорите? Это отряд подвижный, боевой, который забрасывается или отсылается куда-нибудь для выполнения особого, важного задания. Ясно, понятно?

В классе молчанье.

— В десанте может быть несколько человек и много тысяч людей, — объяснил Тыналиев. — Важно, что десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно. Если не все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. Анатай, ты садись, что ты стоишь? Твой отец тоже на фронте воюет.

— И мой!

— И мой тоже!

— И мой!

— И мой!

Тыналиев поднял руку:

— Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех, кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот, Анатай, и ты пойдешь добывать хлеб отцу, и тебе придется на год, а возможно, и больше оставить школу.

— Я тоже! И я! И я! — начали было высказывать некоторые. Ведь каждый в таких случаях мнит себя героем. А тут такая оказия — в школу не ходи. Работай на лошадях. Чего еще надо?

— Нет, погодите! — успокоил их председатель. — Так не пойдет. Только те, кто уже имел дело с плугом. Вот ты, Эркинбек. Ты тоже пахал огороды? Отец твой погиб под Москвой, я это знаю. Многие отцы и братья погибли. Тебя тоже, Эркинбек, прошу. Помоги нам. Придется тебе землю пахать вместо учебы в школе. Ничего не поделаешь. А матери твоей я сам объясню...

Потом председатель Тыналиев назвал еще двоих ребят — Эргеша и Кубаткула. И сказал, чтобы завтра с утра все названные им были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров.

Дома уже, поздно вечером, когда собирались ко сну, Султанмурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устало потирая лоб, — целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми, — а Аджимурат, глупый, возликовал некстати:

— Вот это да! Не учиться в школе! Плугарем быть, на лошадях! Я тоже хочу!

Мать строго спросила:

— Уроки учил?

— Да, выучил, — ответил Аджимурат.

— Иди ложись спать и ни слова чтобы! Ясно?

А старшему она ничего не сказала.

И только потом, уложив девочек, собираясь задуть лампу, пригорюнилась возле лампы, решила, наверное, что Султанмурат уже спит, заплакала, положив голову на руки. Тихо и долго плакала, вздрагивая худыми плечами. Тяжко стало на душе Султанмурата, хотелось встать, успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова. Но не посмел тревожить ее, пусть одна побудет. Ведь думает сейчас и об отце (как-то он там, на войне), и о детях (четверо их), и о доме, и о разных других нуждах.

Женщина, она есть женщина. Часто они плачут, женщины. И учительница Инкамал-апай, когда ушел председатель Тыналиев из класса, тоже очень расстроилась, растерялась даже. Уже прозвенел звонок на перемену, а она сидела за столом и не уходила. И класс сидел, никто не выбежал, ждали, пока учительница встанет с места и направится к дверям. В дверях-то и заплакала Ин-

камал-апай. Старалась выдержать, и не получилось. Ушла в слезах. Мырзагуль понесла в учительскую забытую карту и тоже вернулась с мокрыми глазами. Да, конечно, женщины есть женщины. Жалеют они всех и потому плачут. А что тут такого, подумаешь, ну год, ну два, а война кончится — снова можно пойти в школу...

С этими мыслями засыпал Султанмурат, прислушиваясь, как мело и мело за окном летучим снегом.

На другой день утром все так же мело. Поземка курилась по насту. Небо отяжелело в сплошных тучах. Замерз Султанмурат, пока дошел до конного двора.

Дело, задуманное председателем Тывалиевым, оказалось гораздо труднее, чем думал Султанмурат вчера. Во-первых, с председателем и бригадиром, тощим, рыжебородым старичком Чекишем, раздавшим всем по четыре недоуздка, пошли к загону у старой конюшни. Здесь на заснеженном дворе понуро бродили извозные лошади, перебирая в полупустых яслях объедки сена. Известно, летом кони бывают справные, зимой теряют тело, но эти — кожа да кости. Работали-работали на них, а зима грянула — бросили в общем дворе. Кормить, следить некому. Корма в обрез. А что есть, берегли на весно-вспашку.

Ребята остановились в полной растерянности.

— Ну что уставились! — заворчал старый Чекиш. — Думали, вам здесь Манасовых тулпаров* на расчалках будут удерживать? Выбирай с краю — и не ошибетесь. Через двадцать дней любой коняга из этих взыграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь! Лошади семижильные — им только корм да уход! А остальное они сами знают!

— Берите, ребята, всем необходимым обеспечим, — подсказал председатель. — Начинайте. Каждому четверка. Какие приглянутся.

И тут случилось неожиданное. Среди этих тощих беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони — Чабдар и Чонтору. Вначале Султанмурат разглядел Чабдара, по масти чалой признал, потом и Чонтору. Головастые, взъерошенные, на худющих ногах, толкнешь — свалятся. Обрадовался и испугался Султанмурат. Вспомнил разом, как ездили с отцом в город. Какые они были, эти кони, в руках отца. И теперь. Как уве-

* Манасовы тулпары — легендарные скакуны из войска Манаса, героя народного эпоса «Манас».

ренно и прочно бежали в упряжи справные и сильные тогда Чабдар и Чонтору. И теперь.

— Вот они, поглядите, вот кони моего отца! — крикнул Султанмурат, обернувшись к председателю и бригадиру. — Вот эти, Чабдар и Чонтору! Вот они!

— Правильно! Верно! То бекбаевские лошади были! — подтвердил старик Чекиш.

— Бери их себе, раз такое дело! Бери себе отцовских, — распорядился председатель.

К отцовским коням Султанмурат подобрал еще пару — Белохвостого и Карего. Получилась четверка. Упряжь для двухлемешного плуга. Ребята тоже выбрали себе лошадей.

С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года...

Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да еще каждый день бегали в кузницу помогать старому Барпы и его хромоногую молотобойцу ремонтировать плуги, с которыми предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие свое, и то заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, закаляли в огне и воде. Не каждый лемех удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца подняться на крышу кузницы кликнуть ребят с конного двора.

— Эй вы, плугари! — звал их хромоногий молотобоец с крыши. — Бегите сюда, устаке* вас зовет к себе!

Ребята прибежали. И тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый воронено-сизый, заново откованный лемех.

— На, держи, — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. — Бери, бери, подержи в руках. Полюбуйся. Примерь иди к плугу. Прикинь, как он ляжет под отвал. А? Красота! Как жених с невестой сошлись! А на пашне сверкать будет почище ташкентского зеркала. Рожь-то свои будете разглядывать в в таком лемехе! А может, и девчонке какой подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок! А теперь по-

* Устаке (уста) — мастер.

ложки вон там, к себе на полку. Увезешь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставлю без лемехов. Каждому по три пары заготовлю. Единственно, зубы себе новые отковать не смогу, а все остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы еще, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге — лемех! Ради лемеха все остальное устроено. Лемех силен — борозда сильна, Лемех затупился — плугарь не годится. Вот ведь какая сказка...

Хорош он был, старый Барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело свое знал.

В шорную мастерскую тоже приходилось часто навещаться. Бригадир Чекиш обязал. Помогите, говорит, сбрую налаживать. Без сбруи, говорит, никуда не двинетесь. Плуги будут, кони будут, но без сбруи все впустую. Также верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам, как умел, подогнать загодя сбрую для своих коней.

Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, еще и поздний вечер уходил на работу в конюшне. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить, спешить надо было!

Времени оставалось в обрез. Шел уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, от силы тридцать пять дней. Успеют ли рабочие лошади восстановиться и обновить силы к началу пахоты — зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм, и днем и ночью...

По расчетам Тыналиева, в конце февраля, сразу, как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище. Когда-то, в какие-то далекие времена, люди пахали и сеяли на Аксае. Но потом аксайские поля остались почему-то заброшенными. Возможно, потому, что Аксай — место далекое, безлюдное. Да и поля там неполивные, и лежат они все больше по пригоркам... Бригадир Чекиш рассказывал, отец еще ему говорил, что с Аксае пахарь или по миру пойдет, или народ будет скликать, чтобы помогли хлеб вывезти. Перво-наперво — вовремя отсеять. А второе — от дождей зависит урожай на Аксае. Так говорил старик Чекиш.

«Земледелец всегда рискует, но всегда надеется» — так говорил Тыналиев. На то и рассчитывал Тыналиев,

на то и готовил силы плугарей — с надеждой, что будет дождь на счастье и будет хлеб аксайский...

Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного, дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало. Зима вроде задумалась, засобиралась. И потому на день лошадей выводили на солнцепек, к наружным акурам*. На солнцепеке лошади лучше едят и быстрее входят в тело. Все пять четверок, двадцать голов аксайского десанта, стояли в один ряд у длинного акура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки. Это Тыналиев назвал их аксайским десантом. Отсюда и пошло — бригадиры, возчики, конюхи называли их не иначе как десант, десантники, аксайские лошади, аксайское сено, аксайские плуги. Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. Об аксайском десанте весь аил уже говорил. И все знали, что командиром десанта Тыналиев назначил сына Бекбая Султанмурата. Назначение это не обошлось, правда, без спибки с Анатаем. Тот сразу заспорил:

— А почему командир Султанмурат? Может быть, мы его не хотим!

Султанмурата эти слова обожгли. Не утерпел:

— А я вовсе не хочу быть командиром! Хочешь, так сам будь!

Ребята, Эркинбек и Кубаткул, тоже вмешались:

— Ты, Анатай, завидуешь!

— Что тебе, жалко? Раз сказали — значит, командир Султанмурат!

А Эргеш заступился за Анатая:

— А чем Анатай не годится? Он сильный! Только ростом чуть ниже Султанмурата. В школе мы выбирали старосту, давайте и командира выбирать... А то чуть что — Султанмурат, Султанмурат!

Тыналиев молча слушал их, а потом усмехнулся, покачал головой и вдруг посерьезнел, суровым стал.

— Ну-ка прекратите шум! — приказал он. — Идите сюда. Встаньте в ряд. Вот так, шеренгой. Раз уж вы десант, то будьте десантом. А теперь слушайте меня. Запомните, командир не избирается. Командир назначается вышестоящим начальником.

— А того начальника кто назначает? — перебил Эргеш.

* Акур — глинобитные кормушки для стойловых лошадей.

— Еще более вышестоящий начальник!

Наступило молчание.

— Вот что, ребята, — продолжал председатель. — Война идет, и придется нам жить по-военному. Учтите, я отвечаю за вас головой. У двоих отцы погибли, у троих отцы на фронте. Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. Но я беру на себя эту ответственность потому, что верю вам. Вам же предстоит отправиться с плугами на далекий Аксай. Много дней и ночей будете одни в степи, как десант парашютистов с особым заданием. Как вы там будете жить и работать, если по каждому случаю спорить да кричать начинаете?

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем ребят на конном дворе. Бывший парашютист стоял перед ними все в той же армейской серой шинели, все в той же армейской серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку.

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем аксайского десанта, командиром которого он назначил сына Бекбая Султанмурата.

— Ты отвечаешь за все, — говорил он. — За людей, за тягло, за плуги, за сбрую. Ты будешь отвечать за пахоту на Аксае. Отвечать — значит выполнять задание. Не справишься — назначу другого командира. А пока никаких и ничьих возражений не принимаю.

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день на конном дворе перед маленьким строем аксайского десанта.

Плугари преданно и восхищенно смотрели ему в лицо, готовые выполнить любое приказание. Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас, сивогривый, грозный, в кольчуге, а они перед ним — как верные батыры его. Со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные витязи, на кого возлагал Манас надежды свои?

Первым был славный витязь Султанмурат. Пусть не самый старший, пятнадцать шло уже годов. Но за ум и за храбрость командиром назначен был он, сын Бекбая Султанмурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеком, на большой войне. Своего боевого коня Чабдара он оставил ему, Султанмурату. Еще братец малый у Султанмурата — Аджимурат. Очень любил он братца, хотя тот, случалось, и досаждал ему. А еще тайно любил Султанмурат красавицу Мыр-

загуль-бийкеч. Прекрасней всех улыбка у Мырзагуль-бийкеч. А стройна была, как туркестанский тополь, а лицом бела как снег, а глаза — как костры на горе темной ночью...

Вторым витязем был славный Анатай-батыр. Самый старший в отряде, почти шестнадцати лет. Он ничем никому не уступал, разве ростом чуть-чуть. Зато силой наделен был самой большой. Конь у него, как подобает батыру, прозывался Октор — гнедая стрела! Отец Анатай тоже был на большой войне, в далеком походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу лунолицую — Мырзагуль-бийкеч. Очень жаждал он поцелуя красавицы...

Третьим витязем был милый юноша Эркинбек-батыр. Самый старший в семье. Друг хороший и верный. Печально вздыхал он, бывало, и плакал украдкой. Отец его смертью храбрых погиб в том походе далеко, защищая Москву. Конь боевой Эркинбека, как подобало батыру, прозывался Акбайпак-кулюк, что означало скакун в белых носках!

А четвертым батыром был Эргеш-батыр. Тоже друг и товарищ. Пятнадцати лет. Свое мнение высказать он любил, в споры вступал. Но в деле надежным был человеком. Отец его тоже на большой войне, в походе далеко. Конь Эргеша, как подобало батыру, прозывался Алтын-туяк — золотое копыто!

Среди этих батыров был еще пятый батыр — Кубаткул-батыр! Тоже пятнадцати лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеко, в той большой войне погиб смертью героической в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был. И очень любил, как всякий батыр, своего боевого коня Жибекжала — шелкогривого скакуна!

Вот такие батыры стояли перед Тыналиевым. А за ними, за их щуплыми плечами, за их головами на тонких шеях стояли у коновязи вдоль длинного акура их плуговые четверки — пять четверок, двадцать кляч извозных, которых предстояло впрячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Аксай...

На Аксай, на Аксай пашню орать, как только снег сойдет! На Аксай, на Аксай плугом ходить, как только земля задышит!

Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно. Однако дни приближались. И все шло к тому...

И приближались те дни...

Плуговых лошадей для Аксая называли по-разному — кто десантные, кто аксайские, — но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные аксайцы стояли в ряд вдоль десантного акура, радуя глаз прибывающей силой мускулов, веселым взглядом и чутко прядущими ушами. Проснулся в них конский поров, и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые. Лошади уже привязались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом, ласково ржали, обращаясь на знакомые голоса и шаги, тянулись шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивая, лезли чуть ли не под брюхо коня: «А ну-ка, прими ногу, отступи! Стой, стой, дурья башка, успеешь! Ишь тянется, ласкается, хитрюга! Только дулю тебе, ты у меня не один!»

В первые дни плелись, бывало, лошади на водопой, как полусонные, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке и Кубаткул на Жибекжале. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке.

Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был не скользкий. Тем более когда много лошадей сразу хотят напиться. Потому необходимо заранее обрубать припай у берегов, соломки подстилать на опасных местах. А в сильные морозы бить проруби. Султанмурат и здесь установил строгое дежурство: кому в какой день заниматься подготовкой водопоя.

Не спеша, не толкаясь, пили лошади под призором плугарей чистую студеную проточную воду. Вода выбежала отсюда из-под льда по каменистой отмели и снова утекала по камням под лед. И подо льдом булькала, позванивала, билась о наст...

Лошади как бы прислушивались, переставали пить, пригревались в коротких солнечных лучах и снова принимались тянуть в себя воду. Напившись, они не спеша выходили на дорогу, возвращаясь в конюшню, начинали играть, храпя, раздувая ноздри, распустив хвосты, носились они взад и вперед, взбрыкивая и вскидываясь на дыбы. Ребята скакали вокруг, гарцевали, шумели.

Прошло еще немного времени, и люди стали заглядывать, чтобы полюбоваться на десантных лошадей. Вроде бы совсем и не те клячи, а заново рожденные. Старики не упустили случая порассуждать на этот счет, что, мол, нет на свете более отзвучившего существа, нежели лошадь, когда она в работащих, добрых руках. Ты ей сделал вот столько добра, с кончик мизинца, а она тебе сторицей отплатит. И разные истории рассказывали: какие были кони в старину!

И только председатель Тыналиев был скуп на похвалу. Взыскательным, колючим взором осматривал он лошадей и прежде всего самих десантников. Проверял, как и что, как плуги, как сбруи готовы, почему не залатана чья-то штанина на колене — если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки? А попоны, когда наконец попоны будут готовы? На Аксай с собой конюшню не повезешь, по ночам будут холода в степи. Торопил, напоминал, что времени остается все меньше, что на Аксае будет поздно делать то, что сейчас надо делать. Случалось, до криков, до ругани доходило, выговаривал бригадир Чекишу, когда ездовые на мажарах не успевают вовремя подвезти клеверное сено, особо сберегаемое для плуговых лошадей, и в первую очередь для аксайских.

И кто еще не высказывал особых восторгов, так это матери. Приходили то одна, то другая, выговаривали, что это за наказание такое, придумали какой-то десант, сроду такого не слыхали, мало того что мужья на войне, так теперь и сыновья, как солдаты, ни тебе помощи по хозяйству, ни поговорить по душам, только и пропадают на конюшне с утра и до ночи... И многое другое справедливое, если разобраться.

Султанмурату больше всего перепало, на то командир. За всех приходилось держать ответ. А держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой, устала: «Только бы отец живой вернулся с войны, пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спохватись-ся, сынок, когда ноги вытяну, да поздно будет...» Жалко было мать, очень жалко, но что мог поделать Султанмурат, да и любой на его месте. У каждого из десантников по четыре коня и много другой работы. Корми, пои, чисти, корма готовь, и снова корми, пои, чисти, навоз выноси, и снова сначала... А какой это труд — промывать и лечить лишай старые, намятые раны на плечах и холках лошадей. Участковый ветфельдшер оставил всякие рас-

творы да мази, лечить приходится самим. Каждый день. Иначе не залечишь. Откормить откормишь, но хомута не наденешь на рану. Вот ведь как. Ни одного коня не было целого, все с болячками на плечах, с разбитыми ногами. Конь не понимает, что его лечат, попробуй удержать.

Когда лошади набрали тело, настоялись, потребовалась проминка, каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять, а не то, как говорил бригадир Чекиш, «в плугу вода пойдет с него и пустое место останется». И тут случилась крупная неприятность...

Выехали как-то проминать лошадей все впятером на своих лучших «боевых» конях. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Атынтуяке, Кубаткул на Жибекжале. Вначале рысью, как полагалось, шли. Вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину, здесь по снежному полю порысили. День стоял солнечный, искристый, весенним светом уже присвечивало в воздухе. Горы в вышине белые-белые и такие спокойные и ясные, что появилась муха на том белом склоне, и та была бы услышана и увидена. Приутихла зима, пригревать стало на солнце.

Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось поразмяться, порезвиться. Припустили поводья, быстрей и быстрей. Так и подмывало понестись галопом. Султанмурат впереди. А Анатай подначивал сзади:

— Давай быстрей, что так тихо!

Но Султанмурат как командир не очень-то разрешал развивать скорость. Проминка — это тебе не скачки. Это работа, тренировка лошадей, чтобы потом, в упряжи, им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантом. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голос. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут. Свой класс, седьмой, шел с уроков, и еще другие классы. Гурьбой шли шумной. И в той гурьбе различил Султанмурат ее, Мырзагуль, узнал сразу. Как он ее отличил, сам не знает, но то была она. По лицу, мелькавшему в полушалке, по фигуре, по походке, по голосу узнал. И она, кажется, узнала его. Она тоже бежала вместе со всеми с бугра, что-то кричала и размахивала сумкой. Вроде бы даже крикнула: «Султанмура-а-а!» И то, как бежала она, раскинув руки, как устремлена была к нему, врезалось в память как вспышка, и понял он разом, что думал и тосковал о ней все эти дни... И от ра-

дости точно бы волна какая-то подхватила его, и понесла, и понесла, закружила...

Как-то так получилось, все они поскакали галопом, направляясь туда, к бугру, с которого спускались их одноклассники. Быстро помчались, минули поле и пошли на косогор. Они могли проскочить вдоль бугра по откосу, прогарцевать кавалькадой перед восхищенными взорами, а дальше на конюшню. Султанмурат так и рассчитывал. И вот тут Анатай вырвался вперед. Его Октор был резвый конь.

— Стой, куда ты, не скачи! — предупредил его Султанмурат, но Анатай даже не оглянулся.

Странная мысль ожгла Султанмурата: «Это он хочет, чтобы она увидела его!» И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чабдара, закричал, загигикал, прилег к гриве, наступать стал Анатай. А Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они наперегонки, кто кого, кто первый к ней, кто покажет свое удалство и превосходство. Ох как здорово они неслись! И все равно Чабдар был сильнее, недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун. Возликовал Султанмурат, настигая Анатай, как вихрь! А краем глаза видел, как приостановилась с разбегу гурьба одноклассников, следя за вспыхнувшим состязанием, и едил, видел среди них ее, на нее-то главным образом и смотрел. Ради нее вступил он в это единоборство. И одерживал верх! Обгоняя Анатай, взял чуть выше по склону, чтобы ближе быть к ней, и хорошо, то была великая удача, что пустил Чабдара чуть выше по склону, иначе кто же знает, чем бы все это кончилось. Потому что в следующее мгновение, когда он, поравнявшись бок о бок с Анатаем, обходил его, выигрывая полкорпуса, что-то стряслось в тот момент с Анатаем. Все вскрикнули разом. Натягивая поводья, Султанмурат оглянулся — Анатай позади не было. С трудом умерив разбежавшегося коня, развернулся и тогда увидел, что анатаевский Октор упал, скатился со склона, пропахав в снегу широкий и рваный след, а сам Анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к Анатаю, медленно, с трудом встающему со снега.

Перепугался Султанмурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатай и еще больше испугался. На секунду встретился взглядом с Мырзагуль. Бледная и растерянная была она и все равно самая красивая... Анатай, придя в себя, побежал к коню, барахтающемуся внизу в сугробе. Запутался конь в поводьях. Тем временем подо-

спели сзади остальные десантники. Все вместе помогли лошади подняться на ноги. Тут только расслышал Султанмурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно.

Вот таким конфузом обернулась попытка батыров покрасоваться на глазах у Мырзагуль-бийкеч. Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать, пора было возвращаться на конюшню. И только приближаясь к анлу, заметил Эргеш, что Октор под Анатаем хромает.

— Стой! — окликнул он. — Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?

— Хромает? — растерянно спросил Анатай.

— Ну да! И еще как!

— А ну поезжай вперед, — велел Султанмурат. — Поезжай, а мы посмотрим.

В самом деле, Октор сильно припадал на переднюю правую ногу. Стали ощупывать и обнаружили. Сустав запястья начал уже припухать. Скверно получалось. Не знали, как и быть. Готовили, готовили коня к плугу и вот доигрались. Разве можно было устраивать перегонки по заснеженному склону, ведь на каждом шагу лошадь может поскользнуться и покатиться вниз. Так оно и произошло. Хорошо еще сами не убились.

— Это ты виноват! — сказал вдруг Анатай, раскрасневшись и разозлившись. — Это ты пошел наперегонки!

— А разве я тебе не кричал: «Стой, куда ты!»?

— Так не надо было обгонять!

— А зачем же ты поскакал?

Расшумелись, заспорили. До драки чуть не дошли. Однако опомнились. Вернулись на конюшню с проминки с хромым конем. Смирные вернулись, притихшие. Без лишнего шума развели лошадей по своим местам, охромевшего Октора тоже привязали у акура, а как быть дальше, сами не знали. Растерялись, затаились. Понимали, что предстояло отвечать. Ребята говорили Анатаю: иди, мол, доложи конюхам, что и как случилось, вот, мол, захромал Октор, как быть? А он ни в какую:

— Почему я должен идти? Я не виноват. Есть у нас командир. Пусть он докладывает.

И опять заспорили, и опять чуть до драки дело не дошло. Больше всего возмущало Султанмурата то, что Анатай вовсе не считал себя виноватым.

— Баба ты! — обзывал его Султанмурат. — Ты на словах только герой! А чуть что — в кусты! Думаешь, боюсь? Раз случилось такое — сам пойду и расскажу.

— Вот и иди! На то ты и командир, — не унимался Анатай.

Пришлось Султанмурату набраться духу, рассказать конюху все как было. Тот всполошился, прибежал, стал осматривать покалеченного коня. Шум был большой. Легко сказать — шуточное ли дело, тягло потерять перед самой пахотой. И тут бригадир Чекиш нагрязнул. Узнал от кого-то, кто-то успел рассказать. Конюх как раз осматривал ногу Октора, пытался определить, отчего опухоль — растяжение или трещина в кости. И тут топот позади. Все разом обернулись — бригадир Чекиш верхом на коне. Он молча спешился. И пошел к ним, грозный и взъерошенный.

— Что у вас тут?

— Да вот думаем, аксакал, растяжение или трещина?

— А что думать! — взорвался Чекиш, багровея от гнева. — Да я их сейчас всех под трибунал! Стрелять буду на месте!

Размахивая плеткой, Чекиш кинулся на плугарей. Ребята побежали врассыпную. Чекиш за ними. Догнать никого не удалось, только еще больше посинел старик от удущья и, все больше распаяясь, кричал, грозя кнутом:

— Кому мы доверили плуговых коней? Да это же вредители! Фашисты! Стрелять всех до одного! Сколько трудов, сколько корму извели впустую! А на чем теперь пахать?

Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султанмуратом. Когда ребята побежали, Султанмурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел.

— А-а, это ты! И ты еще смотришь на меня! — И не удержался старик Чекиш, протянул командира десантников плеткой через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами: — Беги, сукин сын! Беги, говорю! Убегай! Запорю!

Султанмурат стоял отшатнувшись, инстинктивно загораживая лицо руками, не сводя с бригадира перепуганных глаз. Он ждал, как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст. И собрал все силы, чтобы не побежать, выдержать, устоять...

— Ну ладно! — вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. — Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело!

Султанмурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками:

— Ты ему говоришь — беги, а он стоит! Ну подумай, ну где мне угнаться за тобой! Куда мне за вами! Побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы! А побить — на тебе одежонка худая, да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить! Ну ладно! Прости старика. Вернется отец, поколотите меня, старого, так и быть! А пока давай показывай, что вы тут натворили...

Такая история приключилась в тот день. Досталось Султанмурату. Поделом. Как тут было удержаться бригадиру от плетки. Сколькo труда, сколькo стараний пропало — куда и на что годен хромой конь? Разве на мясо. Но у кого поднимется рука на рабочую скотину? Единственная надежда была в том — Чекиш и другие знающие люди сказали, — что повреждение неопасное. Пришлось отвести апатаевского Октора к одному старику во двор. Он умел пользоваться лошадями. Клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще, дней через пять Октора привели в конюшню, дело пошло на поправку.

И вообще та неделя выдалась тяжкая. Дома мать приболела. Вначале ей нездоровилось, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось Султанмурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держали с десятков овец, теперь не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военный и другие налоги. Хорошо еще, корова имелась, вымя наливалось, телиться должна была вскоре, да аджимуратовский ишак Черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись в снопах сухие будылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится — кто его знает, как все обернется. Ишак же должен был сам себе добывать пропитание. Колючку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже — кизяк на исходе, хвороста — курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актош и та превратилась в доходягу. Приуныл Султанмурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь занятый на конном дворе подготовкой аксайского десанта, не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце? Се-

на накашивал отец, на всю зиму и весну хватало. Топлива тоже припасал с избытком. Да что и говорить, вся жизнь была устроена при отце по-иному — надежно, разумно, красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса проезжающих по дороге за двором бречек стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бречках...

Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом.

Отчего же так? Выходит, нет отца — и худо стало... Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому? В том-то и суть, однако: одно дело, когда письмо задерживается с Чуйского канала, и другое — когда с фронта. Об этом они думают, и мать и все они.

Позавчера к рассвету собака вдруг залилась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно, и раздался стук в окно. Мать встрепелась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну. Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала.

— Дядя наш Нургазы приехал, — сказала она сыну, — иди встречь. — А сама вернулась в постель, стуча от озноба зубами.

Брат матери, дядя Нургазы, жил в горах, всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Однажды его тоже призвали в армию, хотя он и немолод уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При отарах некому стало ходить. Не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы был, нет-нет да и попроведает. Вот и в этот раз, прослышав, что сестра занемогла, спустился с гор ночью, когда отара в загоне. Ненадолго приехал, узнать, что к чему, да вернуться пораньше на место.

Обветренный, заиндеветший, в тяжелой шубе, в большом лисьем малахае, в сапогах с кошмяными голенищами выше колен, вошел он, громадный и кряжистый, про-

пахший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, взял ее горячую руку в свои тяжелые ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих твердых, трудно гнущихся темно-коричневых пальцах. Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал Султанмурату, улыбаясь одобрительно:

— Ничего страшного. Простыла она у вас порядком. Хóлода в нее вошло много. А я как знал, мяса, сала курдючного прихватил... Горячей шурпы* с салом, перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, — посоветовал он сестре. — А ты, Султанмурат, сними с седла курджун, занеси что там есть в дом, а курджун освободи... Я недолго задержусь, отару не заставишь ждать.

Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытье, Султанмурат успел огонь развести, вскипятить чаю. А тут и младшие проснулись. И сразу все к дяде кинулись с постели, неодетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею. Особенно Аджимурат, любимец дяди, тот совсем превратился в дитя. Ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину, лисий малахай, надел на себя, камчу дядину в руки, а сам залез на плечи, вроде бы на коня.

— Как тебе не стыдно! Слезь! — Султанмурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам позволял:

— Не трогай его, не трогай, пусть побалуется.

Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджимурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит, все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника торопиться. С трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло до того, что Султанмурат сам за руку выпроводил брата за двери. Тот упирался и, очутившись за дверью, разревелся. С тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку.

Дядя Нургазы рассердился даже.

— Это ты его? — с упреком глянул на Султанмурата.

— Нет, тайаке**, я его не трогал.

— А почему он так заплакал?

— Не трогал он его, — вступилась и мать, поднимая голову с подушки. — Нет, Нургазы, это он с тоски по

* Шурпа — мясной суп.

** Тайаке — дядя по матери.

отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца как ни слуху...

Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберечь силы для детей, рассказывал разные случаи, когда человека считали уже убитым, а от него письмо приходило через полгода. Война, мол, есть война...

В этот раз, подле большой матери, Султанмурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджимурат, заревел бы в голос с тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем куда глаза глядят. Хотелось хотя бы маленькой надежды. Пусть даже не сразу придет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Инкамал-апай.

Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязаной шали своей стояла у покосившихся ворот, совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать, точно бы подменили старую учительницу. Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей:

— Вот, Инкамал-апай, наши четверки! Вот они все стоят вдоль акура.

— Хорошие лошади, сразу видно, ухоженные, — похвалила Инкамал-апай.

— А если бы вы видели, какие они были, — рассказывал Султанмурат. — Совсем доходяги. В липаях. Холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот, Инкамал-апай, мой Чабдар. Видите какой! Отцовский конь. А это Акбакай, вот Джелтаман...

Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжи. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке, хоть сейчас запрягай и паши...

Очень довольной осталась Инкамал-апай. И, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвали от учебы, а теперь видит — не зря пошли на эту жертву. Главное теперь — победить, говорила она, и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно...

Оказалось, что учительница Инкамал-апай была у ка-

кой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет, никакой платы, оттого что сама радуется чужому счастью, как своему. Потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын Инкамал-апай жив. И не в плену и не ранен. А только такое у него задание, что писем писать не разрешается. А когда получит на то разрешение, то — сама убедится — письма пойдут одно за другим... Сколько тут правды, сколько нет, но рассказал об этом на конюшне возчик, с которым люди ездили в район.

Подивился было тогда Султанмурат, что сама Инкамал-апай поехала к гадалке, а теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше, съездить к той вещунье, узнать об отце.

Да, тяжело и страшно было думать обо всем этом. Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мырзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли, и в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними, хотелось думать и думать о ней, о Мырзагуль. И, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама.

Он еще не понимал толком, как называется все то, что с ним происходило. Но смутно догадывался, что, наверно, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения. И никогда никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать о таких вещах! А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманкул молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился. А тут повестка в армию. Хотелось, наверно, парню попроситься с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было в аиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну род-

ственников. Джаманкул диктовал, а Султанмурат писал его слова. Тогда Султанмурату показалась смешной и эта затея и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим Султанмурат поартачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам столкнется с тем, что так волновало бедного Джаманкула.

Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные им в одиночестве в горах, которые Султанмурат теперь вспомнил и повторял про себя:

Аксай, Коксай, Сарысай — земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел...

И вдруг он догадался: он тоже напишет ей письмо! И то, что найден способ, не испытывая стыда и страха, высказать, передать на расстоянии свои чувства, вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит и оттого вокруг все так изменилось к лучшему...

За эти два-три дня, которые он пробыл дома, Султанмурат переделал уйму работы, за целый год столько не сделал бы. Все, что по хозяйству было во дворе и дома, наладил, почистил, прибрал. К матери то и дело подходил:

— Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе?

Мать горько улыбалась в ответ:

— Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу...

А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так и эдак примерялся, но всякий раз казалось, что не так и не с того следует начать. Мысли разбегались, как круги на воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать обо всем, что вынашивал в мыслях, а как только дело коснулось бумаги, слова не вяза-

лись. Прежде всего хотелось рассказать ей, Мырзагуль, какая она красивая, красивее всех в аиле, и не только в аиле, а во всем мире. Рассказать ей, что для него нет ничего на свете более отрадного, как сидеть в классе и смотреть и смотреть на нее, любоваться ее красотой. Но теперь жизнь обернулась так, что он со своим десантом в школу не ходит, и неизвестно, когда они вернутся на учебу. Теперь он редко ее видит и от этого страдает очень, очень, очень тоскует по ней. Так тоскует, что порой плакать хочется. В этом он не собирался признаваться, мужчина должен оставаться мужчиной, но действительно слезы иной раз подкатывали к горлу. Надо было объяснить ей в письме, что вовсе не зря и не случайно он подходил к ней вроде бы с нахальным видом на переменах и что напрасно она избегала его. У него не было в мыслях ничего плохого. Очень хотелось также объяснить ей тот случай со скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще самый главный в десанте. Но из этого, как она сама убедилась, у него ничего не вышло. Жаль только, что конь его Октор пострадал. Но самое важное, о чем ему хотелось бы рассказать, — как внезапно узнал ее на бугре в гурьбе одноклассников, и как сразу понял, что любит ее давно и сильно, и то, какая красивая была она, когда бежала с бугра, раскинув руки и что-то крича. Она бежала к нему, как музыка, как водопад, как пламя огня...

Лампу на подоконнике пришлось раза два подправить. Фитиль нагорал. Хорошо еще, мать лежала в другой комнате и не видела, как он сжигает последний керосин. А письмо все не вязалось, и не оттого, что нечего было сказать, а, наоборот, от желания сказать обо всем сразу.

В аиле давно уже перестали светиться окошки, давно уже перестали вляивать собаки, давно все спали той глухой февральской ночью в долине под Манасовым снежным хребтом. За окном разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они — ночь и он со своими думами о Мырзагуль.

Наконец он решился. Озаглавив свое письмо «Ашиктык кат»*, написал, что оно предназначено живущей в аиле прекрасной М., свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал, что на базаре встречается тысяча людей, а здороваются лишь те, кто

* Ашиктык кат — любовное письмо.

хочет подать друг другу руку. Все это он запомнил из письма Джаманкула. Потом заверил, что хочет посвятить свою жизнь ей до последнего дыхания и так далее. В заключение вспомнил Джаманкуловы стихи:

Аксай, Коксай, Сарысай — земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел...

6

На другой день, после того как Аджимурат пришел из школы, отправились они с братом за топливом в поле. Оседлали аджимуратовского ишака Черногривого, веревки для вязанок, серпы и рукавицы приторочили к ишачьему седлу. Собаку Актоша позвали с собой. Она охотно побежала с ними. Аджимурат, по праву младшего, устроился верхом, а старший пошел рядом, погоняя ишака. Не погонишь — не поторопится. Место неблизкое. Знал Султанмурат один уголок, богатый хворостом-сухостоем. Далеко было то место, в балке Туюк-Джар. Весной и летом в ту балку стекались со всех сторон талые и особенно дождевые воды. Гремела балка от взбурлившихся ливневых потоков и грозových раскатов, а к осени вымахивали в ней заросли твердостебlistых трав в рост человека. Туда редко кто заглядывал. Зато пустым не вернешься.

Поблизости весь курай давно собран. Вот и пришлось снарядиться в Туюк-Джар. Пообещал Султанмурат матери, что топливом обеспечит, перед тем как уезжать на Аксай.

Вначале Султанмурат шел озабоченный разными мыслями и не очень-то откликался на разговоры словоохотливого брата. Было о чем думать. Приближалось время выхода пахарей на Аксай. Оставались считанные дни. Перед выездом всегда обнаруживается, как много еще не сделано. Особенно по мелочам. А ведь там, на Аксае, и гвоздя не найдешь, если вдруг потребуется. Хорошо, что председатель Тыналиев заглянул накоротке к ним домой. Проведать приехал, как здоровье матери, как дела у командира десанта. Да и сам рассказал кое-что. Рассказал, как будет с жильем на пашне — решили поставить юрту, — как с подвозом кормов и питанием, а главное, хорошо, что поговорил с матерью. Мать в последнее время стала нервной от болезни, оттого, что нет писем от отца. Ну и заспорила с председателем. Говорит: куда вы шлете этих детишек? Сгинут они там, в степи. Не пущу,

говорит, сына. Сама больна. Дети малы. От мужа никаких вестей. Сена нет, топлива нет в доме. А председатель говорит: сеном поможем самую малость, больше никак нельзя — весновспашка на носу. Насчет топлива ничего не обещал даже. Побледнел даже, будто скрутило его изнутри, и говорит: а насчет детишек в степи, это вы напрасно. И в расчет не возьму ваши слова, хотя в душе понимаю. Это, мол, фронтное задание такое. А раз так — хочешь или не хочешь, не имеет значения. Требуется выполнять. И никаких отговорок. Вот если бы ваши мужья перед атакой начали бы плакать по дому, того нет, этого нет, не топлено, не кормлено, куда, мол, нам в атаку! Что бы это было? Кто кому может позволить на войне такое? А для нас Аксай — это наша атака. И идем мы в ту атаку с последними нашими силами — с ребятами школьных лет. Других людей нет.

Вот такой разговор состоялся. И мать жалко, и председателя Тыналиева, его тоже надо понять, не от хорошей жизни задумал такое дело. Просил он Султанмурата побыстрее выходить на работу. Время, говорит, в самый край. Как только матери чуть полегчает, так, мол, не задерживайся ни минуты, скорее берись за дела...

Со вчерашнего дня мать немного лучше почувствовала себя, по дому начала кое-что делать. Можно было уже вернуться к ребятам на конюшню. Однако хоть из-под земли, но требовалось добыть топливо. Нельзя оставлять семью без огня, без тепла...

День стоял предвесенний. Теплый полуденный час. Ни зима, ни весна. Безмятежное согласие сил. Чисто, умиротворенно, просторно вокруг. Кое-где темнели широкие рваные прогалины среди осевших, ослабевших снегов. В прозрачном воздухе ослепительно белели громады снеговых гор вдали. Какая большая земля лежала вокруг и как много забот было на ней человеку!

Султанмурат приостановился. Попытался разглядеть Аксайское урочище там, на западе, на степном скате предгорий Великого Манасового хребта. Но ничего не разглядел в той дали, называемой аксайской стороной. Только пространство и свет... Вот туда предстояло отправляться днями. Как-то там будет? Что ждет их в том краю? Тревожный холодок пробежал по спине...

Но день был чудесный. Аджимурат — тот совсем ошалел от радости, от вольного дня, оттого, что брат рядом и собака преданно бегает возле, что в целом мире они сами по себе, что едут добывать топливо домой. Сам же

на ишаке. Голосок тонкий, песни поет разные, еще довоенные:

Бер команда, маршалдар
(Дайте команду, маршалы),
Калбай тегиз чыгабыз
(Все, как один, выступим).
Мин-миллион жоо келсе да
(Пусть идет тысяча миллионов врагов),
Баарын тегиз жагабыз
(Всех до единого уничтожим).

Эх, глупыш! Дитя несмышленное...

Но Аджимурату дела нет ни до чего. Он самозабвенно продолжал свое:

Бир-эки, да, бир-эки
(Раз и два, раз и два),
Катаранды тюздеп бас
(Держи ровнее строй)...

Султанмурат тоже повеселел. Смешно было смотреть на этого храбреца верхом на ишаке. А когда проезжали мимо прошлогоднего гумна, поутихли невольно. В этом укромном месте, среди полуразвалившихся скирд соломы уже повеяло весной. Типшина полевая. Как отмолотились в прошлом году, так все и утихло здесь. Пахло мокрой соломой, прелью и духом угасшего лета. Валялось в арыке поломанное колесо без обода. И пока сохранялся большой шалаш, крытый обмолоченными снопами. В нем отдыхали от зноя молотильщики. На припеке, посреди тока, где оставалось отвоеванное охвостье, уже зазеленели густо проросшие стебельки опавших зерен.

Актош засновал, бегал взад-вперед, вынюхивая что-то по гумну, и вснугнул диких голубей. Они выпорхнули из-под нависающей кручи обледеневшей соломы. Здесь кормились всю зиму в затишке. Шумно, весело закружили они над полем, держась плотной стремительной стайкой. Актош беззлобно потявкал, побегал вслед и потрусил дальше. Аджимурат тоже покричал, попугал и быстро забыл о них. А Султанмурат долго следил за птицами, любовался их гибким полетом, переливающимся перламутровым блеском перьев на солнце и, заметив, как отделилась от стаи пара сизарей и полетела в сторону бок о бок, вспомнил молодого учителя по математике, ушедшего в армию:

Я сизый голубь, летящий в синем небе,
А ты голубка, летящая крыло в крыло.
Нет счастья большего на белом свете,
Чем неразлучно вместе быть с любимой...

Захмелел учитель у бозокера, когда его провожали, и, уезжая на бричке из аила, долго, пока было слышно, пел о том, что он сизый голубь, летящий в синем небе, а она — голубка, летящая крыло в крыло... Тогда смешной показалась Султанмурату эта песенка, и учитель грозный вдруг оказался таким смешным. А сейчас, провожая взглядом удаляющуюся пару диких голубей, замер, почувствовав озноб в теле. Пронзительно его ударила эта песенка учителя математики. И понял мальчишка, что то он сам, вон тот летящий в синем небе голубь, а то она, летящая с ним бок о бок, крыло в крыло, и дух захватило от желания быть немедленно рядом с ней, с Мырзагуль, чтобы лететь вот так, как эти голуби, выводящие над зимним полем широкий наклонный круг. Вспомнил о письме для нее и решил, что слова песни про голубей «Аккептер» тоже должны быть включены в письмо... Все дело теперь заключалось в том, как вручить ей письмо. Он понимал, что при ребятах она никогда не возьмет от него письма. Ведь даже на переменах избегала его. А теперь и в школу он не ходит. Домой к ней не пойдешь, семья строгая... Да и как, даже если прийти, что сказать, как объяснить? Почему, спрашивается, надо вручать письмо, живя в одном аиле?

Но чем больше он думал, тем сильнее хотелось, чтобы она знала о том, как он думает о ней. Очень важно, чрезвычайно важно, неодолимо важно было, чтобы она знала об этом.

Всю дорогу думал он то о ней, то о предстоящем выезде на Аксай, то об отце на фронте и не заметил, как добрались до балки Туяк-Джар. Кто-то уже здесь побывал, похозяйничал. Но и того курая, который оставался в овраге по обочинам замерзшего ручья да среди колючей поросли облепихи, и того было предостаточно. Приходилось беспокоиться не о том, как взять курай, а как увезти. Недолго думая, принялись за дело. Ишака Черногривого отпустили погоститься по прошлогодним травам, пробившимся из-под снега. Актош не требовал заботы, он сам по себе шнырял по балке, вынюхивая неизвестно чего и кого. Братья работали споро. Серпами сжидали сухостой, складывали срезанные стебли в кучу, чтобы потом собрать все это в вязанки. Работали молча.

Вскоре стало жарко, разделись — сбросили овчинные кожушки. Хорошо жать курай серпом, когда он стоит густо и когда он твердостеблестый. Вокруг аила такого не найти. Где там! А здесь одно удовольствие, выжина-

ещь пучками под самый корень. Курай сухо шуршит и позванивает в коробочках, в стручках сухими семенами, густо осыпающими снег. И снова остро пахнет горькой пыльцой, как будто летом, как будто в августе. Спину разогнуть трудно. Но курай здесь отменный, жар от него будет сильный. Мать, сестренки останутся довольны. Когда в доме хорошо горит печь, и настроение хорошее...

Они уже сделали немало, собирались было передохнуть, когда вдруг отчаянно и дико залаял Актош. Султанмурат поднял голову и закричал, роняя серп:

— Аджимурат, смотри, лисица!

Впереди по балке, по отвердевшему за зиму насту бежала от собаки вспугнутая лисица, оглядываясь и приостанавливаясь на бегу. Лиса бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу. Она была довольно крупная, с черными торчком ушами и дымчато-красной спиной и таким же дымчато-красным длинным хвостом. Актош яростно и беспорядочно преследовал ее, но чем больше он рвался к добыче, тем больше проваливался в снег.

— Лови ее! Держи! — завопил Аджимурат, и они бросились навстречу, размахивая серпами.

Увидев бегущих навстречу людей, лисица круто повернула назад, забежала за колючий кустарник и, когда Актош проскочил мимо по ее прежнему следу, побежала в обратную сторону. Конечно, лиса запросто обвела бы своих преследователей и ушла, но беда ее была в том, что она очутилась в изголовье балки, как в мешке, здесь овраг кончался крутыми, обрывистыми, непреодолимыми стенами. Казалось, деваться ей было некуда. Не будь этой шумливой, неугомонной собаки, затаилась бы лиса в зарослях облепихи, попробуй достань ее из сплошных колючек, но собака хоть и дурная, хоть и дворняга, однако оказалась выносливой и настырной. Лай ее не смолкал ни на минуту, и именно лай собачий страшил лису.

А братья, захваченные внезапным событием, бежали за ней сломя голову, потные и разгоряченные, оглушенные собственными криками и азартом преследования. Оставалось лисице или сдаваться на милость собаке, или прорываться мимо людей к выходу из оврага.

И лисица огляделась и, вместо того чтобы убежать от людей, пошла к ним навстречу лоб в лоб. Ребята остановились от неожиданности. Лисица, почти не торопясь, приближалась по гребню снежного вала на дне балки, точно

рассчитав возможности идущего по следу и задыхающегося, то и дело проваливающегося в сугробах Актоша. Бедный Актош совсем одурел от лая и бега. Он уже не замечал, как здорово повела его лиса по глубокому насту.

Да и братья оказались не более сообразительными. Оба остановились, завороченные подбегающим чудом, — настолько красива была лиса на бегу, как лодка, стремительно пущенная по течению. Лисица шла точно между ними, как бы стараясь пройти посередке, чтобы никому не было обидно. Но затем она взяла чуть левее и проскочила со стороны Султанмурата, в двух-трех шагах от него. За это короткое мгновение он разглядел ее всю, как во сне, веря и не веря тому, что видит. Пробегая мимо с напряженно вытянутой головой, лиса посмотрела ему в лицо черными блестящими глазами. Султанмурат успел подивиться этому мудрому звериному взгляду. Такой она и осталась в его памяти — с поднятой головой и так же ровно поднятым пушистым хвостом, с белесым подбрюхом, черными быстрыми лапами и умным, все оценивающим взглядом... Она знала, что Султанмурат не тронет ее.

Он опомнился, когда Аджимурат, швырнув серпом в лисицу, завизжал:

— Бей ее! Бей!

Султанмурат же не успел сделать даже этого, как лисица юркнула в курай, за ней помчался Актош, и они быстро удалились вниз по балке.

— Вот это да! — вырвалось у Султанмурата.

Братья побежали, потом остановились. Лисы и след простыл. Только Актош влаивал то там, то тут.

— Эх ты, — сказал потом Аджимурат. — Упустил такую лису. Стоишь, даже рукой не шевельнешь.

Султанмурат не знал, что и ответить. Брат был прав.

— А зачем она тебе? — пробормотал он.

— Как зачем? — И, не объяснив, что хотел сказать, махнул рукой.

Потом они молча собирали накошенный хворост в общую кучу. Надо было еще немного покосить, чтобы сделать полные вязанки. И тут Аджимурат заговорил обиженно:

— Зачем, зачем, говоришь! Отцу сшили бы лисью шапку, как у дяди Нургазы, а ты стоял!

Султанмурат опешил: значит, вот о чем он думал, гонясь за лисицей. И теперь пожалел, что не удалось поймать действительно такую красивую лисицу, и предста-

вил себе отца в пушистом теплом малахае, как у дяди Нургазы. Такая шапка очень пошла бы отцу. Мысли Султанмурата прервались всхлипываниями Аджимурата. Братишка сидел на куче хвороста и горько плакал.

— Ты что? Что с тобой? — подошел к нему Султанмурат.

— Ничего, — ответил тот сквозь слезы.

Султанмурат не стал особенно допытываться. Он сразу догадался, вспомнив, как недавно плакал Аджимурат, когда приезжал дядя Нургазы. Понял он, что мальчик расплакался с тоски по отцу. Лисица и лисий малахай были лишь напоминанием...

Не знал Султанмурат, как помочь братишке. Он и сам загрустил. Проникаясь жалостью и состраданием к брату, он решил поделиться с ним самым сокровенным.

— Ты не плачь, Аджике, — сказал он, присаживаясь возле. — Не плачь. Понимаешь, я хочу жениться, когда вернется отец.

Аджимурат перестал плакать, удивленно уставился:

— Жениться?

— Да. Если ты мне поможешь в одном деле.

— Какое дело? — сразу заинтересовался Аджимурат.

— Только ты никому ни слова!

— Никому! Никому не скажу!

Теперь Султанмурат заколебался. Говорить или не говорить? Он молчал в растерянности. Аджимурат начал приставать:

— Ну скажи, какое дело, скажи, Султан. Честное слово, никому ни слова.

Султанмурат покрылся испариной и, не глядя в лицо брату, с трудом проговорил:

— Надо передать одно письмо одной девушке. В школе.

— А где письмо, какое письмо? — живо придвинулся к брату Аджимурат.

— Потом я тебе покажу. Не здесь же письмо.

— А где?

— Где надо. Потом увидишь.

— А кому, какой девушке?

— Ты ее знаешь. Потом скажу.

— Так скажи сразу!

— Нет, потом.

Аджимурат приставал. Он становился невыносимым. Тяжело вздохнув, Султанмурат вынужденно сказал запинаясь:

— Письмо надо... это... передать Мырзагуль.
— Какой Мырзагуль? Та, что в вашем классе?
— Да.
— Ура! — заорал то ли от радости, то ли от озорства младший брат. — Я ее знаю, она такая, воображает, что очень красивая! С младшими классами не разговаривает.
— А ты что кричишь? — рассердился старший.
— Ладно, ладно! Не буду! Ты ее любишь, да? Как Айчурек и Семетей *, да?
— Перестань! — прикрикнул на него Султанмурат.
— А что? Говорить нельзя? — вредничал младший.
— Ну и кричи, залезь вон на те горы и кричи на весь свет!
— Вот и залезу и буду кричать! Ты любишь эту Мырзагуль! Вот! Вот! Ты любишь...

Нахальство младшего вывело из себя старшего брата. Размахнувшись, Султанмурат дал ему крепкого подзатыльника. Тот скривился и сразу заревел на весь овраг:

— Когда отец на войне, ты меня бить? Ну подожди! Подожди! Ты еще ответишь! — орет во все горло.

Теперь надо было успокоить его. Вот морока! Когда они помирились, Аджимурат говорил, все еще судорожно всхлипывая, все еще размазывая кулаком слезы по лицу:

— Не думай, я никому не скажу, даже маме не скажу. А ты из-за этого драться... А письмо передам. Я тебе сразу хотел сказать, а ты сразу драться... На перемене отдам, отзову в сторону. А ты за это, когда отец вернется с войны, когда отец приедет на станцию и когда все побегут встречать его, ты меня возьми с собой. Мы вдвоем сядем на Чабдара и первыми поскачем впереди всех. Ты и я. Чабдар ведь теперь твой. Ты впереди, а я сзади на коне, и поскачем. И мы сразу отдадим Чабдара отцу, а сами побежим рядом, а навстречу мама и все люди...

Так говорил он, жалуясь, обижаясь и умоляя, и до того растрогал Султанмурата, что тот сам едва удержался от слез. Погорячился, а теперь очень раскаивался, что ударил мальчишку.

— Ладно, Аджике, ты не плачь. Мы с тобой на Чабдаре поскачем, только бы отец вернулся...

Когда собрали весь скопленный курай и когда начали вязать, получилось три добрых вязанки. Султанмурат

* Айчурек и Семетей — герои эпоса «Манас».

мастерски умел увязывать хворост. Вначале куча кажется большая, как гора, даже боязно становится, что не унесешь. А потом, если умеючи стянуть веревки, куча раза в три станет меньше. Хорошо стянутая вязанка плотно и ровно лежит на спине, ее и нести удобнее. В этот раз ребята сделали две вязанки для вьюка, на то они и привели с собой Черногривого, а одну дополнительную вязанку Султанмурат решил взять на себя. Далековато было нести, но лучше уж сразу притащить домой побольше топлива. Да и оставлять такой курай жалко. Отменного хвороста набрали они в балке Туюк-Джар.

Черногривого навьючили так, что ни ушей, ни хвоста не видно. Его повел на поводу Аджимурат. Султанмурат шел следом, сгибаясь под вязанкой, притороченной к плечам особым перекрестным способом — веревка пропускается из-под левой подмышки через грудь на правое плечо, захлестывается с правой стороны у затылка на скользящую петлю, конец которой носильщик держит в руках. При таком способе носильщик может постоянно подтягивать на ходу ослабшие узлы вязанки.

Так они шли — впереди Аджимурат, на поводу у него Черногривый, за ним Султанмурат с ношей на спине, замыкал это шествие дворняга Актош, уже порядком уставший и потому плетущийся позади.

Когда несешь курай, очень важно долго не позволять себе отдыхать. После первого привала интервалы переходов сокращаются — второй привал вполовину первого перехода, третий вполовину второго и так далее. Султанмурат хорошо знал это, потому, рассчитывая силы, шел размеренным шагом, широко расставляя ноги. Теперь он ничего не видел вокруг, смотрел только вперед, под ноги. Чтобы долго не уставать и не ждать скорого отдыха, неся вязанку, лучше всего думать о чем-нибудь.

Шел он и думал, как завтра с утра выйдет на работу на конный двор и снова вступит в свои обязанности командира десанта. Поторапливаться пора. Впереди сбитанные дни до выхода на Аксай. Лошади вроде бы уже справные, залеченные, плуги и запасные лемеха готовы, сбруя тоже, а все равно двинешься на поле — что-нибудь да и обнаружится, это ведь всегда так. Слова бригадира Чекиша. Бригадир Чекиш говорит: глаз — трус, а рука — храбрец, надо смело выходить в поле, а там по ходу дела видно будет как и что, всего не предусмотрить. Может быть, он и прав.

Думал Султанмурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье. Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров, и дома продыху нет. Все сама да сама. Тоци, вари, стирай. Девчущки еще малы, а с Аджимурата тоже какой особо спрос. Сам он теперь уже отрезанный ломоть, вот-вот уедет на Аксай, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить... А их всего пять упряжек. А остальное тягло и плуги все на старых землях будут работать. Здесь работы еще больше, куда больше. Но тут хотя бы поблизости от айла. В случае чего женщины смогут встать за чапыги. Совсем не женское дело. Но теперь они и арыки копают по пояс глубиной, и воду ведут на поля, и плотины поднимают...

Как быть, как облегчить жизнь матери? Так ничего и не придумал...

Но больше всего думал он о том, что завтра передаст письмо, вот только надо дописать слова из песни «Аккентер». Попытался представить себе Мырзагуль читающей его послание, то, что она подумает при этом. Эх, как трудно, оказывается, писать письмо о любви! Получается совсем вообще-то не то, что хотел бы сказать, никакая бумага не уместит в себе то, что на душе. Интересно, а что она скажет? Она тоже должна написать ответное письмо. А как же иначе? Как он узнает, согласна она или не согласна, чтобы он ее любил? Вот ведь задача. А что, если она не захочет, чтобы он ее любил?.. Тогда как?..

Балка Туук-Джар давно осталась позади. Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку, в одну сторону лица. Земля сохраняла все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бывает перед бурей — умиротворенность, услада, затишье, чтобы все это вмиг столкнуть, сбить, смешать, разнести вдребезги. В таких случаях надо прошептать: «К добру, к спокойствию!» — чтобы упредить злые силы. Иногда помогает. «К добру, к спокойствию», — сказал про себя Султанмурат, высматривая впереди удобное место для первого привала.

Место приходится выбирать с горочкой, такое, чтобы затем легко встать на ноги. Сначала носильщик курая раскачивается на спине, лежа на вязанке, раскачивается вместе с вязанкой не очень сильно, если больше, чем следует, вязанка перекатится через голову, а носильщик растянется, как лягушка. Раскачавшись, надо упасть на колени, потом с колена встать на ногу, на вторую и затем с заклинанием «о, пирим!» выпрямиться, насколько

позволит груз. Зато проще простого отдыхать — надо смело падать навзничь.

Султанмурат упал навзничь на вязанку и на миг зажмурил глаза. Ах, как хорошо было распустить веревки на груди! Он лежал, блаженствуя, прикидывая, где будет следующий привал. Когда он сможет, отдыхая после тяжелого перехода, думать только о ней?

— Только ты быстреей ответь на мое письмо, слышишь? — сказал он беззвучным шепотом, улыбаясь себе. И прислушался.

Огромная, прекрасная тишина покоилась на земле в светлом, незаметно смеркающемся предвечерии.

7

И приближались те дни...

Тревожное, томительное ожидание ответа от Мырзагуль не покидало его весь день, пока он не сваливался к ночи мертвецким сном. Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь, командовал своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда наконец прибежит на конюшню Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мырзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать вприпрыжку, размахивая руками, прыг-скок, если нет, то не бежать, а идти и чтобы руки были в карманах.

Султанмурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день, братишка приходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султанмурат. Терпение иссякало. Допытывался, спрашивал и переспрашивал Аджимурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставлял брата уже давно спящим. А хотелось выспросить еще какие-нибудь подробности. Но выспрашивать-то особенно было нечего. По словам Аджимурата, эта несносная Мырзагуль-бийкеч вовсе ни о чем не говорила с ним на переменах, а делала вид, что ничего не знает, ничего не помнит. Вроде бы никакого письма она не получала. Стоит себе на переменах, разговаривает с подругами, а его, Аджимурата, не замечает, пока сам не подойдет, не потянет за руку.

Не понимал Султанмурат, что бы это значило. Если Мырзагуль не желает иметь с ним ничего общего, почему не ответит, почему не скажет об этом прямо? Почему мол-

чит, неужели не догадывается она, как мучительно, как тяжело ждать ответа?

С этими мыслями он засыпал, а утром, начиная день, снова думал об этом. И уже времени не оставалось ждать. Снега вокруг быстро шли на убыль. Вот-вот отойдет мерзлота и задышит земля, вот-вот проляжет первая борозда на поле, а там поспевай только...

Однажды Султанмурат сказал брату:

— Скажи ей, что скоро я уеду в Аксай, надолго уеду...

Ответ вернулся односложный...

— Знаю, — передала она, и больше ничего.

Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побежать в школу, дожидаться перемены, увидеть ее и узнать самому, что все это значит. Но не решался. Все, что прежде казалось проще простого, теперь стало почти непреодолимым. Страх, робость, стыдливость и сомнение, как переменчивая погода в горах, сотрясали его душу...

Да и работу не бросишь. Работы невпроворот. Быть командиром десанта оказалось не очень-то легко. Все так же с утра до вечера работа, работа, и чем ближе подходил срок выхода на Аксай, тем больше всяких забот наваливалось.

Наступающая весна, однако, не только умножила заботы, но и украшала, обновляла, будоражила их жизнь. По-весеннему стало на водопое, веселей, просторней. Лед исчез, как дым. Заново открывшаяся речка весело бежала, кувыркаясь по каменистому перекату. Каждая галька на дне переливалась светом и тенью в быстро текущем зеленоватом потоке. Лошади шумно вбегали теперь табуном на середину речки, поднимая тучи брызг из-под копыт. И ребята верхами туда же, в ту кучу. Смех, вскрики от холодных брызг, наскоки...

Именно в такой момент, находясь на водопое, увидел ее Султанмурат. На переступках через речку увидел и обмер. Отчего бы, казалось, обмер? Мырзагуль была не одна. Четверо было их. Девушек. Они возвращались из школы. Он мог бы их и не увидеть. Мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам через речку. Но вот же посчастливилось! Глянул случайно и обмер, придерживая Чабдара на месте, сразу узнал ее. Она шла по переступкам и тоже узнала его, закачалась на переходе, балансируя руками, и, выйдя на берег, приостановилась, еще раз бросила взгляд в его сторону. И, уходя с подругами, несколько раз оглядывалась. Каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он готов был по-

скакать, полететь за ней — за обещанным счастьем, чтобы сразу, не таясь, не робея, сказать ей, как он любит ее. И что без нее жизнь не может быть жизнью. И каждый раз не хватало духу, каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он умирал и воскресал. Она уже скрылась с подругами в начале Аральской улицы, а он все удерживал Чабдара посреди речки, и уже кони напились и вышли на берег. Ребята их сгоняли в кучу, чтобы двинуться на конный двор, а он оставался на месте, делая вид, что все еще поит Чабдара...

А после думал об этом и удивлялся, ругал себя, что не догадывался раньше увидеть ее, встретить на этом пути, когда она идет из школы. Да, там, на переступках через речку, всегда можно столкнуться как бы невзначай. Как же раньше не приходило это в голову? Конечно же, надо самому действовать, встретить ее и узнать от нее самой, что она думает о его письме.

Он понял потом, что встречи такие могли быть каждый божий день, если бы их десант пригонял лошадей на водопой чуть позже обычного. Очень досадно было Султанмурату сознавать, что всякий раз после того, как они угоняли лошадей с водопоя, появлялась почти там же Мырзагуль, а он не мог сообразить такого пустякового дела. Страдает, мучается, когда все так просто...

Теперь он решил дожидаться ее. На другой день Султанмурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, сделает хорошую пробежку Чабдару, а ребят попросил приглядеть пока за его лошадьми после водопоя: привязать их на место, задать им корм.

И опять Анатай!

Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал.

— А я знаю, кого ты ждешь, — сказал он вызывающе. Ох и противный тип!

Султанмурат тоже хорош. Нет чтобы спокойно урезонить: «Знаешь, ну и хорошо. Ты не ошибаешься», так он вместо этого обозвал Анатая:

— А ты шпион фашистский!

— Это кто шпион? Я шпион?

— Ты шпион!

— А ну докажи! Если я шпион, пусть меня расстреляет трибунал! А нет, я тебе морду набью!

И они сшиблись, понукнули коней навстречу друг другу и, тесня друг друга, закружились посреди речки. Угрожающе орали, метали свирепые взгляды, стягивали

друг друга с коней. Ребята на берегу смеялись, потешались, подзадоривали, а они, как пегухи, не на шутку разошлись. Вода закипела вокруг, разлеталась брызгами, спотыкались кони в воде, скрежеща подковами по камням, и тогда Эркинбек крикнул:

— Эй вы, опять лошадей покалечить хотите!

Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов.

Но все равно настроение было испорчено. Когда ребята угнали лошадей на конюшню, Султанмурат все еще тяжело дышал и, чтобы как-то унять себя, поехал рысцой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул назад и тут увидел ее. Как и вчера, Мырзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе, занятые своими разговорами, и дела им не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них, что кто-то страдает, изводится в кручине по одной из них. Мать перепугалась недавно за сына: «Что с тобой? Уж не болен ли ты? С лица сошел как!» Успокоил маму, а сам взял зеркало, давно не смотрелся, все некогда, и действительно здорово изменился, оказывается, за последнее время. Глаза блестят, как у больного, лицо вытянулось, шея сделалась длинной, вроде бы даже две морщинки, две складочки залегли между бровями, а на верхней губе темный пушок появился. Если на свет рассматривать, а так не видно. Вот это да! Совсем другой стал, не узнать... Отец, пожалуй, и не сразу признает, когда вернется...

Он подъезжал на коне сбоку и, приближаясь, заметил, как Мырзагуль глянула раза два в сторону водопоя, точно бы высматривала кого-то. А когда увидела его, вздрогнула от неожиданности, приостановилась, но потом быстро пошла вместе с подружками. Они как ни в чем не бывало перескочили с переступки на переступку через речку и пошли по домам. А он обогнал их стороной, точно бы спешил куда-то по делу, выехал огородами на улицу, чтобы попасть ей навстречу. Он увидел ее из одного конца улицы в другом конце. Здесь он поехал медленно. И чем ближе сходились они, тем страшней становилось. Ему казалось, что вся улица смотрит в окна, в двери, следит за ними, и все ждут, как они встретятся и что он скажет ей.

А она шла навстречу не очень быстро. Не понимал он, что произошло, почему он так волнуется. Ведь учились вместе в одном классе, ничего не стоило отобрать у нее

что-то и даже обидеть, а теперь приближался с трепетом и робостью в душе. Теперь ему хотелось избежать этой встречи, но было уже поздно. И, наверное, она каким-то образом почувствовала его состояние. Когда оставалось совсем немного, она вдруг заспешила и, не дойдя до своего дома, свернула во двор к соседям. Он обрадовался, облегченно вздохнул. И был очень благодарен ей. Как страшно оказывается, встречаться один на один...

А потом корил себя и ругал за малодушие. Плохо спал ночью и, проснувшись на рассвете, думал о ней, дал себе слово, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней, и запросто заговорит, и спросит совершенно серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то никакой обиды, днями ему уезжать на Аксай и пусть все это останется между ними. Так и скажет.

С этим твердым решением начинал он тот день, с этим намерением работал, с этим намерением еще раз отправился на речку после водооя. Ехал на Чабдаре. Проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом аиле на крышах и с теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался сжимающимися темно-серыми пятнами. Как амебы, каких рисовали они когда-то в тетрадах на уроках зоологии.

Вчера же на конном дворе председатель Тыналиев и бригадир Чекиш устроили смотр аксайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугарями. Султанмурату достался плуг номер один. Затем каждый обрядил своих лошадей в сбруи, показал, как он с этим справляется, а потом показал, как он запрягает свою четверку в плуг. И тогда все пять упряжек выстроились в ряд. В общем-то, со стороны смотреть, здорово, внушительно получалось! Как тачанки, только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сбруи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугари подтянутые, каждый возле своей упряжи. Председатель Тыналиев ходил перед десантом суровый, как командующий армией. К каждому подходил:

— Доложи твою готовность!

— Докладываю. Имею в паличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлеи, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг с тремя парами запасных лемехов.

Прямо как в армии! Только бригадир Чекиш хмурился. Ну конечно, он старик, где ему понять!

Смотр прошел хорошо. Но по двум пунктам все же завалились десантники. Председатель Тыналиев подзвал всех к упряжи Эргеша.

— Ну-ка обнаружьте неполадку в сбруе, — предложил он.

Все пересмотрели, все перещупали, но ничего такого найти не сумели. Тогда председатель Тыналиев сам показал:

— А это что? Вы разве не видите, что ремень у гнедого коренника на боку перекручен. Вот, смотрите! А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню. Лошадь сказать об этом не может. Будет тянуть, а на другой день бок вспухнет, коня уже не запряжешь. А где я вам найду запасного коня? Их у меня нет! Значит, плуг будет простаивать из-за халатного отношения к сбруе! Ну-ка подумайте, имеем мы право допустить такое? Ради чего мы готовились всю зиму?..

Стыдно было всем. Такой пустяк, казалось бы, и надо же!

— Султанмурат, — наставлял председатель Тыналиев, — ты, как командир десанта, обязан каждый раз перед началом работы проверять, кто как запряг лошадей. Ясно?

— Ясно, товарищ председатель!

Второй пункт, по которому погорел десант, оказался более серьезным. Причем погорел сам командир. Председатель Тыналиев спросил их:

— Ответьте мне, где будете оставлять сбрую на ночь после работы?

Думали, гадали, отвечали по-разному. Решили, что в поле, возле плугов.

— А ты как думаешь, командир?

— Я тоже так думаю. На полосе, где распряжем, там и оставим сбрую, возле плугов. Не носить же ее с собой?

— Нет, неверно. Сбрую нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет. На Аксае некому ее взять. А потому, что ночью может пойти дождь или снег. Сбруя намокнет. Это сыромятная кожа. И могут лиса или сурок погрызть сбрую в поле. Ясно, о чем идет речь? Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сбруей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта толь-

ко одна. Другой юрты у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на то место, где он будет спать. Ясно? Спать со сбруей в изголовье! Таков закон! Это ваше оружие! А каждый солдат прежде всего бережет оружие!

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день перед аксайским отрядом, выстроеным для смотра в полной боевой готовности.

Вот так говорил председатель Тыналиев накануне выхода десанта на Аксай. Те дни приближались. И все шло к тому...

Вот так говорил председатель Тыналиев, наставляя их уму-разуму...

Вот так...

Да, вполне могло случиться, что дня через три-четыре, если погода не испортится, двинутся они на Аксай, и тогда, конечно, не увидятся с Мырзагуль до самого лета. Подумав об этом, Султанмурат испугался. Трудно, невозможно было представить себе такое — не видеть ее, пусть хоть издали, столько времени! А еще собрался зайти ей сегодня, что, мол, да или нет, если нет, так что ж, не такая уж беда, ждать некогда, на Аксае дела поважнее...

Султанмурат все поглядывал на дорогу, проезжаясь берегом. И уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Но вот они, девушки! Однако Мырзагуль среди них не оказалось. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султанмурат огорчился. Что ж оставалось, раз такое дело. Расстроенный поехал на конный двор. Но дорогой его охватила тревога: а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось? Эта тревога возрастала, он почувствовал, что ни в коем случае не сможет унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек. Повернул Чабдара вслед за ними. И тут увидел ее, Мырзагуль возвращалась одна. Она уже приближалась к переступкам на речке. Султанмурат припустил слегка Чабдара, чтобы поспеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался, так сильно, оказывается, испугался за эти минуты, что сам не заметил, как сорвалось с уст: «Родная моя!»

Он встретил ее на переступках. Спрыгнул с коня и, держа его на поводу, ждал, когда она выйдет на берег к нему.

Она шла к нему, глядя на него, улыбаясь ему.

— Смотри не упади! — крикнул он ей, хотя упасть с

таких широких, выложенных поверху дерном переступок было невозможно. Как хорошо, что она шла по переступкам! Как хорошо, что на этой капризной горной речке не удерживались никакие мосты и мостики!

Он ждал, протянув ей руку, а она шла к нему, все время глядя на него и улыбаясь.

— Смотри не упади! — сказал он еще раз.

А она ничего не отвечала. Она только улыбалась ему. И тем было сказано все, что хотел бы он знать. Какой же он был чудак, писал какие-то письма, терзался, ждал ответа...

Он взял ее ладонь, когда она протянула ему руку. Столько лет учась в одном классе, не знал он, оказывается, какая чуткая и понятливая у нее рука. «Вот я здесь! — сказала рука. — Я так рада! Разве ты не чувствуешь, как я рада?» И тут он посмотрел ей в лицо. И поразился — в ней он узнал себя! Как и он, она стала совсем другой за это время, выросла, вытянулась, и глаза светились странным, рассеянным блеском, как после болезни. Она стала похожа на него, потому что она тоже постоянно думала, не спала ночами, потому что она тоже любила, и эта любовь сделала ее похожей на него. И от этого она стала еще красивее и еще родней. Вся она была обещанием счастья. Все это он познал и почувствовал в одно мгновение.

— А я думал, ты заболела, — сказал он ей дрогнувшим голосом.

Мырзагуль ничего не ответила на эти слова, сказала другое:

— Вот. — Опа достала предназначенный ему сверточек. — Это тебе! — И, не задерживаясь, пошла дальше.

Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот вышитый шелком платочек! Доставал из кармана, и снова прятал, и снова рассматривал. Величиной с тетрадный лист, платочек был ярко расшит по краям узорами, цветочками, листиками, а в одном углу были обозначены красными нитками две большие и одна маленькая буквы среди узоров: «S. g. M.», что означало «Султанмурат джана Мырзагуль» — «Султанмурат и Мырзагуль». Эти латинские буквы, которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита, и были ответом на его многословное письмо и стихи.

Султанмурат вернулся на конный двор, едва сдерживая торжествующую радость. Он понимал, что это такое

счастье, которым невозможно поделиться с другими, что оно предназначено только ему и что никто другой не сможет быть так счастлив, как он. И, однако, очень хотелось рассказать ребятам о сегодняшней встрече, показать им подаренный ему платочек...

Зато работалось хорошо. Ребята чистили лошадей после водопоя, носили в ведрах овес, закладывали в кормушки сено. Он сразу включился в дело. Быстро прошелся скребком по упругим, налитым силой спинам и бокам своих коней, побежал за овсом. И все время чувствовал платочек в нагрудном кармане перешитой солдатской гимнастерки. Будто там горел незримый огонек. И от этого ему было радостно и тревожно. Радостно оттого, что откликнулась Мырзагуль на его любовь, и тревожно, потому что было началом неведомого...

Потом он побежал за сеном к люцерновой скирде за конюшней. Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами. Ему очень захотелось еще раз посмотреть на свой платочек. Достал из кармана и стал разглядывать его, улавливая среди травяных запахов особый запах платочка, вроде бы хорошим мылом пахлo. Однажды в школе он почувствовал, как пахнут ее волосы. И теперь вспомнил, это был ее запах. Так он стоял наедине с платочком, и вдруг кто-то выхватил его. Оглянулся — Анатай!

— А-а, ты уже платочки получаешь от нее!

Султанмурат густо покраснел:

— Дай сюда!

— А ты не спеши. Сперва погляжу.

— А я тебе говорю, дай сюда!

— Да не кричи ты, отдам. Нужен очень!

— Отдай немедленно!

— А ты посильней кричи! Кричи, что у тебя дареный платочек отобрали! — И сунул его в карман.

Что произошло дальше, Султанмурат уже не помнил. Только мелькнуло перед ним искаженное злобой и испугом лицо Анатая, затем он со всей силой нанес еще удар, а потом отлетел в сторону от резкого толчка в живот. Перегнулся, падая, но тут же вскочил на ноги и рванулся из-под скирды с еще большей ненавистью и яростью на подлого Анатая. Прибежали ребята. Заметались. Втроем стали разнимать их. Просили, умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. «Отдай! Отдай!» — только одно твердил Султанмурат, понимая,

что исход может быть лишь один: или умереть, или вернуть платочек. Анатай был кряжистый, сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне Султанмурата была справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. В последний раз он упал на вилы, валявшиеся подле скирды. И тут руки сами схватились за вилы. Он вскочил с вилами наперевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам:

— Стой!

— Остановись!

— Опомнись!

Анатай стоял перед ним, тяжело дыша, растопырив руки и ноги, озираясь, куда бы отскочить, но бежать ему было некуда. С одной стороны скирда, с другой — стена конюшни. Именно в эти минуты Султанмурат обрел твердость духа. Он понимал, что это крайность, но другого выхода не было.

— Отдай, — сказал он Анатаю, — иначе будет плохо!

— Да на! На! — заторопился Анатай, пытаясь обратиться все в шутку. — Тоже мне! Пошутить нельзя! Дурак! — И он кинул ему платочек.

Султанмурат положил его в нагрудный кармашек. Страшная минута миновала. Ребята облегченно вздохнули, загалдели, и только тогда почувствовал Султанмурат, как кружится голова, как трясутся руки и ноги. Сплевывая кровь из разбитой губы, пошел как пьяный за скирду, упал на сено и, лежа на спине, отдышался, пришел в себя...

8

К вечеру они с Анатаем хотя и не помирились, но общие дела заставили их пойти навстречу друг другу. И все же оставался осадок в душе, стыдно было, что все так глупо получилось. Но при этом Султанмурат понимал, что прошел важное испытание, что, прояви он малодушие, прежде всего сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта.

В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Тыналиев и бригадир Чекиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, заляпаные грязью. Тыналиев и старик Чекиш с рассветом уехали в Аксайское урочище и вот только вернулись. Довольные приехали. Через пару дней можно

двинуться на Аксай. Земли удобной много. Паши сколько сможешь. Загоны определили. Степь задышала. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму.

— Ну как, ребята? — обратился к ним Тыналиев. — Как настроение? Какие есть предложения, замечания? Высказывайте, чтобы потом не спохватиться, когда уже будете далеко от аила.

Ребята молчали, ничего такого, требующего немедленного решения, вроде бы и не было, и все-таки никто не взял на себя ответственность сказать последнее слово.

— У нас есть командир, — промолвил Эргеш. — Он все знает, пусть сам скажет.

И тогда Султанмурат сказал, что пока никаких неполадок или другой нужды нет, все продумано, обувь отремонтирована, одежда залатана, укрываться берут шубы, короче говоря — они, их плуги и кони готовы в любой день приступить к работе, как только земля поспеет.

Потом обсудили разные другие дела — о кашеваре, о топливе, о юрте — и пришли к общему выводу, что дня через два-три, если погода не изменится, если не пойдет снег, то пора выходить в поле...

А погода стояла хорошая, хотя и облачная, но с большими окнами — солнце то выглянет, то спрячется, земля парила, пахло сырой, освобождающей из-под снега землей...

И приближались те дни... И все шло к тому...

Как ни готовились, а перед самым выездом опять обнаружилась уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон, те, что имелись, были совсем старые, дырявые, их нечего было везти с собой на Аксай. Ночи ранней весны холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты... Чекиш говорил, что прежде, когда пахали еще сохой, в первые дни, бывало, ждут до полудня, пока оттает земля после ночных заморозков... А продрогший за ночь конь, не покрытый попоной, уже не рабочее тягло.

Пришлось побегать Султанмурату то в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока сумели купить для колхоза в аиле еще две добротные попоны...

И в этой беготне и заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Мырзагуль перед отъездом, встретив ее, как в тот раз, у переступок через речку... Каждый раз надеялся — и не

удавалось. Спешил Султанмурат, не было времени ждать. И потому он все время ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность, остающуюся в их отношениях, и какую-то смутную, тревожную вину свою за то, что они могут не свидеться перед выездом. Он знал, что и Мырзагуль думает о нем, в этом он убедился в тот раз по первому ее взгляду, когда в ней он как бы узнал себя. Однако он не допускал даже мысли, что Мырзагуль сама будет искать встречи с ним. Девичья гордость и честь не могли того позволить. Девушка уже сказала свое слово, она вручила ему вышитый платочек, а все остальное уже его заботы, мужские...

Конечно, он сумел бы встретиться с ней перед отъездом, он так и рассчитывал, если бы не новое несчастье.

Накануне выезда на Аксай, когда десантники собирались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого Султанмурат и хотел дожидаться Мырзагуль, у самых ворот конного двора при выезде на водопой встретил их бригадир Чекиш. Он был хмур и неприветлив. Рыжая бороденка всклокочена, шапка надвинута на самые глаза.

— Вы куда?

— Коней поить.

— Пойдите. Вот что, Анатай, ты иди домой. Мать у тебя заболела. Иди, иди сейчас. Слезай с коня. А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад. Чтобы мигом, я вас жду здесь!

И дорогой на речку, погоняя табунок на рысях, смотрел Султанмурат на дорогу и, возвращаясь, оглядывался: нет, не видно Мырзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы. И что это старик Чекиш так заторопил их? Что стряслось? Если бы не это, сегодня обязательно дождался бы ее! Так хотелось снова повидаться на переступках...

Когда они вернулись на конный двор и поставили лошадей по своим местам, старик Чекиш собрал их четверых, отозвал в сторонку.

— Разговор есть, — буркнул он.

Потом предложил сесть. Все сели на корточки, подпирая спинами стену дувала. Председатель Тыналиев любил разговаривать стоя, сам стоял, и чтобы перед ним люди стояли, а бригадир Чекиш наоборот — он предпочитал разговор неторопливый, сидячий. Старик, одним словом. Вот они расположились, и тогда Чекиш, сумрачно поглаживая взъерошенную рыжую бороду, начал:

— Хочу я вам сказать, джигиты, вы уже не малые дети. Рано вам пришлось вкусить горечь жизни. По горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот сегодня у одного из нас большая беда — отец Анатая, Сатаркул, убит на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастье, другой ему опорой должен служить. Собирайтесь. Будете встречать и провожать людей. Лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Анатая, как малолетние, если плакать, то плачьте громко, по-мужски, чтобы ясно было, что плачут верные друзья Анатая. Со мной пойдете, с тем я вас и поторопил...

Они шли гуськом по тропинке к дому Анатая на окраине улицы. Такими же небольшими молчаливыми кучками верховой и пеший народ уже стекался с разных сторон.

День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северный, пизовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой, изнывающей от страха и жалости душой шел Султанмурат к дому Анатая. Жутко было, потому что через минуту-другую всплеснется в аиле, как пламя пожара над крышей, еще один великий плач, и еще одного человека, родившегося с войны, никогда и никто его не увидит... «А что с отцом, до сих пор нет ни писем, ни вестей никаких? Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только бы не это, только бы не так!»

Они уже приближались ко двору, когда в доме Анатая раздался пронзительный вопль, и этот плач, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ...

Идя следом за Чекишем, десантники громко заплакали, заголосили вместе, как учил их Чекиш:

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

В эту минуту, в минуту общего горя, отец Анатая Сатаркул воистину был их родным отцом, и воистину в ту минуту он был славен, потому как величие каждого человека познается их близкими лишь тогда, когда они его лишаются... Так было всегда и так будет...

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

С этими скорбными словами десантники проследовали за Чекишем через толпу и, войдя во двор, увидели у самых дверей Анатая. Горе умалает человека. Самый старший из них, грозный и сильный Анатай, оказался совсем беззащитным мальцом. Раздавленный свалившимся на его плечи горем, он по-детски, в голос рыдал, приткнувшись к стене, как жеребенок в непогоду. Лицо его вспухло от слез. А рядом громко плакали младшие его братья и сестры.

Друзья подошли к Анатаю. Увидя их, Анатай заплакал еще больше, как бы жалуясь им на свое горе, на то несчастье, которое совершалось на глазах у всех. Он просил тем самым защитить его, помочь ему. Эта беззащитность Анатая больше всего потрясла Султанмурата. А они растерянно топтались возле, не зная, как быть, как утешить товарища. Никто, кажется, ничем не мог ему помочь. И никто не подозревал, что Султанмурат только что выскочил со двора с автоматом в руке и побежал с ним прямо туда, прямо в ту сторону, где шла война, без передыха прямо на фронт, и там, крича от ярости и гнева, плача и крича, расстреливал фашистов очередями, очередями, очередями из неиссякаемого, немолкающего автомата за убитого отца друга своего Анатая, за причиненные аилу страдания и беды...

Жалко, что не было у него автомата!

И тогда Султанмурат сказал Анатаю (ведь он был командиром десанта):

— Не плачь, Анатай. Что ж делать. Вот у Эркинбека и Кубаткула тоже отцы погибли на фронте. Сам знаешь. От моего отца тоже писем нет давно. Война. Сам понимаешь. Ты только скажи, Анатай, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе стало легче...

Но Анатай, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плечами, не мог ничего выдать из себя. Эти слова не утешили его, наоборот — горько разбередили, и он стал задыхаться от нахлынувших слез, посинел от удушья. Султанмурат побежал, принес ему в ковше воды.

И с этого момента он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило. Он понял, что надо действовать, как-то помогать людям. Вчетвером они носили воду из речки, кололи дрова, разводили огонь в самоварах, собранных от соседей, встречали и провожали, верховым старикам помогали спешиться...

А народ все шел и шел. Одни приходили высказать соболезнование семье погибшего, другие уходили, выпол-

нив свой долг. А десантники оставались весь день во дворе Анатая.

Самые трудные минуты пережил Султанмурат, когда пришла учительница Инкамал-апай и с ней девочки седьмого класса, и среди них Мырзагуль. Так плакала Инкамал-апай, так убивалась, обняв Анатая, невозможно было смотреть без слез. Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила она им. Вот и плакала в тревожном предчувствии, дала волю слезам, чтобы облегчить изнывающую душу. Девочки тоже плакали возле учительницы своей, а Мырзагуль стояла, опустив голову, плача беззвучно, быть может тоже вспомнив отца и брата, и ни разу не взглянула в его сторону. Даже в этом, в сострадании и горе, она была красивее всех. Она вызывала в нем самое глубокое сочувствие и гордость ею. Хотелось подойти к ней, обнять ее и заплакать, соединить свою печаль с ее печалью...

...Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч,
Я сизый голубь, летящий в синем небе,
А ты голубка, летящая крыло в крыло...

И потом, когда зазвучала во дворе молитва и когда все, кто был, умолкнув, остались каждый наедине с собой, раскрыв перед лицом ладони и глядя в них, как в книгу судеб, слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда тысячелетие назад из неведомой Аравии, возвещавшей вечность мира в рожденьях и смерти, предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Анатая Сатаркулу, — Султанмурат и тогда, среди молитвы той, подняв глаза над ладонями, посмотрел на нее. Вместе со всеми сосредоточенная, юная Мырзагуль была прекрасна. Глубокая задумчивость покоилась на ее лице. Но она не смотрела на него.

Так она и ушла, не обмолвившись с ним ни словом, лишь грустно задержав на нем взгляд перед уходом и кивнув ему. Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч...

Плач в доме покойного Сатаркула утихал понемногу. Наступало отрезвляющее жестокое затишье примирения с утратой. Плач — это протест, бунт, несогласие; гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося. Вот тогда посещают человека самые мрачные мысли.

Анатай сидел у стены, уронив голову. Страшно было Султанмурату смотреть на него. Дерзкого, сильного, злого Анатая растоптало несчастье. Уж лучше бы он кричал, плакал, уж лучше бы рвал на себе одежду и метался.

Султанмурат не знал, как вызволить его из этого горестного безысходного одиночества. Но надо было помочь ему, надо было во что бы то ни стало заставить его почувствовать, что он не один, что рядом люди, готовые голу положить за него.

— Пошли, Анатай, у меня к тебе отдельный разговор, — сказал ему Султанмурат.

Анатай встал с места, и они отошли в угол.

— Ты не думай, Анатай, — начал Султанмурат, очень волнуясь, с трудом подбирая слова. — Ведь я это самое... Если хочешь, я отдам тебе тот платочек насовсем.

Анатай горестно улыбнулся.

— Что ты, Султан! Не надо, — ответил он. — Это твое, и ты его никому не отдавай. А я... Ты меня прости, что я тогда, ты меня прости, забудь. Я больше никогда так не буду, Султан. Мне уже ничего не надо... Мой отец, он был... Мы так ждали... — И, захлебываясь, давась слезами, Анатай снова зарыдал.

Теперь они плакали вместе наедине со временем, в котором они жили и росли...

9

Третий день ходили плуги по Аксайскому урочищу. Третий день, не умолкая, понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился темно-бурой полосой по увалу свежевспаханный начальный загон аксайских десантников. Задел был уже заметный, глаз радовался. Теперь как погода поведет себя, так и дело пойдет.

В этом огромном предгорном пространстве у подножия Великого Манасового хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Аксайская степь, уходящая в чимкентские и ташкентские безводные земли. В этом нетронутном просторе степного изголовья плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхленный след.

Пока здесь ходили три плуга. Эргеша и Кубаткула задержали на несколько дней в айле — бросили на подмогу, на бороньбу озимых, чтобы успеть закрыть влагу в почве. Ясно, нужное, срочное дело, но и на Аксае время не ждет: чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на лемех с рассвета до вечера, иначе не успеть, иначе все труды пропадут. Сул-

танмурат беспокоился, ждал прибытия оставшихся двух упряжек со дня на день. Обещали, из-за этого поругался он с бригадиром Чекишем. Серьезно поругался.

— Передайте, — говорит, — аксакал, пусть председатель Тыналиев приезжает, пусть разберется. Тремя плугами здесь делать нечего. Задачу не выполним...

А старик Чекиш? А что старик Чекиш, он волосы рвал на себе. И понял Султанмурат, как трудно в колхозе умному, понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку, а везде все горит, как пожар под ногами, хочет поспеть сделать по весне то, другое, десятое, а сил нет, людей нет, харчей нет. Голову вытянет — хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу думал. В аиле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отощал,дохнет от бескормицы, резать нет смысла. Для большого за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут. Даже не едут, идут пешком за тридцать-сорок километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выедешь — останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справное, но тоже ненадолго при такой нагрузке.

Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда — война на фронтах, конца-краю не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда — побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят...

Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачно было, но над горами прорывалось иной раз солнце, разгуливалось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается... Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.

Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел Султанмурат, вторым шагах в двухстах — Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, — Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни.

Три плугаря и великие горы впереди. Три плугаря и великая степь позади.

Председатель Тыналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в аиле упряжи Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари

сами по себе — с плугами, с конями, с землею, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям...

Загон находился далеко от полевого стана — от юрты, в которой они жили, от стожка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полевом стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка — большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. В аиле ее мало знали. Пришла откуда-то. Другие не могут бросить дома — дети, хозяйство, а она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду. А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда. Потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам как лошадь, а после кормит, поит, ухаживает за четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног... А на рассвете снова за дело... Самое трудное встать на рассвете...

Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило их сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять-двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.

Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружней берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.

Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали редкие белые хлопья... Значит, зима недобрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати...

Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасало его от снегопада. Сидя верхом на борздовом коне в середине упряжки, размахивая над головой кнутом, он все время открывался ветру то с одной,

то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.

А плуги шли. Черные плуги то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине...

Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся, и пашня будет готова. Нельзя терять времени.

Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, снова протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова пахарь шел вперед.

А снег не переставал. Плыли черные упряжи плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей:

— Ана-та-ай!

— Эркин-бе-ек!

— Султанмура-а-ат!

По лицу стекала вода, то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать и некуда, но Султанмурат понимал, что по нему, по следу его идут Анатай и Эркинбек, что втроем они — шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашущих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:

«Потерпите, рожденные от Камбар-Аты*, подружней налегайте. Ведь не каждый день будет так тяжело. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу!

* Камбар-Ата — мифический покровитель лошадей.

Потерпите, рожденные от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле, вам тяжело, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае.

Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.

Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город... Пишем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не пишут — это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда оплакивали анатаевского отца, больше всех и больнее всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают... Чу, чу, Чонтору, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтору! Держись!

И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!

Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого края, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все

время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет и мне неинтересно будет жить...

Чу, чу, рожденные от Камбар-Аты! Дружней налегайте, вперед, вперед! Чу! Чу!.. А снег все идет, все идет! Какой мокрый снег. Измокли мы все с головы до ног. И ветер поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем — двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит.

Странная она старуха, глаз у нее завидуший. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие справные, говорит, кони, хорошо кормленные. Жи́ра, говорит, на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, говорит, мясо ели до отвала. И когда варили конину в сорокаведерных котлах, то жир — зардеп, слово-то какое, — говорят, снимали сверху, зачерпывали допoлнa половником, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного — сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает. Как бы не сглазила лошадей. Да ну ее! В школе же говорили, что сглаз — это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила — мясо горного козла сварила. Худющий козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор, двое, завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, обычай знающие люди, выходит. Хотят, чтобы и в другой раз удача была им на охоте — первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы, конечно, первые встречные на их пути, если они спускались с гор, вокруг никого. Скачи в горы, скачи в степь — никого не встретишь. А снег не перестает. Вот зарядил... Совсем выбились из сил...»

Лошади остановились, изнемогли... Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекавших, сдавленных ногах, как пьяный прошелся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал.

А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намоченный тяжелый мешок, непослушными, окоченевшими руками растягивал петли сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара, и, плача, шептал: «Про-

стите меня, простите!» — ощущая на губах горячий, горько-соленый вкус конского пота...

— Эй, Султанмурат! Ты что там? — донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде.

— Давай распрягай! — крикнул в ответ Султанмурат.

Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся вполнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ночи поближе — неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу.

Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи...

Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.

А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овес. Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четверке. Плуги засосало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колеса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя — почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня качественная.

Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были

оставить: аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля — и тогда жди урожая! Яровой хлеб совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из всех хлебов. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле...

Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полуверсте Эркинбек...

Солнце пригревало все больше. И на глазах зазеленели легким налетом муравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец — зеленеет справа, едешь в другой конец — зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд...

Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподалеку, и еще где-то запел жаворонок, и еще где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи, как умеют. И довольны. Весной довольны, солнцем довольны! А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.

Весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало. Ну так что ж! Вот придут сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем десантом навалятся, пойдет дело, пойдет...

Погоня упряжку, Султанмурат заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывая в их сторону, путь держал в сторону гор. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выезженный. Ребята тоже заметили его. Стали кричать:

— Эй, охотник, заворачивай к нам!

Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султанмурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону:

— Эй, охотник, спасибо за ширалгу*! Спасибо, говорю! За ширалгу спасибо!

* Ш и р а л г а — часть добычи.

Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь. Вскоре он скрылся за буграми. Значит, некогда, спешит по своему делу.

А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону гор и тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издали поглядывал в их сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями. А полагается свернуть с пути, пожелать пахарям здоровья и урожая. Старик Чекиш говорит — люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чекиш.

А потом было самое волнующее событие.

Первым услышал Анатай. Молодец. Это он закричал что есть мочи:

— Журавли! Журавли летят!

Султанмурат глянул вверх — в чистом, беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное, огромное небо — и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрав голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:

— Ура-а! Журавли!

Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую неожиданную новость:

— Журавли! Журавли! Журавли!

Султанмурат вспомнил, что ранний прилет журавлей — хорошая примета.

— Ранние журавли — хорошая примета! — крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. — Урожай, урожай будет!

— Что, что? — не расслышал Анатай.

— Урожай, урожай будет!

Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему в свою очередь:

— Урожай! Урожай будет!

И тот отвечал им:

— Слышу, слышу! Урожай будет!

А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многогласно, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи,

и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон.

— Смотри, садятся, садятся! — крикнул Султанмурат, и все трое, спрыгнув с седел, оставив плуги и упряжки, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.

Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!

Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу. Дух захватывало от бега и радости, и на бегу, ликуя, догоняя журавлей, подумал эл, что, если журавли обронят перо, он найдет его и сохранит, подарит ей, Мырзагуль, журавлиное перо и расскажет ей все как было. Только бы догнать, только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе нахлынувшую нежность к Мырзагуль. Если бы мог, побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней... Прямо к ней с журавлиным пером...

11

Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные... Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком сшибить — и не будет их... Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок.

— Эх, здорово я их усек, сейчас бы сшиб подряд, не успели бы пикнуть, — сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился.

— Брось, дурило! С пулей не шутят, не целься зря, — ответил ему другой, что придерживал лошадей под уздцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, вымоине под бугром.

Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял.

— Не высовывайся, тебе говорят, — приказал ему тот, что держал коней. — Набегаются — уйдут. Тебе то что?

Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу, сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепыхнулись бы. Бегут и смеются? И чего, спрашивается? Бегут и смеются...

Долго бежали плугари, но когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту... Значит, раздумали. А может быть, только показалось, что журавли садятся?

Ребята остановились, переводя дыхание. Запалились. А Султанмурат пробежал еще дальше и остановился, провожая журавлиную стаю со слезами на глазах...

Потом они вернулись и снова распахивали аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала можара колхозная с сеном для коней. Картошки, мяса, муки, дров привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать — завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. Скажи, говорит, Султанмурату и ребятам: пусть не расстраиваются, все решено уже, завтра десант будет в полном составе. В обязательном порядке. И еще через пару дней придет к ним на Аксай и председатель Тыналиев. Вот такие вести привез возчик можары. Все вместе пообедали, и, когда собирались отправиться снова на пашню, стряпуха сказала Султанмурату, что хочет съездить в аил, завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее в аиле какие-то срочные дела и что она должна привезти мыла для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Так не хотелось Султанмурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека.

С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом — большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди. Но зачина есть. Без зачина же нет продолжения.

Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах и, недолго мешкая, перетаскивали плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу.

Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стряпуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра.

Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей, все двенадцать голов, тоже поставили на свои места у старой жогады без колес, привезенной на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в жогаде. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить коней от засохшего пота. Умылись впотьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали всухомятку, разогревать сил не хватало.

Легли спать. Султанмурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено, деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивали с устатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны жогады.

Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем мало ее осталось.

Султанмурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина, непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно здесь ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Умогнулся на своем месте и долго еще не засыпал. Лежал с открытыми глазами во тьме. Думал о разном, вспоминал. Загрустил, затосковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, возчик бы ему сегодня привез, да еще суюнчу* потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что отдавать. У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хле-

* Суюнчу — подарок за радостную весть.

ба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимурат взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встречать его на станцию поскочат они вместе верхом на Чабдаре, он как старший впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чабдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей... Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чабдара и поскакал бы... Потом он во сто раз больше отработал бы...

Султанмурат тихо заплакал, потому что смутно понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет...

Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Мырзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала: «Я рада! Я очень рада! Ты разве не чувствуешь, как я рада!» И то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она — это он. Спит, наверно, уже Мырзагуль. А может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она — это он. Султанмурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его...

И так он забылся, заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот.

— Молчи, если хочешь жить! — сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой, сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока Султанмурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холодный пот прошиб, и тело стало дрожать само по себе. Что за люди эти двое в юрте, зачем они его связали?

— Ну, этот готов, — прошептал один другому. — Давай тех.

Они копошились в темноте, там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили.

А Эркинбека ударили, кажется, по голове, он застоял и сразу утих.

Султанмурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирал ему рот, он задыхался, руки сводило от веревок. В юрте стояла полная тьма. Но кто они, зачем эти люди здесь, зачем они так поступали с ними, чего они хотят, может быть, они хотят убить их? За что?

Султанмурат стал рваться, метаться, и тогда один из них придавил его коленом и, стуча по голове твердым, железным пальцем, сказал негромко, но внятно:

— Брось брыкаться. Слышишь? Ты тут, кажется, главный. Мы вас связали, вы не будете отвечать, вы ни при чем. Запомнил? — говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. — Будете умными — все обойдется. Когда вас найдут здесь, расскажете все как было. Какой с вас спрос! Но если что, если кто трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохнете.

И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султанмурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали, кони испуганно перетаптывались, храпели, шарахались. А через некоторое время слышался топот многих копыт, щелканье кнута, опять какая-то ругань, и топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих.

Только тогда дошел до Султанмурата весь ужас случившегося. Конокрады увели их плуговых коней! Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь ослабить руки, но из этого ничего не получалось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие.

— Ребята, это я! — подал он голос, приподнимая голову. — Это я! Это я говорю!

Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркинбек на своих местах.

— Ребята, — сказал он тогда, — не бойтесь. Я сейчас. Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты?

Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с места.

— Анатай, подожди! Будь на месте! — Султанмурат покатился к нему через ворох одежды, сбруи. — А теперь ложись спиной ко мне, подставляя свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки...

Теперь они лежали спиной друг к другу, и Султанмурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатаю потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу...

Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полугалопом, в темноте не очень-то поскачешь, да и не было необходимости уносить ноги сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать — от мальцов? За сто верст вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, сопят в две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обшлись...

Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтобы в горле не застряло... Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет нарасхват по килограммам, по граммам, люди там торговые, умелые. Сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увезти? Вот задача, кроме смеха! Куда столько денег! Вот это хапанули! Быстрее бы уж. Все! Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут — сгинуть нетрудно. Да и пора, давно пора уж ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют — крышка! Трибунал. Только хрен им ишачий! Деньги будут — жизнь будет! За Ташкентом сколько еще городов и земель...

Не зря говорят — судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка, побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, архара, а добудешь — мясо паршивое по этой поре: дикое, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут кто бы мог подумать — как с неба свалились на Аксай эти мальцы с плугами. Сам бог послал! Есть он, есть наверху — каждому свое определил.

Брали с краю, не выбирали, лошадки все как на подбор, по два пальца жира на ребрах, таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет — оближешься. Есть он, есть бог наверху, есть! Послал добычу, послал удачу!..

Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре и не снятся. Выкладывай деньги, жмоты, получай!..

Вот они, красавцы, все четыре, на длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не утонишь, разбегутся. Один держит поводья в ру-

ках, сам посередине в седле, а кони по бокам на длинных поводьях, два справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне, погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать...

13

Чабдар оказался на месте. На Чабдара вскочил Султанмурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать:

— Анатай, скачи в аил! Не задерживайся! Скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их. Только ты быстрее. А ты, Эркинбек, будь здесь и ни на шаг никуда. Ясно? Скачи, Анатай, скачи!..

А сам унесся на Чабдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона.

Вперед, Чабдар, брат мой Чабдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня. Вперед, Чабдар! Если погибнем, то вместе, только скачи быстрее, быстрее, я понимаю — темно. Страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрее, быстрее! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед, Чабдар, вперед... Не упади, Чабдар, не упади...

14

— Погоня! — испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня.

И они припустили, пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохладиться было некогда. Теперь или пан, или пропал! Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки.

Ведущий стянул поближе в кулаке поводья угоняемых коней, прилег к седлу. А напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя что есть мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела. Ветер засвистел в ушах. Ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой.

— Стой! Не уйдете, сто-ой! — кричал им Султанмурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки.

Чабдар! Великий конь Чабдар! Отцовский конь Чабдар! Как он шел! Точно бы понимал, что не может не

догнать и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по Аксаю среди ночи.

Султанмурат быстро поравнялся с конокрадами, пошел краем, им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить.

— Отдайте наших лошадей! Отдайте! Мы на них пашем! — кричал Султанмурат.

Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел сшибить с коня. Но тот увильнул. Молодец Чабдар, молодец!

Уходя от преследующего конокрада, Султанмурат выскочил вперед, зашел с боку кучи и стал теснить, заворачивать ведущего с конями.

— Назад! Назад! — кричал он.

— Уйди, убью! — орал тот, разворачивая коней, но Султанмурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу.

И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встревал на пути, мешал угону.

А потом прогремел выстрел. Султанмурат не услышал, его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному на миг огромному пространству Аксаю и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него...

А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился кубарем, обжигаясь о каменистую твердь, и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку, колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порывалась бежать...

Истошно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, Султанмурат кинулся вслед за конокрадами:

— Сто-ой! Не уйдете! Догоню! Вы убили Чабдара! Отцовского коня Чабдара!

Он бежал не помня себя, он бежал в ярости и негодовании, он бежал и бежал за ними, словно бы мог догнать их, остановить и вернуть назад. Угон уходил, стучали копыта во тьме, угон уходил, отрываясь все дальше, а он не мог и не желал примириться — пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем, все тело его саднило, особенно лицо и руки, ободранные в кровь. Чем быстрее и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки...

Потом он упал, покатился по земле, захлебываясь,

превозмогая удушье. Он не знал, куда деть лицо и куда деть руки от невыносимой боли. Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах...

Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабей и глуше вздрагивала земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг, замерло...

И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в безлюдном ночном Аксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уж им с Аджимуратом не придется скакать на станцию встречать отца с фронта на отцовском коне Чабдаре. И теперь не посвятить им на Аксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернутся с аксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться, не увидит его въезд в аил и не восхитится им, не поведется ему... Сокрушались мечты. Оттого и плакал он...

15

Принухиваясь на бегу и все явственней ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцым скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой. Он перебился зиму — пока бродили на Аксае сайгаки, теперь они ушли с Аксае в Большие пески на расплод. Молодые волчи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал, с часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце. То было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах! Как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксае!

Волк бежал на маящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в спасении, как бы кто другой не завладел добычей... То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову! За всю свою жизнь раза три или четыре удавалось ему вместе со стаей загонять лошадей.

Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти, волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал белесой скачущей тенью в сереющей мгле предрассветной ночи.

Как ни хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал — переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел — человек оказался возле убитой лошади. Человек привстал испуганно.

— Эй! — вскинулся Султанмурат и притопнул ногой.

Волк отпрянул, неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и, глухо рыча, обернулся к человеку. Сизым злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться.

Султанмурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием.

Волк подошел еще ближе, прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина.

Султанмурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце — оно обозначилось в груди напряженно сжимающимся комом...

Султанмурат стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь...

с. Байтик. Май 1975 г.

КОММЕНТАРИИ

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ». В 1958 году впервые состоялась встреча Чингиза Айтматова с всесоюзным читателем. К Московской декаде киргизского искусства и литературы во Фрунзе вышла на русском языке первая книга Чингиза Айтматова «Лицом к лицу». Одновременно повесть печатается в журнале «Октябрь» (№ 3 за 1958 г.). Перевод текста с киргизского осуществил А. Дроздов (на киргизском языке повесть вышла в 1957 году в журнале «Советтик Кыргызстан»).

Книга вызвала ряд откликов; известный киргизский поэт К. Маликов говорил о таланте Чингиза Айтматова как о явлении исключительном. Критик Вл. Воронов отмечает, что в этой ранней повести Айтматова «присутствует почти все, что отличает его зрелую прозу». Л. Лебедева в книге об Айтматове пишет, что повесть «Лицом к лицу» резко отличается от написанного автором ранее, знаменуя новую, более высокую ступень творчества.

«ДЖАМИЛЯ». Повесть впервые опубликована на русском языке в журнале «Новый мир» № 8 за 1958 год в переводе А. Дмитриевой. В 1959 году повесть выходит отдельной книгой в издательстве «Правда». «Джамиля» принесла Чингизу Айтматову широкую популярность. Она многократно переиздавалась, вышла во Франции (в 1959 году в переводе Луи Арагона, затем переиздавалась несколько раз; когда в сентябре 1961 года перевод «Джамиля» на французский печатался в «Юманите», тираж газеты превышал 200 тысяч экземпляров), в ГДР (1960 г.), в Италии (1961 г.) и других странах.

Режиссер И. Поплавская сняла по повести Ч. Айтматова фильм «Джамиля», композитор Раухвергер написал оперу «Джамиля» («Ты — песня моя желанная»). Повесть вызвала большое количество откликов, причем в самой Киргизии некоторые отнес-

лись к ней критически. Вл. Воронов пишет: «Сейчас трудно представить, сколь дерзко выглядели сюжеты двух первых повестей Ч. Айтматова — «Лицом к лицу» и «Джамиля». В первой писатель изобразил киргизского солдата-дезертира. Во второй — молодую женщину, которая во время войны, когда муж находился на фронте и после ранения лечился в госпитале, решилась изменить ему и открыто, на глазах своих односельчан, уйти из родного аяла со своим любимым. Даже для русского читателя это было непривычно, смело, художнически рискованно. Азиз Салиев рассказывал в «Дружбе народов» в 1961 году: «У нас в республике раздался голоса: как это, мол, так, муж сражается на фронте, а жена полюбила другого и ушла с ним! Не полагается так показывать нашу жизнь и наших людей! Да и не в характере киргизской женщины поступать подобным образом». Однако читатели поддержали автора. Айтматов говорит: «Написав повести «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», я ежедневно получал десятки писем. В общей сложности это наверняка были сотни, даже тысячи». (Подробнее о повести см.: Гачев в Г. Любовь, человек, эпоха. Рассуждение о повести «Джамиля» Ч. Айтматова. М., «Советский писатель», 1965; Лебедева Л. Повести Чингиза Айтматова. М., «Художественная литература», 1972; Воронов Вл. Чингиз Айтматов. М., «Советский писатель», 1976). Луи Арагон, прочитав «Джамилю», назвал ее «самой прекрасной на свете повестью о любви».

В 1963 году за повести «Джамиля», «Первый учитель», «Верблюжий глаз», «Тополек мой в красной косынке» Чингиз Айтматов удостоен высокого звания лауреата Ленинской премии.

«ТОПОЛЕК МОЙ В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ». Впервые опубликована в переводе автора на русский язык в журнале «Дружба народов» в 1961 году (№ 1); на киргизском языке — в журнале «Ала-Тоо» и в сборнике «Млечный Путь» (1963 г.). Повесть многократно переиздавалась, вышла во Франции и ГДР (1964 г.), в Испании (1967 г.) и других странах.

По мотивам повести написана оперетта Рудянского «Край тюльпанов», в Большом театре поставлен и с большим успехом шел балет «Асель». Повесть вызвала ряд положительных откликов в печати (см. упоминавшиеся работы; ср. различную трактовку повести Л. Лебедевой и Г. Гачевым.)

«С точки зрения психологической коллизия в «Топольке» более сложная, чем в «Джамиле»; в конфликт втянуты более сложные характеры, они проявлены полнее в нелегкой драматической ситуации... Байтемир, Асель и Ильяс живут по высшим нравствен-

ным нормам», — пишет Вл. Воронов. О популярности повести среди читателей красноречиво свидетельствуют приведенные выше слова автора о тысячах писем-откликов.

Повесть удостоена в 1963 году Ленинской премии.

«ВЕРБЛЮЖИЙ ГЛАЗ». Повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 2 за 1961 год в переводе на русский А. Дмитриевой; в 1962 году «Советский писатель» выпустил сборник «Верблюжий глаз». На киргизском языке существует ранняя редакция под названием «Висячий мост» («Советтик Кыргызстан» № 2 за 1955 год). Повесть многократно переиздавалась, вышла в ГДР (1962 г.), во Франции (1964 г.) и других странах.

В 1963 году повесть удостоена Ленинской премии.

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». На киргизском языке опубликована в журнале «Ала-Тоо» в 1961 году под названием «Баллада о народном учителе»; последующий вариант — «Баллада о первом учителе»; на русском (в переводе автора и А. Дмитриевой) — в газете «Советская Киргизия» в феврале — марте 1962 года и в «Новом мире» (№ 7 за 1962 год); 20 мая 1962 года отрывок из повести опубликован в «Правде». Впервые в книге — в сборнике «Джамиля», вышедшем во Фрунзе в 1961 году. Повесть многократно переиздавалась, вышла в ГДР (1963 г.), во Франции (1964 г.), в Испании (1967 г.) и других странах. По повести режиссером А. Михалковым-Кончаловским снят фильм «Первый учитель», демонстрировавшийся у нас в стране и за рубежом (в том числе во Франции — по телевидению).

Книга вызвала массу положительных откликов в печати (см., например, упоминавшиеся работы Л. Лебедевой и Вл. Воронова, работы В. Коркина «Человеку о человеке. Заметки о творчестве Чингиза Айтматова», Фрунзе, «Кыргызстан», 1974 г.; статью Т. Аскарлова «Окрыленный народным признанием и любовью» — «Литературный Кыргызстан» № 2 за 1979 год).

Сам Чингиз Айтматов писал: «Да, в «Первом учителе» я хотел утвердить наше понимание положительного героя в литературе, я сознательно идеализировал образ коммуниста, беззаветно преданного делу революции. Я постарался взглянуть на этот образ нашими, современными глазами, я хотел напомнить теперешней молодежи о ее бессмертных отцах».

Повесть «Первый учитель» удостоена Ленинской премии в 1963 году.

«МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ». Впервые опубликована на киргизском языке в журнале «Алма-Тоо» в 1962 году. В переводе автора на русский — в журнале «Новый мир» № 5 за 1963 год, затем отдельной книгой в издательстве «Правда» (1963 г.); многократно переиздавалась, вышла в ГДР (1963 г.), Франции (1968 г.), Испании (1966 г.) и других странах. Повесть инсценирована многими театрами, композиторами А. Малдыбаевым и В. Власовым написана по ее мотивам опера «Мать». Повесть вызвала ряд положительных откликов в печати (см. упоминавшиеся работы). Вл. Воронов говорит: «Четырнадцатилетним подростком в годы войны он (Чингиз Айтматов) видел вокруг себя немало таких, как Толгонай и Алимап, прекрасных, героических женщин, взваливших на себя непомерную тяжесть труда... Четверть века спустя... Чингиз Айтматов напишет: «В первые годы война отбросила труженика земли на многие десятилетия назад... И все-таки ратный хлеб войны не иссякал, горький бабий хлеб. Он помог солдатам дойти до Берлина. Без него не могло быть Победы. Буду неть им оду, хлебоборам той грозной поры, буду писать о них для сына, для его сверстников, пока держу перо».

«ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРЫ!». Написана Ч. Айтматовым на русском языке. В журнале «Литературный Киргизстан» № 4 за 1965 год опубликованы главы из повести под названием «Смерть иноходца». Полностью повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 3 за 1966 год под названием «Прощай, Гульсары!». Издана отдельной книгой в 1967 году в «Молодой гвардии». Повесть многократно переиздавалась, вышла во Франции (1968 г.), Италии (1973 г.) и других странах. Режиссером С. Урусевским поставлен фильм «Бег иноходца» (по повести «Прощай, Гульсары!»). Публикация повести вызвала массу откликов (в том числе см. упоминавшиеся литературоведческие работы). Сам Чингиз Айтматов пишет: «Лично мне повесть эта дорога тем, что в ней, как я думаю, мне удалось нарисовать картину современной национальной жизни, киргизский национальный характер. Я стремился воспроизвести не национальный «орнамент», а поставить существенные вопросы национального бытия, проникнуть в социальные конфликты и противоречия».

В 1968 году повесть «Прощай, Гульсары!» удостоена Государственной премии СССР.

«РАННИЕ ЖУРАВЛИ». Повесть написана автором на русском языке. Впервые опубликована в журнале «Новый мир» № 9 за 1975 год. Выдержала много изданий, переведена во Франции

(1978 г.), Италии (1979 г.) и других странах. Художественная общественность итальянского города Вольтерра присудила в 1980 году первую премию «за глубокий гуманизм» книге Чингиза Айтматова, куда вошли повести «Ранние журавли» и «Пеггий пес, бегущий краем моря». Эти же повести, изданные в одном томе во Франции к 50-летию Чингиза Айтматова, вызвали оживленную дискуссию во французской печати — со статьями выступили Андре Стиль, Пьер Гамарра, Андре Вюрмсер и другие (в «Ви увриер» о «Ранних журавлях» писал П. Гамарра: «Обыденное здесь существует рядом с поэзией», а поступки героев, особенно Султанмурата, «возвышаются до эпического подвига»).

«Мы оказались тем поколением подростков, — говорит Чингиз Айтматов, — которые на другой день войны шагнули сразу из мира детства в пучину военной жизни, в многострадальную тыловую действительность, потребовавшую от нас далеко не детской зрелости и мужества». О «Ранних журавлях» написал Василий Быков: «Автору многое удалось сказать этой небольшой повестью и не только воссоздать трудную атмосферу тех дней, но и перебросить в наше сегодня необходимый, связывающий времена мостик благородной идеи».

В 1977 году за повесть «Ранние журавли» Чингиз Айтматов удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Потапов. Свет человечности
5

Лицом к лицу. Перевод с киргизского *А. Дроздова*
39

Джамиля. Перевод с киргизского *А. Дмитриевой*
79

Тополек мой в красной косынке. Перевод с киргизского автора
125

Верблюжий глаз. Перевод с киргизского *А. Дмитриевой*
207

Первый учитель. Перевод с киргизского автора и *А. Дмитриевой*
239

Материнское поле. Перевод с киргизского автора
287

Прощай, Гульсары!
373

Ранние журавли
513

Комментарии
602

Айтматов Ч. Т.

А 36 Собрание сочинений: В 3-х т. — Т. 1. Повести /Предисл. Н. Потапова. — М.: Мол. гвардия, 1982. — 607 с.

В пер.: 2 р. 40 к. 150 000 экз.

В первый том собрания сочинений Ч. Айтматова входят его повести 50—60-х годов — от «Джамили» до «Прощай, Гульсары!», а также примыкающая к ним повесть «Ранние журавли», написанная позднее. В этих повестях затрагиваются важные нравственные и этические проблемы времени, в них мы видим широкую панораму жизни Советской Киргизии, путь киргизского народа от состояния вековой отсталости к социалистическому обществу. Лучшие из повестей Ч. Айтматова удостоены Ленинской и Государственных премий.

А $\frac{4702010200-195}{078(02)-82}$ Подписное

ББК 84Кн7
С(Кирг)2

ИБ № 2644

Чингиз Торекулович Айтматов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. I

Редактор **С. Шевелев**
Художник **Ю. Бажанов**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Н. Носова**

Сдано в набор 25.12.81. Подписано в печать 06.07.82. А02296.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 31,92+ +0,10 вкл. Учетно-изд. л. 34,3. Тираж 150 000 экз. (75001—150 000 экз.). Цена 2 р. 40 к. Заказ 2053.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

